

Эжен Сю Парижские тайны. Том I

МЕЧТЫ И МИФЫ ЭЖЕНА СЮ

Книга, которую держит в руках читатель, – одна из самых громких литературных сенсаций XIX века.

Во французской литературе 1830 – 1840-х годов не было жанра более популярного, чем роман-фельетон. «Фельетоном» по-французски называется не сатирический жанр, как в русском языке, а любая постоянная, продолжающаяся из номера в номер журнальная или газетная рубрика. В годы Июльской монархии (1830–1848) крупнейшие парижские газеты стали для привлечения читателя печатать в качестве такого «фельетона» романы с продолжением. Не всякий роман для этого подходил: требовался разветвленный и увлекательный авантурный сюжет (чтобы завладеть вниманием читателя прочно и надолго), не слишком изощренный стиль, наконец, особая композиционная техника – текст разбивается на компактные главы, каждая из которых должна обрываться «на самом интересном месте», чтобы читатель с нетерпением ждал продолжения в следующем номере.

Роман-фельетон быстро получил широкое развитие. Издатели газет, извлекавшие огромные доходы от увеличения тиража, не скупились на авторские гонорары, что позволяло привлечь к делу не только заурядных литераторов, но и настоящих мастеров. В виде «фельетонов» впервые увидели свет многие произведения Бальзака, в 1837–1839 годах в газете публиковался талантливый роман Фредерика Сулье «Мемуары дьявола», в 40-е годы одним из королей романа-фельетона сделался Александр Дюма. Но самый оглушительный, поистине сенсационный успех выпал на долю Эжена Сю, когда в 1842–1843 годах в газете «Журналь де деба» были напечатаны его «Парижские тайны». На протяжении шестнадцати месяцев вся страна жила перипетиями романного сюжета; резко выросло число подписчиков газеты, небывалый ажиотаж охватил библиотеки; во Франции и других странах десятками множились переиздания, переводы, всевозможные подражания – от «Лондонских тайн» до «Тайн Нижегородский ярмарки».

Успех романа был необычным не просто в коммерческом, чисто количественном отношении. Эжен Сю стал во множестве получать письма, в которых читатели не только высказывали ему свое восхищение или трогательно просили его, пока не поздно, «спасти» полюбившегося им персонажа (хотя хватало и того и другого), но и обсуждали затронутые в романе социальные и юридические проблемы. На подобные письма, среди авторов которых были даже видные судебные чиновники, Эжен Сю серьезно отвечал на страницах газеты. Последовали и другие, еще более симптоматичные отклики: во Франции, да и за ее пределами, под воздействием романа стали возникать филантропические общества для помощи бедствующим рабочим, в палате депутатов и других представительных органах обсуждались реформы тюремной системы в соответствии с идеями, высказанными в «Парижских тайнах». Наконец, показательны были и отзывы печати: в то время как критики консервативного и даже либерального толка возмущались «грубостью» и «безнравственностью» ряда сцен романа (излюбленная критическая дубина тех лет), его горячо поддержали писатели и публицисты, стоявшие на позициях утопического социализма, – Дезире Лавердан, Виктор Консидеран, Жорж Санд. Фридрих Энгельс, подытоживая в 1844 году произведенный романом эффект, констатировал, что «яркие краски, в которых книга рисует нищету и деморализацию, выпадающие на долю „низших сословий“ в больших городах, не могли не направить общественное внимание на положение неимущих вообще...».¹ Приключенческий роман Сю оказался подлинным *общественным событием*, способствовавшим распространению демократических и социалистических идей.

Парадоксально, что автор этого романа ни по происхождению, ни по всей своей жизни до тех пор отнюдь не был демократом – скорее наоборот.

Эжен (по крещению – Мари-Жозеф) Сю родился в январе 1804 года в семье видного меди-

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1. С. 542.

ка, служившего при дворе «первого консула» – так в то время именовался Наполеон Бонапарт. Крестной матерью ребенка была сама супруга «первого консула», в скором будущем – императрица Жозефина. Появившись на свет как бы под сенью императорского трона, Эжен Сю и в дальнейшем вращался в кругах Вэюшей знати. В 20 – 30-е годы это была главным образом легитимистская аристократия, которая сохранила верность Бурбонам, вернувшимся к власти в 1814 году, но окончательно свергнутым Июльской революцией 1830 года; затем круг знакомств изменился – писатель «переметнулся» к аристократии орлеанистской, поддерживавшей нового короля Луи-Филиппа. Молодой Сю был одним из самых знаменитых парижских щеголей, известных своей элегантностью и любовными похождениями в высшем свете. Однако светским бездельником его не назовешь. Выучившись по примеру отца на врача, он в качестве военного хирурга не раз оказывался в самом пекле боев – в 1823 году, участвуя в экспедиции французской армии против испанских республиканцев, и в 1827-м, когда в сражении при Наварине англо-франко-русская эскадра разгромила флот турецкого султана. Военно-морские впечатления оказались особенно важны для литературного творчества Сю, которое развернулось в 30-е годы. Начав в 1832 году с авантюрно-морских романов «Атар-Гулл» и «Саламандра» (позднее последовал также серьезный труд «История французского флота»), Сю в дальнейшем перешел к романам историческим («Латреомон», 1837) и психологическим («Матильда», 1841). К 40-м годам он вполне сложился как умелый и плодовитый беллетрист, чутко откликающийся на модные веяния современной словесности; ничто, однако, не предвещало его обращения к «народной» теме и к пропаганде социально-реформаторских теорий.

Судя по рассказам мемуаристов, дело обстояло так. В мае 1841 года драматург Феликс Пиа, только что поставивший в театре свою драму из народной жизни «Два слесаря»,² познакомил Эжена Сю с рабочим-штамповщиком по фамилии Фюжер. Человек этот оказался интересным собеседником; самоучка, он оригинально судил о самых различных предметах – о литературе, о политике, о популярных в те годы социалистических теориях Сен-Симона, Фурье, Конта. Беседа настолько поразила и увлекла Сю, что в конце ее он якобы сам объявил себя «социалистом».

Вскоре ему представился случай реализовать свои новые интересы в творчестве. Издатель Гослен предложил ему, по примеру какого-то английского сочинителя, написать роман, действие которого происходило бы на парижском «дне»; тема сулила шумный успех и верную прибыль. Эжен Сю, хоть и без особого энтузиазма, взялся выполнять «заказ». Для изучения среды он, подобно своему будущему герою Родольфу, облачался в рабочую блузу и картуз и посещал инкогнито кварталы парижской бедноты, сомнительные кабаки, вроде «Белого кролика» (само это заведение, существовавшее в реальности, впоследствии стало местом паломничества множества любопытных).

«Парижские тайны» начали печататься в июне 1842 года и поначалу вполне соответствовали предложению Гослена – то было чисто авантюрное повествование, в котором переодетый князь, подобно Гарун аль-Рашиду, исследует жизнь низов общества. Но время шло, роман публиковался и по мере публикации писался дальше, и постепенно его характер существенно изменился – чисто криминальная коллизия уступила место социальной. Писатель вводит тему безвинных страданий бедняков, демонстрирует пороки современной юстиции и пенитенциарной системы, живописует быт утопической идеальной фермы. В романе появляются пространные авторские отступления – рассуждения о социальных проблемах Франции и о путях их решения.

Проблемы эти были более чем острыми – взрывчатыми. Вслед за великой политической революцией конца XVIII века во Франции произошла не столь громкая, но не менее важная промышленная революция, и к 40-м годам уже в полной мере выявились ее отрицательные социальные последствия. Внедрение в промышленности машин привело к массовой безработице, к пауперизации рабочего класса. 1830 – 1840-е годы – едва ли не самая тяжкая эпоха в истории французского пролетариата, когда из-за конкуренции и избытка рабочей силы заработка повсе-

² Одна из ее сцен, как полагают, послужила Сю образцом при написании знаменитой сцены в мансарде Морелей во втором томе «Парижских тайн».

местно держались на самом низком Уровне, достаточном только для нищенского существования, когда трудовое законодательство и социальное страхование практически отсутствовали, а профессиональные объединения были запрещены законом и когда любое неблагоприятное стечение обстоятельств – болезнь, потеря работы и т. п. – ставило рабочего и всю его семью на грань самой реальной голодной смерти.

Французская культура ответила на обострение «рабочего вопроса» широкой разработкой социалистических и демократических учений. Их создателями были видные идеологи и писатели: Сен-Симон, Фурье (оба они оставили после себя организованные школы последователей), Прудон, Ламенне, Леру, Луи Блан и другие. В 40-е годы социализм – по большей части, правда, утопический – вызывает во Франции большой общественный интерес, возникает далее своего рода «мода на социализм». В такой атмосфере роман Сю оказался весьма своевременным.

Недрузи романиста утверждали, что он в очередной раз ловко воспользовался конъюнктурой рынка, что в своем обращении к социальной проблематике он руководствовался лишь желанием сорвать куш, эксплуатируя интерес к ней со стороны публики. В реальности дело обстояло не так просто. Французский писатель и критик Жан-Луи Бори справедливо заметил, что Эжен Сю еще в 20 – 30-е годы был не просто светским щеголем, а *денди*, у которого элегантность, доведенная до предела, становится вызовом обществу. Дендизм во Франции служил формой индивидуалистического, аристократического бунта против буржуазного конформизма, вписываясь тем самым в романтическую систему идеалов. Новой формой такого бунта оказался для писателя и социализм: «Главное – не быть *как все*. Став социалистом, Сю *противостоит* лавочникам, *противостоит* знати из аристократического предместья. Став социалистом, Сю остается денди, то есть остается верен себе... Байронический пират превращается в пирата сен-симонистского или фурьеристского... не переставая быть пиратом».³ Эжена Сю привело к социализму романтическое бунтарство, и потому его новые убеждения были, с одной стороны, искренними, но с другой стороны, индивидуалистическими и оттого достаточно неглубокими.

Тем не менее эти убеждения завели Сю достаточно далеко. «Парижские тайны» составили ему репутацию писателя-демократа, защитника угнетенных, и он старался ее оправдывать. Уже в следующем своем романе «Вечный жид» (1844–1845)⁴ он выступает с заметно более радикальных позиций – в частности, решительно ополчается против клерикализма. Когда в 1848 году в стране грянула новая революция, в которой рабочие впервые выступили как самостоятельная политическая сила, Сю счел своим долгом непосредственно включиться в партийную борьбу. В 1850 году он оказался единственным кандидатом, избранным в Законодательное собрание на частичных выборах в Париже вместо выбывшего депутата; «левая» репутация писателя была настолько прочной, что это частное, казалось бы, событие вызвало широкий резонанс – на парижской бирже вспыхнула паника, буржуазия испугалась новых рабочих выступлений, подавленных было в июне 1848 года. Впрочем, на депутатском посту Сю ничем выдающимся себя не проявил. После бонапартистского переворота 1851 года он в числе других депутатов-республиканцев оказался в заключении; вскоре, правда, будущий император Наполеон III освободил его – возможно, вспомнив, что это крестник императрицы Жозефины, жены Наполеона I, – но писатель не воспользовался высочайшей амнистией и добровольно удалился в эмиграцию. Он умер в 1857 году в Савойе (в ту пору еще не присоединенной к Франции), в то время как на родине, после краха Второй республики, с закатом романтизма и исчезновением в «порядочном обществе» поверхностной «моды на социализм», его творчество быстро забывалось, вытесняемое другими произведениями, более соответствующими злобе дня.

Сколь бы ни были искренни гуманные чувства – или хотя бы бунтарство – Эжена Сю, они вполне уживались у него с деловым практицизмом; парадокс достаточно распространенный в эпоху, когда литература впервые сделалась доходным делом, а художественное произведение –

³ Bory J.-L. Eugène Sue, le roi du roman populaire. P., 1962, p. 236.

⁴ В 1933–1936 гг. он был издан в русском переводе издательством «Academia» под названием «Агасфер».

товаром, который можно выгодно продать на издательском рынке. «Парижские тайны», конечно же, писались в расчете на коммерческий успех, и поэтому писатель широко пользовался традиционными приемами, помогавшими завоевать популярность. В те годы грамотность народа была еще не настолько высокой, а цены на печатную продукцию – не настолько низкими, чтобы литература могла стать достоянием по-настоящему «широкого» читателя. Положение это лишь начинало меняться как раз благодаря роману-фельетону, который писался для не слишком образованной публики и печатался в сравнительно дешевых газетах; а пока самым массовым видом искусства оставался во Франции театр, и прежде всего «низовые» театральные жанры – комедии и мелодрамы. Из них (в особенности из мелодрам) Эжен Сю черпал приемы, мотивы, характерных персонажей.

«Парижские тайны» построены по принципам театральной композиции (неудивительно, что вскоре за их газетной публикацией последовала и инсценировка). Огромную часть текста занимает диалог с минимальными ремарками повествователя, который словно старался уклониться от своей обязанности *повествовать*, стараясь максимум сведений сообщать через речи действующих лиц. В ходе диалога излагается предыстория героев, иногда они даже говорят друг другу заведомо известные вещи, лишь бы донести их до «зрителя», то есть читателя: «...Крабб из Рамсгейта научил вас боксу; парижанин Лакур⁵ показал вам, как надо пользоваться шпагой, скрытой в трости, наносить удары ногами, и шутки ради обучил вас арго...» и т. д. Повествование отчетливо делится на «сцены», каждая из которых разыгрывается в неподвижном, замкнутом интерьере; главы оказываются «явлениями», сменяющимися при уходе или приходе того или иного лица; нередко они и озаглавлены как театральные «явления» – перечнем участников: «Мэрф и Родольф», «Волчица и Певунья» и т. д. В самом развитии действия множество традиционных театральных ситуаций и эффектов: один из героев переодевается простолюдином и *играет роль* то честного рабочего или коммивояжера, то вора-домушника, другой, решив покончить с собой, в присутствии зрителей *инсценирует* несчастный случай, третья, роковая соблазнительница, для пущей неотразимости своих чар, облачается в *театральный* костюм. Часто встречаются и прямые театральные реминисценции, упоминаются известные комедийные и драматические персонажи – от мольеровских Альцеста и Жеронта до разбойника Робера Макера, пьесы о похождениях которого пользовались большим успехом в 20 – 30-е годы.

Театрализация романа не так редко встречалась в современной Сю литературе, к ней прибегали и Фредерик Сулье, и популярный писатель-юморист Поль де Кок, в значительной мере и Бальзак. Но, кажется, ни разу до «Парижских тайн» (не исключая и ранние книги Сю) театрализация не достигала такого размаха, не превращалась в главное организующее начало произведения, обеспечивая его доступность для широкого читателя и вместе с тем задавая в нем особую меру условности, особую систему ценностей. Литература всегда занята изображением, художественным воссозданием борьбы добра и зла. Но в разных направлениях и даже в разных жанрах этот извечный конфликт наполняется разным содержанием. Добро и зло осмысляются как праведность и грех, как долг и страсть, как разум и предрассудок, как энтузиазм и пошлый практицизм. В мелодраме, по модели которой построен художественный мир «Парижских тайн», они предстают как *добродетель и порок*. Взяв в качестве ориентира эти понятия абстрактной морали, писатель был вынужден подчинить им и свой сюжет.

Первоначально Эжен Сю, очевидно, имел в виду написать книгу в жанре экзотического романа, созданного романтиками и рассказывающего о встрече «культурной» европейской цивилизации с обществом «варваров», «дикарей». На первых же страницах он прямо заявляет, что намерен «представить глазам читателей несколько эпизодов из жизни других варваров, столь же нецивилизованных, как и дикие племена, так хорошо обрисованные Купером».⁶ Действительно, парижские низы – особенно преступный, уголовный мир – предстают в романе как особое, «ди-

⁵ Этот Лакур упомянут в тексте неспроста: такую фамилию носил учитель бокса Эжена Сю, который «страховал» его во время небезопасных экскурсий по подозрительным кварталам Парижа для сбора материала к роману.

⁶ В данном издании этот фрагмент выпущен. (Примеч. перев.)

кое» сообщество, живущее хоть и в самом сердце Парижа, но по собственным законам, чуждым и даже враждебным обществу «культурному». Здесь говорят на особом языке – аргю, называют друг друга не христианскими именами, а по большей части кличками; есть даже свой фольклор – вроде истории о Сухарике и Душегубе, которую рассказывает своим товарищам тюремный сказитель Фортюне Гобер. «Дикое» общество неоднородно: как в «Последнем из могикиан»⁷ есть кровожадные гуруны и благородные делавары, так и здесь выделяются мрачные злодеи вроде Скелета, Сычихи, вдовы Марсиаль и честные труженики – гранильщик Морель, портниха Хохотушка, бахромщица Жанна (несчастливая сестра Фортюне Гобера). В столкновении с этим «теневым», подспудным миром решаются судьбы людей, принадлежащих к миру «верхнему», – здесь, например, находит свою развязку многолетний «семейный» конфликт герцога Родольфа Герольштейнского и его морганатической супруги, авантюристки Сары Мак-Грегор.

По ходу работы, однако, Сю существенно уклонился от замысла книги об экзотических парижских «дикарях»; новым ориентиром стали для него не романы Купера, а бульварные мелодрамы. Главным в облике «варваров» оказывается уже не экзотичность, а *безнравственность*; мир простонародья – это мир порока. Конечно, бесчестных и даже преступных людей немало и в высших слоях общества (нотариус Ферран, виконт де Сен-Реми и др.), но там это все же исключение, здесь – правило, массовое явление. На грани порока живут даже честные и трудолюбивые бедняки, не говоря уже об уголовном сброде. Дочь Мореля Луиза, чтобы спасти от голода семью, вынуждена терпеть преследования со стороны своего хозяина – развратного Феррана; сам Морель жестоко страдает при мысли об этом, но его жена уже готова смириться, готова, по сути, продать свою дочь за кусок хлеба. Марсиаль и Волчица – два мужественных, преданных друг другу человека, но и они отягощены печатью порока (она – проститутка, он – браконьер), и для их исправления писатель не находит иного средства, как послать их за тридевять земель бороться с еще худшими, совсем уже дикими «варварами» – алжирскими бедуинами. В «Парижских тайнах» очень мало говорится о любви и очень много – о распутстве; в этой тяжелой атмосфере грубой и низменной эротики (Сент-Бёв даже сравнил – не очень, правда, обоснованно – Эжена Сю с маркизом де Садом) чем-то поистине невероятным, абсолютно исключительным выглядит целомудрие Хохотушки, отгородившейся от окружающего мира стенами своей комнатки с канарейками.⁸ Даже народный фольклор, как показывает писатель, несет на себе ту же печать порока и преступлений: арестанты, увлеченно и растроганно внимают рассказу о муках бедного Сухарика, в это же самое время готовят кровавую расправу над подозреваемым «стукачом», а в праздничном карнавале в конце романа центральным событием является публичная казнь двух женщин – неудивительно, что во время карнавального шествия происходит еще одно, «незапланированное» убийство. Взгляд Эжена Сю на праздничную толпу скорее буржуазный, чем романтический, – перед нами не вольное проявление народного духа, даже не живописное, красочное зрелище, а лишь опасный выплеск порочных, разрушительных инстинктов черни.

В то же время по строю своего мышления, культуры мир «дна» при всей своей внешней экзотичности недалеко отстоит от мира «нормального». Куперовскому Соколиному Глазу, как он ни дружен и ни близок духовно с индейцами, не приходит в голову самому выдавать себя за одного из них – и причина, конечно, не только во внешнем несходстве европейца и краснокожего, но и в глубинном несходстве двух культур, которое не возместить до конца даже многолетним опытом. Высокородному же герцогу Родольфу Герольштейнскому, который вдвойне далек от парижской бедноты – как богатый аристократ и как иностранец, немец, – хватило нескольких уроков аргю, чтобы неузнанным появляться и в рабочих мансардах, и в воровских притонах, непринужденно болтать с консьержкой и флиртовать с гризеткой. Мир рабочих и люмпен-

⁷ Александр Дюма, эксплуатируя, как и многие другие литераторы, успех «Парижских тайн», выпустил уже в 50-х гг. роман «Парижские могикиане», название которого прямо указывает на связь с творчеством Фенимора Купера.

⁸ Впрочем, если не житейское, то символическое объяснение этому «феномену» дано. Хохотушка шьет платья для богатых, непосредственно общается с ними (она даже имеет свои визитные карточки для клиентов) и тем самым сопричастна «верхнему» миру. Точно так же и честнейший Морель, в отличие от грубого грузчика Поножовщика, занят «чистым» и «благородным» ремеслом — огранкой драгоценных камней.

пролетариев легко проникаем, он не отторгает вступающего в него чужака, не оказывает ему внутреннего сопротивления.

Действительно, даже самые отпетые злодеи у Эжена Сю мыслят теми же нравственными понятиями, что и добропорядочные буржуа. Неукротимая «вдова казненного», преступница по убеждению и семейной традиции, воспитывающая детей в ненависти к обществу, с удовлетворением говорит о своем сыне-подростке: «В его душе уже живет порок...» Она, стало быть, сама расценивает свою мораль как «порок»! В той же семье Марсиалей детей учат воровать, а заодно и обозначать это занятие арготическими словами: «— А ты знаешь, что такое *слямзить*? — Это значит... взять... — Это значит украсть, дуреха! Понятно? Украсть...» Звучит, конечно, не очень правдоподобно: как будто девятилетнюю девочку, с самого рождения живущую в воровской семье, сперва научили, что украсть называется «украсть», а теперь вот переучивают, заставляют говорить «слямзить». Арготический язык, вообще говоря, — не просто тайный язык, но и своеобразное средство самозащиты от официальной нравственности, этот язык выворачивает наизнанку моральные оценки вещей, о которых на нем говорится, и потому обучение арготическому — важный элемент воровского «антивоспитания». Но в изображении Сю все обстоит иначе: уголовники не просто хорошо владеют «нормальным» языком, но он остается для них основным. Исходной точкой зрения даже для них является точка зрения общепринятой нравственности, точка зрения добра, а не зла. Итак, мир «низов» предстает у Сю не столько *чужим*, сколько *испорченным*. И он, естественно, нуждается в исправлении, которым и занят герцог Родольф. Сюжетная функция и символический смысл этого персонажа также претерпевают изменение по ходу действия.

В первой части романа Родольф попадает на «дно», движимый конкретными, можно сказать личными, побуждениями: он хочет помочь госпоже Жорж, родственнице своих друзей, найти исчезнувшего сына. В столкновениях с обитателями «теневого» мира он ведет себя как сильный и мужественный герой — смело идет навстречу опасности, силой кулака защищает встретившуюся ему Певунью, потом, чтобы разоблачить убийцу и грабителя Грамотея, пробирается в притон Краснорукого, подвергается смертельной опасности, попав в ловушку и чуть не захлебнувшись в затопленном подвале... В известной у нас экранизации «Парижских тайн», где Родольфа играл Жан Марэ, проявлена, в сущности, только эта сторона его личности. Но уже во второй части первого тома, и еще более в томе втором, Родольф предстает в ином облике. Теперь, подобно странствующему рыцарю, он руководствуется абстрактным идеалом справедливости и добродетели, но в отличие от рыцаря уже не сражается более лицом к лицу с силами зла. Время от времени он еще выходит «на разведку», собирая на светском приеме или в доходном доме на улице Тампль сведения о преступных кознях и интригах; но главная роль его отныне — не боец и не шпион, а закулисный режиссер событий. Словно глава некоей тайной организации или резидент секретной службы, он руководит действиями других людей, направляя их для наказания и исправления злодеев и спасения безвинных страдальцев. Широкая осведомленность и верная «агентура» дают ему почти сверхъестественную, и притом скрытую, власть, а если учесть еще и его неисчерпаемое богатство и высокое происхождение, то его образ окончательно отрывается от человеческой реальности и становится образом *добраго бога*, пришедшего в земной мир, дабы исправить его пороки. Кое-кто из критиков сразу попытался сопоставить Родольфа с Христом; можно только добавить, что это не евангельский Христос-страстотерпец, а скорее Христос Апокалипсиса, явившийся для Страшного суда.

Разумеется, он может не все. Он не французский гражданин, тем более не депутат палаты, и вне его «компетенции» остаются изъяны самого общественного строя страны, которые приносят не меньше страданий людям, чем происки злодеев-преступников. Именно для обличения этих изъянов писателю и понадобились, начиная со второго тома, прямые публицистические отступления. Они касаются главным образом недостатков законодательства: тут и необходимость облегчить развод, который оказывается практически недоступным не только простой бахромщице Жанне (для нее правосудие «слишком дорого»), но даже и аристократу маркизу Д'Арвилю; и несправедливость законов о детоубийстве, карающих мать незаконного ребенка и выгораживающих соблазнителя-отца; и порочность исправительной системы, которая не столько перевоспитывает осужденных, сколько формирует из них рецидивистов; и осуждение смертной казни, о

чем много спорили во Франции тех лет... Где плох закон, там бессильны даже чудеса Родольфа – и тем острее звучит призыв писателя к изменению таких законов.

И все-таки, даже с этой оговоркой, власть Родольфа поистине огромна. Он выручает попавших в беду людей – как богатых, так и бедных, – расстраивает злые козни, соединяет влюбленных; он учреждает в Париже банк для помощи безработным, а за городом, в Букевале, создает ферму «для улучшения людей», где работников благодаря заботе и справедливой оплате «заставляют быть активнее, изобретательнее и честнее». Иногда он, впрочем, и самостоятельно творит суд и расправу над негодьями вроде Грамотея или Феррана. Сам он не раз признается – пожалуй, не без кокетства, – что его «иногда забавляет играть роль провидения»; а уж облагодетельствованные им люди – те постоянно твердят, что он для них «то же самое, что господь бог для правоверных священников».

Однако же не случайно еще Маркс, разбирая «Парижские тайны» в книге «Святое семейство» (1844), едко высмеял тех критиков-гегельянцев, что узрели в Родольфе новоявленного Христа. Даже отвлекаясь пока от практических результатов, которых добивается герольштейнский герцог (с ними в основном и связаны замечания Маркса), легко заметить: кое-что омрачает божественный лик Родольфа, кое-что настораживает в его благих делах. Так, в делах этих он использует в качестве помощников не только людей порядочных и душевно близких себе (Вальтер Мэрф, маркиза д'Арвиль), даже не только вставших на путь исправления преступников (Поножовщик), но и закоренелых, ни в чем не раскаивающихся негодяев – отравителя Полидори, бесстыдную девку Сесили. Даже свой благотворительный банк для бедных он создает от имени и на деньги исчадия зла – Жака Феррана. Чтобы держать в руках подобных «помощников», нужны, естественно, рычаги давления – и Родольф широко пользуется таким малопочтенным приемом, как шантаж. Никого из разоблаченных им злодеев он не отдает в руки правосудия, ничьи порочные деяния не предаст гласности – он выведывает преступные тайны и использует их для угроз. Этот благодетель человечества действует, по сути, методами тайного сыска (совсем как профессиональный сыщик Нарсис Борель, пользующийся сведениями платного осведомителя Краснорукого) и мало стесняется в средствах. Двусмыслен даже его внешний облик: «Нередко в его глазах сквозила глубокая печаль, а выражение лица говорило о сердечном участии и трогательной жалости. А иной раз взгляд Родольфа становился хмурым, злым, в лице появлялось столько презрения и жестокости, что не верилось, будто этому человеку присущи добрые чувства». Это портрет не светлого праведника и не безмятежного божества, а скорее байронического героя-«пирата», не верящего в добро, а возможно, даже и спознавшего с сатаной.

Вспомним, наконец, и литературную традицию: в европейском романе, начиная с «Хромого беса» (1641) испанца Л. Велеса де Гевары и кончая «Мемуарами дьявола» Ф. Сулье, оказавшими несомненное влияние на «Парижские тайны», функция разоблачителя преступных тайн и пороков социальной жизни принадлежала обычно не богу или ангелу, а, напротив, нечистой силе. Так, может быть, и герцог Родольф на самом деле никакой не добрый бог, а... *добрый дьявол*, дьявол на службе справедливости?

Советскому читателю можно назвать в качестве аналогии Воланда из «Мастера и Маргариты» М. Булгакова. Аналогия эта отнюдь не произвольна: «Парижские тайны» Булгаков мог и не читать, но он наверняка знал два романа, на которые эта книга повлияла, – «Граф Монте-Кристо» Дюма и «Бесы» Достоевского. Во всех четырех произведениях используется сходная сюжетная схема: в некоем городе появляется, в сопровождении свиты подручных, загадочный «мессир» (более или менее чужеземного происхождения), совершает таинственные и порой жестокие деяния, связанные с личным мщением или социальным возмездием (более или менее превратно понятым), и затем исчезает. Инфернальная природа этого персонажа вплоть до Булгакова оставалась чисто символической; но уже у Достоевского эта символика открыто заявлена в названии романа – «Бесы». Можно сказать, что и свита Родольфа в своем роде не менее причудлива и двусмысленна, чем обитатели «нехорошей квартиры» на Большой Садовой: лощеный дипломат фон Граун, служащий только для «чистых» дел, телохранитель хозяина Мэрф, чернокожий доктор (а при нужде и палач) Давид и порочная красавица Сесили. Ни одного из этих людей, да и самого Родольфа тоже, не назовешь «добрыми» – скорее уж можно заподозрить в

них, согласно гетевскому эпиграфу к «Мастеру и Маргарите», «часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо».

Известно: дьявольская помощь никогда никому не шла впрок. Плачевная судьба постигает и тех, кто стал объектом деятельности Родольфа по исправлению народных нравов. Извлеченные им из бездны порока и поставленные на путь добродетели, они, словно пораженные каким-то проклятием, неприкаянно бродят по страницам романа, не находя себе устойчивого, достойного места в жизни.

Особенно заметно это на примере трех персонажей, которые встретились с Родольфом в начале повествования, когда он еще был земным человеком, а не исполняющим обязанности providения. Не угнетенные, не придавленные божественным всеведением и всемогуществом главного героя, они были обрисованы как живописно-самобытные «дикари» и обещали и впредь оставаться оригинальными, внутренне богатыми фигурами. Случилось, однако, иначе: приобщение к добродетели обернулось для Грамотея (в старом русском переводе – Мастака), Поножовщика (Резаки) и Певуньи (Флер де Мари) умерщвлением их личности, на что и указал в своем разборе романа Маркс: «Точно так же, как Рудольф убивает Флер Де Мари, отдавая ее на растерзание попу и внушенному ей сознанию своей греховности, как он убивает Резаку, лишая его человеческой самостоятельности и отводя ему унижительную роль бульдога, – точно так же он убивает Мастака, выкалывая ему глаза с целью научить его „молиться“».⁹ Прямым следствием этого умерщвления личности является и нескладная, художественно не завершенная судьба, постигающая этих персонажей в романе.

Родольф приказал доктору Давиду ослепить (символически оскопить, как указывал еще Маркс¹⁰) грабителя и душегуба Грамотея, дабы социально обезвредить его и в конце концов пробудить в нем совесть. В результате Грамотей, став беспомощным, претерпев унижения со стороны своих бывших сообщников, попадает в дом умалишенных и вынужден до скончания дней симулировать сумасшествие, чтобы не быть узанным и избежать тюрьмы и эшафота. Сумасшедший дом как место исправления разбойника – это, конечно, сугубо случайное сюжетное решение, не говоря о том, что оно не позволяет раскаявшемуся Грамотею действительно искупить свою вину, зато обрекает его на пожизненный грех притворства.

Родольф, как буйного зверя, укротил каторжника и убийцу Поножовщика и сказал ему слова, звучащие как признание его человеческого достоинства: «Ты сохранил мужество и честь». Но на деле он сам же и лишил его этого достоинства. Мало того, что он превращает бесхитростного силача в своего раба и шпиона, он еще и старается спровадить с глаз долой этого невольного свидетеля позора своей дочери – даже добродетельный Поножовщик *компрометирует* своего господина. Автор явно ощущает это противоречие и никак не может решить, как поступить с Поножовщиком, куда его девать, – то он пытается сделать его честным мясником, направив в полезное русло его опасную страсть к резне (идея гармонизации страстей, заимствованная у Шарля Фурье), то отправляет его колонизовать Алжир, то вновь «призывает» в Париж... В конце концов приходится подставить Поножовщика под бандитский нож, дав ему умереть смертью верного пса, защищающего хозяина.

Родольф вызволяет из притона Певунью, оказавшуюся его дочерью, возносит ее к вершине общественной иерархии, но приводит это лишь к тому, что живая, земная натура превращается в бесплотного ангела, носителя бездейственной и бесполезной абстрактной добродетели. И опять автор романа никак не может «определить» свою героиню, пристроить ее на какое-то адекватное место. Благодаря забавному, но по-своему логичному недосмотру писателя эта неприкаянность выразилась даже в символической форме: по ходу романа его героиня последовательно меняет пять кличек и имен (Воровка, Певунья, Лилия-Мария, Мария, принцесса Амелия) – но ни одно

⁹ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 2. С. 197–198.

¹⁰ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 2. С. 196.

из них не является ее *настоящим*, исконным именем.¹¹ На протяжении длинного эпилога к роману выясняется, что в жизни нет сферы, где девушка могла бы найти себя, – ни в семейной жизни, ни в придворной, ни даже в религиозной. Художественное чутье заставило Эжена Сю отказаться от соблазна завершить роман счастливым концом, но тем самым он практически признал *нежизнеспособность* проповедуемой им добродетели, внутреннюю несостоятельность той концепции человека, из которой он исходил.

Эта ложная концепция человека лежит и в основе социально-реформаторских идей Сю.

Ныне, на исходе XX века, критиковать «социализм» Эжена Сю – дело очень легкое: слишком очевидна утопичность, а то и буржуазность его упований на «союз труда и капитала», на улучшение нравов народа при сохранении его классового отчуждения. Как писал в своей статье о «Парижских тайнах» В. Белинский, автор романа «желал бы, чтобы народ не бедствовал и, перестав быть голодною, оборванною и частью поневоле преступною чернью, сделался сытою, опрятною и прилично себя ведущею чернью...».¹²

Впрочем, высокомерно отмахиваться с высоты нашего исторического опыта от утопий Эжена Сю было бы опрометчиво. С одной стороны, некоторые из этих утопий и по сей день составляют практическую, настоятельную – и, увы, труднодостижимую – цель в реальном социалистическом развитии общества: взять хотя бы справедливую оплату по труду (Букевальская ферма) или гуманизацию уголовных наказаний. А с другой стороны, некоторые из внутренних пороков, которыми страдают воззрения Сю и которые так наглядно выявились в несбалансированной художественной структуре его романа, оказались исторически живучими и не раз заявляли и заявляют о себе в неразвитых или догматизированных формах социалистической идеологии.

Во-первых, это представление о пластичности человеческой души. Если верить роману Сю, нет почти никаких препятствий к тому, чтобы из падшего, погрязшего в пороке существа сделать человека, одушевленного высокими идеалами добродетели. Стать порядочным – очень легко, это происходит как по волшебству; для необузданной и озлобленной Волчицы оказалось достаточно одного разговора по душам с Певуньей, для кровавого буйна Поножовщика (тут уж впору только улыбнуться) – хорошей трепки, полученной в честной драке с Родольфом. Признавая превосходство высших, божественных существ – Родольфа и его дочери, – люди «дна» охотно отрекаются не только от дурных наклонностей, но и от элементарной гордости и независимости. Резким возражением против таких механистических представлений о «переделке» человеческой души прозвучало уже в XIX веке творчество Достоевского; русский писатель упрекал современных ему социалистов именно в том, что они недооценивают сопротивляемость человека посторонним влияниям, его способность культивировать в себе даже заведомо злые, «подпольные» страсти, лишь бы отстоять свое право на «своеволие». Как литератор Достоевский многое взял у Эжена Сю – и общую форму социально-авантюрного романа, и драматическую его композицию, и даже некоторые частные сюжеты и мотивы (в «Неточке Незвановой» использован сюжет «Матильды»; семейство Мармеладовых в «Преступлении и наказании», с его катастрофической нищетой и вынужденным бесчестьем дочери, весьма напоминает семейство Морелей в «Парижских тайнах») – но в своем понимании человека он решительно противостоит иллюзиям французского романиста, предостерегает современников и потомков от благодушных упрощений.

Во-вторых, это нормативно-моральный подход к человеку. Выше уже сказано, что мир бедных, в представлении Сю, лишен какой-либо духовной самостоятельности по отношению к миру богатых – он всего лишь в большей степени страдает моральной испорченностью. Оттого общение Родольфа с этим миром – не равноправный диалог, а процесс сугубо односторонний.

¹¹ К тому времени, когда Певунья попала под опеку Феррана (с чего и начались ее злоключения), ей было уже шесть лет, и, надо полагать, все эти годы она носила какое-то имя; оно, однако, остается неизвестным, и Родольф даже не пытается его выяснить. Эта неувязка не выходит наружу и в эпилоге, когда героиня удаляется в монастырь: никто не задается вопросом, какое имя она получила при крещении и была ли она вообще крещена, — а ведь некрещеную вряд ли можно постричь в монахини, не говоря уже об избрании аббатисой!

¹² Белинский В. Г. Собрание сочинений. — М., 1981. — Т. 7. — С. 67.

Родольфу нечему учиться у людей «дна» (некоторые технические навыки вроде аргю в счет не идут), он может только сам учить, воспитывать и исправлять. Здесь и таится опасность: воспитание и исправление нравов оборачиваются нивелировкой, человеческие индивидуальности механически подгоняются под единый шаблон раскаяния и (в случае Сю) религиозного очищения, а все то, что составляло неповторимое лицо человека – пусть даже лицо «дикое», «варварское», неприемлемое для официальной морали, – отсекается и отбрасывается. Пренебрежение к культурной самобытности народа, класса неизбежно влечет за собой и пренебрежение к личной самобытности человека. Вот почему Маркс, защищая народ от буржуазных утопистов, навязывавших ему умозрительно-нормативные проекты общественного переустройства, одновременно критикует Эжена Сю с позиций *гуманизма*, отстаивая достоинство личности против нивелирующих, усредняющих тенденций, враждебных подлинной социалистической идее.

Наконец, в-третьих, упрощенно-механистическое представление о личности «воспитуемых» не может не сочетаться с возвеличением личности «воспитателя». Эжен Сю, как и многие ранние социалисты, не был «государственником», и большинство предлагаемых им реформ (кроме, разумеется, уголовно-правовых) носят внесударственный, внеполитический характер, должны осуществляться на началах общественной инициативы. Соответственно и герой-реформатор в его романе – частное лицо, иностранец, не обладающий во Франции никакой политической властью. Но несмотря на это, несмотря на более чем ограниченные масштабы проведенных Родольфом преобразований (одна образцовая ферма, один банк для бедных), его личность окружена мистическим ореолом, которого обычно удостоиваются только большие политические и религиозные вожди. За минувшие с тех пор полтора века история уже не раз показывала, насколько опасно это возвеличение вождя-преобразователя, как разрушительно оно действует даже на самые прогрессивные общественные движения. Тем любопытнее, что, представив своего Родольфа в двусмысленном облике «богодьявола», Эжен Сю сумел в какой-то мере художественно обозначить эту опасность.

Личность и общество, свободное развитие каждого и свободное развитие всех – эти проблемы, остро вставшие перед социалистической мыслью уже на раннем этапе ее развития, отразились и в романе Сю – отразились причудливо, противоречиво, даже мистифицированно. В «Парижских тайнах» нашли выражение не только утопические мечты писателя, но и мифы уже начинавшей складываться в те годы массовой культуры. (Соответственно среди последователей Сю оказались не только Достоевский или Виктор Гюго – автор «Отверженных», – но и Понсон дю Террайль с его откровенно развлекательными романами о Рокамболе.) Приходится даже признать, что чем больше возрастала, по мере развития сюжета, социальная «ангажированность» романа, тем сильнее сказывались в нем мелодраматические, нормативно-моралистические стереотипы. Здесь есть над чем задуматься исследователям литературы – ведь известно, что, к сожалению, так случалось и случается поныне с многими искренними, демократически мыслящими художниками. Но здесь есть и чисто практическая проблема – как читать сегодня «Парижские тайны»? Ныне вряд ли можно воспринимать этот роман вполне «всерьез», как ответственное художественное изложение социальной доктрины, – слишком очевидна условность авантюрного сюжета, в котором эта доктрина воплощена. С другой стороны, если видеть в романе Сю только увлекательную игру, только приключенческое повествование в духе сочинений Александра Дюма, то окажется, пожалуй, что романы Дюма все-таки лучше – и сколочены крепче, и, главное, не отягощены «излишними» рассуждениями и теориями. Интереснее и плодотворнее всего было бы читать «Парижские тайны» *критически*, памятуя и о серьезности авторских идеалов, и об их деформации в условном художественном мире, созданном по законам массовой беллетристики. Тогда в головокружительных похождениях герцога Родольфа нам, быть может, откроется сложное, драматическое становление великой общественной идеи, которая завещана нам XIX веком и осуществление которой стало нашей исторической судьбой.

С. Зенкин

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I КАБАК «БЕЛЫЙ КРОЛИК»

Тринадцатого ноября 1838 года, холодным дождливым вечером, атлетического сложения человек в сильно поношенной блузе перешел Сену по мосту Менял и углубился в лабиринт темных, узких, извилистых улочек Сите, который тянется от Дворца правосудия до собора Парижской богоматери.

Хотя квартал Дворца правосудия невелик и хорошо охраняется, он служит прибежищем и местом встреч всех парижских злоумышленников. Есть нечто странное или, скорее, фатальное в том, что этот грозный трибунал, который приговаривает преступников к тюрьме, каторге и эшафоту, притягивает их к себе как магнит.

Итак, в ту ночь ветер с силой врывался в зловещие улочки квартала; белесый, дрожащий свет фонарей, качавшихся под его порывами, отражался в грязной воде, текущей посреди покрытой слякотью мостовой.

Обшарпанные дома смотрели на улицу своими немногими окнами в тухлявых рамах почти без стекол. Темные крытые проходы вели к еще более темным, вонючим лестницам, настолько крутым, что подниматься по ним можно было лишь с помощью веревки, прикрепленной железными скобами к сырým стенам.

Первые этажи иных домов занимали лавчонки угольщиков, торговцев требухой или перекупщиков заваливавшегося мяса.

Несмотря на дешевизну этих товаров, витрины лавчонок были зарешечены: так боялись торговцы дерзких местных воров.

Человек, о котором идет речь, свернул на Бобовую улицу, расположенную в центре квартала, и сразу убавил шаг: он почувствовал себя в родной стихии.

Ночь была черна, дождь лил как из ведра, и сильные порывы ветра с водяными струями хлестали по стенам домов.

Вдалеке, на часах Дворца правосудия, пробило десять.

В крытых арочных входах, сумрачных и глубоких, как пещеры, прятались в ожидании клиентов гуляющие девицы и что-то тихонько напевали.

Одну из них, вероятно, знал мужчина, о котором мы только что говорили; неожиданно остановившись, он схватил ее за руку повыше локтя.

— Добрый вечер, Поножовщик!

Так был прозван на каторге этот недавно освобожденный преступник.

— А, это ты. Певунья, — сказал мужчина в блузе, — ты угостишь меня купоросом,¹³ а не то попляшешь без музыки!

— У меня нет денег, — ответила женщина, дрожа от страха, ибо этот человек наводил ужас на весь квартал.

— Если твой шмель отощал,¹⁴ Людоедка даст тебе денег под залог твоей хорошенькой рожицы.

— Господи! Ведь я уже должна ей за жилье и за одежду.

— А, ты еще смеешь рассуждать! — крикнул Поножовщик.

И наугад в темноте он так ударил кулаком несчастную, что она громко вскрикнула от боли.

— Это не в счет, девочка; всего только небольшой задаток...

Не успел злодей произнести эти слова, как вскрикнул, непристойно ругаясь:

— Кто-то уколол меня в руку; это ты поцарапала меня ножницами!

¹³ Водкой.

¹⁴ Если твой кошелек пуст.

Мы не долго будем злоупотреблять этим отвратительным жаргоном и ограничимся впоследствии лишь наиболее характерными его примерами.

Это примечание, как и все остальные, принадлежит автору романа.

Перевод арготических слов и выражений в 1-й и 2-й частях «Парижских тайн» сделан Я. З. Лесюком.

И, рассвирепев, он бросился вслед за Певуньей по темному проходу.

– Не подходи, не то я выколю тебе шары ножницами,¹⁵ – сказала она решительно. – Я ничего тебе не сделала плохого, за что ты ударил меня?

– погоди, сейчас узнаешь, – воскликнул разбойник, продвигаясь во мраке по проходу. – А! поймал! Теперь ты у меня попляшешь! – прибавил он, схватив своими ручищами чье-то хрупкое запястье.

– Нет, это ты попляшешь! – проговорил чей-то мужественный голос.

– Мужчина? Это ты, Краснорукий? Отвечай, да не сжимай так сильно руку... Я зашел в твой дом... Возможно, что это ты...

– Я не Краснорукий, – ответил тот же голос.

– Ладно, раз ты не друг, то наземь брызнет вишневый сок,¹⁶ – воскликнул Поножовщик. – Но чья же это рука, в точности похожая на женскую?

– А вот и другая, такая же, – ответил незнакомец.

И внезапно эта тонкая рука схватила Поножовщика, и он почувствовал, как твердые, словно стальные, пальцы сомкнулись вокруг его горла.

Певунья, прятаясь в конце крытого прохода, поспешно поднялась по лестнице и, задержавшись на минуту, крикнула своему защитнику:

– О, спасибо, сударь, что заступились за меня. Поножовщик хотел меня поколотить за то, что я не могу дать ему денег на водку. Я отомстила, но вряд ли сильно его поцарапала; ножницы у меня маленькие. Может, он и пошутил. Теперь же, когда я в безопасности, не связывайтесь с ним. Будьте осторожны: ведь это Поножовщик!

Видимо, этот человек внушал ей непреодолимый страх.

– Вы что ж, не поняли меня? Я сказала вам, что это Поножовщик! – повторила Певунья.

– А я громщик, и не из зябких,¹⁷ – ответил неизвестный.

Потом голоса смолкли. Слышался лишь шум ожесточенной борьбы.

– Видать, ты хочешь, чтоб я тебя остудил?¹⁸ – воскликнул разбойник, всячески пытаясь вырваться из рук своего противника, необычайная сила которого изумляла его. – погоди... погоди... Я заплачу тебе и за Певунью и за себя, – прибавил он, скрежеща зубами.

– Заплатишь кулачными ударами? Ну что ж... Сдача для тебя найдется... – ответил неизвестный.

– Отпусти горло, не то я откушу тебе нос, – прошептал Поножовщик сдавленным голосом.

– Нос у меня слишком мал, приятель, ты не разглядишь его в темноте!

– Тогда выйдем под висячий светник.¹⁹

– Идем, – согласился неизвестный, – посмотрим, кто кого.

И, подталкивая Поножовщика, которого он все еще держал за шиворот, неизвестный оттолкнул его к двери и с силой вытолкнул на улицу, слабо освещенную фонарем.

Разбойник споткнулся, но тут же выпрямился и яростно накинулся на незнакомца, стройная и тонкая фигура которого не предвещала проявленной им незаурядной силы.

После недолгой борьбы Поножовщик, человек атлетического сложения, весьма искушенный в кулачных боях, называемых в просторечии «саватой», нашел, как говорится, на себя управу...

Неизвестный с поразительным проворством дал ему подножку и дважды повалил на землю.

¹⁵ Я выколю тебе глаза своими ножницами.

¹⁶ Прольется кровь.

¹⁷ Разбойник, и не из трусливых.

¹⁸ Убил?

¹⁹ Фонарь.

Все еще не желая признать превосходство своего противника, Поножовщик снова напал на него, рыча от ярости.

Тут защитник Певунии внезапно изменил прием и обрушил на голову разбойника град ударов, да таких увесистых, словно они были нанесены железными рукавицами.

Этот прием, который вызвал бы восхищение и зависть самого Джека Тернера, прославленного лондонского боксера, был настолько чужд правилам «саваты», что оглушенный Поножовщик в третий раз рухнул на мостовую, прошептав:

– Ну, я накрылся.²⁰

– Ведь он же сдастся, сжальтесь над ним! Не приканчивайте его! – проговорила Певунья, которая во время этой драки робко вышла на порог дома Краснорукого. – Но кто ж вы такой, сударь? – спросила она с удивлением. – Ведь от улицы Святого Элигия до собора Парижской богородицы нет человека, который мог бы совладать с Поножовщиком, разве что Грамотей; спасибо, если бы не вы. Поножовщик наверняка избил бы меня.

Вместо того чтобы ответить девушке, неизвестный внимательно вслушивался в ее голос.

Никогда еще его слух не ласкал такой нежный, свежий, серебристый голосок. Он попытался разглядеть лицо Певунии, но ночь была слишком темна, а свет фонаря слишком слаб.

Пролежав несколько минут без движения. Поножовщик пошевелил ногами, затем руками и наконец приподнялся.

– Осторожно! – воскликнула Певунья, снова прячась в крытом проходе, куда она увлекла и своего покровителя. – Осторожно, как бы он не вздумал отомстить вам.

– Не беспокойся, девочка, если он захочет добавки, я могу еще раз угостить его.

Разбойник услышал эти слова.

– Спасибо... У меня и так башка как пивной котел, – сказал он неизвестному. – На сегодня с меня хватит. В другой раз не откажусь, если только разыщу тебя.

– А, тебе мало? Ты смеешь жаловаться? – угрожающе воскликнул неизвестный. – Разве я свергузил в драке?²¹

– Нет, нет, я не жалуюсь, ты угостил меня на славу... Ты еще молод, но куражу тебе не занимать, – сказал Поножовщик мрачно, но с тем уважением, какое физическая сила неизменно внушает людям его сорта. – Ты отколошматил меня за милую душу. Так вот, кроме Грамотея, который может заткнуть за пояс трех силачей, никто до сих пор, поверь, не мог похвалиться, что поставил меня на колени.

– Ну и что из этого?

– А то, что я нашел человека сильнее себя. Ты тоже найдешь такого не сегодня, так завтра... Всякий находит на себя управу... Ну, а коли не встретится такой человек, то есть всемогущий,²² так, по крайней мере, долбят хряки.²³ Ясно одно: теперь, когда ты положил Поножовщика на обе лопатки, можешь делать в Сите все что тебе вздумается. Все девки будут к твоим услугам: людоеды и людоедки не посмеют отказать тебе в кредите... Но кто ж ты, в конце концов? Ты знаешь музыку,²⁴ как свой брат. Если ты скокарь,²⁵ нам с тобой не по пути. Я одного малого пером исписал,²⁶ что правда, то правда. Стоит мне прийти в ярость, как кровь ударяет в голову, и я хватаюсь за нож... Зато я оплатил свою любовь поиграть ножом пятнадцатью годами

²⁰ Признаю себя побежденным, с меня довольно.

²¹ Нечестно дрался с тобой.

²² Бог.

²³ Священник.

²⁴ Ты говоришь на аргю.

²⁵ Вор.

²⁶ Зарезал человека.

кобылки.²⁷ Мой срок кончился, я освобожден, чист перед дворниками,²⁸ и я никогда не лямзил,²⁹ – спроси у Певуны.

– Правда, он не вор, – сказала девушка.

– В таком случае, пойдем выпьем по стаканчику, и ты узнаешь, кто я такой. Идем же и позабудем о драке.

– Ладно, позабудем о драке, ведь ты мой победитель, признаю это; ты здорово владеешь кулаками... А этот град ударов в конце! Дьявольщина! Как они были отработаны! Ничего похожего я еще не испытывал... Какой-то новый прием... Ты должен обучить меня.

– Ну что ж, попробуем еще разок, как только ты захочешь.

– Только не на мне, слышишь, не на мне! – воскликнул Поножовщик со смехом. – У меня до сих пор голова гудит. Значит, ты знаком с Красноруким, раз был в крытом проходе его дома!

– С Красноруким? – переспросил неизвестный, удивленный вопросом, и добавил равнодушно: – Понятия не имею, кто такой этот Краснорукий; вероятно, не он один живет в этом доме?

– Вот именно, что один... У Краснорукого есть причины не любить соседей, приятель, – сказал Поножовщик, как-то странно ухмыляясь.

– Что ж, тем лучше для него, – заметил неизвестный, которому, видно, претил этот разговор. – Для меня что Краснорукий, что Чернорукий – один черт. Я о таких и не слыхивал. Шел дождь, я забежал в какой-то проход, чтобы не промокнуть. Ты хотел побить эту несчастную девушку, а вышло, что я побил тебя, вот и весь сказ.

– Правильно, твои дела меня не касаются; те, кто нуждается в Красноруком, не кричат об этом на всех перекрестках. Позабудь о нем.

Обратившись затем к Певунье, он сказал:

– Честное слово, ты славная девушка: я шлепнул тебя, ты ударила меня ножницами – пошутили, и ладно. А ты хорошо сделала, что не подзуживала этого полоумного, когда я свалился к его ногам и мне уже было не до драки... Пойдешь выпить чего-нибудь с нами? Победитель платит! Кстати, приятель, – обратился он к неизвестному, – вместо того чтобы дерябнуть купоросу, не лучше ли скоротать вечеруху у хозяйки «Белого кролика»? Это недурной кабак.

– По рукам... я плачу за ужин. Пойдешь с нами. Певунья? – спросил он у девушки.

– Спасибо, сударь, – ответила она, – я была очень голодна, а от вашей потасовки меня чуть не стошнило.

– Полно, полно, аппетит приходит во время еды, – проговорил Поножовщик, – к тому же жратва в «Белом кролике» что надо.

И все трое в полном согласии направились в таверну.

Во время борьбы Поножовщика с неизвестным какой-то угольщик огромного роста, притаившийся в крытом проходе соседнего дома, с беспокойством наблюдал за дракой, не помогая, как мы знаем, ни одному из противников.

Неизвестный, Поножовщик и Певунья направились к таверне, угольщик последовал за ними.

Когда разбойник и Певунья вошли в кабачок, к неизвестному, шедшему последним, приблизился угольщик и сказал ему по-английски тихо, почтительно, но с явной укоризной:

– Будьте осторожны, монсеньор!

Неизвестный пожал плечами и присоединился к своим спутникам.

Угольщик остался на улице у двери кабака: напрягая слух, он время от времени поглядывал в щелку толстого слоя испанских белил, которыми в подобных заведениях покрывают внутреннюю сторону стекол.

²⁷ Каторги.

²⁸ Судьями.

²⁹ Не воровал.

Глава II ЛЮДОЕДКА

Кабак «Белый кролик», расположенный почти на середине Бобовой улицы, занимает нижний этаж высокого дома, фасад которого прорезан двумя опускными окнами.

Над дверью, ведущей в темный сводчатый проход, висит продолговатый фонарь, на треснутом стекле которого выведены красной краской следующие слова: «Здесь можно переночевать».

Поножовщик, неизвестный и Певунья вошли в таверну.

Представьте себе обширную залу под низким закопченным потолком с выступающими черными балками, освещенную красноватым светом дрянного кенкета. На оштукатуренных стенах видны кое-где непристойные рисунки и изречения на аргю.

Земляной пол, пропитанный селитрой, покрыт грязью; охапка соломы лежит вместо ковра у хозяйской стойки, находящейся справа от двери под кенкетом.

По бокам залы расставлены по шести столов, прочно приделанных к стенам, так же как и скамейки для посетителей. В глубине залы – дверь на кухню; справа от стойки выход в коридор, который ведет в трущобу, где постояльцы могут провести ночь за три су с человека.

Теперь несколько слов о Людоедке и о посетителях ее кабака.

Прозвище хозяйки – «Матушка Наседка»; у нее три занятия: сдавать койки бездомным, содержать кабак и давать напрокат одежду несчастным девушкам, которыми кишат эти омерзительные улицы.

Хозяйке лет сорок. Она высока ростом, крепка, дородна, красноморда, а на подбородке ее торчат жесткие волоски. Грубый голос Людоедки, ее толстые руки и широченные ладони говорят о незаурядной силе; поверх чепца она носит старый красно-желтый платок и завязывает на спине скрещенную на груди шаль из кроличьей шерсти; подол ее зеленого шерстяного платья доходит до черных сабо, не раз опаленных на жаровне, что стоит у ее ног; цвет лица Людоедки смуглый с багровым румянцем, говорящим о злоупотреблении ликерами. Плакированная свинцом стойка заставлена жбанами с набитыми на них металлическими обручами и разной величины оловянными кружками; рядом на полке бросаются в глаза несколько бутылок в виде фигуры Императора во весь рост. Налитые в них розовые или зеленые напитки с примесью спирта известны под названием «Идеальная любовь» и «Утешение».

Жирный черный кот с желтыми глазами, свернувшийся клубком возле хозяйки, кажется хранителем этих мест.

А в силу контраста, который показался бы немислимым всякому, кто не знает, что человеческая душа – книга за семью печатями, из-за старых часов с кукушкой торчит ветка освященного бокса, купленного Людоедкой в церкви в день светлого воскресения.

Двое мужчин в отрепьях, со зловещими рожами и взъерошенными бородами, почти не притронулись к поданному им вину; они переговаривались между собой, то и дело тревожно озираясь.

Один из них с очень бледным, почти бескровным лицом часто надвигал до самых бровей свой засаленный греческий колпак и тщательно прятал левую руку, стараясь по возможности скрыть ее, даже когда приходилось ею пользоваться.

Неподалеку от них сидел юноша, едва достигший шестнадцати лет, с безбородым, худым, болезненным лицом и угасшим взглядом; его длинные черные волосы падали на плечи: этот подросток – олицетворение ранних пороков – курил короткую пенковую трубку. Привалившись спиной к стене, заложив руки в карманы блузы и вытянув ноги вдоль скамьи, он вынимал изо рта трубку лишь для того, чтобы присосаться к горлышку стоящей перед ним бутылки водки.

Другие завсегдатаи кабачка – и мужчины и женщины – ничем не привлекали внимания; у одних были свирепые, у других отупевшие лица, здесь шло грубое, непристойное веселье, там стояла мрачная и гнетущая тишина.

Таковы были посетители кабака, когда неизвестный. Поножовщик и Певунья вошли в залу.

Все трое играют такую важную роль в нашем повествовании, характер каждого из них столь ярок и своеобразен, что мы более подробно остановимся на каждом из них.

Поножовщик – человек высокого роста и атлетического телосложения; у него светлые, белесоватые волосы, густые брови и огромные ярко-рыжие бакенбарды.

Загар, нищета, тяжкий труд на каторге придали лицу Поножовщика темный, желтовато-коричневый цвет, свойственный людям этого сорта.

Несмотря на устрашающее прозвище, черты его лица выражают не жестокость, а скорее необузданную отвагу, хотя задняя, чрезмерно развитая часть черепа свидетельствует о чувственности и склонности к убийству.

На Поножовщике потрепанная синяя блуза и плисовые штаны, видимо, бывшие некогда зелеными, ибо цвет их трудно различить под толстым слоем грязи.

В силу какой-то странной аномалии личико Певуны принадлежит к тому целомудренному, ангелоподобному типу, который остается неизменным среди разврата, как будто человеческое существо бессильно изгладить своими пороками печать благородства, запечатленную богом на челе иных избранных натур.

Певунье шестнадцать с половиной лет.

У нее чистый, белоснежный лоб и лицо безупречно овальной формы; длинные, слегка загнутые ресницы наполовину затеняют ее большие голубые глаза. Пушок ранней юности покрывает округлые румяные щеки. Ее алый ротик, тонкий и прямой нос, подбородок с ямочкой ласкают взор своим изяществом. На ее нежных, как атлас, висках закругляются две великолепные пепельные косы, которые, оставив на виду розоватые, как лепестки роз, мочки ушей, исчезают под тугими складками ситцевого платка в голубую клетку, завязанного по-простонародному надо лбом.

Ее красивая шейка ослепительной белизны охвачена маленьким коралловым ожерельем. Под платьем из коричневого бомбазина, слишком для нее широким, угадывается тонкая, округлая и гибкая, как тростник, талия, дешевенькая оранжевая шаль с зеленой бахромой перекрещивается на ее груди.

Голос Певуны недаром поразил ее неизвестного защитника. В самом деле, этот нежный, звонкий, мелодичный голос обладал такой чарующей силой, что проходимцы и падшие женщины, среди которых жила эта обездоленная девушка, нередко умоляли ее спеть что-нибудь, слушали песню, затаив дыхание, и прозвали девушку Певуньей.

У Певуны имелось еще одно прозвище, которым она была обязана девственной чистоте своего облика, а именно Лилия-Мария, что означает на жаргоне – Пречистая.

Попробуем передать читателю испытанное нами странное чувство, когда среди мерзких жаргонных слов, говорящих о краже, крови, убийстве, слов, еще более отвратительных и страшных, чем те понятия, которые они выражают, мы обнаружили метафору «Лилия-Мария», проникнутую поэзией и наивным благочестием.

Так и кажется, что видишь прекрасную лилию, расцветшую на ниве злодеяний и возносящую к небу свою белоснежную душистую чашечку!

Диковинный контраст, странная случайность! Создатели этого жуткого языка поднялись здесь до истинной поэзии, наделив особым очарованием тот образ, который жил в их душе.

Размышляя о других контрастах, которые нередко нарушают ужасающее однообразие жизни закоренелых преступников, невольно приходишь к мысли, что иные, так сказать, врожденные принципы морали и благочестия зажигают порой яркий свет в самых черных душах. Негодяи без проблеска человечности довольно редки.

Защитнику Певуны (назовем неизвестного Родольфом) было на вид лет тридцать пять – тридцать шесть; ни средний рост его, ни стройная, на редкость пропорциональная фигура не предвещали, казалось, той поразительной силы, которую он проявил в борьбе с атлетически сложенным Поножовщиком.

Определить подлинный характер Родольфа нелегко – столько странных противоречий в его внешности.

Черты его правильны, красивы, быть может, даже слишком красивы для мужчины.

Матовая бледность лица, большие желтовато-карие глаза, почти всегда полуприкрытые и окруженные синеватой тенью, небрежная походка, рассеянный взгляд, ироническая улыбка – все это, казалось, говорило о человеке пресыщенном, здоровье которого подорвано жизнью в роскоши и аристократическими излишествами.

И однако, своей изящной белой рукой Родольф только что сразил одного из самых сильных и грозных разбойников этого разбойничьего квартала.

Мы употребили выражение «аристократические излишества» потому, что опьянение благородным вином резко отличается от опьянения каким-нибудь отвратительным, смешанным со спиртом пойлом, словом, потому, что в глазах наблюдательного человека излишества различны не только по своим проявлениям, но и по самой природе и сущности.

Иные складки лба изобличали в Родольфе глубокого мыслителя, человека преимущественно созерцательного склада... и вместе с тем твердые очертания рта, властная, смелая посадка головы говорили о человеке действия, чья отвага и физическая сила неизменно оказывают неодолимое влияние на толпу.

Нередко в его глазах сквозила глубокая печаль, а выражение лица говорило о сердечном участии и трогательной жалости. А иной раз взгляд Родольфа становился хмурым, злым, в лице появлялось столько презрения и жестокости, что не верилось, будто этому человеку присущи добрые чувства.

Читатель узнает из продолжения этого повествования, какого рода события и мысли вызывали у Родольфа столь противоречивые чувства.

В борьбе с Поножовщиком он не проявил ни гнева, ни ненависти к недостойному противнику. Уверенный в своей силе, в своей ловкости и проворстве, он испытал лишь насмешливое презрение к неотесанному верзиле, который не мог противостоять ему.

В дополнение к портрету Родольфа скажем, что у него были светло-каштановые волосы такого же оттенка, как и дугообразные, благородного рисунка брови и тонкие, шелковистые усы; его немного выступавший вперед подбородок был тщательно выбрит.

Впрочем, благодаря тому, что Родольф прекрасно усвоил манеры и язык окружающей среды, он ничем не выделялся среди завсегдатаев Людоедки. Его шея столь же совершенной формы, что и у индийского Бахуса,³⁰ была небрежно повязана черным галстуком, концы которого ниспадали на выцветшую синюю блузу. Его грубые башмаки были снабжены двойным рядом шипов, словом, за исключением рук Родольфа с их редким изяществом, ничто во внешности этого человека не бросалось в глаза; только решительный вид и, если можно так выразиться, спокойная отвага выделяли его среди посетителей кабака.

Войдя в кабак, Поножовщик положил свою широкую волосатую руку на плечо Родольфа и провозгласил:

– Приветствуйте победителя Поножовщика!.. Да, друзья, этот молодчик только что отдубасил меня... Предупреждаю драчунов: не связывайтесь с ним, не то останетесь со сломанной поясницей или с расколотым кочаном.³¹ Грамотей и тот найдет на себя управу... Ручаюсь, голову даю на отсечение!

При этих словах все присутствующие – от хозяйки до последнего завсегдатая кабака – взглянули с робким уважением на победителя Поножовщика.

Одни, отодвинув стаканы и кувшины на середину стола, поспешили предложить место Родольфу на тот случай, если он пожелает сесть рядом с ними; другие подошли к Поножовщику, чтобы потихоньку вывести у него, кто этот незнакомец, что так победоносно появился в их кругу.

Наконец Людоедка обратилась к Родольфу с любезнейшей улыбкой и – вещь неслыханная, невообразимая, баснословная на пиршествах в «Белом кролике» – встала из-за стойки, чтобы выслушать пожелания своего гостя и узнать, что следует подать пришедшей с ним компании – та-

³⁰ Античные статуи Бахуса, установленные в Ватикане и в Лувре. (Примеч. перев.)

³¹ Головой.

кого внимания Людоедка никогда не оказывала даже пресловутому Грамотею, гнусному негодяю, наводившему страх на самого Поножовщика.

Один из двух мужчин, о которых мы уже говорили выше (человек с бескровным зловещим лицом, то и дело надвигавший на лоб свой греческий колпак и прятавший левую руку), наклонился к Людоедке, старательно вытиравшей стол, предназначенный Родольфу, и хрипло спросил:

– Грамотей не приходил сегодня?

– Нет, – ответила мамаша Наседка.

– А вчера?

– Вчера приходил.

– Один или со своей новой барулей?³²

– Это еще что? Уж не принимаешь ли ты меня за легавую?³³ Все спрашиваешь да выпрашиваешь! Неужто, по-твоему, я капаю³⁴ на своих клиентов? – грубо возразила хозяйка.

– У меня сегодня встреча с Грамотеем, – ответил разбойник. – Дельце одно наклеывается.

– Хорошенькое, видно, у вас дельце, мокрушники,³⁵ другого названия вам нет!

– Мокрушники! – раздраженно повторил ее собеседник. – А кто, как не они, кормят тебя.

– Заткнись! Оставь меня в покое! – вскричала Людоедка, угрожающе подняв над его головой жбан с вином.

Недовольно ворча, тот уселся на свое место.

Войдя в таверну Людоедки вслед за Поножовщиком, Лилия-Мария дружески кивнула юнцу с испитым лицом.

А Поножовщик сказал ему:

– Ну как, Крючок, ты по-прежнему хлещешь купорос?

– Да, по-прежнему. По мне, уж лучше не хрюпать вовсе и носить опорки на ходунах, чем обходиться без купороса в хомуте и бокуна в файке,³⁶ – ответил юнец надтреснутым голосом, не меняя позы и пуская густые клубы табачного дыма.

– Добрый вечер, мамаша Наседка, – проговорила Певунья.

– Добрый вечер, Лилия-Мария, – ответила Людоедка, подойдя к девушке, чтобы осмотреть одежду, которую позволила ей поносить. – Одно удовольствие давать тебе вещи напрокат... – сказала она хмуро, придирчиво оглядев несчастную, – ты чистенькая, как кошечка... Зато я уж нипочем не доверила бы эту красивую шаль таким негодницам, как Вертихвостка и Мартышка. Правда, это я натаскала тебя, когда ты вышла из тюрьмы... и, надо признаться, во всем старом городе нет у меня лучшей выученицы.

Певунья опустила голову и, казалось, отнюдь не была горда похвалами мамыши Наседки.

– Что это, мамаша, – обратился Родольф к Людоедке. – Никак, за вашими часами с кукушкой торчит ветка букса?

И он указал на освященную ветку, заложенную за старые часы.

– Да неужто мы должны жить как язычники? – простодушно заметила мерзкая баба.

Затем, обратившись к Марии, она спросила:

– Скажи-ка, Певунья, не споешь ли ты нам одну из своих песенок?

– Нет, нет, мамаша Наседка. Прежде всего мы поедим, – вмешался Поножовщик.

– Что прикажете подать вам, приятель? – спросила Людоедка у Родольфа, чье расположение ей хотелось завоевать, а может, и воспользоваться при случае его поддержкой.

³² Женой.

³³ Доносчицу.

³⁴ Я выдаю.

³⁵ Убийцы.

³⁶ Голодать и ходить в стоптанных башмаках, чем оставаться без водки и без табака в трубке.

– Спросите у Поножовщика, мамаша, он угощает, я плачу.
– Так чего ты хочешь на ужин, бездельник? – обратилась к нему хозяйка.
– Два литра вина по двенадцати сантимов, большую порцию бульонки³⁷ и три мягких краюхи хлеба, – сказал Поножовщик после недолгого размышления.
– Вижу, ты обжора, как и прежде. И всему предпочитаешь бульонку!
– Ну как, Певунья, – спросил Поножовщик, – ты еще не проголодалась?
– Нет, Поножовщик.
– Может быть, тебе заказать что-нибудь другое, детка? – спросил Родольф.
– О нет, спасибо... Мне все еще не хочется есть...
– Да взгляни ж ты на моего победителя, – проговорил с громким смехом Поножовщик, указывая на Родольфа. – Или ты не смеешь соорудить ему глазки?

Певунья ничего не ответила, покраснела и опустила голову.

Вскоре хозяйка собственноручно принесла и поставила на стол жбан вина, хлеб и миску бульонки – кушанье, которое мы не в силах описать, хотя оно, видимо, пришлось по вкусу Поножовщику.

– Что за блюдо! Клянусь богом! – воскликнул он. – Что за блюдо! Чего тут только нет, еда на все вкусы, и для скоромников и для постников, для сластен и для любителей соли и перца... Ребрышки дичи, рыбы хвосты, косточки от отбивных котлет, кусочки паштета, поджарка, овощи, головки вальдшнепов, сыр, зеленый салат, бисквит. Да ешь ты, Певунья... А как приготовлено! Уж не кутнула ли ты ненароком сегодня утром?

– Кутнула? Как бы не так! Я съела то же, что и всегда: на одно су молока и на одно су хлеба.

Появление в кабаке нового лица прервало все разговоры и всех заставило поднять головы.

Это был человек средних лет, крепко сбитый, подвижной, в куртке и фуражке. Знакомый с обычаями кабака, он заказал себе ужин на принятом здесь языке.

Хотя новоприбывший не принадлежал к завсегдатаям кабака, на него вскоре перестали обращать внимание: мнение о нем было составлено.

Чтобы узнать «своего» человека, разбойникам, как и честным людям, достаточно одного взгляда.

Вновь прибывший сел так, чтобы ему было удобно наблюдать за двумя субъектами со зловещими лицами, один из которых справлялся о Грамотее. Он и в самом деле не спускал с них глаз, но их столик стоял так, что они не замечали этой слежки за ними.

Временно прерванные разговоры возобновились. Несмотря на свою отвагу, Поножовщик обращался с Родольфом почтительно, не смел говорить ему «ты».

– Право слово, – сказал он Родольфу, – хотя я и получил хорошую трепку, а все же польщен, что встретился с вами.

– Потому, что заказанное блюдо пришлось тебе по вкусу?..

– Не только... Главное потому, что мне не терпится увидеть вашу потасовку с Грамотеем: он всегда избивал меня, и я буду рад... когда его тоже избьют.

– Вот еще, неужто ты думаешь, что ради твоего удовольствия я наброшусь, как бульдог, на Грамотея?

– Нет, он сам набросится на вас, как только узнает, что вы сильнее его, – ответил Поножовщик, потирая руки.

– У меня в запасе достаточно разменной монеты, чтобы выдать ему все, что полагается, – небрежно заметил Родольф и, помолчав, добавил: – Погода нынче стоит собачья... Не заказать ли нам водки с сахаром? Быть может, это воодушевит ее, и она споет нам что-нибудь...

– Дело подходящее, – согласился Поножовщик.

– А чтобы поближе познакомиться, мы откроем друг другу, кто мы такие, – предложил Родольф.

³⁷ Бульонка — мешанина из мясных, рыбных и других остатков со стола слуг аристократических домов. Нам не ловко приводить такие подробности, но они дают более полную картину подаваемых в кабаке блюд.

– Альбинос, – представился Поножовщик, – бывший каторжник, а теперь рабочий, выгружающий сплавной лес на набережной Святого Павла. Зимой мерзну, летом жарюсь на солнце – таковы мои дела, – заявил гость Родольфа, отдавая ему честь левой рукой. – Ну, а вы-то кто будете? – продолжал он. – Вы впервые объявились в здешних местах... и, не в обиду будь вам сказано, лихо обработали мою башку и лихо выбили барабанную дробь на моей шкуре. Батюшки мои! Какие это были тумак! Особенно последние... Не могу их забыть: как здорово все было проделано... Какой град ударов! Но у вас, верно, есть и другое дело, не только колошматить Поножовщика!

– Я мастер по раскраске вееров! А зовут меня Родольф.

– Мастер по веерам! Так вот почему у вас такие белые руки, – сказал Поножовщик. – Но если все ваши собраты похожи на вас, видать, это дело требует изрядной силы... А коли вы ремесленник, и конечно же честный, зачем пришли сюда, ведь в здешних местах бывают только воры, убийцы и бывшие каторжники вроде меня, потому как другие места нам заказаны?

– Я пришел сюда потому, что люблю хорошую компанию...

– Гм!.. Гм!.. – пробормотал Поножовщик, с сомнением качая головой. – Я встретил вас в крытом проходе дома Краснорукого; впрочем, молчу... Вы говорите, что не знакомы с ним?

– Долго ты еще будешь донимать меня своим Красноруким? Чтоб ему вечно гореть в адском пламени, если это придется по вкусу Люциферу.

– Ладно, приятель, вы, верно, мне не доверяете, может, вы и правы. Хотите, я расскажу вам свою историю?.. Но при условии, что вы научите меня наносить те удары, которыми закончилась моя взбучка... Мне это позарез нужно.

– Согласен, Поножовщик, ты расскажешь свою историю... а Певунья расскажет нам свою.

– Идет, – сказал Поножовщик, – погода стоит такая, что и полицейского не выманишь на улицу... Это нас позабавит... Ты не против, Певунья?

– Нет, только мне особенно нечего рассказывать... – ответила Лилия-Мария.

– И вы тоже расскажете нам о себе, приятель? – спросил Поножовщик.

– Да, я начну первый.

– Мастер по раскраске вееров, – проговорила Певунья, – какое хорошее ремесло.

– А сколько вы получаете за свои веера? – спросил Поножовщик.

– Я работаю сдельно, – ответил Родольф. – Если повезет, выколачиваю четыре, а то и пять франков в день, но это летом, когда долго бывает светло.

– И вы часто погуливаете, бездельник?

– Да, когда я при деньгах, то трачу немало: во-первых, шесть су за ночь в меблированной комнате.

– Я не ослышался, монсеньор... вы платите шесть су за ночь! – проговорил Поножовщик, прикладывая руку к шапке...

Обращение «монсеньор», прозвучавшее иронически в устах Поножовщика, заставило улыбнуться Родольфа.

– Да, я люблю удобства и чистоту, – продолжал он.

– Поглядите на этого пэра, на этого банкира, на этого богача! – вскричал Поножовщик. – Он платит шесть су за ночлег!

– Кроме того, – продолжал Родольф, – я трачу четыре су на табак, выходит уже десять су; четыре су – за завтрак, четырнадцать – пятнадцать су – за обед, одно или два су за водку, словом, около тридцати су в день. Мне не приходится работать всю неделю напролет: в свободное время я кучу.

– А ваша семья? – спросила Певунья.

– Мои родители умерли от холеры.

– А кем они были? – спросила Певунья.

– Старьевщиками, торговали старым тряпьем на Главном Рынке.

– И за сколько вы продали их дело? – спросил Поножовщик.

– Я был тогда слишком молод, все продал мой опекун. Когда я стал совершеннолетним, мне еще пришлось вернуть ему тридцать франков... Вот и все мое наследство.

– А на кого же вы работаете?

– Мою обезьяну³⁸ зовут Борель с улицы Бурдонне. Болван и притом груб; вороват и скуп. Ему легче потерять глаз, чем расплатиться со своими работниками. Таковы его приметы. Если он заблудится, не разыскивайте его, пропади он пропадом. Я учился у него своему ремеслу с пятнадцати лет; в армии я не служил: вытянул счастливый номер. Живу я в старом еврейском квартале, в комнате на пятом этаже, окнами на улицу; зовут меня Родольф Дюран... Вот и вся моя история.

– А теперь твой черед, Певунья, – сказал Поножовщик, – свою историю я оставлю на закуску.

Глава III ИСТОРИЯ ПЕВУНЬИ

– Начнем с самого начала, – сказал Поножовщик.

– Да... с твоих родителей! – подхватил Родольф.

– Я их не знаю... – ответила Лилия-Мария.

– Как так? – вырвалось у Поножовщика.

– Я о них слыхом не слыхала. Меня нашли в капусте, как говорят маленьким детям.

– Ну и ну! Выходит, Певунья, мы с тобой из одного семейства!..

– У тебя тоже не было дома, Поножовщик?

– Я сирота, и дом мой – парижские улицы, как, верно, и у тебя, дочка.

– А кто же воспитал тебя, Певунья? – спросил Родольф.

– Сама не знаю, сударь... Сколько я себя ни помню, кажется, мне было лет семь-восемь, я жила с одноглазой старухой. Ее прозвали Сычихой из-за крючковатого носа и единственного круглого зеленого глаза, как у окривевшей птицы.

– Ха!.. Ха!.. Ха!.. Я так и вижу эту стерву, – вскричал, смеясь, Поножовщик.

– По вечерам одноглазая старуха, – продолжала Лилия-Мария, – посылала меня для вида продавать леденцы на Новом мосту, а на самом деле заставляла просить милостыню... Если я собирала меньше десяти су, она била меня и морила голодом.

– Понятно, дочка, – сказал Поножовщик, – пинок вместо хлеба и несколько подзатыльников в придачу.

– Бог ты мой, так я и жила...

– А ты уверена, что эта женщина не была твоей матерью? – спросил Родольф.

– Понятно, уверена: Сычиха то и дело попрекала меня, что я круглая сирота, что нет у меня ни отца, ни матери; клялась, будто подобрала меня на улице.

– Итак, – сказал Поножовщик, – ты получала вместо еды колотушки, если приносила домой меньше десяти су!

– На ночь я выпивала стакан воды и зарывалась в охапку соломы, брошенную Сычихой прямо на пол; говорят, будто солома греет. Какое там! Иной раз я всю ночь напролет дрожала от холода.

– Еще бы, эти перья из босса³⁹ холодят, как лед, ты права, милочка, – воскликнул Поножовщик, – навоз во сто крат лучше! Но люди воруют он него нос: подстилка, мол, не первой свежести: побывала в брюхе животного.

Эта шутка вызвала улыбку на губах Лилии-Марии.

– Утром Сычиха давала мне с собой немного еды. Сразу на завтрак и обед, и посылала на Монфокон за червями для наживки: ведь, кроме всего, она торговала удочками под мостом Парижской богоматери... А дорога от Дробильной улицы, где мы жили, до Монфокона не близкая... особенно для голодного и озябшего семилетнего ребенка.

³⁸ Хозяина.

³⁹ Соломы.

– Ходьба укрепила тебя, и ты выросла прямая, как тростинка, тебе не на что жаловаться, доченька, – сказал Поножовщик, высекая искру из огнива, чтобы раскурить трубку.

– Домой я возвращалась очень усталая, – продолжала свой рассказ Певунья. – Тогда около полудня Сычиха давала мне еще кусочек хлеба.

– От такого поста, дочка, талия у тебя стала тонкая, как у осы, не стоит жаловаться, – заметил Поножовщик, делая несколько глубоких затяжек. – Но что это с вами, приятель? Простите, я хотел сказать, господин Родольф; вид у вас какой-то чудной... Неужто из-за того, что эта девчонка столько намыкалась? Право... все мы намыкались, все жили в нищете.

– О, я ручаюсь, Поножовщик, что у тебя было меньше бед, чем у меня, – проговорила Лилия-Мария.

– У меня, Певунья? Да знаешь ли ты, девочка, что ты жила как королева, по сравнению со мной! По крайней мере, в детстве ты спала на соломе и ела хлеб!.. Я же, когда повезет, проводил ночи в Клиши, в печи для обжига гипса, как настоящий шатун,⁴⁰ а голод утолял капустными листьями, что валяются возле придорожных тумб. Но идти в Клиши было далеко, а от голода у меня подгибались ноги, и чаще всего я спал под колоннами Лувра... зимой же просыпался иной раз под белыми простынями... когда шел снег.

– Мужчина куда выносливее, чем бедная худенькая девочка, – сказала Лилия-Мария, – к тому же я была маленькая, как воробышек...

– И ты еще помнишь об этом?

– Еще бы! Когда Сычиха принималась бить меня, я падала с первого же удара; тогда она пинала меня ногами, приговаривая: «У этой дуры сил ни на грош, она валится от одного щелчка». Старуха вечно звала меня воровкой, другого, настоящего имени, у меня не было, а Воровкой она меня сама окрестила.

– То же было и со мной, меня звали как придется, словно я был бездомным псом: мальчик, Альбинос, как тебя там. Поразительно, до чего у нас с тобой похожая судьба, дочка! – воскликнул Поножовщик.

– Это правда... если говорить о нищете, – сказала Лилия-Мария, все время обращаясь к Поножовщику.

Помимо воли она испытывала чувство, похожее на стыд, в присутствии Родольфа, и едва осмеливалась поднять на него глаза, хотя он, по-видимому, принадлежал к тем людям, среди которых она выросла.

– А что ты делала, когда Сычиха не посылала тебя за червями? – спросил Поножовщик.

– Одноглазая заставляла меня просить милостыню до самой ночи неподалеку от нее: ведь по вечерам она варила на Новом мосту большие ячменные леденцы. О, тогда о куске хлеба нечего было и думать! Если я, на свое горе, просила есть, Сычиха говорила, сопровождая свои слова колотушками: «Когда ты наберешь десять су милостыни, Воровка, я дам тебе поужинать». Иной раз от голода и побоев я принималась громко плакать. Одноглазая вешала мне на шею лоток с леденцами для продажи и заставляла стоять на месте неподалеку от нее. Сколько я там слез пролила, как дрожала от холода и голода!

– В точности как я, доченька, – сказал Поножовщик, прерывая Певунью, – кто бы мог подумать, что от голода дрожишь так же, как от холода.

– Словом, я оставалась на Новом мосту до одиннадцати часов вечера со своей выставкой леденцов на шее. Мои слезы... часто трогали прохожих, и я набирала иной раз десять, а то и пятнадцать су, которые и отдавала Сычихе.

– В самом деле, пятнадцать су – знатная выручка для такого воробышка, как ты!

– Еще бы! Но, видя это...

– Одним глазом, – заметил, смеясь, Поножовщик.

– Конечно, ведь другого у нее не было... Сычиха взяла за привычку бить меня и перед тем, как нам с ней идти на Новый мост, чтобы мои слезы вызывали жалость прохожих и увеличивали подавание.

⁴⁰ Бродяга.

– Это было не так уж глупо.

– Ты думаешь, Поножовщик? В конце концов я притерпелась к побоям; я видела, что Сычиха злится, если я не плачу, и, чтобы досадить ей, чем больнее она меня била, тем громче я смеялась, а по вечерам, вместо того чтобы обливаться слезами при продаже леденцов, я пела как жаворонок, хотя мне вовсе не хотелось... петь.

– Скажи-ка... эти леденцы... они, верно, очень соблазняли тебя, бедная моя Певунья?

– Еще бы, Поножовщик; и все же я ни разу не попробовала их. Но какой это был соблазн!.. Он-то и погубил меня... Однажды, когда я шла домой с Монфокона, какие-то мальчишки побили меня и утащили мою корзинку. Возвращаясь домой, я знала, что меня ожидают колотушки, а не корка хлеба. Вечером, до того как отправиться на мост, Сычиха, разъяренная тем, что накануне я ничего не собрала, принялась не бить меня, как обычно, а истязать до крови, вырывая у меня волосы на висках – место это самое чувствительное.

– Дьявольщина! Ну это уж слишком! – вскричал разбойник, сдвинув брови и ударяя кулаком по столу. – Бить ребенка – это не по мне... а истязать его... Чертова баба!

Родольф внимательно выслушал рассказ Лилии-Марии и теперь с удивлением смотрел на Поножовщика. Этот проблеск чувствительности удивлял его.

– Что с тобой, Поножовщик? – спросил он.

– Что со мной? Как, разве вас не трогает, что эта старая живодерка мучает ребенка? Неужто душа у вас такая же жесткая, как кулаки?

– Продолжай, девочка, – сказал Родольф, не отвечая на слова Поножовщика.

– Я уже говорила вам, что Сычиха тиранила меня, ей хотелось, чтобы я плакала; но меня это озлобило, и однажды, чтобы вывести ее из себя, я со смехом пришла на мост со своими леденцами. Одноглазая стояла у печки... И время от времени показывала мне кулак. А вместо того, чтобы плакать, я запела громче обычного, а между тем от голода у меня кишки свело. Я полгода продавала леденцы и ни разу их не попробовала. Ей-богу, в тот день я не удержалась... Отчасти от голода, отчасти чтобы позлить Сычиху, я беру один леденец и съедаю его.

– Bravo, дочка!

– Съедаю еще один.

– Bravo, да здравствует хартия!!!⁴¹

– Леденцы казались мне такими вкусными! А тут торговка апельсинами принимается кричать: «Эй, Сычиха! Воровка поедает твои запасы!»

– Дьявольщина! Каша заваривается... заваривается каша, – проговорил Поножовщик, чрезвычайно заинтересованный рассказом. – Бедная мышка! Как ты небось задрожала, когда Сычиха заметила, что ты делаешь.

– Как же ты вышла из положения, бедная Певунья? – спросил Родольф, не менее заинтересованный, чем Поножовщик.

– Да, мне пришлось несладко! Но самое забавное, что одноглазая не могла отойти от своего варева, – проговорила, смеясь, Лилия-Мария, – хотя она и злобствовала, видя, что я поедаю ее леденцы.

– Ха!.. Ха!.. Ха!.. Что правда, то правда. Вот так положение! – воскликнул, хохоча, Поножовщик.

Посмеявшись вместе с ним, Лилия-Мария продолжала:

– Тут я подумала о побоях, которые меня ожидают, и сказала себе: «Плывать, все равно мне быть битой, что за один леденец, что за три». Беру третий леденец, вижу, что Сычиха издали угрожает мне своей большой железной вилкой... я помахиваю леденцом и съедаю его, ей-богу, не вру, у нее под носом.

– Bravo, дочка!.. Понимаю теперь, почему ты только что уколола меня ножницами... Полно, полно, я уже говорил об этом – смелости тебе не занимать. Но после твоей проделки Сычиха, видно, собралась живьем содрать с тебя кожу?

⁴¹ Имеется в виду Конституционная хартия 1814 г., которая приобрела особое значение после ее пересмотра в 1830 г. (Примеч. перев.)

– Загасив свою печурку, она подходит ко мне... Милостыни я собрала на три су, а леденцов съела на целых шесть... Когда одноглазая взяла меня за руку, чтобы отвести домой, мне показалось, что я упаду, до того мне было страшно... я помню тот вечер так ясно, словно наблюдала за собой со стороны... Как раз приближался Новый год. Ты знаешь, сколько лавок с игрушками на Новом мосту? Весь вечер у меня рябило в глазах... только оттого, что я любовалась на красивых кукол, на их красивые домики... Подумай, как это занятно для ребенка...

– А у тебя никогда не было игрушек, Певунья?

– У меня? Ну и балда же ты!.. Да кто бы мне подарил их? Наконец вечер кончился; хотя стояла зима, на мне не было ни чулок, ни рубашки, одно только поношенное полотняное платье да сабо на ногах. Право, я не задыхалась от жары. Так вот, когда одноглазая взяла меня за руку, я вся вспотела. Больше всего меня пугало, что всю дорогу Сычиха что-то бубнила себе под нос, а не ругалась, не орала, как обычно... Она только крепко держала меня за руку и заставляла идти быстро, так быстро, что мне приходилось бежать за ней. По дороге я потеряла сабо, но не смела сказать ей об этом и бежала дальше, ступая по тротуару босой ногой... Когда мы вернулись домой, вся нога у меня была в крови.

– Что за сволочь эта старуха! – вскричал Поножовщик, гневно ударяя кулаком по столу. – У меня сердце надрывается, как подумаю, что девчужка семенит за этой стервой, несмотря на свою окровавленную ногу.

– Мы жили на Дробильной улице... на чердаке. Внизу, рядом с входной дверью, помещался ликерщик. Сычиха входит к нему, по-прежнему держа меня за руку, и выпивает за стойкой полштофа водки.

– Черт возьми! Да если бы я столько выпил, то сразу бы окосел.

– Это была ее обычная порция. Недаром она ложилась спать вдрызг пьяная. Поэтому, наверно, она так больно била меня по вечерам. Поднимаемся к себе. Мне было невесело, можешь мне поверить. Сычиха запирает дверь на два поворота ключа: я бросаюсь к ее ногам и умоляю простить меня за то, что съела ее леденцы. Она не отвечает, и я слышу, как она бормочет, расхаживая по комнате: «Что мне сделать с ней сегодня вечером, с этой воровкой леденцов? Что мне такое с ней сделать?» Она останавливается и смотрит на меня, вращая своим зеленым глазом... Я все еще стою на коленях. Внезапно кривая подходит к полке и берет клещи.

– Клещи! – воскликнул Поножовщик.

– Да, клещи.

– Для чего?

– Чтобы бить тебя? – говорит Родольф.

– Чтобы щипать тебя? – говорит Поножовщик.

– Как бы не так!

– Чтобы вырывать у тебя по волоску?

– Не отгадали! Да и не пробуйте!

– Сдаюсь.

– Сдаемся.

– Чтобы вырвать у меня зуб.⁴²

Поножовщик разразился такими ругательствами, такими яростными проклятиями, что посетители кабака взглянули на него с удивлением.

– В чем дело? Что с ним такое? – спросила Певунья.

– Что со мной?.. Да ее вглухую,⁴³ эту Сычиху, стоит ей попасть мне в руки!.. Где она? Скажи, Певунья, где она? Только бы мне найти эту чертовку, и я враз ее остужу.⁴⁴

⁴² Мы просим читателей, которые найдут эти жестокости неправдоподобными, помнить о почти ежегодных приговорах, выносимых озверевшим людям, которые бьют, истязают детей. Даже отцы и матери не чужды этим зверствам.

⁴³ Зарежу!

⁴⁴ Убью!

Глаза разбойника налились кровью.

Разделяя чувства Поножовщика, возбужденного жестокостью одноглазой, Родольф был поражен, что бывший убийца пришел в такое неистовство, услышав, что разъяренная старуха собирается вырвать зуб у ребенка.

Нам кажется, что такое чувство возможно, более того, вполне вероятно у жестокого человека.

– И что же, эта старая хрычовка все же вырвала у тебя зуб, бедная девочка? – спросил Родольф.

– Еще бы, конечно, вырвала!.. Но не сразу! Боже мой! Как она корпела надо мной! Голову мою она зажала между коленями точно в тисках. Наконец, с помощью клещей и пальцев, она вытащила у меня зуб, а затем сказала, верно, чтобы напугать меня: «Теперь я буду каждый день вырывать у тебя по зубу, Воровка; а когда ты останешься без зубов, я брошу тебя в воду, и тебя съедят рыбы; они отомстят тебе за то, что ты ходила за червями для наживки». Я вспоминаю об этом, потому что такая месть показалась мне несправедливой. Как будто я ходила за червями для своего удовольствия.

– Что за подлюга! – вскричал с еще большей яростью Поножовщик. – Ломать, рвать зубы у ребенка!

– Что ж тут такого? Смотри, ведь теперь ничего не заметно? – проговорила Лилия-Мария.

И, улыбнувшись, она приоткрыла свои розовые губки и показала два ряда маленьких зубов, белых, как жемчужины.

Чем был вызван этот ответ несчастной Певуны? Беззаботностью, забывчивостью, великодушием? Родольф заметил также, что в ее рассказе не было ни слова ненависти к ужасной женщине, мучившей ее в детстве.

– И что ж ты сделала на следующий день? – спросил Поножовщик.

– Право, я была вконец измучена. Наутро, вместо того, чтобы идти за червями, я побежала в сторону Пантеона и шла весь день в одном и том же направлении, до того я боялась Сычихи. Я готова была отправиться на край света, лишь бы не попасть к ней в лапы. Очутилась я на глухой окраине, где не у кого было попросить милостыни, да я и не осмелилась бы это сделать. Ночь я провела на складе среди штабелей дров. Я была маленькая, как мышка, подлезла под старые ворота и зарылась в кучу древесной коры. Мне так хотелось есть, что я принялась жевать тоненькую стружку, чтобы обмануть голод, но она оказалась слишком жесткой. Мне удалось откусить лишь кусочек березовой коры; березовая кора помягче. И тут я заснула. На рассвете я услышала какой-то шум и заползла дальше в глубь склада. Там было почти жарко, как в подвале. Если бы не голод, я еще никогда не чувствовала себя так хорошо зимой.

– В точности как я в моей гипсовой печи.

– Я не смела выйти со склада: боялась, что Сычиха разыскивает меня, чтобы вырвать мне зубы, а затем бросить в воду на съедение рыбам, и она, конечно, поймает меня, как только я сойду с места.

– Прошу, не говори больше об этой старой ведьме; у меня глаза наливаются кровью!

– Наконец, на другой день, я опять пожевала немного березовой коры и уже стала засыпать, когда меня внезапно разбудил громкий собачий лай. Прислушиваюсь... Собака продолжает лаять, приближаясь к штабелю дров, где я спряталась. Новая напасть! К счастью, собака, не знаю почему, не появлялась... Но ты будешь смеяться, Поножовщик.

– С тобой всегда можно посмеяться... Ты все же славная девочка. И ей-богу, я жалею, что ударил тебя.

– А почему тебе было и не ударить меня? Ведь у меня нет защитника.

– А я? – спросил Родольф.

– Вы очень добры, господин Родольф, но Поножовщик не знал, что вы окажетесь там... да и я не знала.

– Все равно от своих слов я не откажусь... Очень жалею, что ударил тебя, – повторил Поножовщик.

– Продолжай свой рассказ, детка, – сказал Родольф.

– Итак, я лежала, притулившись под штабелем дров, когда залаяла собака и чей-то грубый голос сказал: «Моя собака лает, кто-то спрятался на складе». – «Наверно, воры», – говорит другой голос. И оба они начинают наускивать собаку: «Пиль! Пиль!»

Собака бежит прямо на меня; испугавшись, я закричала что есть мочи. «Что это? – говорит первый голос, – как будто ребенок кричит...» Мужчины отзывают собаку, идут за фонарем, я выхожу из своего убежища и оказываюсь лицом к лицу с толстым мужчиной и с рабочим в блузе. «Что ты делаешь на моем складе, воровка?» – злобно спрашивает толстый человек. «Мой добрый господин, я не ела уже два дня; я убежала от Сычихи, которая вырвала у меня зуб и хотела бросить в реку на съедение рыбам; мне негде было переночевать, я подлезла под ваши ворота и проспала ночь на куче коры под вашими штабелями; я никому не хотела причинить зла».

Тут торговец говорит рабочему: «Меня такими рассказами не проведешь, эта девчонка – воровка, она пришла воровать мои дрова».

– Ах он старый осел, старый болван! – вскричал Поножовщик. – Воровать его поленья, а тебе было всего восемь лет!

– Конечно, он сказал глупость... Рабочий правильно ответил: «Воровать ваши дрова, хозяйин? Да откуда у нее силы возьмутся? Она меньше самого мелкого вашего полешка». – «Ты прав, – говорит толстяк. – Но воры часто учат детей шпионить за богатыми людьми и даже прятаться в их домах, чтобы ночью открывать входные двери своим сообщникам. Надо отвести ее в полицию».

– Ну и дурак стоеросовый этот торговец...

– Меня отводят в полицию. Я рассказываю все по порядку, выдаю себя за бродяжку; меня сажают в тюрьму, а затем уголовный суд отправляет меня за бродяжничество в исправительное заведение, где я должна пробыть до шестнадцати лет. Я горячо благодарю судей за их доброту... Еще бы... Понимаешь, в тюрьме меня кормили, никто не бил меня, это был рай по сравнению с чердаком Сычихи. Кроме того, в тюрьме я научилась шить. Но вот беда: я ленилась и любила бездельничать, мне нравилось петь, а не работать, особенно когда светило солнышко... О, если на дворе было ясно, тепло, я не могла удержаться и принималась петь... и тогда... как это ни странно, мне чудилось, что я на воле.

– Иначе говоря, деточка, ты прирожденный соловей, – сказал Родольф улыбаясь.

– Вы очень любезны, господин Родольф; с того времени меня стали звать Певуньей, а не Воровкой. Наконец мне исполняется шестнадцать лет, я выхожу из тюрьмы... За ее воротами меня встречает здешняя Людоедка и две-три старухи, которые навещали некоторых заключенных, моих приятельниц, и всегда говорили мне, что в день моего освобождения у них найдется для меня работа.

– А, вот оно что! Понимаю, – пробормотал Поножовщик.

– «Принцесса, ангелочек, красotka, – сказали мне Людоедка и старухи. – Хотите поселиться у нас? Мы оденем вас, как куколку, и вы ничего не будете делать, только веселиться». Ты смекаешь, Поножовщик, что я не зря провела восемь лет в тюрьме и понимала, что к чему. Я их послала к черту, этих старых сводниц, и сказала себе: «Я хорошо умею шить, скопила за это время триста франков, и я еще молода...»

– Да, молода и красива... дочка, – сказал Поножовщик.

– Я провела в тюрьме восемь лет и теперь хочу попользоваться жизнью, ведь это никому не повредит; а когда деньги кончатся, то и работа найдется... И я начинаю сорить деньгами. Это была большая ошибка, – прибавила Лилия-Мария со вздохом, – прежде всего мне надо было обеспечить себя работой... Но дать мне совет было некому... Словом, что сделано, то сделано... Итак, я принимаюсь тратить деньги. Прежде всего покупаю цветов, чтобы украсить свою комнату; я так люблю цветы! Потом покупаю платье, красивую шляпу и еду на осле в Булонский лес, еду в Сен-Жермен – тоже на осле.

– Небось с любовником, дочка? – спросил Поножовщик.

– Бог ты мой, нет; мне хотелось быть самостоятельной. Мы развлекались с моей товаркой по тюрьме, которая попала туда из воспитательного дома, хорошей такой девчонкой; ее звали по-разному, кто Риголеттой, кто Хохотушкой, потому что она постоянно смеялась.

– Риголетта? Хохотушка? Что-то не припомню такой, – сказал Поножовщик, видимо, роясь в своих воспоминаниях.

– Еще бы, конечно, ты ее не знаешь: Хохотушка – честная девушка; она превосходная швея и теперь зарабатывает не меньше двадцати пяти су в день; и у нее собственное гнездышко... Вот почему я больше не посмела увидеться с ней. Я так усердно сорила деньгами, что под конец у меня осталось всего сорок три франка.

– На эти деньги тебе следовало купить ювелирный магазин, – пошутил Поножовщик.

– Признаться, я поступила лучше... Белье мне стирала женщина, родом из Лотарингии, кроткая, как овечка; в то время она была на сносях... А из-за своей работы ей вечно приходилось вalandаться в воде... Представляешь? Работать прачкой она больше не может и просит принять ее в Бурб; мест там больше нет, и она получает отказ; бедняжка должна вот-вот родить, заработка больше нет, она даже не может заплатить за койку в меблированных комнатах! К счастью, как-то вечером она случайно встречает у моста Парижской богоматери жену Губена, которая уже четыре дня прячется в подвале полуразрушенного дома, что находится позади больницы Отель-Дьё.

– А почему жена Губена должна была прятаться?

– Она боялась мужа, который хотел убить ее, и выходила только по ночам, чтобы купить себе хлеба. Таким образом она повстречала бывшую прачку, которая не знала, где приклонить голову, а ведь она скоро должна была родить... Жена Губена привела ее к себе в подвал. Все же это была крыша над головой.

– Погоди, погоди, жену Губена зовут Эльминой?

– Да, славная она женщина и хорошая портниха, – ответила Певунья, – она шила на меня и на Хохотушку... Словом, она сделала, что могла: отдала половину своего подвала, соломенной подстилки и хлеба бывшей прачке, которая родила там крохотного, жалкого ребеночка; а у женщин нет даже одеяла, чтобы завернуть его, ничего нет, кроме соломы!.. Тогда жена Губена не выдержала. Рискую встретить мужа, который повсюду разыскивал ее, она вышла среди бела дня на улицу, чтобы повидаться со мной; она знала, что у меня осталось еще немного денег и что я не жадная: как раз мы с Хохотушкой собирались сесть на аглицкую кабарлетку⁴⁵ и истратить мои последние сорок три франка на поездку за город, в поля, я так люблю деревню, люблю смотреть на деревья... траву... Но когда Эльмина рассказала мне о несчастье с прачкой, я отослала кабарлетку, бегом вернулась к себе домой, взяла постельное белье, матрац, одеяла, вызвала носильщика и поспешила с ним в подвал к жене Губена... Вы бы видели, как была довольна бедная роженица. Мы с Эльминой попеременно ухаживали за ней, а когда она поправилась, я помогала ей до тех пор, пока она не вернулась на свою прежнюю работу. Теперь она зарабатывает себе на жизнь, но мне никак не удастся всучить ей счет за стирку моего белья! Я прекрасно понимаю, что таким образом она хочет расплатиться со мной!.. Но... если так будет продолжаться, я откажусь от ее услуг, – важно проговорила Певунья.

– А что случилось с женой Губена?

– Как, ты не знаешь? – спросила Певунья.

– Нет, а в чем дело?

– Несчастная женщина!.. Губен не промахнулся! Трижды всадил ей нож между лопатками! Он узнал, что ее видели возле больницы Отель-Дьё; как-то вечером подстерег ее, когда она вышла из подвала, чтобы купить молока для роженицы, и убил ее.

– Так, значит, ему амба⁴⁶ и, видно, через неделю его чикнут.⁴⁷

– Вот именно.

– И что же ты сделала, девочка, когда истратила на роженицу свои последние деньги? –

⁴⁵ Наемный кабриолет на четырех колесах.

⁴⁶ Конец.

⁴⁷ Казнят.

спросил Родольф.

– Я попробовала найти работу. Я хорошо умела шить, была предприимчивой, чувствовала себя уверенно; вхожу в белошвейную мастерскую на улице Святого Мартина. Мне не хотелось быть обманщицей; я говорю, что два месяца назад вышла из тюрьмы и ищу работу; мне указывают на дверь. Я прошу дать мне на пробу какое-нибудь шитье; хозяйка мастерской отвечает, что она не доверит мне даже рубашки, а просить об этом – значит считать ее за дуру. Когда я, убитая, возвращалась домой... мне повстречалась Людоедка и одна из старух, которые всегда приставали ко мне после выхода из тюрьмы... Я не знала, как жить дальше... Они увезли меня... напоили водкой!.. Вот и все.

– Понимаю, – сказал Поножовщик, – теперь я знаю тебя так же хорошо, как если был бы сразу твоим отцом и матерью и ты никогда не покидала бы меня. Вот это исповедь так исповедь!

– Можно подумать, будто ты жалеешь, что рассказала нам свою жизнь, деточка? – спросил Родольф.

– Вы правы, тяжело ворошить старое. Сегодня мне впервые случилось вспомнить обо всем, начиная с детства, а это невесело... не правда ли, Поножовщик?

– Ладно уж, – иронически сказал Поножовщик, – ты, видно, жалеешь, что не была кухонной девкой в какой-нибудь харчевне или прислугой у старых дураков и нянкой их старых кошек?

– Все равно... быть честной, верно, очень приятно... – проговорила со вздохом Лилия-Мария.

– Честной!.. Взгляните только на эту физиономию!.. – воскликнул разбойник с громким смехом. – Честной!.. А почему бы тебе не получить награду за добродетель, чтобы почтить не известных тебе отца с матерью?

С лица Певуньи сошло за последние минуты характерное для нее беззаботное выражение.

– Ты знаешь, Поножовщик, что я не плакса, – сказала она, – отец мой или мать бросили меня у придорожной тумбы, как надоевшую собачонку! Я не в обиде на них, может, они и сами не могли прокормиться! Но, видишь ли, бывает доля счастливее моей.

– Счастливее твоей? Что тебе еще надобно? Ты хороша, как картинка; тебе нет семнадцати лет; ты поешь как соловей; ты кажешься девочкой, тебя прозвали Лилией-Марией, и ты еще жалуешься! Посмотрим, что ты скажешь, когда в ходунах⁴⁸ и у тебя будет грелка, и на голове парик под шиншиллу, как у нашей Людоедки.

– О, я никогда не доживу до ее лет.

– Быть может, у тебя есть патент на то, как не стать гирухой?⁴⁹

– Нет, но я долго не протяну! У меня такой нехороший кашель.

– Вот оно что! Я так и вижу тебя на кречеле.⁵⁰ Ну и глупая же ты... прости господи.

– И часто в голову тебе приходят такие мысли, Певунья? – спросил Родольф.

– Иногда... Вы-то, господин Родольф, наверно, поймете меня. По утрам, когда за монетку, данную мне Людоедкой, я покупаю себе немного молока у молочницы, которая останавливается на углу Старосуконной улицы, и вижу, как она возвращается домой на своей тележке, запряженной ослом, я часто завидую ей... Я говорю себе: «Она едет в деревню, на вольный воздух, в свою семью... а я поднимаюсь одна-одинешенька на чердак Людоедки, где даже в полдень бывает темно».

– Ну что ж, дочь моя, выкини такую штуку, будь честной, – сказал Поножовщик.

– Честной, бог ты мой! А на какие шиши? Одежда, которую я ношу, принадлежит Людоедке; я должна ей за помещение и за еду... Я не могу уйти отсюда... Она арестует меня как воровку... Я в ее власти... Мне нужно расплатиться с ней.

⁴⁸ Ногах.

⁴⁹ Старухой.

⁵⁰ Похоронных дрогах.

– Тогда оставайся такой, какая ты есть, и не сравнивай себя с крестьянкой, – сказал Поножовщик. – Не сходи с ума! Подумай только, что ты блистаешь в столице, тогда как молочница возвращается домой, чтобы варить кашу своим соплякам, доить коров, идти за травой для кроликов и получать взбучку от мужа, когда тот возвращается из трактира. Вот уж действительно завидная судьба!

– Налей мне, Поножовщик, – сказала Лилия-Мария после длительного молчания и протянула ему стакан. – Нет, не вина, водки... Водка крепче, – проговорила она своим нежным голоском, отстраняя жбан с вином, который взял было Поножовщик.

– Водки! Наконец-то! Вот такой я люблю тебя, дочка, ты не робкого десятка! – сказал он, не поняв состояния девушки и не заметив слезы, повисшей на ее ресницах.

– Как жаль, что водка такая противная... Она здорово одурманивает... – проговорила Лилия-Мария, поставив на стол стакан, который она выпила с брезгливым отвращением.

Родольф выслушал с огромным интересом этот наивный и печальный рассказ. Не дурные наклонности, а нищета и обездоленность привели к гибели эту несчастную девушку.

Глава IV ИСТОРИЯ ПОНОЖОВЩИКА

Читатель, верно, не забыл, что за двумя собутыльниками внимательно следил некто третий, недавно пришедший в кабак.

Как мы уже говорили, один из этих мужчин был в греческом колпаке, прятал свою левую руку и настойчиво расспрашивал Людоедку, не видела ли она в тот день Грамотея.

Во время рассказа Певуньи, которого они не могли слышать, оба дружка несколько раз перешептывались, с тревогой посматривая на дверь.

Человек в греческом колпаке сказал своему приятелю:

– Что-то Грамотей никак не прихрюет;⁵¹ как бы андрус⁵² не пришел его, чтобы отколоть побольше.⁵³

– Тогда наше дело дрянь, ведь это мы вскормили дите,⁵⁴ – отозвался второй.

Новоприбывший, который наблюдал за этими двумя типами, сидел слишком далеко и не мог слышать их разговора; сверившись несколько раз с какой-то запиской, лежащей на дне его фуражки, он, видимо, остался доволен своими наблюдениями; встав из-за стола, он обратился к Людоедке, которая дремала за стойкой, положив ноги на грелку, а толстого черного кота – к себе на колени.

– Вот что, мамаша Наседка, – сказал он, – я мигом вернусь, последи за моим жбаном и тарелкой... Надо остерегаться любителей полакомиться на чужой счет.

– Будь спокоен, парень, – ответила хозяйка, – если твоя тарелка и твой жбан пусты, никто на них не позарится.

Новоприбывший от души посмеялся этой шутке и вышел, никем не замеченный.

Когда этот человек открыл дверь, Родольф увидел на улице угольщика огромного роста с перепачканным лицом и нетерпеливо махнул рукой, недовольный его навязчивой заботливостью. Но угольщик не принял во внимание досаду Родольфа и не отошел от кабака.

Несмотря на выпитый ею стакан водки. Певунья не развеселилась; напротив, лицо ее становилось все печальнее; она сидела, прислонившись спиной к стене, опустив голову на грудь, а ее большие голубые глаза машинально блуждали по сторонам; казалось, несчастную девушку бушуют самые мрачные мысли.

⁵¹ Не придет.

⁵² Дружок.

⁵³ Не прикончил его, чтобы отхватить себе побольше.

⁵⁴ Обмозговали и подготовили дело.

Встретившись раза два-три с пристальным взглядом Родольфа, Певунья отводила глаза; она не понимала того странного впечатления, которое он производил на нее. Его присутствие стесняло, тяготило ее, и она упрекала себя в том, что не проявляет как должно своей благодарности к человеку, вырвавшему ее из рук Поножовщика; она готова была пожалеть, что так искренне рассказала о своей жизни в его присутствии.

Поножовщик, напротив, был в превеселом настроении; он один расправлялся с заказанным блюдом, а вино и водка сделали его особенно общительным; чувство стыда, вызванное тем, что он нашел на себя управу, прошло благодаря щедрости Родольфа; к тому же он признавал за своим противником такое огромное превосходство, что испытанное унижение уступило место смешанному чувству восхищения, страха и уважения.

Отсутствие злопамятства, суровая откровенность, с которой он признался в убийстве человека и в справедливости понесенного наказания, самолюбивая гордость, с какой он похвалялся, что никогда не крал, доказывали, по крайней мере, что, несмотря на свои преступления, Поножовщик не совсем очерствел душой. Эти черты характера не ускользнули от пронизательного взгляда Родольфа, который с любопытством ожидал рассказа Поножовщика.

Человеческое честолюбие так ненасытно, так причудливо в своих разнообразных проявлениях, что Родольф желал встречи с Грамотеем, с этим страшным преступником и силачом, которого он мысленно сверг с пьедестала. И чтобы унять нетерпение, он попросил Поножовщика продолжить рассказ о своих приключениях.

– Ну же... приятель, – сказал он, – мы слушаем тебя.

Поножовщик осушил стакан и начал свою повесть в таких выражениях:

– Ты, бедная Певунья, была все же подобрана Сычихой, провалилась она в тартарары! У тебя было пристанище еще до того, как тебя отправили в тюрьму за бродяжничество... А я не припомню, чтобы мне доводилось спать в кровати до девятнадцати лет... Счастливый возраст, когда я стал солдатом.

– Ты был на военной службе, Поножовщик? – спросил Родольф.

– Целых три года, но не забегайте вперед – всему свое время. Каменные плиты Лувра, гипсовые печи в Клиши и каменоломни в Монруже – таковы были те гостиницы, в которых я ночевал с юных лет. Как видите, у меня был дом в Париже и даже в деревне – ни больше ни меньше.

– И никакого ремесла?

– Сам не знаю, хозяин... припоминаю, как в тумане, что в детстве я свигался⁵⁵ со стариком тряпичником, который бил меня своим крюком. Должно быть, так оно и было, потому что позже я видеть не мог этих купидонов с их ивовыми колчанами: меня так и подмывало наброситься на них: явное доказательство, что они колошматили меня в детстве. Мое первое ремесло? Я работал подручным на живодерне в Монфоконе... Мне было лет десять – двенадцать, когда я впервые с отвращением перерезал горло несчастной старой кляче, но через месяц я и думать перестал о лошадях – какое там! Даже вошел во вкус этого дела. Ни у кого не было таких острых ножей, как у меня. Так и хотелось пустить их в ход!.. Когда я расправлялся с положенным количеством лошадей, мне бросали в награду кусок огузка клячи, сдохшей от болезни: туши здоровых лошадей продавались рестораторам, обосновавшимся вблизи от Медицинской школы, и те превращали их в говядину, в баранину, телятину, дичь, чтобы потрафить вкусам посетителей... А когда я завладевал принадлежащим мне куском мяса, мне сам черт был не брат! Я бежал со своей добычей в печь для обжига гипса, как волк – в свое логово, и там с разрешения рабочих приготавливал такое жаркое, что пальчики оближешь! Если печи были загашены, я шел в Роменвиль, собирал там хворост, складывал его в углу бойни, высекал искру с помощью огнива и жарил мясо целиком... Признаться, оно бывало почти сырое, зато таким манером я не всегда ел одно и то же.

– Но как же тебя звали? – спросил Родольф.

– Волосы у меня были еще светлее, чем теперь, кудель куделью, а кровь часто прилиwała к глазам, за что меня и прозвали Альбиносом. Альбинос – это белые кролики с красными глазами, – серьезно добавил Поножовщик в виде научного пояснения.

⁵⁵ Бродяжничал.

– А твои родители? Твоя семья?

– Мои родители? Они жили в доме под тем же номером, что и родители Певуньи. Где я родился? На первом попавшемся углу любой улицы, справа или слева от какой-нибудь тумбы, на берегу безымянного ручья.

– Ты проклинал своего отца и свою мать за то, что они тебя бросили?

– Проклинять их? Какой в этом прок?.. Но все же... по правде сказать... они сыграли со мной злую шутку, я не жаловался бы, если бы они поступили со мной так, как следовало бы поступать с нищими всемогущему,⁵⁶ то есть избавлять их от холода, голода и жажды; ему это ничего не стоило бы, а нищим было бы легче не воровать.

– Ты страдал от голода, холода и все же не стал вором, Поножовщик?

– Нет, а между тем я здорово бедовал, поверьте... Иногда шавал⁵⁷ по двое суток кряду, и не раз, не два, а гораздо чаще... И все же я не крал.

– Потому что боялся тюрьмы?

– Ну и шутник! – воскликнул Поножовщик, пожимая плечами, и громко расхохотался. – Выходит, я не крал хлеба из страха получить хлеб?.. Я оставался честным и подыхал с голоду, а если бы я крал, то меня кормили бы в тюрьме... и даже сытно кормили!.. Но нет, я не крал потому... потому... словом, потому что красть не в моих понятиях!

Этот поистине прекрасный ответ, суть которого сам Поножовщик вряд ли понимал, глубоко удивил Родольфа.

Он почувствовал, что бедняк, остающийся честным среди жесточайших лишений, вдвойне достоин уважения, ибо наказание за кражу может стать для него источником сытой жизни.

Родольф протянул руку этому несчастному дикарю от цивилизации; еще не вполне развращенному нищетой.

Поножовщик взглянул на своего амфитриона удивленно, чуть ли не с уважением и едва осмелился дотронуться до протянутой ему руки. Он смутно ощутил, что между ним и Родольфом лежит глубокая пропасть.

– Молодец! – сказал ему Родольф. – Ты сохранил мужество и честь...

– Ей-богу, не знаю, – проговорил Поножовщик взволнованно, – но то, что вы говорите... видите ли... никогда я еще не чувствовал ничего похожего... одно могу сказать... и эти слова... и ваши удары в конце моей взбучки... мастерские удары... а вы, вместо того чтобы избить меня до полусмерти, платите за мой обед и говорите мне такие вещи. Но довольно об этом. Скажу одно: всегда, когда ни потребуется, вы можете рассчитывать на Поножовщика.

Не желая показать, что он тоже взволнован, Родольф спросил более сдержанно:

– И долго ты пробыл на бойне?

– Еще бы... Сначала мне было тошно перерезать горло этим несчастным старым клячам, которые не могли даже хорошенько лягнуть меня; но когда мне шел шестнадцатый год и голос мой начал ломаться, орудовать ножом стало для меня отрадой, потребностью, страстью, безумием! Я терял сон и аппетит... Я думал только об этом!.. Надо было видеть меня за работой; кроме старых холщовых штанов, на мне ничего не было. Я стоял со своим большим, хорошо наточенным ножом, а вокруг меня ожидали очереди пятнадцать – двадцать лошадей. Я не хвастаю. Дьявольщина! Не знаю, что на меня накатывало, когда я принимался за дело... какое-то безумие; в ушах у меня шумело, я приходил в ярость, в неистовство, глаза мои наливались кровью... и я резал, резал... резал их до тех пор, пока нож не выпадал у меня из рук! Дьявольщина! Какое наслаждение! Будь я миллионером, я платил бы деньги, чтобы заниматься этим делом.

– Вот откуда у тебя привычка баловаться ножом, – заметил Родольф.

– Да, наверно... Но когда мне исполнилось шестнадцать лет, эта ярость дошла до того, что, взявшись за нож, я терял голову и портил работу... Да, я кромсал лошадиные шкуры, нанося удары вкривь и вкось. В конце концов меня выгнали с бойни. Я хотел пойти в мясники: мне все-

⁵⁶ Бог. Как ни странно, но имя божье встречается даже в этом исковерканном языке.

⁵⁷ Не ел.

гда нравилась эта работа. Не тут-то было! Они заважничали! Запрезирали меня! Так сапожник, мастер своего дела, презирает холодного сапожника. Видя такое дело – к тому же после шестнадцати лет моя страсть поиграть ножом прошла, – я стал искать любой работы... и не сразу ее нашел; в то время я часто голодал. Наконец я нанялся в каменоломни Монружа. Но через два года мне обрыдла эта работа – бегаешь с утра до ночи, как белка в колесе, из-за этого треклятого камня, а получаешь какие-то жалкие двадцать су в день. Я был высокий и здоровенный и решил поступить в солдаты. Меня спрашивают о моем имени, возрасте, просят предъявить бумаги. Имя? Альбинос. Возраст? Взгляните на мою бороду. Бумаги? Вот свидетельство из каменоломни в Монруже, за подписью моего начальника. Из меня мог выйти неплохой гренадер; я был завербован.

– С твоей силищей, с твоим мужеством и любовью действовать ножом ты стал бы, пожалуй, офицером, случись в это время война.

– Дьявольщина! Я и сам это понимаю! Убивать англичан или пруссаков было бы куда почетнее, чем резать старых кляч... Но, на мое несчастье, войны не было, зато была дисциплина... Если подмастерье выплет своему хозяину, дело это плевое, в этом нет ничего такого; если он слабее противника, то сам получит вздрючку, если же сильнее, то получит ее хозяин. А его самого выставят за дверь, иногда посадят в тюрьму – и весь сказ. На военной службе – дело другое. Однажды сержант дал мне пинка, чтобы я скорее поворачивался; он был прав, ибо я гонял лодыря; я упрямясь, он толкает меня, я толкаю его; он берет меня за шиворот, я ударяю его кулаком. Тут солдаты наваливаются на меня. Я выхожу из себя, глаза наливаются кровью. Я сатанею... в руках у меня нож... – я как раз дежурил на кухне – и пошло и пошло! Я принимаюсь орудовать ножом, как на бойне... Пришиваю⁵⁸ сержанта, раню двух солдат!.. Настоящее побоище!.. Я нанес одиннадцать ножевых ран им троим... подумать только... одиннадцать!.. Кровищи всюду было... кровищи, как на бойне!.. Я и сам был весь в крови.

С мрачным, диким выражением лица злодей потупился и умолк.

– О чем ты думаешь, Поножовщик? – спросил Родольф, с интересом наблюдавший за ним.

– Ни о чем, – резко ответил тот и продолжал со свойственным ему залихватским видом: – Наконец меня берут под стражу. Тащат на правилку и решают чикнуть.⁵⁹

– Тебе удалось бежать?

– Нет, меня не чикнули, но я пробыл пятнадцать лет на кобылке. Позабыл вам сказать, что, когда я был в полку, мне случилось вытащить из воды двух товарищей, которые чуть не утонули в Сене: мы стояли тогда гарнизоном в Мелене. В другой раз... но вы будете смеяться надо мной, скажете, пожалуй, что я чудодей, который не боится ни воды, ни огня, спасатель мужчин и женщин! И так, в другой раз наш полк стоял в Руане. Все дома там деревянные, как загородные дачки; пожар начался в одном из кварталов, и скоро огонь уже полыхал всюду; я был как раз дежурным по пожарной части. Приезжаем на место. Мне говорят, что какая-то старуха не может выбраться из своей спальни, к которой подбирается огонь: бегу туда. Дьявольщина! Да, там было жарковато... недаром мне вспомнились печи для обжига гипса в моей молодости. Все же я спас старуху, поджарив себе ступни ног. Словом, благодаря этим подвигам мой лекарь⁶⁰ так изворачивался, так молил языком, что мой приговор смягчили: вместо того чтобы отправиться под нож дяди Шарло,⁶¹ я пробыл пятнадцать лет на кобылке... Когда я узнал, что не буду гильотинирован, я хотел задушить болтуна адвоката. Понимаете, хозяин?

– Ты жалел, что твой приговор смягчили?

– Да... Тем, кто орудует ножом, нож дяди Шарло – справедливое наказание; тем, кто ворует, – кандалы на лапы! Каждому свое... Но нельзя заставлять тебя жить после того, как ты убил

⁵⁸ Убиваю.

⁵⁹ Тащат в суд и приговаривают к смертной казни.

⁶⁰ Адвокат.

⁶¹ Палача.

человека... Дворники не понимают, что делается с тобой, особенно в первое время.

– Значит, у тебя были угрызения совести?

– Угрызения совести? Нет, конечно, ведь я отбыл свой срок, – ответил варвар Поножовщик, – но вначале не проходило ночи, чтобы я не видел в кошмаре солдат и сержанта, которого зарезал, то есть... они были не одни, – прибавил преступник с ужасом, – десятки, сотни, тысячи других ждали своей очереди на огромной бойне... ждали, как лошади, которым я перерезал глотку в Монфоконе... Тут кровь бросалась мне в голову, и я брался за нож, как прежде, на бойне. Но чем больше я убивал людей, тем больше их становилось... И, умирая, они смотрели на меня так смиренно... что я проклинал себя за то, что убиваю их... но не мог остановиться... Это еще не все... У меня никогда не было брата... а выходило, что люди, чью кровь я проливал, – мои братья и что я их люблю... Под конец, когда сил у меня уже не было, я просыпался весь в поту, холодном, как талый снег.

– Дурной это сон, Поножовщик!

– Да, хуже некуда! Так вот, вначале на каторге я каждую ночь видел... этот сон. Поверьте, от такого кошмара можно сойти с ума или взбеситься. Недаром я дважды пытался покончить с собой, в первый раз проглотил ярь-медянки, а во второй попробовал задушить себя цепью, но, черт возьми, я силен как бык. От ярь-медянки мне захотелось пить, а от цепи, которой я стянул себе горло, остался на всю жизнь синий галстук. Потом кошмары стали реже, привычка жить взяла свое, и я стал таким же, как остальные.

– На каторге ты вполне мог научиться воровать.

– Да, но вкуса к воровству у меня не было... Те, что были на кобылке, поднимали меня на смех из-за этого, а я избивал их своей цепью. Вот так я и познакомился с Грамотеем. Что до него... ну и хватка! Он вздул меня не хуже, чем вы сегодня.

– Так он тоже освобожденный каторжник?

– Нет, ему навечно дали кобылу, но он сам себя освободил.

– Бежал с каторги? И никто его не выдал?

– Во всяком случае, я никогда не выдал бы Грамотея: вышло бы так, что я боюсь его.

– Но как же полиция не нашла его? Разве его приметы не были известны?

– Приметы?... Как бы не так! Он давным-давно уничтожил личико, которым наделил его всемогутный. Теперь один лишь *пекарь*,⁶² что грешников припекает в аду, мог бы узнать Грамотея.

– Как же ему это удалось?

– Он начал с того, что подрезал себе нос, который был у него длиною в локоть, а затем умылся серной кислотой.

– Шутишь!

– Если он придет сюда сегодня вечером, вы сами в этом убедитесь, нос у Грамотея был как у попугая, а стал как у курносой,⁶³ не считая того, что губы у него величиною с кулак, а на лице столько шрамов, сколько заплат на куртке старьевщика.

– Значит, он стал неузнаваемым?

– За те полгода, что он бежал из Рошфора, легавые⁶⁴ много раз видели его, но так и не узнали.

– За что его отправили на каторгу?

– Он был фальшивомонетчиком, вором и убийцей. Его прозвали Грамотеем, потому что у него красивый почерк и человек он очень умный.

– Его здесь боятся?

– Перестанут бояться, когда вы отколошматите его, как отколошматили меня. Дьявольщи-

⁶² Дьявол.

⁶³ Смерти.

⁶⁴ Полицейские (сыщики).

на! Любопытно было бы посмотреть на это.

– На что же он живет?

– Говорят, будто он хвастал, что убил и ограбил три недели назад торговца скотом на дороге в Пуасси.

– Рано или поздно его арестуют.

– Для того чтобы арестовать этого лиховеда, требуется не меньше двух человек: у него всегда имеется под блузой два заряженных пистолета и кинжал; он говорит, что дядя Шарло ждет его, но умирают лишь один раз, и, прежде чем сдаться, он перебьет всех, кто помешает ему удрать... Да, он говорит это напрямки, а так как он вдвое сильнее нас с вами, пришить его будет нелегко.

– А что ты делал после каторги?

– Я нанялся к подрядчику по выгрузке сплавного леса, работаю на набережной Святого Павла, этим и кормлюсь.

– Но если ты не скокарь, зачем тебе жить в Сите?

– А где, по-вашему, мне жить? Кто захочет знаться с бывшим каторжником? И кроме того, мне скучно в одиночестве, я люблю общество и живу здесь среди себе подобных. Иной раз поколочу кого-нибудь... Меня тут боятся как огня, но ключай⁶⁵ не может ко мне придаться; правда, иной раз за потасовку я и отсижу сутки в тюрьме.

– Сколько же ты зарабатываешь в день?

– Тридцать пять су. И так я буду жить до тех пор, пока у меня есть силы; а потом я возьму крюк да ивовый колчан, как тот старик тряпичник, которого я вижу в тумане моего детства.

– И все же ты не слишком несчастлив?

– Бывают люди понесчастнее меня, ясное дело. Если бы не кошмары о сержанте и солдатах, а мне они еще часто снятся, я спокойно дожидался бы минуты, когда околею, как и родился, возле какой-нибудь тумбы или в больнице... но этот кошмар... Черт бы его подрал... не люблю вспоминать о нем, – сказал Поножовщик.

И он выбил свою трубку о край стола.

Певунья рассеянно выслушала рассказ Поножовщика; по-видимому, она была погружена в какие-то печальные размышления.

Родольф и тот был задумчив.

Услышанные им рассказы пробудили в нем новые мысли.

Некое трагическое происшествие напомнило всем троим, в каком месте они находятся.

Глава V АРЕСТ

Посетитель, который недавно вышел, поручив Людоедке свою тарелку и жбан с вином, вскоре вернулся в сопровождении широкоплечего энергичного вида мужчины.

– Вот так нежданная встреча, Борель! – сказал он ему.

– Входи же, давай выпьем с тобой по стакану вина.

Указав на новоприбывшего. Поножовщик шепотом сказал Родольфу и Певунье:

– Ну, теперь жди передраги... Это сыщик. Внимание!

Оба злодея – один из них сидел надвинув до самых бровей греческий колпак и не раз справлялся о Грамотее – обменялись быстрым взглядом, встали одновременно из-за стола и направились к двери, но двое полицейских бросились на них, издав условный крик.

Началась ожесточенная борьба.

Дверь таверны распахнулась, и другие агенты вбежали в залу, а на улице блеснули ружья.

Во время этой свалки угольщик, о котором мы уже упоминали, подошел к порогу кабака и, как бы случайно встретившись взглядом с Родольфом, приложил указательный палец к губам.

Быстрым, повелительным взмахом руки Родольф приказал ему уйти, а сам продолжал

⁶⁵ Полицейский комиссар.

наблюдать за тем, что творилось в кабаке.

Мужчина в греческом колпаке орал словно одержимый. Полулежа на столе, он так отчаянно отбивался, что трое полицейских с трудом удерживали его. Подавленный, мрачный, с бескровным лицом и побелевшими губами, с отвислой дрожащей челюстью, его сообщник не оказал ни малейшего сопротивления и сам протянул руки, чтобы на них надели наручники.

Людоедка, привыкшая к таким сценам, безучастно сидела за стойкой, положив руки в карманы фартука.

– Что такое натворили эти двое, господин Нарсис Борель? – спросила она у знакомого ей агента.

– Убили вчера старуху с улицы Святого Христофора, чтобы обчистить ее комнату. Перед смертью несчастная женщина сказала, что укусила за руку одного из преступников. Мы следили за этими негодяями; мой приятель только что приходил сюда, чтобы опознать их; теперь голубчики попались.

– К счастью, они заранее уплатили мне за выпивку, – заметила Людоедка. – Не желаете ли вы выпить чего-нибудь, господин Нарсис? Ну хотя бы стаканчик «Идеальной любви» или «Утешения»?

– Нет, спасибо, мамаша Наседка, я должен доставить куда следует этих негодяев. Один из них никак не утихомирится.

В самом деле, убийца в греческом колпаке яростно сопротивлялся. Когда его подводили к извозчику, ожидавшему на улице, он стал так отбиваться, что пришлось тащить его на руках.

Охваченный нервной дрожью, сообщник убийцы едва держался на ногах, его лиловые губы шевелились, будто он что-то говорил... Его бросили в извозничью пролетку как мертвое тело.

– Вот что я вам скажу, мамаша Наседка, – заметил агент, – остерегайтесь Краснорукого: хитер, подлец! Он может втянуть вас в какое-нибудь грязное дело.

– Краснорукого? Я давным-давно не видела его в нашем квартале, господин Борель.

– С ним вечно так: если он где-нибудь находится... там-то его и не видно. Вы сами прекрасно знаете это... Не принимайте от него на хранение или в заклад ни вещей, ни денег: это будет рассматриваться как укрывательство краденного.

– Будьте спокойны, господин Борель: я боюсь Краснорукого больше, чем дьявола. Никогда не знаешь, куда он отправляется и откуда прибыл. В последний раз, когда я его видела, он сказал, что приехал из Германии.

– Во всяком случае, я вас предупредил... будьте осторожны.

Прежде чем уйти из кабака, полицейский агент внимательно осмотрел посетителей и сказал чуть ли не ласково Поножовщику:

– А, вот и ты, шалопай! Что-то давненько не слышать о тебе, о твоих потасовках! Видно, взялся за ум?

– Да, стал умником-разумником, господин Борель; вы же знаете, что я разбиваю носы лишь тем, кто меня об этом попросит.

– Недостает еще, чтобы такой силач, как ты, первый ввязывался в драку!

– И однако, вот кто меня одолел, – проговорил Поножовщик, кладя руку на плечо Родольфа.

– Вот те на! Этого человека я что-то не знаю, – заметил агент, разглядывая Родольфа.

– Сомневаюсь, чтобы нам довелось познакомиться, – ответил тот.

– Желаю этого ради вашего блага, приятель, – сказал агент и, обратившись к Людоедке, продолжал: – До свидания, мамаша Наседка! Ваша таверна – настоящая мышеловка: сегодня я задержал здесь третьего убийцу.

– И надеюсь, не последнего, господин Борель; я всегда рада услужить вам, – любезно ответила Людоедка, отвешивая почтительный поклон.

После ухода полицейского агента молодой человек с серым испитым лицом, который курил, попивая водку, снова набил свою трубку и сказал сиплым голосом Поножовщику:

– Разве ты не узнал мужчину в греческом колпаке? Это же Волосатый – любовник Толстушки. Увидев полицейских, я подумал: «Недаром он все время прятал свою левую руку».

– Как удачно, что Грамотей не пришел сегодня, – продолжала Людоедка. – Греческий колпак несколько раз справлялся о нем из-за дел, которые они затеяли вместе... но я никогда не стану капать на своих клиентов. Пусть их забирают, ладно... у каждого свое ремесло... но я не продаю их. Смотрите: про волка речь, а волк навстречь, – заметила Людоедка при виде мужчины и женщины, входящих в кабак. – Вот и сам Грамотей со своей барулей.

При входе Грамотея нечто вроде лихорадочного трепета охватило зал.

Несмотря на присущую ему смелость, даже Родольф не мог побороть волнения при виде столь опасного преступника, на которого он взглянул с любопытством, смешанным с ужасом.

Поножовщик сказал правду: Грамотей чудовищно себя изуродовал. Трудно было представить себе что-нибудь более жуткое, чем лицо этого злодея, сплошь покрытое глубокими синева-то-белыми шрамами; его губы вздулись под действием серной кислоты; часть носа была отрезана, и две уродливые дыры заменяли ноздри. Его серые, светлые, маленькие и круглые глазки хищно блестели, лоб, сплюснутый, как у тигра, был наполовину скрыт под шапкой из рыжего длинношерстного меха... Так и казалось, что это грива чудовища.

Росту он был не более пяти футов и двух-трех дюймов; его несоразмерно большая голова уходила в широкие, приподнятые, мясистые плечи, мощь которых чувствовалась даже под свободными складками блузы из сурового полотна; руки были длинные, мускулистые, пальцы короткие, толстые, сплошь покрытые волосами; его кривоватые ноги с огромными икрами свидетельствовали об атлетической силе.

Словом, этот человек напоминал в карикатурном виде Геркулеса Фарнезского, короткого, приземистого, плотного.

Что же касается выражения жестокости этой отвратительной морды, ее взгляда, беспокойного, изменчивого, горящего, как у дикого зверя, у нас не хватает слов, чтобы описать их.

На пожилой, довольно опрятной женщине, сопровождавшей Грамотея, было коричневое платье, черная шаль в красную клетку и белый чепец.

Родольф увидел эту женщину в профиль; ее крючковатый нос, ее зеленый круглый глаз, тонкие губы, выступающий вперед подбородок, злое и хитрое выражение лица невольно напомнили ему Сычиху, зловещую старуху, некогда истязавшую Лилию-Марию.

Он хотел было поделиться своим впечатлением с Певуньей, когда на его глазах она побледнела, вперив полный немого ужаса взгляд в мерзкую подругу Грамотея, и, схватив руку Родольфа дрожащими пальчиками, тихо сказала:

– Сычиха... Боже мой... Сычиха... Одноглазая старуха!

В эту минуту Грамотей, неслышно обменявшись несколькими словами с одним из завсегдатаев кабака, медленно приблизился к столу, за которым сидели Родольф, Певунья и Поножовщик. Затем, обратившись к Лилии-Марии, разбойник проговорил голосом, напоминающим рычание тигра:

– Вот что, хорошенькая беляночка, ты оставишь этих двух недотеп и пойдешь со мной...

Певунья, ничего не ответила, только прижалась к Родольфу. Она была так напугана, что зубы у нее стучали.

– А я... не стану ревновать моего муженька, – проговорила Сычиха с громким смехом.

Она все еще не узнавала Воровки, своей прежней жертвы.

– Слышишь ты меня или нет, беляночка? – спросил урод, подходя еще ближе к столу. – Если ты не пойдешь со мной, я выколю тебе один глаз, чтобы ты была под стать Сычихе. А если ты, красавчик с усиками, – обратился он к Родольфу, – не перебросишь мне эту блондиночку через стол... я прикончу тебя...

– Боже мой, боже мой! – воскликнула Певунья и, сложив с мольбой руки, обратилась к Родольфу: – Защитите меня!

Но, сообразив, что она подвергает его большой опасности, девушка продолжала шепотом:

– Нет, нет, не двигайтесь, господин Родольф; если он подойдет, я позову на помощь, он побойтся скандала, появления полиции, Людоедка тоже вступится за меня.

– Не беспокойся, детка, – сказал Родольф, бесстрашно смотря на Грамотея. – Я рядом с тобой, сиди спокойно. Но так как нам с тобой претит вид этого уroda, я мигом вышвырну его на

улицу.

– Ты? – спросил Грамотей.

– Да, я!!! – ответил Родольф.

И, невзирая на попытки Певуньи удержать его, он встал из-за стола.

Грамотей отступил на шаг, таким грозным было лицо Родольфа.

Лилия-Мария и Поножовщик были поражены злобой, лютым гневом, которые исказили в эту минуту лицо их спутника; его трудно было узнать. Во время своей драки с Поножовщиком он держался презрительно, насмешливо; но перед лицом Грамотея он, казалось, был охвачен дикой ненавистью: его расширенные от ярости зрачки как-то странно блестели.

Иные глаза обладают непреодолимой магнетической силой; говорят, что наиболее знаменитые дуэлянты одерживали свои кровавые победы благодаря гипнотической силе взгляда, который подавлял, парализовал их противников.

Родольф был наделен именно таким поразительным взглядом, пристальным, сверлящим, пугающим, которого не могут избежать те, на кого он направлен... Этот взгляд смущает их, властвует над ними; они почти физически ощущают его, но у них недостает сил от него оторваться.

Грамотей вздохнул, отступил на шаг и, уже не доверяя своей необычайной силе, стал нащупывать под блузой рукоятку кинжала.

На пол кабака могла пролиться кровь, если бы Сычиха, схватив за руку Грамотея, не вскричала:

– погоди... погоди... чертушка. Выслушай меня; ты потом расправишься с этими двумя оборотами, они не уйдут от тебя...

Грамотей с удивлением взглянул на одноглазую.

А та уже несколько минут с возрастающим интересом наблюдала за Лилией-Марией, припоминая прошлое. Наконец все ее сомнения рассеялись: она узнала Певунью.

– Статочное ли дело! – воскликнула Сычиха, всплеснув руками. – Да ведь это Воровка, любительница полакомиться на чужой счет. Откуда ты взялась? Уж не *пекарь* ли послал тебя сюда? – прибавила она, показывая кулак девушке. – Неужто ты вечно будешь попадать ко мне в лапы? Будь спокойна, я не стану больше вырывать у тебя зубы, зато я заставлю тебя выплакать все глаза. Ах, как ты будешь рвать и метать. Так, значит, тебе ничего не известно? Я знаю, кто твои родители... Грамотей встретился на каторге с человеком, который привез тебя ко мне, когда ты была еще крошкой. Тот открыл ему имя твоей матери... твои родители – грачи.⁶⁶

– Вы знаете моих родителей? – воскликнула Лилия-Мария.

– Моему муженьку известна фамилия твоей матери... но я не допущу, чтобы он открыл ее тебе, скорее вырву у него язык... Не далее как вчера он виделся с человеком, который когда-то привез тебя в мою конуру, поговорил с ним о деньгах, которые перестали посылать мне, женщине, так долго кормившей тебя... но твоей матери плевать на тебя, она была бы рада-радешенька, если бы ты околела... И все же, знай ты, кто она, ты могла бы выманивать у нее порядочные деньги, мой маленький подкидыш... У человека, о котором я говорю, имеются бумаги... да, письма твоей матери... Ты плачешь, Воровка... Так нет же, ты ничего не узнаешь о своей матери, ничегошеньки.

– Пусть лучше она думает, что я умерла... – проговорила Лилия-Мария, вытирая слезы.

Позабыв о Грамотее, Родольф внимательно слушал Сычиху, рассказ которой заинтересовал его.

Тем временем разбойник, не ощущая на себе властного взгляда Родольфа, приободрился; он не мог поверить, чтобы этот молодой человек, стройный, среднего роста, мог противостоять ему; уверенный в своей незаурядной силе, он приблизился к защитнику Певуньи и властно сказал Сычихе:

– Довольно, прикуси язык... Я хочу испортить вывеску этому грубияну, этому красавчику, чтобы хорошенькая беляночка нашла меня пригожее его.

⁶⁶ Богатые люди.

Родольф мигом перепрыгнул через стол.

– Осторожно, не перебейте моих тарелок! – крикнула Людоедка.

Грамотей встал в оборонительную позицию: руки вытянуты вперед, торс откинут назад, нижняя часть туловища неподвижна, вся тяжесть тела перенесена на одну из огромных ног, подобных каменным тумбам.

В ту минуту, когда Родольф собирался напасть на него, кто-то с силой распахнул дверь кабака, и угольщик, о котором мы уже говорили, детина чуть ли не шести футов ростом, вбежал в залу, резко отстранил Грамотея, подошел к Родольфу и сказал ему на ухо по-английски:

– Сударь, Том и Сара... Они в конце улицы.

При этих таинственных словах Родольф сделал гневный, нетерпеливый жест, бросил луидор на стойку Людоедки побежал к двери.

Грамотей попытался преградить путь Родольфу, но тот, обернувшись, нанес ему по голове два удара такой силы, что оглушенный злодей зашатался и тяжело рухнул на соседний стол.

– Да здравствует хартия! Узнаю «мои» удары в конце взбучки, – вскричал Поножовщик. – Еще несколько таких ударов, и я сам буду наносить такие же...

Почти мгновенно придя в себя, Грамотей бросился за Родольфом, но тот исчез вместе с угольщиком в темном лабиринте улочек Сите, и разбойнику не удалось их нагнать.

В ту минуту, когда Грамотей в ярости возвращался обратно, два человека торопливо подошли к кабаку со стороны, противоположной той, где исчез Родольф, и вбежали в него, запыхавшись, точно спешно проделали длинный путь.

Прежде всего они внимательно оглядели залу.

– Какое несчастье! – сказал один из них, – он опять ускользнул от нас!

– Терпение!.. В сутках двадцать четыре часа, а перед нами еще долгие годы жизни, – ответил его спутник.

Оба новоприбывших говорили по-английски.

Глава VI ТОМ И САРА

Эти новые посетители принадлежали к классу, несравненно более высокому, чем всегдашние таверны.

У одного из них, высокого, стройного человека, были почти совсем седые волосы, черные брови и бакенбарды, костистое загорелое лицо, вид строгий, суровый. На его круглой шляпе бросалась в глаза траурная лента; черный длинный редингот был застегнут, как у военных, до самого верха, а серые облегающие панталоны заправлены в сапожки, некогда прозванные à la Суворов.

Его спутник, тоже носивший траур, был мал ростом, красив, бледен. Его длинные черные волосы, темные глаза и брови подчеркивали матовую бледность лица; по походке, сложению, изяществу черт лица легко было догадаться, что это женщина, переодетая мужчиной.

– Том, мне хочется пить, вели принести чего-нибудь и расспроси этих людей о нем, – сказала Сара все так же по-английски.

– Хорошо, Сара, – ответил мужчина с седыми волосами и черными бровями.

В то время как Сара вытирала потный лоб, он сел за один из столиков и сказал Людоедке на прекрасном, почти без акцента французском языке:

– Пожалуйста, сударыня, велите подать нам вина.

Появление в кабаке этой пары привлекло всеобщее внимание; их одежда и манеры свидетельствовали о том, что они никогда не посещали подобных низкопробных заведений; а по их беспокойным озабоченным лицам можно было догадаться, что лишь важные причины могли привести их в этот квартал.

Поножовщик, Грамотей и Сычиха рассматривали вошедших с жадным любопытством.

Певунья, испуганная встречей с одноглазой, опасаясь угроз Грамотея, который хотел увести ее с собой, воспользовалась рассеянностью этих двух негодяев и, проскользнув в приоткры-

тую дверь кабака, вышла на улицу.

Поножовщику и Грамотею было явно не до того, чтобы еще раз померяться силами.

Удивленная появлением столь необычных посетителей, Людоедка разделяла всеобщий интерес. Том нетерпеливо повторил свою просьбу:

– Мы просили принести нам вина, сударыня; будьте так любезны выполнить наш заказ.

Мамаша Наседка, польщенная столь вежливым обращением, вышла из-за стойки и, грациозно облокотясь на столик Тома, спросила:

– Что вы желаете, литр вина или запечатанную бутылку?

– Подайте нам бутылку вина, стаканы и воды.

Людоедка принесла все, что требовалось. Том бросил на стол монету в сто су и, отказавшись от сдачи, сказал:

– Оставьте мелочь себе, хозяйюшка, и разрешите пригласить вас выпить с нами стакан вина.

– Вы очень любезны, сударь, – проговорила мамаша Наседка, смотря на Тома взглядом, в котором было больше удивления, чем признательности.

– Мы назначили свидание в кабачке на этой улице одному нашему приятелю; не знаю, мы, вероятно, ошиблись?

– Вы находитесь в «Белом кролике», где мы всегда рады вам услужить.

– Понимаю, – сказал Том, многозначительно взглянув на Сару. – Да, именно здесь он должен был ждать нас.

– Видите ли, на этой улице есть только один «Белый кролик», – с гордостью проговорила Людоедка. – Но каков из себя ваш приятель?

– Высокий, тонкий, волосы и усы светло-каштановые, – сказал Том.

– Погодите, погодите, да это же мой недавний посетитель. Огромного роста угольщик пришел за ним, и они вместе ушли отсюда.

– Как раз их-то мы и разыскиваем, – сказал Том.

– Они были здесь вдвоем? – спросила Сара.

– Нет, угольщик зашел лишь на минутку; а ваш приятель ужинал с Певуньей и Поножовщиком. – И Людоедка указала взглядом на того из сотрапезников Родольфа, который оставался в кабаке.

Том и Сара повернулись лицом к Поножовщику.

Внимательно осмотрев его, Сара спросила по-английски у своего спутника:

– Знаешь этого человека?

– Нет. Что до Родольфа, Чарльз потерял его из виду среди этих темных улочек. Видя, что Мэрф, наряженный угольщиком, расхаживает возле этого кабака и беспрестанно заглядывает в его окна, он кое-что заподозрил и пришел предупредить нас... Но, очевидно, Мэрф узнал Чарльза.

Во время этого разговора, который велся тихим голосом, на иностранном языке. Грамотей, глядя на Тома и Сару, обратился к Сычихе:

– Этот долговязый выложил сто су Людоедке. Скоро полночь; на улице дождь, ветер; когда они выйдут, мы последуем за ними; я оглушу долговязого и отберу у него деньги. Он с женщиной и не посмеет кричать.

– А если малышка позовет ночной дозор, у меня в кармане есть пузырек серной кислоты, который я тут же разобью о ее физиономию: детей надо поить, чтобы не орали.

Помолчав, Сычиха продолжала:

– Послушай, чертушка. Стоит нам найти Воровку, и мы возьмем ее нахрапом. Я натру ей морду серной кислотой, после чего она перестанет гордиться своей хорошенькой рожицей.

– Знаешь, Сычиха, я кончу тем, что женюсь на тебе, – сказал Грамотей. – Нет женщины, равной тебе по хитрости и мужеству... В ночь, когда мы имели дело с торговцем скотом, я оценил тебя. Решено и подписано: ты – моя жена, которая будет работать со мной лучше любого мужчины.

Подумав, Сара сказала Тому, указывая на Поножовщика:

– А что, если нам порасспросить этого человека? Быть может, мы узнаем, что привело сюда

Родольфа.

– Попробуем, – согласился Том и, обратившись к Поножовщику, сказал: – Мы должны были встретиться в этом кабаке с одним из наших друзей; говорят, он обедал с вами; вы, очевидно, знакомы с ним, приятель, не знаете ли вы, куда он ушел?

– Я знаком с ним только потому, что он отдубасил меня два часа назад, защищая Певунью.

– А до этого вы никогда его не видели?

– Никогда... Мы случайно встретились в проходе дома, где живет Краснорукий.

– Хозяюшка, еще одну бутылку вина, да самого лучшего, – сказал Том.

Они с Сарой едва пригубили вино, зато мамаша Наседка выпила несколько стаканов, видимо, чтобы оказать честь своему винному погребку.

– И подайте, пожалуйста, бутылку на стол этого господина, если он согласится распить ее с нами, – добавил Том.

Тем временем Грамотей с Сычихой продолжали обсуждать шепотом свои зловещие планы.

Как только бутылка была принесена, Сара и Том подсели к Поножовщику, удивленному и польщенному таким вниманием; к ним присоединилась и Людоедка, посчитавшая излишним новое приглашение. Разговор возобновился.

– Вы говорили, любезный, что встретились с Родольфом в доме, где живет Краснорукий? – сказал Том, чокаясь с Поножовщиком.

– А как же, любезный, – ответил тот и мигом, опорожнил свой стакан.

– Какое странное прозвище... Краснорукий! Что он представляет собой, этот Краснорукий?

– Он промышляет варой, – небрежно обронил Поножовщик и прибавил: – Ну и знатное у вас винцо, мамаша Наседка!

– Потому-то, приятель, ваш стакан и не должен пустовать, – заметил Том, снова наливая вина Поножовщику.

– За ваше здоровье, – сказал Поножовщик, – и за здоровье вашего дружка, который... Довольно, молчок. Будь моя тетьа мужчиной, она приходилась бы мне дядей, как говорится в пословице. Ну, да чего там... Я-то понимаю, что подразумеваю...

Сара заметно покраснела. Том продолжал:

– Я не совсем понял, что вы сказали о Красноруком. Очевидно, Родольф выходил от него?

– Я вам сказал, что Краснорукий промышляет варой.

Том с удивлением посмотрел на Поножовщика.

– Что значит – промышляет варой... Как вы сказали?..

– Промышлять варой? Ну, ясное дело, заниматься контрабандой. Значит, вы не знаете музыки.⁶⁷

– Я ничего не понимаю, милейший.

– Я вам сказал: значит, вы не говорите на аргю, как господин Родольф.

– На аргю? – повторил Том, с изумлением смотря на Сару.

– Какие же вы телепни!⁶⁸ Зато друг Родольф – замечательный малый, и хоть он мастер по веерам, а даже меня заткнет за пояс своим аргю... Ну ладно, раз вы не знаете этого прекрасного языка, я скажу по-французски, что Краснорукий контрабандист. Я говорю это запросто, не желая ему зла... Он и сам не скрывает этого и даже похваляется своей контрабандой под носом у таможенников; но пусть они только попробуют найти и зацапать его товар... не тут-то было: Краснорукий – хитрюга.

– Но зачем Родольф ходил к этому человеку? – спросила Сара.

– Ей-богу, сударь... или сударыня, как вам будет угодно, я ничего об этом не знаю. Это так же верно, как и то, что я пью с вами это винцо. Сегодня вечером я хотел поколотить Певунью, я был не прав: она хорошая девушка; она бежит от меня в проход дома Краснорукого, я преследую ее... Там было темным-темно, и, вместо того чтобы схватить Певунью, я натыкаюсь на господи-

⁶⁷ Вы не знаете жаргона?

⁶⁸ Простаки.

на Родольфа... который всыпал мне по первое число... О да... Особенно хороши были последние удары... Дьявольщина! Как они были отработаны! Он пообещал показать мне этот прием.

– А что, в сущности, за человек этот Краснорукий? – спросил Том. – Чем он торгует?

– Краснорукий-то? Как вам сказать... Он продает все, что запрещено продавать, и делает все, что запрещено делать. Вот его позиция. Правильно я говорю, мамаша Наседка?

– О да, он малый не промах, – подтвердила Людоедка.

– И ловко же морочит таможенников, – продолжал Поножовщик. – Они раз двадцать делали обыск в его загородной хибаре, но так ничего и не нашли; а между тем он часто выносит оттуда целые тюки.

– У него все шито-крыто, – сказала Людоедка, – говорят, будто у Краснорукого имеется тайник, который сообщается с колодцем и ведет в катакомбы.

– Но тайника этого никто не отыскал. Чтобы вывести Краснорукого на чистую воду, следовало бы разрушить его хибару, – сказал Поножовщик.

– А под каким номером значится дом, где живет в городе Краснорукий?

– Под номером тринадцать. Бобовая улица; Краснорукий – торговец, продает и покупает все, что пожелаете... Это известно во всей округе, – пояснил Поножовщик.

– Я запишу этот адрес в блокноте; если мы не отыщем Родольфа, я попытаюсь справиться о нем у господина Краснорукого, – сказал Том.

И он записал название улицы и номер дома контрабандиста.

– Вы вполне можете гордиться своей дружбой с господином Родольфом: это надежный товарищ и славный малый... Кабы не угольщик, он отдубасил бы за милую душу Грамотея, вон того, что сидит там, в углу, с Сычихой... Дьявольщина! Меня так и подмывает стереть в порошок эту старую ведьму, как подумаю, что она проделывала с Певуньей... Но терпение... как говорится, удар кулаком всегда при мне.

– Родольф вас побил. Вы должны его ненавидеть!

– Чтобы я ненавидел такого смелого, щедрого человека! Этого еще не хватало! И впрямь, я и сам не понимаю, почему так получилось... Взять хотя бы Грамотея, он тоже побил меня, и я только бы порадовался, если бы его придушили... Господин Родольф побил меня гораздо крепче... и вот такая штука: я желаю ему добра. Ради него я готов в огонь и воду, а ведь познакомились мы с ним только сегодня вечером.

– Вы сказали это, потому что мы его друзья.

– Нет, дьявольщина, нет, клянусь честью!.. В его пользу говорят те удары, что он нанес мне под конец... А он, прямо как ребенок, даже не гордится ими. Ничего не скажешь, он мастер, законченный мастер... И кроме того, он говорит тебе такие слова... такие вещи, от которых сердце переворачивается; и, наконец, когда он смотрит на тебя... у него что-то такое есть в глазах... Видите ли, я был пехотинцем... С таким начальником мы пошли бы на приступ неба.

Том и Сара молча переглянулись.

– Неужели эта поразительная власть над людьми будет всегда и повсюду сопутствовать ему? – с горечью молвила Сара.

– Да... До тех пор, пока мы не наложим заклятия на его чары, – заметил Том.

– Да, что бы ни случилось, это надо, надо сделать, – проговорила Сара и провела рукою по лбу, словно отгоняя какое-то тягостное воспоминание.

Часы на ратуше пробили полночь.

Кенкет таверны распространял теперь лишь сумеречный свет.

За исключением Поножовщика, двух его сотрапезников, Грамотея и Сычихи, все посетители понемногу разошлись. Грамотей шепотом сказал жене:

– Мы спрячемся с тобой в доме напротив, увидим; когда наши сударики выйдут на улицу, и последуем за ними. Если они повернут влево, мы подождем их в закоулке на улице Святого Элигия, если они повернут вправо, мы подождем их у разрушенного дома, того, что неподалеку от лавчонки, торгующей требухой. Там есть большая яма... Я кое-что придумал.

И Грамотей направился к двери вместе с Сычихой.

– Вы ничего не закажете нынче вечером? – спросила у них Людоедка.

– Нет, мамаша Наседка... Мы зашли только обогреться, – сказал Грамотей и вышел из кабака вместе с Сычихой.

Глава VII КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ

Шум захлопнувшейся двери вывел Тома и Сару из задумчивости, и они поблагодарили Поножовщика за сообщенные им сведения; последний внушал им меньше доверия с тех пор, как он грубо, но искренне выразил свое восхищение Родольфом.

После ухода Поножовщика ветер еще усилился, а дождь полил как из ведра.

Грамотей и Сычиха, прятаясь на противоположной стороне улицы, увидели, что Поножовщик свернул в сторону разрушенного дома. Вскоре его отяжелевшие шаги – следствие частых возлияний этого вечера – заглохли среди завывания ветра и шума дождя, хлеставшего по стенам домов.

Том и Сара покинули кабак, невзирая на погоду, и отправились в сторону, противоположную той, которую избрал Поножовщик.

– Они у нас на крючке,⁶⁹ – тихо сказал Грамотей. – Готовь пузырек с серной кислотой: внимание!

– Давай снимем обувь, чтобы они не услышали наших шагов.

– Ты права, ты всегда бываешь права, Хитруша; я никогда бы не подумал об этом; пойдем крадучись, как кошки.

Мерзкая парочка сняла башмаки и стала пробираться в темноте вдоль домов...

Теперь шум их шагов был настолько смягчен, что они могли следовать чуть ли не вплотную за Томом и Сарой.

– К счастью, извозчик ожидает нас на углу улицы, иначе мы промокли бы до костей, – сказал Том. – Тебе не холодно, Сара?

– Быть может, нам удастся выяснить что-нибудь у этого Краснорукого, – задумчиво проговорила Сара, не отвечая на вопрос брата.

Они как раз находились вблизи того места, где Грамотей решил совершить ограбление.

– Я ошибся и пошел не по той улице, – сказал Том, – нам надо было свернуть влево, в сторону разрушенного дома, чтобы выйти к тому месту, где нас ожидает извозчик. Придется вернуться назад.

Грамотею и Сычихе пришлось спрятаться в подъезде какого-то дома, чтобы не быть замеченными Томом и Сарой.

– По мне, пусть лучше отправятся в сторону развалин, – проговорил Грамотей. – Если этот сударик будет фордыбачить... у меня есть одна мыслишка...

Сара с Томом снова миновали кабак и добрались до развалин. Этот разрушенный дом с зияющими отверстиями подвалов являл собой нечто вроде глубокого рва, вдоль которого и шла улица.

Вдруг Грамотей прыгнул с ловкостью и силой тигра, схватил своей широченной рукой Тома за горло и проговорил:

– Выкладывай деньги, не то я сброшу тебя в эту дыру!

И разбойник толкнул Тома, заставив его потерять равновесие: одной рукой он удержал его на краю глубокой ямы, а другой зажал, как в тисках, руку Сары.

Прежде нежели Том успел сделать хоть одно движение, Сычиха обчистила его карманы с поразительной хваткой и проворством.

Сара не вскрикнула, не попыталась вырваться.

– Отдай им свой кошелек, Том, – сказала она спокойно и, обратившись к разбойнику, добавила: – Мы не станем кричать, не причиняйте нам зла.

Тщательно обшарив карманы своих жертв, попавших в расставленную им западню, Сычи-

⁶⁹ Они у нас в руках.

ха обратилась к Саре:

– Покажи руки: есть у тебя кольца? Нету колец, – продолжала, ворча, старуха. – Какая незадача!

На протяжении всей этой стремительной и неожиданной сцены хладнокровие не изменило Тому.

– Хотите заключить сделку? В моем бумажнике имеются лишь ненужные вам документы; принесите мне его завтра, и вы получите двадцать пять луидоров, – сказал он Грамотею, рука которого уже не так сильно сжимала его горло.

– И чтобы при этом мы попались в ловушку? Дудки! – ответил грабитель. – А теперь убирайся не оглядываясь. Счастье твое, что ты так дешево отделался.

– Минутку, – сказала Сычиха. – Если он окажется покладистым, то получит обратно свой бумажник, всегда можно договориться. – И, обратившись к Тому, спросила: – Знаете долину Сен-Дени?

– Знаю.

– А Сент-Уен знаете?

– Да.

– Против Сент-Уена, где проходит дорога Восстания, местность ровная, среди полей там далеко видно. Приходите туда завтра утром – один, с деньгами в кармане; вы встретите там меня, и я верну вам бумажник: даешь – берешь.

– Да он же подведет тебя под арест, Сычиха!

– Не такая уж я дура!.. Там все видать как на ладони. У меня только один глаз... но видит он хорошо; если этот господин придет с кем-нибудь, он никого не найдет: я мигом улечусь.

Саре пришла в голову какая-то неожиданная мысль.

– Хочешь хорошо заработать? – спросила она у Грамотея.

– Хочу.

– Видел ты в кабаке, откуда мы вышли, – я только сейчас тебя узнала, – повторяю, видел ли ты в кабаке мужчину, за которым зашел угольщик?

– Мужчину с тонкими усиками? Как не видать... Я собрался мокрого места не оставить от этого мерзавца, но не успел... Он оглушил меня двумя ударами и опрокинул на стол... такого со мной еще не бывало... О, я отомщу ему!

– Да, я говорю о нем, – сказала Сара.

– О нем? – вскричал Грамотей; – Тысяча франков чистоганом, и я его убью.

– Сара! – в ужасе крикнул Том.

– Негодяй! Речь идет не о том, чтобы его убивать...

– Так о чем же?

– Приходите завтра в долину Сен-Дени, вы встретите там моего спутника, – продолжала она, – убедитесь, что он один; он скажет вам, что надо сделать. И если вам это удастся... я дам вам не тысячу, а две тысячи франков.

– Послушай, чертяка, – шепотом сказала Сычиха, – тут можно хорошо заработать: это – грачи, они, видно, хотят насолить своему врагу, а враг их – тот негодяй, которого ты хотел прикончить... Надо пойти туда, но вместо тебя схожу я... Из-за двух тысяч франков, старичок, стоит потрудиться.

– Ладно, приду не я, а моя женушка, – заметил Грамотей. – Вы скажете ей, что надо сделать, а я подумаю...

– Пусть так, значит, завтра в час дня.

– Да, в час дня.

– В долине Сен-Дени?

– В долине Сен-Дени.

– Между Сент-Уеном и дорогой Восстания, в самом ее конце.

– Договорились.

– Я верну вам бумажник.

– И получите обещанные пятьсот франков и, кроме того, задаток в счет другого дела, если

вы не будете слишком требовательны.

– Теперь идите направо, а мы пойдем налево. И не смейте следовать за нами, не то...

Грамотей и Сычиха тут же исчезли.

– Сам демон пришел нам на помощь, – проговорила Сара, – этот разбойник может оказать нам услугу.

– Сара, теперь мне страшно... – сказал Том.

– А мне не страшно. Напротив, я надеюсь... но идем, идем скорее, я знаю теперь, где мы находимся; до извозчика недалеко.

И они быстрым шагом направились к площади Парижской богоматери.

Невидимый свидетель присутствовал при этой сцене.

Свидетелем этим был Поножовщик, укрывшийся от дождя в разрушенном доме. Сговор между Сарой и злодеем, направленный против Родольфа, очень взволновал Поножовщика; он был напуган той опасностью, которая грозила его новому другу, и сожалел, что не может предотвратить ее. По всей вероятности, его ненависть к Грамотею и Сычихе подогревала эти добрые чувства.

Поножовщик решил предупредить Родольфа об ожидающей его беде; но как найти его? Он позабыл адрес мнимого мастера по раскраске вееров. Возможно, Родольф больше не зайдет в кабак «Белый кролик»; где же искать его? Занятый этими мыслями, Поножовщик машинально последовал за Томом и Сарой; он увидел, что они сели на извозчика, ожидавшего их у паперти собора Парижской богоматери.

Извозчик тронул.

Блестящая мысль пришла в голову Поножовщику, и он уцепился за задок экипажа.

В час ночи извозчик остановился на бульваре Обсерватории, и Том с Сарой скрылись в одной из близлежащих улочек.

Было темным-темно. Поножовщик не мог найти ничего, что помогло бы ему на следующий день более точно определить место, где он находился. Тогда с хитростью дикаря он вытащил из кармана нож и сделал глубокий надрез на стволе дерева, возле которого остановился экипаж. Затем он вернулся в свое жилище, от которого отъехал довольно далеко. В эту ночь, впервые за долгое время, Поножовщик уснул глубоким сном, который не был потревожен кошмаром о бойне сержантов, как он называл этот кошмар на своем грубом языке.

Глава VIII ПРОГУЛКА

На следующий день после того вечера, в который произошли события, только что рассказанные нами, яркое осеннее солнце сияло в безоблачном небе; ночная буря миновала, и гнусный квартал, в котором читатель побывал вместе с нами, казался менее отталкивающим в свете погожего дня, хотя и был затенен домами.

То ли Родольф перестал опасаться встречи со старыми знакомыми, которых избегал накануне, то ли решил пренебречь этой возможностью, только в одиннадцать часов утра он появился на Бобовой улице и направился в таверну Людоедки.

Родольф был все так же одет по-рабочему, но в его внешности появилась некая изысканность: под новой открытой на груди блузой виднелась красная шерстяная рубашка с серебряными пуговицами; воротник другой рубашки из белого полотна был небрежно повязан черным шелковым галстуком; из-под небесно-голубой бархатной фуражки с лакированным козырьком выбивались каштановые завитки волос; грубые подбитые шипами башмаки уступили место до блеска начищенным сапожкам, которые подчеркивали изящество его ног, казавшихся особенно маленькими по сравнению с широкими бархатными штанами оливкового цвета.

Этот костюм отнюдь не портил осанку Родольфа, являвшей собой редкое сочетание грации, гибкости и силы.

Наша современная одежда так безобразна, что можно только выиграть, сменив ее на самое заурядное платье.

Людоедка мирно отдыхала на пороге кабака, когда подошел Родольф.

– Я к вашим услугам, молодой человек. Вы, верно, пришли за сдачей со своих двадцати франков? – проговорила она с оттенком почтительности, не решаясь «позабыть» о том, что накануне победитель Поножовщика бросил на ее стойку луидор. – Вам причитается семнадцать ливров десять су... Да, вот еще что... Вчера вас спрашивал высокий, хорошо одетый мужчина; на ногах у него были шикарные сапожки, а под руку он вел маленькую женщину, переодетую мужчиной. Они пили с Поножовщиком мое лучшее вино из запечатанной бутылки.

– А, так они пили с Поножовщиком! И о чем они с ним говорили?

– Я неправильно сказала, что они пили, они лишь пригубили вино и...

– Я спрашиваю тебя, что они говорили Поножовщику.

– Они разговаривали о том о сем... О Красноруком, о вёдре и ненастье.

– Они знают Краснорукого?

– Нет, напротив, это Поножовщик говорил им, что это за птица, и рассказывал, как вы его самого побили.

– Ладно, не об этом толк.

– Так вернуть вам сдачу?

– Да... И я возьму с собой Певунью, чтобы провести с ней день за городом.

– О, это невозможно, мой милый.

– Почему?

– Ведь она может не вернуться, правда? А все, что на ней надето, принадлежит мне, не считая двухсот двадцати франков, которые она задолжала мне за еду и квартиру, с тех пор как живет у меня; не будь она такой честной девочкой, я не пустила бы ее дальше угла этой улицы.

– Певунья должна тебе двести двадцать франков?

– Двести двадцать франков десять су... Но вам-то какое дело до этого, парень? Уж не собираетесь ли вы уплатить за нее? Не разыгрывайте из себя милорда!

– Получай! – сказал Родольф, бросая одиннадцать луидоров на оцинкованную стойку Людоедки. – Теперь, сколько стоит тряпье, в которое она одета?

Изумленная старуха рассматривала один за другим луидоры, всем своим видом выражая сомнение и недоверие.

– Черт подери! Неужто ты думаешь, что я даю тебе фальшивые деньги? Пошли обменять золотые монеты, и покончим с этим делом... Сколько стоит тряпье, которое ты даешь напрокат этой несчастной девушке?

Раздираемая различными чувствами – желанием заключить выгодную сделку, удивлением, что у рабочего может быть столько денег, опасением попасть впросак и надеждой заработать еще больше, Людоедка некоторое время молчала.

– Ее тряпье стоит по меньшей мере... сто франков, – сказала она наконец.

– Такие обноски? Полно!!! Ты оставишь себе вчерашнюю мелочь, и я дам тебе еще один луидор, и ни гроша больше. Позволить тебе так бессовестно обдирать меня значило бы обкрадывать бедняков, которые имеют право на подаяние.

– В таком случае, мой милый, я оставляю за собой это тряпье: Певунья не выйдет отсюда; я вольна продавать мои вещи за угодную мне цену.

– Пусть в аду Люцифер воздаст тебе по заслугам! Вот деньги, ступай и приведи Певунью.

Людоедка забрала золото, подумав, что рабочий совершил кражу или получил наследство, и сказала ему с гаденькой улыбкой:

– А почему бы, сынок, вам самому не сходить за Певуньей?.. Это доставит ей удовольствие... Честное слово мамыши Наседки, вчера она здорово паялила на вас глаза!

– Ступай за ней сама и скажи, что я повезу ее в деревню... и ни слова больше. Главное, чтобы она не знала, что я уплатил ее долг.

– Это еще почему?

– Не все ли тебе равно?

– В самом деле, мне это безразлично, я предпочитаю, чтобы она по-прежнему считала себя в моей власти...

– Да замолчишь ли ты наконец? Ступай!..

– О, какой злюка! Жалею тех, с кем вы не в ладах... Хорошо! Иду... иду...

И Людоедка поднялась на чердак.

Несколько минут спустя она вернулась.

– Певунья не хотела мне верить; она покраснела как рак, когда узнала, что вы здесь... А когда я разрешила ей провести день за городом, мне показалось, что она сошла с ума; в первый раз в жизни она чуть не бросилась мне на шею.

– Это от радости... что покидает тебя.

В эту минуту в залу вошла Лилия-Мария, одетая, как и накануне: платье из коричневого бомбазина, оранжевая шаль, завязанная на спине, и головная косынка в красную клетку, позволяющая видеть лишь две толстые белокурые косы.

Она вспыхнула, увидев Родольфа, и смущенно опустила глаза.

– Не согласитесь ли вы, детка, провести со мной целый день за городом? – спросил Родольф.

– С большим удовольствием, господин Родольф, раз мадам мне это разрешила.

– Я отпустила тебя, кисанька, в награду за хорошее поведение, которое украшает тебя... Ну же, поцелуй меня...

И мегера приблизила к Лилии-Марии свое лицо в красных прожилках.

Превозмогая отвращение, бедная девушка подставила ей лоб для поцелуя, но Родольф локтем отбросил старуху к ее стойке, взял под руку Лилию-Марию и вышел из кабака под град проклятий мамыши Наседки.

– Будьте осторожны, господин Родольф, – сказала Певунья, – Людоедка, пожалуй, бросит вам что-нибудь в голову: она такая злая!

– Не беспокойтесь, детка. Но что это с вами? Вид у вас смущенный... печальный!.. Вы недовольны, что идете со мной?

– Напротив... но... но... вы взяли меня под руку.

– Что ж из этого?

– Ведь вы рабочий... И кто-нибудь может сказать вашему хозяину, что встретил вас со мной... Как бы это не повредило вам. Хозяева не любят, когда их подчиненные уходят с работы.

И Певунья осторожно высвободила свою руку.

– Идите один... я дойду вслед за вами до заставы... А как только мы очутимся за городом, я присоединюсь к вам.

– Ничего не бойтесь, прошу вас, – сказал Родольф, тронутый ее деликатностью, и снова взял под руку Лилию-Марию. – Мой хозяин живет далеко отсюда, к тому же мы найдем извозчика на Цветочной набережной.

– Как вам будет угодно, господин Родольф; я сказала так, чтобы не навлечь на вас неприятностей...

– Верю вам, спасибо. Но, скажите откровенно, вам все равно, куда ехать?

– Да, все равно, лишь бы это было за городом... В деревне так красиво... и так приятно дышать чистым воздухом! Знаете, за последние пять месяцев я ни разу не была дальше Цветочного рынка! И Людоедка лишь потому отпускала меня из Сите, что очень мне доверяет.

– А для чего вы ходили на рынок? Чтобы купить цветов?

– О нет, у меня не было на это денег, я ходила туда посмотреть на цветы, понюхать их... И в базарные дни, когда Людоедка разрешала мне провести полчаса на рынке, я чувствовала себя такой счастливой, что забывала обо всем.

– А когда вы возвращались к Людоедке... по этим гадким улицам?..

– Как вам сказать... Мне было еще более грустно, чем до прогулки... и я сдерживала слезы, чтобы не нарваться на побои. И знаете... кому я завидовала на рынке... очень завидовала?.. Молоденьким работницам, таким чистеньким, которые шли с рынка веселые-превеселые с горшком красивых цветов в руках.

– Я уверен, что, будь у вас на подоконнике несколько горшков с цветами, вы не чувствовали бы себя такой одинокой.

– Ваша правда, господин Родольф! Представьте себе, что однажды, на свои именины, Людоедка – она знала, что я люблю цветы, – подарила мне маленький розовый кустик. Если бы вы знали как я была счастлива! Я даже перестала скучать, ей-богу! Я то и дело смотрела на свою розочку... Забавлялась, считая ее листики, бутоны... Но в Сите плохой воздух, два дня спустя розочка стала желтеть. Тогда... Но вы станете смеяться надо мной, господин Родольф.

– Нет, нет, продолжайте.

– Так вот, я попросила у Людоедки позволения гулять с моей розочкой, как я гуляла бы с ребенком. Да, я ходила с ней на набережную, воображая, что ей полезно побыть с другими цветами, на свежем, хорошем, душистом воздухе; я смачивала ее поблекшие листочки в чистой воде, потом я вытирала их и на четверть часа выставляла цветок на солнце... Дорогая моя розочка никогда не видела солнца в Сите... впрочем, как и я... ведь на нашей улице солнце не опускается ниже крыши... Наконец я возвращалась... Уверяю вас, господин Родольф, что благодаря этим прогулкам моя розочка прожила на десять дней больше, чем прожила бы без них.

– Охотно верю, и, конечно, для вас было большой потерей, когда она погибла.

– Да, я оплакивала ее, это было для меня настоящим горем... И вот что, господин Родольф, раз вы понимаете, что можно любить цветы, я могу сказать вам одну вещь. Так вот, я питала нечто вроде благодарности... Ну, теперь вы непременно посмеетесь надо мной...

– Нет, нет! Я люблю, я обожаю цветы! И вполне понимаю те безрассудства, которые люди совершают из-за них.

– Так вот, я была благодарна моему бедному кустику, который так мило цвел для меня... хотя... словом... несмотря на то, что я представляю собой...

И Певунья, опустив голову, покраснела от стыда.

– Бедная девочка! Вы так ясно сознавали весь ужас своего положения, что вероятно, нередко...

–... мне хотелось покончить с собой, вы это хотели сказать, господин Родольф? – подхватила Певунья, прервав своего спутника. – О да, можете мне поверить: не раз за последний месяц я смотрела поверх парапета на Сену... но затем я смотрела на цветы, на солнце... И думала: река останется на своем месте; мне еще нет семнадцати лет... как знать?

– Когда вы говорили себе: «Как знать?...» – вы на что-то надеялись?

– Да.

– На что же?

– Сама не знаю... Я надеялась... Да, надеялась помимо воли... В такие минуты мне казалось, что моя горькая судьба незаслуженна, что во мне есть что-то и хорошее. Я говорила себе: «Мне очень тяжело пришлось, но, по крайней мере, я никогда никому не делала зла... Если бы я могла посоветоваться с кем-нибудь, то не дошла бы до того, до чего дошла!» Эти мысли разгоняли немного мою грусть... Надо сказать, что они стали приходить ко мне после гибели моего розового кустика, – прибавила Певунья с торжественным видом, вызвавшим улыбку у Родольфа.

– И это большое горе еще не прошло?..

– Нет... Вот взгляните.

И Певунья вытащила из кармана маленький сверток с засохшим розовым кустиком, тщательно перевязанным розовой шелковой лентой.

– И вы его сохранили?

– Ну конечно... Это все, что у меня есть на белом свете.

– Как, у вас нет ничего своего?

– Ничего...

– А это коралловое ожерелье?

– Оно принадлежит Людоедке.

– Как, у вас нет ни носового платка, ни чепчика, ни какой-нибудь тряпицы?

– Ничего у меня нет, ничегошеньки... только сухие веточки моей бедной розы, вот почему я так дорожу ими.

С каждым словом Певуни удивление Родольфа возрастало; он не мог понять этого жуткого рабства, этой чудовищной торговли телом и душой женщины, продающей себя за грязное по-

мещение, за поношенное платье и несъедобную пищу.⁷⁰

Родольф с Певуньей дошли до Цветочной набережной, где их ждал извозчик. Родольф подсадил Певунью и сел подле нее.

– В Сен-Дени, – сказал он кучеру, – там я скажу, куда ехать дальше.

Извозчик тронул; солнце сияло, на небе не было ни облачка; стекла кареты были опущены, и в нее врывался чистый прохладный воздух.

– Что это? Женское пальто! – воскликнула Певунья, заметив, что она сидит на чем-то мягком.

– Да, пальто для вас, детка; я захватил его, опасаясь, как бы вы не продрогли. Хорошенько закутайтесь в него.

Певунья, не привыкшая к такой предупредительности, с удивлением взглянула на Родольфа.

– Боже мой, как вы добры, господин Родольф! Мне просто совестно.

– Из-за того, что я добрый?

– Нет, но... вы говорите сегодня не так, как вчера, да и сами стали совсем другим.

– Скажите, Лилия-Мария, какой Родольф вам больше нравится, вчерашний или сегодняшний?

– Вы мне больше нравитесь таким, как сегодня... Однако вчера мне казалось, что я вам ровня...

И, сразу спохватившись, что могла его обидеть своими словами, она пояснила:

– Хотя я и сказала, что вам ровня, но я прекрасно понимаю, что это не так...

– Вот что меня удивляет, Лилия-Мария.

– Что именно, господин Родольф?

– Вы словно забыли то, что вам сказала вчера Сычиха... будто она знает ваших родителей... вашу мать.

– О, я ничего не забыла... Я думала этой ночью о ее словах и плакала... Но я уверена, что это неправда... Одноглазая выдумала эту историю, чтобы меня огорчить...

– Вполне возможно, что Сычиха лучше осведомлена, чем вы полагаете... А если это так, разве вы не были бы рады найти вашу мать?

– Увы, господин Родольф, если моя мать никогда не любила меня, к чему мне находить ее?.. Она даже не захочет взглянуть на меня... А если бы она меня любила... я опозорю ее!.. Она может умереть от стыда.

– Если мать любила вас, Лилия-Мария, она пожалеет вас, простит и снова полюбит... Если она вас бросила... то, увидев, на какую страшную долю она обрекла вас своим поступком... Стыд, испытанный ею, послужит вам отмщением.

– А к чему мне мстить ей? А кроме того, если бы я отомстила, мне кажется, что уже не имела бы права считать себя несчастной... А подчас это меня утешает.

– Вы правы, не будем больше говорить об этом.

Карета как раз подъезжала к Сент-Уену, к тому месту, где расходятся два пути: шоссе на Сен-Дени и дорога Восстания.

Несмотря на однообразие пейзажа, Лилия-Мария пришла в такой восторг при виде полей, как она говорила, что, позабыв о печальных мыслях, навеянных воспоминанием о Сычихе, она вострепнулась и ее прелестное личико просияло. Она выглянула в дверцу кареты и, хлопая в ладоши, воскликнула:

– Господин Родольф, какое счастье!.. Трава, поля! Если вы только позволите, я спущусь вниз... Какая чудная погода! Мне так хочется побегать по лугам...

⁷⁰ Если бы нам было разрешено входить в подробности, которых мы поневоле избегаем, мы доказали бы, что это рабство существует, что полиция ему не препятствует, что несчастная женщина, нередко проданная своими близкими и брошенная в омут разврата, осуждена, так сказать, навеки оставаться в нем, что ее раскаяние, ее угрызения совести бесплодны и что фактически ей почти невозможно выбраться из этой грязи. (См. прекрасную книгу доктора Паран-Дюшатле, труд философа и благородного человека.) (Примеч. автора.)

- Побегаем, детка... Извозчик, останови!
- Как! Вы тоже хотите побегать, господин Родольф?
- Еще бы, это такое удовольствие.
- Какое счастье! Господин Родольф!!!

И Родольф с Певуньей, схватившись за руки, побежали во всю прыть по обширному лугу, с опозданием скошенному во второй раз.

Прыжки, веселье, радостные крики, восторг Лилии-Марии не поддаются описанию. Подобно козочке, долго пробывшей взаперти, она с упоением вдыхала живительный воздух... Она ходила туда-сюда, останавливалась и вновь самозабвенно бежала дальше.

При виде растущих кучками маргариток и золотых бубенчиков, выдержавших первые заморозки. Певунья не могла удержаться от возгласов радости, она собрала все цветы до единого. Вдосталь набегавшись, она быстро устала, ибо отвыкла от таких игр, остановилась, чтобы перевести дух, и села на ствол дерева, лежащий у края глубокого рва.

На чистом белом личике Лилии-Марии, обычно слишком бледном, появился яркий румянец. Ее большие голубые глаза сияли, алые губки открывали два ряда влажных жемчужин, грудь бурно вздымалась под старенькой оранжевой шалью; одну руку она прижимала к сердцу, чтобы унять его биение, а другой протягивала Родольфу букет собранных ею полевых цветов.

Как пленительно было выражение невинной и чистой радости, которой дышало это целомудренное личико!

Обретя дар речи, Лилия-Мария сказала Родольфу:

- Как добр господь бог, что послал нам такой чудесный денек!

И в ее словах прозвучало глубокое счастье и чуть ли не мистическая благодарность.

Слезы выступили на глазах Родольфа, когда он услышал, что Лилия-Мария, обездоленная, покинутая, презираемая, погибшая девушка, не имевшая ни крова, ни хлеба, обратилась с этим криком души и неизъяснимой признательности к создателю лишь потому, что наслаждалась солнцем и видом скошенного луга.

Созерцательное настроение Родольфа было нарушено непредвиденным случаем.

Глава IX НЕОЖИДАННОСТЬ

Мы уже говорили, что Певунья села на ствол дерева, лежащий у края глубокого рва.

Какой-то мужчина неожиданно вылез из этой рытвины и, сбросив с себя охапку сена, под которой он прятался, разразился оглушительным хохотом.

Певунья вскрикнула от ужаса и обернулась.

Это был Поножовщик.

– Не бойся, дочка, – сказал Поножовщик при виде испуга девушки, которая прижалась к своему спутнику. – Послушайте, господин Родольф, вот удивительная встреча, а? Вы не ждали ничего такого? Я тоже... – Затем он прибавил уже серьезным тоном: – Вот что, хозяин... видите ли, можно говорить что угодно... но что-то есть там, в небе... наверху... над нашими головами... Всемогутный – хитрец! На мой взгляд, он говорит каждому человеку: «Ступай туда, куда я тебя направляю...» – вот он и направил сюда вас обоих, что чертовски странно!

– Что ты тут делаешь? – спросил крайне удивленный Родольф.

– Я тут на посту ради вас, хозяин... Но, дьявольщина! Какая удача, что вы пришли в окрестности моего загородного дома... Право, тут что-то есть... положительно что-то есть...

– Еще раз спрашиваю, что ты тут делаешь?

– Немного погодя вы все узнаете. Дайте срок, мне надо влезть на вашу конную обсерваторию.

Поножовщик бросился бегом к извозчику, стоявшему неподалеку, окинул своим зорким взглядом долину и поспешно вернулся обратно.

– Да объяснишь ли ты мне наконец, что все это значит?

– Терпение, терпение, хозяин... еще один вопрос... Который час?

– Половина первого, – ответил Родольф, взглянув на часы.

– Ладно... у нас еще есть время... Сычиха придет сюда лишь через полчаса.

– Сычиха! – воскликнули разом Родольф и молодая девушка.

– Да... Сычиха. В двух словах, хозяин, вот какая вышла история: вчера, когда вы выбежали из кабака, туда пришли...

– Высокий мужчина и женщина, переодетая мужчиной, которые справлялись обо мне. Знаю. Дальше.

– Затем они выставили мне бутылку вина и хотели заставить меня болтать о вас... Я ничего не мог им сказать... уж по одному тому, что вы не сообщили мне ничего, разве только, как можно осчастливить человека, отколошматив его... Из ваших секретов я знал лишь тот, что имел касательство к последним кулачным ударам. Да и если бы я знал что-нибудь, ничего бы не изменилось... потому что я ваш друг до гроба... метр Родольф... Пусть меня изжарят в аду, если я знаю, почему это так, но я чувствую к вам как бы привязанность бульдога к своему хозяину... Но тут уж ничего не поделаешь... Эта привязанность сильнее меня, и я решил не думать о ней... Теперь это ваша забота... Поступайте со мной как знаете...

– Благодарю тебя, приятель, но продолжай...

– Высокий господин и маленькая дама, переодетая мужчиной, поняли, что ничего из меня не вытянут; они ушли от Людоедки, я тоже ушел... они повернули в сторону Дворца правосудия, я – в сторону собора Парижской богоматери. Дойдя до конца улицы, замечая, что дождь припустил вовсю, настоящий потоп. Вижу поблизости полуразрушенный дом и говорю себе: «Если ливень продлится, я не хуже проведу здесь ночь, чем в моей конуре». Соскальзываю в какой-то подвал, где не каплет, устраиваю себе постель на старой балке, подушкой мне служит строительный мусор, словом, располагаюсь со всеми удобствами, как король...

– Дальше, дальше!..

– Мы пили с вами вместе, метр Родольф, да я еще выпил с высоким господином и с маленькой женщиной, переодетой мужчиной... это к слову, чтобы вы знали, что голова у меня была тяжелая... да и, кроме того, ничто так не усыпляет, как шум дождя. Итак, я преспокойно заснул. Словно бы недолго я задавал храпака, как вдруг какой-то шум разбудил меня: это был голос Грамотея, который, можно сказать, дружески беседовал с кем-то. Прислушиваюсь... Дьявольщина!.. Кого же я узнаю? Высокого господина, того, что был в кабаке с маленькой женщиной.

– Они беседовали с Грамотеем и Сычихой? – спросил Родольф с крайним изумлением.

– Да... Они договаривались встретиться на следующий день.

– Значит, сегодня! – воскликнул Родольф.

– В час дня.

– Через несколько минут!

– У развилки шоссе на Сен-Дени и дороги Восстания.

– Здесь?!

– Правильно, господин Родольф, здесь!

– С Грамотеем?! Будьте осторожны, господин Родольф! – воскликнула Певунья.

– Успокойся, дочка, он не придет, явится сюда одна Сычиха.

– Как мог этот человек войти в сношения с такими двумя негодьями? – сказал Родольф.

– Честное слово, понятия не имею. Вероятно, я проснулся лишь в конце разговора – мужчина просил вернуть бумажник, который Сычиха обещала принести ему сюда... за вознаграждение в пятьсот франков. Надо думать, что сначала Грамотей обокрал их... и что лишь после этого они стали разговаривать по душам.

– Как это странно...

– Боже мой, все это пугает меня из-за вас, господин Родольф, – пролепетала Лилия-Мария.

– Господин Родольф не ребенок, дочка; но ты верно сказала: Грамотей вполне может подложить ему свинью.

– Продолжай, приятель.

– Высокий мужчина и маленькая женщина пообещали две тысячи франков Грамотею, вид-

но, для того, чтобы он напакостил вам, а как – понятия не имею. Вскоро сюда придет Сычиха: она вернет высокому мужчине его бумажник, узнает, чем тут пахнет, и передаст все, что требуется, своему муженьку, который возьмется за остальное.

Лилия-Мария вздрогнула.

Родольф презрительно улыбнулся.

– Две тысячи франков, чтобы напакостить вам! Метр Родольф... это наводит меня на мысль (я не хочу ни с кем себя сравнивать) об объявлениях, в которых обещается награда в сто франков за потерянную собаку. Прочитав такое объявление, я скромно говорю себе: «Скотина, если ты потеряешься, никто не даст и пяти франков, чтобы вернуть тебя». Две тысячи франков, чтобы напакостить вам!.. Кто же вы такой?

– Я скажу тебе это немного погодя.

– Ладно, хозяин... Услыхав такое предложение, я подумал: «Надо узнать, где обосновались эти богачи, которые хотят науськать Грамотея на господина Родольфа; это может пригодиться». Когда они немного отошли, я вылез из своего подвала и, крадучись, последовал за ними; на площади Собора Парижской богородицы большой мужчина и маленькая женщина подходят к извозчику, садятся в карету, я на запятки, и мы прибываем на бульвар Обсерватории. Было темно, как в печке, я ничего не мог разглядеть и сделал зарубку на дереве, чтобы найти это место на следующий день.

– Очень хорошо, приятель.

– Сегодня утром я вернулся туда. В десяти шагах от моего дерева... я увидел улочку, перегороженную барьером... в уличной грязи отпечатки маленьких и больших ног... В конце улочки садовая калитка, где шаги прекращаются... здесь, видно, и свили себе гнездо высокий мужчина и маленькая женщина.

– Спасибо, дорогой; сам того не зная, ты оказал мне большую услугу.

– Прошу прощения, метр Родольф, я догадался кой о чем... и потому сделал это.

– Понимаю, приятель, и мне хотелось бы вознаградить тебя не только словами благодарности... К несчастью, я всего лишь бедняк рабочий... хотя за то, чтобы напакостить мне, обещаны, как ты говоришь, две тысячи франков... Я объясню тебе, в чем дело.

– Ладно, говорите али нет – мне все равно... Против вас задумано черное дело, а я хочу ему помешать... Остальное меня не касается.

– Я догадываюсь, чего они добиваются. Выслушай меня; я изобрел способ механически обтачивать слоновую кость для вееров, но изобрел его не один; я жду моего компаньона, чтобы применить этот способ; а нашей моделью хотят во что бы то ни стало овладеть мои конкуренты, так как благодаря ей можно заработать большие деньги.

– Так значит, высокий мужчина и маленькая женщина...

– Фабриканты, у которых я работал, но не захотел открыть им свой секрет...

Это объяснение, видимо, удовлетворило Поножовщика, человека не слишком развитого.

– Теперь я все понял... Подумать только, какие прощелыги!.. И у них даже не хватает смелости самим сделать эту подлость... Еще несколько слов, чтобы закончить мой рассказ. Вот что я подумал сегодня утром: «Я знаю, где встретятся Сычиха и высокий мужчина, и подожду их там; ноги у меня хорошие, а мой подрядчик наберется терпения, плевать на него...» Я прихожу сюда... вижу эту дыру, беру вон там охапку сена, прячусь под ней до кончика носа и жду Сычиху... Но вот неожиданно-негаданно вы приезжаете в эту долину, и бедная Певунья садится как раз на край моей засады; тут, как на грех, мне захотелось позабавиться, и, сбросив с себя сено, я заорал как полоумный.

– Что же ты собираешься делать?

– Дождаться Сычихи – она наверняка придет первая – и постараться услышать, что она скажет высокому мужчине, поскольку это может вам пригодиться. На всем этом поле есть только этот ствол дерева, словно нарочно оставленный здесь, чтобы люди могли посидеть и отдохнуть; отсюда все видать как на ладони... Свидание Сычихи назначено у перекрестка, в четырех шагах отсюда; готов поспорить, что наши голубчики сядут именно здесь; а если нет и я ничего не услышу... то, когда они разойдутся, я нападую на Сычиху – и на том спасибо, – уплачу ей, что

положено, за зуб Певуньи, а затем примусь душить ее до тех пор, пока она не назовет фамилию родителей этой бедной девушки... Что вы скажете о моем плане, метр Родольф?

– Твой план неплох, парень, но в нем надо кое-что исправить.

– Главное, Поножовщик, не затевайте ссоры из-за меня... Если вы побьете Сычиху, Грамотей...

– Замолчи, дочка... Сычихе не миновать моих кулаков... Дьявольщина! И как раз потому, что у нее есть защитник, Грамотей, я удвою дозу колотушек.

– Послушай, парень, у меня есть лучший способ отомстить Сычихе за ее издевательства над Певуньей, о чем я скажу тебе позже. – И, отходя на несколько шагов от Певуньи, Родольф продолжал, понизив голос: – Хочешь оказать мне настоящую услугу?..

– Приказывайте, метр Родольф.

– Сычиха тебя не знает?

– Вчера в кабаке я видел ее в первый раз.

– Вот что надо сделать... Сначала ты спрячешься, но, когда она подойдет сюда, ты выйдешь из своей засады.

– Чтобы свернуть ей шею?..

– Нет... Это потом!.. Сегодня надо только помешать ей встретиться с высоким мужчиной... Видя, что она не одна, он не решится подойти... Если он все же подойдет, не отходи от нее ни на минуту... при тебе он не будет говорить с ней начистоту.

– Если мужчина найдет меня слишком навязчивым... я отколочу его по первое число... Он не Грамотей и не метр Родольф.

– Я знаю этого человека, он не станет связываться с тобой.

– Ладно, я следую за Сычихой как ее тень. Человек этот не сможет сказать при мне ни одного слова, которого бы я не услышал, и в конце концов уберется восвояси...

– Если они договорятся о другой встрече, ты узнаешь об этом, поскольку все время будешь при них. Впрочем, само твое присутствие отпугнет высокого мужчину.

– Прекрасно. А после я задам трепку Сычихе?.. От этого я не могу отказаться.

– Не теперь... Одноглазая не знает: вор ты или нет?

– Откуда ей знать, разве только Грамотей говорил ей загодя, что воровать не в моих правилах...

– Если он говорил ей об этом, ты сделаешь вид, что изменил своим принципам.

– Я?

– Ты!..

– Дьявольщина! Господин Родольф... Но подумайте... Гм! гм... Такая игра мне не подходит.

– Ты поступишь как сочтешь нужным... Увидишь, я не предлагаю тебе ничего бесчестного...

– О, на этот счет я спокоен.

– И ты прав.

– Говорите, хозяин... Я поступлю, как вы прикажете.

– Как только высокий мужчина уйдет, ты постарайся умаслить Сычиху.

– Я? Эту старую гадину... Мне было бы легче подраться с Грамотеем. Я не знаю, сумею ли я удержаться, чтобы сразу не наброситься на нее.

– Тогда ты все испортишь.

– Но что же я должен сделать?

– Сычиха будет в ярости от того, что денежки от нее уплыли; ты постарайся успокоить ее, скажешь, будто у тебя наклеывается выгодное дельце, ради которого ты должен встретиться здесь со своим сообщником; ну, а если Грамотей захочет присоединиться к вам... можно получить большие деньги.

– Гм... гм...

– После часа ожидания ты скажешь ей: «Мой товарищ не пришел... Придется отложить встречу» – и назначишь свидание Сычихе и Грамотею завтра... пораньше. Понимаешь?

– Понимаю.

– А сегодня вечером приходи в десять часов на угол Елисейских полей и аллеи Вдов; я буду ждать тебя и объясню остальное...

– Если вы готовите им западню, будьте осторожны!.. Грамотей хитрец... Вы побили его... При малейшем подозрении он может вас убить...

– Будь спокоен.

– Дьявольщина! Вот так штука... Вы из меня прямо-таки веревки вьете. Не скажу, чтобы я колебался: чует мое сердце, что Грамотей и Сычиха хлебнут горя... И все же... Еще одно слово, господин Родольф.

– Говори.

– Я не думаю, что вы способны устроить ловушку Грамотею и предать его в руки полиции... Он закоснелый негодяй, который давно заслуживает смерти... но подвести его под арест... это не мое дело.

– И не мое, приятель; но мне надо свести счеты с ним и с Сычихой, которые вступили в заговор с моими недругами. И вдвоем с тобой, если ты согласен мне помочь, мы справимся с ними.

– Ладно, поскольку мерзавец этот не лучше своей мерзавки... я с вами заодно.

– И если мы добьемся удачи, – сказал Родольф серьезным, торжественным тоном, который поразил Поножовщика, – ты будешь так же горд, как после спасения тонущего солдата и чуть не сгоревшей женщины, которые обязаны тебе жизнью.

– Как вы это сказали, метр Родольф! Я никогда не замечал у вас такого взгляда... Но скорей, скорей, – вскричал Поножовщик, – я вижу вдалеке белую точку; это, должно быть, чепец Сычихи. Уезжайте, а я снова залезу в свою дыру.

– Сегодня, в десять часов вечера...

– На углу аллеи Вдов и Елисейских полей, договорились?

Лилия-Мария не слышала последней части разговора Поножовщика и Родольфа. Она первая села в карету.

Глава X ФЕРМА

После своих переговоров с Поножовщиком Родольф был некоторое время задумчив, озабочен.

Лилия-Мария, не решавшаяся прервать молчание своего спутника, печально смотрела на него.

Подняв голову, Родольф спросил ее с доброй улыбкой:

– О чем вы думаете, детка? Вам неприятно было встретиться с Поножовщиком, да? Нам было так весело!

– Наоборот, господин Родольф, эта встреча большая удача для нас, ведь Поножовщик может оказать вам услугу.

– Скажите, не считался ли Поножовщик среди завсегдатаев кабака человеком, сохранившим кое-какие добрые чувства?

– Не знаю, господин Родольф... До вчерашнего дня я часто его видела, но почти никогда с ним не говорила... Я думала, что он такой же злой, как и все остальные.

– Позабудем обо всем этом, милая Лилия-Мария, мне было бы очень неприятно опечалить вас; мне так хотелось, чтобы вы хорошо провели этот день.

– О, я очень счастлива! Ведь я давным-давно не была за городом.

– Со времени ваших поездок в кабриолете с Хохотушкой?

– Бог ты мой, да... Это было весной, и, хотя теперь глубокая осень, прогулка доставляет мне такое же большое удовольствие. Как ярко светит солнце!.. Взгляните на розовые облачка там... вдали... А этот холм... и хорошенькие белые домики среди деревьев... Листья еще не облетели. Это удивительно для ноября, правда, господин Родольф? В Париже листья так быстро опадают... А вон там стайка голубей... Смотрите, они сели на крышу мельницы... В деревне не

устаешь смотреть вокруг: все так занятно!

– Одно удовольствие, Лилия-Мария, видеть, как вы восприимчивы ко всем мелочам, которые создают очарование загородного пейзажа.

В самом деле, по мере того как девушка созерцала эту спокойную, ласкающую взор картину, ее личико снова расцветало.

– Вот там, на вспаханных полях горит солома, красивый белый дым поднимается к небу... А этот плуг, в который впряжена пара хороших, упитанных лошадей серой масти. Будь я мужчиной, я с радостью стала бы пахарем... Идти за плугом по безмолвному полю... и видеть далеко-далеко большие леса, особенно по такой погоде, как сегодня!.. Тут сразу захочется спеть одну из тех грустных песен, от которых слезы навертываются на глаза... как, например, о Женевиёве Брабантской. Вы знаете эту песню, господин Родольф?

– Нет, детка, но будет очень мило, если вы споете ее сегодня попозже, на ферме, ведь впереди у нас с вами целый день.

– Какое счастье! Мы едем на ферму, господин Родольф?

– Да, на ферму моей кормилицы, хорошей, достойной женщины, которая меня вырастила.

– И мы сможем выпить там молока?

– Подумаешь, молока! Мы отведаем превосходных сливок, которые фермерша снимет при нас, и свежайших яиц.

– И мы сами вынем их из гнезда?

– Разумеется...

– И мы сходим на скотный двор, чтобы взглянуть на коров?

– Конечно.

– И на молочную ферму тоже?

– Да, и на молочную ферму.

– И на голубятню?

– Да, и на голубятню.

– Право, господин Родольф, прямо не верится... Как мне будет весело! Какой чудесный день!.. Какой чудесный день! – радостно воскликнула Лилия-Мария.

Но тут мысли девушки внезапно приняли другой оборот: она подумала, что после часов, проведенных на свободе, в деревне, ей придется вернуться на свой вонючий чердак, и, закрыв лицо руками, она расплакалась.

– Что с вами, Лилия-Мария? Кто вас огорчил? – удивленно спросил Родольф.

– Ничего... ничего, господин Родольф.

И она вытерла глаза и попыталась улыбнуться.

– Простите, если я опечалилась... не обращайтесь внимания, это просто так, клянусь вам... одна мысль пришла в голову... я развеселюсь.

– Но вы только что были такая радостная.

– Именно поэтому мне и взгрустнулось, – наивно ответила Лилия-Мария, подняв на Родольфа глаза, еще мокрые от слез.

Эти слова многое сказали Родольфу: он обо всем догадался.

Желая развеять подавленное настроение девушки, он сказал ей с улыбкой:

– Держу пари, что вы подумали о своей розочке. Уверен, вы жалеете, что не можете разделить с ней удовольствие от поездки на ферму. Бедный розовый кустик! Вы способны были бы и его напоить сливками!

Певунья воспользовалась этой шуткой, чтобы улыбнуться; мало-помалу легкое облачко грусти рассеялось; она решила бездумно наслаждаться настоящим и закрыть глаза на будущее.

Карета приближалась к Сен-Дени, высокий шпиль церкви виднелся вдали.

– О, какая красивая колокольня! – воскликнула Певунья.

– Это великолепная церковь Сен-Дени... Хотите, я прикажу извозчику остановиться?

Певунья опустила глаза.

– С тех пор как я живу у Людоедки, я ни разу не входила в церковь, я не смела. Зато в тюрьме я очень любила петь в хоре во время мессы! И в праздник тела господня мы делали такие

красивые букеты для алтаря.

– Но господь бог добр, милостив: почему вы боитесь обратиться к нему с молитвой, войти в церковь?

– О нет... нет... господин Родольф... Это было бы кошунством... Я и без того гневлю бога.

– Скажите, вы любили кого-нибудь до сих пор?

– Нет, никогда.

– Почему?

– Вы же видели посетителей кабака... а кроме того, чтобы любить, надо быть честной...

– Честной?

– Да, зависеть только от себя... суметь... Но если вам все равно, господин Родольф, пожалуйста, не будем говорить об этом.

– Хорошо, Лилия-Мария, поговорим о другом... Но почему вы так смотрите на меня? И снова ваши красивые глаза полны слез... Я огорчил вас чем-нибудь?

– О, как раз напротив; но вы так добры ко мне, что у меня слезы навертываются на глаза... и потом вы не говорите мне «ты»... и потом... можно подумать, что вы взяли меня на прогулку только ради моего удовольствия: такое у вас бывает довольное выражение лица, когда вы видите меня счастливой. Вы не только защитили меня вчера... вы позволяете мне провести с вами такой чудесный день.

– Правда, вы чувствуете себя счастливой?

– Я долго-долго не забуду этого счастья.

– Счастье бывает так редко.

– Да, очень редко.

– По правде сказать, за неимением того, чего у меня нет, я забавляюсь иногда, предаваясь мечтам, и говорю себе: «Вот кем бы мне хотелось быть... вот доля, которая пришлось бы мне по душе...» А вам, Лилия-Мария, наверное, тоже случается мечтать, строить воздушные замки?

– Да, прежде, в тюрьме, до моего прихода к Людоедке, я только и делала, что мечтала и пела; но теперь это бывает со мной все реже... А чего бы вам хотелось, господин Родольф?

– Быть богатым, очень богатым... Иметь слуг, экипажи, выезжать в свет, каждый день бывать в театре. А вы о чем мечтаете, Лилия-Мария?

– Я не так требовательна, как вы; мне хотелось бы расплатиться с Людоедкой и иметь после этого немного денег, чтобы подыскать работу, снять уютную маленькую комнатку, очень чистенькую, с деревьями перед окнами, на которые я поглядывала бы, сидя за шитьем.

– И много цветов на подоконнике?..

– О, конечно... И, если только это возможно, жить в деревне, вот и все.

– Комнатка, работа, это лишь необходимое; но в мечтах можно позволить себе и нечто большее... Разве вам не хотелось бы иметь выезд, бриллианты, красивые платья?

– Столького я не требую... Быть свободной, жить в деревне и не бояться, что умрешь в больнице... О, главное не умереть в больнице... И знаете, господин Родольф, такая мысль часто приходит мне в голову, это мучительно!

– Увы, нам, бедным людям...

– Я говорю не о нищете... А о том, что бывает после смерти.

– И что же?

– Вы не знаете, что делают с бедняками после смерти?

– Нет...

– Я дружила в тюрьме с одной девушкой... Она умерла в больнице... А тело ее отдали хирургам, – прошептала, вздрогнув, бедняжка.

– Неужели, несчастная, у вас часто бывают такие мрачные мысли? Это ужасно!!!

– Вас удивляет, господин Родольф, что я стыжусь того, что будет с моим телом после смерти... Увы, боже мой... ведь только этот стыд мне и оставили...

Эти горькие, скорбные слова глубоко опечалили Родольфа. Он, содрогаясь, закрыл лицо руками; он думал о роке, поразившем Лилию-Марию... думал о матери этой несчастной девушки... Ее мать... Она была счастлива, богата, быть может, уважаема...

Уважаема... богата... счастлива... А ее дочь, которой она, вероятно, безжалостно пожертвовала, чтобы избежать позора, сменила чердак Сычихи на тюрьму, а тюрьму на вертеп Людоедки; из этого вертепа она может попасть в больницу... а после смерти...

Какая страшная судьба!

Горькие, скорбные слова Певуньи глубоко опечалили Родольфа.

Видя мрачное выражение его лица, она застенчиво сказала:

– Простите, господин Родольф, мне следовало отогнать эти грустные мысли. Вы взяли меня с собой, чтобы доставить мне удовольствие, а я то и дело говорю вам что-нибудь печальное... такое печальное, господи, что и сама не знаю, как это получается, право же, это помимо моей воли... Я никогда не была счастливее, чем сегодня, и, однако, слезы поминутно навертываются на глаза... Вы не гневаетесь на меня из-за этого? Скажите, господин Родольф? Впрочем... видите... эта грусть рассеялась так же быстро, как и пришла... Теперь... я о ней даже не думаю... Я буду благоразумна... Пожалуйста, господин Родольф, посмотрите мне в глаза.

И Лилия-Мария, раза два-три прикрыв веки, чтобы прогнать последние упрямые слезинки, широко-широко открыла глаза и взглянула на Родольфа с очаровательной наивностью.

– Лилия-Мария, умоляю вас, не принуждайте себя. Будьте веселой, если вам весело, и грустной, если вам грустно... Бог ты мой, на меня, говорящего с вами, тоже находят иногда мрачные мысли. И мне было бы очень тяжело изображать радость, которую я не испытываю.

– Правда, господин Родольф, и вам бывает грустно?

– Конечно, мое будущее нисколько не лучше вашего... У меня нет ни отца, ни матери... Стоит мне завтра заболеть, мне не на что будет жить. Ведь я расходую все, что зарабатываю.

– Вы совершаете ошибку, поверьте... большую ошибку, господин Родольф, – проговорила Певунья с явной укоризной, которая заставила его улыбнуться, – вам следовало бы класть деньги в сберегательную кассу... Все мое злосчастье произошло от того, что я не сэкономила денег... Имея в запасе двести франков, рабочий никогда не будет жить на чужой счет, никто не припрет его к стене... Безденежье нередко бывает дурным советчиком.

– То, что вы говорите, очень правильно, очень умно, моя маленькая хазяюшка. Однако двести франков... как сэкономить двести франков?

– Но, господин Родольф, это же проще простого: давайте подсчитаем, и вы убедитесь в этом... Вы зарабатываете иной раз до пяти франков в день, правда?

– Да, когда я работаю.

– Надо работать ежедневно. Неужели вам так уж плохо живется? У вас прекрасное ремесло... художник по раскраске вееров... Да такая работа должна быть для вас удовольствием... Право, вы неблагоразумны, господин Родольф, – прибавила Певунья строгим тоном. – Рабочий может жить, и хорошо жить, на три франка в день; таким образом, у вас будет ежедневно оставаться двадцать су, а в конце месяца наберется целых шестьдесят франков... Это же кругленькая сумма!

– Да, но так приятно прохлаждаться, бездельничать!

– Повторяю, господин Родольф, вы неблагоразумны, как ребенок...

– Хорошо, отныне я буду благоразумен, маленькая ворчунья; вы дали мне превосходную мысль... Я не подумал об этом...

– В самом деле? – воскликнула девушка, радостно хлопая в ладоши. – Если бы вы знали, как вы меня обрадовали!.. Вы станете откладывать сорок су в день! Правда?

– Да... Я стану экономить сорок су в день, – сказал Родольф, улыбаясь помимо воли.

– Правда, правда?

– Обещаю вам...

– Вот увидите, как вы будете гордиться первыми отложенными деньгами... Но это еще не все... Только обещайте мне не сердиться.

– Разве у меня очень злой вид?

– Конечно, нет... Но я не знаю, должна ли я...

– Вы должны говорить мне все без утайки, Лилия-Мария.

– Так вот... словом, вы, который... Сразу видно, что вы выше занимаемого вами положе-

ния... Почему же вы посещаете такие кабаки, как кабак Людоедки?

– Если бы я не пришел туда, я не имел бы удовольствия поехать за город вместе с вами, Лилия-Мария.

– Истинная правда, но дело не в этом, господин Родольф... Я бесконечно довольна сегодняшним днем и все же с легким сердцем откажусь поехать с вами еще раз, если это может вам повредить...

– Как раз наоборот, ведь вы даете мне такие великолепные советы.

– И вы последуете им?

– Честное слово, ведь я обещал вам. Да, я буду откладывать по меньшей мере сорок су в день...

Глава XI ПОЖЕЛАНИЯ

Тут Родольф обратился к извозчику, миновавшему деревню Сарсель:

– Сверни вправо на первую же дорогу после селения Вилье-ле-Бель, затем влево, и поедешь все прямо, никуда не сворачивая.

– Теперь, когда вы довольны мной, Лилия-Мария, – сказал Родольф, – можно позабавиться, как мы говорили недавно, и построить наши воздушные замки. Это стоит недорого, и вы не станете упрекать меня в мотовстве.

– Нет, не стану... Давайте построим ваш воздушный замок.

– Сперва... ваш, Лилия-Мария.

– Посмотрим, угадаете ли вы, что мне по душе, господин Родольф.

– Попробую... Думаю, что эта дорога... я говорю «эта», потому что мы едем по ней...

– Правильно, не надо искать мой замок слишком далеко.

– Я полагаю, что эта дорога ведет к прелестной деревне, лежащей далеко от шоссе.

– Да, жить там будет гораздо спокойнее.

– Деревня расположена среди деревьев, на склоне холма.

– Рядом протекает маленькая речка.

– Вот именно... Маленькая речка... Сразу же за селом мы увидим хорошенькую ферму; с одной стороны дома – фруктовый сад, с другой – прекрасный цветник.

– Я так и вижу все это, господин Родольф.

– На первом этаже фермы имеется обширная кухня для батраков и столовая для фермерши.

– А на окнах дома – зеленые решетчатые ставни... они придают ему такой веселый вид, правда, господин Родольф?

– Зеленые ставни... Согласен с вами... Нет ничего милее зеленых ставень... Естественно, что фермерша доводится вам тетей.

– И конечно... она очень добрая женщина.

– Превосходная, и она полюбит вас как мать...

– Милая тетя!.. Как приятно, должно быть, когда тебя кто-нибудь любит.

– И вы тоже ее полюбите?

– О, – воскликнула Лилия-Мария, складывая руки и подымая глаза к небу с выражением неопишуемого счастья. – О да, я полюблю ее; я буду помогать ей во всем: шить, убирать белье, перебирать и складывать на зиму фрукты, вести хозяйство... Ей не придется жаловаться на мою лень, даю вам слово!.. Прежде всего утром...

– Погодите, Лилия-Мария... Какая же вы нетерпеливая!.. Дайте мне закончить описание дома.

– Продолжайте, продолжайте, господин художник, сразу видно, что вы привыкли рисовать красивые пейзажи на ваших веерах, – проговорила, смеясь, Певунья.

– Ну и болтушка... Дайте мне договорить...

– Вы правы: я болтаю; но это так занятно!.. Да, господин Родольф, я слушаю; кончайте же описание дома фермерши.

– Ваша спальня расположена на втором этаже.

– Моя спальня! Какое счастье! Посмотрим, посмотрим, какая она! – И молодая девушка, прижавшись к Родольфу, с любопытством широко открыла глаза.

– В вашей спальне два окна, которые выходят на разбитый в саду цветник и на луг, внизу которого течет маленькая речка; на противоположном берегу речки – холм, покрытый старыми каштанами, среди которых виднеется церковная колокольня.

– До чего все это красиво!.. До чего красиво, господин Родольф! Так и хочется побывать там.

– Три-четыре коровы пасутся на лугу, который отделен от сада изгородью из боярышника.

– А из моей спальни видны коровы?

– Как на ладони.

– Среди них будет одна, моя любимица, правда, господин Родольф? Я повешу ей на шею хорошенькие колокольчики и приучу есть из моих рук.

– Она не преминет сделать это. Она белая, без единого пятнышка, совсем еще молодая, и зовут ее Мюзетой.

– Ах, какое красивое имя! Милая Мюзета, я так ее люблю!

– Закончим описание вашей спальни, Лилия-Мария; стены ее обиты тисненым полотном, а на окнах висят точно такие же занавески; вьющиеся розы и ветви огромного куста жимолости затеняют с этой стороны стену фермы и свешиваются над вашими окнами, так что по утрам вам стоит лишь протянуть руку, чтобы собрать прекрасный букет роз и жимолости.

– Ах, господин Родольф, какой вы замечательный художник!

– Посмотрим теперь, как вы проводите время на ферме!

– И как же?

– Ваша славная тетушка будит вас по утрам, нежно целуя в лоб; она приносит вам в кровать кружку парного молока, потому что, бедная девочка, у вас слабые легкие! Вы встаете, обходите ферму, здороваетесь с Мюзетой, с курами, с вашими любимцами голубями, с цветами, растущими в саду. В девять часов утра приходит ваш учитель.

– Мой учитель?

– Вы прекрасно понимаете, что вам надо научиться читать, писать и считать, чтобы помогать вашей тете вести приходо-расходные книги.

– Ваша правда, господин Родольф, а я и не подумала об этом... Конечно, мне необходимо научиться писать, чтобы помогать тете, – серьезно сказала бедная девочка, настолько поглощенная красочным описанием этой мирной жизни, что поверила в ее реальность.

– После вашего урока вы займетесь пересмотром и раскладкой белья или сядете вышивать хорошенький чепчик вроде тех, что носят здешние крестьянки. Часа в два пополудни вы приметесь за уроки, а затем пойдете с тетей на прогулку, летом посмотрите, как работают жнецы, а осенью – пахари; вы немного устанете и вернетесь домой с большой охапкой полевых трав для вашей любимой Мюзеты.

– Конечно, ведь обратно мы пройдем по лугу, правда, господин Родольф?

– Несомненно. Как раз в этом месте через речку перекинут деревянный мост... Когда вы вернетесь, будет, по-моему, часов шесть или семь; в это время в большой кухне фермы весело горит огонь; вы заходите туда, чтобы обогреться и побеседовать со славными людьми, которые ужинают там после пахоты. Затем вы сами поужинаете вместе с тетей. Иногда к вам присоединится приходский священник или кто-нибудь из старых друзей дома... После трапезы вы читаете или шьете, в то время как ваша тетя играет в карты. В десять часов она целует вас в лоб, и вы поднимаетесь к себе... А на следующий день все повторяется сызнова.

– Так можно прожить до ста лет и ни на минуту не соскучиться.

– Но это еще не все! А воскресенья, а другие праздники?

– Что же мы будем делать в эти дни, господин Родольф?

– Вы принарядитесь, наденете хорошенькое платье вроде тех, что носят здешние крестьянки, и один из тех прелестных круглых чепчиков, которые вам так к лицу, сядете в плетеную одноколку вместе с тетей и батраком Жаком и поедете к обедне в приходскую церковь; а летом бу-

дете присутствовать с тетей на храмовых праздниках всех окрестных сел. Вы такая нежная, милая, такая прекрасная хозяйюшка, ваша тетя так любит вас, а священник так хорошо о вас отзывается, что все парни будут приглашать вас танцевать, ведь именно так начинается здесь всякое сватовство... И не сегодня завтра какой-нибудь молодой человек понравится вам... и...

Удивленный молчанием Певуньи, Родольф взглянул на нее.

Бедная девочка с трудом сдерживала рыдания... Поверив ненадолго словам Родольфа, она позабыла о настоящем, а теперь поневоле вспомнила о нем; и контраст между настоящим и мечтой о спокойной, радостной жизни дал ей почувствовать весь ужас ее положения.

– Лилия-Мария, что с вами?

– Ах, господин Родольф, сами того не желая, вы очень огорчили меня... ведь я на минуту поверила в этот рай.

– Но, детка, он существует. Взгляните... Извозчик, останови...

Карета остановилась.

Певунья машинально подняла голову. Она находилась на вершине небольшого холма.

Каковы же были ее удивление, ее растерянность!..

Приглядное село на склоне холма, ферма, луг, прекрасные коровы, маленькая речка, каштановая роща, церковь вдалеке – картина, нарисованная Родольфом, была у нее перед глазами, вплоть до Мюзеты, красивой белой телки, будущей любимицы Певуньи...

Этот прелестный пейзаж был озарен ярким ноябрьским солнцем... Пурпурные и желтые листья каштанов еще не облетели и вырисовывались на лазури неба.

– Ну как, Лилия-Мария, разве я плохой художник? – проговорил Родольф, улыбаясь.

Певунья смотрела вокруг себя с удивлением, смешанным с беспокойством. То, что она видела, казалось ей чудом.

– Что это, господин Родольф? Боже мой, уж не грежу ли я?.. Мне даже страшно... Все, о чем вы говорили...

– Нет ничего проще, детка... Фермерша – моя кормилица, и на этой ферме я был взращен... Я написал сегодня рано утром кормилице, что приеду проведать ее; моя картина нарисована с натуры.

– Вы правы, господин Родольф, – сказала Певунья с глубоким вздохом.

Глава XII ФЕРМА

Ферма, куда Родольф привез Лилию-Марию, лежала за селом Букеваль, небольшим уединенным приходом, мало кому известным, окруженным полями, в двух лье от Экуена.

Следуя указаниям Родольфа, извозчик спустился по крутой дороге и свернул на длинную аллею, обсаженную яблонями и вишневыми деревьями. Карета бесшумно катила по мягкому, коротко стриженному газону, покрывающему большинство проселочных дорог.

Лилия-Мария, молчаливая, грустная, оставалась под тяжелым впечатлением, которое, сам того не желая, вызвал у нее Родольф, о чем он готов был пожалеть.

Через несколько минут карета, миновав широкий въезд во двор, проехала, по указанию Родольфа, вдоль густой шпалеры грабов и остановилась у простого деревянного крыльца, увитого виноградом, который осень окрасила в пурпур.

– Вот мы и приехали, Лилия-Мария, – сказал Родольф, – довольны вы?

– Да, господин Родольф... Но мне кажется, что я не посмею взглянуть на фермершу, мне будет стыдно перед ней...

– Почему, дитя мое?

– Вы правы, господин Родольф... она не знает меня.

И Певунья подавила вздох.

В доме, очевидно, ждали приезда Родольфа.

Как только извозчик открыл дверцу кареты, женщина лет пятидесяти, одетая как и все богатые фермерши парижских окрестностей, с лицом одновременно грустным, добрым и привет-

ливым, спустилась с крыльца и поспешила навстречу Родольфу, почтительно и радостно приветствуя его.

Певунья покраснела до ушей и после минутного колебания вышла из кареты...

– Здравствуйте, моя милая госпожа Жорж, – сказал Родольф фермерше, – как видите, я точен.

Вложив затем деньги в руку кучеру, он сказал:

– Можешь возвращаться в Париж.

У извозчика, низкорослого, приземистого человека, шляпа была надвинута на глаза, а лицо почти скрыто подбитым мехом воротником длинного пальто; он положил деньги в карман, ничего не говоря, влез на козлы, стегнул лошадь и быстро скрылся в конце зеленой аллеи.

«После такой длинной дороги этот не сказавший ни слова извозчик что-то очень торопится уехать... – подумал Родольф. – Как? Всего два часа! Он, видно, хочет пораньше вернуться в Париж, чтобы сделать еще несколько ездов».

Однако Родольф не придал никакого значения этой мелькнувшей у него мысли.

Лилия-Мария подошла к Родольфу и с видом смущенным, встревоженным, чуть ли не испуганным сказала ему, понизив голос, чтобы г-жа Жорж не услышала ее:

– Боже мой! Господин Родольф, простите меня... Вы отослали извозчика?.. А как же быть с Людоедкой? Увы, я обязана вернуться к ней сегодня вечером... иначе... она сочтет меня воровкой. Ведь все, что на мне надето, принадлежит ей... и я еще должна...

– Успокойтесь, детка, это мне надо просить у вас прощения...

– Вам, у меня?.. За что?

– За то, что я не сказал вам этого раньше: вы ничего не должны Людоедке... Вы можете сбросить эту мерзкую одежду и заменить ее той, которую вам предложит любезная госпожа Жорж. Вы с ней почти одного роста, и она с удовольствием даст вам что-нибудь из своего гардероба... Как видите, она уже входит в роль вашей тетушки.

Лилии-Марии казалось, что все это сон; она попеременно смотрела на фермершу и на Родольфа, не веря своим ушам.

– Неужто я больше не вернусь в Париж? – молвила она голосом, дрожащим от волнения. – Я смогу остаться здесь? И госпожа Жорж разрешит мне?.. Значит, он возможен... тот воздушный замок, о котором мы только что говорили?

– Он перед вами, я имел в виду эту ферму.

– Нет, о нет! Это было бы слишком прекрасно... слишком хорошо.

– Никогда не бывает слишком хорошо, Лилия-Мария.

– О, сжальтесь надо мной, господин Родольф... не обманывайте меня, мне было бы слишком больно...

– Дорогое дитя, верьте мне, – сказал Родольф по-прежнему ласково, но с оттенком горделивого достоинства, которое Лилия-Мария никогда не замечала у него, – да, если захотите, то, начиная с сегодняшнего дня, вы будете вести рядом с госпожой Жорж ту спокойную жизнь, описание которой только что привело вас в восторг... Хотя госпожа Жорж и не доводится вам тетушкой, она будет относиться к вам с самой нежной заботливостью; в глазах обитателей фермы вы будете считаться ее племянницей; эта небольшая ложь сделает более естественным ваше пребывание здесь... Повторяю... если вам этого хочется, Лилия-Мария, вы можете осуществить свою недавнюю мечту. Когда вы будете одеты, как молоденькая фермерша, – продолжал Родольф, улыбаясь, – мы сводим вас к любимице Мюзете, хорошенькой белой телке, которая с нетерпением ждет обещанных вами колокольчиков. Мы поглядим также на ваших приятелей-голубей; я непременно хочу выполнить свое обещание.

Лилия-Мария крепко сжала руки. Удивление, радость, признательность, глубокое уважение отразились на ее прелестном личике; глаза ее наполнились слезами.

– Господин Родольф... – воскликнула она, – значит, вы ангел господень, если делаете столько добра людям, не зная их, и спасаете несчастных от нищеты и позора!!!

– Мое бедное дитя, – ответил Родольф с улыбкой, в которой сквозила глубокая печаль и невыразимая доброта, – хотя я еще молод, но уже испытал много горя; этим и объясняется мое

сострадание ко всем обездоленным, Лилия-Мария, или, лучше сказать, Мария. Да, пусть отныне ваше имя будет Мария, нежное и красивое, как вы сами. Ступайте теперь с госпожой Жорж, до моего отъезда мы еще поговорим с вами, и я покину вас очень счастливый... при мысли, что вы счастливы.

Лилия-Мария ничего не ответила, она преклонила колена, взяла руку Родольфа и, прежде нежели он успел ей помешать, почтительно поднесла ее к губам движением, исполненным изящества и скромности.

После чего она последовала за госпожой Жорж, которая смотрела на нее с глубоким сочувствием.

Глава XIII МЭРФ И РОДОЛЬФ

Родольф вышел во двор фермы, где он встретился с мужчиной высокого роста, который накануне, переодетый угольщиком, зашел предупредить его о прибытии Тома и Сары.

Мэрфу, так звали этого человека, было лет пятьдесят; седина посеребрила остатки его некогда рыжеватых волос, которые кудрявились по бокам почти голого черепа; полное розовое лицо было чисто выбрито, за исключением очень коротких рыжих бакенбард, которые, прикрывая уши, заканчивались полумесяцем на пухлых щеках. Несмотря на почтенный возраст и полноту, Мэрф был подвижен и крепок. Его физиономия, на первый взгляд флегматичная, говорила о характере одновременно доброжелательном и решительном. Он носил длинный черный сюртук с широкими фалдами, обширный жилет и белый галстук; зеленовато-серые штаны были из той же ткани, что и гетры на перламутровых пуговицах, не вполне доходившие до подвязок и позволявшие видеть дорожные чулки из некрашеной шерсти.

Одеждой и осанкой Мэрф являл законченный тип помещика-дворянина, как говорят англичане. Поспешим добавить, что он был англичанином и дворянином (эсквайром), но не фермером. В ту минуту, когда Родольф вошел во двор, Мэрф клал в специальное отделение небольшого дорожного экипажа пару только что вычищенных пистолетов.

– Зачем, к черту, ты взял эти пистолеты?

– Это касается только меня, монсеньор, – сказал Мэрф, спрыгивая с подножки. – Вы занимаетесь своими делами, а я – своими.

– На какое время ты заказал лошадей?

– Как вы приказали, они будут здесь с наступлением темноты.

– Ты приехал утром?

– В восемь часов. У госпожи Жорж было достаточно времени, чтобы все подготовить.

– Ты не в духе... Ты недоволен мной?

– Более чем недоволен... Гораздо более. Не сегодня завтра... Словом, вам грозит опасность... Дело идет о вашей жизни...

– Тебе не пристало так говорить! Дай тебе волю, ты один взял бы на себя весь риск и...

– Право, если бы вы делали добро, не рискуя жизнью, я не узрел бы в этом большой беды.

– Зато я не испытал бы столь большого удовольствия, дорогой Мэрф.

– Такой человек, как вы, и посещаете низкопробные таверны! – проговорил Мэрф, пожимая плечами.

– О, как это похоже на всех ваших Джонов Булей с их преклонением перед аристократией, воображающих, будто вельможи – люди иной породы, чем вы, несчастные бараны, гордящиеся своими мясниками!!!

– Будь вы англичанином, монсеньор, вы бы поняли это... люди чтят тех, кто им оказывает честь. Впрочем, кем бы я ни был, турком, китайцем или американцем, я все равно сказал бы, что вы напрасно рискуете жизнью таким образом. Вчера вечером, в гнусной улочке Сите, куда мы отправились с вами на поиски этого Краснорукого (чтоб ему пусто было), только опасение прогневить вас непослушанием помешало мне прийти вам на помощь в вашей драке с разбойником, которого вы нашли в этом вертепе.

– Иначе говоря, господин Мэрф, вы сомневаетесь в моей силе, в моем мужестве?

– К несчастью, вы много раз доказывали мне и силу свою, и мужество. Благодарение богу, Крабб из Рамсгейта научил вас боксу; парижанин Лакур показал вам, как надо пользоваться шпагой, скрытой в трости, наносить удары ногами и шулки ради обучил вас аргю; знаменитый Бертран преподавал вам фехтование, и в ваших поединках с мастерами этого дела вы нередко были победителем. Из пистолета вы убиваете ласточку на лету; у вас стальные мускулы; несмотря на изящество и стройность, вы с такой же легкостью победили бы меня, с какой скаковая лошадь победила бы ломовую... Это правда...

Родольф не без удовольствия выслушал этот перечень своих гладиаторских качеств.

– Так чего же ты боишься? – спросил он с улыбкой.

– Я утверждаю, что вам не пристало вступать в драку с первым попавшимся мужланом. Я говорю это не из-за того, что считаю неприличным для некоего почтенного дворянина, моего знакомого, мазать себе лицо углем и походить в таком виде на черта... Несмотря на мою седину, дородность и степенность, я переоделся бы канатным плясуном, лишь бы сослужить вам службу, но от своих слов я не откажусь.

– О, я прекрасно знаю это, дорогой Мэрф. Когда какая-нибудь мысль засядет в твоей упрямой башке, когда преданность внедрится в твое стойкое и отважное сердце, самому дьяволу не вырвать их у тебя ни когтями, ни зубами.

– Вы льстите мне, монсеньор, вы замышляете какое-нибудь...

– Говори, не стесняйся.

– Какое-нибудь безрассудство, монсеньор.

– Мой бедный Мэрф, ты плохо выбрал время, чтобы читать мне нотации.

– Почему?

– Я переживаю как раз одну из редких минут счастья, гордости... Я приехал сюда...

– В местность, где вы сделали столько добра?

– Здесь я спасаюсь от твоих проповедей, это мое прибежище.

– Если так, то где же еще, черт возьми, я смогу вас пожурить, монсеньор?

– По всему видно, Мэрф, что ты хочешь помешать моему новому безрассудству.

– Есть безрассудство и безрассудство, монсеньор, к некоторым из них я отношусь снисходительно.

– Например, к мотовству?

– Да, что ни говори, а имея миллиона два годового дохода...

– И вместе с тем, иной раз мне не хватает денег, мой бедный друг.

– Кому вы это говорите, монсеньор?

– И все же бывают радости, трепетные, чистые, глубокие, которые вдобавок недорого стоят! Какое чувство можно сравнить с тем, что я испытал, когда эта обездоленная девушка, увидев себя здесь, где ничто не грозит ей, в порыве благодарности поцеловала мне руку? Это еще не все; мое счастье не кончится на этом: завтра, послезавтра и еще долгие дня я буду с наслаждением думать о том, что чувствует эта бедная девочка, просыпаясь утром в своем спокойном убежище, под одной крышей с такой превосходной женщиной, как госпожа Жорж, которая нежно полюбит ее, ибо несчастье сближает людей.

– О, что касается госпожи Жорж, никогда еще ваши добрые дела не находили лучшего применения. Благородная, мужественная женщина!.. Ангел, сущий ангел по своей редкой добродетели! Меня нелегко растрогать, но несчастья госпожи Жорж растрогали меня... Зато ваша новая протеза... Впрочем, не будем говорить об этом, монсеньор.

– Почему, Мэрф?

– Монсеньор, поступайте как вам заблагорассудится...

– Я делаю то, что хорошо и справедливо, – проговорил Родольф с оттенком нетерпения.

– Справедливо... по вашему мнению.

– Справедливо перед богом и перед моей совестью, – строго заметил Родольф.

– Простите, монсеньор, но мы все равно не пойдем друг друга. Повторяю, не стоит больше говорить об этом.

– А я приказываю вам говорить, – повелительно воскликнул Родольф.

– Еще ни разу не случалось, монсеньор, чтобы вы приказывали мне молчать; надеюсь, что на этот раз вы не прикажете мне говорить, – гордо ответил Мэрф.

– Сударь!!! – воскликнул Родольф.

– Монсеньор!!!

– Вам известно, сударь, что я не терплю недомолвок.

– А если, на мой взгляд, они необходимы, – резко возразил Мэрф.

– Так знайте же, сударь, я снисхожу до фамильярности с вами, но при одном условии: вы обязаны возвыситься до откровенности со мной.

Невозможно описать выражение крайнего высокомерия, отразившегося на лице Родольфа при этих словах.

– Монсеньор, мне пятьдесят лет, я дворянин; вам не пристало так разговаривать со мной.

– Замолчите!

– Монсеньор!

– Замолчите!

– Монсеньор, негоже принуждать великодушного человека вспоминать об оказанных им услугах.

– Твои услуги? Разве я не оплачиваю их всеми возможными способами?

Надо сказать, что Родольф не приписывал этим жестоким словам того унижительного смысла, который усмотрел в них Мэрф из-за своего подневольного положения; к несчастью, именно так он истолковал их. Лицо Мэрфа побагровело от стыда, и он поднес сжатые кулаки ко лбу с выражением горестного возмущения; но тут настроение его резко изменилось, и, бросив взгляд на Родольфа, благородное лицо которого было искажено чувством гневного презрения, он подавил вздох, посмотрел на молодого человека с ласковым состраданием и сказал ему взволнованно:

– Монсеньор, опомнитесь!.. Вы неблагоразумны!..

Эти слова окончательно вывели из себя Родольфа; глаза его дико сверкнули, губы побелели, и он подошел к Мэрфу, угрожающе подняв руку.

– Как ты смеешь?! – воскликнул он.

Мэрф отступил на шаг и проговорил скороговоркой, как бы помимо воли:

– Монсеньор, монсеньор, *вспомните о тринадцатом января!*

Эти слова оказали поразительное действие на Родольфа. Его лицо, искаженное гневом, разгладилось. Он пристально взглянул на Мэрфа, опустил голову и после минутного молчания прошептал изменившимся голосом.

– Ах, сударь, как вы жестоки... я полагал, однако, что мое раскаяние, мои угрызения совести!.. И это вы!.. Вы!..

Родольф не закончил фразы, его голос прервался; он опустился на каменную скамью и закрыл лицо руками.

– Монсеньор, – воскликнул Мэрф в отчаянии, – мой добрый господин, простите вашего старого преданного Мэрфа! Только доведенный до крайности и опасаясь, увы, не за себя... а за вас... последствий вашей горячности, я сказал без гнева, без упрека, сказал помимо воли и с чувством сострадания... Монсеньор, я был неправ, что обиделся. Боже мой, кому лучше знать ваш характер, как не мне, человеку, который всегда был при вас с самого вашего детства!.. Умоляю, скажите, что прощаете меня за то, что напомнил вам об этом роковом дне... Увы... Чего вы только не делали, дабы искупить...

Родольф поднял голову; он был очень бледен.

– Замолчи, замолчи, старый друг, – сказал он грустно и мягко своему давнему спутнику, – я благодарен тебе, что одним словом ты утишил мою гневную вспышку; я не стану просить прощения за дерзости, которые тебе наговорил: ты сам знаешь, что «от сердца до уст далеко», как говорят добрые люди в нашем краю. Я был не в себе, позабудем об этом.

– Увы! Теперь вы долго будете грустить... Какой же я дурак!.. Больше всего на свете мне хочется, чтобы ваше мрачное настроение развеялось... А я снова вызываю его своей глупой

обидчивостью! Бог ты мой! Какой толк быть честным человеком с седеющей головой, если ты не умеешь терпеливо сносить незаслуженные упреки. Так нет же, – продолжал Мэрф с волнением, тем более комичным, что оно не вязалось с его обычным спокойствием, – так нет же, мне, видите ли, требуется, чтобы меня хвалили с утра до ночи, чтобы мне повторяли: «Господин Мэрф лучший из слуг; господин Мэрф, вы замечательный человек; боже, как он хорош собой, господин Мэрф, нет и не бывало преданности, равной вашей, славный Мэрф!» Полно, старый попугай, тебе, значит, требуется, чтобы кто-то беспрестанно гладил твою старую голову.

Вспомнив затем о ласковых словах, сказанных ему Родольфом я начале беседы, он воскликнул с еще большим пылом:

– Сам же он назвал меня своим хорошим, старым, верным Мэрфом!.. А я, словно какой-нибудь мужлан, из-за его невольной вспышки!.. Черт возьми!.. Я готов выдрать себе волосы.

И достойный джентльмен поднес руки к вискам.

Эти слова и жесты Мэрфа доказывали, что отчаяние его достигло предела. К несчастью или к счастью для Мэрфа, он был почти совсем лыс, и покушение на свою шевелюру ничем ему не грозило, о чем он искренне сожалел, ибо когда слова сменялись делом, то есть когда его скрытые пальцы встречали лишь гладкую, блестящую, как мрамор, поверхность черепа, достойный эсквайр был смущен и пристыжен, считая себя хвастуном, бахвалом из-за проявленного им самомнения. Поспешим сказать в оправдание Мэрфа что у него была некогда самая густая, самая золотистая шевелюра, когда-либо украшавшая голову йоркширского дворянина.

Разочарование Мэрфа по поводу отсутствия его шевелюры обычно забавляло Родольфа. Но в эту минуту его мысли были серьезны, горестны. Не желая, однако, усугублять раскаяние своего спутника, он сказал ему с мягкой улыбкой:

– Послушай, мой славный Мэрф, ты как будто превозносил до небес, то доброе, которое я сделал госпоже Жорж...

– Монсеньор...

– Но тебя удивляет мой интерес к этой бедной погибшей девушке?

– Монсеньор, умоляю вас... Я был неправ... неправ...

– Нет... Я понимаю, первое впечатление могло обмануть тебя... Но поскольку ты знаешь всю мою жизнь, поскольку помогаешь мне с редкой преданностью, с редким мужеством выполнить задачу, которую я возложил на себя, я обязан по велению долга или, если хочешь, из чувства благодарности объяснить тебе, что не поступаю легкомысленно.

– Мне ли не знать этого, монсеньор!

– Тебе известны мои мысли о том добре, что может делать человек. Выручать порядочных людей, которые жалуются на свою долю, – хорошо. Разузнавать о тех, кто честно, мужественно ведет битву с жизнью, и приходить им на помощь, иной раз без их ведома... вовремя предупреждать нищету и соблазн, ведущие к преступлению... еще лучше. Обелять в их собственных глазах и возвращать к честной, достойной жизни тех, кто сумел сохранить великодушные чувства среди унижительного презрения, гнетущей нищеты и окружающей испорченности, и ради этого смело входить в соприкосновение с нищетой, испорченностью и грязью... лучше всего. Преследовать непримиримой ненавистью, неумолимым возмездием порок, подлость, преступление, ползают ли они в грязи или купаются в роскоши, не что иное, как акт справедливости... Но слепо помогать заслуженной нищете, позорить, осквернять милосердие и жалость, профанировать сочувствие и подаяние – благих, целомудренных утешительниц моей израненной души... и дарить их людям недостойным, бесчестным было бы отвратительно, постыдно, кощунственно. Это значило бы порождать сомнение в существовании бога, а дающий должен пробуждать веру в него.

– Монсеньор, я вовсе не хотел сказать, что вы благодетельствовали кого-нибудь недостойного.

– Еще одно слово, мой старый друг. Госпожа Жорж и несчастная девушка, которую я поручил ее попечению, вышли из двух противоположных миров, но обе очутились в бездне злосчастья. Жизнь одной из них, счастливой, богатой, любимой, уважаемой, наделенной всеми добродетелями, была растоптана, загублена лицемерным негодяем, за которого ее выдали

недальновидные родители... Я говорю с радостью, что без меня эта несчастная женщина погибла бы в нищете, ибо стыд мешал ей просить о помощи.

– Ах, монсеньор, когда мы поднялись на ее мансарду, какую мы увидели там страшную нищету! Это было ужасно, ужасно!.. И когда после долгой болезни она, так сказать, пришла в себя здесь, в этом спокойном доме, каково же было ее удивление, ее благодарность! Вы правы, монсеньор, помощь, оказываемая людям, попавшим в такую горькую беду, внушает веру в бога.

– И помогать им – значит почитать его! Да, согласен, нет ничего более возвышенного, чем мудрая и спокойная добродетель, нет никого более достойного уважения, чем такая женщина, как госпожа Жорж. Воспитанная доброй и благоразумной матерью в разумном соблюдении своих обязанностей, она ни разу не нарушила его... ни разу!!! И мужественно прошла через самые тяжкие испытания. Разве не славим мы всевышнего во всей его благодати, спасая от разврата одну из редких натур, которых ему было угодно наделить многими качествами?... Не заслуживает ли жалости, интереса, уважения... да, уважения, эта несчастная девочка, которая, предоставленная самой себе, истерзанная, заключенная в тюрьму, униженная и поруганная, свято сохранила в глубине сердца ростки добра, заложенные в нее богом? Если бы ты слышал бедняжку... при первом выражении сочувствия с моей стороны, как первом дружеском сердечном слове, обращенном к ней, лучшие свойства, тончайшие чувства, самые поэтичные и чистые помыслы пробудились в ее простодушной душе наподобие того, как весной множество полевых цветов непроизвольно распускается на лугах, пригретых солнцем! Во время часовой беседы с Лилией-Марией я открыл в ней сокровище доброты, деликатности, мудрости, мой дорогой Мэрф. Улыбка тронула мои губы, а слезы навернулись на глаза, когда среди своей пленительной и разумной болтовни она доказывала мне необходимость откладывать по сорок су в день, чтобы уберечь себя от нужды и дурных соблазнов. Бедная крошка! Она говорила все это таким серьезным, убежденным голосом; она была так искренне довольна, что дает мне хороший совет, и так искренне обрадовалась, когда я обещал слушаться ее!.. Я был тронут, уверяю тебя, тронут до слез, я уже говорил тебе об этом... А меня еще обвиняют в том, что я человек пресыщенный, черствый, непреклонный... О нет, нет! Слава богу, я еще чувствую иногда, как бурно, горячо бьется мое сердце... Но ты сам растроган, мой старый друг... Право, Лилии-Марии не придется ревновать тебя к госпоже Жорж, ее участь не оставит тебя безразличным.

– Ваша правда, монсеньор... Эта просьба о том, чтобы вы откладывали по сорок су в день – ведь она думала, что вы рабочий, вместо того чтобы выпрашивать их для себя... да, эта просьба тронула меня, быть может, больше, чем следовало бы.

– Стоит мне подумать, что у этой девочки, как говорят, есть мать, богатая, уважаемая, которая бессовестно бросила ее... О, если это так – надеюсь, я узнаю правду и все расскажу тебе. О, если это так... горе... горе этой женщине! Ее ждет грозное возмездие... Мэрф, Мэрф... я еще никогда не чувствовал такой беспощадной ненависти, как при мысли об этой незнакомке. Ты же знаешь, Мэрф, знаешь... иная месть дорога моему сердцу... иная боль драгоценна мне... я жажду иных слез!

– Увы, монсеньор, – проговорил Мэрф, огорченный выражением сатанинской злобы, искажившей при этих словах черты Родольфа, – я знаю, что люди, заслуживающие внимания и участия, часто говорят о вас: «Так, значит, он добрый ангел!» Зато другие, заслуживающие презрения и ненависти, восклицают, проклиная вас в порыве отчаяния: «Так, значит, он демон!..»

– Тише, сюда идут госпожа Жорж с Марией... Распорядитесь, чтобы все было готово к нашему отъезду: мне надо пораньше быть в Париже.

Глава XIV РАССТАВАНИЕ

Благодаря стараниям г-жи Жорж Марию (так мы будем называть отныне Певунью) нельзя было узнать.

Хорошенький круглый чепчик, какие носят местные крестьянки, и причесанные на пробор густые белокурые волосы обрамляли ее Девственное личико. Большой шейный платок из белого

муслина скрещивался у нее на груди и уходил под высокий квадратный нагрудник фартучка из переливчатой тафты, голубые и розовые отсветы которой падали на коричневое платье, словно сшитое по ней.

Личико девушки было сосредоточенно, ибо большое счастье погружает иные натуры в невыразимую грусть, в светлую меланхолию.

Родольфа не удивила задумчивость Марии. Появись она веселая, болтливая, у него сложилось бы менее высокое мнение о ней.

С присущим ему тактом он не сказал ни одного лестного слова Марии, хотя она и блистала красотой.

Родольф чувствовал нечто торжественное, священное в возрождении этой души, вырванной у порока.

Госпожа Жорж, на серьезном лице которой лежал отпечаток долгих страданий и покорности судьбе, смотрела на Марию со снисходительностью и чуть ли не материнской нежностью: так пришлось ей по душе мягкость и изящество этой девушки.

– Вот и моя детка... Она пришла поблагодарить вас за все, что вы для нее сделали, – проговорила г-жа Жорж, подводя Певунью к Родольфу.

При слове «детка» Певунья медленно подняла большие голубые глаза на свою покровительницу и посмотрела на нее с чувством неизъяснимой благодарности.

– Спасибо вам за Марию, дорогая госпожа Жорж, она заслуживает вашей нежной заботливости... да и всегда будет достойна ее.

– Господин Родольф, – проговорила Певунья дрожащим голосом, – вы поймете, не правда ли, что я не нахожу слов...

– Ваше волнение мне и так все сказало, Мария...

– О, она и сама понимает, что должна благодарить провидение за ниспосланное ей счастье, – растроганно молвила г-жа Жорж. – Когда она вошла в мою спальню, ее первым побуждением было броситься на колени перед распятием.

– Ведь теперь благодаря вам, господин Родольф, я смею молиться, – проговорила Мария, смотря на своего покровителя.

Мэрф резко отвернулся: английская невозмутимость не позволяла ему показать, насколько он тронут этими простыми словами Марии.

– Дитя мое, – сказал Родольф, – мне надо побеседовать с госпожой Жорж... Мой друг Мэрф сходит с вами на ферму... и познакомит вас с вашими будущими питомцами... Скоро и мы присоединимся к вам... Мэрф!.. Мэрф! Ты что, не слышишь меня?

Достойный джентльмен стоял в эту минуту спиной к Родольфу и притворялся, что громко сморкается; он спрятал платок в карман, надвинул на глаза шляпу и, наполовину обернувшись к Марии, подал ей руку. Мэрф так искусно проделал все это, что ни Родольф, ни г-жа Жорж не увидели его лица. Затем, держа под руку молодую девушку, он быстро зашагал к зданию фермы, и Певунье пришлось бежать за ним, как она бегала в детстве за Сычихой.

– Так что же вы думаете о Марии, госпожа Жорж?

– Я уже говорила вам, господин Родольф, что, войдя в мою спальню, она поспешно преклонила колени перед висящим у меня распятием... Не могу выразить, сколько было непосредственности, подлинного религиозного чувства в этом поступке... Я сразу поняла, что душа ее осталась чиста... И кроме того, в благодарности Марии нет ничего искусственного... выпретенного; вот почему ее чувство кажется особенно искренним. Приведу еще один пример, который покажет вам, что ей присуще глубокое религиозное чувство. «Вы были, вероятно, поражены и очень счастливы, когда господин Родольф сказал, что вы останетесь здесь?... Какое впечатление его слова произвели на вас?» – «О, когда господин Родольф сказал мне это, я сама не знаю, что случилось со мной; я почувствовала нечто вроде священного трепета, благоговейной радости, как прежде, при входе в церковь... когда я смела туда входить, – прибавила она, – ведь вам известно, сударыня...» Я не позволила ей продолжать, видя, что лицо покрылось краской стыда: «Я знаю, дитя мое, я всегда буду называть вас так... Я знаю, что вы много выстрадали, детка, но бог благословляет тех, кто любит и страшится его, тех, кто несчастлив и раскаялся...»

– Ну что же, милая госпожа Жорж, я вдвойне доволен тем, что сделал. Со временем эта бедная девушка еще больше расположит вас к себе... вы правильно угадали: задатки у нее превосходные.

– Вот что еще тронуло меня, господин Родольф: она не задала мне ни одного вопроса о вас, хотя любопытство ее, конечно, было возбуждено. Меня поразила ее сдержанность, деликатность, и мне захотелось понять, насколько непосредственно такое поведение. «Вам, наверно, интересно узнать, кто такой ваш таинственный благодетель?» – «Я знаю...» – ответила она с прелестной наивностью: – Он зовется моим благодетелем».

– Так, значит, вы полюбите ее, великодушная женщина? Вам будет приятно ее общество, и она займет уголок в вашем сердце...

– Во всяком случае, я буду заботиться о ней... как заботилась бы... о нем, – сокрушенно проговорила г-жа Жорж.

Родольф взял ее за руку.

– Полно, полно, еще рано отчаиваться... Если до сих пор мои поиски не увенчались успехом, быть может, в один прекрасный день...

Госпожа Жорж печально покачала головой.

– Моему несчастному сыну исполнилось бы теперь двадцать лет, – проговорила она с горечью.

– Скажите лучше, что ему исполнилось двадцать...

– Да услышит вас бог, господин Родольф!

– Он услышит меня... я твердо верю в это... Вчера я ходил на поиски (правда, напрасные) некоего пройдохи, прозванного Красноруким, который, как мне говорили, кое-что знает о вашем сыне. По выходе из дома, где живет Краснорукий, мне пришлось вступить в драку, благодаря которой я и встретил эту несчастную Девушку.

– Ну что же... по крайней мере, ваше желание мне помочь навело вас на след нового счастья, господин Родольф.

– Впрочем, мне давно хотелось исследовать категорию отверженных людей... Я был почти уверен, что среди них найдутся души, которые можно вырвать у старика Сатаны, – сказал с улыбкой Родольф, – я забавляюсь, идя наперекор его козням, и иной раз мне удается похитить лучшую его добычу.

И, перейдя на более серьезный тон, Родольф спросил:

– Никаких сведений из Рошфора?

– Никаких... – ответила г-жа Жорж тихо, с дрожью в голосе.

– Тем лучше!.. Теперь уже можно не сомневаться, что этот изверг погиб в каком-нибудь болоте при попытке к бегству. Его приметы широко известны... он опасный преступник, и, конечно, все средства были пущены в ход, чтобы разыскать его; ведь прошло уже полгода с тех пор, как он исчез с ка...

Родольф умолк, не решаясь произнести это страшное слово.

– С каторги!.. Хотите вы сказать... с каторги! – воскликнула как потерянная несчастная женщина. – И этот человек – отец моего сына!.. О, если мой бедный ребенок еще жив... если он по моему примеру не переменял фамилии... Какой это стыд для него... какой стыд! Но это еще пустяки... Ведь отец его мог исполнить свою чудовищную угрозу... Ах, господин Родольф, простите меня, но, невзирая на все ваши благодеяния, я чувствую себя очень несчастной.

– Успокойтесь, прошу вас.

– Иной раз мне мерещатся всякие ужасы. Мне чудится, что мужу удалось сбежать из Рошфора, что он цел и невредим, что он ищет меня, хочет убить, как убил, быть может, нашего сына. Ума не приложу, что он мог с ним сделать!

– Эта тайна давно гложет меня, – задумчиво проговорил Родольф. – Для чего этот подлец взял с собой вашего сына, когда пятнадцать лет тому назад он пытался, по вашим словам, перебраться через французскую границу. Маленький ребенок мог только помешать его бегству.

– Увы, господин Родольф, когда мой муж (несчастливая женщина вздрогнула, произнеся это слово) был арестован на границе, привезен в Париж и брошен в тюрьму, я получила разрешение

на свидание с ним. Тогда-то он и произнес эти страшные слова: «Я похитил твоего сына потому, что ты любишь его; таким образом я заставлю тебя посылать мне деньги, которые будут, а может, и не будут истрачены на него... это уже моя забота... Останется ли он в живых или нет – не важно... Но если он выживет, то окажется в руках такого человека, что стыд за сына падет на твою голову, как уже пал на нее стыд за его отца...» И вот месяц спустя мой муж был приговорен к пожизненной каторге... С тех пор все просьбы, мольбы, обращенные в моих письмах к мужу, были тщетны; я так ничего и не узнала о судьбе моего мальчика... Ах, господин Родольф, где теперь мой сын? Мне то и дело вспоминаются чудовищные слова, сказанные мужем: «Стыд за сына падет на твою голову, как уже пал на нее стыд за его отца!»

– Но злодеяние бессмысленно; зачем было развращать, растлевать несчастного ребенка? И главное, зачем отнимать его у вас?

– Я уже говорила вам об этом, господин Родольф, чтобы вынудить меня посылать ему деньги; хотя он и разорил нас с сыном, у меня еще оставались кое-какие средства, которые он и выманивал у меня таким способом. Прекрасно зная его подлость, я все же не могла поверить, чтобы хоть часть этих денег не пошла на воспитание бедного мальчика.

– А у вашего сына не было никакого отличительного признака, никакой вещицы, которые помогли бы установить его личность?

– Ничего, господин Родольф, кроме крошечного скульптурного изображения святого духа из лазурита, которое он носил на серебряной цепочке; эта реликвия, освященная самим святейшим отцом, принадлежала моей матери, которая очень чтит ее; я тоже носила ее; потом повесила этот талисман на шею моему сыну. Увы, он потерял свою чудодейственную силу.

– Как знать! Мужайтесь, несчастная мать: бог всемогущ.

– Да, провидение послало мне вас, господин Родольф.

– Слишком поздно, милая госпожа Жорж, слишком поздно. Раньше я сумел бы, возможно, избавить вас от долгих лет скорби.

– Ах, господин Родольф, вы и так меня осчастливили.

– Чем же? Я купил у вас эту ферму. В дни вашего благоденствия вам нравилось совершенствовать и украшать свои владения; затем вы согласились стать моим управляющим; благодаря вашим стараниям, вашей деловитости ферма приносит мне доход...

– Приносит вам доход, сударь? – переспросила г-жа Жорж, прерывая Родольфа. – Ведь я сама отдаю арендную плату нашему славному аббату Лапорту, а он, по вашему приказанию, раздает ее нуждающимся.

– Ну что же, разве это не превосходное употребление денег? Но скажите, вы предупредили нашего милого аббата о моем приезде? Я непременно хочу поручить ему мою протекцию. Он получил мое письмо?

– Господин Мэрф отнес ему письмо сегодня утром, как только приехал на ферму.

– В этом письме я рассказал в нескольких словах вашему славному священнику историю этой бедной девочки; я не был уверен, что сумею приехать к вам сегодня. В этом случае Мэрф привез бы вам Марию.

Подошедший батрак прервал беседу, происходившую в саду.

– Сударыня, его преподобие ожидает вас.

– Скажи, парень, а почтовые лошади прибыли?

– Да, господин Родольф, уже запрягают.

И батрак вышел из сада.

Госпожа Жорж, священник и все жители фермы знали покровителя Марии лишь под именем Родольф. Мэрф хранил гробовое молчание насчет своего бывшего питомца; правда, он всегда титуловал его с глазу на глаз, зато при посторонних называл его не иначе как г-ном Родольфом.

– Я забыл предупредить вас, дорогая госпожа Жорж, – сказал Родольф, когда они возвращались на ферму, – по-моему, у Марии слабые легкие. Лишения, нищета подорвали ее здоровье. Сегодня утром, при дневном свете, я был поражен ее бледностью, хотя на щеках ее играл яркий румянец; мне показалось также, что глаза у нее лихорадочно блестят... ей потребуется заботли-

вый уход.

– Можете рассчитывать на меня, господин Родольф. Слава богу, у нее нет ничего серьезного... В этом возрасте... она быстро поправится в деревне, на свежем воздухе, отдых и счастье тоже сделают свое дело.

– Согласен с вами... но я не особенно доверяю вашим деревенским врачам... Я скажу Мэрфу, чтобы он привез сюда моего доктора – негра... он превосходный врач и назначит пациентке тот режим, в котором она нуждается... Вы часто будете осведомлять меня о здоровье Марии... Немного спустя, когда она успокоится и окрепнет, мы подумаем о ее будущем... Быть может, для нее лучше всего было бы остаться с вами... если она придется вам по сердцу.

– Таково и мое желание, господин Родольф. Она заменит мне ребенка, которого я неустанно оплакиваю.

– Ну что ж, будем надеяться на счастливый исход... для вас и для нее.

Когда Родольф с г-жой Жорж приближались к дому, Мэрф и Мария подходили к нему с другой стороны.

Мария была оживленна после прогулки. Родольф обратил внимание г-жи Жорж на два ярких пятна, рдевших на щеках молодой девушки, которые резко выделялись на нежной белизне ее кожи.

Достойный джентльмен, оставив Певунью, подошел со смущенным видом к Родольфу и сказал ему на ухо:

– Эта девушка околдовала меня; не знаю теперь, кто из них мне больше нравится – она или госпожа Жорж... Я был скотиной, болваном.

– Только не вырывай себе волосы из-за этого, старый друг, – сказал Родольф и с улыбкой пожал руку эсквайра.

Опираясь на Марию, г-жа Жорж вошла в маленькую гостиную, в первом этаже своего дома, где ее ожидал аббат Лапорт.

Мэрф отлучился, чтобы распорядиться об отъезде.

Госпожа Жорж, Мария, Родольф и священник остались одни.

Стены и мебель этой простой и уютной гостиной были обиты тисненым полотном, как, впрочем, и остальные комнаты дома, точно описанного Родольфом во время его поездки с Певуньей.

Толстый ковер лежал на полу, огонь пылал в камине, и два огромных букета китайских астр всевозможной расцветки стояли в двух хрустальных вазах, распространяя вокруг себя легкий бальзамический аромат.

Сквозь полузакрытые решетчатые ставни были видны луг, маленькая речка и холм, поросший каштанами.

Аббату Лапорту, сидевшему у камина, перевалило за восемьдесят, и после революции он стал настоятелем этого бедного прихода.

Трудно было встретить более почтенную внешность, чем у этого аббата с его старческим, исхудавшим и болезненным лицом в рамке длинных седых волос, которые падали на воротник его черной, кое-где заплатанной сутаны; по словам аббата, лучше отдать хорошее, теплое сукно двум-трем неимущим детям, чем разыгрывать из себя щеголя, иными словами, чем менять сутаны каждые два-три года.

Добрый аббат был очень стар, так стар, что его руки вечно дрожали, и иной раз, когда в разговоре он поднимал их, можно было подумать, что он благословляет свою паству.

Родольф с интересом наблюдал за Марией.

Если бы он хуже знал ее, или, точнее, хуже разгадал ее душу, он был бы, вероятно, удивлен тем благоговейным спокойствием, с которым она подошла к священнику.

Тонкое чутье Марии подсказало ей, что стыд кончается там, где начинаются раскаяние и искупление.

– Ваше преподобие, – почтительно сказал Родольф, – госпожа Жорж согласилась взять на попечение эту юную девушку... для которой я хочу испросить и вашего благосклонного внимания.

– Она имеет на него право, сударь, как и все те, кто прибегает к нам. Милосердие бога неистощимо, мое дорогое дитя! Он доказал вам это, не покинув вас в ваших горьких испытаниях... Мне все известно. – И он взял руку Марии в свои дрожащие старческие руки. – Великодушный человек, спасший вас от гибели, исполнил слово Писания, гласящее: «Господь печется о тех, кто призывает его; он услышит их стоны и спасет их». А теперь постарайтесь заслужить своим поведением милосердие господне. Я же всегда буду рад подбодрить, поддержать вас... на той благой стезе, на которую вы вступили. У вас перед глазами неизменно будет назидательный пример госпожи Жорж... А во мне вы найдете внимательного советчика... Господь завершит свое дело...

– Я буду молиться за тех, кто пожалел меня и привел к богу, отец мой... – сказала Певунья. И почти непроизвольно она опустилась на колени перед священником. Рыдания душили ее. Госпожа Жорж, Родольф и аббат были глубоко растроганы.

– Дорогое дитя, – сказал священник, – вы скоро заслужите отпущение грехов, ибо являетесь скорее жертвой, нежели грешницей. Как сказал пророк: «Господь поддерживает тех, кто готов пасть, и поднимает тех, кто повержен».

– Прощайте, Мария, – сказал Родольф, вручая девушке маленький золотой крестик на черной бархотке. – Сохраните его на память обо мне; сегодня утром я велел выгравировать на нем число этого дня – дня вашего освобождения... вашего искупления. Скоро я приеду навестить вас.

Мария поднесла крестик к губам.

В эту минуту Мэрф открыл дверь в гостиную.

– Господин Родольф, – сказал он, – экипаж подан.

– Прощайте, отец мой... прощайте, милая госпожа Жорж... Я вверяю вам ваше дитя или, точнее, наше дитя. Еще раз прощайте, Мария.

Опираясь на г-жу Жорж и на Певунью, которые направляли его неверные шаги, почтенный аббат вышел из гостиной, чтобы проводить Родольфа.

Последние лучи солнца ярко освещали эту примечательную и скорбную группу.

Престарелого священника, олицетворяющего милосердие, прощение и вечную надежду...

Женщину, испытавшую все несчастья, какие могут поразить жену и мать.

Юную девушку, едва вышедшую из детского возраста, которую нищенство и гнусная преступная среда толкнули некогда в омут порока.

Родольф сел в коляску, Мэрф поместился рядом с ним...

Лошади тронули и помчались во весь опор.

Глава XV СВИДАНИЕ

Поручив Певунью заботам г-жи Жорж, Родольф, все так же одетый по-рабочему, стоял в полдень следующего дня у двери кабака «Корзина цветов», расположенного неподалеку от заставы Берси.

Накануне, в десять часов вечера, Поножовщик пришел на свидание, назначенное ему Родольфом. Читатель узнает из продолжения этого рассказа о результате их встречи.

Итак, был полдень, дождь лил как из ведра; вода в Сене, вздувшейся от непрерывных дождей, сильно поднялась и залила половину набережной.

Время от времени Родольф нетерпеливо посматривал в сторону заставы; наконец, увидев вдалеке мужчину и женщину под зонтом, он узнал Сычиху и Грамотея.

Оба они преобразились; разбойник отказался от своего отрепья и от выражения зверской жестокости; на нем был длинный редингот из зеленого касторина, на голове – круглая шляпа; его галстук и рубашка поражали безупречной белизной. Если бы не отталкивающее безобразие черт лица и не хищный блеск жгучих бегающих глазок, его можно было бы принять, судя по спокойной, уверенной походке, за добропорядочного буржуа.

Одноглазая тоже прифрантилась, надела белый чепчик и большую шаль из шелковых

охлопков, подделку под кашемировую; в руке она держала объемистую корзину.

Дождь внезапно прекратился. Родольф превозмог чувство гадливости и двинулся навстречу отворотительной супружеской паре.

Грамотей сменил кабацкое арго на чуть ли не изысканный язык, который, свидетельствуя об образованности этого человека, до странности не вязался с его похвальбой своими кровавыми подвигами.

При приближении Родольфа Грамотей отвесил ему глубокий поклон; Сычиха сделала реверанс.

– Сударь... я ваш покорнейший слуга... – сказал Грамотей. – Разрешите засвидетельствовать вам мое почтение, весьма рад познакомиться... Или, точнее, возобновить знакомство... ибо позавчера вы почтили меня двумя ударами кулака, способными убить носорога... Но пока что не стоит говорить об этом; то была шутка с вашей стороны... уверен, простая шутка... позабудем о ней... Зато серьезные интересы объединяют нас. Вчера вечером, в одиннадцать часов, я встретился в кабаке с Поножовщиком; я назначил ему свидание здесь на тот случай, если он пожелает быть нашим сотрудником, но он, видимо, наотрез отказался от этого дела.

– А вы-то согласны?

– Если вам угодно, господин... Ваше имя?

– Родольф.

– Господин Родольф... мы зашли бы в «Корзину цветов»... ни я, ни моя супруга еще не завтракали... Мы побеседуем о наших делишках и кстати заморим червячка.

– Охотно.

– По дороге можно будет перекинуться несколькими словами. Не в упрек вам будь сказано, вы с Поножовщиком должны возместить мне и моей жене понесенные нами убытки. Из-за вас мы потеряли более двух тысяч франков. Неподалеку от Сент-Уена у Сычихи было назначено свидание с высоким господином в трауре, он позавчера вечером осведомлялся о вас в кабаке; он предложил нам две тысячи франков, чтобы мы кое-что сделали вам... Поножовщик приблизительно объяснил нам суть дела... Да, чуть не забыл, Хитруша, – обратился разбойник к жене, – сходи в «Корзину цветов», выбери там отдельный кабинет и закажи хороший завтрак; отбивные котлеты, кусок телятины, салат и две бутылки лучшего бонского вина; мы нагоним тебя.

За все это время Сычиха ни на минуту не отрывала от Родольфа своего единственного глаза; обменявшись взглядом с Грамотеем, она тотчас же ушла.

– Итак, я говорил вам, господин Родольф, что Поножовщик ввел меня в курс дела.

– А что значит ввести в курс?

– Правильно... Этот язык несколько сложен для вас; я хотел сказать, что Поножовщик объяснил мне в общих чертах, чего хочет от вас высокий господин в трауре со своими двумя тысячами.

– Хорошо, хорошо.

– Не слишком-то хорошо, молодой человек, ибо Поножовщик, встретив вчера утром Сычиху возле Сент-Уена, не отошел от нее ни на шаг, даже когда появился высокий господин в трауре; вот почему этот последний не посмел к ней приблизиться. Следовательно, с вашей помощью мы должны вернуть эту сумму, не считая пятисот франков за бумажник, который мы все равно не стали бы отдавать, ибо из просмотра бумаг явствует, что они стоят много дороже.

– В нем были большие ценности?

– Нет, только документы, которые показались мне весьма любопытными, хотя в большинстве своем они написаны по-английски; я их храню вот здесь, – сказал разбойник, похлопывая по боковому карману своего редингота.

Слова Грамотея о том, что он имеет при себе бумаги, выкраденные им два дня назад у Тома, очень обрадовали Родольфа, ибо бумаги эти имели для него большое значение. Указания, данные им Поножовщику, не преследовали иной цели, как помешать Тому подойти к Сычихе; в этом случае бумажник остался бы у нее, а Родольф надеялся сам завладеть им.

– Итак, я сохранил их на всякий случай, – сказал разбойник, – ибо я нашел адрес господина в трауре и не сегодня завтра повидаясь с ним.

– Если хотите, мы заключим с вами сделку, если наше дело выгорит, я куплю у вас все бумаги; ведь я знаком с этим человеком и они мне нужнее, чем вам.

– Поживем – увидим... Но вернемся к нашему разговору.

– Так вот, я предложил великолепное дело Поножовщику, сперва согласился, потом отказался.

– Вечно у него какие-то причуды...

– Но, отказавшись, он обратил внимание...

– Он обратил ваше внимание...

– Черт возьми!.. Вы на грамматике собаку съели.

– Оно и понятно, ведь по профессии я школьный учитель.

– Итак, он обратил мое внимание на вас, сказал, что сам не ест *красного хлеба*, но не хочет отваживать от него других, и добавил, что вы – человек, который мне нужен.

– Не могли бы вы сказать – не сочтите мой вопрос за бестактность, – почему вчера утром вы назначали свидание Поножовщику в Сент-Уене, что позволило ему встретиться с Сычихой? Он был в замешательстве и ничего мне не объяснил толком.

Родольф незаметно прикусил губу и, пожимая плечами, ответил:

– Вполне естественно, ведь я открыл ему свой план лишь наполовину: понимаете... он еще не дал мне окончательного ответа.

– Вы поступили осмотрительно.

– Тем более что у меня было два дела на примете.

– Да?

– Вот именно.

– Вы человек осторожный... Итак, вы назначили свидание Поножовщику в Сент-Уене для...

После недолгого колебания Родольфу удалось придумать довольно правдоподобную историю, чтобы замаять неловкость Поножовщика.

– Вот в чем дело... – сказал он. – Операция, которую я предлагаю, хороша тем, что хозяин дома, о котором идет речь, уехал за город... но я очень опасался, как бы он не вернулся. Чтобы быть спокойным на этот счет, я сказал себе: остается только одно...

– Убедиться воочию в присутствии хозяина дома в деревне.

– Вы правы... Итак, я отправляюсь в Пьерфит, где находится его дача... моя двоюродная сестра работает у него прислугой... понимаете?

– Прекрасно понимаю, парень. И что же?

– Сестра сказала мне, что ее хозяин приедет в Париж только послезавтра.

– Послезавтра?

– Да.

– Превосходно, но я возвращаюсь к своему вопросу... Зачем было назначать свидание Поножовщику в Сент-Уене?

– Вы не только сообразительны... На каком расстоянии от Пьерфита находится Сент-Уен?

– Приблизительно на расстоянии одного лье.

– А сколько от Сент-Уена до Парижа?

– Столько же.

– Так вот, если бы я никого не нашел в Пьерфите, иначе говоря, если бы дача была пуста... там тоже можно было обделать выгодное дельце, не такое выгодное, как в Париже, но все же сносное... В этом случае я поспешил бы в Сент-Уен за Поножовщиком, который ждал меня в условленном месте. Мы вернулись бы в Пьерфит по известной мне проселочной дороге.

– Понимаю. А если, напротив, дело ждало вас в Париже?

– Мы добрались бы до заставы Этуаль по дороге Восстания и по аллее Вдов.

– Да, это рядом. Из Сент-Уена вам было рукой подать до обеих операций... ловко придумано. Теперь мне ясно присутствие Поножовщика в Сент-Уене... Итак, мы говорили, что дом на аллее Вдов будет пустовать до послезавтра...

– Да... за исключением привратника.

– Само собою разумеется... И это выгодная операция?

– Сестра говорила мне о шестидесяти тысячах франков золотом в кабинете хозяина дома.

– И вам знакомо расположение комнат в доме?

– Как нельзя лучше... сестра работает там уже год... И постоянно говорит об огромных суммах, которые хозяин берет из банка, чтобы вложить их в дело; вот я и надумал. Только сторож там человек здоровенный, и мне пришлось обратиться к Поножовщику... Он долго ломался, потом было согласился... но увильнул... Впрочем, он не такой человек, чтобы мог продать друга.

– Да, в нем есть кое-что хорошее. Вот мы и пришли. Не знаю, как у вас, но у меня на воздухе разыгрался аппетит...

Сычиха ждала их на пороге кабачка.

– Вот сюда, сюда, – проговорила она, – проходите, пожалуйста! Я заказала завтрак.

Родольф хотел пропустить разбойника перед собой: для этого у него были особые основания... но Грамотей так настойчиво отказывался от этого знака внимания, что Родольф прошел первым. Еще не сядя за стол, Грамотей тихонько постучал по обеим перегородкам, чтобы убедиться в их толщине и звуконепроницаемости.

– Здесь не придется говорить слишком тихо, – сказал он, – перегородки не тонкие. Нам все подадут сразу, и никто не побеспокоит нас во время беседы.

Служанка принесла все, что было заказано.

Прежде нежели дверь за ней затворилась, Родольф заметил угольщика Мэрфа, степенно расположившегося в соседнем кабинете.

Помещение, в котором происходила описываемая нами сцена, было длинное, узкое, с единственным окном, которое выходило на улицу и находилось как раз против двери.

Сычиха села спиной к окну, Грамотей и Родольф поместились на двух противоположных концах стола.

Как только служанка вышла, разбойник встал из-за стола, взял свой прибор и сел рядом с Родольфом так, чтобы скрыть от него дверь.

– Беседовать так будет удобнее, – сказал он, – нам не придется повышать голос.

– И кроме того, вы хотите отгородить меня от двери и помешать уйти... – холодно возразил Родольф.

Грамотей утвердительно кивнул, затем наполовину вытащил из кармана своего редингота длинный, круглый стилет, толщиной с большое гусиное перо, деревянная ручка которого была зажата в его волосатой руке.

– Видите?

– Да.

– Совет знатокам...

И, насупив брови движением, от которого сморщился его лоб, широкий и плоский, как у тигра, он сделал выразительный жест.

– И можете мне поверить. Я сама наточила ножичек моего муженька.

С поразительной непринужденностью Родольф вынул из-под блузы двустольный пистолет и, показав его, снова спрятал в карман.

– Прекрасно... Мы оценили друг друга, но вы недооценили меня... Давайте предположим невозможное: если за мной явится полиция, я вас убью вне зависимости от того, кто устроил мне эту ловушку.

И он бросил свирепый взгляд на Родольфа.

– А я тут же накинусь на него, чтобы помочь тебе, чертушка, – воскликнула Сычиха.

Родольф ничего не ответил; пожав плечами, он налил стакан вина и осушил его.

Хладнокровие Родольфа произвело впечатление на Грамоте.

– Я только хотел предупредить вас...

– Ладно, ладно, спрячьте в карман вашу шпиговальную иглу, здесь нет цыпленка для шпиговки. Я старый петух, и у меня острые шпоры, приятель, – сказал Родольф. – А теперь поговорим о делах.

– Хорошо, поговорим о делах. Но не отзывайтесь дурно о моей шпиговальной игле: она не производит шума и не привлекает внимания.

– И свое дело делает чисто, правда, Чертушка? – добавила Сычиха.

– Кстати, – обратился Родольф к Сычихе, – правда ли, что вам известны родители Певуны?

– Мой муж положил в бумажник высокого господина в черном два письма, в которых говорится об этом, но девчонка их не увидит... Скорее я собственноручно вырву у нее глаза... О, когда она появится в кабаке, ее песенка будет спета...

– Да полно тебе, Хитруша! Говорим мы, говорим, а дела наши не двигаются.

– Можно бакулить⁷¹ при ней? – спросил Родольф.

– Да, и вполне откровенно; она человек испытанный и может нам очень пригодиться: стоять на страже, собирать сведения и даже прятать, перепродавать краденое и т. д.; она обладает всеми качествами превосходной домашней хозяйки... Славная хитруша! – сказал разбойник, протягивая руку отвратительной старухе. – Вы не представляете себе, сколько услуг она мне оказала... Ты бы сняла свою шаль, Хитруша, не то озябнешь на улице... Положи ее на стул рядом со своей корзинкой...

Сычиха сняла шаль.

Несмотря на все свое самообладание, Родольф вздрогнул от удивления при виде маленького изображения святого духа из лазурита, висящего на цепочке из поддельного золота, которую носила старуха, изображения, в точности соответствующего описанию той реликвии, которая, по словам г-жи Жорж, была на шее ее сына в день его исчезновения.

При этом открытии внезапная мысль блеснула в голове Родольфа. Со слов Поножовщика, Грамотей, бежавший с каторги полгода назад, сбил со следа полицию, обезобразив себя... и как раз полгода назад муж г-жи Жорж исчез с каторги и как в воду канул.

Сопоставив эти два факта, Родольф подумал, что Грамотей вполне мог быть супругом этой несчастной женщины.

Ее недостойный муж принадлежал некогда к зажиточному слою общества... а Грамотей употреблял иной раз изысканные обороты речи.

Одно воспоминание влечет за собой другое: Родольф вспомнил, кроме того, что, рассказывая ему с дрожью в голосе об аресте своего мужа, г-жа Жорж упомянула об отчаянном сопротивлении этого мерзавца, которому едва не удалось вырваться от полицейских благодаря своей геркулесовой силе.

Если этот злодей был мужем г-жи Жорж, он знает, конечно, об участии своего сына. Кроме того, в бумажнике, украденном им у иностранца, известного под именем Том, имелись какие-то бумаги, относящиеся к рождению Певуны.

Итак, у Родольфа появились новые, и серьезные, причины продолжать начатое дело.

К счастью, его озабоченность ускользнула от внимания разбойника, усердно потчевавшего Сычиху.

– Черт возьми!.. Какая у вас красивая цепочка... – обратился Родольф к одноглазой.

– Красивая... и недорогая... – ответила, смеясь, старуха. – Это поддельное золото, ношу ее, пока муженек не купит мне золотую...

– Все зависит от господина Родольфа, Хитруша... Если наше дельце выгорит, будь покойна...

– Поразительная подделка, нипочем не отличишь от золотой, – продолжал Родольф, – а что это за голубая штука висит на ней?

– Это подарок муженька взамен бимбера,⁷² который он обещал мне... правда, Чертушка?

Родольф отметил, что его подозрения наполовину подтвердились. Он с беспокойством ожидал ответа Грамотея.

⁷¹ Говорить.

⁷² Часов.

– Тебе придется сохранить эту безделушку, несмотря на бимбер, Хитруша... Это талисман... Он приносит счастье.

– Талисман? – небрежно заметил Родольф. – Неужели вы верите в талисманы? Где же вы, к черту, откопали его?... Дайте мне адрес фабрики.

– Их больше не делают, мой дорогой, лавочка закрылась... Эта безделушка относится к седой древности, ее носили три поколения. Я очень дорожу ею – это семейная драгоценность, – прибавил он с мерзкой улыбкой. – Потому-то я и подарил ее Хитруше... пусть приносит ей счастье в наших совместных операциях, ибо она весьма ловко помогает мне... Увидите, увидите ее в деле... если мы предпримем вместе какую-нибудь коммерческую сделку... Но вернемся к главному предмету нашего разговора... Вы говорили, что на аллее Вдов...

– Имеется под номером семнадцать дом, принадлежащий богачу... зовут его...

– Я не так бестактен, чтобы интересоваться его фамилией... И вы говорите, что в его кабинете имеется шестьдесят тысяч франков золотом?

– Шестьдесят тысяч франков золотом! – воскликнула Сычиха.

Родольф утвердительно кивнул.

– И вы знаете расположение комнат в этом доме? – спросил Грамотей.

– Прекрасно знаю.

– А войти в дом трудно?

– Со стороны аллеи Вдов – каменная ограда семи футов высотой, сад, в который выходят окна одноэтажного дома без всяких уступов и выступов.

– И один-единственный привратник охраняет эти сокровища?

– Да!

– Каков же ваш план кампании, молодой человек?

– План самый простой... перелезть через стену, открыть отмычкой входную дверь или взломать ставни с внешней стороны. Что вы на это скажете?

– А что, если привратник проснется? – спросил Грамотей, пристально смотря на молодого человека.

– Сам будет в этом виноват... – ответил Родольф многозначительно. – Ну как, подходит вам это дельце?

– Вы прекрасно понимаете, что я ничего не отвечу вам, пока не увижу всего своими глазами, иначе говоря, с помощью моей жены; но если все, что вы говорите, соответствует действительности, мне кажется, что следует взять эти сокровища еще тепленькими... сегодня вечером.

И злодей пристально взглянул на Родольфа.

– Сегодня вечером... невозможно, – холодно ответил тот.

– Почему, раз хозяин возвращается только послезавтра?

– Да, но я не могу сегодня вечером!..

– Неужели? Ну, а я не могу завтра.

– По какой причине?

– По той же, которая мешает вам действовать сегодня... – ответил с ухмылкой разбойник.

– Ладно!.. Согласен, пусть будет сегодня вечером. Где мы встретимся с вами? – ответил, немного подумав, Родольф.

– Встретимся? Мы не расстанемся до вечера, – сказал Грамотей.

– Как так?

– А к чему нам разлучаться? Погода проясняется, мы погуляем, бросим взгляд на аллею Вдов. Вы посмотрите, как работает моя жена. После чего мы вернемся, сыграем партию в пикет и закусим в знакомом мне подвальчике на Елисейских полях, в том, что рядом с рекой; а ввиду того, что аллея эта пустеет рано, мы отправимся туда к десяти часам вечера.

– Я присоединюсь к вам в девять часов.

– Хотите вы или не хотите участвовать в деле вместе с нами?

– Хочу.

– В таком случае мы не расстанемся до вечера... иначе...

– Иначе?

– Я подумаю, что вы собираетесь устроить мне заманиху,⁷³ а потому и хотите уйти...
– Если я собираюсь устроить вам ловушку, что мешает мне сделать это сегодня вечером?
– Решительно все... Вы не ожидали, что я предложу вам немедленно приступить к делу. А поскольку мы не разлучимся, вы не сумеете никого предупредить...

– Вы не верите мне?..

– Нисколько... но так как в вашем предложении может оказаться доля правды, а шестьдесят тысяч франков заслуживают того, чтобы ими заняться... я согласен попытать счастья, но только сегодня вечером или никогда... В последнем случае я пойму, что вы собой представляете... и угощу вас в свою очередь... не сегодня, так завтра, кушаньем собственного изготовления...

– А я отплачу вам за любезность... можете не сомневаться.

– Все это глупости! – пробормотала Сычиха. – Я скажу то же, что и Чертушка; сегодня вечером или никогда.

Родольф был в жесточайшей тревоге: стоит ему упустить эту возможность захватить Грамотея, и, по всей вероятности, она никогда больше не представится: отныне злодей будет насто-роже, а быть может, его опознают, арестуют и снова сошлют на каторгу, а он унесет с собой все тайны, которые Родольфу было необходимо узнать.

Положив довериться случаю, своей ловкости и смелости, сказал Грамотею:

– Согласен, мы не расстанемся до сегодняшнего вечера.

– В таком случае, я с вами заодно... Скоро будет два часа. Отсюда до аллеи Вдов далеко; дождь льет как из ведра: давайте сложимся и найдем извозчика.

– Если мы возьмем извозчика, я успею выкурить сигару.

– Конечно, – сказал Грамотей. – Хитруша не боится запаха табака.

– В таком случае, я выйду на минутку, чтобы купить их, – молвил Родольф, вставая из-за стола.

– Не утруждайте себя понапрасну, – заметил Грамотей. – Хитруша ходит за ними...

Родольф сел на прежнее место.

Грамотей разгадал его намерения.

Сычиха вышла из кабинета.

– Какая у меня хорошая хозяйюшка, а? – заметил негодай. – И до чего ж покладистая! Ради меня она пойдет в огонь и в воду.

– Кстати насчет огня, здесь, черт возьми, не жарко, – заметил Родольф и спрятал обе руки под блузой.

Продолжая разговаривать с Грамотеем, он незаметно вынул из своего жилетного кармана карандаш с клочком бумаги и торопливо набросал несколько слов, стараясь, чтобы буквы не насакивали друг на дружку, так как писал он под блузой, вслепую.

Проницательность Грамотея удалось обмануть, оставалось передать записку по назначению.

Родольф встал, машинально подошел к окну и стал тихонько напевать что-то, барабана пальцами по стеклу.

Грамотей тоже заглянул в окно и небрежно спросил Родольфа:

– Что за мотив вы наигрываете?

– «Ты не получишь моей розы».

– Красивый мотив... Хотелось бы только знать, не заставит ли он обернуться прохожих.

– На это я не претендую.

– Вы неправы, молодой человек, ибо с большим мастерством стучите по стеклу. Да, вот что пришло мне в голову... Сторож того дома по аллее Вдов, вероятно, парень решительный. Если он будет сопротивляться... У вас есть только пистолет... и стреляет он громко, тогда как такой инструмент, как мой (и он показал Родольфу рукоятку своего кинжала), бесшумен и никого не привлечет.

⁷³ Ловушку.

– Как, вы хотите убить сторожа?! – воскликнул Родольф. – Если таково ваше намерение... позабудем об этой затее... ничего еще не сделано... не рассчитывайте на меня.

– А если он проснется?

– Мы убежим...

– Вот оно что, я вас плохо понял; всегда лучше договориться заранее... Значит, речь идет лишь о краже со взломом.

– Да, только об этом.

– Хорошо, будь по-вашему...

«А так как я не отойду от тебя ни на шаг, – подумал Родольф, – тебе никого не удастся убить».

Глава XVI ПОДГОТОВКА

Сычиха вернулась в кабинет с сигарами.

– Мне кажется, что дождь перестал, – сказал Родольф, раскуривая сигару, – не пойти ли нам самим за извозчиком, чтобы размяться?

– Как это перестал? – воскликнул Грамотей. – Вы что, ослепли?.. Неужели вы думаете, что я подвергну Хитрушу опасности простудиться... рискну ее столь драгоценной жизнью... и испорчу ее превосходную новую шаль?..

– Ты прав, муженек, на улице собачья погода!

– Сейчас придет служанка, и, расплатившись, мы пошлем ее за извозчиком.

– Вот самые разумные слова, которые вы сказали до сих пор, молодой человек, и прокатимся в сторону аллеи Вдов.

Вошла служанка. Родольф дай ей сто су.

– Ах, сударь... вы злоупотребляете... я не потерплю! – воскликнул Грамотей.

– Полноте!.. Придет и ваш черед.

– Хорошо, я подчиняюсь... но с условием, что угощу вас на славу в кабаке на Елисейских полях... это лучшее местечко из всех мне известных.

– Ладно, ладно... согласен.

Расплатившись со служанкой, компания направилась к двери. Родольф хотел выйти последним из уважения к Сычихе. Грамотей не допустил этого и последовал за ним, не упуская из виду ни одного его движения. У тамошнего ресторатора была также распивочная. Среди посетителей выделялся угольщик с перепачканным лицом, в широкополой шляпе, надвинутой на глаза; он как раз расплачивался у стойки за выпитое вино, когда появилась наша троица. Несмотря на неусыпный надзор Грамотея и одноглазой, Родольф, шедший впереди омерзительной супружеской четы, успел обменяться быстрым, едва уловимым взглядом с Мэрфом, когда сел на извозчика.

Дверца кареты была открыта, Родольф задержался, твердо решив, что на этот раз пропустит своих спутников, ибо угольщик незаметно приблизился к нему.

В самом деле, Сычиха села первая, правда, после всяких отговорок; Родольфу пришлось последовать за ней, ибо Грамотей сказал ему на ухо:

– Вы что ж, хотите, чтобы я окончательно разуверился в вас?

Когда Родольф был уже в карете, угольщик, посвистывая, вышел за порог двери и с удивлением, с беспокойством взглянул на Родольфа.

– Куда поедет, хозяин? – спросил кучер.

Родольф ответил громким голосом:

– На аллею...

– Акаций, в Булонский лес, – крикнул Грамотей, перебивая Родольфа, и прибавил: – Мы вам хорошо заплатим.

Дверца кареты захлопнулась.

– Как, черт подери, могли вы сказать, куда мы едем, в присутствии всех этих зевак?! – ска-

зал Грамотей. – Если завтра все будет открыто, такое показание может нас погубить. Ах, молодой человек, молодой человек, как вы неосторожны!

Лошади тронули.

– Правда, я не подумал об этом. Но из-за моей сигары вы прокоптитесь здесь, как селедки. Что, если нам открыть окошко?

И, не мешкая, Родольф искусно выпустил из рук тоненькую, тщательно свернутую бумажку, ту самую, на которой он успел нацарапать несколько слов в кабаке... У Грамотея был такой зоркий глаз, что, несмотря на полную невозмутимость Родольфа, он, вероятно, уловил в его взгляде проблеск торжества, ибо, просунув голову в дверцу кареты, крикнул извозчику:

– Стой!.. Стой!.. Кто-то догоняет нас.

Родольф внутренне содрогнулся, но тоже крикнул «стой!».

Карета остановилась. Извозчик обернулся и посмотрел назад.

– Нет, хозяин, там никого нет, – сказал он.

– Я сам хочу убедиться в этом, черт подери! – вскричал Грамотей и спрыгнул на мостовую.

Никого не увидев, ничего не заметив, так как за это время извозчик успел проехать несколько шагов, Грамотей решил, что ошибся.

– Вы будете смеяться надо мной, – сказал он, садясь в карету, – сам не знаю почему, но мне показалось, что кто-то едет за нами.

Тут извозчик свернул на поперечную улицу.

Дело в том, что Мэрф, с самого начала не спускавший глаз с извозчицей кареты, заметил маневр Родольфа, мигом подбежал к бумажке, попавшей в расщелину мостовой, и схватил ее.

Через четверть часа Грамотей сказал извозчику:

– Вот что, любезный, мы изменили решение: на площадь Мадлен!

Родольф с удивлением взглянул на него.

– Видите ли, молодой человек, с этой площади можно отправиться куда угодно. В случае, если нас побеспокоят, показания кучера не будут иметь никакой цены.

В ту минуту, когда извозчик подъезжал к заставе, высокий темнолицый мужчина в длинном светлом рединготе, со шляпой, надвинутой на глаза, промчался по дороге на великолепной охотничьей лошади, поражающей быстротой своего хода.

– Какая великолепная лошадь и какой превосходный всадник! – сказал Родольф, высунувшись из окна кареты и провожая взглядом Мэрфа (ибо это был он). – И как прекрасно скачет этот полный человек.

– К сожалению, он так стремительно проехал мимо, – сказал Грамотей, – что я его не заметил.

Родольф весьма ловко скрыл свою радость: очевидно, Мэрф расшифровал написанную чуть ли не иероглифами записку. Грамотей, убедившись, что за извозчиком никто не следует, решил последовать примеру Сычихи, которая дремала или, скорее всего, притворялась, что дремлет.

– Извините меня, молодой человек, но движение кареты всегда оказывает на меня какое-то странное действие: усыпляет, как ребенка, – сказал он Родольфу.

Под предлогом своего мнимого сна разбойник хотел понаблюдать, не выдаст ли их спутник своего волнения.

Родольф разгадал эту хитрость.

– Я рано встал сегодня утром; мне хочется спать... я тоже попробую уснуть, – ответил он и закрыл глаза.

Вскоре громкое дыхание Грамотея и Сычихи, которые храпели в унисон, настолько обмануло Родольфа, что он чуть приподнял веки.

Но, несмотря на свой храп, Грамотей и Сычиха держали глаза открытыми и обменивались какими-то тайными знаками с помощью пальцев, как-то странно переплетенных на их ладонях. Этот символический язык мигом прекратился. Обнаружив по какому-то еле заметному признаку, что Родольф не спит, разбойник воскликнул со смехом:

– Ха, ха, приятель... Вы, значит, испытываете своих друзей?

– Это не должно вас удивлять, вы сами храпите с открытыми глазами.

– Мое дело особое, молодой человек, я лунатик...

Извозчик остановился на площади Мадлен. Дождь временно перестал, но гонимые ветром облака были так черны и так низко нависли над землей, что почти совсем стемнело. Родольф, Сычиха и Грамотей направились в Кур-ла-Рен.

– Молодой человек, мне пришла в голову одна мысль... имысль недурная, – сказал разбойник.

– Какая?

– Убедиться, соответствует ли действительности все, что вы сказали о расположении комнат в доме на аллее Вдов.

– Вы хотите немедленно отправиться туда под каким-нибудь предлогом? Но это может вызвать подозрения.

– Я не так простодушен, как вы думаете... молодой человек... но у меня есть жена по прозвищу Хитруша.

Сычиха вскинула голову.

– Взгляните на нее, молодой человек! Она точно боевой конь, услышавший сигнал горниста.

– Вы хотите послать ее на разведку?

– Вот именно.

– Дом номер семнадцать, аллея Вдов, правильно, муженек? – вскричала Сычиха, горя нетерпением. – Будь спокоен, у меня только один глаз, но видит он хорошо.

– Взгляните, взгляните на нее, молодой человек, ей не терпится побывать там.

– Если она ловко возьмется за дело, я скажу, что ваша мысль недурна.

– Оставь у себя зонтик, Чертушка... Через полчаса я вернусь, и ты увидишь, на что я способна, – воскликнула Сычиха.

– Минутку, Хитруша, мы зайдем сперва в «Кровоточащее сердце», это в двух шагах отсюда. Если Хромуля там, ты возьмешь его с собой; он останется сторожить у двери дома, пока будешь внутри.

– Ты прав: он хитер как лиса, этот мальчишка: ему еще нет и десяти лет, а между тем он давеча...

По знаку Грамотея Сычиха прикусила язык.

– «Кровоточащее сердце», что за странное название для кабака? – спросил Родольф.

– Его название вам не по вкусу, пожалуйста кабатчику.

– А как его зовут?

– Кабатчика «Кровоточащего сердца»?

– Да.

– Не все ли вам равно? Ведь он-то не спрашивает имена своих посетителей?

– И все же?

– Зовите его, как вам будет угодно: Пьер, Тома, Кристоф, Барнабе, он откликается на все имена... Вот мы и пришли... И вовремя, так как вот-вот снова польет... Как шумит река, точно водопад! Увидите: еще два дня таких дождей, и вода поднимется выше арок моста.

– Вы говорите, что мы пришли... Где же, к черту, кабак? Я не вижу здесь ни одного дома!

– Конечно, потому что вы смотрите вокруг себя.

– А куда же мне смотреть, по-вашему?

– Себе под ноги.

– Под ноги?

– Да.

– Куда именно?

– Вот сюда... сюда... Видите крышу? Только не вздумайте ступить на нее.

Родольф и в самом деле не заметил одного из тех подземных кабаков, которые встречались еще несколько лет тому назад в разных местах Елисейских полей и, в частности, около Кур-ла-Рен.

Лестница, вырытая во влажной жирной земле, вела к некоему подобию обширного рва, к одной из отвесных граней которого прилепилась низкая грязная лачуга с потрескавшимися стенами; ее черепичная, замшелая крыша едва доходила до поверхности земли, где стоял Родольф; два-три сарая из трухлявых досок – погреб, сарай и крольчатник – дополняли этот вертеп.

Узенькая дорожка, шедшая по дну рва, вела от лестницы к двери дома; остальная территория была занята увитой зеленью беседкой с двумя рядами грубых, врытых в землю столов.

От ветра заунывно скрипела выдававшая виды жестяная вывеска; сквозь покрывавшую ее ржавчину можно было различить красное сердце, пронзенное стрелой. Вывеска покачивалась на стояке, прибитом над дверью этой пещеры, подлинного человеческого логова.

Густой, влажный туман присоединился к дождю... близилась ночь.

– Что вы скажете об этом отеле... молодой человек? – спросил Грамотей.

– Благодаря дождю, который льет уже две недели... здесь, верно, образовался пруд и можно заняться рыбной ловлей... Ну же, проходите.

– Минутку... надо узнать, здесь ли хозяин... Внимание.

И разбойник, с силой проводя языком по небу, издал странный крик, некое подобие гортанной барабанной дробы, гулкой и продолжительной, которую можно было бы изобразить следующим образом:

– Прррр!

Такой же крик донесся из глубины лачуги.

– Он дома, – сказал Грамотей. – Извините, молодой человек... Почет дамам, пропустим вперед Сычиху... Я следую за вами... Будьте осторожны... Здесь скользко...

Глава XVII «КРОВОТОЧАЩЕЕ СЕРДЦЕ»

Ответив на условный крик Грамотея, хозяин «Кровоточащего сердца» любезно вышел на порог своего заведения.

Это человек, которого Родольф напрасно разыскивал в Сите и об имени или, точнее, о прозвище которого еще не догадывался, был не кто иной, как Краснорукий.

Кабатчику, тонкому, тщедушному, немощному человеку, можно было дать лет пятьдесят. В его физиономии было что-то кунье, крысиное; острый нос, скошенный подбородок, обтянутые кожей скулы, маленькие черные глазки, живые и пронзительные, придавали его лицу неподражаемое выражение хитрости, проницательности и ума. Старый белокурый или, точнее, желтый, как и желтушный цвет его лица, парик, надетый на макушку, оставлял открытыми седеющие сзади волосы. На кабатчике была куртка и длинный черноватый фартук; обычно такие фартуки носят приказчики виноторговцев.

Едва трое пришедших спустились с лестницы, как мальчик лет десяти, самое большее, рахитичный, хромой и кривобокий, подошел к Краснорукому, на которого был до того похож, что никто не усомнился бы, что он сын кабатчика.

У ребенка был отцовский проницательный и коварный взгляд, а лоб наполовину скрыт копной желтоватых волос, прямых, жестких, как конский волос. Коричневые штаны и серая блуза, стянутая кожаным ремнем, – такова была одежда Хромули, прозванного так из-за своего увечья; он стоял рядом с отцом на здоровой ноге, словно цапля на краю болота.

– Вот как раз и малыш, – сказал Грамотей. – Хитруша, время не ждет, приближается ночь... Надо все успеть засветло.

– Ты прав, муженек... я попрошу, чтобы отец отпустил со мной мальчугана.

– Здравствуй, старик, – сказал Краснорукий, обращаясь к Грамотею похожим на женский голосом, резким и пронзительным, – чем могу служить?

– Отпусти на четверть часа своего малыша, моя жена кое-что потеряла неподалеку отсюда... он поможет ей поискать...

Краснорукий многозначительно подмигнул Грамотею и сказал сыну:

– Хромуля... ты пойдешь вместе с дамой.

Уродливый мальчик подбежал, прихрамывая, к Сычихе и взял ее за руку.

– Что за прелестный ребяенок!.. Малыш как малыш! – сказала Хитруша. – Так и тянется к тебе... Не то что Воровка, у этой побирušки вечно был такой вид, что ее вот-вот стошнит, стоило ей приблизиться ко мне.

– Ну же, поторапливайся, Хитруша... шире открывай глаз и действуй с оглядкой.

– Я не задержусь... Иди вперед, Хромуля!

Одноглазая старуха и хромой мальчик поднялись по скользкой лестнице.

– Хитруша, возьми зонтик, – крикнул разбойник.

– Он мне только помешает, муженек, – ответила старуха.

И она скрылась вместе с Хромулей в туманных сумерках, среди заунывного воя ветра, сотрясавшего на Елисейских полях черные голые ветви больших вязов.

– Давайте войдем, – сказал Родольф.

Пришлось нагнуться, чтобы пройти в дверь кабака, разделенного на две залы. В первой зале видишь стойку и потрепанный бильярд, во второй – столы и садовые стулья, некогда выкрашенные в зеленый цвет. Два узких окна слабо освещают обе комнаты, зеленоватые стены которых изъедены сыростью.

На несколько секунд Родольф остался один, и за это время Краснорукий и Грамотей успели обменяться несколькими словами и какими-то таинственными знаками.

– Не выпьете ли вы пива или водки в ожидании Хитруши? – спросил Грамотей.

– Нет... Мне не хочется пить.

– Каждый поступает по-своему... А вот я выпью стакан водки.

И Грамотей сел за один из зеленых столиков во второй зале.

Темнота все больше сгущалась в этом притоне, так что невозможно было разглядеть в углу второй залы зияющий вход в подвал, куда ведет двустворчатый люк, одна из створок которого обычно остается открытой для удобства тех, кто обслуживает клиентов. Стол, за который сел Грамотей, находился рядом с этой черной и глубокой дырой, скрытой его массивной фигурой от глаз Родольфа.

Этот последний смотрел в окно, чтобы занять себя и скрыть свою озабоченность. Встреча с Мэрфом, скакавшим во весь опор на аллею Вдов, не вполне успокоила его; он боялся, что эскавайр не понял смысла его записки, поневоле лаконичной и содержавшей лишь несколько слов: *Сегодня вечером, десять часов.*

Родольф твердо решил отправиться на аллею Вдов не раньше назначенного часа, а до тех пор не расставаться с Грамотеем. Как он ни был ловок и вооружен, ему придется состязаться в хитрости с опасным, на все готовым убийцей... но для раскрытия тайн, которые он должен узнать, иной возможности нет.

Стоит ли говорить об этом? Но таков уж был склад странного характера Родольфа, жаждущего сильных ощущений, что он находил жуткое удовольствие в тревогах и препятствиях, вставших на пути выполнения плана, который он обсудил накануне со своим верным Мэрфом и с Поножовщиком.

Не желая, однако, чтобы Грамотей отгадал его мысли, он сел за тот же стол и приличия ради заказал стакан вина.

С тех пор как Краснорукий неслышно обменялся несколькими словами с разбойником, он поглядывал на Родольфа с видом пытливым, сардоническим, недоверчивым.

– На мой взгляд, молодой человек, – сказал Грамотей, – если жена узнает, что люди, которых мы хотим видеть, находятся дома, мы сможем нанести им визит около восьми часов.

– Это слишком рано, – ответил Родольф, – разница в два часа стеснит их...

– Вы так думаете?

– Уверен...

– Полноте, что за счеты между друзьями...

– Я их знаю; повторяю, что туда не стоит являться раньше десяти часов.

– До чего же вы упрямы, молодой человек!

– Я отвечаю за свои слова. И чтоб мне было пусто, если я уйду отсюда раньше десяти ча-

сов!

– Не церемоньтесь из-за меня: я никогда не закрываю своего заведения раньше полуночи, – сказал Краснорукий своим тонким голоском. – Как раз в это время приходят лучшие клиенты... а мои соседи не жалуются на шум, который те поднимают.

– Приходится во всем соглашаться с вами, молодой человек, – заметил Грамотей. – Будь по-вашему, мы отправимся отсюда только в десять часов.

– А вот и Сычиха! – воскликнул Краснорукий, услышав условный крик, подобный тому, который Грамотей издал, прежде чем спуститься в этот подземный дом.

Минуту спустя в бильярдную Сычиха вошла одна.

– Все ладно, муженек... дела на мази!.. – воскликнула одноглазая, переступая порог.

Краснорукий деликатно удалился, не спросив о Хромуле, которого он, очевидно, не ждал так скоро. Старуха промокла до нитки; она села против Родольфа и Грамотея.

– Ну как? – спросил последний.

– До сих пор парень не соврал.

– Вот видите! – воскликнул Родольф.

– Не мешайте рассказывать Сычихе, молодой человек... Продолжай, Хитруша.

– Я подошла к дому семнадцать, оставив Хромулю сторожить поблизости, в канавке. Было еще светло. Я стала трезвонить у маленькой калитки; дверные петли у нее снаружи, просвет внизу широкий, в два пальца, словом, детская забава. Продолжаю звонить, сторож открывает мне. Это высокий, толстый мужчина лет пятидесяти, вид сонный и добродушный, рыжие бакенбарды полумесяцем, лысая голова... Но, прежде чем начать звонить, я спрятала свой чепчик в карман, чтобы походить на соседку. Увидев сторожа, я заплакала в голос, крича, что потерялся мой попугайчик, по кличке Кокот, которого я обожаю... Я сказала, что живу на проспекте Марбеф и хожу из дому в дом в поисках своего любимца. Наконец я принялась умолять сторожа позволить мне поискать Кокот у него.

– Гм! – пробурчал Грамотей с довольным и горделивым видом, указывая на Хитрушу. – Что за женщина, а?

– Очень ловко разыграно! – сказал Родольф. – Ну, а потом?

– Сторож разрешил мне поискать попугая, и вот я хожу по саду, зову: «Кокот! Кокот!» – а сама смотрю вверх и по сторонам, чтобы хорошенько все разглядеть. С внутренней стороны каменной ограды, – продолжала свое описание Сычиха, – стоят, куда ни глянь, трельяжи, увитые зеленью, а в левом ее углу растет кривая ветвистая сосна, по ней спустилась бы в сад и беременная женщина. Дом одноэтажный, в нем шесть окон и четыре узких оконца без поперечин в подвальном помещении. На окнах ставни, они закрываются снизу на крючок, сверху – на шпингалет; нажать на плинтус, Просунуть проволоку...

– ...и окно открыто, – заметил Грамотей, – дело плевое...

– Входная дверь застеклена... с ее внешней стороны две решетчатые ставни.

– Запомним, – сказал разбойник.

– Все в точности!.. Словно мы сами там побывали, – подтвердил Родольф.

– Слева, – продолжала Сычиха, – возле двора, колодец; веревка на нем может пригодиться, так как с этой стороны у каменной ограды нет трельяжа; я говорю это на тот случай, если отступление со стороны входной двери будет отрезано... Войдя в дом...

– Ты была в доме? Она была в доме, молодой человек! – с гордостью проговорил Грамотей.

– Конечно, я побывала там. Не найдя попугая, я так стонала и плакала, что у меня вроде бы перехватило дыхание. Я попросила сторожа разрешения посидеть на пороге; этот славный человек пригласил меня войти и предложил стакан воды с вином. «Дайте мне только стакан воды, стакан воды из-под крана, мой добрый господин», – сказала я. Тогда он ввел меня в переднюю... повсюду там ковры; это нам на руку: не будет слышно ни шагов, ни осколков стекла, если придется высадить окно; справа и слева двери с ручками в виде птичьего клюва. Стоит в него дунуть, и дверь откроется... В глубине массивная дверь, запертая на ключ и чем-то похожая на вход в кассу... От нее пахло деньгами!.. Кусок воска был при мне, в корзине...

– У нее с собой был воск, молодой человек... Она никуда не выходит без воска!.. – сказал

разбойник.

– Мне необходимо было подойти к двери, от которой пахло деньгами, – продолжала Сычиха. – Тогда я сделала вид, будто меня душит кашель, да такой сильный, что мне пришлось опереться о стену. Услыхав, что я кашляю, сторож кричит: «Я положу вам кусок сахара в стакан с водой». Он, видно, пошел за ложкой, потому что я услышала, как смеется столовое серебро... столовое серебро находится в комнате справа... не забудь, Чертушка. Продолжая стонать и хныкать, я подхожу к той самой двери... Кусок воска был у меня на ладони... Как ни в чем не бывало я прилепила его к замочной скважине. Вот отпечаток. Не пригодится сегодня, пригодится в другой раз...

И Сычиха отдала разбойнику кусок желтого воска, на котором был ясно виден отпечаток врезного замка.

– А теперь вы должны нам сказать, действительно ли эта дверь ведет в комнату, где лежат деньги? – спросила Сычиха.

– Да, именно там спрятаны деньги!.. – ответил Родольф и подумал: «Неужели Мэрф был одурачен этой старой мегерой? Вполне возможно; он ждет нападения только к десяти часам... тогда все предосторожности будут приняты».

– Но не все деньги находятся в этой комнате, – продолжала Сычиха, и ее зеленый глаз сверкнул, – подходя к окнам в поисках Кокот, я видела в одной из комнат слева от входной двери на письменном столе мешочки с золотыми монетами... Я их видела так же ясно, как вижу тебя, муженек... Мешочков было не меньше дюжины.

– Где Хромуля? – неожиданно спросил Грамотей.

– Он все еще сидит в своей дыре, в двух шагах от садовой калитки... Он видит в темноте, как кошка. А в доме семнадцать только и есть что этот вход. Когда мы отправимся на аллею Вдов, он нас предупредит, если кто-то побывал там после меня.

– Ладно.

И, едва успев произнести это слово, Грамотей неожиданно кинулся на Родольфа, схватил его за горло и сбросил в люк, находившийся позади стола, за которым они сидели.

Нападение это было так молниеносно, внезапно, так сокрушительно, что Родольф не мог ни предвидеть его, ни избежать.

С испугу Сычиха громко вскрикнула, ибо сначала она не поняла, чем кончилась эта мгновенная схватка.

Когда умолк шум падения Родольфа, скатившегося по ступени лестницы, Грамотей, великолепно знавший все ходы этого подземного царства, медленно спустился вниз, прислушиваясь к малейшему шороху.

– Чертушка... будь осторожен!.. – крикнула одноглазая, нагнувшись над открытым люком. – Держи наготове кинжал!

Разбойник ничего не ответил и исчез в подвале.

Сперва ничего не было слышно; но вскоре донесся издали звук заржавленной двери, глухо заскрипевшей в подземелье, и снова наступила тишина.

В зале было темно, хоть глаз выколи.

Сычиха порылась в своей корзине, вынула оттуда серную спичку и, когда от трения та загорелась, зажгла маленькую свечку, слабо осветившую мрачную залу.

В эту минуту злобная физиономия Грамотея появилась в отверстии люка.

У Сычихи вырвался крик ужаса при виде этого бледного, жуткого, изуродованного, покрытого шрамами лица с неестественно светящимися глазами, лица, словно плившего во мраке, который слабый свет свечи не мог разогнать...

Немного оправившись от потрясения, старуха воскликнула в порыве омерзительного восхищения:

– До чего же ты ужасен, муженек, ты напугал меня... Даже меня.

– Скорей, скорей!.. На аллею Вдов, – сказал разбойник, закрывая люк на железный засов, – через час, возможно, будет поздно! Если это ловушка, она еще не поставлена, если ее нет, мы справимся и сами.

Глава XVIII ПОГРЕБ

После своего головокружительного падения Родольф остался лежать без чувств внизу лестницы.

Грамотей дотащил его до другого подземного помещения, еще более глубокого, сбросил туда и запер за ним окованную железом толстую дверь; затем он вернулся за Сычихой, чтобы совершить вместе с ней кражу, а быть может, и убийство на аллее Вдов.

Прошло около часа, и Родольф стал понемногу приходить в себя; он лежал на земле в полном мраке; пошарив руками возле себя, он нащупал каменные ступени. Почувствовав холод у своих ног, протянул руку... Там оказалась лужа.

С огромным усилием ему удалось сесть на нижней ступеньке лестницы; дурнота проходила; он ощущал себя. К счастью, переломов не было. Он прислушался... ничего не услышал... кроме какого-то непонятного журчания, глухого, слабого, непрерывного.

Сперва он не понял, в чем дело.

Но по мере того, как голова его прояснялась, обстоятельства неожиданного нападения, жертвой которого он стал, всплыли в его памяти. Еще немного, и он восстановил бы сцену до мельчайших подробностей, но тут ноги его снова оказались в воде; он наклонился, вода доходила ему уже до щиколоток.

И среди гнетущей тишины он опять услышал журчание, глухое, слабое, непрерывное...

Тогда он все понял: погреб наполнялся водой... Вода в Сене поднялась так высоко, что эта часть подземелья оказалась ниже ее уровня...

Опасность окончательно вывела Родольфа из оцепенения; с молниеносной быстротой он поднялся по лестнице. Дойдя до ее верхней ступеньки, он наткнулся на дверь, но напрасно попытался расшатать ее: она не шелохнулась.

В своем безнадежном положении он прежде всего подумал о Мэрфе.

– Если тот не принял мер предосторожности, изверг убьет его... И это я, – вскричал он, – я сам буду тому виной!.. Бедный Мэрф!..

Эта страшная мысль удвоила силы Родольфа; упершись ногами в каменную ступеньку, согнувшись в три погибели, он попытался открыть дверь – напрасно: она не поддавалась...

В надежде найти какой-нибудь рычаг он снова спустился; на предпоследней ступеньке два-три животных, мягких, эластичных, выкатились у него из-под ног: это были крысы, которых вода выдала из нор.

Родольф ощупью обследовал погреб, ступая по воде, которая доходила ему уже до половины икр. Он ничего не нашел и в мрачном отчаянии медленно поднялся по лестнице.

Он сосчитал ступеньки, их оказалось тринадцать; три уже были затоплены.

Тринадцать! Роковое число!.. В иных положениях люди, самые стойкие, не застрахованы от суеверий. В числе «13» Родольф узрел дурное предзнаменование. Мысль о возможной гибели Мэрфа снова пришла ему в голову. Он напрасно попытался обнаружить какую-нибудь щель под дверью; от влаги деревянная ее часть разбухла и крепко-накрепко врезалась в сырую жирную почву.

Родольф принялся громко кричать, полагая, что его голос будет услышан посетителями кабака; потом прислушался...

Он ничего не услышал, ничего, кроме журчания воды, глухого, слабого, непрерывного; вода все поднималась.

Родольф сел в изнеможении у двери, прислонился к ней спиной, сокрушаясь об участи своего друга, который, быть может, в эту самую минуту боролся с вооруженным убийцей. Он горько пожалел о своих неосторожных и смелых планах, несмотря на их великодушные побуждения. И с болью в сердце припомнил бесчисленные доказательства преданности Мэрфа, человека богатого, почитаемого, который оставил жену, любимого ребенка, дорогие его сердцу занятия, чтобы последовать за Родольфом и помочь ему в деле мужественного, хотя и странного искуп-

ления своей вины.

Вода все поднималась... Сухими оставались только пять ступенек. Встав во весь рост около двери, Родольф коснулся головой свода подземелья. Он мог заранее высчитать продолжительность своей грядущей агонии. Смерть его будет медленной, безмолвной мучительной.

Он вспомнил о пистолете, который носил при себе. Если стрелять из него в упор по двери, быть может, удастся расшатать ее, правда, с риском поранить себя... Какое несчастье! Во время падения оружие это либо потерялось, либо было взято Грамотеем.

Не опасайся Родольф за участь Мэрфа, он ждал бы смерти с ясной душой... Он многое испытал в жизни... Он страстно любил... Он делал добро людям, ему хотелось сделать его больше, бог все знает! Не ропща против вынесенного ему приговора, Родольф видел в нем справедливое наказание за роковой поступок, который он еще не успел искупить; перед лицом опасности мысли его становились чище, возвышеннее.

Но тут его покорность судьбе подверглась новому испытанию.

Гонимые водой крысы поднимались со ступеньки на ступеньку. Им никак не удавалось взобраться по отвесной стене или двери, и, не находя иного выхода, они стали карабкаться по одежде Родольфа. Трудно вообразить себе гадливость, омерзение Родольфа, когда он почувствовал прикосновение множества крыс. Он попробовал смахнуть их, но острые холодные зубы тут же впились в его руки, брызнула кровь... Во время падения его блуза и куртка порвались, и он почувствовал на своей голой груди ледяные лапы и волосатое тело. Он отрывал от себя этих гнусных тварей, но они возвращались к нему вплавь.

Он снова попробовал кричать, но никто его не услышал... Скоро он уже не сможет кричать: вода дошла до шеи, еще немного, и поднимется до губ.

В этом сузившемся пространстве Родольфу не хватило воздуха; появились первые признаки удушья: усиленно билась кровь в висках, кружилась голова, скоро настанет смерть. Он в последний раз подумал о Мэрфе и обратил свои помыслы к богу не для того, чтобы молить его о спасении, а чтобы вручить ему свою душу.

В эту последнюю минуту, готовясь покинуть не только все, что делает жизнь счастливой, блестящей, завидной, но и громкий титул, верховную власть... вынужденный отказаться от дела, которое, удовлетворяя одновременно две его страсти: любовь к добру и ненависть к злу, – могло послужить ему, когда придет время, во искупление совершенных им грехов, находясь перед лицом ужасной смерти... Родольф не поддался ни приступам неистовства, ни бессильного гнева, когда слабодушные люди поочередно обвиняют или проклинают людей, судьбу, бога.

Нет, не поддался: пока сознание его было ясно, Родольф ожидал своей участи с покорностью и благоговением... Когда же, во время агонии, оно померкло, заговорил инстинкт самосохранения, и Родольф стал бороться, если можно так выразиться, физически, а не морально с надвигающейся смертью.

Головокружение затянуло все мысли Родольфа в свой стремительный и жуткий водоворот; вода бурлила у его ушей; ему казалось, будто он вращается вокруг самого себя; последний проблеск разума готов был померкнуть, когда поспешные шаги и звук голосов раздались за дверью погреба.

Надежда пробудила угасающие силы; с невероятным усилием воли он заставил себя уловить несколько слов, последних, которые он услышал и понял:

– Сам видишь, здесь никого нет.

– Дьявольщина! Ты прав, – грустно ответил голос Поножовщика, и шаги стали удаляться.

Родольф, окончательно сраженный, уже не мог держать голову над водой, еще минута – и он соскользнул бы вниз по лестнице.

Неожиданно дверь погреба распахнулась, скопившаяся в нем вода хлынула в подземелье, словно из отверстия шлюза... и Поножовщику удалось схватить под руку Родольфа, который чуть живой судорожно цеплялся за порог двери.

Глава XIX БРАТ МИЛОСЕРДИЯ

Спасенный от верной гибели Поножовщиком и перенесенный в дом на аллее Вдов, обследованный Сычихой до попытки ограбления, Родольф лежит в уютно обставленной комнате; жаркий огонь горит в камине; лампа, стоящая на комод, разливает вокруг яркий свет; кровать Родольфа под пологом из зеленой шелковой ткани окружена полумраком.

Негр среднего роста с седыми волосами и бровями, изысканно одетый, с зелено-оранжевой лентой в петлице синего фрака, держит в левой руке золотые часы с секундной стрелкой, а правой щупает пульс Родольфа.

Негр печален, задумчив; он смотрит на спящего Родольфа с выражением нежнейшего участия.

Поножовщик, в лохмотьях, покрытый грязью, неподвижно стоит у изножья кровати, опустив руки и сцепив пальцы; его рыжая борода давно не стрижена, густые белесые волосы растрепаны и мокры, топорное загорелое лицо сурово, но сквозь эту грубую оболочку проглядывает непередаваемое выражение участия и жалости... Едва осмеливаясь дышать, он сдерживает движение своей широкой груди; он встревожен сосредоточенным видом доктора, опасается худшего и, не сводя глаз с Родольфа, высказывает шепотом следующее философское замечание:

– Какой он сейчас слабый, никто не подумал бы, что он так лихо обрушил на меня град ударов под конец драки!.. Ничего, он скоро встанет на ноги... правда, господин доктор? Ей-богу, я не прочь, чтобы он выстукал на моей спине барабанную дробь в честь своего выздоровления... это взбодрило бы его... правда, господин доктор?

Негр молча поднял руку.

Поножовщик умолк.

– Микстуру! – сказал врач.

Поножовщик, который почтительно оставил у порога свои башмаки на шипах, устремился на цыпочках к комоду; но, стараясь ступать как можно легче, он так уморительно поднимал ноги, покачивал для равновесия руками и пригибался к полу, что при других обстоятельствах его ужимки показались бы весьма забавными. Бедный малый, казалось, пытался сосредоточить всю тяжесть своего тела в верхней его части, которая не касалась пола; но, несмотря на ковер, паркет предательски скрипел под тяжестью Поножовщика. Увы, в своем усердии, а также из страха выронить прозрачный пузырек, который он бережно держал в своей широченной руке, Поножовщик так сильно сжал его, что раздавил стекло, и микстура пролилась на пол.

При виде такой беды Поножовщик застыл на месте с поднятой массивной ногой, пальцы которой были нервно поджаты, переводя смущенный взгляд с доктора на горлышко пузырька, оставшееся него в руке.

– Чертов растяпа! – нетерпеливо воскликнул врач.

– Дьявольщина! Какой же я болван! – прибавил Поножовщик, обращаясь к самому себе.

– К счастью, – сказал эскулап, взглянув на комод, – вы спутали пузырьки, мне нужен другой...

– Маленький, красноватый? – тихо спросил незадачливый брат милосердия.

– Конечно... Другого там нет.

Быстро повернувшись на пятках по старой военной привычке, Поножовщик раздавил осколки пузырька: будь подошвы его ног не столь загрубелыми, он сильно поранился бы; но на бывшем грузчике были природные сандалии, крепкие, как лошадиные копыта!

– Будьте осторожны, вы пораните себе ноги! – воскликнул врач.

Но Поножовщик не обратил ни малейшего внимания на это предупреждение. Глубоко озабоченный новым поручением, он решил выполнить его с честью, чтобы замаять свою первую оплошность; надо было видеть, с какой осторожностью, с какой легкостью, с каким чувством ответственности он взял толстыми пальцами хрупкий пузырек! Бабочка и та не оставила бы ни атома своей золотистой пыльцы между большим и указательным пальцами Поножовщика.

Врач испугался нового инцидента, который мог случиться из-за чрезмерной осторожности брата милосердия. К счастью, микстура не пострадала. Поножовщик благополучно приблизился к кровати, передавив ногами остатки первого пузырька.

– Несчастный, вы что же, хотите окончательно покалечить себя? – тихо спросил врач.

Поножовщик взглянул на него с недоумением.

– Покалечу себя, господин доктор?

– Вы дважды прошли по осколкам стекла.

– Если дело только в этом, не беспокойтесь... Подошвы ног у меня из той же кожи, что и доски.

– Принесите чайную ложку! – сказал врач.

Поножовщик вновь принялся за свои эквилибристические упражнения и отдал врачу требуемый предмет... После нескольких ложечек микстуры Родольф открыл глаза и слабо пошевелил руками.

– Хорошо! Очень хорошо! Он выходит из забытья, – сказал доктор, – кровопускание пошло ему на пользу, он вне опасности.

– Спасен! Браво! Да здравствует хартия! – воскликнул Поножовщик в приливе радости.

– Замолчите и не суетитесь! Прошу вас, – сказал негр.

– Да, господин доктор.

– Пульс улучшается... Превосходно!.. Превосходно!..

– А его бедный друг, господин доктор? Дьявольщина! Когда он узнает, что... Хорошо еще, что...

– Замолчите!

– Да, господин доктор.

– Садитесь.

– Но, господин док...

– Садитесь, говорят вам! Вы мешаете мне: слоняетесь по комнате и отвлекаете мое внимание от больного. Ну же, садитесь.

– Господин доктор, я грязнее, чем бревно, вытасченное из воды при сплаве; я замараю мебель.

– Тогда садитесь на пол.

– Я замараю ковер.

– Делайте что хотите, но, бога ради, не торчите у меня перед глазами, – сказал нетерпеливо врач; и, опустившись в кресло, он прижал руки ко лбу.

Не столько от усталости, сколько из желания повиноваться врачу. Поножовщик с величайшими предосторожностями взял стул, с довольной миной перевернул его и поставил спинкой на ковер; ему хотелось прилично и скромно посидеть на передних ножках стула, дабы не испачкать обивки сиденья, что он и проделал с величайшей осторожностью... К несчастью. Поножовщик был плохо знаком с физическими законами о рычаге первого и второго рода и о равновесии тел. Стул покачнулся, бедняга невольно вытянул руки и перевернул круглый столик, на котором стоял поднос с чашкой и чайником.

Раздался оглушительный шум, негр вскинул голову и подпрыгнул в кресле, внезапно проснувшийся Родольф выпрямился, с беспокойством оглядел комнату и, собравшись с мыслями, воскликнул:

– Мэрф, где же Мэрф?

– Не беспокойтесь, ваше высочество, – почтительно проговорил негр, – я твердо надеюсь на его выздоровление.

– Он ранен? – воскликнул Родольф.

– Увы, монсеньор.

– Где он? Я хочу его видеть.

И Родольф попытался встать, но тут же откинулся на подушки, побежденный болью от ушибов, которые дали себя знать вместе с его пробуждением.

– Сию же минуту отнесите меня к Мэрфу, раз я не могу ходить! – воскликнул он.

– Монсеньор, он спит... Было бы опасно волновать его в таком состоянии.

– Ах, вы меня обманываете!.. Он умер... Его убили!.. И я всему виной!!! – воскликнул Родольф душераздирающим голосом, воздевая руки к небу.

- Монсеньор, вам известно, что я не умею лгать... Честью клянусь, что Мэрф жив... Он довольно серьезно ранен, это правда, но у него имеются все шансы на выздоровление.
- Вы говорите все это, чтобы подготовить меня к ужасной вести... По всей вероятности, его состояние безнадежно!
- Монсеньор...
- Уверен в этом... Вы меня обманываете... Я требую, чтобы меня сию же минуту отнесли к нему... Вид друга всегда действует благотворно...
- Ручаюсь вам честью, монсеньор, здоровье Мэрфа скоро пойдет на поправку, если не случится ничего непредвиденного, что маловероятно.
- Это правда, правда, дорогой Давид?
- Да, монсеньор.
- Выслушайте меня, вы знаете, как я уважаю вас; с тех пор как вы принадлежите к моему дому, я всегда полностью доверял вам... никогда не сомневался в ваших редких знаниях... Но, заклинаю вас, если нужна врачебная консультация.
- Об этом я подумал прежде всего, монсеньор. Но в настоящую минуту консультация бесполезна, можете верить мне на слово... К тому же мне не хотелось бы вводить в дом посторонних, пока вы не подтвердите, остаются ли в силе ваши вчерашние...
- Как же все это случилось? – спросил Родольф, перебивая негра. – Кто вытащил меня из погреба, где я чуть не захлебнулся?... Я смутно припоминаю, что слышал голос Поножовщика, или мне это почудилось?
- Нет, нет! Этот превосходный человек сам все расскажет вам, монсеньор... ибо он спас и вас и Мэрфа.
- Но где же он, где?
- Врач поискал глазами самозваного брата милосердия, который, стыдясь того, что натворил в комнате, спрятался за пологом кровати.
- Вот он, – сказал врач, – вид у него пристыженный.
- Ну же, подойди ко мне, герой! – сказал Родольф, протягивая руку своему спасителю.

Глава XX РАССКАЗ ПОНОЖОВЩИКА

- Смущение Поножовщика усилилось еще и оттого, что он слышал, как врач величает Родольфа «монсеньором».
- Да подойди же... Дай мне руку! – молвил Родольф.
- Извините, сударь... Нет, я хотел сказать, монсеньор... Но...
- Называй меня, как обычно, господином Родольфом, мне это больше по душе.
- И мне тоже, я не стану так робеть... Но что до моей руки, извините... Я столько делов наделал за этот день...
- Руку, говорят тебе!
- Побежденный настойчивостью Родольфа, Поножовщик робко протянул ему грязную мозолистую руку... Родольф крепко пожал ее:
- Ну же, садись и рассказывай... как ты отыскал погреб? Да, совсем забыл, что случилось с Грамотеем?
- Он здесь, в надежном месте, – ответил врач.
- Он и Сычиха... скручены, как две связки табачных листьев... Представляю себе, какие рожи они корчат, если им придет охота взглянуть друг на друга. Здорово небось раскаиваются теперь.
- А мой бедный Мэрф! Боже мой! Я только сейчас подумал об этом. Скажите, Давид, куда он ранен?
- В правый бок, монсеньор... К счастью, удар пришелся в область последнего ложного ребра...
- О, я отомщу! Мне нужна грозная месть!.. Давид, я рассчитываю на вас.

– Вы знаете, монсеньор, что я вам предан душой и телом, – холодно ответил негр.

– Но как тебе удалось поспеть сюда вовремя, любезный? – спросил Родольф у Поножовщика.

– Если вы хотите, монсень... нет, господин Родольф... я начну с самого начала.

– Ты прав; слушаю тебя.

– Ладно... Вы помните, что вчера вечером вы мне сказали, вернувшись из деревни, куда отвезли бедную Певунью: «постарайся разыскать в Сите Грамотея; ты скажешь ему, что знаешь об одном деле, в котором не хочешь принимать участия, и предложишь ему заменить тебя. Для этого он должен прийти на следующий день (то есть сегодня утром) в „Корзину цветов“ у заставы Берси, где и встретит того, кто вскормил дитяню».⁷⁴

– Правильно!

– Расставшись с вами, я побежал в Сите... Захожу к Людоедке – никаких следов Грамотея; иду на улицу Святого Элигия, на Бобовую улицу, на Суконную улицу... никого. Наконец я застукал его с этой стервой Сычихой на площади собора Парижской богородицы у дрянного портняжки, перекупщика, скупщика краденого и вора; они собирались просадить деньги, украденные у высокого мужчины в трауре, который хотел насолить вам; покупали какие-то случайные вещи; Сычиха торговалась из-за красной шали... У, старая образина!.. Я выкладываю все по порядку Грамотею. Он соглашается и говорит, что придет на свидание. Ладно! По вашему вчерашнему приказанию, прибегаю к вам сегодня утром на аллею Вдов, чтобы передать ответ... Вы говорите мне: «Вот что, парень, возвращайся сюда завтра до рассвета, ты проведешь весь день здесь, а вечером... увидишь зрелище, на которое стоит посмотреть...» Вы не сказали мне ни словечка больше, но я кое-что смекнул и говорю себе: «Дело идет о какой-нибудь шутке, которую хотят сыграть завтра с Грамотеем, приманив его под видом выгодного дельца. Таких мерзавцев, как он, поискать... Он уколошил торговца скотом... и, говорят, убил еще кого-то на улице Профессора Руля... Я примкну к этой шутке».

– Моя ошибка была в том, приятель, что я не все сказал тебе... Иначе этого ужасного несчастья могло бы не случиться.

– То была ваша воля, господин Родольф, мое дело – служить вам... потому что... словом, я сам не понимаю, как это получилось, но я чувствую себя вроде как вашим бульдогом, но довольно об этом, молчок... Итак, я сказал себе: «Завтра будет свалка, сегодня я свободен, господин Родольф оплатил мне те два дня, что я не был на работе, а также два последующие дня; я уже три дня не появлялся у своего подрядчика, а работа для меня... это хлеб, ибо я не миллионер. Кстати сказать, продолжаю я разговор с самим собой, господин Родольф оплачивает время, которое я трачу на него, значит, оно принадлежит ему и надо употребить его с пользой. И в голову мне приходит такая мысль: Грамотей – хитрец, он, наверно, опасается ловушки. Господин Родольф договорится с ним на завтрашний день, что правда, то правда; но этот скот вполне может прийти сюда сегодня, побродить по окрестностям и осмотреть место действия; если он не доверяет господину Родольфу, то приведет для подмоги какого-нибудь вора или же назначит господину Родольфу завтрашний день и все обтяпает сегодня на свой страх и риск».

– Ты правильно обо всем догадался... так оно и случилось... И провидение восхотело, чтобы я был обязан тебе жизнью.

– Поразительное дело, господин Родольф, с тех пор как я вас знаю, со мной приключаются вещи, как бы задуманные там, наверху! А с тех пор как вы мне сказали: «Молодец, ты сохранил и мужество и честь», у меня появились мысли, которых никогда не было прежде. Мужество! Честь! Дьявольщина, от этих слов у меня что-то переворачивается в брюхе. Знаете, господин Родольф, когда привыкнешь, что при твоём приближении честные люди шарахаются от тебя, словно от волка или бешеной собаки...

– Значит, за последние дни у тебя появились новые для тебя мысли?

– Понятно, господин Родольф. Вот что я еще подумал: если я теперь встречу человека, сделавшего спяну или со злости какую-нибудь пакость, словом, не важно что... я скажу ему: «По-

⁷⁴ Кто подготовил ограбление.

слушай, парень, ты сделал гадость, ладно. Но это еще не все. Господь бог посылает людям напасти не для того, чтобы им помогал прусский король; так вот сделай мне одолжение и, если ты зарабатываешь сорок су, отдавай двадцать неимущим старикам или маленьким детям, словом, тем, кто несчастнее тебя, у кого нет ни хлеба, ни сил... и, главное, не забудь, парень, если тебе встретится человек, которого надо спасти, рискуя своей шкурой, это твоя обязанность, и только твоя!!! При этом условии и если ты откажешься от своих глупостей, ты всегда найдешь помощника во мне...» Но, простите, господин Родольф, я все болтаю и болтаю, а вам, верно, интересно узнать...

– Нет, мне нравится, когда ты так говоришь. Кроме того, я всегда успею узнать, как случилось ужасное несчастье, жертвой которого оказался мой бедный Мэрф... Я был уверен, что не отойду ни на шаг, ни на минуту от Грамотея во время этой опасной затеи... Он мог бы нанести мне множество ран, убить меня... прежде чем добраться до Мэрфа. Увы, судьба судила иначе... Продолжай, приятель.

– Итак, положив употребить свое время на вас, господин Родольф, я говорю себе: «Надо бросить якорь где-нибудь поблизости, откуда я увижу ограду и, главное, садовую калитку – это единственный вход в дом... Если я найду уютный уголок... ведь идет дождь, то останусь там весь день и, конечно, всю ночь, а рано утром смогу обо всем доложить...» Я сказал себе это ровно в два часа, в Батиньоле, куда забежал заморить червячка, после того как ушел от вас, господин Родольф... Возвращаюсь на аллею Вдов... Ищу, где бы мне угнездиться... И что же я вижу? Маленький кабачок в десяти шагах от вашей двери... Я занимаю столик в первом этаже, около окна, заказываю литр вина и четверть фунта орехов и говорю, что ожидаю друзей... горбуна с высокой женщиной; это я выдумал для правдоподобия. Итак, я сижу за столиком и не спускаю глаз с вашей калитки... Дождь льет без передыха; на улице – никого, приближается ночь.

– Почему ты не зашел ко мне в дом? – перебил Поножовщика Родольф.

– Вы же велели прийти на следующий день утром, господин Родольф... Я не посмел явиться раньше. Не то вы приняли бы меня за подлипалу, как говорят у нас в пехоте... Ведь я же бывший каторжник, а когда такой человек, как вы, обращается со мной так, как обращаетесь вы, господин Родольф... Не надо подходить к нему, пока он не скажет: «Поди сюда». Вот если я увижу паука на воротнике вашего костюма, я сниму его и раздавлю, не спрашивая вашего разрешения... Понимаете? Итак, я сидел у окна кабачка, щелкал орехи и попивал дрянное винцо, когда увидел в тумане Сычиху с Хромулей, мальчонком Краснорукого.

– Краснорукого! Так, значит, он хозяин подземного кабака на Елисейских полях? – воскликнул Родольф.

– Да, господин Родольф; а вы этого не знали?

– Нет, я думал, что он живет в Сите...

– Он и там живет, он всюду живет... Краснорукий – тонкая бестия и отъявленный мерзавец, уж поверьте мне, стоит только взглянуть на его желтый парик и острый нос. Словом, я вижу Сычиху и Хромулю и говорю себе: «Дело будет жаркое». В самом деле, Хромуля залез в канаву, против вашего дома, будто бы спрятался от дождя, и затаился там... Сычиха снимает чепец, кладет его в карман и звонит в калитку. Бедный господин Мэрф, ваш друг, открывает калитку одноглазой, и она принимается бегать по саду, воздевая руки к небу. Как я ни ломал себе башку, никак не мог отгадать, для чего она явилась сюда. Наконец Сычиха выходит на улицу, надевает чепец, что-то говорит Хромуле, и тот опять залезает в свою дыру, а Сычиха убирается прочь. Погоди, говорю я себе, как бы мне не сбиться с толку. Хромуля пришел с Сычихой; Грамотей и господин Родольф находятся, видно, у Краснорукого. Сычиха приходила сюда что-то расчухивать;⁷⁵ ясно, что они совершат ограбление сегодня вечером, и господин Родольф, который не ожидает этого, попадет впросак... Если господин Родольф попадет впросак, мне надо сходить к Краснорукому и узнать, чем там пахнет; да, но за это время сюда припрется Грамотей... правильно. Ничего не поделаешь, я войду в дом и скажу господину Мэрфу: «Будьте осторожны...» Да, но этот слизняк Хромуля засел около калитки, он услышит звонок, увидит меня, предупредит

⁷⁵ Выведывать.

Сычиху; если она вернется сюда... все будет испорчено... тем более что у господина Родольфа могут быть другие намерения на сегодняшний вечер... Дьявольщина! эти «да» и «но» вертелись у меня в голове... Я совсем одурел, растерялся, не знал, как быть; выйду-ка я на свежий воздух, подумал я, быть может, в голове у меня прояснится. Выхожу... В голове проясняется: снимаю блузу и галстук, прыгаю в канаву, где притаился Хромуля, хватаю мальчишку за загривок; как он ни отбивается, ни царапается, ни пищит... запикиваю его в свою блузу, словно в мешок, завязываю один конец рукавами, другой – галстуком, но так, чтобы мальчонка мог дышать; беру сверток под мышку, вижу поблизости огород, обнесенный невысокой оградой, и бросаю Хромулю среди морковных грядок; он продолжает верещать, но глухо, как молочный поросенок, словом, его и за два шага не услышишь... Возвращаюсь бегом, как раз вовремя! Залезаю на одно из высоких деревьев аллеи, как раз против вашей калитки и над канавой, где прятался Хромуля. Десять минут спустя слышу шаги; дождь все идет. Кругом темно, так темно, что *лекарь* мог бы наступить на собственный хвост... Прислушиваюсь, узнаю голос Сычихи. «Хромуля... Хромуля!..» – тихонько зовет она. «Попробуй поищи своего Хромулю! Идет дождь, мальчишке, верно, надоело ждать, если поймаю его, сдеру с него шкуру!!!» – говорит Грамотей, ругаясь. «Чертушка, будь начеку, – замечает Сычиха. – Быть может, он побежал предупредить нас... А что, если это ловушка?.. Ведь парень хотел приняться за дело лишь в десять часов». – «Вот именно, – отвечает Грамотей, – а теперь только семь. Ты видела деньги... Кто не рискует, тот не выигрывает; дай мне ломик и отмычку».

– Откуда у него эти инструменты? – спросил Родольф.

– Взял у Краснорукого. О, у него в доме есть все что угодно.

Не прошло и минуты, как калитка отперта. «Оставайся здесь, – говорит Грамотей Сычихе, – и работай сигналом,⁷⁶ если что-нибудь услышишь». – «Продень стилет в петлицу жилета, чтобы он был у тебя под рукой», – просит одноглазая. Грамотей входит в сад. Я говорю себе: «Господина Родольфа нет с ними; жив он или мертв в эту минуту, я ничем не могу ему помочь, но друзья наших друзей – наши друзья...» О, простите меня, монсеньор!

– Продолжай, продолжай. Что же дальше?

– Я говорю себе: «Грамотей может уколошить господина Мэрфа, друга господина Родольфа, который ничего дурного не ожидает». Вот тут и находится самая горячая точка. Прыгаю с дерева рядом с Сычихой и отвешиваю ей два удара кулаком... отборных удара... Не охнув, она бухается на землю... Я вхожу в сад... Дьявольщина, господин Родольф!.. Было слишком поздно...

– Бедный Мэрф!..

– Услышав скрип калитки, он, верно, вышел из передней; и теперь, раненый, боролся с Грамотеем на крылечке, но не сдавался, не звал на помощь. Молодчина! Он, как хороший пес, кусается, но не лает. Подумав так, я бросился в общую кучу и схватил Грамотея за ногу, единственное место, до которого можно было добраться. «Да здравствует хартия! Это я. Поножовщик! Расправимся с ним на пару, господин Мэрф!» – «Это ты, злодей! Откуда взялся?» – кричит мне Грамотей, обалдевший при моем появлении. «До чего же ты дотошный», – отвечаю я, зажимая его ногу между коленями, и сразу же хватаю руку, ту самую, в которой он держит кинжал. «А что с Родольфом?» – спрашивает господин Мэрф, по мере сил помогая мне.

– Мужественный, замечательный человек, – горестно прошептал Родольф.

– «Не знаю, – говорю я, – возможно, эти скоты его убили». И принимаюсь еще сильнее тужить Грамотея, который пытается ударить меня кинжалом, но я грудью навалился на его правую руку, и он не может ее поднять. «Неужто вы одни здесь?» – спрашиваю я господина Мэрфа, продолжая сражаться с Грамотеем. «Есть тут неподалеку народ, но мне не докричаться», – отвечает он. «А это далеко?» – «Нет, минут десять ходьбы». – «Давайте звать на помощь, прохожие услышат и придут на выручку». – «Нет, раз мы захватили его, пусть остается здесь... Кроме того, я ослабел, я ранен», – говорит мне Мэрф. «Дьявольщина, тогда идите за подмогой, если у вас хватит сил. Я постараюсь удержать его; вытащите нож из его руки и помогите мне прижать его

⁷⁶ Кричи: осторожно!

своим телом; хотя он вдвое сильнее меня, ручаюсь, что не упущу злодея, только бы мне зацепить его...» Грамотей ничего не говорит, слышно было, что он дышит тяжело, как выючное животное; но, дьявольщина, какая сила! Господину Мэрфу так и не удалось вырвать кинжал, зажатый в руке злодея, словно в тисках. Наконец, придавив всем своим телом его правую руку, я закидываю руки за его шею и соединяю их... словно собираюсь обнять. Защемить Грамотея было моей давнишней мечтой; после чего я говорю Мэрфу: «Поторопитесь... я жду вас. Если у вас найдется лишний человечек, пошлите его подобрать Сычиху за калиткой, я ее здорово пристукнул». Я остаюсь один на один с Грамотеем. Он знал, что его ожидает.

– Он ничего не знал!.. Да и ты, приятель, не знаешь, – сказал Родольф мрачно, и на лице его появилось то жесткое, чуть ли не свирепое выражение, о котором мы уже говорили.

Поножовщик удивленно взглянул на Родольфа.

– Я думаю, что Грамотей подозревал о том, что его ждет... Право, я не хвастаю, но была минута, когда мне пришлось туго. Мы лежали частью на земле, частью на нижней ступеньке крыльца... Я обхватил его шею руками... моя щека касалась его щеки... Был слышен скрежет его зубов. Стемнело... Дождь лил по-прежнему... Лампа, оставленная в передней, слабо освещала нас. Я зажал ногами одну из его ног. Но он был такой здоровенный, что, напрягая низ туловища, поднимал нас обоих на фут от земли. Он пытался укусить меня, но не мог. Никогда еще я не чувствовал себя таким сильным. Дьявольщина! Сердце у меня сильно билось, но не от страха... Я говорил себе: «Я вроде как вцепился в бешеного пса, чтобы помешать ему броситься на людей». – «Отпусти меня, и я ничего тебе не сделаю», – говорит Грамотей, с трудом переводя дух. «Да ты еще и трус вдобавок, – отвечаю я, – неужто вся твоя храбрость держится на одной силе? Ведь ты не посмел бы убить торговца скотом из Пуасси, будь он сильнее тебя, а?» – «Да, – говорит он, – но я убью тебя, как убил его». С этими словами он так сильно приподнялся и напряг мускулы ног, что отбросил меня в сторону; но я по-прежнему держал его за шею и прижимал к земле его правую руку. Как только ему удалось высвободить ноги, он ловко воспользовался ими и наполовину перевернул меня. Если бы я не держал его руку с кинжалом, мне пришел бы конец. В эту минуту я промазал и ударил левым кулаком не по противнику, а по ступеньке лестницы; пришлось разжать пальцы. Дело мое было дрянь. Я сказал себе: «Я лежу под ним, а он на мне; он убьет меня. Но я ни о чем не жалею... Господин Родольф сказал мне, что у меня есть мужество и честь. Я чувствую, что это правда». Тут я увидел Сычиху, стоящую на крыльце, ее зеленый глаз и красную шаль... Дьявольщина! Я подумал, что это наваждение. «Хитруша! – кричит Грамотей. – Я выронил кинжал; подними его... вот тут... под ним... и ударь... в спину, между лопатками...» – «Погоди, погоди, Чертушка, дай мне оглядеться». И вот Сычиха кружит, кружит вокруг нас, как вестница несчастья, какой она всегда была. Наконец она видит кинжал... хочет схватить его... Но так как я лежал ничком, я ударил ее пяткой в живот, и она полетела вверх тормашками; она тут же встает и снова принимается за свое. Я совсем ослаб, но все еще цеплялся за Грамотея; а он снизу так сильно ударял меня по челюсти, что я готов был сдаться, когда увидел не то троих, не то четверых вооруженных парней, сбегавших с крыльца... Господин Мэрф, бледный-пребледный, еле шел, опираясь на врача... Парни хватают Грамотея и Сычиху и связывают их... Но для меня этого было мало. Мне нужен был господин Родольф... Я набрасываюсь на Сычиху – я не забыл о зубе бедной Певуни – и начинаю выкручивать ей руку, повторяя: «Где господин Родольф?» Она держится стойко. После второго раза она выкрикивает: «Он у Краснорукого, в подвале, в „Кровоточащем сердце“...» Ладно... По дороге я хочу прихватить Хромулю, лежащего среди морковных грядок: мне это было по пути... Смотрю... его нет, осталась только моя блуза. Он всю ее изгрыз. Прихожу в «Кровоточащее сердце», беру за горло Краснорукого... «Где молодой человек, который был здесь с Грамотеем?» – «Не сжимай так сильно, я все тебе скажу: над ним хотели подшутить и заперли его в подвале, идем выпустим его». Спускаемся в подвал... Никого... «Он, верно, вышел, когда меня не было поблизости, – говорит Краснорукий, – видишь, его здесь нет...» Вконец опечаленный, я собрался было уйти, но при свете фонаря заметил в глубине подвала другую дверь. Подбегаю к ней, дергаю за ручку на себя и получаю в рожу как бы полное ведро воды. Вижу в воздухе две ваши ослабевшие руки... Вылавливаю вас из воды и приношу сюда на спине, так как послать за извозчиком было некого.

Вот и все, господин Родольф... и могу сказать, не хвастая, что я чертовски доволен.

– Я обязан тебе жизнью, друг, и этот долг... я уплачу во что бы то ни стало... Ты – человек мужественный и, конечно, разделишь мои чувства... Я крайне встревожен состоянием Мэрфа, которого ты так отважно спас, и жажду жестоко отомстить тому, кто чуть не убил вас обоих.

– Понимаю, господин Родольф... Схватить вас, бросить в подземелье и отнести бесчувственного в погреб, чтобы утопить там... Право, Грамотей заслужил то, что ему причитается. Он признался мне, кроме того, что уколошил торговца скотом. Я не доносчик, но, дьяволыщина! на этот раз я с легким сердцем схожу за полицией, чтобы она арестовала злодея!

– Давид, узнайте, пожалуйста, как чувствует себя Мэрф, – сказал Родольф, не отвечая Поножовщику. – И сразу возвращайтесь обратно.

– Не знаешь ли, парень, где находится Грамотей?

– Он в зале с низким потолком вместе с Сычихой. Вы пошлете за полицией?

– Нет...

– Вы хотите его отпустить?... Ах, господин Родольф, не делайте этого; такое великодушие ни к чему... я повторяю то, что уже говорил вам: он бешеный пес... Пожалейте прохожих!

– Он больше никого не укусит... не беспокойся!

– Вы куда-нибудь упрячете его?

– Нет, через полчаса он уйдет отсюда.

– Грамотей?

– Да...

– Один, без жандармов?

– Да...

– Он выйдет отсюда на свободу?

– На свободу...

– Один?

– Да, один.

– Но куда же он пойдет?

– Куда пожелает, – сказал Родольф со зловещей улыбкой, ужаснувшей Поножовщика.

Вернулся врач...

– Скажите, Давид... как Мэрф?

– Он дремлет... монсеньор, – грустно ответил тот, – дышит все так же тяжело.

– Положение серьезное?

– Очень серьезное, монсеньор... И все же надежда не потеряна.

– О Мэрф! я отомщу!.. Отомщу!.. – воскликнул Родольф с холодным гневом и, обращаясь к врачу, добавил: – Давид, на два слова.

И он что-то тихо сказал на ухо негру.

Тот вздрогнул.

– Вы колеблетесь? – спросил Родольф. – Однако я часто говорил с вами о своем намерении... Пришло время выполнить его...

– Я не колеблюсь, монсеньор... Я одобряю ваше намерение... Оно предполагает коренную реформу уголовного кодекса, достойную рассмотрения крупнейших криминалистов, ибо такое наказание было бы одновременно... простым... жутким... и справедливым... И как раз в этом случае его следовало бы применить. Не считая злодеяний, за которые этот негодяй был осужден на пожизненные каторжные работы... он совершил еще три преступления: убийство торговца скотом, покушение на жизнь Мэрфа... и на вашу жизнь... Кара справедлива...

– Кроме того, перед ним откроются неограниченные возможности раскаяния... – заметил Родольф. – Хорошо, Давид... вы поняли меня...

– Мы трудимся ради одной и той же цели... монсеньор...

Помолчав немного, Родольф сказал:

– И пять тысяч франков обеспечат его, не так ли, Давид?

– Безусловно, монсеньор.

– Вот что, милый, – сказал Родольф ошеломленному Поножовщику, – мне надо поговорить

с господином Давидом, а тебя я попрошу сходить в соседнюю комнату... там, на письменном столе, лежит красный бумажник, возьми из него пять тысяч франков и принеси их мне.

– Для кого же эти пять тысяч франков? – невольно вскричал Поножовщик.

– Для Грамотея... И ты велишь сразу же привести его сюда.

Глава XXI НАКАЗАНИЕ

Сцена происходит в ярко освещенной гостиной, обитой красной тканью.

Родольф, одетый в длинный черный бархатный халат, который подчеркивает бледность его лица, сидит за большим, покрытым скатертью столом. На столе лежат всевозможные вещи: два бумажника: один был украден Грамотеем у Тома в Сите, другой принадлежит самому похитителю; цепочка из поддельного золота с крошечным скульптурным изображением святого духа из лазурита, стилет, еще покрытый пятнами крови Мэрфа, отмычка, которой была отперта калитка, и, наконец, пять билетов по тысяче франков, принесенные Поножовщиком из соседней комнаты.

Доктор-негр сидит с одной стороны стола. Поножовщик – с другой.

Грамотей, так крепко скрученный, что он не может пошевелиться, сидит посреди гостиной в большом кресле на колесиках.

Парни, доставившие сюда преступника, ушли.

Родольф, доктор, Поножовщик и убийца остались одни.

Раздражение Родольфа прошло: он спокоен, печален, сосредоточен: он готовится свершить торжественное и грозное деяние.

Врач задумчив.

Поножовщик охвачен неясным страхом. Он не может оторвать взгляда от Родольфа.

Грамотей мертвенно бледен... он боится...

Обычный арест, возможно, не так испугал бы преступника, его обычная отвага не изменила бы ему перед лицом суда; но окружающая обстановка удивляет, страшит его; он находится во власти Родольфа, которого считал сообщником, способным предать его или дрогнуть в решающую минуту; из-за этого опасения, а также в надежде воспользоваться одному плодами кражи он и решил пожертвовать им...

Зато теперь Родольф кажется ему внушительным, грозным, как само правосудие.

Кругом – глубокая тишина.

Слышится только шум дождя, который падает... падает с крыши на мощеную дорожку.

Родольф обращается к Грамотею:

– Вы – Ансельм Дюренель... беглый каторжник из Рошфора, куда вы были сосланы навечно... как фальшивомонетчик, вор и убийца.

– Это ложь! Попробуйте доказать это! – говорит Грамотей дрогнувшим голосом, бросая вокруг себя беспокойные, дикие взгляды.

– Вы Ансельм Дюренель!.. Позже вы сознаетесь в этом. Вы убили и ограбили торговца скотом на дороге в Пуасси.

– Это ложь!

– Позже вы сознаетесь в этом.

Убийца удивленно взглянул на Родольфа.

– Сегодня ночью вы проникли в этот дом ради грабежа и ранили кинжалом его владельца...

– Вы же сами предложили мне совершить это ограбление! – говорит Грамотей, немного приободрившись, – на меня напали... я защищался.

– Человек, которого вы ранили, не нападал на вас, он был безоружен. Я предложил вам совершить эту кражу... не отрекаюсь. Немного погодя я объясню, зачем мне это понадобилось. Накануне вы обобрали мужчину и женщину в Сите (вот взятый у них бумажник) и предложили им убить меня за тысячу франков!..

– Я слышал это! – воскликнул Поножовщик.

Грамотей взглянул на него с лютой ненавистью.

– Вы сами видите, что толкать вас на преступление не требовалось, – заметил Родольф.

– Вы не следователь, я больше не буду вам отвечать...

– Вот почему я предложил вам совершить это ограбление. Мне было известно, что вы беглый каторжник... вы знали родителей одной несчастной девушки, во многих бедах которой виновата Сычиха, ваша сообщница... Я решил заманить вас сюда под предлогом крупной поживы, единственной приманки, способной вас соблазнить. Как только вы оказались бы в моей власти, я предложил бы вам на выбор, либо передать вас в руки правосудия, и тогда вы головой заплатили бы за убийство торговца скотом...

– Ложь! Я не совершал этого преступления...

– ...либо тайно выслать вас из Франции в место вечного заточения, где ваша судьба была бы менее тяжелой, чем на каторге; однако в обмен на смягчение вашей участи я потребовал бы от вас сведений, которые мне необходимы. Вы были осуждены на пожизненные каторжные работы и бежали с каторги. Лишая вас возможности вредить себе подобным, я оказал бы услугу обществу, а ваши признания помогли бы мне вернуть в лоно семьи бедную девушку, вся вина которой заключается в неудачно сложившейся жизни. Таков был сначала мой план, план нелегальный, но ваш побег и ваши новые злодеяния поставили вас вне закона... Вчера благодаря откровению свыше я узнал ваше подлинное имя.

– Это ложь! Я не Ансельм Дюренель.

Родольф взял со стола цепочку Сычихи и показал Грамотею маленькую скульптурку из лазурита.

– Святотатство! – грозно воскликнул он. – Подарив ее бесчестной женщине, вы осквернили эту реликвию, реликвию, трижды священную, ибо она перешла к вашему сыну от его матери и бабушки.

Грамотей, изумленный этим открытием, молча опустил голову.

– Вчера я узнал, что пятнадцать лет назад вы похитили вашего сына у его матери, вашей бывшей жены, и что вам одному известно, как сложилась судьба ребенка. Когда я понял, кто вы такой, у меня появилась еще одна причина для того, чтобы захватить вас. Я не хочу мстить вам за себя лично! Этой ночью вы опять пролили кровь ни в чем не повинного человека. Тот, кого вы серьезно ранили, доверчиво вышел к вам, не подозревая о ваших гнусных намерениях. Он спросил у вас, что вам здесь надобно... «Твои деньги и твоя жизнь!» – ответили вы и ударили его кинжалом.

– Все это поведал мне господин Мэрф, когда я оказывал ему первую помощь, – подтвердил врач.

– Это неправда, он солгал.

– Мэрф никогда не лжет, – холодно заметил Родольф. – Ваши преступления вопиют о мщении. Вы проникли в этот сад незаконным путем, вы ударили кинжалом человека, чтобы обокрасть его, и таким образом совершили еще одно убийство... Вы умрете здесь... Из жалости, из уважения к вашей жене и к вашему сыну мы спасем вас от позора смертной казни... Скажем, что вы погибли во время вооруженного нападения... Подготовьтесь... Ружья заяжены.

Лицо Родольфа было неумолимо.

Грамотей заметил в соседней комнате двоих мужчин, вооруженных карабинами... Его имя было известно, он подумал, что от него хотят избавиться, чтобы предать забвению последние совершенные им злодеяния и спасти от нового позора его семью. Как и все люди, подобные ему, этот человек был столь же труслив сколь и свиреп. Полагая, что его последний час пробил, он задрожал с головы до ног и крикнул:

– Пощадите!..

– Нет для вас пощады, – сказал Родольф. – Если вас не пристрелят здесь, эшафота вам не миновать...

– Я предпочитаю эшафот... Я проживу, по крайней мере, еще два или три месяца... Не все ли вам равно, раз я буду наказан? Пощадите меня! Пощадите!

– Но подумайте, ваша жена... ваш сын... носят ваше имя.

– Мое имя уже давно обесчещено... Прожить хотя бы еще неделю... Пощадите!

– У него нет даже того презрения к жизни, какое встречается у крупных злодеев! – сказал с отвращением Родольф.

– К тому же такая самовольная расправа запрещена законом, – уверенно проговорил Грамотей.

– Законом! – вскричал Родольф. – Законом!.. И вы смеее ссылаться на закон, вы, который уже двадцать лет живете с оружием в руках, открыто восставая против общества?..

Не отвечая, злодей опустил голову.

– Оставьте мне жизнь, хотя бы из жалости! – проговорил он наконец униженно.

– Вы скажете, где находится ваш сын?

– Да... да... Я скажу вам все, что знаю.

– Вы скажете мне, кто родители этой девушки, детство которой было искалечено Сычхой?

– В моем бумажнике имеются документы, которые наведут вас на их следы.

– Где ваш сын?

– Вы не отнимете у меня жизни?

– Прежде всего признайтесь...

– Видите ли, когда вы узнаете... – нерешительно проговорил Грамотей.

– Ты убил его?

– Нет... нет... Я поручил сына одному из моих сообщников, которому удалось бежать, когда я был арестован.

– Что же он сделал с ним?

– Он воспитал его; дал ему знания, необходимые для коммерции, чтобы мы могли воспользоваться... Но я скажу вам всю правду только в том случае, если вы пообещаете не убивать меня.

– И ты еще ставишь условия, мерзавец!

– Нет, нет! Пожалейте меня; прикажите арестовать лишь за сегодняшнее преступление; не говорите о другом. Дайте мне возможность спасти свою голову.

– Итак, ты хочешь жить?

– О да, да! Никогда не знаешь, что может случиться, – невольно вырвалось у злодея.

Он уже думал о возможности нового побега.

– Ты хочешь жить, жить во что бы то ни стало...

– Да, жить... Пусть даже в цепях! Хотя бы еще месяц, неделю... О, только бы не умеретьсию минуту...

– Признайся во всех своих преступлениях, и ты будешь жить.

– Буду жить! Правда, правда? Буду жить?

– Послушай, из жалости к твоей жене, к твоему сыну я дам тебе совет: согласись умереть сегодня...

– О нет, нет, вы отказываетесь от своего обещания, не убивайте меня, жизнь, самая мерзкая, самая ужасная, ничто по сравнению со смертью.

– Ты так решил?

– О да, да...

– Ты так решил?

– Да, и никогда не пожалуюсь на свою участь.

– Что ты сделал со своим сыном?

– Тот друг, о котором я вам говорил, дал ему знания по бухгалтерии, необходимые, чтобы поступить в банк; таким образом сын держал бы нас в курсе некоторых финансовых операций. Так было договорено между нами. Тогда я еще был в Рошфоре и, готовясь к побегу, руководил этим планом посредством зашифрованных записок.

– Этот человек ужасает меня! – воскликнул Родольф, содрогаясь. – Оказывается, существуют преступления, о которых я и не подозревал. Признайся... Признайся же... Признайся же... Зачем ты хотел устроить сына в банк?

– Для того... вы понимаете... чтобы в согласии с нами незаметно войти в доверие к банки-

ру... помогать нам... и....

– О боже! На что он обрек сына, своего родного сына! – скорбно воскликнул Родольф, с гадливостью закрывая лицо руками.

– Речь шла всего-навсего о фальшивых деньгах! – воскликнул разбойник. – Да и кроме того, когда мой сын узнал, чего мы ждем от него, он возмутился... После бурной сцены с человеком, воспитавшим его для выполнения наших замыслов, он исчез... С тех пор прошло полтора года... Никому не известно, что с ним случилось... Вы найдете в моем бумажнике перечень шагов, предпринятых воспитателем сына, который во что бы то ни стало хотел разыскать его, из боязни, что тот выдаст наше содружество; но след его в Париже был потерян. Последнее местожительство сына дом номер четырнадцать на улице Тамплъ, где он известен под именем Франсуа Жермена; адрес тоже находится в моем бумажнике. Как видите, я все сказал, решительно все... Выполните теперь свое обещание и велите арестовать меня только за попытку сегодняшнего ограбления.

– Ну а торговец скотом из Пуасси?

– Доказать это невозможно за отсутствием улик. Я признался только вам, чтобы подтвердить свою добрую волю; на следствии я все буду отрицать.

– Итак, ты признаешься?

– Я был в нищете, не знал, как жить дальше... Совет этот мне дала Сычиха... Теперь я раскаиваюсь... Сами видите, ведь я во всем признался... Ах, если бы у вас хватило великодушия не предавать меня правосудию, я дал бы вам честное слово, что не вернусь к прежней жизни.

– Ты будешь жить, и я не предаю тебя правосудию.

– Так вы прощаете меня? – вскричал Грамотей, не веря своим ушам. – Прощаете?

– Я вершу суд над тобой... и выношу тебе приговор! – воскликнул Родольф громовым голосом. – Я не отдам тебя в руки правосудия, потому что ты попадешь либо на каторгу, либо на эшафот, а этого не должно быть... Нет, не должно... На каторгу? Чтобы ты снова господствовал над тамошним сбродом благодаря своей силе и подлости! Чтобы ты снова мог удовлетворить свою жажду грубого угнетения!.. Чтобы все тебя ненавидели и боялись, ибо у преступников есть своя, особая гордость, и тебе будет льстить сама исключительность твоей низости!.. На каторгу? Нет, нет: твоему железному здоровью нипочем каторжные работы и палка надсмотрщика. Да и, кроме того, цепи можно перепилить, стены пробуровать, через крепостной вал перелезть; и придет день, когда ты снова пустишься в бега, чтобы снова нападать на кого попало, как взбесившийся дикий зверь, отмечая свой путь грабежами и убийствами... ибо никто не застрахован от твоей геркулесовой силы и от твоего ножа; а этого не должно быть, нет, не должно! Но если на каторге ты можешь разбить свои цепи, как же быть, чтобы уберечь общество от твоих злодеяний? Отдать тебя в руки палача?

– Так, значит, вы хотите моей смерти! – вскричал разбойник. – Вот чего вы хотите?

– Твоей смерти? Не надейся на это... Ты так слабодушен... ты так боишься смерти... что никогда не согласишься в ее неизбежность. Благодаря твоей жажде жизни, твоей упрямой надежде ты избежишь мучительного страха при ее грозном приближении! Надежде глупой, бессмысленной!.. Но она все же избавит тебя от искупительного страха смерти, и ты согласишься в нее только в руках палача! Но тогда, отупевший от ужаса, ты превратишься в инертное, бесчувственное тело, которое и будет принесено в жертву душам загубленных тобою людей... Этого не должно быть... ты верил бы в спасение до последней минуты... Чтобы ты, чудовище... смел надеяться? Чтобы на стенах одиночной камеры надежда являла тебе свои утешительные, сладостные миражи... до тех пор пока смерть не затуманит твоего взора? Полно!.. Старик Сатана и тот смеялся бы над этим до упаду!.. Если ты не раскаешься, я не хочу, чтобы ты сохранил надежду в этой жизни...

– Но что сделал я этому человеку?.. Кто он?.. Чего хочет от меня?.. Где я?.. – вскричал Грамотей чуть ли не в бреду.

– Если, напротив, ты нагло, пренебрежительно встретишь смерть, – продолжал Родольф, – то и тогда не следует предавать тебя казни... Эшафот послужил бы тебе кровавыми подмостками, где, по примеру многих других, ты похвалялся бы своей жестокостью... где, позабыв о дурно

прожитой жизни, ты произнес бы последнее богохульство и осудил бы свою душу на вечные муки!.. Этого тоже не должно быть... Негоже для народа смотреть на осужденного, который шутит со смертью, подтрунивает над палачом и с ухмылкой гасит божественную искру, вложенную в нас создателем... Спасение души есть нечто священное. «Нет греха непростительного – кроме греха нераскаянного», сказал спаситель.⁷⁷ Но расстояние от суда до эшафота слишком коротко, чтобы ты успел раскаяться. Ты не должен умереть на гильотине.

Грамотей был сражен... В первый раз в жизни он столкнулся с чем-то, что было страшнее смерти... Эти смутные опасения были ужасны...

Доктор-негр и Поножовщик смотрели на Родольфа с тревогой, они слушали, содрогаясь, его звучный, резкий голос, беспощадный, как нож гильотины; сердце их болезненно сжималось.

– Ансельм Дюренель, – продолжал Родольф, – ты не попадешь на каторгу... Ты не умрешь...

– Но чего же вы хотите от меня?... Так, значит, вы посланы ко мне из преисподней?

– Послушай, – сказал Родольф, торжественно вставая, и властно, угрожающе поднял руку. – Ты преступно злоупотреблял своей силой... Я парализую ее... Сильнейшие дрожали перед тобой... Ты будешь дрожать перед слабейшими... Убийца... Ты погружал создания божии в вечную ночь... Вечный мрак наступит для тебя в этой жизни... Сегодня... Сейчас... Такая кара будет, наконец, под стать твоим преступлениям... Но, – продолжал Родольф с горестным сочувствием, – эта страшная кара откроет, по крайней мере, перед тобой безграничные возможности искупления... Я был бы так же преступен, как ты, если бы покарал тебя из чувства мести, какой бы справедливой она ни была... Твоя кара не будет бесплодна, как смерть... она должна послужить спасению твоей души; вместо того чтобы обречь тебя на вечные муки... Она поможет твоему искуплению... Если, желая обезвредить тебя... я навсегда лишаю тебя великолепия божьего мира... если погружаю в непроглядную ночь... в одиночество... в воспоминания о своих злодеяниях... то делаю это для того, чтобы ты беспрестанно созерцал весь ужас содеянного тобой... Да, навеки обособленный от внешнего мира, ты вынужден будешь всецело погрузиться в себя... и тогда, надеюсь, твой лоб, отмеченный бесчестьем, покраснеет от стыда, твоя душа, очерстевшая от жестокости... растленная преступлением... проникнется чувством сострадания... До сих пор каждое твое слово было богохульством... Придет время, и каждое твое слово будет молитвою... Ты отважен и жесток, ибо чувствуешь свою силу... ты будешь кроток и смирен, ибо почувствуешь свою слабость... Твое сердце было глухо к раскаянию... настанет день, когда ты станешь оплакивать свои жертвы. Ты растлил ум, данный тебе богом, превратив его в оружие грабежа и убийства... Из человека ты стал хищным зверем... Придет день, и твой ум, очищенный угрызениями совести, пробудится благодаря покаянию... Ты не берег то, что берегут даже звери – своих самок и детенышей... После долгой жизни, посвященной искуплению грехов, ты обратишься с последней молитвой к богу, слезно моля его ниспослать тебе неожиданное счастье умереть в присутствии твоей жены и твоего сына.

Эти последние слова Родольф проговорил голосом взволнованным и грустным.

Ужас, охвативший было Грамотея, почти прошел... Он подумал, что Родольфу захотелось напугать его этим нравоучением, прежде чем закончить свою речь. Ободренный мягким тоном своего судьи, преступник все больше наглед, по мере того как проходил его страх.

– Черт возьми! – сказал он с грубым смехом. – Мы что, шарады разгадываем или присутствуем на уроке закона божия?

Врач-негр с опаской взглянул на Родольфа, ожидая его гневной вспышки.

Этого не случилось... Молодой человек с невыразимой печалью покачал головой и сказал врачу:

– Приступайте, Давид... И да покарает меня одного господь, если я совершу ошибку.

И Родольф закрыл лицо руками.

При этих словах врач позвонил.

Вошли двое мужчин, одетых во все черное. Доктор указал им рукой на дверь в соседнее

⁷⁷ Исаак Сирин. Слово подвижническое. М., 1858, с. 12. (Примеч. перев.)

помещение.

Они вкатили в него кресло с Грамотеем и связали его так, что он не мог пошевеливаться. Голову они прикрутили к спинке кресла с помощью повязки, охватившей одновременно шею и плечи.

– Обвяжите его лоб платком и намертво прикрепите к креслу, а другим платком заткните ему рот, – распорядился Давид, не сходя с места.

– Теперь вы хотите перерезать мне глотку?.. Помилуйте!.. – взмолился Грамотей. – Помилуйте!.. И...

Из соседней комнаты доносился теперь лишь невнятный шепот.

Двое мужчин появились на пороге... и по знаку доктора вышли из залы.

– Монсеньор? – молвил в последний раз врач вопросительным тоном.

– Приступайте, Давид, – ответил Родольф, не меняя положения.

Давид медленно вошел в соседнюю комнату.

– Господин Родольф, мне страшно, – сказал побледневший Поножовщик дрожащим голосом. – Господин Родольф, скажите что-нибудь... Мне страшно... Или это сон?.. Что делают там с Грамотеем? Ничего не слышать... От этого мне еще страшнее.

Давид вышел из соседней комнаты; он был бледен, как бывают бледны негры. Белыми были его губы.

Двое мужчин снова вошли в залу.

– Прикатите сюда кресло.

Они повиновались.

– Выньте у него кляп.

Кляп был вынут.

– Вы что же, хотите подвергнуть меня пытке?.. – воскликнул Грамотей, и в голосе его прозвучало не страдание, а гнев. – Что это за забава колоть мне чем-то глаза?.. Мне было больно... И для чего вы потушили свет и там и здесь? Собираетесь мучить меня в темноте?

Последовала минута жуткого молчания.

– Вы слепы... – проговорил наконец Давид взволнованно.

– Неправда! Быть этого не может! Вы нарочно создали этот мрак!.. – вскричал разбойник, делая невероятные усилия, чтобы освободиться от пут.

– Развяжите его, пусть встанет, – распорядился Родольф.

Грамотея развязали.

Он быстро встал, сделал шаг, протянул вперед руки, снова упал в кресло и воздел руки к небу.

– Давид, дайте ему этот бумажник, – сказал Родольф.

Врач вложил в дрожащие руки Грамотея небольшой бумажник.

В этом бумажнике достаточно денег, чтобы обеспечить тебе кров и хлеб до конца твоих дней в каком-нибудь уединенном месте. Теперь ты свободен... убирайся... и постарайся раскаяться... Господь милостив!

– Слеп! – проговорил Грамотей, машинально взяв бумажник.

– Откройте двери... Пусть уходит! – проговорил Родольф.

Двери с шумом распахнулись.

– Слеп! Слеп! Слеп!!! – твердил злодей, подавленный горем. – Боже мой, так это правда!

– Ты свободен, у тебя есть деньги, убирайся!

– Но я не могу уйти... Как вы хотите, чтобы я ушел? Я ничего не вижу, – воскликнул он в отчаянии. – Преступно злоупотреблять своей силой, чтобы...

– Преступно злоупотреблять своей силой! – повторил Родольф, голос которого прозвучал торжественно. – А что ты сделал со своей силой?

– О, лучше смерть... Да, я предпочел бы умереть! – воскликнул Грамотей. – От всех зависеть? Всего бояться? Ребенок и тот может теперь побить меня! Что делать? Боже мой! Боже мой! Что же делать?

– У тебя есть деньги.

– Их украдут у меня! – сказал разбойник.

– Их украдут у тебя. Вслушайся в эти слова!.. Ты произносишь их со страхом, ты, который столько раз воровал? Убирайся.

– Ради бога, – сказал умоляюще Грамотей, – пусть кто-нибудь проводит меня! Как я один пойду по улице?.. О, убейте меня! Прошу вас, сжальтесь... Убейте меня.

– Нет, придет день, и ты раскаешься.

– Никогда, никогда я не раскаюсь! – злобно вскричал Грамотей. – О, я отомщу! Поверьте... я отомщу!..

И, скрежеща зубами, он вскочил с кресла, угрожающе сжав кулаки.

Сделал шаг и споткнулся.

– Нет, нет, не могу!.. И однако, я такой сильный! Ах, как я жалок... Никто не пожалеет меня, никто.

И он заплакал.

Невозможно описать изумление, ужас Поножовщика во время этой трагической сцены: на его простом, грубом лице было написано сострадание. Он подошел к Родольфу и тихо сказал ему:

– Господин Родольф, он, возможно, получил то, что заслужил... Это был последний негодай! Он и меня хотел убить; но теперь он слеп, он плачет. Дьявольщина! Мне жаль его... Он не знает, как уйти отсюда. Его могут раздавить на улице. Хотите, я отведу его куда-нибудь, где ему хоть нечего будет бояться?

– Хорошо... – сказал Родольф, тронутый великодушием Поножовщика, и пожал ему руку. – Хорошо, ступай...

Поножовщик подошел к Грамотею и положил ему руку на плечо.

Разбойник вздрогнул.

– Кто это трогает меня? – спросил он глухо.

– Я.

– Кто такой?

– Поножовщик.

– Ты тоже хочешь отомстить мне, да?

– Ты не знаешь, как выйти отсюда!.. Обопрись на мою руку... Я провожу тебя.

– Ты! Ты!

– Да, теперь мне жаль тебя, идем!

– Ты хочешь поставить мне ловушку?

– Ты прекрасно знаешь, что я не подлец... Я не злоупотребляю твоей бедой. Ну же, идем, на улице уже светло.

– Светло! А я никогда больше не увижу света! – вскричал Грамотей.

Не в силах выносить долее эту сцену, Родольф поспешно вышел из зала в сопровождении Давида, приказав обоим слугам удалиться.

Поножовщик и Грамотей остались одни.

– Правда ли, что в бумажнике, который мне дали, есть деньги? – спросил разбойник после долгого молчания.

– Да, там по меньшей мере пять тысяч франков. С такими деньгами ты вполне можешь жить на полном пансионе, где-нибудь в тихом уголке, в деревне, до конца своих дней... Хочешь, я отведу тебя к Людоедке?

– Нет, она украдет мой бумажник.

– К Краснорукому?

– Он отравит меня, чтобы завладеть моими деньгами.

– Куда же ты хочешь, чтобы я отвел тебя?

– Не знаю. Ты-то не вор, Поножовщик. Вот что, хорошенько спрячь бумажник у меня под курткой, чтобы Сычиха не увидела его, не то она меня обчистит.

– Сычиха? Ее отнесли в больницу Божона. Сегодня ночью, отбиваясь от вас обоих, я покалечил ей ногу.

– Что же будет со мной? Господи, что же будет со мной из-за этой черной завесы, которая навсегда останется передо мной? А что, если я увижу на ней бледные, мертвые лица тех...

Он вздрогнул и глухо спросил у Поножовщика:

– Скажи, человек, которого я кокнул этой ночью, умер?

– Нет.

– Тем лучше.

И Грамотей некоторое время молчал; потом неожиданно воскликнул, подпрыгнув от ярости:

– И однако, Поножовщик, это ты все испортил, злодей!.. Без тебя я бы укокошил этого человека и унес бы деньги. Если меня ослепили, это тоже твоя вина, да, твоя вина!

– Не думай о том, что было, это вредно для тебя. Ну же, решайся, идешь ты или нет?.. Я устал, мне хочется спать. Я и так достаточно делов наделал. Завтра я возвращаюсь к своему подрядчику. Я отведу тебя, куда захочешь, и отправлюсь на боковую.

– Но я не знаю, куда мне идти. В мои меблированные комнаты... Я не смею... Придется сказать...

– Послушай, хочешь день или два пробыть в моей конуре? А я постараюсь подыскать тебе хороших людей, которые возьмут тебя к себе как инвалида. Да... в порту Святого Николая я знаю одного рабочего, его мать живет в Сен-Манде; она порядочная женщина, но живется ей не сладко. Возможно, она могла бы взять тебя к себе... Идешь ты или нет?

– На тебя можно положиться, Поножовщик. Я не боюсь пойти к тебе со своими деньгами. Ты никогда не крал... ты не злой, ты великодушный.

– Ладно уж, довольно захваливать меня.

– Видишь ли, я благодарен тебе за то, что ты хочешь сделать для меня, Поножовщик. В тебе нет ненависти, злопамятства... – смиренно проговорил преступник, – ты лучше меня.

– Дьявольщина! Еще бы не лучше... Господин Родольф сказал, что у меня есть мужество.

– Но что это за человек? Он и не человек вовсе, – воскликнул Грамотей в новом приступе злобы и отчаяния. – Он палач! Чудовище!

Поножовщик пожал плечами.

– Ну как, идем, что ли?

– Мы пойдем к тебе, ведь так, Поножовщик?

– Да.

– Ты не затаил злобы против меня за эту ночь, поклянись мне в этом?

– Клянусь.

– И ты уверен, что он не умер... тот человек?

– Уверен.

– Одним все же будет меньше, – глухо проговорил преступник. И, опершись на руку Поножовщика, он покинул дом на аллее Вдов.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I ЛИЛЬ-АДАН

Прошел месяц после описанных нами событий. Мы посетим теперь вместе с читателем городок Лиль-Адан, расположенный в живописной местности на берегу Уазы, вблизи большого леса.

В провинции мельчайшие факты становятся важными событиями. Недаром зевакам, гулявшим в то утро по церковной площади, не терпелось узнать, когда придет человек, купивший у вдовы Дюмон лучшую в городке мясную лавку со скотоприемным двором.

Новый владелец был, видимо, богачом, ибо он роскошно выкрасил и отделал лавку. Три недели день и ночь трудились там рабочие. Бронзовая с золотом решетка, закрывавшая вход в

магазин, не препятствовала притоку свежего воздуха. По обеим ее сторонам высились массивные пилястры, увенчанные двумя крупными бычьими головами; на их золоченые рога опирался широкий антаблемент, предназначенный для вывески. Остальная часть этого двухэтажного дома была выкрашена в темно-серый свет, а решетчатые ставни – в светло-серый. Все работы были закончены за исключением установки вывески, которой нетерпеливо ожидали празднующиеся, дабы узнать фамилию преемника вдовы.

Наконец рабочие принесли большую вывеску, и любопытные прочли на ней следующие слова, начертанные золотом по черному фону: «Правдолюб-мясник».

Любопытство бездельников все же не было удовлетворено. Кто такой этот Правдолюб? Один из самых нетерпеливых горожан обратился к приказчику, парню с открытым и веселым лицом, который хлопотал в лавке, заканчивая последние приготовления.

На вопрос о его хозяине, г-не Правдолюб, парень ответил, что еще не видал его, так как лавка была куплена по доверенности, но не сомневается, что патрон сделает все возможное, чтобы удовлетворить своих будущих покупателей, уважаемых жителей Лиль-Адана.

Эти любезные слова, сказанные с видом приветливым и радушным, да и нарядный вид лавки расположили любопытных в пользу г-на Правдолюб; кое-кто тут же обещал симпатичному парню стать клиентом его хозяина.

В этом доме со стороны Церковной улицы имелся еще обширный двор.

Через два часа после открытия лавки новенькая плетеная двуколка, запряженная холеным першероном, въехала во двор мясной; из экипажей вышли двое мужчин.

Один из них был Мэрф, бледный, но уже вполне оправившийся после нанесенной ему раны, второй – Поножовщик.

Рискуя впасть в банальность, мы скажем, что престиж костюма так велик, что Поножовщика – этого завсегдатая таверн Сите, трудно было узнать в новой, непривычной для него одежде. Такая же метаморфоза произошла и с его лицом: вместе с обносками он, казалось, сбросил и свой дикий, грубый, тревожный вид: когда он спокойно шел, положив руки в карманы длинного теплого редингота из касторина орехового цвета, уткнув свежесбривший подбородок в широкий белый галстук с вышитыми уголками, всякий принял бы его за добропорядочного буржуа.

Мэрф привязал лошадь к железному кольцу, вделанному в стену, и сделал знак Поножовщику следовать за ним; они вошли в уютную низкую залу за лавкой, обставленную ореховой мебелью, оба окна которой выходили во двор, где лошадь нетерпеливо била копытом. Можно было подумать, что Мэрф находится у себя дома, ибо он отворил дверцу одного из шкафов и взял оттуда бутылку и стакан.

– Утро сегодня холодное, парень, не хотите ли выпить водки?

– Не в обиду будь вам сказано, господин Мэрф... я не стану пить.

– Отказываетесь?

– Да, я до того рад, а радость согревает человека. И еще я рад тому, что встретил вас... Дело в том...

– Но в чем же?

– Вчера вы нашли меня в порту Святого Николая, где я для согрева лихо выгружал из воды бревна. Я не видел вас с той ночи... когда негр с белыми волосами выколол глаза Грамотею. Это первое, что он получил по заслугам, что правда, то правда... но... словом... Дьявольщина! Меня это зрелище перевернуло. А какое лицо было у Родольфа! У него всегда такой добродушный вид, а в ту минуту он меня испугал.

– Что же дальше?

– Итак, вы мне говорите: «Здравствуйте, Поножовщик». – «Здравствуйте, господин Мэрф. Значит, вы поправились?.. Тем лучше, дьявольщина, тем лучше. А как господин Родольф?» – «Ему пришлось уехать через несколько дней после того дела на аллее Вдов, и он забыл про вас, парень». – «Если так, отвечаю я вам, если господин Родольф позабыл меня, ей-богу, мне это очень горько».

– Я хотел сказать, мой милый, что он забыл вознаградить вас по заслугам; но он вас никогда не забудет.

– Эти ваши слова меня сразу подбодрили, господин Мэрф... Дьявольщина! Я-то уж наверняка его не забуду!.. Он мне сказал, что у меня есть честь и мужество... словом, молчок.

– К сожалению, парень, монсеньор уехал, не оставив никаких распоряжений на ваш счет; у меня же самого ничего нет, только то, что мне дает монсеньор: я не могу отблагодарить вас, как бы мне хотелось, за все, что вы сделали для меня.

– Полно, господин Мэрф, вы шутите.

– Но почему же, черт возьми, вы не вернулись на аллею Вдов после той трагической ночи? Монсеньор не уехал бы, не подумав о вас.

– Как вам сказать... Господин Родольф не позвал меня. Я решил, что он больше не нуждается во мне.

– Должны же вы были подумать, что ему хочется отблагодарить вас.

– Вы же сказали, что господин Родольф не забыл меня.

– Хорошо, хорошо, не будем больше говорить об этом. Но мне было нелегко отыскать вас... Так, значит, вы больше не ходите к Людоедке?

– Нет.

– Почему?

– Так уж, кой-какие мыслишки пришли мне в голову...

– В добрый час; но вернемся к тому, о чем вы говорили.

– К чему, господин Мэрф?

– Вы говорили: «Я доволен, что встретил вас, и еще доволен, быть может...»

– Вспомнил, господин Мэрф. Вчера, найдя меня у плотового сплава, вы сказали: «Послушайте, парень, я не богат, но я могу доставить вам место, где вам не придется так надрываться, как в порту, а зарабатывать вы будете четыре франка в день». – «Четыре франка в день... да здравствует хартия!» Я ушам своим не поверил: ведь это жалованье унтер-офицера. «Дело подходящее, господин Мэрф», отвечаю я. Вы же говорите мне, что я не должен походить на бродягу, иначе испугаю хозяина, к которому вы меня ведете. «У меня нет другой одежды», отвечаю я. «Идемте в „Храм вкуса“,» говорите вы. Я иду за вами, выбираю у мамыши Юбар все самое что ни на есть шикарное, вы даете мне денег в долг, и через четверть часа я разодет, как домовладелец или зубной врач. Вы мне назначаете свидание на сегодня, рано утром у ворот Сен-Дени; я нахожу вашу повозку, и вот мы здесь.

– Вы в чем-нибудь сомневаетесь?

– Видите ли, господин Мэрф, если человек хорошо одет, это портит его. И когда я вновь напялю на себя старую куртку и остальное тряпье, мне будет не по себе. Да и, кроме того... получать четыре франка в день, вместо двух... кажется мне такой большой удачей, которая не может продолжаться; я предпочел бы спать всю жизнь на дрянном соломенном тюфяке в моей мебелишке, чем проспать пять-шесть ночей в хорошей кровати. Вот какое у меня мнение.

– Оно не лишено основания. Но лучше всегда спать в хорошей кровати.

– Ясное дело, лучше есть хлеба, сколько влезет, чем подышать с голоду. Что это! Так здесь, значит, мясная лавка? – спросил Поножовщик, слыша удары топора и заметив сквозь занавеску разрубленную бычью тушу.

– Да, мой милый; лавка принадлежит одному из моих друзей. Хотите осмотреть ее, пока лошадь отдыхает?

– Пожалуй, это напомнит мне молодость... только бойня в Монфоконе была дрянная, а убойным скотом служили мне старые клячи. Чудное дело! Имей я за душой немного денег, я из всех профессий выбрал бы только профессию мясника! Ездить на славной лошадке по ярмаркам, покупать там скотину, возвращаться домой, погреться у своего очага, если ты замерз, посушиться, если ты промок, увидеть свою хозяйку, славную толстую мамашу, свежую и веселую, с целой кучей ребятишек, которые обшаривают твои сумки в поисках гостинцев. А затем утром, на бойне, схватить за рога быка... в особенности, если он злой, черт подери!.. Люблю злых быков... привязать за кольцо, вдвоем в ноздрю, убить, разделать на части, очистить... Дьявольщина! Вот чего бы мне хотелось, как хотелось Певунье съесть ячменный леденец, когда она была маленькая... Кстати, господин Мэрф... я не встречал ее больше у Людоедки, верно, господин Родольф

вытащил ее оттуда. Знаете, он сделал доброе дело. Бедная девушка! Она не думала ни о чем дурном. Такая еще молоденькая! А после втянулась бы... Словом, господин Родольф хорошо поступил.

– Согласен с вами. Но не хочется ли вам осмотреть лавку, пока наша лошадь отдыхает?

Поножовщик и Мэрф вошли в лавку, затем в хлев, где стоял три великолепных быка и штук двадцать овец; затем осмотрели конюшню, каретный сарай, бойню, чердаки и подсобные помещения этого дома, порядок и чистота которого свидетельствовали о рачительном и богатом хозяине.

Когда они всюду побывали, за исключением второго этажа, Мэрф обратился с такими словами к Поножовщику:

– Признайтесь, что мой друг счастливчик. Этот дом и участок принадлежат ему, не считая тысячи экю оборотных средств, вложенных в торговлю. В довершение всего ему тридцать восемь лет от роду, силища, как у быка, железное здоровье и любовь к своей профессии. Приветливый и честный малый, которого вы видели внизу, со знанием дела заменяет хозяина, когда тот закупает скот на ярмарке. Повторяю, разве мой друг не счастливчик?

– Конечно, господин Мэрф. Но что поделаешь? Есть люди счастливые и несчастные; стоит мне подумать, что я буду зарабатывать четыре франка в день, когда иные не зарабатывают и половины, и подчас и того меньше...

– Хотите подняться и осмотреть второй этаж?

– Охотно, господин Мэрф.

– Там вы познакомитесь с хозяином, который хочет вас нанять.

– С хозяином?

– Да.

– Почему вы не сказали мне этого раньше?

– Я все объясню вам в свое время.

– Погодите, – сказал Поножовщик с печальным и смущенным видом, задерживая Мэрфа, – послушайте, я должен сказать вам одну вещь... Быть может, господин Родольф не говорил вам об этом... Но я ничего не должен скрывать от своего будущего хозяина... Пусть уж лучше узнает обо всем теперь, а не потом.

– В чем дело, что вы хотите сказать?

– Я хочу сказать...

– Что именно?

– Что я бывший преступник... что я был на каторге... – проговорил Поножовщик глухим голосом.

– Да? – молвил Мэрф.

– Но я никогда никому не делал зла! – воскликнул Поножовщик. – И я скорее подохну с голоду, чем стану воровать, – прибавил он, опустив голову, – я убил... в приступе гнева... И это еще не все, – заметил он после паузы, – хозяева нипочем не наймут бывшего каторжника; они правы: не за такие заслуги дают свидетельство о добродетели. Это и помешало мне найти приличную работу, меня нанимали только в каком-нибудь порту для выгрузки плотового леса, ведь я говорил, когда нанимался на работу: «Дело обстоит так-то и так-то... Нужен я вам? Не нужен?» Пусть лучше сразу откажут, а не после, когда сами узнают... Я сказал все это для того, чтобы предупредить вас: я выложу всю правду хозяину. Вы знаете его: если он не возьмет меня после этого, избавьте меня от знакомства с ним, лучше я тут же уберусь восвояси.

– Идемте же, – сказал Мэрф.

Поножовщик последовал за Мэрфом; они поднялись по лестнице; одна из дверей отворилась, и они оказались лицом к лицу с Родольфом.

– Дорогой Мэрф... оставь нас одних, – молвил Родольф.

Глава II ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

– Да здравствует хартия! Я чертовски рад видеть вас, господин Родольф, иначе говоря, монсеньор! – воскликнул Поножовщик.

Встреча с Родольфом искренне обрадовала его, ибо услуги, которые щедрый человек оказывает людям, в той же мере привязывают его к ним, как и услуги, которые он от них принимает.

– Здравствуйте, друг, я тоже счастлив вас видеть.

– Ну и шутник господин Мэрф! Он сказал мне, что вы в отъезде. Вот что, монсеньор...

– Зовите меня «господином Родольфом», мне это больше по душе.

– Так вот, господин Родольф, простите, что я не зашел вас проведать после той ночи с Грамотеем... Я понимаю теперь, что был невежлив; но вы не в обиде на меня, правда?

– Прощаю вам это промах, – проговорил Родольф, улыбаясь.

И, помолчав, спросил:

– Скажите, Мэрф показал вам этот дом?

– Да, господин Родольф; прекрасное жилое помещение, прекрасная лавка; все богато, ухожено. Кстати о богатстве... Кто теперь разбогател, так это я; господин Мэрф предложил мне за работок, и какой! Четыре франка в день!

– Я хочу предложить вам кое-что получше, мой милый.

– Лучше... Не в обиду будь вам сказано, это трудно сделать. Подумайте, четыре франка в день!

– Говорят вам, мое предложение лучше; ибо вам принадлежит этот дом, мясная лавка и тысяча экю наличными вот в этом бумажнике.

Поножовщик глупо улыбнулся, сплющил свою бобровую шапку между судорожно сжатыми коленями и не понял того, что ему сказал Родольф, хотя все было изложено очень ясно.

– Я понимаю ваше удивление, – продолжал Родольф с доброй улыбкой, – но повторяю еще раз, что этот дом и эти деньги принадлежат вам, они ваши.

Поножовщик побагровел, провел своей мозолистой рукой по вспотевшему лбу и пробормотал изменившимся голосом:

– О, так, значит... так, значит... это моя собственность.

– Да, ваша собственность, потому что я дарю все это вам! Понимаете? Вам...

Поножовщик заерзал на стуле, почесал затылок, откашлялся, опустил глаза и ничего не ответил. Он чувствовал, что мысли его разбегаются. Он прекрасно слышал то, что ему сказал Родольф, но как раз поэтому не мог поверить своим ушам. Между его беспросветным положением, его горькой нуждой и тем, что ему предлагал Родольф, зияла такая глубокая пропасть, что ее не могла заполнить даже огромная услуга, оказанная им Родольфу.

Не торопя той минуты, когда его подопечный все уразумеет, Родольф наслаждался тем, как был потрясен, ошеломлен Поножовщик привалившим ему счастьем.

Он видел с радостью, смешанной с глубокой печалью, что привычка к страданиям, к бедам столь велика у некоторых людей, что их разум отказывается допустить возможность иного, более светлого будущего, которое показалось бы очень многим не слишком завидной долей.

«Конечно, – думал он, – если, по примеру Прометея, человеку удастся иной раз похитить искру божественного огня, это бывает лишь тогда, когда он (да простится мне это богохульство) делает то, что надлежало бы делать иной раз самому провидению в назидание людям: доказывать добрым и злым, что существует вознаграждение для одних и кара для других».

Понаслаждавшись блаженной одурью Поножовщика, Родольф спросил:

– Так, значит, то, что я вам подарил, превзошло ваши ожидания?

– Монсеньор! – проговорил Поножовщик, внезапно вставая. – Вы предлагаете мне этот дом и много денег... чтобы соблазнить меня; но я не могу...

– Не можете? Чего именно? – удивленно спросил Родольф.

Лицо Поножовщика оживилось, его стыд прошел; он сказал твердо:

– Я знаю, вы предлагаете мне столько денег не для того, чтобы склонить меня к воровству. Впрочем, я никогда в жизни не крал... Скорее всего для того, чтобы я кого-нибудь убил... но я по горло сыт кошмарами о сержанте! – закончил он мрачно.

– Несчастные люди! – с горечью воскликнул Родольф. – Неужели сострадание так редко

встречалось им в жизни, что они видят в щедром даре лишь плату за преступление?

Обратившись затем к Поножовщику, он сказал ему мягким, ласковым тоном:

– Вы плохо думаете обо мне... вы ошибаетесь, я не потребую от вас ничего бесчестного. Я дарю вам лишь то, что вы заслужили.

– Заслужил? Я? – вскричал Поножовщик, сомнения которого возобновились. – Но чем же?

– Сейчас все объясню: с детских лет вы не имели понятия ни о добре, ни о зле и были предоставлены своему необузданному нраву; вы провели пятнадцать лет на каторге с отъявленными негодяями, голодали, холодали. Затем вы вышли на свободу, но из-за клейма каторжника и недоверия честных людей вам пришлось по-прежнему жить среди подонков общества; несмотря на это, вы остались честным человеком и угрызения совести за содеянное преступление пережили наказание, наложенное на вас судом.

Этот благородный и ясный язык стал новым источником удивления для Поножовщика. Он смотрел на Родольфа с уважением, смешанным со страхом и благодарностью. И все же никак не мог поверить его словам.

– Как, господин Родольф, из-за того, что вы меня поколотили, из-за того, что я посчитал вас своим братом рабочим (ведь вы говорите на арго, как наш брат) и рассказал вам свою жизнь за стаканом вина, а после этого помешал утонуть... Вы... как же это так? Словом, я... получаю дом... деньги, становлюсь... как бы буржуа... Послушайте, господин Родольф, говорю вам еще раз: такого не бывает.

– Посчитав меня своим братом рабочим, вы рассказали мне свою жизнь попросту, без приукрашивания, не скрывая того, что в ней было преступного и благородного. У меня создалось мнение о вас... хорошее мнение, и мне угодно вас вознаградить.

– Но, господин Родольф, это же невозможно. Нет... сколько есть на свете бедняков рабочих, которые честно прожили свою жизнь, и...

– Знаю, и я, быть может, сделал для некоторых из них больше, чем сделал для вас. Но если человек, честно живущий среди честных и уважающих его людей, заслуживает внимания и поддержки, то человек, остающийся среди самых что ни на есть отъявленных мерзавцев, заслуживает особого внимания, поддержки. Впрочем, это еще не все: вы спасли мне жизнь, вы спасли также жизнь Мэрфу, моему самому близкому другу. Итак, то, что я делаю для вас, подсказано мне и личной благодарностью, и желанием вытащить из грязи хорошего, сильного человека, который заблудился, но не погиб... И это еще не все.

– Что же я еще такого сделал, господин Родольф?

Родольф дружески взял его за руку.

– Исполненный сострадания к несчастью человека, который незадолго до этого хотел вас убить, вы предложили ему свою поддержку, вы даже приютили его в своем убогом жилище, в тупике Парижской божьей матери, номер девять.

– Вы знаете, где я живу, господин Родольф?

– Если вы забываете оказанные мне услуги, я их не забываю. Когда вы вышли от меня, за вами последовал мой человек; он видел, как вы вошли к себе вместе с Грамотеем.

– Но господин Мэрф говорил мне, что вы не знаете, где я живу.

– Мне хотелось подвергнуть вас последнему испытанию, узнать, обладаете ли вы бескорыстием, свойственным щедрым натурам. И в самом деле, после вашего благородного поступка вы вернулись на свою каждодневную тяжелую работу, ничего не попросив, ни на что не надеясь, не сказав ни единого горького слова в осуждение моей кажущейся неблагодарности, ведь я никак не отозвался на все, что вы сделали для меня; и когда вчера господин Мэрф предложил вам занятие, немного лучше оплачиваемое, чем ваша обычная работа, вы приняли его предложение с радостью, с признательностью.

– Послушайте, господин Родольф, если говорить о зарплате, то четыре франка в день – это все же четыре франка. А что до услуги, которую я вам оказал, то скорее всего не вам, а мне придется вас благодарить.

– Почему?

– Да, да, господин Родольф, – проговорил он печально, – каких только мыслей я не набрал-

ся... с тех пор как узнал вас и вы мне сказали два слова: «Ты сохранил еще мужество и честь». Диву даюсь, сколько я думаю теперь. Странное дело, что два слова, всего два словечка сделали со мной такое... И то правда, бросьте в землю два крохотных зернышка пшеницы, и из них вырастут большущие колосья.

Это правильное и чуть ли не поэтическое сравнение удивило Родольфа. Действительно, два слова, но два слова редкой силы воздействия для тех, кто их понимает, внезапно пробудили в этой волевой натуре добрые, бескорыстные чувства, находившиеся лишь в зачаточном состоянии.

– Видите ли, монсеньор, – продолжал Поножовщик, – я спас господина Родольфа и отчасти господина Мэрфа, что правда, то правда; я могу спасти сотни, тысячи других людей, но это не вернет к жизни тех...

И Поножовщик, помрачнев, опустил голову.

– Такие угрызения совести благотворны, но доброе дело непременно зачтется грешнику.

– А затем, многое из того, что вы сказали Грамотею об убийцах, вполне могло бы подойти и мне.

Желая изменить ход мыслей Поножовщика, Родольф спросил:

– Это вы поместили Грамотея в Сент-Манде?

– Да господин Родольф... Он попросил меня обменять его золото на банковые билеты и купить ему широкий пояс... Мы положили в него все это богатство, я зашил пояс на нем – и в добрый путь! Теперь он живет на тридцать су в день на полном пансионе у хороших людей, которые на эти деньги могут немного побаловать себя.

– Я прошу вас еще об одной услуге, приятель.

– Говорите, господин Родольф.

– Через несколько дней вы съездите к нему... с этим документом, дающим право на пожизненное пребывание в заведении под названием «Добродетельные бедняки». Он внесет туда четыре тысячи пятьсот франков, и его примут навечно по предъявлении этой бумаги: все договорено и улажено. Я подумал, что для него это наилучший выход. Таким образом он обеспечит себе до конца дней крышу над головой и кусок хлеба и сможет думать только о раскаянии. Я жалею даже, что не отдал ему тотчас же этого документа вместо денег, которые могут быть растрачены или украдены; но он внушал мне такое омерзение, что мне хотелось как можно скорее избавиться от его присутствия. Вы предложите ему место в этом убежище и отвезете его туда. Если он откажется, мы придумаем что-нибудь другое. Итак, вы согласны съездить к нему?

– Я с радостью оказал бы вам эту, как вы говорите, услугу, господин Родольф, но не знаю буду ли я свободен. Господин Мэрф устроил меня на работу к одному своему приятелю за четыре франка в день.

Родольф с удивлением взглянул на Поножовщика.

– Что? А ваша лавка? Ваш дом?

– Полно, господин Родольф, будет вам смеяться над беднягой. Вы и так всласть позабавились, чтобы испытать меня, как вы говорите. И ваш дом, и ваша лавка все это старая песенка! Вы сказали себе: «Посмотрим, окажется ли этот скот Поножовщик таким болваном, чтобы поверить, будто...» Довольно, довольно, господин Родольф. Вы весельчак... Потешились надо мной, и basta.

– Но я только что все вам объяснил...

– Да, чтобы ваши рассказы были похожи на правду... Знаем мы эти фокусы... И ей-богу, я чуть не попался на удочку. Надо же быть таким остолопом!

– Да ты с ума сошел, парень!

– Нет, нет, монсеньор. Возьмем, к примеру, господина Мэрфа. Хотя его предложение и показалось мне чертовски странным... подумать только, четыре франка в день! Да уж куда ни шло, этому можно было поверить; но дом, лавка, куча денег... Ну и потеха! Дьявольщина, ну и потеха!

И он расхохотался грубо, громко, от всего сердца.

– Выслушайте же меня...

– Скажу вам положи руку на сердце, монсеньор, что сначала вы задурили мне голову; потом я сказал себе: «Таких молодцов, как господин Родольф, поискать, он, верно, хочет послать меня с поручением к *пекарю*, а чтобы я не испугался запаха серы, он надумал меня подкупить». Но, пораскинув мозгами, я понял, что нехорошо так думать о вас, и догадался, что это простая шутка; ведь если бы я был таким дураком и поверил бы, будто вы дарите мне за здорово живешь целое состояние, вы сразу подумали бы: «Эх, Поножовщик, мне, право, жаль тебя... уж не свихнулся ли ты, бедняга?»

Родольф был в затруднении, не зная, как ему убедить Поножовщика. Он сказал ему серьезным, внушительным, чуть ли не суровым тоном.

– Я никогда не шучу, когда речь идет о благодарности и о сочувствии, которое вызывает у меня великодушный поступок... Я уже сказал вам, что и дом этот, и деньги ваши, я вам их дарю. Но вы не хотите мне верить, придется дать вам клятву; итак, клянусь честью, что все это принадлежит вам и что мой подарок объясняется причинами, которые я вам уже сообщил.

Когда Поножовщик услышал решительный, исполненный достоинства голос Родольфа и увидел его серьезное лицо, перестал сомневаться. Несколько секунд он молча посмотрел на него, потом сказал без всякой напыщенности, но с чувством глубокого волнения.

– Я верю, монсеньор, и очень вам благодарен. Такой простой человек, как я, не умеет красноречиво говорить. Повторяю, что очень благодарен вам. Единственное, что я могу пообещать, – это никогда не отказывать в помощи несчастным: голод и нищета походят на Людоедок, которые завербовали несчастную Певунью, а как только человек окажется в сточной яме, не у всякого достанет хватки, чтобы выбраться оттуда.

– Вы не могли лучше отблагодарить меня, приятель... понимаете? Вы найдете вот здесь, в секретере, купчую на дом, приобретенную для вас на имя Правдолюбца.

– Правдолюбца?

– У вас нет фамилии, и я даю вам эту, придуманную мной. Она послужит хорошим предзнаменованием, и я уверен, вы будете достойны ее.

– Обещаю, монсеньор.

– Мужайтесь, приятель! Вы можете помочь мне в одном добром деле.

– Я, монсеньор?

– В глазах общества вы будете живым и благотворным примером. Счастливая перемена, ниспосланная вам богом, покажет иным низко павшим людям, что они не должны терять надежды: они еще могут подняться, если раскаются и сохраняют в чистоте иные добрые качества. Видя вас счастливым, ибо, совершив преступление, претерпев за него страшное наказание, вы остались честным, смелым, бескорыстным, те, что оступились, постараются стать лучше. Я хочу, чтобы ничто из вашего прошлого не осталось скрытым; лучше самому во всем признаться. Итак, мы не откладывая сходим с вами к мэру этой коммуны; я навел справки о нем: он человек достойный и может содействовать моему доброму делу. Я назову себя и буду вашим поручителем; а чтобы сразу же установить хорошие отношения между вами и двумя людьми, представляющими в нравственном отношении общество этого городка, я обязуюсь в течение двух лет ежемесячно вносить тысячу франков в пользу бедных и стану регулярно посылать вам эти деньги, об употреблении которых вы договоритесь с мэром и священником. Если один из них не решится поначалу вступить с вами в деловые отношения, его нерешительность скоро пройдет под влиянием нужд благотворительности. Как только ваши отношения с ними наладятся, от вас будет зависеть приобрести уважение этих достойных людей, и вы, конечно, преуспеете в этом.

– Понимаю, монсеньор. Не мне одному, Поножовщику, вы делаете это добро, а также несчастным, которые вроде меня оказались в нищете, совершили преступление и, по вашим словам, сохранили в беде мужество и честь. Не в обиду будь вам сказано, то же бывает в армии: когда батальон сражался не на жизнь, а на смерть, нельзя же всем навесить ордена: их всего четыре на сотню храбрецов; так вот те, кто не получил ордена, говорят себе: «Ладно, получу в другой раз», и в другой раз они опять бьются насмерть.

Родольф слушал своего подчиненного с огромной радостью. Вернув этому человеку самоуважение, подняв его в собственных глазах, он сразу пробудил в нем мысли, исполненные здра-

вого смысла, достоинства и даже чуткости.

– То, что вы сказали, Правдолюб, – заметил Родольф, – еще раз доказывает мне вашу признательность, и я благодарен вам за нее.

– Тем лучше, монсеньор, мне было бы очень трудно доказать ее иначе.

– А теперь осмотрим ваш дом; мой старый друг Мэрф уже доставил себе это удовольствие, теперь очередь за мной.

Родольф с Поножовщиком спустились на первый этаж.

В ту минуту, когда они входили во двор, приказчик почтительно обратился к Поножовщику:

– Поскольку вы хозяин лавки, господин Правдолюб, я хочу сказать вам, что товар наш нарасхват. Кончились отбивные котлеты и окорока, надо поскорее зарезать одну или двух овец.

– Черт возьми! Вот превосходный случай проявить ваши таланты, – сказал Родольф Поножовщику, – и я первый хочу воспользоваться вашей стряпней... От пребывания на воздухе мне захотелось есть, и я с удовольствием попробую ваши отбивные, хотя боюсь, что они будут жестковаты.

– Вы очень добры, господин Родольф, – радостно проговорил Поножовщик, – вы льстите мне, уж для вас-то я постараюсь.

– Так я отведу двух овец на бойню, хозяин? – спросил его приказчик.

– Да, и принеси мне нож с хорошо наточенным, но не слишком тонким лезвием и крепким тупым краем.

– Будьте покойны, хозяин, у меня есть как раз то, что вам требуется... Взгляните, таким ножом побриться можно.

– Дьявольщина! – воскликнул Поножовщик.

Он поспешно снял редингот и закатал рукава рубашки, обнажив мускулистые, как у атлета, руки.

– Это мне напоминает молодость и бойню, господин Родольф; вот увидите, как я справлюсь с работой... Черт возьми, мне не терпится взяться за дело! Нож, где твой нож, парень! Хорошо, ты понимаешь в этом толк. Вот это лезвие! Никто не хочет его испробовать?... Дьявольщина! С таким оружием я справился бы с бешеным быком.

И Поножовщик поднял нож; его глаза налились кровью; в нем пробуждались зверские инстинкты; жажда крови давала знать о себе со страшной, пугающей силой.

Бойня находилась во дворе.

Это было сводчатое помещение, темное, с плиточным полом и узким отверстием сверху для освещения.

Приказчик довел обеих овец до двери бойни.

– Привязать их, хозяин?

– Привязать? Дьявольщина! А эти колени на что? Будь покоен. Они послужат мне лучше всяких тисков. Давай сюда овцу и возвращайся в лавку.

Родольф, оставшийся наедине с Поножовщиком, смотрел на него внимательно, с тревогой.

– Ну же, за работу, – сказал он.

– Дело не затянется, дьявольщина! Посмотрите, как я орудую ножом. Руки у меня горят, в ушах шумит... в висках как молотком стучит, кровь приливает к голове... Поди сюда, милочка, чтобы я мог чикнуть тебя ножом!

Глаза его блестели дикой радостью, он уже не замечал присутствия Родольфа и, перышком подняв овцу, мигом отнес ее на бойню.

В эту минуту он походил на волка, который уволок в логово свою добычу.

Родольф последовал за ним, закрыл за собой дверь и прислонился к ее створке.

В бойне было темно; яркий свет, падающий сверху, освещал, как на картинах Рембрандта, грубое лицо Поножовщика, его бесцветные волосы и рыжие бакенбарды. Согнувшись пополам, держа в зубах длинный нож, блестящий в полумраке, он притянул к себе овцу, зажал между коленями, поднял ее голову, вытянул шею и зарезал.

Когда овца почувствовала прикосновение ножа, она тихо, жалобно заблеяла, взглянула

угасающим взглядом на Поножовщика, и две струи крови ударили ему в лицо.

Эта жалоба, этот взгляд, эта кровь, стекавшая по нему, произвели ужасное впечатление на Поножовщика. Нож выпал у него из рук, окровавленное побелевшее лицо исказилось, глаза округлились, волосы стали дыбом; с ужасом отступив назад, он глухо проговорил:

– О, сержант, сержант!

Родольф подбежал к нему.

– Очнись, парень.

– Здесь... здесь... сержант... – проговорил Поножовщик, отступая назад.

Его неподвижный, дикий взгляд был устремлен в одну точку, пальцем он показывал на какое-то скрытое от других привидение. Затем, испустив нечеловеческий крик, словно призрак дотронулся до него, он убежал в глубину бойни, в ее самый темный угол и там налег грудью и руками на стену, будто хотел ее свалить, чтобы укрыться от какого-то страшного призрака.

– О, сержант!.. Сержант!.. Сержант!.. – повторял он хриплым, нутужным голосом.

Глава III ОТЪЕЗД

Благодаря заботам Мэрфа и Родольфа, которые с большим трудом успокоили Поножовщика, тот окончательно пришел в себя после долгого приступа.

Он находился наедине с Родольфом в одной из комнат второго этажа мясной лавки.

– Монсеньор, – сказал он подавленно, – вы были очень добры ко мне... Но, видите ли, я готов влачить еще более горемычную жизнь, чем до сих пор, но принять ваше предложение не могу...

– Подумайте... все же.

– Видите ли, монсеньор, когда я услышал предсмертное блеяние несчастной беззащитной овцы... когда почувствовал, как ее кровь брызнула мне в лицо... кровь горячая, словно бы живая... О, вы не знаете, что это такое... Я снова увидел свой сон... сержанта и молоденьких солдатиков, которых я убивал ножом... они не защищались и, умирая, смотрели на меня так кротко... так кротко... словно жалели меня!.. О, монсеньор! От этого можно с ума сойти!..

И бедняга судорожно закрыл лицо руками.

– Полно, успокойтесь.

– Простите меня, но я не смогу больше выносить вид крови ножа... Они то и дело будут напоминать мне те страшные кошмары, а ведь я уже стал их забывать... Резать каждый день бедных беззащитных животных... Видеть их кровь у себя на руках, на ногах... О нет, нет, не могу... Лучше мне ослепнуть, чем заниматься таким ремеслом.

Невозможно описать жест, интонацию, выражение лица Поножовщика, произносившего эти слова.

Родольф был глубоко тронут. Его радовало впечатление, произведенное видом крови на его подопечного.

В течение нескольких минут инстинкт дикого зверя, жажда крови возобладали в душе Поножовщика; но угрызения совести все же одержали победу над инстинктом. Это было прекрасно, в этом заключался великий урок.

Надо сказать в похвалу Родольфу, что он не терял веры в Поножовщика. Его воля, а не случай вызвали сцену на бойне.

– Простите, монсеньор, – робко проговорил Поножовщик, – я очень плохо отплатил за вашу доброту... но...

– Как раз напротив... вы исполнили мое заветное желание... Признаться, я не был уверен, что обнаружу столь священный ужас, столь мучительные терзания совести.

– И что же, монсеньор?

– Выслушайте меня, – сказал Родольф, – я выбрал для вас профессию мясника, потому что ваши вкусы, ваши наклонности влекли вас к ней.

– Увы, это чистая правда, монсеньор... Без того, что вам известно, такая работа донельзя

обрадовала бы меня... Я только что говорил об этом господину Мэрфу.

– Я все это предвидел... Вот почему, мой бедный Поножовщик, так удачно прозванный мною Правдолюбом, если бы вы приняли то, что я предложил вам, а вы могли это сделать, не потеряв моего уважения, все, что здесь находится, стало бы вашей собственностью. Таким образом я заплатил бы вам свой священный долг... изменил бы к лучшему ваше тяжелое положение, создал бы в вашем лице наглядный, спасительный пример... и продолжал бы следить за вашей жизнью. Но если бы, напротив, кровь, которую вы собрались пролить, напомнила бы вам о содеянном преступлении, если бы невольное отвращение, вызванное ее видом, доказало бы, что угрызения совести еще живы в глубине вашей души, мои виды на вас изменились бы, ибо предложенная мной профессия стала бы для вас ежедневной пыткой.

– О, это истинная правда, господин Родольф, – страшной пыткой.

– Выслушайте теперь мое новое предложение. Полагаю, вы примете его, ибо я действовал не вслепую, а хорошо зная ваш характер. Один мой знакомец, у которого много владений в Алжире, уступил мне для вас (остается лишь подписать купчую) обширную скотоводческую ферму. Прилегающие к ней земли весьма плодородны и прекрасно возделаны, и, хотя я уверен в вашей смелости и в потребности проявлять ее, я приобрел эту ферму условно, ибо она расположена на границе Атласа... Вам придется быть не только землевладельцем, но и солдатом и жить в поместье, превращенном в редут. Человек, который временно заменяет там хозяина, введет вас в курс дела; говорят, он человек честный и преданный; вы оставите его у себя до тех пор, пока вам потребуются его услуги. Обосновавшись в Алжире, вы сможете не только увеличить свой достаток благодаря вашему трудолюбию и сметке, но и оказывать подлинные услуги родине, ибо вы человек отважный. Колонисты сформированы во вспомогательные воинские отряды. Величина вашего поместья, количество арендаторов, зависящих от него солдат, сделают вас командиром довольно значительного отряда. Дисциплинированный вашими усилиями, возбужденный вашей храбростью, этот отряд будет крайне полезен для защиты владений, разбросанных по равнине. Повторяю, я выбрал для вас это занятие, несмотря на связанную с ним опасность или, точнее, благодаря этой опасности, ибо после того как вы раскаялись и почти искупили содеянное преступление, восстановление вашего доброго имени будет еще возвышеннее, полнее, героичнее, если при свойственном вам бесстрашии оно завершится среди опасностей непокорной страны, а не среди мирной жизни маленького городка. Я не сразу предложил вам уехать в Алжир, так как был почти уверен, что мое первое предложение вам подойдет; да и, кроме того, с этой поездкой связано столько риска, что мне не хотелось подвергать вас ему, не предоставив возможности выбора... Время еще есть, и, если ферма в Алжире вам не подходит, скажите об этом откровенно, и мы поищем что-нибудь другое... В противном случае завтра все будет подписано: я вручу вам купчую на ваше поместье... и вы завтра же отправитесь в Алжир с человеком, выбранным прежним хозяином фермы, чтобы помочь вам вступить в ее владение... По приезде вы получите арендную плату за два предыдущих года; ваши земли приносили до сих пор три тысячи в год; работайте, улучшайте их, будьте энергичны, бдительны, и вы без труда повысите свое благосостояние и благосостояние арендаторов, которым вы всегда сможете прийти на выручку; я не сомневаюсь, что вы останетесь отзывчивым и щедрым и запомните, что богатство обязывает помогать людям... Хотя я и буду вдали от вас, но не потеряю вас из виду. Я никогда не забуду, что мы с моим лучшим другом обязаны вам жизнью. Единственное доказательство расположения и благодарности, о котором я прошу вас, – это поскорее научиться читать и писать, чтобы вы могли неукоснительно раз в неделю извещать меня о своих делах, а в случае если вам потребуется совет или поддержка, обратитесь ко мне одному.

Бесполезно говорить о радости, о восторге Поножовщика. Читатель хорошо знаком с его характером и наклонностями и без труда поймет, что ни одно предложение не подошло бы ему лучше этого.

В самом деле, на следующий же день Поножовщик уехал в Алжир.

Глава IV ПОИСКИ

Дом Родольфа на аллее Вдов не был обычной его резиденцией. Он жил в одном из самых больших особняков Сен-Жерменского предместья в конце улицы Плюме.

По приезде в Париж он пожелал избежать почестей, связанных с его высоким рангом, и сохранил инкогнито, приказав своему поверенному при французском дворе объявить, что его господин нанесет все официальные визиты под именем графа Дюрена.

Благодаря этому обычаю, принятому при дворах властителей северных стран, принц крови путешествует столь же свободно и приятно, как богатый незнатный человек, не связанный тяготами представительства.

Несмотря на свое инкогнито, Родольф жил, как это и подобает, на широкую ногу. Мы введем читателя в его особняк на улице Плюме на следующий день после отъезда Поножовщика в Алжир.

Только что пробило десять утра.

Посреди обширной приемной, расположенной в первом этаже, перед кабинетом Родольфа, сидел за письменным столом Мэрф и запечатывал депеши.

Привратник, одетый во все черное, с серебряной цепью на шее, распахнул обе створки двери в приемную и возвестил:

– Его сиятельство барон фон Граун!

Не прерывая своего занятия, Мэрф помахал барону рукой.

– Господин поверенный в делах, – проговорил он с улыбкой, – располагайтесь, пожалуйста, у камина, еще немного и я буду в вашем распоряжении.

– Сэр Вальтер Мэрф, личный секретарь его высочества... жду ваших приказаний, – весело ответил г-н фон Граун и шутливо отвесил глубокий, почтительный поклон достойному эсквайру.

Барону лет пятьдесят; у него редкие седеющие волосы, завитые и припудренные. Слегка выступающий вперед подбородок наполовину скрыт муслиновым, сильно накрахмаленным галстуком ослепительной белизны. Выражение лица говорит о тонком уме, манеры исполнены изящества, за стеклами очков в золотой оправе поблескивает лукавый, проницательный взгляд. Как того требует этикет, барон одет, несмотря на утренний час, во фрак с яркой полосатой ленточкой в петлице. Он положил шляпу на кресло и подошел к камину, а Мэрф продолжал свою работу.

– Вероятно, его высочество провел бессонную ночь, дорогой Мэрф, если судить по объему вашей корреспонденции.

– Монсеньор лег спать в шесть утра. Он написал, между прочим, письмо на восьми страницах маршалу Герольштейна и продиктовал мне не менее длинное письмо председателю государственного совета.

– Надлежит ли мне дожидаться пробуждения его высочества, чтобы сообщить ему собранные мною сведения?

– Нет, дорогой барон... Монсеньор велел, чтобы его разбудили не раньше двух-трех часов пополудни: он желает, чтобы вы послали сегодня утром эти депеши со специальными курьерами, не дожидаясь понедельника. Вы изложите мне ваши сведения, а я передам их монсеньору, как только он проснется: таковы его распоряжения.

– Превосходно! Мне кажется, что его величество будет доволен собранной мной информацией. Надеюсь, дорогой Мэрф, что срочная посылка курьера не предвещает ничего дурного. В последних депешах, которые я имел честь передать его высочеству...

– Сообщалось, что там все идет хорошо, и монсеньор пожелал выразить как можно скорее свое удовлетворение председателю государственного совета и маршалу Герольштейна; вот почему он распорядился о срочной отправке курьера.

– Узнаю характер его высочества... если бы речь шла о выговоре, он не стал бы так торопиться; в стране нет ни малейших разногласий по поводу твердого и искусного ведения дел нашими временными правителями. Да иначе и быть не может, – продолжал барон, улыбаясь, – часы были не только хороши, но и превосходно отрегулированы нашим повелителем, оставалось лишь аккуратно заводить их, чтобы благодаря своему неизменному и надежному ходу они ежедневно указывали всем подданным употребление каждого дня и часа. Порядок в государстве

всегда вызывает уверенность и спокойствие народа; этим и объясняются хорошие новости, которые вы сообщили мне.

– А здесь ничего нового, дорогой барон? Ничего не всплыло наружу? Наши таинственные похождения...

– Остались в тайне. Со времени прибытия монсеньора в Париж здесь привыкли видеть его редко и лишь у немногих особ, которых он попросил ему представить; все полагают, что он любит уединение и часто совершает загородные прогулки. Его высочество поступил весьма остроумно, отделавшись от камергера и адъютанта, привезенных из Германии.

– Они были бы для нас весьма неудобными свидетелями.

– Итак, за исключением графини Сары Мак-Грегор, ее брата, Тома Сейтона оф Холсбери, и Чарльза, их верного раба, никто не знает о переодеваниях его величества; впрочем, ни графиня, ни ее брат, ни Чарльз не заинтересованы в том, чтобы выдать эту тайну.

– Ах, дорогой барон, – промолвил Мэрф, улыбаясь, – какое несчастье, что эта проклятая графиня овдовела!

– Ведь она вышла замуж не то в тысяча восемьсот двадцать седьмом, не то в двадцать восьмом году?

– Да, в тысяча восемьсот двадцать седьмом, вскоре после смерти этой бедной крошки, которой было бы теперь лет шестнадцать – семнадцать; монсеньор никогда не упоминает о ней, хотя и постоянно ее оплакивает.

– Это тем более естественно, что его недолгий брак был бездетным.

– И знаете, дорогой барон, помимо жалости, которую внушает монсеньору Певунья, его интерес к ней объясняется прежде всего тем, что дочери, о потере которой он так горько жалеет (одновременно ненавидя ее мать), было бы теперь столько же лет, сколько этой несчастной девушке. Я прекрасно понял это.

– В самом деле, есть что-то роковое в том, что эта Сара, от которой мы считали себя избавленными, снова оказалась свободной ровно через полтора года после того, как его высочество потерял свою жену, лучшую из всех супругов. Я уверен, графиня считает это двойное вдовство знамением судьбы.

– И ее безрассудные надежды возродились, более страстные, чем когда-либо; ей известно, однако, что монсеньор питает к ней глубочайшую и вполне заслуженную ненависть. Разве не она явилась причиной... Ах, барон, – воскликнул Мэрф, не докончив фразы, – эта женщина всем приносит несчастье... Дай-то бог, чтобы она не навлекла на нас новых бед!

– Разве она не бессильна теперь, дорогой Мэрф? Прежде она имела на монсеньора то влияние, которое всегда имеет ловкая интриганка на молодого человека, полюбившего в первый раз, особенно при известных нам обстоятельствах; но влияние этой особы было уничтожено ее недостойными махинациями и, главное, воспоминанием о вызванной ею непоправимой беде.

– Прошу вас, дорогой Граун, говорите тише, – сказал Мэрф. – Увы, наступил зловеющий для нас месяц январь, и мы приближаемся к тринадцатому числу – дате столь же зловеющей; я всегда опасаюсь за монсеньора, когда наступает эта страшная годовщина.

– Однако если даже великий грех подлежит прощению, то монсеньор давно искупил его.

– Умоляю, дорогой Граун, не надо вспоминать об этом, иначе весь день я буду сам не свой.

– Итак, по-моему, попытки графини Сары абсурдны, ибо смерть бедной крошки, о которой вы только что говорили, разорвала последнюю нить, которая могла бы еще привязать монсеньора к этой женщине; она безумна, если упорствует в своих надеждах.

– Да, но она опасная сумасшедшая. И, как вам известно, ее брат неукоснительно разделяет ее честолюбивые бредни, хотя в настоящее время у этой милой парочки столько же причин для разочарования, сколько их было для надежды полтора года тому назад.

– А сколько несчастий вызвал тогда аббат Полидори, этот нечестивец, своим преступным попустительством.

– Кстати об этом прохвосте. Я слышал, что аббат уже год или два не живет в Париже, где он либо бедствует, либо занимается какими-нибудь грязными делишками.

– Какой крах для человека столь образованного, умного, одаренного!

– И известного, кроме того, своей необычайной порочностью... Дай-то бог, чтобы он не встретился с графиней! Союз этих дурных людей был бы весьма опасен.

– Повторяю, дорогой Мэрф, интересы самой графини, как бы безрассудно ни было ее честолюбие, помешают ей воспользоваться авантюристическими наклонностями монсеньора; она не отважится на столь неблагоприятный поступок.

– Я тоже надеюсь на это; хотя только случай помешал ей сделать какое-то, по всей вероятности, отвратительное предложение Грамотею, мерзкому злодею, который в настоящее время, полностью обезвреженный, живет в неизвестности, быть может, преисполненный раскаяния, у славных крестьян в деревне Сен-Манде. Увы! Я уверен, что монсеньор решился на такое страшное наказание, чтобы отомстить за меня этому негодяю, рискуя поставить себя в весьма щекотливое положение.

– Щекотливое! Нет, нет, дорогой Мэрф; вот как, по-моему, обстоит дело: беглый каторжник, закоренелый убийца, проникает к вам в дом и ударяет вас кинжалом; вы можете его убить в порядке самозащиты или отправить на эшафот; в обоих случаях этому негодяю не избежать смерти; а вместо того чтобы убить злодея или отдать его в руки палачам, вы прибегаете к суровому, но справедливому наказанию и тем самым лишаете его возможности причинять вред обществу. Кто осмелится порицать вас за это? Неужели вас могут привлечь к суду из-за отпетого негодяя и осудить за то, что вы сделали меньше, чем дозволено законом, и только лишили зрения того, кого имели право убить? Подумайте, если в порядке самозащиты или мести за явный адюльтер общество признает за мной право на жизнь и смерть ближнего, право чудовищное, бесконтрольное, не подлежащее обжалованию, превращающее меня в судью и палача, то неужели я не могу заменить иной карой смертную казнь, к которой мне дозволяется прибегнуть безнаказанно? И в особенности... в особенности, когда речь идет об известном нам с вами злодее? Ибо вопрос заключается именно в этом. Я оставляю в стороне ранг монсеньора, одного из владетельных князей Германского союза. Я знаю, с точки зрения права, знатность не имеет значения; однако в жизни существует фактическая неприкосновенность; давайте представим себе, что против монсеньора возбуждено судебное дело, сколько добрых поступков будет свидетельствовать в его пользу! Сколько дотоле неизвестных вспомоществований, милостей с его стороны выявятся в ходе судебного разбирательства! Повторяю, если бы столь странный процесс начался в суде, как вы полагаете, чем бы он кончился?

– Монсеньор говорил мне не раз: он примет обвинительный приговор, не воспользовавшись неприкосновенностью, которую мог бы обеспечить ему присущий ему высокий ранг. Но кто предаст огласке этот печальный случай? Вам известна молчаливость Давида и четырех слугвенгров из дома на аллее Вдов. Поножовщик, облагодетельствованный монсеньором, не скажет ни одного слова из боязни скомпрометировать себя. Перед своим отъездом в Алжир он поклялся мне хранить полное молчание на этот счет. А сам преступник прекрасно понимает, что пожаловаться на его высочество – значит сложить голову на плахе.

– Наконец, никто из нас троих – монсеньора, вас и меня – не проговорится, не так ли? Хотя эта тайна известна нескольким лицам, она будет свято сохранена. В крайнем случае можно опасаться лишь небольших неприятностей, но при разбирательстве этого странного дела, дорогой Мэрф, выявятся столько благородных деяний, что обвинительный приговор обернется триумфом для его высочества.

– Вы вполне успокоили меня. Но не вы ли говорили, что узнали интересные вещи из писем, найденных у Грамотея, а также из признаний, которые сделала Сычиха, когда лежала в больнице с переломом ноги; кстати, эта мерзавка уже вышла оттуда.

– Вот эти сведения, – сказал барон, вынимая из кармана какую-то бумагу. – Они касаются поисков, предпринятых, чтобы установить происхождение девушки по прозвищу Певунья и узнать новый адрес Франсуа Жермена, сына Грамотея.

– Не прочтете ли вы мне эти заметки, дорогой Граун? Мне известны намерения монсеньора, и я сразу пойму, удовлетворят ли его собранные вами сведения. Вы по-прежнему довольны своим агентом?

– О, это ценнейший человек, умный, ловкий, скромный. Иной раз мне даже приходится

умерять его пыл; как вам известно, его высочество желает лично заняться некоторыми делами.

– И вашему агенту до сих пор неизвестно участие монсеньора во всем этом?

– Он ровно ничего не знает об этом. Мое положение дипломата служит превосходным предлогом для тех розысков, которые я ему поручаю. У господина Бадино (так зовут нашего агента) много житейской сметки и широкие, явные и тайные, связи почти во всех слоях общества; в свое время он был адвокатом, но ему пришлось продать свою контору из-за всяких подзрительных махинаций; однако у него сохранились весьма точные сведения о капитале и положении своих прежних клиентов; он знает множество тайн и нагло похвально тем, что торговал ими; два или три раза он богател и разорялся на разных аферах и теперь пользуется слишком дурной славой, чтобы заняться новыми спекуляциями; он прибегает к не совсем законным средствам, чтобы прожить, и напоминает мне Фигаро; послушать его весьма любопытно. Он принадлежит душой тем, кто ему платит, а обманывать нас не в его интересах; впрочем я устроил за ним тайную слежку: нет никаких оснований остерегаться его.

– Да и сведения, которые он собрал для нас, оказались весьма точными.

– Господин Бадино по-своему честен, и уверяю вас, дорогой Мэрф: тип он чрезвычайно оригинальный; странная жизнь, подобная его жизни, встречается только в Париже и возможна только там.

– Он очень позабавил бы его высочество, если бы всякие отношения между ними не были нам вредны.

– Может быть, увеличить оплату услуг господина Бадино, как по-вашему?

– Пятьсот франков в месяц плюс накладные расходы, достигающие примерно той же суммы, оплата, по-моему, достаточная; он как будто доволен – дальше будет видно.

– И он не стыдится своего ремесла?

– Он-то? Напротив, скорее гордится им; принося мне свои отчеты, он не приминет напустить на себя важный, я сказал бы даже, дипломатический вид; ибо этот пройдоха притворяется, будто принимает всерьез доверенные ему государственные дела и восхищается тайными связями, которые существуют между частными интересами и судьбами империй. Иной раз у него хватает наглости сказать мне: «Сколько сложностей в управлении государством, неизвестных обычным людям. Кто бы мог подумать, что заметки, которые я приношу вам, ваше сиятельство, имеют отношение к европейским делам!»

– Поверьте, прохвосты вечно стараются представить в розовом свете свои низкие поступки; это льстит их самолюбию. Но вернемся к вашим записям, дорогой барон.

– Вот они, почти в точности составленные со слов господина Бадино.

– Слушаю вас.

И барон прочел ему следующие строки:

«ЗАПИСИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛИЛИИ-МАРИИ.»

В начале тысяча восемьсот двадцать седьмого года человек по имени Пьер Турнемин, ныне отбывающий наказание на Рошфорской каторге как фальшивомонетчик, предложил некой мещанке по фамилии Жерве, прозванной Сычихой, взять к себе на воспитание девочку в возрасте пяти-шести лет за единовременное вознаграждение в сумме тысячи франков».

– Увы, дорогой барон, – сказал Мэрф, прерывая своего собеседника... – тысяча восемьсот двадцать седьмой год... ведь как раз в этом году монсеньор узнал о смерти несчастной девочки, которую он до сих пор горько оплакивает... По этой причине и по многим другим этот год был роковым для моего повелителя.

– Счастливые годы весьма редки, мой бедный друг. Но разрешите мне продолжить чтение:

«По заключении упомянутой сделки девочка пробыла у этой женщины два года, а затем сбежала неизвестно куда из-за дурного с ней обращения. Сычиха ничего

не знала о ней в течение нескольких лет, когда месяца полтора тому назад увидела ее в одном из кабаков Сите. Девочка, ставшая к тому времени взрослой девушкой, была известна под прозвищем Певуньи. Вскоре после этой встречи вышеупомянутый Турнемин, с которым Грамотей познакомился на Рошфорской каторге, переслал Краснорукому (тайному и постоянному посреднику каторжан, отбывающих наказание или выпущенных на волю) подробное письмо, относящееся к девочке, некогда вверенной попечению мещанки Жерве, прозванной Сычихой. Как следует из этого письма и из заявлений самой Сычихи, некая госпожа Серафен, экономка нотариуса по имени Жак Ферран, поручила Турнемину подыскать ей женщину, которая согласилась бы за тысячу франков взять на себя заботу о девочке пяти или шести лет, от которой желали отделаться.

Сычиха приняла это предложение.

Посылая эти сведения Краснорукому, Турнемин преследовал следующую цель: потребовать через третье лицо у госпожи Серафен денег, угрожая в случае отказа разгласить это давно забытое дело. Оказалось, что госпожа Серафен лишь посредница никому не известных людей.

Краснорукий поручил хранить вышеуказанное письмо Сычихе, недавней сообщнице Грамотея, принимающей участие в его преступлениях; этим и объясняется, что письмо оказалось в руках злодея и что во время своей встречи с Певуньей в кабаке „Белый кролик“ Сычиха, желая помучить ее, сказала: „Твои родители нашлись, но ты ничего не узнаешь о них“.

Теперь надо было выяснить, насколько правдиво письмо Турнемина о девочке, некогда приведенной им к Сычихе. Были наведены справки о госпоже Серафен и о нотариусе Жаке Ферране. Оба они действительно существуют. Нотариус живет на Пешеходной улице, сорок один; он слывет человеком суровым, набожным, во всяком случае, его часто видят в церкви; в делах он отличается излишней пунктуальностью и даже придирчивостью; бережливость его граничит со скупостью; госпожа Серафен по-прежнему служит у него экономкой.

Жак Ферран, будучи бедняком, купил нотариальную контору за триста пятьдесят тысяч франков. Деньги на покупку были ему даны под солидную гарантию господином Шарлем Робером, штабным офицером городской полиции, красивым молодым человеком, пользующимся большим успехом в обществе. Он делит с нотариусом доходы от его конторы, которые оцениваются в пятьдесят тысяч франков, не принимая, разумеется, ни малейшего участия в нотариальных делах. Злые языки утверждают, будто удачные спекуляции и игра на бирже так обогатили нотариуса, что он в состоянии выплатить свой долг господину Шарлю Роберу; но господин Жак Ферран пользуется такой хорошей репутацией, что его доброжелатели считают эти слухи грязной клеветой. Итак, госпожа Серафен, экономка этого святого человека, располагает, по-видимому, ценными сведениями о происхождении Певуньи».

– Превосходно, дорогой барон! – воскликнул Мэрф. – В заявлениях Турнемина есть видимость правды. Быть может, с помощью нотариуса мы сумеем отыскать родителей этой бедной девочки. А что, справки о сыне Грамотея так же хороши?

– Пожалуй, хотя и менее подробны...

– Право, ваш Бадино сущее сокровище.

– Как видно, Краснорукий – главная пружина всего этого дела. Господин Бадино (а у него, видимо, имеются связи с полицией) порекомендовал нам Краснорукого, служившего посредником многих каторжан еще до того, как монсеньор предпринял первые шаги, чтобы разыскать сына госпожи Жорж, несчастной жены этого мерзавца Грамотея.

– Очевидно, так оно и есть; и, отправляясь в логово Краснорукого на Бобовой улице, номер тридцать, монсеньор встретил там Поножовщика и Певунью. Его высочество непременно поже-

лал воспользоваться случаем, чтобы посетить гнусные тамошние притоны в надежде вызволить из грязи каких-нибудь горемык; но ценой каких опасностей, боже мой!

– Опасностей, которые вы разделили с ним, дорогой Мэрф...

– Недаром я состою угольщиком при особе его высочества, – ответил, улыбаясь, эсквайр.

– Скажите лучше, бесстрашным телохранителем, мой достойный друг. Но говорить о вашей смелости и преданности значило бы повторять избитые истины... Итак, я продолжаю свой ответ... Вот записи о Франсуа Жермене, сыне госпожи Жорж и Грамотея, иными словами – Дюренеля.

Глава V СВЕДЕНИЯ О ФРАНСУА ЖЕРМЕНЕ

Барон фон Граун продолжал:

«Около полутора лет тому назад молодой человек по имени Франсуа Жермен прибыл в Париж из Нанта, где он служил в банке „Ноэль и компания“.

Как следует из признаний Грамотея и из нескольких найденных у него писем, он поручил своего сына сообщнику, чтобы тот воспитал его для выполнения преступных замыслов шайки; настало время и негодяй воспитатель открыл этот мерзкий заговор юноше, предложив ему способствовать подделке банкнотов и ограблению банка „Ноэль“, где служил Франсуа Жермен.

Этот последний возмущенно отверг сделанное ему предложение; но, не желая выдавать своего воспитателя, он написал анонимное письмо директору банка о готовящемся заговоре и тайно покинул Нант, чтобы избежать мести тех, кто попытался сделать его орудием и сообщником готовящихся преступлений.

Узнав о бегстве Жермена, негодяи приехали в Париж, где они, свидевшись с Красноруким, стали разыскивать сына Грамотея, видимо, с самыми зловещими намерениями, ибо юноше были известны их планы. После долгих поисков им удалось узнать его адрес, но было слишком поздно: встретив невзначай того, кто пытался его совратить, он догадался о том, что привело этого человека в Париж, и неожиданно съехал с квартиры. Таким образом сын Грамотея еще раз ускользнул от своих преследователей.

Однако полтора месяца тому назад удалось узнать, что он живет на улице Тампль, номер семнадцать. Как-то вечером, возвращаясь домой, он едва не попал в расставленную ему ловушку. (Грамотей скрыл это обстоятельство от монсеньора.)

Жермен догадался, от кого исходит этот удар, покинул свою квартиру и снова скрылся. Поиски находились на этой стадии, когда Грамотей был наказан за свои преступления.

И как раз тогда поиски Жермена были снова предприняты по приказанию монсеньора.

Вот и результат!

Франсуа Жермен прожил около трех месяцев на улице Тампль, в доме номер семнадцать, доме чрезвычайно любопытном как по нравам, так и по занятиям большинства своих жильцов. Жермена там очень любили за услужливость, за веселый и открытый нрав. Хотя юноша жил, видимо, на весьма скромный доход или жалованье, он с трогательной заботливостью отнесся к неимущему семейству, ютившемуся в мансарде этого дома. Справки, наведенные на улице Тампль о новом адресе Франсуа Жермена и о его занятиях, ничего не дали; предполагают, что он служил в какой-нибудь конторе или торговой фирме, ибо обычно уходил утром и возвращался около десяти часов вечера.

Где теперь поселился молодой человек, должна знать некая девушка из того же дома; это очень хорошенькая гризетка, по прозвищу Хохотушка, состоявшая, по-

видимому, в любовной связи с Жерменом. Она живет рядом с комнатой, которую занимал Жермен; после его отъезда комната сдается внаем. Все эти сведения были добыты под предлогом, что явившийся туда человек желал бы снять ее».

– Хохотушка? – неожиданно воскликнул Мэрф, который, казалось, силился что-то припомнить. – Хохотушка? Мне знакомо это имя.

– Что я слышу, сэр Вальтер Мэрф, – воскликнул, смеясь, барон, – неужели такой достойный и уважаемый отец семейства, как вы, знаком с гризетками? Неужели это прозвище не ново для вашего слуха? Как не стыдно! Фу! Фу!

– Черт возьми! Монсеньор свел меня с такими странными людьми, что вы не вправе удивляться этому знакомству, барон. Но погодите, погодите... Да, теперь... я вспомнил: рассказывая мне историю Певуны, монсеньор не мог удержаться от смеха при этом нелепом прозвище. Насколько мне помнится, так звали одну из подруг по заключению бедной Лилии-Марии.

– Так вот, в настоящее время Хохотушка может оказать нам неоценимую услугу. Итак, я заканчиваю свой доклад:

«По всей вероятности, было бы бесполезно снять свободную комнату в доме на улице Тампл. Однако у нас нет приказа продолжать начатое расследование; если судить по некоторым словам, оброненным привратницей, имеются основания считать, что в том доме можно узнать при содействии Хохотушки достоверные сведения о сыне Грамотея, кроме того, монсеньор получил бы возможность наблюдать там нравы, занятия и, главное, беды, о существовании которых, он даже не подозревает».

Глава VI МАРКИЗ Д'АРВИЛЬ

– Как видите, дорогой Мэрф, – сказал барон фон Граун, закончив чтение отчета и вручая его эсквайру, – след родителей Певуны надо искать у нотариуса Жака Феррана, а о теперешнем адресе Франсуа Жермена расспросить Хохотушку. По-моему, дела наши не так уж плохи, когда знаешь, где надо искать то... что ищешь.

– Несомненно, барон; кроме того, монсеньор найдет, я уверен, богатую пищу для наблюдений в доме, о котором идет речь. Но это еще не все: удалось ли вам навести справки о маркизе д'Арвиле?

– Да, по крайней мере, в том, что касается денежных дел, опасения его высочества безосновательны. Господин Бадино утверждает – а я считаю его человеком хорошо осведомленным, – что никогда еще материальное благополучие маркиза не было прочнее, а его дела в лучшем порядке.

– Не допытываясь причины глубокого горя, которое подтачивает здоровье господина д'Арвиля, монсеньор приписал его денежным затруднениям; в этом случае он пришел бы ему на помощь с известной вам редкой щепетильностью... но, поскольку его высочество ошибся в своих предположениях, ему придется, к своему великому огорчению, ибо он очень любит господина д'Арвиля, отказаться от попыток проникнуть в его тайну.

– Чувства его высочества легко понять. Он всегда помнит, скольким был обязан его батюшка отцу маркиза. Известно ли вам, дорогой Мэрф, что в тысяча восемьсот пятнадцатом году, когда основался Германский союз, отцу его высочества грозило отторжение от этого союза из-за его нескрываемой привязанности к Наполеону? Старый маркиз д'Арвиль, ныне покойный, оказал в этих условиях огромную услугу отцу нашего повелителя, воспользовавшись дружбой, которой его удостаивал император Александр, когда маркиз жил эмигрантом в России; ссылка на эту дружбу оказала огромное влияние на прения в конгрессе, где дебатировались интересы владетельных князей Германского союза.

– Подумайте, барон, как часто один благородный поступок влечет за собой другой; в девя-

носто втором году отец маркиза выслан; он находит в Германии у отца монсеньора самое радужное гостеприимство; после трехлетнего пребывания при нашем дворе он уезжает в Россию, заслуживает там царскую милость и с помощью этой милости оказывает в свою очередь большое одолжение князю, так благородно поступившему с ним когда-то.

– Не в тысяча ли восемьсот пятнадцатом году во время пребывания старого маркиза д'Арвиля при дворе тогдашнего великого герцога и зародилась дружба между монсеньором и молодым д'Арвилем?

– Да, у них остались самые приятные воспоминания об этой счастливой поре их юности. Это еще не все: монсеньор относится с таким пиететом к памяти человека, который оказал некогда дружескую услугу его батюшке, что относится с величайшим благоволением ко всем членам этого семейства... Таким образом, постоянные щедроты, которыми монсеньор осыпает несчастную госпожу Жорж, объясняются не столько ее бедами и добродетелью, сколько принадлежностью к этому семейству.

– Вы говорите о госпоже Жорж, о жене Дюренеля! Каторжника, прозванного Грамотеем! – вскричал барон.

– Да, и она же мать Франсуа Жермена, которого мы разыскиваем и, надеюсь, найдем...

– И родственница господина д'Арвиля?

– И двоюродная сестра его матери и ее близкая подруга. Престарелый маркиз всегда питал к госпоже Жорж самые дружеские чувства.

– Но как могло семейство д'Арвиль согласиться на ее брак с этим мерзавцем Дюренелем, дорогой Мэрф?

– Отец этой несчастной женщины, господин де Леньи, управитель Лангедока, был до революции богатым человеком; в грозные революционные годы ему удалось избежать изгнания, а как только в стране наступило успокоение, он стал подумывать о выдаче замуж своей дочери. Дюренель попросил ее руки; он принадлежал к известной парламентской семье, был богат и до поры до времени умело скрывал свои дурные наклонности; его предложение было принято. Вскоре после женитьбы выявились скрытые пороки этого человека: мот, страстный игрок, водивший компанию с отъявленными негодяями, он сделал свою жену очень несчастной. Она не жаловалась, скрывала свои огорчения, а когда отец ее умер, удалилась в свое поместье и стала управлять им, чтобы немного рассеяться. Спустя некоторое время господин Дюренель растратил их общее состояние на азартные игры и распутство; поместье было продано. Тогда госпожа Дюренель уехала к своей родственнице маркизе д'Арвиль, которую она любила как сестру. Пустив все по ветру, Дюренель был вынужден искать средств к существованию и стал преступником – фальшивомонетчиком, вором, убийцей, был приговорен навечно к каторжным работам, выкрал сына у своей жены и поручил его воспитание такому же мерзавцу, как и он сам. Остальное вам известно.

– Но как удалось монсеньору отыскать госпожу Дюренель?

– Когда Дюренель был отправлен на каторгу, его жена, впав в нищету, приняла фамилию Жорж.

– Неужели в столь тяжелом положении она не обратилась к госпоже д'Арвиль, своей родственнице и лучшей подруге?

– Маркиза умерла до приговора, вынесенного Дюренелю, а из-за необоримого чувства стыда госпожа Жорж не посмела просить о помощи своих родных, которые, конечно, не отказали бы ей после стольких мужественно перенесенных бед... Однажды, доведенная до крайности нищетою и болезнью, она отважилась молить о помощи господина д'Арвиля, сына своей лучшей подруги... Таким образом монсеньор и встретился с ней.

– Как же это произошло?

– Монсеньор отправился однажды к господину д'Арвилю; впереди него шла бедно одетая женщина, бледная, больная, подавленная. Подойдя к двери особняка д'Арвиля, она остановилась, долго не решалась позвонить, затем резко повернула обратно, словно у нее не хватило смелости сделать это. Этот поступок весьма удивил монсеньора, и, заинтригованный видом этой женщины, выражением кротости и горя на ее лице, он последовал за ней. Она вошла в некази-

стый на вид дом. Монсеньор разузнал о ней; все отзывы были в ее пользу. Она вынуждена была трудиться, но недостаток работы и расшатанное здоровье довели ее до полной нищеты. На следующий день мы отправились к ней вместе с монсеньером. Мы пришли вовремя, чтобы помешать ей умереть с голоду.

После долгой болезни, во время которой она пользовалась самым заботливым уходом, госпожа Жорж в порыве благодарности, поведала свою жизнь монсеньору, не зная ни имени его, ни ранга, поведала также о приговоре, вынесенном Дюренелю, и о похищении своего сына.

– И таким образом его высочество узнал, что госпожа Жорж принадлежит к семейству д'Арвилей?

– Да, после чего монсеньор, который сумел оценить достоинства госпожи Жорж, уговорил ее уехать из Парижа на букевальскую ферму, где она находится и по сей день вместе с Певуньей. В этом тихом убежище она нашла если не счастье, то спокойствие и смогла отвлечься от всех своих несчастий, взявшись за управление фермой... Монсеньор скрыл от господина д'Арвиля, что он вызволил его родственницу из беды, отчасти щадя большое самолюбие госпожи Жорж, отчасти потому, что он не любит распространяться о своих добрых делах.

– Понимаю, что монсеньор вдвойне заинтересован в том, чтобы разыскать сына этой бедной женщины.

– Можете теперь судить, дорогой барон, о привязанности его высочества ко всему этому семейству и о том, как его огорчает грусть молодого маркиза, у которого имеются все основания чувствовать себя счастливым.

– В самом деле, чего не достает господину д'Арвилю? У него есть все, чего может пожелать человек: знатность, богатство, молодость, жена его прелестна, столь же скромна, сколь красива.

– Вы правы, вот почему, отчаявшись выяснить причину черной меланхолии господина д'Арвиля, его высочество велел навести справки, о которых мы только что говорили; тревога и участие монсеньора глубоко трогают его друга, но он по-прежнему хранит молчание о сжигающей его горе. Быть может, у него какие-нибудь любовные огорчения?

– Вряд ли, говорят, что он очень влюблен в свою жену, которая не дает ему ни малейшего повода для ревности. Я часто встречаю ее в свете; она имеет большой успех, как всякая молодая и прелестная женщина, но ее репутация безупречна.

– Да, маркиз живет душа в душу со своей женой... Между ними произошла лишь небольшая размолвка по поводу графини Сары Мак-Грегор!

– Так значит эти дамы знакомы между собой?

– По несчастной случайности, отец маркиза д'Арвиля познакомился лет семнадцать – восемнадцать тому назад с Сарой Сейтон оф Холсбери и ее братом Томом во время их пребывания в Париже, где они пользовались покровительством жены английского посла. Узнав, что брат с сестрой отправляются в Германию, старый маркиз дал им рекомендательное письмо к отцу монсеньора, с которым он постоянно переписывался. Увы, дорогой Граун, не будь этого письма, удалось бы избежать многих бед, ибо монсеньор вряд ли познакомился бы с этой женщиной. Наконец по возвращении в Париж графиня Сара, осведомленная о дружеских чувствах его высочества к молодому маркизу, добилась приглашения в особняк д'Арвиля с явной надеждой встретить там монсеньора, ибо она преследует его с таким же упорством, с каким он бежит от нее.

– Подумать только, переодеться мужчиной, чтобы перехватить его высочество в дебрях Сите!.. Такая мысль могла прийти в голову только графине Саре.

– Быть может, она надеялась тронуть своей настойчивостью монсеньора и заставить его согласиться на встречу, от которой он всегда отказывался. Но вернемся к госпоже д'Арвиль; ее муж, с которым монсеньор говорил о Саре в надлежащем тоне, посоветовал своей жене видаться с ней как можно реже; но молодая маркиза, польщенная лицемерной лестью графини, не послушалась советов господина д'Арвиля. Произошла небольшая размолвка, которая, впрочем, не могла вызвать мрачную подавленность маркиза.

– О, женщины... женщины! Дорогой Мэрф! Я очень сожалею, что госпожа д'Арвиль поддерживает знакомство с Сарой. Молодая и прелестная маркиза может только проиграть от друж-

бы с этой ведьмой.

– Кстати, по поводу ведьм, – заметил Мэрф, – вот депеша о Сесили, недостойной супруге достойного Давида.

– Говоря между нами, дорогой Мэрф, эта предприимчивая метиска⁷⁸ вполне заслуживает ужасного наказания, которому ее муж, наш милый доктор-негр, подверг Грамотея по приказанию монсеньора. Из-за нее тоже пролилась кровь, а ее извращенность не поддается описанию.

– И несмотря на это, как же она хороша, как соблазнительна! Порочная душа при очаровательной внешности всегда вызывает у меня глубочайшее отвращение. В этом отношении Сесили вдвойне омерзительна; но в последней депеше отменяется приказание, отданное монсеньором по поводу этой презренной женщины.

– Как раз наоборот.

– И монсеньор по-прежнему желает устроить ей побег из крепости, куда ее заточили навечно?

– Да.

– И чтобы ее так называемый похититель привез ее во Францию? В Париж?

– Да, и более того, депеша содержит приказ насколько возможно ускорить побег и приезд Сесили, с тем чтобы она прибыла сюда самое позднее через две недели.

– Ничего не понимаю... монсеньор всегда относился к ней с явным омерзением.

– Его чувство к ней еще усилилось, если это только возможно.

– И все же он призывает ее к себе! Впрочем, будет нетрудно, по мнению его высочества, добиться высылки Сесили, если она не выполнит того, что от нее требуется. А покамест сыну тюремного смотрителя крепости Герольштейна отдан приказ похитить эту женщину, притворившись, что он от нее без ума; ему предоставляются наиболее благоприятные условия для выполнения этого плана. С великой радостью воспользовавшись подвернувшейся возможностью, метиска последует за своим предполагаемым похитителем и приедет в Париж; пусть так, но она все же остается преступницей, ведь судимость с нее не снята; она всего лишь сбежавшая узница, и я вполне могу, как только это потребует монсеньору, потребовать и добиться ее высылки.

– Поживем – увидим, дорогой барон; я попрошу вас также затребовать с обратной почтой заверенную копию брачного свидетельства Давида, ибо он женился в княжеском дворце в качестве врача, принадлежавшего к штату монсеньора.

– Запросив это свидетельство с сегодняшней почтой, мы получим его самое позднее через неделю.

– Когда Давид узнал от монсеньора о скором прибытии Сесили, его как громом поразило; затем он воскликнул: «Надеюсь, что ваше высочество не заставит меня встретиться с этой мегерой?» – «Будьте спокойны, – ответил монсеньор, – вы ее не увидите... Но она нужна мне для некоторых моих планов». Огромная тяжесть спала с души Давида. Я уверен, однако, что этот приезд пробудит в нем много горестных воспоминаний.

– Бедный негр!.. Он способен до сих пор любить ее. Говорят, она прехорошенькая!

– Прелестна... Чересчур прелестна... Только безжалостный взгляд креола может обнаружить в ней женщину смешанной крови по едва заметному темному ободку, который оттеняет розовые ноготки этой метиски; нежным цветом лица, белизной кожи, золотистым оттенком каштановых волос она может поспорить с нашими яркими северными красавицами.

– Я был во Франции, когда монсеньор вернулся из Америки с Давидом и Сесили; мне известно, что с тех пор этот превосходный человек привязан к его высочеству узами глубочайшей благодарности, но я до сих пор не знаю, вследствие каких перипетий он оказался на службе нашего повелителя и каким образом стал мужем Сесили, которую я увидел впервые через год после ее замужества; одному богу известно, какую бурю возмущения она вызвала тогда!..

– Могу сообщить вам то, что вас интересует, дорогой барон; я сопровождал монсеньора во время его путешествия в Америку, где он спас Давида и метиску от поистине страшной участи.

– Вы бесконечно любезны, дорогой Мэрф, я слушаю вас, – ответил барон.

⁷⁸ Креолка, отцом которой был представитель белой расы, а матерью — рабыня-квартеронка.

Глава VII ИСТОРИЯ ДАВИДА И СЕСИЛИ

– Мистер Уиллис, богатый американский плантатор во Флориде, – начал свой рассказ Мэрф, – заметил в одном из своих молодых черных рабов по имени Давид, работавшем в лазарете его поместья, выдающийся ум, глубокое и действенное сострадание к больным, за которыми он ухаживал с любовью, выполняя все предписания врачей, а также его необычайный интерес к растениям, применяемым в медицине; в самом деле, не имея специального образования, он сумел классифицировать местную флору и составить нечто вроде гербария. Плантация мистера Уиллиса, расположенная на берегу моря, находилась в пятнадцати – двадцати лье от ближайшего города; тамошние врачи – люди довольно невежественные, к тому же они неохотно приезжали на вызова из-за больших расстояний и плохих дорог. Чтобы устранить столь серьезное неудобство в стране, подверженной эпидемиям, и иметь под рукой умелого врача, колонист решил послать Давида во Францию для изучения медицины и, в частности, хирургии. Молодой негр с восторгом принял это предложение и уехал в Париж, причем плантатор оплатил все расходы по его обучению. После восьми лет упорного труда Давид с блеском окончил медицинский факультет и вернулся в Америку, чтобы поставить приобретенные им знания на службу своего господина.

– Да, но, ступив на французскую землю, Давид мог считать себя свободным и фактически и юридически.

– Конечно, но Давид человек редкой честности; он обещал мистеру Уиллису вернуться и вернулся, так как не считал своей собственностью знания, приобретенные на чужие деньги. В довершение всего он надеялся облегчить моральные и физические страдания рабов, своих прежних товарищей по несчастью. Он намеревался стать не только врачом, но их поддержкой и заступником перед колонистом.

– В самом деле, надо обладать редкой честностью и святой любовью к своим соплеменникам, чтобы вернуться к хозяину после восьмилетнего пребывания в Париже... среди самой демократической молодежи Европы.

– По этой черте характера... вы можете судить о человеке. Итак, он вновь во Флориде и, надо сказать, пользуется уважением и приязнью мистера Уиллиса, живет под его крышей, ест за его столом; впрочем, этот колонист, тупой, злой и чувственный деспот, как и все креолы, считал себя весьма щедрым, положив Давиду шестьсот франков жалования. По истечении нескольких месяцев в поместье вспыхивает страшная эпидемия тифа, заболевает и господин Уиллис, но вскоре выздоравливает благодаря превосходному уходу Давида; из тридцати тяжело заболевших негров умирают только двое. Мистер Уиллис приходит в восторг от услуг Давида и повышает его жалованье до тысячи двухсот франков. Врач-негр чувствовал себя счастливейшим человеком на свете, собратья смотрели на него как на провидение; в самом деле, хотя и с большим трудом, он добился небольшого улучшения их участи и надеялся достигнуть большего в будущем; а пока что он наставлял, утешал этих обездоленных людей, призывал их к смирению, говорил им о боге, который заботится как о неграх, так и о белых; о другом мире, в котором живут не хозяева и рабы, а праведники и грешники; об иной жизни... жизни вечной, где рабы уже не были скотом, вещь хозяев, где угнетенные на земле люди чувствовали бы себя такими счастливыми, что молились за своих палачей... Что еще сказать вам? Этим страдальцам, которые, в отличие от других людей, считали с горькой радостью дни, которые приближают их к могиле, этим горемыкам, надевавшимся только на небытие, Давид обещал вечную свободу, после чего цепи казались им менее тяжкими, труд менее утомительным. Давид был их кумиром. Около года прошло без особых изменений. Среди наиболее хорошеньких рабынь плантатора выделялась метиска пятнадцати лет по имени Сесили. Мистеру Уиллису приглянулась эта девушка; быть может, впервые в жизни деспот натолкнулся на отказ, на упорное сопротивление. Сесили любила... любила Давида, который во время последней эпидемии с редкой самоотверженностью лечил ее и спас от смерти; после выздоровления девушка отдала Давиду первое целомудренное чувство, невольно

уплатив ему таким образом долг благодарности. Давид, как человек щепетильный, никому не говорил о своем счастье: он ждал шестнадцатилетия Сесили, когда он сможет жениться на ней.

Ничего не зная об этой любви, господин Уиллис величественно бросил платок хорошенькой метиске; обливаясь слезами, девушка рассказала Давиду о грубых притязаниях хозяина, от которого ей с трудом удалось вырваться. Негр успокоил ее и тут же попросил руки Сесили у мистера Уиллиса.

— Черт возьми! Я боюсь строить догадки об ответе американского султана... Он отказал?

— Отказал. По его словам, эта девушка была ему по вкусу; за всю жизнь он ни разу не встречал пренебрежения со стороны рабыни. Он желает ее и своего добьется. Давид найдет себе другую любовницу или жену. В поместье имеется десять мулаток или метисок таких же хорошеньких, как Сесили. Давид заговорил о своей давнишней любви, разделенной девушкой; плантатор пожал плечами. Давид стал настаивать. Все было напрасно. Хозяин нагло сказал ему, что было бы дурным примером для остальных рабов, если бы он спасовал перед Сесили, и что такой пример он не даст им ради прихоти Давида. Последний стал его умолять, хозяин вышел из терпения; краснея при мысли о своем унижении, Давид заговорил решительным тоном о своих услугах и о своем бескорыстии, ибо получаемое им скромное жалованье уже не удовлетворяло его. Разгневанный мистер Уиллис презрительно ответил, что с ним и так слишком хорошо обращаются, ибо он был и остается рабом. При этих словах возмущение Давида вырвалось наружу. Впервые он заговорил как человек, осознавший свои права благодаря восьми годам, проведенным во Франции. Взбешенный хозяин обозвал его бунтовщиком и пригрозил заковать в цепи. Давид произнес несколько горьких и резких слов... Два часа спустя он был привязан к столбу, исхлестан плетью, тогда как на его глазах рабы тащили Сесили в сераль плантатора.

— Вел себя этот плантатор глупо и безобразно... Что за бессмысленная жестокость!.. Ведь, в конце концов, он нуждался в услугах доктора...

— Да как еще нуждался!.. Ярость, в которую он пришел, и состояние опьянения, ибо этот зверь напивался каждый вечер, вызвали у него сильнейшую лихорадку, симптомы которой появились почти сразу, как это свойственно такого рода заболеваниям. Плантатору пришлось лечь в постель с очень высокой температурой. Он срочно вызывает городского врача, но из-за дальности расстояния тот может приехать лишь через полтора суток.

— Право, этот случай словно ниспослан богом... Трагическое положение этого человека было им вполне заслужено...

— Состояние больного быстро ухудшилось... Один Давид мог спасти колониста; но Уиллис, недоверчивый, как все подлецы, был уверен, что негр из мести отравит его какой-нибудь микстурой... ибо Давид был не только избит, но и брошен в темницу. Наконец, испуганный резким ухудшением болезни, сломленный страданиями, Уиллис подумал, что ему так и этак крышка и что можно, пожалуй, сделать ставку на благородство своего раба; после мучительных колебаний Уиллис приказал снять цепи с Давида.

— И Давид спас плантатора?

— Пять дней и пять ночей он ухаживал за ним, как за родным отцом, шаг за шагом заставляя отступать болезнь с умением и искусством, достойным удивления; в конце концов он победил лихорадку, к глубокому удивлению вызванного из города врача, который прибыл лишь на второй день.

— Но что же сделал колонист, когда поправился?

— Он не пожелал краснеть перед рабом, постоянно унижавшим его своим поразительным благородством, и ценою огромной жертвы заменил его вызванным из города врачом, а Давид был снова отправлен в карцер.

— Какой ужас! Но это не удивляет меня: Давид был бы живым укором для этого человека.

— К тому же бесчеловечный поступок колониста был продиктован не только мстостью и ревностью. Чернокожие рабы господина Уиллиса преклонялись, благоговели перед Давидом: он был для них целителем души и тела. Они знали, как самоотверженно ухаживал Давид за хозяином во время его болезни... И, чудом стряхнув с себя отупляющее равнодушие, в которое рабство погружает человека, эти несчастные громогласно высказали свое возмущение или, точнее,

горе, когда на их глазах Давида избили плетью. Господину Уиллису почудились в их недовольстве зачатки бунта, вызванного пагубным влиянием Давида. Он подумал, что впоследствии Давид может стать во главе рабов, чтобы отомстить хозяину за его вопиющую неблагодарность... Эти вздорные страхи послужили причиной новых притеснений, направленных против Давида, дабы помешать его злокозненным планам.

– Даже с точки зрения безжалостного произвола такое поведение кажется мне менее абсурдным... Но что за нравы!

– Вскоре после этих событий мы прибываем в Америку. Монсеньор зафрахтовал датский бриг на острове Сент-Томас; и, плывя вдоль американского побережья, мы посещали инкогнито все поместья, бросавшиеся нам в глаза. Мы были великолепно приняты господином Уиллисом. Вечером, на следующий день после нашего прибытия, господин Уиллис, возбужденный выпитым вином, рассказал нам с циничным бахвальством историю Давида и Сесили, сопровождая свой рассказ омерзительными шутками; я забыл вам сказать, что он велел посадить в темницу и эту несчастную девушку, чтобы наказать ее за пренебрежительное к нему отношение. Выслушав этот гнусный рассказ, его высочество подумал, что Уиллис прихвастнул спьяну... Тот был действительно пьян, но не солгал. Чтобы рассеять недоверие своего гостя, колонист встал из-за стола, приказал одному из рабов взять фонарь и провести нас в карцер Давида.

– И что же?

– За всю свою жизнь я не видел более душераздирающего зрелища. Бледные, истощенные, полуголые, покрытые ранами Давид и несчастная девушка, прикованные цепью к стене в разных концах темницы, походили на привидения. Осветивший помещение фонарь придавал этому зрелищу еще более зловещий характер. При нашем появлении Давид ничего не сказал; его взгляд поражал своей пугающей неподвижностью. Колонист обратился к нему с жестокой иронией: «Как поживаешь, доктор?.. Ты ведь человек ученый! Так попробуй спасти самого себя!..»

Негр ответил лишь одним словом и одним жестом, исполненным благородства и величия; он медленно поднял указательный палец к потолку и, не смотря на колониста, произнес торжественно: «Бог!»

И умолк.

«Бог? – подхватил колонист, расхохотавшись. – Так скажи своему богу, чтобы он вырвал тебя из моих рук! Пусть попробует!»

Затем Уиллис, рассудок которого помутился от гнева и вина показал кулак небу и кощунственно воскликнул:

«Да, я бросаю вызов богу; пусть попробует отнять у меня этих рабов до их смерти. Если он этого не сделает, я перестану верить в его существование».

– Какой идиот, какой безумец!

Вызов это возбудил в нас глубокое отвращение... Монсеньор не произнес ни единого слова. Мы вышли из темницы... Она находилась, как и жилище колониста, у самого моря. Мы возвращаемся на бриг, стоящий на якоре у побережья. В час ночи, когда все в доме спали глубоким сном, монсеньор сходит на берег с восемью хорошо вооруженными матросами, направляется прямо к темнице, взламывает ее дверь и похищает Давида и Сесили. Обе жертвы колониста перенесены на борт брига; все сошло хорошо, и наша экспедиция осталась незамеченной; затем мы с монсеньером идем к плантатору.

Странное поведение! Эти люди измываются над своими рабами и не принимают против них никаких мер предосторожности: они спят с открытыми дверями и окнами. Мы беспрепятственно входим в слабо освещенную ночником спальню, плантатор садится в кровати, ничего не соображая, ибо мозг его еще затуманен винными парами.

«Сегодня вечером вы бросили вызов богу, не поверили, что он может отнять у вас двух рабов до их смерти. Он отнимает их у вас, – проговорил монсеньор. Затем, взяв у меня из рук мешок с двадцатью пятью тысячами золотых франков, он бросил его на кровать колониста. – Эти деньги вознаградят вас за убыток от потери двух рабов. Вашему насилию, которое убивает, я противопоставлю насилие, которое спасает. Бог нас рассудит!» Тут мы ушли, оставив господина Уиллиса растерянного, неподвижного, он, очевидно, считал, что все это ему приснилось. Не-

сколько минут спустя мы поднялись на бриг и подняли паруса.

– Мне кажется, дорогой Мэрф, что его высочество слишком щедро расплатился с этим негодяем за потерю рабов; ибо, в сущности, Давид уже не принадлежал ему.

– Мы приблизительно подсчитали стоимость обучения Давида в течение восьми лет и утроили цену Сесили против цены обычной рабыни. Я знаю, наше поведение было противозаконно; но если бы вы только видели, в каком ужасном состоянии были эти несчастные люди, находившиеся на грани смерти, если бы слышали кошунственный вызов, брошенный богу колонистом, опьяневшим от вина и жестокости, вы поняли бы, что монсеньор, по его словам, пожелал в этом случае «сыграть роль providения».

– Вероятно, Давид женился на Сесили по приезде в Европу?

– Да, их бракосочетание, обещавшее столько счастья жениху и невесте, состоялось в дворцовом храме монсеньора; но, заняв в силу необычайного стечения обстоятельств положение, о котором она даже не могла мечтать, Сесили позабыла все, что Давид выстрадал из-за нее и что она сама выстрадала из-за него. В этом новом для нее мире ей стало стыдно, что муж у нее черный; вскоре Сесили, соблазненная неким развратником, совершила свой первый проступок. Можно было подумать, что ее врожденная порочность, дремавшая до поры до времени, ждала лишь этого толчка, чтобы пробудиться с невероятной силой. Вам известно остальное – ее похождения и вызванный ими скандал. После двух лет брака Давид, который слепо верил жене и так же слепо любил ее, узнал об ее изменах; для него это было словно гром среди ясного неба.

– Говорят, он хотел убить жену?

– Да, но благодаря настояниям монсеньора он согласился на ее пожизненное заточение в крепости. И вот эту темницу монсеньор только что распахнул перед ней... как к вашему, так и к моему удивлению, дорогой барон.

– Откровенно говоря, решение монсеньора тем более поражает меня, что начальник крепости много раз предупреждал его высочество, что справиться с этой женщиной невозможно; ничто не могло укротить ее необузданный, закоренелый в пороках нрав; и несмотря на это, монсеньор настойчиво вызывает ее сюда. По какой причине? С какой целью?

– Я этого не знаю, как и вы, дорогой барон. Но время идет, а его высочество желает, чтобы почта была отправлена как можно скорее в Герольштейн.

– Еще один вопрос: скажите, дорогой Мэрф, ваше американское приключение не имело последствий? Ведь этот поступок его высочества столь же сомнителен и противозаконен, как и наказание Грамотея.

– Оно и не могло их иметь. На бриге был датский флаг, а инкогнито его высочества соблюдалось строжайшим образом; все считали нас англичанами. И если бы господин Уиллис посмел жаловаться, к кому бы он обратился со своими претензиями? В самом деле, монсеньор сам нам говорил, да и его врач записал это в медицинском заключении, что оба раба не прожили бы и недели в этой страшной темнице. Потребовался очень длительный уход, чтобы спасти Сесили от почти неизбежной смерти. Наконец оба они были возвращены к жизни. С тех пор Давид состоит врачом его высочества и безгранично предан ему.

– Итак, дорогой Мэрф, до вечера!

– До вечера?

– Разве вы забыли, что в посольстве *** сегодня грандиозный бал и что его высочество должен быть на нем.

– Вы правы, я вечно забываю, что в отсутствие полковника Варнера и графа фон Харнейма я исполняю функции камергера и адъютанта.

– Кстати, о графе и полковнике... когда они приедут сюда? Скоро ли закончат свои дела?

– Как вам известно, монсеньор держит их в отдалении, чтобы пользоваться одиночеством и свободой. Что касается поручений, которые он им дал, дабы вежливо отделаться от обоих, послав одного в Авиньон, а другого в Страсбург, я расскажу вам об этом, когда у нас с вами будет мрачное настроение; готов побиться об заклад, что самый угрюмый ипохондрик разразится смехом не только при моем рассказе, но и при чтении некоторых депеш этих достойных джентльменов, которые вполне серьезно относятся к своим так называемым поручениям.

– По правде говоря, я никогда не мог понять, почему его высочество приблизил полковника и графа к своей особе.

– Как, разве полковник Варнер не является законченным типом военного? Во всем Германском союзе вы не найдете человека такого роста, с такими великолепными усами и более воинственным видом! И когда он разодет, напыщен, подтянут, затянут, украшен султаном, трудно встретить более победоносное, блистательное, гордое и красивое... животное.

– Что правда, то правда; но как раз эта внешность мешает ему казаться чрезмерно умным.

– Так вот, монсеньор считает, что благодаря полковнику он привык выносить самых надоедливых людей. Перед скучнейшей аудиенцией он запирается на четверть часика с полковником и выходит от него свежий, бодрый, готовый встретить лицом к лицу олицетворенную скуку.

– Так же поступал римский солдат перед форсированным маршем: он надевал свинцовые сандалии, дабы, сняв их, испытать облегчение и не чувствовать усталости. Понимаю теперь всю полезность полковника. Ну а граф фон Харнейм?

– Он тоже весьма полезен монсеньору: постоянно слыша эту старую пустозвонную погремушку, блестящую и громкую, видя этот надутый мыльный пузырь, великолепно разукрашенный, но никчемный, который являет собой театральную и ребячливую сторону верховной власти, монсеньор еще острее чувствует всю тщету этого бесплодного великолепия и, в силу контраста, ему приходят при созерцании блистательного камергера самые серьезные и плодотворные мысли.

– Впрочем, надо быть справедливым, дорогой Мэрф, при каком дворе вы найдете более совершенный образец камергера? Кто знает лучше нашего милейшего фон Харнейма бесчисленные правила и традиции этикета? Кто умеет носить с большим достоинством эмалевый крест на шее и с большим величием золотой ключ на спине?

– Кстати, барон, по словам монсеньора, спина нашего камергера имеет особое выражение, одновременно вымученное и возмущенное, на которое бывает больно смотреть, ибо, о горе! именно на спине камергера сверкает символическое изображение его звания; поэтому так и кажется, что достойному фон Харнейму все время хочется повернуться к людям спиной, чтобы они сразу могли судить о его высоком ранге.

– В самом деле, граф постоянно размышляет над вопросом, из-за какой роковой причуды ключ камергера красуется на его спине, и говорит вполне разумно, с чувством гнева и боли: «Черт возьми! Ведь никто не открывает дверь спиной!»

– Барон, а наша почта, наша почта? – воскликнул Мэрф, указывая барону на часы.

– Треклятый болтун, это ваша вина, это вы заставляете меня говорить! Засвидетельствуйте, пожалуйста, мое почтение его высочеству, – сказал барон фон Граун, поспешно берясь за шляпу. – До вечера, дорогой Мэрф.

– До вечера, дорогой барон; я немного опоздаю; уверен, что монсеньор пожелает сегодня же посетить таинственный дом на улице Тамплъ.

Глава VIII ДОМ НА УЛИЦЕ ТАМПЛЬ

Дабы пополнить сведения, полученные бароном фон Грауном о Певунье и о Жермене, сыне Грамотея, Родольф решил побывать сперва на улице Тамплъ, а затем в нотариальной конторе Жака Феррана и расспросить г-жу Серафен, экономку нотариуса, о семье Лилии-Марии.

В доме на улице Тамплъ, где жил сначала Жермен, предстояло вывести у Хохотушки, где теперь нашел приют этот молодой человек, – задача довольно трудная, ибо, по всей вероятности, гризетка обещала своему дружку сохранить в тайне его новый адрес.

Сняв комнату, некогда занимаемую Жерменом, Родольф не только продвинул бы свои поиски, но и понаблюдав бы вблизи населяющих его жильцов.

В день затянувшейся беседы барона фон Грауна с Мэрфом Родольф отправился часа в три пополудни на улицу Тамплъ; стояла унылая зимняя погода.

Дом этот, расположенный в центре густо населенного торгового квартала, ничем не выде-

лялся среди прочих зданий; первый этаж его был занят ликерщиком, дальше шли четыре жилых этажа, а над ними помещались мансарды.

Узкий, сумрачный проход вел в маленький дворик или, точнее, в колодец, величиной в пять-шесть квадратных футов, – смрадное вместилище всевозможных отбросов, которые летели вниз со всех этажей, ибо на каждой лестничной площадке под незастекленным духовым окном стояло помойное ведро.

Внизу сырой, темной лестницы красноватый огонек указывал на местонахождение привратничкой с закоптелым потолком, ибо лампа горела даже днем в этом мрачном логовище, куда мы последуем с вами вслед за Родольфом, одетым как коммивояжер в будний день.

На нем было пальто непонятного цвета, старая, потерявшая форму шляпа, красный галстук и огромные допотопные галоши; в руке он нес зонтик, а чтобы выглядеть убедительнее в своей роли, держал под мышкой большой сверток тканей.

Он вошел к привратнику, чтобы тот показал ему свободную комнату.

Привратническую освещает кенкет, стоящий за своеобразным рефлектором – стеклянным шаром, наполненным водой. В глубине комнаты видна кровать под пестрым лоскутным одеялом; слева стоит ореховый комод, на мраморной доске которого расположены всевозможные безделушки: маленький восковой Иоанн Креститель в белокуром парике и его белый барашек, покрытые стеклянным колпаком, трещины которого заклеены полосками голубой бумаги, два светильника из покрасневшего от времени накладного серебра, свечи в которых заменены осыпанными блестками апельсинами, видимо, только что преподнесенными привратнице на Новый год, две коробки – одна из разноцветной соломы, другая – украшенная раковинами; от этих произведений искусства за версту несет тюрьмой или каторгой.⁷⁹ (Будем надеяться ради нравственности привратника с улицы Тампль, что этот подарок не был преподнесен ему в знак искреннего уважения.)

Наконец, между этими коробками стоит под стеклянным колпаком от часов пара крошечных сафьяновых сапожек, кукольных сапожек, искусно сшитых и отделанных.

Этот шедевр, как говорили в старину ремесленники, а также омерзительный запах множества старых башмаков, в беспорядке выстроившихся вдоль стен, ясно говорят о том, что здешний привратник шил новую обувь, пока не опустился до починки старой. Когда Родольф отважился войти в этот вертеп, привратника заменяла его жена, г-жа Пипле. Она сидела посреди комнаты и, казалось, внимательно слушала, как ворчит на печурке (принятое в этой среде выражение) чугунок, в котором тушится к обеду мясное рагу.

Анри Монье, этот французский Хогарт, так превосходно изобразил тип французской привратницы, что попросим читателя, пожелавшего представить себе г-жу Пипле, вызвать в своей памяти самую безобразную, морщинистую, прыщавую, неряшливую, злобную и ядовитую из привратниц, которых обессмертил этот выдающийся художник.

Мы позволим себе добавить к этому «идеалу» одну-единственную характерную черту – странную прическу в стиле императора Тита, а именно, некогда белокурый парик, расцвеченный временем множеством желтоватых, коричневых и огненных тонов, который венчал голову шестидесятилетней привратницы копной грубых, жестких, спутанных волос.

При виде Родольфа привратница произнесла довольно неприветливо следующую sacramентальную фразу:

– Куда вам?

– Скажите, сударыня, не в этом ли доме сдается комната с чуланом? – спросил Родольф с ударением на слове сударыня, что немалое польстило г-же Пипле.

– На четвертом этаже как раз сдается комната, но посмотреть ее нельзя... Альфред вышел.

– Это ваш сын? А скоро он вернется?

– Нет, сударь, это мой муж!.. Почему бы Пипле не зваться Альфредом?

– Без сомнения, сударыня, это его право; но если вы разрешите, я подожду его. Мне хотелось бы снять эту комнату: квартал и улица мне подходят; дом мне нравится, ибо, как мне ка-

⁷⁹ Изготовлением таких коробок почти исключительно занимались заключенные и каторжники.

жется, он содержится в образцовом порядке. Но прежде нежели осмотреть комнату, мне хотелось бы знать, не согласитесь ли вы, сударыня, вести мое хозяйство? Я всегда договариваюсь об этом с женами швейцаров.

Это предложение, высказанное в столь лестных выражениях (подумать только, жена швейцара!), окончательно расположило г-жу Пипле в пользу Родольфа.

– Конечно, сударь... я согласна и почти это за честь для себя, – ответила г-жа Пипле. – За шесть франков в месяц вы будете обихожены, как принц.

– По рукам, сударыня... ваше имя?

– Помона-Фортюне-Анастаси Пипле.

– Так вот, госпожа Пипле, я согласен платить вам за услугу шесть франков в месяц. Конечно, если комната мне подойдет... Какова ее цена?

– Вместе с чуланом сто пятьдесят франков, сударь, и ни лиарда меньше. Главный съемщик такой сквалыга, что готов с вас шкуру содрать.

– Как его зовут?

– Господин Краснорукий.

Это имя и вызванные им воспоминания заставили вздрогнуть Родольфа.

– Вы говорите, госпожа Пипле, что фамилия главного съемщика Краснорукий?

– Ну да... Краснорукий.

– А где он живет?

– На Бобовой улице, дом номер тринадцать; кроме того, он имеет кабачок в низине на Елисейских полях.

Все сомнения Родольфа рассеялись, это был тот самый человек... Такое совпадение показалось ему знаменательным.

– Но если главный съемщик дома господин Краснорукий, то кто же владелец дома? – спросил он.

– Господин Бурден, но я имею дело лишь с Красноруким.

Желая расположить к себе привратницу, Родольф продолжал:

– Вот что, милая госпожа Пипле, я немного устал да и промерз на улице... Зайдите, пожалуйста, к ликерщику, что живет в вашем доме, и принесите мне бутылку черносмородиновой наливки и два стакана... нет, три, ведь муж ваш скоро вернется.

И он дал сто су привратнице.

– Что это, сударь? Вы хотите, чтобы с первых же слов вас полюбили до обожания?! – воскликнула привратница, прыщавый нос которой загорелся всеми цветами истинно вакхического вожделения.

– Да, сударыня, я хочу быть обожаемым.

– Это мне по душе, но я принесу лишь два стакана, мы с Альфредом всегда пьем из одного. Бедный мой дорогуша, он так падок до женщин!!!

– Ступайте, госпожа Пипле, мы подождем Альфреда.

– А что, если кто-нибудь придет?.. Вы постережете привратницкую?

– Будьте спокойны.

Старуха вышла.

Оставшись один, Родольф задумался о странном случае, который приблизил его к Краснорукому; одно его удивляло: как мог Франсуа Жермен прожить целых три месяца в этом доме до того, как его обнаружили сообщники Грамотея, тесно связанные с Красноруким?

В эту минуту в застекленную дверь привратницкой постучал почтальон и, приоткрыв ее, протянул два письма.

– С вас три су! – буркнул он.

– Шесть су, ведь письма-то два, – сказал Родольф.

– Одно оплачено, – отвечал почтальон.

Расплатившись, Родольф бросил сперва рассеянный взгляд на письма, но затем они показались ему достойными внимания.

Одно, адресованное г-же Пипле, было вложено в конверт из атласной бумаги, источавшей

запах дешевых духов. На его красной восковой печати выделялись буквы Ш. Р., увенчанные шлемом, которые опирались на усеянную звездами подставку креста Почетного легиона; адрес был начертан твердой рукой. Гერальдические притязания, о которых свидетельствовали шлем и крест, заставили улыбнуться Родольфа и подтвердили его догадку, что письмо это не от женщины.

Но кто же надушенный аристократический корреспондент г-жи Пипле?

Другое письмо на грубой, серой бумаге, запечатанное облаткой, было адресовано хирургу-дантисту г-ну Брадаманти. Адрес на конверте, явно написанный измененным почерком, состоял из одних заглавных букв.

Было ли это предчувствие, плод фантазии или факт, но письмо навеяло грустные мысли на Родольфа. Он заметил, что несколько букв на адресе полустерты и бумага в этом месте съежилась: здесь, видно, упала слеза.

Вернулась г-жа Пипле с бутылкой черносмородиновой наливки и двумя стаканами.

– Я замешкалась, правда, сударь? Но стоит войти в лавочку папаши Жозефа, как оттуда нипочем не вырвешься. Старый шалун! Поверите ли, он позволяет себе вольные шутки с такой пожилой женщиной, как я!

– Черт возьми! А что, если бы Альфред узнал!

– И не говорите, у меня кровь стынет в жилах, стоит только подумать об этом. Альфред ревнив, как бедуин; а между тем папаша Жозеф отпускает свои шуточки только смеха ради, промеж нас ровно ничего нет, все по-хорошему, по-честному.

– Вот два письма, их только что принес почтальон, – сказал Родольф.

– Ах, боже мой... извините, сударь... И вы уплатили?

– Да.

– Вы очень любезны. В таком случае я вычту эти деньги из сдачи, которую вам принесла... Сколько там?..

– Три су, – ответил Родольф, улыбаясь при мысли о странном способе расчета г-жи Пипле.

– Почему три су... Вы, верно, заплатили шесть су, тут же два письма.

– Я мог бы злоупотребить вашим доверием, удержав с причитающейся мне сдачи шесть су вместо трех, но я не способен на это, госпожа Пипле... Одно из двух писем оплачено. Не хочу быть нескромным. И все же должен обратить ваше внимание на то, что любовные записки вашего корреспондента очень хорошо пахнут.

– Посмотрим, что это такое, – проговорила привратница, беря конверт из атласной бумаги. – Признаться... похоже на любовное письмо. Подумайте, сударь, любовное письмо! Вот те на... Какой это шалопай осмелился?..

– А что, если бы Альфред был здесь, госпожа Пипле?

– И не говорите, я лишилась бы чувств в ваших объятиях.

– Молчу, молчу, госпожа Пипле!

– Какая же я дура!.. – сказала привратница, пожав плечами. – Знаю... знаю... письмо от офицера... Ах, как я испугалась! Но это не мешает мне рассчитаться с вами: итак, три су за одно из писем, да? Пятнадцать су за наливку и три су за доставку обоих писем, итого восемнадцать су; восемнадцать плюс два – двадцать су, прибавляем к двадцати су четыре франка, итого сто су. Счет дружбы не портит.

– А вот еще двадцать су, госпожа Пипле; у вас такой замечательный способ сводить счета за выданные авансом деньги, что мне хочется поблагодарить вас за него.

– Двадцать су! Вы дарите мне двадцать су!.. Но за что же? – воскликнула г-жа Пипле, испуганная и удивленная столь неслыханной щедростью.

– Примите эти деньги как часть задатка за комнату, если я ее сниму.

– В таком случае я согласна, но я предупрежу Альфреда.

– Разумеется, а вот и второе письмо: оно адресовано господину Сезару Брадаманти.

– Да... это зубодер с третьего этажа... Я положу конверт в письменный сапог.

Родольфу показалось, что он ослышался, но г-жа Пипле пресерьезно бросила письмо в старый сапог с отворотами, висящий на стене.

Родольф с удивлением взглянул на нее.

– Что это? – сказал он. – Вы кладете письмо в...

– Ну да, сударь, я кладу его в письменный сапог. Таким манером ни одна записка не потеряется; когда жильцы приходят домой, Альфред или я вытряхиваем сапог, сортируем корреспонденцию и каждый получает свое любовное письмецо.

– В вашем доме все так хорошо устроено, что мне еще больше захотелось поселиться в нем; этот сапог для писем особенно восхищает меня.

– Бог ты мой, все очень просто, – скромно сказала г-жа Пипле. – У Альфреда остался старый непарный сапог, и мы почли за лучшее использовать его на благо жильцов.

С этими словами привратница распечатала письмо, которое было ей адресовано; повернув его и так и этак, она в замешательстве обратилась к Родольфу:

– Обычно Альфред читает мои письма вслух, я-то читать не умею; не могли бы вы, сударь... быть для меня тем, чем бывает Альфред?

– С удовольствием, если дело касается этого письма, – ответил Родольф, которому очень хотелось узнать, что представляет собой корреспондент г-жи Пипле.

«Завтра в пятницу, в одиннадцать часов утра, хорошенько протопите камин в обеих комнатах, протрите зеркала и снимите чехлы с мебели и, главное, не поцарапайте позолоту, когда будете вытирать пыль.

Если я случайно задержусь и некая дама зайдет сюда с прогулки и спросит меня под именем г-на Шарля, проводите ее в мою квартиру, ключ от которой возьмите с собой и отдадите мне, когда я приду».

Несмотря на довольно неуклюже составленную записку, Родольф прекрасно понял суть дела и спросил у привратницы:

– А кто занимает второй этаж?

Старуха приложила желтый морщинистый палец к своей отвислой губе.

– Молчок... это все любовные шашни, – ответила она с лукавым смешком.

– Я спрашиваю вас об этом, милая госпожа Пипле... ведь, прежде чем поселиться в доме... хочется знать...

– Понятно... Скажи мне, с кем ты знаком, и я скажу, кто ты.

– Я как раз хотел привести эту пословицу.

– Впрочем, могу вам сообщить все, что об этом знаю, а знаю я не так уж много... Месяца полтора тому назад пришел обойщик, осмотрел второй этаж, который как раз пустовал, спросил его цену и на следующий день вернулся с красивым молодым блондином: маленькие усики, крест Почетного легиона, хорошая белая рубашка. Обращаясь к нему, обойщик говорил «ваше благородие».

– Так, значит, он военный?

– Военный! – сказала г-жа Пипле, пожимая плечами. – Полноте! С таким же успехом Альфред мог бы выдавать себя за швейцара.

– Так кто же он?

– Да состоит кем-то при штабе городской полиции; обойщик величал его «благородием» из подхалимства. Ведь и Альфреду льстит, когда его называют швейцаром. Наконец, когда офицер (мы знаем его только под этим именем) все осмотрел, он сказал обойщику: «Ладно, мне это подходит, повидается с хозяином. И отделайте комнаты». – «Да, ваше благородие...» И обойщик подписал с Красноруким арендный договор на свое имя, уплатив ему за полгода вперед: видно, молодой человек не хочет, чтобы знали, кто он такой. Тут же пришли рабочие, все перевернули вверх дном, привезли диваны, шелковые занавески, зеркала в позолоченных рамах, великолепную мебель; теперь на втором этаже стало так же красиво, как в каком-нибудь кафе на бульварах! Не считая ковров, да таких толстых, мягких, что ходишь по ним, точно по звериным шкурам... Когда все было закончено, офицер пришел взглянуть, что получилось, и сказал Альфреду: «Не возьметесь ли вы содержать в порядке эту квартиру, протапливать ее время от времени и

особенно к моему приходу, о котором я предупрежу вас письмом: бывать здесь я буду не часто». – «Да, ваше благородие», – ответил ему подлипала Альфред. «Скажите, сколько вы с меня возьмете?» – «Двадцать франков в месяц, ваше благородие». – «Двадцать франков, полноте, вы шутите, привратник!» И вот этот красавчик начинает торговаться, как какой-нибудь сквалыга, и мытарить простой народ из-за паршивой пятифранковой монеты, хотя только что выложил, не моргнув глазом, кучу денег за квартиру, в которой и жить-то не будет! Наконец мы все-таки выжали из него двенадцать франков! Право, тут поневоле взбеленишься! Грошовый офицеришка, чтоб тебе!.. Какая разница с вами, сударь! – продолжала привратница, с приятной улыбкой обращаясь к Родольфу. – Вы не выдаете себя за офицера, вид у вас самый неказистый, и все же вы сразу договорились со мной о шести франках.

– И с тех пор этот молодой человек больше не появлялся?

– Погодите, самое забавное то, что дама здорово промариновала офицера. Он уже трижды просил, как сегодня, протопить камин и прибрать комнаты в ожидании дамы. Небось все глаза проглядел!

– Никто не явился?

– Слушайте дальше. В первый раз офицер пришел разодетый, что-то напевая сквозь зубы с таким победительным видом; он прождал добрых два часа... никого; когда он вновь проходил мимо привратницкой, мы с Пипле ждали, чтобы взглянуть на его рожу и посмеяться над ним. «Ваше благородие, – сказала я, – решительно никто не приходил к вам, ни одна дама не спрашивала вас». – «Ладно, ладно!» – пробурчал он и быстро зашагал прочь; вид у него был пристыженный, разъяренный, и от злости он грыз ногти. Во второй раз посыльный приносит записку, адресованную господину Шарлю; я заподозрила, что и на этот раз вышла осечка; мы с Пипле как раз потешались над офицером, когда он появился. «Ваше благородие, – говорю я и как заправский служака прикладываю руку к парик, – вам письмо; видно, вам и сегодня придется бить отбой!» Он смотрит на меня гордый, как Артабан, вскрывает письмо, читает его и краснеет как рак; затем, стараясь не показать вида, что раздосадован, говорит нам: «Я знал, что никто не придет, и зашел лишь для того, чтобы попросить вас лучше убирать помещение». Офицер лгал, хотел скрыть, что дамочка водит его за нос; затем он ушел, поводя плечами и напевая сквозь зубы, но по всему было видно, что он донельзя раздосадован, уж поверьте мне... Поделом тебе, поделом, грошовый офицеришка! Пусть это послужит тебе уроком, когда вздумаешь выгадать на уборке квартиры.

– Ну а в третий раз?

– В третий раз я подумала, что дело в шляпе. Офицер пришел расфуфыренный; глаза прямо из орбит вылезали, таким он казался довольным и самоуверенным. Ничего не скажешь, красивый молодой человек... прекрасно одетый и надушенный мускусом... Он не шел, а словно летел на радостях. Берет свой ключ и говорит нам с видом насмешливым и чванным: «Предупредите даму, что моя дверь против лестницы...» Хотя мы и не рассчитывали на приезд дамы, но у нас с Пипле так разгорелось любопытство, что мы вышли из привратницкой и стали у порога входной двери. На этот раз у нашего дома остановилась синяя извозничья карета с зашторенными окнами. «Понятное дело, это она, – говорю я Альфреду. – Давай отойдем немного, чтобы не испугнуть ее». Извозчик отворяет дверцу кареты. Тут мы увидели даму с муфтой на коленях; лицо ее было скрыто под черной вуалеткой и носовым платком, который она прижимала ко рту; видимо, она плакала; но едва подножка была опущена, дама, вместо того чтобы выйти, сказала несколько слов удивленному кучеру, который захлопнул дверцу.

– И дама не вышла из экипажа?

– Нет, сударь, она забилась в угол и закрыла глаза руками. Я подбегаю к извозчику, который уже влез на сиденье, и говорю ему: «Что это, приятель? Вы как будто возвращаетесь?» – «Да», – отвечает он мне. «А куда?» – спрашиваю я. «Туда, откуда приехал». – «А откуда вы приехали?» – «С угла улиц Святого Доминика и Удачной Охоты».

При этих словах Родольф вздрогнул.

Маркиз д'Арвиль, один из лучших его друзей, находившийся ныне в состоянии глубокой меланхолии, жил как раз на углу этих двух улиц.

Неужели эта женщина, шедшая навстречу своей гибели, была маркизой д'Арвиль? Подозревает ли ее муж в измене? Измена жены была, вероятно, единственной причиной с недавнего его отчаяния.

Эти догадки, сомнения не давали покоя Родольфу. Хотя он и бывал в обществе ближайших друзей маркиза, но не видел там ни одного человека, напоминающего красавца офицера. В конце концов, женщина, о которой шла речь, могла нанять извозчика на углу этих улиц, хотя и жила в другом квартале, ничто не указывало на то, что это была маркиза д'Арвиль. И все же смутны, тяжелые подозрения не покидали Родольфа.

Его беспокойный, озабоченный вид не укрылся от привратницы.

– В чем дело, сударь? О чем задумались? – спросила она.

– Не могу понять, почему эта женщина, доехавшая до двери вашего дома... вдруг переменила решение.

– Что поделаешь, сударь, мы, бедные женщины, так слабы, так боязливы: какая-нибудь мысль, неожиданность, суеверие – все пугает нас, – сказала омерзительная баба, скромно и стыдливо опуская глаза. – Мне кажется, вздумай я наставить рога Альфреду, я долго не могла бы собраться с духом. Но со мной такого никогда не было! Бедный мой дорогуша! Ни один мужчина на свете не может похвастать...

– Охотно верю, госпожа Пипле... Но эта молодая женщина...

– Не знаю, молода ли она; я видела только кончик ее носа. Знаю только, что она приехала тайком и тайком же уехала. Если бы нам с Альфредом дали десять франков, мы и то не были бы так довольны.

– Почему?

– Из-за мины, которую должен был скорчить офицер; ей-богу, из-за одного этого можно было бы лопнуть со смеху. Сначала мы больше часа заставили его потомиться, помариноваться. После чего я поднялась к нему: на моих бедных больных ногах были только мягкие туфли без каблука; подхожу к двери, она в двух шагах отсюда. Толкнула ее, она скрипнула; на лестнице темно, как в печке, в передней квартиры тоже темно. Как только я вошла, офицер сжимает меня в объятиях и говорит таким ласковым голосом: «Ангел мой, ангел мой, как поздно ты приехала!..»

Несмотря на обуревавшие его тягостные мысли, Родольф не мог удержаться от смеха, особенно при взгляде на безобразный парик и на отвратительную морщинистую, прыщавую физиономию героини этого нелепого недоразумения.

– Хе-хе-хе, ну и положение! – продолжала г-жа Пипле, хохоча, от чего ее лицо, сморщившись, стало еще безобразнее. – Послушайте, что было дальше. Я ничего не отвечаю, задерживаю дыхание и не мешаю офицеру обнимать меня; вдруг этот грубиян вскрикивает и отталкивает меня, да еще с таким отвращением, словно дотронулся до паука: «Но, черт побери, кто вы такая?» – «Это я, господин офицер, госпожа Пипле, привратница, а потому вы должны убрать руки, не обнимать меня за талию, не называть своим ангелом и не говорить, что я пришла слишком поздно. А что, если бы Альфред видел все это?» – «Что вам здесь понадобилось?» – воскликнул он в ярости. «Ваше благородие, только что на извозчике приехала дамочка». – «Ну так проводите ее ко мне! Вы идиотка! Разве я не велел вам проводить ее ко мне?» Я не прерываю его, а он все говорит, говорит. «Да, это правда, – отвечаю я наконец. – Вы приказали проводить ее к вам». – «Ну, а вы?» – «Дело в том, что дамочка...» – «Да отвечайте же!» – «Дело в том, что дамочка уехала». – «Конечно, вы сказали или сделали какую-нибудь глупость!» – вскричал он, все более кипятясь. «Нет, ваше благородие, дамочка не вышла из кареты; когда извозчик открыл дверцу, она велела отвезти ее обратно». – «Извозчик, верно, недалеко!» – воскликнул он, бросаясь к двери. «Как бы не так! Она уехала больше часа назад», – отвечаю я. «Больше часа! Больше часа! Почему же вы сразу не предупредили меня!» – вскричал он, трясаясь от гнева. «Как вам сказать... мы боялись вас расстроить, ведь вы опять не окупите своих расходов». Вот тебе, щеголь, подумала я, теперь ты уж не скажешь, что тебе тошнит от прикосновения ко мне. «Убирайтесь отсюда и перестаньте делать и болтать глупости!» – в бешенстве проговорил он, расстегивая свой татарский халат и бросая на пол шитый золотом бархатный греческий колпак... Красивый колпак,

ей-богу... А халат-то! От него глаза слепило, и офицер походил в нем на светляка...

– И с тех пор ни он, ни эта дама не появлялись здесь?

– Нет, но подождите конца истории, – проговорила г-жа Пипле.

Глава IX ТРИ ЭТАЖА

– А конец этой истории, – продолжала г-жа Пипле, – вот какой: я мигом сбегаю по лестнице, чтобы обо всем рассказать Альфреду. У нас в комнате как раз собрались привратница из дома девятнадцать и торговка устрицами, она живет рядом с ликерщиком; я рассказываю им о том, как офицер называл меня ангелом и брал за талию. Что тут смеха было! Даже Альфред смеялся, хотя он и стал мелан... да, меланхоликом, сам так говорит, после выходов этого чудища Кабриона...

Родольф удивленно взглянул на привратницу.

– Да, попозже, когда мы с вами еще крепче сдружимся, вы узнаете об этой истории. Тут, несмотря на свою меланхолию, Альфред принимается звать меня «ангелом». В эту минуту офицер выходит из своей квартиры и запирает ее на ключ; но, услышав наш смех, он не решается пройти мимо привратничкой от страха перед нашими насмешками. Мы мигом смекнули, в чем дело, и торговка устрицами принялась кричать своим грубым голосом: «Пипле, как поздно ты пришел, мой ангел!» Тут офицер возвращается обратно, с грохотом захлопывает дверь: по всему видно, что он зол как черт... Даже кончик носа у него побелел... Затем он раз десять приоткрывал дверь, слушал, остался ли народ в привратничкой.

Мы все еще были там, даже с места не двинулись. Видя, что нас не переждешь, он взял себя в руки, мигом спустился с лестницы, бросил мне ключ, а торговка тем временем повторяла: «Как поздно ты пришла, мой ангел!»

– Но офицер мог отказаться от ваших услуг.

– Как бы не так! Он не посмел бы. Он у нас в руках. Мы знаем, где живет его зазноба; стоит ему наглубить нам, мы выведем его шашни на чистую воду. Да и, кроме того, за какие-то дрянные двенадцать франков никто не возьмется убирать его квартиру! Ну, а если он найдет женщину со стороны, мы ее так допечем, что она жизни не будет рада. Скарעד несчастный! И поверите ли, сударь, он дошел в своей мелочности до того, что проверяет, сколько поленьев мы сожгли в ожидании его прихода. Он выскочка, разбогатевший проходимец. Голова у него вельможи, а сердце проходимца; истратил деньги на одно, а на другом хочет сэкономить, вот и скряжничает. Я не желаю ему зла, но уж очень забавно смотреть, как его милка водит этого офицеришку за нос. Пари держу, что завтра повторится то же самое. Я позову торговку устрицами, которая была с нами в тот раз: это ее позабавит. Если дамочка придет, мы узнаем, брюнетка она или блондинка и смазливая ли у нее рожица. Подумать только, что за простофиля ее муж! Умора, да и только! Не правда ли, сударь? Но это уже дело самого бедняги рогоносца. Завтра мы наконец увидим дамочку; и несмотря на ее вуалетку, ей придется низко-низко опустить головку, чтобы мы не разглядели, какого цвета у нее глаза. Вот еще одна «дважды потерявшая стыд», как говорят у меня на родине; она идет к мужчине и притворяется, будто ей страшно. Но простите-извините, мне надо снять с огня рагу. Слышу, оно само просится в рот. Сегодня у меня рубец, это немного развеселит Альфреда; как говорит мой старый дорогуша, ради рубца он готов продать Францию... свою прекрасную Францию!..

В то время, как г-жа Пипле занималась своими кулинарными делами, Родольф предавался грустным размышлениям.

Эта молодая женщина (не важно, шла ли речь о маркизе д'Арвиль или о ком-нибудь другом), конечно, долго колебалась, долго боролась с собой, прежде чем согласиться на первое и на второе свидание, но спасительные укоры совести, наверно, помешали ей сдержать свое роковое обещание.

Наконец, уступая необоримому влечению, она подъезжает в слезах, дрожа от страха, к порогу этого дома; однако в ту самую минуту, когда несчастная готова навеки погубить себя, в ду-

ше ее раздастся голос долга, и она снова избегает бесчестья.

Но ради кого пренебрегает она стыдом и опасностями?

Родольф знал свет и человеческое сердце; он довольно верно определил характер офицера по нескольким штрихам, грубо, наивно приведенным привратницей.

По-видимому, этот человек был настолько глуп и тщеславен, что кичился своим ничтожным, с военной точки зрения, чином, и настолько лишен такта, что не подумал скрыть свою особу под непроницаемым инкогнито, дабы окружить глубокой тайной поступки женщины, которая всем рисковала ради него; и, наконец, до того туп и жаден, что из-за нескольких луидоров подверг свою любовницу наглým гнусным насмешкам обитателей этого дома!

Итак, завтра эта молодая женщина придет, трепещущая, потерянная, на свиданье, влекомая роковым соблазном, сознавая всю величину совершаемого проступка и не имея иной поддержки среди обуревающего ее сомнения, кроме слепой веры в скромность, порядочность избранника своего сердца, которому она отдает больше нежели жизнь; и кроме того, ей предстоит преодолеть наглое любопытство нескольких мерзавцев, а может быть, и услышать их грязные шутки.

Какой стыд. Какой жестокий урок, какое откровение для сбившейся с пути женщины, которая жила до тех пор лишь среди самых пленительных, поэтических иллюзий любви!

А мужчина, ради которого она рискует бесчестьем, пренебрегает опасностями, будет ли он хотя бы тронут теми мучительными тревогами, которые она переносит из-за него?

Нет...

Бедная женщина! Слепая страсть в последний раз увлекает ее на край пропасти. Мужественным усилием воли она снова спасает свою добродетель. Что почувствует ее герой, подумав об этой тягостной, об этой святой борьбе?

Он почувствует досаду, злобу, гнев при мысли, что трижды напрасно потревожил себя и что его дурацкому чванству нанесен серьезный ущерб в глазах... привратника.

Наконец, последний штрих его неслыханно грубого поведения: для первого свидания человек этот говорит и одевается так, что он должен вызвать растерянность, замешательство у женщины, и без того подавленной смятением и стыдом!

«О, – думал Родольф, – какой бы страшный урок был бы преподан этой женщине (надеюсь, мне незнакомой), если бы она услышала, в каких мерзких выражениях говорилось здесь о ее поведении, несомненно, преступном, но которое стоило ей стольких слез, опасений и таких жгучих угрызений совести!»

И, представив себе, что героиней этой печальной истории могла быть маркиза д'Арвиль, Родольф задумался о том, в силу какого ослепления, какого рока она могла предпочесть г-ну д'Арвилю, молодому, умному, преданному, щедрому и, главное, нежно ее любящему, этого недалекого, скупого, заядлого эгоиста? Неужели она влюбилась во внешность офицера, как говорят, очень красивого?

Однако Родольф знал г-жу д'Арвиль как женщину со вкусом, сердечную, умную, с возвышенным характером и незапятнанной репутацией. Где она познакомилась с этим человеком? Родольф довольно часто бывал в ее доме и не мог припомнить, чтобы ему доводилось встречать там молодого человека, похожего на этого военного. По зрелом размышлении он почти убедил себя, что речь шла не о маркизе.

Госпожа Пипле, закончив свои кулинарные хлопоты, снова подошла к Родольфу.

– Кто живет на третьем этаже? – спросил он.

– Мамаша Бюрет, редкостная гадалка. Она читает по вашей руке как по открытой книге. У нее бывают очень приличные люди с просьбой погадать им... Она загребает большущие деньги. Дак тому же гадание не единственное ее ремесло.

– Чем же она еще занимается?

– У нее на дому имеется, так сказать, ссудная касса.

– Что такое?

– Я говорю вам об этом, потому что вы еще молодой человек, а такая касса может побудить снять у нас комнату.

– Почему?

– Скоро масленица, на улицах появятся ряженные: пьеро и пьеретты, грузчики, турки, дикари; в эти дни даже зажиточные люди бывают стеснены в деньгах... Подумайте, как удобно найти выход из положения в своем же доме, вместо того чтобы бежать к «моей тетушке», что гораздо унизительнее, ведь от правительства такого шага не скроешь.

– К вашей тетушке? Значит, она ссужает деньги под залог?

– Неужели вы этого не знаете?.. Полноте, шутник этакий!.. Не прикидывайтесь простаком!

– Я вовсе не прикидываюсь простаком! Почему вы так думаете, госпожа Пипле?

– Спрашиваете, дает ли «моя тетушка» деньги под залог.

– Потому что...

– Потому что все люди, вышедшие из детского возраста, знают, что сходить к «моей тетушке» значит отнести что-нибудь в ссудную кассу.

– А понимаю... жилища с третьего этажа тоже ссужают деньги под залог.

– Ну и притворщик! Конечно, и гораздо дешевле, чем в большой кассе. Да и, кроме того, иметь с ней дело очень просто... Вы не обременены кучей бумаг, расписок, цифр... ничего такого вам не требуется. Возьмем такой пример: вы приносите мамаше Бюрет рубашку, которая стоит три франка, она дает вам на руки десять су, через неделю вы уплачиваете ей двадцать су, в противном случае ваша рубашка остается у нее. Это же проще простого, правда? Расчет идет в круглых цифрах! Ребенок и тот поймет это.

– В самом деле, все очень просто; но я полагал, что давать деньги под залог запрещено законом.

– Ха! ха! ха! – громко расхохоталась г-жа Пипле. – Вы что, недавно из деревни приехали, молодой человек?.. Простите, я разговариваю с вами так, как если бы была вашей матерью.

– Вы очень добры.

– Понятное дело, запрещено; но если бы люди делали только то, что дозволено, многим пришлось бы потуже затянуть пояс. Мамаша Бюрет ничего не записывает, не дает никаких квитанций, против нее нет улик, и ей плевать на полицию. Вы бы посмотрели, чего только ей не приносят, можно животики надорвать! Я видела, что она ссужала деньги под залог серого попугая, который ругался как одержимый, негодник эдакий!

– Под залог попугая? Сколько же он стоил?

– Погодите... Его здесь все знают: это попугай госпожи Эрбело, вдовы почтальона, которая живет неподалеку отсюда, на улице Сент-Авуа; она дорожит им больше жизни; мамаша Бюрет говорит ей: «Я вам ссужу десять франков под вашу птицу, но если через неделю, в полдень, я не получу своих двадцати франков...»

– Десяти франков...

– Вместе с процентами выходило ровно двадцать франков плюс расходы на кормежку, – «я дам Жако несколько листиков петрушки, приправленных мышьяком». Можете не сомневаться, она прекрасно знает своих клиентов. Ровно через неделю напуганная госпожа Эрбело принесла требуемые двадцать франков и получила обратно свою противную птицу, которая с утра до ночи выкрикивала ругательства. Да такие, что они заставляют краснеть Альфреда, человека донельзя стыдливого. Оно и понятно: его отец был священником... а в революцию, знаете... иные священники женились на монахинях.

– Полагаю, у мамыши Бюрет нет другого ремесла?

– Другого нет, если хотите. Не знаю только, чем они иной раз занимаются с одноглазой по прозвищу Сычиха, запершись в комнатухе, куда никто не входит, за исключением Краснорукого.

Родольф в изумлении взглянул на привратницу.

Последняя по-своему объяснила удивление своего будущего жильца.

– Странное прозвище, правда?

– Да... И эта женщина часто сюда приходит?

– Она не появлялась полтора месяца; но позавчера мы видели ее, она стала немного прихрамывать.

– Чем же она занимается со здешней гадалкой?

– Чего не знаю, того не знаю. Видела только, что в комнатуху, о которой я вам говорила, Сычиха входит не иначе как с господином Красноруким и с мамашей Бюрет; я заметила также, что в эти дни одноглазая что-то приносит в своей корзине, а господин Краснорукий прячет какой-то сверток под плащом, но обратно они ничего не выносят.

– А что может быть в этих свертках?

– Кто его знает, но из всего этого они готовят какое-то зелье, так как на лестнице чувствуется запах серы, угля и расплавленного олова; а потом слышишь, что у них в комнате что-то пытит, пытит, пытит... словно кузнечные мехи. Ясное дело, мамаша Бюрет либо ворожит, либо колдовством занимается... Так говорит, по крайней мере, жилец с четвертого этажа, господин Сезар Брадаманти. Ну и тип, я вам доложу! Я называю его типом, по-настоящему же он итальянец, хоть и говорит по-французски, как мы с вами, только с сильным акцентом. Главное, он очень ученый: всякие лекарственные растения знает и зубы умеет рвать, и делает это не за деньги, а чтобы заслужить уважение людей. Скажем, у вас есть шесть гнилых зубов, он вырвет вам пять задаром, а плату возьмет лишь за шестой, сам об этом говорит восторженным и поперечным. И не его это вина, если у вас нет шестого испорченного зуба.

– Как это великодушно с его стороны!

– Кроме того, он торгует превосходной водой: она помогает при выпадении волос, вылечивает глазные болезни, мозоли на ногах, расстройство желудка и уничтожает крыс лучше всякого мышьяка.

– И этой же водой он лечит расстройство желудка?

– Да.

– И ею же убивает крыс?

– Да, всех до единой, потому что лекарство, полезное человеку, бывает вредно животным.

– Вы правы, госпожа Пипле, я не подумал об этом.

– А вода эта очень хороша, ведь она настояща на травах, которые господин Брадаманти собрал в горах Ливана, там, где живут люди, похожие на американцев; оттуда он вывез и своего злющего коня, белого с коричневыми пятнами. Знаете, когда господин Сезар Брадаманти, одетый в красный костюм с желтыми отворотами и в шляпе с пером, сидит в седле, стоит роскошиться, чтобы взглянуть на него. Не в обиду будь ему сказано, он походит тогда со своей рыжей бородой на Иуду Искариота. Месяц тому назад он нанял Хромулю, сына господина Краснорукого, и одел его на манер трубадура: черная шапочка, белый воротничок и абрикосовая курточка; мальчишка бьет в барабан возле господина Сезара, чтобы привлечь к нему клиентов. И кроме того, ухаживает за пятнистым конем дантиста.

– По-моему, сын вашего главного съемщика занимает весьма скромную должность.

– Отец говорит, что мальчишка должен узнать почем фунт лиха, иначе он кончит жизнь на эшафоте. В самом деле Хромуля хитер, как обезьяна... и злюка при этом. Он не одну шутку сыграл с бедным господином Сезаром, честнейшим из людей. Подумайте только, он вылечил Альфреда от ревматизма, после чего мы оба питаем к нему слабость. А некоторые зловерные люди утверждают, сударь... но нет, от таких слов волосы встают дыбом. Альфред говорит, что, если это правда, дело могло бы обернуться каторгой.

– Скажите же, в чем тут дело?

– Не смею, язык не повернется.

– Ну так забудем об этом.

– Видите ли, честное слово, сказать такое молодому человеку...

– Не будем говорить об этом, госпожа Пипле.

– Но поскольку вы будете жить в нашем доме, лучше предупредить вас об этих сплетнях. Ведь вы можете пойти к господину Брадаманти, подружиться с ним, а стоит вам поверить таким слухам, и они помешают вашему знакомству.

– Говорите, я слушаю.

– Болтают, что когда... девушке случится сделать глупость... понимаете? И она боится последствий...

- И что же?
- Право не смею.
- Ну же!..
- Нет, к тому же это глупости...
- Скажите все-таки.
- Враки.
- Скажите, какие именно?
- Это говорят люди, завидующие пятнистому коню господина Сезара.
- Отлично, но что же они говорят, в конце концов?
- Язык не поворачивается.
- Но какое может быть отношение между девушкой, сделавшей глупость, и шарлатаном?
- Я не говорю, что это правда!
- Но, ради бога, в чем тут дело? – воскликнул Родольф, выведенный из терпения странными недомолвками г-жи Пипле.
- Послушайте, молодой человек, – продолжала привратница торжественным тоном, – дайте мне честное слово, что никогда, никому не повторите моих слов!
- Прежде чем дать вам такую клятву, я должен знать, в чем дело.
- Если я расскажу вам об этом, то не из-за шести франков, которые вы мне обещали, не из-за черносмородиновой настойки...
- Хорошо, хорошо.
- А только из-за доверия, которое вы мне внушаете.
- Пусть так.
- И чтобы оказать услугу этому бедному господину Брадаманти, оправдать его в ваших глазах.
- Ваши намерения превосходны, не сомневаюсь, итак...
- Ну вот, опять у меня язык не поворачивается. Знаете, я вам скажу это на ушко, мне будет не так стыдно... Подумать только, какой я ребенок, а?
- И старуха шепотом сказала несколько слов Родольфу, который вздрогнул от омерзения.
- Но это ужасно! – воскликнул он, невольно вскакивая на ноги и чуть ли не со страхом смотря вокруг себя, словно этот дом был проклят. – Боже мой, боже мой! – прошептал он в горестном недоумении. – Так, значит, такие чудовищные преступления возможны! И эта омерзительная старуха чуть ли не равнодушно отнеслась к сделанному ею гнусному признанию.
- Привратница, продолжавшая заниматься хозяйством, не услышала этих слов Родольфа.
- Такие пакости могут говорить лишь злостные сплетники, – проговорила она. – Как они смеют чернить человека, вылечившего Альфреда от ревматизма, привезшего из Ливана пятнистую лошадь, бесплатно удаляющего пять зубов из шести, имеющего аттестаты со всей Европы, который день в день вносит квартирную плату? Ей-богу, лучше умереть, чем поверить подобным рассказам!
- В то время как г-жа Пипле кипела негодованием против клеветников шарлатана, Родольф вспомнил письмо, адресованное этому человеку, которое было написано на толстой бумаге, измененным почерком, со слезами слез, размывших иные буквы.
- Родольф почувствовал драму в этих слезах, в этом таинственном послании.
- Страшную драму.
- Предчувствие подсказало ему, что жуткие слухи, ходившие об итальянце, не лишены основания.
- А вот и Альфред, – вскричала привратница, – он скажет вам, как и я, что только злые языки могут обвинять во всяких ужасах этого бедного господина Сезара Брадаманти, который вылечил его от ревматизма.

Глава X ГОСПОДИН ПИПЛЕ

Считаем нужным напомнить читателю, что все, эти факты относятся к 1838 году...

Господин Пипле вошел в привратническую с видом серьезным, осанистым; у этого человека, лет шестидесяти от роду, был огромный нос, внушительная полнота, большое лицо, вылепленное и раскрашенное в роде нюрнбергских щелкунчиков. Над этим странным и неподвижным лицом возвышался расширяющийся кверху широкополый и порыжевший от старости цилиндр.

На Альфреде, не расстававшемся с этой шляпой так же, как его жена не расставалась со своим причудливым париком, был старый зеленый костюм с длинными полами и словно свинцовыми отворотами, ибо они лоснились от грязи. Несмотря на цилиндр и зеленый костюм, не лишенный парадности, он не снял скромной эмблемы своего ремесла – кожаного фартука, рыжеватый треугольник которого выделялся на фоне жилета, такого же пестрого, как лоскутное одеяло г-жи Пипле.

Привратник довольно приветливо раскланялся с Родольфом, но, увы, улыбка его была преисполнена горечи. Кроме того, в ней сквозила та глубокая меланхолия, о которой говорила Родольфу г-жа Пипле.

– Альфред, этот господин хочет снять комнату с чуланом на пятом этаже, – сказала г-жа Пипле, представляя Родольфа своему мужу, – и мы ждали тебя, чтобы вместе распить по стаканчику черносмородиновой наливки, которую он заказал.

Эта любезность сразу расположила г-на Пипле к Родольфу: он поднес руку к своей шляпе и произнес голосом, достойным певчего из кафедрального собора:

– Уверен, сударь, мы ублагодворим вас как привратники, а вы ублагодворите нас как жилец: ведь кто на кого похож, тот с тем и схож. Если только, – с тревогой добавил г-н Пипле, – вы не художник.

– Нет, я коммивояжер.

– В таком случае, сударь, разрешите засвидетельствовать вам мое нижайшее почтение. Я счастлив, что природа не создала вас художником – все они исчадья ада!

– Художники – исчадья ада? – переспросил Родольф.

Вместо ответа господин Пипле поднял руку к потолку и издал нечто вроде негодующего стенания.

– Именно художники отравили жизнь Альфреду. Это они вызвали у него меланхолию, о которой я вам говорила, – тихо сказала г-жа Пипле Родольфу.

И продолжала громче ласковым тоном:

– Полно, Альфред, будь благоразумен, не думай об этих повесах... иначе ты вконецстроишься и не станешь обедать.

– Нет, я возьму себя в руки и буду благоразумен, – ответил г-н Пипле с печальным достоинством человека, смилившегося со своей участью. – Некий художник сделал мне много зла: он был моим преследователем, моим палачом, но теперь я презираю его. Поверьте, сударь, – продолжал он, повернувшись лицом к Родольфу, – художники – хуже чумы: они пачкают, разрушают дома.

– У вас снимал комнату художник?

– Увы, сударь, был у нас один такой! – с горечью молвил г-н Пипле. – Звали его Кабрионом!

При этом воспоминании привратник судорожно сжал кулаки, несмотря на свою кажущуюся сдержанность.

– Не он ли был последним жильцом комнаты, которую я собираюсь снять? – спросил Родольф.

– Нет, нет, последний был славным парнем по имени Жермен, а до него ее занимал Кабрион. Можете мне поверить, сударь, до того, как этот Кабрион съехал с квартиры, он чуть не довел меня до болезни, до сумасшествия.

– Неужели вы так сожалели об его отъезде? – спросил Родольф.

– Сожалеть о Кабрионе! – изумленно воскликнул привратник. – Сожалеть о Кабрионе! Представьте себе, сударь, господин Краснорукий уплатил ему двухмесячную квартирную плату,

чтобы заставить его убраться отсюда; ибо, на наше несчастье, с ним был заключен договор на целый год. Ну и сорванец! Уму непостижимо, какие фортели он выкидывал с нами и с жильцами этого дома. Приведу вам один пример: не было такого духового инструмента, от охотничьего рожка до серпента, которым не воспользовался бы этот мерзавец! Да еще нарочно фальшивил при игре или повторял целыми часами одну и ту же ноту. От этого у всех нас голова раскалывалась. Мы больше двадцати раз подавали прошение господину Краснорукому, главному съемщику, прося его выгнать этого прощелыгу. Наконец мы добились своего, уплатив ему двухмесячную квартирную плату. Что за несуразица, сударь, платить съемщику за два месяца вперед! Но мы готовы были уплатить ему за три месяца, лишь бы избавиться от него. Наконец он уезжает... Вы, может быть, думаете, что с Кабрионом покончено? Ничего подобного. На следующий день в одиннадцать часов вечера я уже успел лечь спать. Бум, бум, бум! Кто-то стучит. Я дергаю за веревку. Какой-то мужчина входит в привратническую. «Добрый вечер, привратник, – говорит незнакомый голос, – будьте так любезны, дайте мне прядь своих волос!» Супруга говорит мне: «Этот человек ошибся дверью!» И я отвечаю неизвестному: «Это не здесь, обратитесь рядом». – «Но ведь это дом семнадцать? И фамилия его привратника Пипле?» – «Да, говорю я, моя фамилия Пипле». – «Дружище, я попрошу прядь ваших волос для Кабриона; это его желание, личная его просьба, она ему необходима».

Господин Пипле взглянул на Родольфа, покачал головой и скрестил на груди руки в поистине скульптурной позе.

– Понимаете, сударь? Он бесстыдно просил у меня, своего смертельного врага, которого поносил на все лады, прядь моих волос – милость, в которой дамы отказывают иной раз даже своему возлюбленному.

– Куда бы еще ни шло, будь этот Кабрион хорошим жильцом вроде господина Жермена, – заметил Родольф с невозмутимым хладнокровием.

– Даже в этом случае я не дал бы ему пряди своих волос, – величественно сказал человек в цилиндре, – это не в моих принципах, не в моих привычках; но с другим человеком я счел бы своим долгом облечь отказ в вежливую форму.

– Это еще не все, – подхватила привратница. – Представьте себе, сударь, что с того самого дня, в любой час – утром, вечером, ночью, этот мерзкий человек подсылал к Альфреду кучу молоденьких мазил, которые являлись один за другим и требовали у Альфреда прядь его волос для Кабриона!

– Вы, может быть, думаете, что я сдался? – возмущенно заявил г-н Пипле. – Как бы не так! Меня скорее бы отправили на эшафот! После трех-четырех месяцев упорства с их стороны и сопротивления с моей я восторжествовал благодаря энергии и выдержке над этими негодяями. Они поняли, что натолкнулись на железную волю, и отказались от своих наглых выходок. Но все же, сударь, я получил удар вот сюда. – Альфред поднес руку к сердцу. – Сон у меня сделался тревожным, словно я совершил преступление. Я поминутно просыпался, так как мне чудился голос этого проклятого Кабриона. Я опасался всех и каждого, в любом человеке видел врага; я потерял свою обычную приветливость. Когда в окне привратнической появлялось чужое лицо, я вздрагивал, опасаясь, что это кто-нибудь из банды Кабриона. Я стал подозрительным, хмурым, злоязычным, словно преступник... Я боялся открыть свою душу при первом знакомстве из страха, что этот человек подослан Кабрионом; я потерял вкус ко всему на свете.

Тут г-жа Пипле поднесла указательный палец к своему левому глазу, словно для того, чтобы смахнуть набежавшую слезу, и утвердительно кивнула.

– В конце концов я замкнулся в себе, – продолжал Альфред все более жалобным тоном, – и равнодушно смотрю, как течет река жизни. Разве я был неправ, говоря, Что Кабрион, это исчадие ада, отравил мое существование?

И г-н Пипле, глубоко вздохнув, склонил свой высокий цилиндр, словно под гнетом огромного несчастья.

– Понимаю теперь, почему вы не любите художников, – заметил Родольф, – но, надеюсь, господин Жермен, о котором вы упоминали, сгладил неприятное впечатление, оставленное Кабрионом?

– О да, сударь! Вот поистине добрый и достойный молодой человек, бесхитростный, услужливый, не гордый и по-настоящему веселый, так как его шутки никого не задевали, он полная противоположность нахальному и насмешливому Кабриону, да покарает его господь!

– Полно, успокойтесь, дорогой господин Пипле, не произносите больше его имени. А какого же домовладельца осчастливил теперь господин Жермен, этот перл всех жильцов?

– О господине Жермене нет ни слуху ни духу... Никто не знает, куда он переехал... Никто... За исключением мамзель Хохотушки.

– Хохотушки? Кто она такая? – спросил Родольф.

– Простая работница и тоже живет на пятом этаже, – подхватила г-жа Пипле. – Она настоящая жемчужина: за квартиру платит загодя, и такая чистюля, такая любезная и веселая... ласковая, радостная, точно птичка божия. И прилежная, как Золушка; иной раз она зарабатывает до двух франков в день, но, понятно, для этого ей приходится здорово гнуть спину.

– Но почему мадемуазель Хохотушка одна знает, где живет Жермен?

– Прежде чем выехать из нашего дома, – продолжала г-жа Пипле, – он сказал нам: «Писем я не жду, но если случайно придет письмо на мое имя, отдайте его мамзель Хохотушке». Ведь правда, Альфред, ей вполне можно доверить даже ценное письмо?

– Да, насчет мамзель Хохотушки ничего дурного не скажешь, – сурово заметил привратник, – если бы не ее слабость к этому прохвосту Кабриону.

– Что до этого, Альфред, – проговорила привратница, – Хохотушка тут ни при чем, все зависит от помещения. Ведь то же самое было с коммивояжером, который жил в этой комнате до Кабриона, и с господином Жерменом, поселившимся там после подлеца Кабриона; ей-богу, иначе и быть не может, все зависит от воздуха этого этажа.

– Значит, все жильцы комнаты, которую я собираюсь занять, ухаживают за мадемуазель Хохотушкой?

– Да, сударь, и это нетрудно понять: обе комнаты находятся рядом; жилец оказывается соседом Хохотушки; знаете, как это бывает с молодежью... то надо лампу зажечь, то занять раскаленных угольков или же воды. О, что до воды, ее всегда найдешь у Хохотушки, чего другого, а в воде у девушки не бывает недостатка: это ее роскошь, она настоящая утка. Как только у нее выдается свободная минутка, она принимается мыть окна, пол, все свое помещение. Потому-то у нее всегда так чисто!.. Впрочем, вы сами убедитесь в этом.

– Итак, господин Жермен тоже испытал на себе влияние мадемуазель Хохотушки и стал ее добрым другом?

– Да, сударь, и надо сказать, что они прямо-таки были рождены друг для друга. Такие оба красивенькие, молодые; одно удовольствие было смотреть, как они спускаются по лестнице в воскресенье, единственный свободный день этих бедных детей! Она принаряженная, в хорошеньком чепчике и хорошеньком платьице из ткани по двадцать пять су за локоть, в котором она выглядела королевой, он же одет как настоящий щеголь!

– И господин Жермен больше не виделся с девушкой с тех пор, как выехал из этого дома?

– Нет, сударь, если только они не встречаются по воскресеньям, потому что в другие дни Хохотушке некогда думать о любовниках, ей-богу! Она встает в пять или шесть утра и работает до десяти, а иной раз до одиннадцати вечера; она никогда не выходит из своей комнаты, разве что утром, чтобы купить провизии для себя и своих двух канареек, втроем они, право, не так много едят: на два су молока, немного хлеба, салата, пшена, зернышек для птиц и свежей чистой воды. Но это не мешает девушке и двум канарейкам петь и щебетать так, что слушать их одно удовольствие!.. Да и девушка она добрая, сострадательная; правда, деньгами она никому не может помочь; бедняжка работает иной раз по двенадцати часов в день и еле сводит концы с концами, но она недосыпает ночей, чтобы уделить внимание обездоленным, позаботиться о них... Возьмем хотя бы несчастных людей, что ютятся на мансарде, как раз их-то господин Краснорукый и собирается выкинуть на улицу через три-четыре дня. Так вот мамзель Хохотушка и господин Жермен несколько ночей кряду ухаживали за их больными детьми!

– Значит, в этом доме живет нуждающаяся семья?

– Нуждающаяся, сударь? Бог ты мой! Несчастнее их трудно сыскать! Пятеро малолетних

детей, тяжело больная мать и полоумная бабка; а кормит всю эту ораву единственный в семье мужчина, работяга, каких мало, но он даже хлеба не ест досыта, хотя трудится, как негр. Спит три часа в сутки, да и какой это сон, когда дети просят: «Хлеба, хлеба!» – больная жена стонет на своем соломенном тюфяке, а старая идиотка принимается иной раз выть, как волчица... тоже, понятно, от голода, потому что разума у нее не больше, чем у скотины. Когда у нее живот подводит, по всей лестнице раздаются ее вопли.

– Какой ужас! – воскликнул Родольф. – И никто им не помогает.

– Как вам сказать, сударь, такие бедняки, как мы, выручаем друг друга по силе возможности. С тех пор как офицер платит мне двенадцать франков в месяц за уборку, я раз в неделю варю мясо и отношу этим горемыкам кастрюльку бульона. Мамзель Хохотушка недосыпает ночей и шьет из оставшихся лоскутов чепчики и распашонки для малышей, но, разумеется, в такие вечера ей приходится платить лишку за освещение... А бедный господин Жермен, который тоже не был богачом, притворялся, будто получает время от времени из деревни несколько бутылок хорошего вина, и тогда Морель (так зовут этого рабочего) выпивал стакан или два, что хоть ненадолго подбадривало его.

– А шарлатан не помогал этим бедным людям?

– Господин Брадаманти? – переспросил привратник. – Он вылечил меня от ревматизма, что правда, то правда, я уважаю его за это; но я тогда же сказал своей, подруге: «Анастаси, господин Брадаманти...» Гм, гм! Я ведь кое-что сказал тебе о нем, Анастаси?

– Да, правда, но он любит пошутить! По крайней мере, на свой лад, почти не раскрывая рта.

– Но что он сделал для Морелей?

– Видите ли, сударь. Когда я заговорила с ним о бедственном положении Морелей, а заговорила я в ответ на его жалобу, что старуха выла всю ночь и не давала ему спать, он ответил: «Если они такие несчастные, я готов бесплатно вырвать у одного из них шестой зуб, если он у него испорчен, и уступить им за полцены бутылку моей целебной воды».

– Так вот, хоть он и вылечил меня от ревматизма, – воскликнул господин Пипле, – я утверждаю, что говорить так нехорошо, но он вечно такие шутки шутит. Будь они только непристойные!..

– Подумай, Альфред, ведь он итальянец, быть может, у них принято так шутить.

– Право, госпожа Пипле, – сказал Родольф, – у меня создается дурное впечатление об этом человеке, и я не стану ни заходить к нему, ни, как вы говорите, водить с ним компанию... А женщина, что дает деньги под залог, оказалась более щедрой?

– Гм! Не больше чем господин Брадаманти, – сказала привратница, – она дала Морелям денег под залог их тряпья... Все, что у них было, перекочевало к ней, вплоть до последнего тюфяка... Дело не затянулось, так как больше двух тюфяков у них никогда не было.

– А теперь она им не помогает?

– Мамаша Бюрет? Как бы не так: в своем роде она такая же сквалыга, как и ее любовник; можете мне поверить: господин Краснорукий и мамаша Бюрет... – заметила привратница, с необыкновенным лукавством сощуриив глаза и покачав головой.

– Неужели? – спросил Родольф.

– Еще бы... любовь до гроба!.. Ничего не поделаешь! Ночи бабьего лета так же горячи, как и летние ночи, правда, старый дорогуша?

Вместо ответа г-н Пипле меланхолически покачал своим цилиндром.

– Чем занимается этот несчастный рабочий? Какое у него ремесло?

– Он гранильщик фальшивых камней; работает сдельно и так много сидит сгорбившись, что весь скосбочился. Вы сами убедитесь в этом... Впрочем, выше головы не прыгнешь, а когда надо прокормить, кроме себя, ораву из семи человек, вот и приходится тянуть лямку! Хорошо еще, что старшая дочь помогает ему по силе возможности, да возможности-то у нее не больно велики.

– А сколько лет девочке?

– Семнадцать, и хороша при этом, как картинка; она работает служанкой у старого скряги

и такого богача, что он мог бы скупить весь Париж; это нотариус по имени Жак Ферран.

– Жак Ферран! – воскликнул Родольф, удивленный этим новым совпадением, ибо у нотариуса Феррана или, по крайней мере, у его экономки он должен был получить сведения о Певунье. – Это тот самый Жак Ферран, что живет на Пешеходной улице?

– Правильно!.. Вы его знаете?

– Он нотариус того торгового дома, где я работаю.

– Значит, вам известно, что он скряга, каких мало; но, надо сказать, человек он честный и богомольный... По воскресеньям ходит к обедне и к вечерне, исповедуется и причащается на страстной неделе; если он и устраивает застолье, то для одних только священников, пьет святую воду и ест благословенный хлеб... Принимает скудные сбережения от бедноты. Словом, он праведник! А вместе с тем скуп и безжалостен и к другим и к себе. Уже полтора года, как несчастная Луиза, дочка Мореля, служит у него в прислугах. Девушка сущая овечка по характеру, а работает как лошадь и за какие-то жалкие восемнадцать франков в месяц делает всю работу по дому; шесть франков оставляет себе, а все остальное отдает родителям. Конечно, это подспорье в хозяйстве, но ведь в семье-то восемь ртов!..

– И все же отец что-то зарабатывает, если он трудолюбив.

– Такого работягу, как он, поискать! За всю жизнь даже не притронулся к спиртному. Человек он порядочный, добрый, как Иисус Христос. За свое усердие он готов просить у господ бога лишь одного: чтобы в сутках было сорок восемь часов. Тогда он заработал бы побольше денег для своей ребятни.

– Неужели у него такая невыгодная работа?

– Он три месяца проболел, и это выбило его из колеи; жена погубила свое здоровье, ухаживая за ним, и теперь сама дышит на ладан; последние три месяца им пришлось жить на двенадцать франков Луизы, на то, что они получали под залог у мамыши Бюрет, и на несколько эю, которые им ссудила посредница, доставляющая ему работу. Но подумать только, ведь их восемь человек. Они у меня из головы не выходят, а посмотрели бы вы на их трущобу!.. Но довольно говорить об этом: мой обед готов, а при мысли об их мансарде у меня тошнота подступает к горлу. К счастью, господин краснорукий скоро выселит их из дома. Я говорю это не по злобе, поверьте, но если уж так повелось, что кто-то должен прозябать в нищете, как эти несчастные Морели, пусть лучше прозябают в другом месте, мы все равно не можем им помочь. Зато перед глазами у нас одной бедой будет меньше.

– Но если он выгонит их, куда же они пойдут?

– Почем я знаю.

– А сколько зарабатывает в день этот рабочий?

– Если бы ему не приходилось ухаживать за матерью, женой и детьми, он зарабатывал бы четыре-пять франков, уж больно он старательный, но три четверти времени бедняга занят хозяйством, а потому выгоняет не больше сорока су.

– Это не густо. Несчастные люди!

– Да уж несчастнее быть некуда! Вы правильно сказали. Но на свете столько горемык, которым мы все равно не можем помочь, что приходится в чем-то искать утешение, не правда ли, Альфред? Кстати, мы совсем забыли про черносмородиновую наливку.

– По правде говоря, госпожа Пипле, то, что вы мне рассказали, расстроило меня – вы выпьете наливку за мое здоровье вместе с господином Пипле.

– Вы очень любезны, сударь, – проговорил привратник, – но скажите, вы по-прежнему хотите посмотреть комнату на пятом этаже?

– Охотно, и, если она мне подойдет, я тут же дам вам задаток.

Привратник вышел из своего логова. Родольф последовал за ним.

Глава XI ЧЕТЫРЕ ЭТАЖА

Темная сырая лестница казалась еще мрачнее в этот печальный зимний день.

Для человека наблюдательного каждая дверь, ведущая в одну из квартир дома, имела свой неповторимый вид.

Так, дверь в холостяцкую квартиру офицера была только что выкрашена в коричневый цвет с прожилками под стать палисандровому дереву; медная позолоченная ручка сверкала над замочной скважиной, а великолепный шнур звонка с красной шелковой кистью контрастировал с грязными облупленными стенами.

Дверь третьего этажа, занимаемого гадалкой, которая давала деньги под залог, являла еще более странное зрелище: чучело совы, птицы в высшей степени символической и загадочной, было прибито за крылья и лапки к дверной раме, а зарешеченное окошечко позволяло гадалке рассмотреть посетителя, прежде нежели впустить его.

Жилище итальянского шарлатана, подозреваемого в том, что он занимается недозволенным ремеслом, тоже выделялось своим необычным входом, ибо его фамилия была выведена из лошадиных зубов, вделанных в прибитую к двери черную деревянную доску.

Шнур от звонка не заканчивался, как обычно, лапкой зайца или копытцем косули, а мумифицированной рукой обезьяны.

Вид ссохшейся ручки с пятью маленькими пальчиками и ноготками был омерзителен.

Казалось, будто это ручка ребенка.

В ту минуту, когда Родольф проходил мимо этой, показавшейся ему зловещей двери, за ней послышались сдерживаемые рыдания, затем тишину дома внезапно нарушил крик боли, крик судорожный, пугающий, словно исторгнутый из глубины человеческого сердца.

Родольф вздрогнул.

Чувство опередило сознание, он подбежал к двери и резко позвонил.

– Что с вами, сударь? – спросил удивленный привратник.

– Какой жуткий крик, – проговорил Родольф, – разве вы не слышали?

– Понятно, слышал. Кричал, верно, какой-нибудь пациент господина Сезара Брадаманти, которому он вырвал зуб или два.

Это объяснение было правдоподобно, но оно не удовлетворило Родольфа.

Только что раздавшийся крик показался ему не только воплем физической боли, но и, если можно так выразиться, боли душевной.

Звонок прозвучал очень громко.

Сперва никто на него не отозвался.

Послышалось хлопанье дверей; затем за стеклом небольшого оконца, пробитого возле двери, на которое машинально смотрел Родольф, появились смутные очертания изможденного синевато-бледного омерзительного лица с копной рыжих с проседью волос и длинной, такого же цвета бородой.

Лицо тут же исчезло.

Родольф был ошеломлен.

Промелькнувшая в оконце физиономия показалась ему знакомой.

Эти блестящие зеленые, как аквамарин, глаза под широкими бровями, рыжими и взъерошенными, эта мертвенная бледность, этот тонкий нос, похожий на орлиный клюв, с широкими ноздрями, позволяющими видеть часть носовой перегородки, – все это напомнило ему некоего аббата Полидори, которого проклинали во время своей беседы Мэрф и барон фон Граун.

Хотя Родольф не видел аббата Полидори шестнадцать или семнадцать лет, у него было множество причин не забывать его; одно обстоятельство сбивало его с толку: священник, которого, как ему казалось, он узнал в облике рыжего шарлатана, был прежде жгучим брюнетом.

Родольфа не слишком бы удивило (при условии, что его подозрения были обоснованны), если бы человек, облеченный саном священника, человек, известный своими дарованиями, обширными познаниями и редким умом, пал столь низко, что покрыл себя позором, ибо эти выдающиеся способности, эти обширные познания и редкий ум сочетались у него с величайшей испорченностью, с разнузданным поведением, порочными наклонностями и, главное, с таким циничным бахвальством, с таким убийственным презрением к людям и вещам, что, впад в заслуженную нищету, он не только мог, но и должен был прибегнуть к самым недостойным ухищ-

рениям и находить своего рода ироническое, кощунственное удовлетворение в том, что он, человек с поистине выдающимися дарованиями и умом, он, облеченный саном священника, играет в жизни роль бесстыдного фигляра.

Но, повторяем, хотя они расстались с аббатом Полидори, когда тот был в расцвете сил и теперь должен был сравняться по возрасту с шарлатаном, между этими двумя людьми были столь явные различия, что Родольф усомнился в своей догадке.

– Давно ли поселился у вас в доме господин Брадаманти? – спросил он г-на Пипле.

– Около года тому назад, сударь, и тут же уплатил мне за январь месяц. Жилец он аккуратный и, главное, вылечил меня от злейшего ревматизма... Но, как я уже говорил вам, у него есть один недостаток: уж слишком много он зубоскалит и ни к чему не имеет уважения.

– В каком смысле?

– Я не невинная девушка, сударь, награжденная за добродетель, – серьезно проговорил г-н Пипле, – но смеяться можно по-разному.

– Так, значит, он весельчак?

– Дело не в том, что он человек веселый, как раз наоборот; вид у него как у мертвеца, и он никогда по-настоящему не смеется... а только на словах; для него нет ничего святого – ни отца, ни матери, ни бога, ни дьявола, он над всем издевается, даже над своей водой, своей целебной водой, сударь! Не скрою от вас, иной раз его шутки так пугают меня, что я весь покрываюсь гусиной кожей. Если ему случается провести у нас четверть часа, он пускается в непристойные разговоры о полуголых женщинах, которых повидал в далеких странах... и когда после этого мы с Анастаси остаемся с глазу на глаз... так вот, сударь, я, который за тридцать семь лет привык нежно любить жену и считаю такое отношение правильным... так вот, мне начинает казаться, что я меньше люблю ее... Вы будете смеяться надо мной... но господин Сезар рассказал нам как-то о пиршествах племенных вождей, на которых он присутствовал, чтобы проверить, достаточно ли прочны зубы, вставленные им этим царькам; так вот, после его ухода мне показалось, что пища горчит, и я потерял всякий аппетит. Наконец, я люблю свое дело, сударь, я горжусь им. Я мог бы шить новую обувь, как и многие сапожники-честолюбцы, но, по-моему, я приношу не меньше пользы, подбивая подметки к старым башмакам. Так вот, сударь, бывают дни, когда насмешки этого дьявола Брадаманти заставляют меня жалеть, что я не стал первоклассным сапожником, честное слово! А как он говорит о женщинах какого-нибудь дикого племени, которых близко знал... Повторяю, сударь, я не девушка, награжденная за добродетель, но иной раз, черт возьми, я краснею до корней волос, – прибавил г-н Пипле с видом оскорбленной добродетели.

– И госпожа Пипле терпит такие разговоры?

– Анастаси обожает умных людей, а несмотря на свои вольные речи, господин Сезар очень умен; вот почему она все ему спускает.

– Она сказала мне также о некоторых чудовищных слухах...

– Сказала?

– Будьте покойны, я не болтлив.

– Так вот, сударь, я этим слухам не верю и никогда не поверю, и все же помимо моей воли они приходят мне на ум, а это еще увеличивает странное впечатление от шуток господина Брадаманти. Словом, сударь, скажу вам положила руку на сердце, что я ненавижу Кабриона и унесу эту ненависть с собой в могилу. Так вот, иной раз мне кажется, что я предпочел бы его бесстыдные проделки надо мной и нашими жильцами насмешкам, которыми сыплет с невозмутимым видом господин Сезар, неприятно морща губы, что напоминает мне агонию моего дядюшки Русело, который, хрипя перед смертью, морщил губы в точности как господин Брадаманти.

Несколько слов г-на Пипле о постоянной иронии, с которой шарлатан отзывается обо всех и обо всем и своими горькими шутками отравляет самые скромные радости, подтвердили первоначальные подозрения Родольфа; в самом деле, стоило аббату сбросить свойственную ему маску, как он неизменно проявлял самый наглый и возмутительный скептицизм.

Твердо решив выяснить свои сомнения, ибо присутствие аббата могло нарушить его планы, готовый придать зловеший смысл душераздирающему крику, поразившему его, Родольф по-

следовал за привратником на следующий этаж, чтобы осмотреть сдаваемую внаем комнату.

Квартирку Хохотушки, находившуюся рядом с этой комнатой, легко было узнать по престелстному знаку внимания, оставленному ей художником, смертельным врагом г-на Пипле.

С полдюжины маленьких толстощеких амуров, весьма изящно и остроумно написанных в духе Ватто, окружали дверную табличку, держа в руках всякие подходящие к случаю предметы – кто наперсток, кто ножницы, кто утюг или зеркальце; на светло-голубом фоне таблички красовалась выведенная розовой краской надпись: «Мадемуазель Хохотушка, портниха». Вся композиция была обрамлена гирляндой цветов, выделяющейся на бледно-зеленом фоне Двери.

Это очаровательное небольшое панно являло резкий контраст с безобразием стен и лестницы.

Рискуя растравить кровоточащую рану Альфреда, Родольф все же обратился к нему с вопросом:

– Скажите, это, очевидно, работа господина Кабриона?

– Да, сударь, он отважился испортить эту дверь непристойной мазней, изобразив на ней голых детей, которых зовут амурами. Без горячих просьб мамзель Хохотушки и попустительства господина Краснорукого я бы все это соскоблил, а также палитру, что изображена на двери вашей комнаты.

В самом деле, палитра с полным набором красок как бы висела на этой двери.

Родольф последовал за привратником в довольно обширную комнату, предшествующую крохотной передней и освещенную двумя большими окнами, которые выходили на улицу Тампль; несколько фантастических набросков, изображенных на ее двери г-ном Кабрионом, были тщательно сохранены г-ном Жерменом.

У Родольфа было достаточно причин, чтобы снять эту комнату, и он вручил привратнику скромную сумму в сорок су.

– Комната мне вполне подходит, а вот и задаток; завтра я велю привезти сюда мебель. Как по-вашему, мне не надо обращаться к главному съемщику, господину Краснорукому? – спросил он у привратника.

– Нет, сударь, он лишь изредка навещается к нам: приходит лишь по своим делишкам с мамашей Бюрет. Все жильцы обращаются непосредственно ко мне; я попрошу вас только назвать ваше имя.

– Родольф.

– Родольф, а дальше?..

– Просто Родольф, господин Пипле.

– Ваше дело, сударь; я спросил об этом не из любопытства: каждый волен назваться любым именем.

– Скажите, господин Пипле, не следует ли мне зайти завтра к Морелям и узнать в качестве их нового соседа, не могу ли я помочь им в чем-нибудь, ведь мой предшественник, господин Жермен, тоже по мере сил помогал им.

– Конечно, сударь; только ваш визит будет ни к чему, ведь их выселяют отсюда, но он им польстит.

Затем, словно осененный внезапной догадкой, г-н Пипле взглянул на своего жильца с гордым, самодовольным и лукавым видом.

– Понимаю, понимаю! – воскликнул он. – Это для начала, чтобы зайти потом по-соседски к молоденькой швее.

– Как раз на это я и рассчитываю.

– Тут нет ничего дурного, сударь: таков обычай; и, знаете, мамзель Хохотушка, верно, услышала, что кто-то пришел осматривать комнату, и ждет не дождется, чтобы увидеть нового жильца. Я погромче поверну ключ в замке, а вы не спускайте глаз с ее двери.

В самом деле, Родольф заметил, что дверь, так любезно украшенная амурами в стиле Ватто, была приоткрыта, и смутно различил за ней вздернутый носик и большие черные глаза, блестящие и любопытные; но как только он замедлил шаг, дверь сразу захлопнулась.

– Я же говорил, что она поджидает вас! – заметил привратник и, помолчав, добавил: –

Прошу прощения, сударь!.. Я загляну в свою обсерваторию.

– Какую обсерваторию?

– На самом верху этой приставной лестницы имеется площадка, куда выходит дверь мансарды Морелей, а за обшивкой их стены я обнаружил небольшое углубление, куда и складываю всякий хлам. В стене много трещин, вот почему из этого углубления я вижу и слышу Морелей так же ясно, как будто сижу у них в комнате. Я не шпионю за ними, помилуй бог! Я просто смотрю на их жизнь, как на мрачную мелодраму. Зато, вернувшись к себе в привратническую, я чувствую себя так, словно попал во дворец. Вот что, сударь, если вам охота поглядеть на них, не то они скоро уедут... Зрелище это печальное, но любопытное, и, когда заходишь к ним, они ведут себя как дикари, стесняются, видите ли...

– Вы очень любезны, господин Пипле, как-нибудь в другой раз, может быть, завтра я воспользуюсь вашим предложением.

– Пожалуйста, сударь; но сейчас мне надо подняться в свою обсерваторию за куском сафьяна. Если вы желаете спуститься вниз, я вас догоню.

И г-н Пипле стал карабкаться по лестнице, ведущей на мансарду, – восхождение, довольно опасное в его возрасте.

Родольф бросил последний взгляд на дверь мамзель Хохотушки, думая о том, что эта девушка, бывшая приятельница бедной Певуньи, вероятно, знает, где нашел себе пристанище сын Грамотея, когда на этаже под ним кто-то вышел от шарлатана; он услышал легкую женскую поступь и шелест шелкового платья. Родольф задержался, чтобы не смущать посетительницу.

Когда звук ее шагов затих, он продолжил свой путь.

На последних ступеньках второго этажа он поднял носовой платок, видимо, принадлежавший особе, побывавшей у шарлатана.

Родольф подошел к одному из узких окон, освещавших лестничную площадку, и рассмотрел платок, богато отделанный кружевами; на одном из его уголков были вышиты инициалы Л. и Н., увенчанные герцогской короной.

Платок был буквально залит слезами.

Родольф хотел было ускорить шаг, чтобы отдать платок потерявшей его особе, но побоялся, что такая любезность может сойти за проявление непристойного любопытства; он оставил у себя платок, случайно попав на след какой-то таинственной и, очевидно, мрачной истории.

Войдя к привратнице, он спросил:

– Скажите, госпожа Пипле, вы не заметили спустившейся по лестнице женщины?

– Да, сударь. От господина Сезара только что вышла красивая, высокая, стройная женщина под черной вуалью. Мальчишка Хромуля сходил за извозчиком, на котором она и уехала. Меня удивило, что этот негодник уселся на задок экипажа, быть может, чтобы посмотреть, где живет эта дама, ведь он любопытен, как сорока, и проворен, как хорек, несмотря на свою хромую ногу.

Итак, подумал Родольф, шарлатан узнает адрес этой женщины. Уж не он ли приказал Хромуле последовать за незнакомкой?

– Так как же, сударь? Подошла вам комната или нет? – спросила привратница.

– Вполне подошла; я снял ее и завтра же пришлю свою мебель.

– Да благословит вас бог, сударь, за то, что вы зашли к нам. В нашем доме появится хотя бы один приятный жилец. У вас такой добросердечный вид, что вы сразу приглянулись Пипле. Вы будете смешить его, как смешил господин Жермен, у которого всегда находилась для него какая-нибудь шутка; а моему бедному дорогуше только бы посмеяться; мне кажется поэтому, что не пройдет и месяца, как вы с ним крепко сдружитесь.

– Полноте, вы льстите мне, госпожа Пипле.

– Нисколько; я говорю от чистого сердца. А если вы будете милы с Альфредом, я отблагодарю вас; увидите вашу маленькую квартирку: я как зверь воюю с пылью; а если пожелаете отобедать с нами в воскресенье, я вам приготовлю такое угощение, что вы пальчики оближете.

– Договорились, госпожа Пипле, вы будете убирать мою комнату; завтра вам привезут мебель, а я зайду, чтобы проследить за ее расстановкой.

Родольф вышел.

Результаты его посещения дома на улице Тамплъ были весьма плодотворны не только для раскрытия тайны, которую он хотел узнать, но и для благородных целей, побуждавших его делать добро и предотвращать зло.

А результаты эти были таковы.

Мадемуазель Хохотушка явно была осведомлена о новом пристанище Франсуа Жермена, сына Грамотея.

Молодая женщина, весьма, напоминавшая, увы, маркизу д'Арвиль, назначила на следующий день свидание офицеру, которое могло навеки запятнать ее доброе имя.

А Родольф по многим причинам относился с глубоким участием к г-ну д'Арвилю, спокойствие и честь которого были поставлены под угрозу.

При посредстве Краснорукого честный и работающий ремесленник, впавший в безысходную нищету, должен был вскоре оказаться на улице вместе со своей семьей.

Кроме того, Сычиха, недавно вышедшая из больницы, куда она попала после происшествия на аллее Вдов, поддерживала подозрительные сношения с г-жой Бюрет, гадалкой, дававшей деньги под залог, которая жила на третьем этаже этого же дома.

Собрав все эти сведения, Родольф вернулся домой на улицу Плюме; посещение нотариуса Жака Феррана он решил отложить до следующего дня, ибо в тот вечер ему предстояло побывать на роскошном балу в посольстве ***.

Прежде нежели принять участие с нашим героем в этом празднестве, давайте бросим взгляд на Тома и Сару, важных действующих лиц этой истории.

Глава XII ТОМ И САРА

Саре Сейтон, вдове графа Мак-Грегора, было тогда тридцать семь – тридцать восемь лет; она принадлежала к знатному шотландскому роду и была дочерью баронета, проживавшего обычно в своей усадьбе. Оставшись круглой сиротой в возрасте семнадцати лет, красавица Сара покинула Шотландию вместе с братом Томом Сейтоном оф Холсбери.

Нелепые пророчества крестьянки, бывшей кормилицы Сары, непомерно раздули основные недостатки девушки – гордость и тщеславие, ибо старуха с глубоким убеждением и редкой настойчивостью предсказывала ей самый высокий удел... Скажем прямо: удел королевы.

Юная шотландка поверила этим словам кормилицы и в угоду своему славолобию постоянно вспоминала, что некая гадалка тоже обещала корону красивой, очаровательной креолке, которая заняла впоследствии французский трон и была истинной королевой по обаянию и доброте, тогда как другие бывают королевами по величавости и благородству осанки.

Странное дело! Том Сейтон, такой же суеверный, как и его сестра, поощрял нелепые надежды Сары и решил посвятить свою жизнь осуществлению ее мечты, мечты столь же блестящей, сколь и безумной.

Однако брат с сестрой не были настолько слепы, чтобы твердо верить предсказаниям кормилицы, и вопреки своему горделивому презрению к второстепенным королевствам и княжествам готовы были пренебречь размерами этих владений, лишь бы корона увенчала взбалмошную головку Сары.

При помощи «Готского альманаха» на тысяча восемьсот девятнадцатый год от Рождества Христова Том Сейтон составил перед своим отъездом из Шотландии нечто вроде синоптической таблицы всех неженатых королей и принцев Европы с указанием возраста каждого из них.

Невзирая на всю их нелепость, честолюбивые мечты брата с сестрой были лишены неблагоприятных расчетов. Том собирался помочь Саре плести брачные интриги ради заполучения любого венценосца и способствовать ей во всех поисках, которые могли бы привести их обоих к желаемому результату; но он скорее убил бы сестру, чем видеть ее любовницей какого-нибудь принца, даже если бы такая связь сулила ей законный брак.

Своеобразный брачный список, составленный Томом и Сарой по «Готскому альманаху», удовлетворил их обоих.

Особенно много наследных принцев оказалось в Германском союзе. Сара была протестанткой; Том знал, с какой легкостью в Германии заключаются морганатические браки, браки вполне законные, и в крайнем случае готов был дать согласие на такой брачный союз. Итак, брат и сестра решили отправиться прежде всего в Германию и именно там приступить к предполагаемой ловле женихов.

Если такой проект покажется читателю невероятным, а такие надежды безумными, мы ответим прежде всего, что безудержное честолюбие, к тому же раздутое суеверием, вряд ли может претендовать на благоразумие, ибо его привлекает лишь невозможное; стоит вспомнить, кроме того, некоторые современные факты, начиная с респектабельных морганатических браков между монархами и нетитулованными особами и кончая любовной одиссеей мисс Пенелопы и принца Капуанского,⁸⁰ чтобы отказать бредням Тома и Сары в возможности счастливого исхода.

Добавим, что чарующая красота сочеталась у Сары с самыми разнообразными талантами и с силой обольщения, тем более опасной, что, несмотря на свою сухую, холодную душу, изворотливый и злой ум, глубокую скрытность и цельный, настойчивый характер, она производила впечатление женщины великодушной, пылкой и страстной.

При этом внешность ее была столь же обманчива, как и характер.

Большие темные глаза Сары под черными как смоль бровями, то искрометные, то томные, умели выражать весь пыл страсти, хотя жгучие порывы любви еще ни разу не заставили биться ее ледяное сердце, а чувственные или сердечные увлечения не могли нарушить безжалостных расчетов этой хитрой, эгоистичной и честолюбивой женщины.

Перебравшись на континент, Сара решила по совету брата повременить с «военными действиями» до посещения Парижа, дабы, вращаясь в обществе, прославленном приятностью общения, непринужденностью, изяществом и вкусом, придать лоск своему воспитанию и сгладить присутствующую ей британскую чопорность.

В высший парижский свет Сара получила доступ благодаря нескольким рекомендательным, письмам и милостивому покровительству жены английского посла, а также престарелого маркиза д'Арвиля, знавшего некогда в Англии отца Тома и Сары.

Лживые, холодные, рассудочные люди усваивают с поразительной легкостью не свойственные им язык и манеры; у них все показное, внешнее, поверхностное, притворное, наигранное; стоит кому-нибудь разгадать натуру такого сорта людей, чтобы погубить их в общественном мнении; вот почему своеобразный инстинкт самосохранения помогает им как нельзя лучше маскировать свою внутреннюю сущность. Они гримируются и меняют манеры с быстротой и ловкостью заправского актера.

Короче говоря, после полугодового пребывания в Париже Сара могла состязаться с заправской парижанкой благодаря приобретенной ею пикантной живости разговора, заразительному веселью, простодушному кокетству, наивной игривости взгляда, одновременно целомудренного и страстного.

Найдя свою сестру достаточно хорошо подготовленной, Том отбыл с ней в Германию, снабженный превосходными рекомендательными письмами.

Первым государством Германского союза, находившимся на пути Тома и Сары, было великое герцогство Герольштейнское, обозначенное следующим образом в непогрешимом «Готском альманахе» за год 1819:

ГЕНЕАЛОГИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ МОНАРХОВ И ИХ СЕМЕЙ ГЕРОЛЬШТЕЙН

Великий герцог Максимилиан-Родольф родился 20 декабря 1764 года и вступил на престол 21 апреля 1785 года после кончины своего отца Карла-Фредерика-Родольфа.

Сын герцога Максимилиана-Родольфа родился 17 апреля 1803 года.

Вдовствующая великая герцогиня Юдифь потеряла своего супруга великого герцога Кар-

⁸⁰ Карл-Фердинанд, принц Капуанский, второй сын короля обеих Сицилий Франциска I. (Прим. ред.)

ла-Фредерика-Родольфа 21 апреля 1785 года.

Как человек здравомыслящий. Том записал во главе своего списка наиболее молодых наследников престола, с которыми он хотел породниться, полагая, что юность гораздо легче поддается соблазну, нежели зрелый возраст. Кроме того, как мы уже говорили, Том и Сара получили самые горячие рекомендации к великому герцогу Герольштейнскому от престарелого маркиза д'Арвиля, очарованного, как и все, Сарой, красотой, изяществом и врожденным обаянием, которой он не мог нахвалиться.

Согласно «Готскому альманаху», наследником престола великого герцогства Герольштейнского был Густав-Родольф; ему едва минуло 18 лет, когда Том и Сара были представлены его отцу.

Прибытие юной шотландки всколыхнуло этот небольшой немецкий двор, спокойный, простой, строгий, словом, патриархальный. Великий герцог, прекраснейший из людей, управлял своим государством с мудрой твердостью и отеческой добротой; трудно было бы найти государство, более процветающее и спокойное, чем это небольшое княжество, население которого, трудолюбивое, серьезное, воздержанное и благочестивое, являло собой идеальное воплощение германского характера.

Жители Герольштейна были так счастливы, так довольны своим положением, что просвещенному и заботливому великому герцогу не стоило труда предохранить их от мании конституционных нововведений.

Что же касается современных открытий и идей, могущих оказать глубокое воздействие на благосостояние и нравы народа, то великий герцог постоянно справлялся о них в различных европейских странах через своих представителей, у которых, в сущности, не было иной заботы, как держать его в курсе всевозможных научных открытий с точки зрения их общественной и практической пользы.

Мы уже говорили выше, что великий герцог испытывал чувства любви и признательности к престарелому маркизу д'Арвилю за огромные услуги, которые тот оказал ему в 1815 году; вот почему благодаря рекомендации этого последнего Том и Сара Сейтон оф Холсбери были приняты при Герольштейнском дворе с особым почетом и радушием.

Не прошло и двух недель после приезда брата с сестрой в Герольштейн, как Сара, наделенная острой наблюдательностью, без труда разгадала твердый, честный и открытый характер великого герцога; прежде нежели обольстить сына, что должно было неминуемо случиться, она задумала, и вполне разумно, удостовериться в намерениях отца. Великий герцог так безумно любил Родольфа, что сначала Сара поверила, будто он способен согласиться на мезальянс своего дорогого сына, лишь бы не видеть его несчастным. Но шотландка вскоре убедилась, что этот столь нежный отец никогда не отречется от иных принципов и идей, имеющих отношение к долгу и обязанностям коронованных особ.

Это не было гордыней с его стороны, а сознанием своего высокого положения, чувством чести и здравым смыслом.

Между тем человек столь энергичного склада, который бывает тем ласковее и добрее, чем он тверже и сильнее характером, никогда не уступит в том, что касается его положения, чести и здравого смысла.

Столкнувшись с таким препятствием, Сара уже была готова отказаться от своих замыслов, но, сообразив, что Родольф еще очень молод, что все хвалят его за мягкость, доброту, за нрав, одновременно застенчивый и мечтательный, она посчитала юного герцога человеком слабым, нерешительным и с прежним упорством продолжала добиваться осуществления своих проектов и надежд.

В этих сложных обстоятельствах Сара и ее брат проявили чудеса ловкости.

Молодая девушка сумела привлечь на свою сторону всех и, главное, тех женщин, которые могли приревновать ее или позавидовать ее преимуществам; скромностью и простотой она заставила их забыть о своих достоинствах и красоте. Вскоре она стала любимицей не только великого герцога, но и его матери, вдовствующей великой герцогини Юдифи, которая, вопреки или благодаря своему девяностолетнему возрасту, до безумия любила все юное и прелестное.

Том и Сара не раз заговаривали о своем отъезде. Герольштейнский монарх не желал и слышать о нем, и, чтобы окончательно привязать к своему двору брата с сестрой, он попросил баронета Тома Сейтона оф Холсбери принять в ту пору вакантную должность обер-шталмейстера и упросил Сару не покидать великой герцогини Юдифи, которая не могла обходиться без нее.

После долгих колебаний, которые наталкивались на настоятельные уговоры. Том и Сара приняли эти блестящие предложения и обосновались при Герольштейнском дворе, куда они прибыли всего два месяца тому назад.

Сара была превосходной певицей: зная вкус великой герцогини к композиторам прежнего времени и, в частности, к Глюку, она выписала произведения этого знаменитого композитора и обворожила престарелую герцогиню своей неисчерпаемой любезностью и тем выдающимся талантом, с которым исполняла его прекрасные старинные мелодии, такие простые и выразительные.

Том, со своей стороны, был весьма полезен великому герцогу в порученной ему должности. Шотландец превосходно знал лошадей, любил порядок и был человеком твердым; за короткое время он преобразовал дворцовые конюшни, огромный ущерб которым был нанесен небрежностью и рутиной.

Вскоре брата с сестрой одинаково полюбили при этом дворе, где они зажили в холе и неге. Вкусы монарха повелевают и вкусами подданных. К тому же Саре требовалась такая сильная поддержка, что она пустила в ход весь свой дар обольщения, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше придворных. Ее лицемерие, облеченное в самую привлекательную форму, легко обмануло большинство честных немок, и вскоре всеобщая любовь подтвердила исключительное благоволение к ней великого герцога.

Итак, наша парочка заняла при Герольштейнском дворе прекрасное и почетное положение; что до Родольфа, то о нем даже не упоминалось. Благодаря счастливой случайности через несколько дней после приезда Сары юный герцог уехал на смотр войск в сопровождении адъютанта и своего верного Мэрфа.

Это отсутствие вдвойне благоприятствовало видам Сары, позволяя ей сосредоточить внимание на основных нитях своего матримониального заговора без стеснительного присутствия юного наследника престола, слишком явное восхищение которого, по всей вероятности, вызвало бы опасения великого герцога.

А в отсутствие своего сына он, к сожалению, не подумал о том, что приблизил к себе молодую девушку, обладающую редкой красотой и игривым умом, которой придется постоянно встречаться с Родольфом.

Сара осталась внутренне равнодушной к столь трогательному и радушному приему и к тому благородному доверию, с которым она была введена в эту королевскую семью.

Ни эта девушка, ни ее брат ни на минуту не подумали отказаться от своих дурных намерений и сознательно внесли смятение и горе в этот спокойный и счастливый двор. Они холодно предвидели результаты жестоких раздоров, которые возникнут из-за нее между отцом и сыном, столь нежно любившими друг друга.

Глава XIII

СЭР ВАЛЬТЕР МЭРФ И АББАТ ПОЛИДОРИ

В детстве Родольф отличался хрупким телосложением, и его отец принял следующее решение, с первого взгляда странное, а в сущности вполне разумное.

Английские дворяне, живущие в своих поместьях, отличаются прекрасным здоровьем. Это преимущество зависит в огромной степени от полученного ими воспитания на лоне природы; суровое и простое, оно прекрасно развивает их физически. Родольф скоро выйдет из-под опеки женщин; мальчик он изнеженный; если приучить его к жизни сына английского фермера (с некоторыми поблажками), это закалит, пожалуй, его слабый организм.

Герцог Герольштейнский выписал из Англии человека достойного, который вполне мог

руководить физическим воспитанием наследного принца; итак, это важное дело было поручено сэру Вальтеру Мэрфу, атлетически сложенному джентльмену из Йоркшира. Те навыки, которые он привил мальчику, вполне отвечали намерениям великого герцога.

Родольф, освобожденный от всякого этикета, занимался с Мэрфом сельскохозяйственными работами, доступными ему по возрасту, и вел простую, мужественную и однообразную жизнь людей, близких к природе; все его удовольствия и развлечения заключались в физических упражнениях, борьбе, кулачном бое, езде верхом и охоте.

На чистом воздухе, среди лугов, лесов и гор, юный принц, казалось, преобразился и вырос крепким, как молодой дуб; его несколько болезненная бледность уступила место здоровому румянцу; по-прежнему стройный и выносливый, он выходил победителем из самых утомительных испытаний: ловкость, энергия и смелость восполняли у него недостаток мускульной силы, и вскоре он уже не без успеха боролся с людьми гораздо старше себя; в это время Родольфу было пятнадцать – шестнадцать лет.

Образование Родольфа неизбежно пострадало от предпочтения, отданного физическому воспитанию: познания его были весьма ограничены; но великий герцог думал вполне резонно, что предъявлять большие требования к уму человека можно лишь тогда, когда этот ум находит опору в сильном, хорошо развитом теле; тогда умственные способности, хотя и поздно оплодотворенные образованием, развиваются чрезвычайно быстро.

Славный Вальтер Мэрф не был человеком ученым; он мог дать Родольфу лишь немногие первоначальные знания; но никто не мог лучше него внушить своему ученику сознание того, что справедливо, честно, великодушно, и отвращение ко всему низкому, подлому, мелкому.

Ненависть к злу, деятельное и благотворное преклонение перед добром навсегда срослись с душой Родольфа; позже, в буре страстей эти принципы сильно поколебались, но никогда не были вырваны из его сердца. Молния поражает, калечит и ломает дерево, глубоко и крепко укоренившееся в земле, но соки продолжают бурлить в его корнях, и этот казавшийся засохшим ствол дает вскорости множество зеленых побегов.

Если можно так выразиться, Мэрф дал Родольфу здоровье тела и души; он сделал его человеком крепким, ловким и смелым, поборником справедливости и добра, ненавистником зла и всякой скверны.

Выполнив столь блестяще свою задачу, эсквайр на некоторое время уехал в Англию, куда его призывали важные дела, чем очень огорчил Родольфа, нежно любившего его.

Мэрф должен был навсегда вернуться с семьей в Герольштейн, как только покончит с делами. Он надеялся, что его отсутствие продлится самое большее год.

Уверившись в добром здоровье Родольфа, великий герцог серьезно подумал о том, чтобы дать образование своему любимцу.

Некому аббату Сезару Полидори, известному филологу, прекрасному врачу, эрудированному знатоку точных и естественных наук, было поручено возделать и оплодотворить эту плодородную, но девственную почву, так прекрасно подготовленную Мэрфом.

На этот раз выбор великого герцога оказался весьма неудачным или, вернее, он был жестоко обманут человеком, который порекомендовал католического священника в качестве преподавателя для его сына-протестанта. Это новшество многим показалось чудовищным, более того, его сочли весьма пагубным для образования Родольфа.

Случай или, вернее, отвратительный характер аббата частично способствовали осуществлению этих печальных пророчеств.

Нечестивец, мошенник, лицемер, кошунственный хулиатель всего святого, человек хитрый и ловкий, умеющий скрыть свою глубокую безнравственность и отталкивающий скептицизм под маской сурового благочестия, выставивший напоказ свое мнимое христианское смирение, дабы замаскировать свойственную ему пронырливость, и разыгрывавший искреннее доброжелательство и наивный оптимизм для маскировки вероломства своей корыстной лести, человек, прекрасно изучивший людей или, точнее, познавший лишь их худшие стороны и постыдные страсти, аббат Полидори был самым неподходящим наставником для молодого человека.

Покинув с огромным сожалением независимую жизнь, которую он вел до сих пор под

наблюдением Мэрфа, чтобы корпеть над книгами и подчиняться придворному церемониалу, Родольф возненавидел попервоначалу аббата Полидори.

Иначе и быть не могло.

Уезжая, бедный эсквайр не без основания сравнил своего ученика с молодым диким жеребенком, исполненным грации и огня, которого лишили прекрасных лугов, где он весело резвился на свободе, и, подчинив его удилам и шпорам, направили в иное русло силы, которыми он пользовался до сих пор лишь для того, чтобы скакать и резвиться на просторе.

Родольф сразу же заявил аббату, что у него нет ни малейшего призвания к занятиям, что ему необходимо прежде всего упражнять руки и ноги, дышать свежим воздухом, носиться по полям и холмам; доброе ружье и добрый конь казались ему предпочтительнее самых прекрасных книг на свете.

Священник ответил своему ученику, что он прав: в самом деле, нет ничего скучнее учения, но вместе с тем нет ничего примитивнее, грубее его излюбленных удовольствий, достойных лишь тупого немецкого фермера. И аббат нарисовал такую забавную, такую язвительную картину простой сельской жизни, что Родольфу впервые стало стыдно, что он находил ее столь счастливой; тут он наивно спросил у священника, чем же можно занять свое время, если не любишь ни учения, ни охоты, ни вольной жизни среди природы.

Аббат таинственно ответил на это, что впоследствии он все ему объяснит.

По правде сказать, надежды священника были в некотором роде столь же честолюбивы, что и надежды Сары.

Хотя великое Герольштейнское герцогство было всего лишь второстепенным государством, аббат вообразил себе, что со временем станет играть в нем роль Ришелье, и вознамерился подготовить Родольфа к роли монарха-бездельника.

Он начал с того, что посредством поблажек и угодливости постарался понравиться своему ученику и заставить его позабыть о Мэрфе. Родольф по-прежнему ненавидел науку, аббат скрыл от великого герцога отвращение юного принца к занятиям; напротив, он восхвалял его усидчивость, его поразительные успехи; и несколько проверок, заранее втайне подготовленных с Родольфом, утвердили великого герцога (человека не слишком образованного) в его доверии к учителю.

Мало-помалу чувство отчужденности, которое священник внушил сначала Родольфу, превратилось со стороны юного принца в развязную фамильярность, отнюдь не похожую на ту серьезную привязанность, которую он испытывал к Мэрфу.

Мало-помалу Родольф оказался связанным с аббатом (правда, по причинам вполне невинным) теми узами солидарности, которые объединяют двух сообщников. Рано или поздно он поневоле станет презирать человека с характером и в возрасте аббата, который недостойно лгал, чтобы скрыть лень своего ученика.

Аббат знал это.

Но он знал и другое: если Родольф не отшатнется сразу с омерзением от порочного человека, то постепенно, помимо воли, привыкнет к его острому уму и незаметно для самого себя будет внимать без возмущения и стыда, как тот высмеивает и поносит те понятия, перед которыми юноша привык преклоняться.

Впрочем, аббат был слишком хитер, чтобы резко оспаривать иные благородные убеждения Родольфа, плод воспитания Мэрфа. Поиздевавшись всласть над грубым времяпрепровождением своего ученика на лоне природы, священник сбросил ненадолго маску непримиримой суровости и пробудил в юноше любопытство полупризнаниями о сказочной жизни иных королей прежних времен; наконец, уступив настоятельным просьбам Родольфа, аббат после бесконечных оговорок и несколько вольных шуток над церемониальной серьезностью, царившей при дворе великого герцога, воспламенил воображение юного принца красочными рассказами о празднествах и любовных похождениях, которыми прославились царствования Людовика XIV, регента, и главным образом Людовика XV – героя Сезара Полидори.

Он убеждал несчастного мальчика, слушавшего его с пагубной жадностью, что сладострастие, даже чрезмерное, не только не развращает принца, богато одаренного от природы, но,

напротив, делает его милосерднее, великодушнее по той простой причине, что счастье неизменно смягчает, облагораживает человека высокой души.

Ярким примером тому служил Людовик XV.

Да и наиболее прославленные люди прежних и новых времен, говорил аббат, от Алкивиада до Морица Саксонского, от Антония до великого Конде, от Цезаря до Вандома, уделяли много времени изысканнейшему эпикурейству.

Такие речи должны были вызвать подлинное потрясение в молодой, горячей и девственной душе принца; кроме того, аббат красноречиво переводил своему ученику оды Горация, в которых сей несравненный гений воспевает жизнь, всецело посвященную любви и утонченным наслаждениям чувственности. И все же иной раз аббат старался набросить флер на эти опасные теории и баюкал Родольфа пленительными утопиями, чтобы не покоробить великодушных чувств, глубоко в нем укоренившихся. По его словам, умный и сладострастный монарх мог облагодетельствовать своих подданных, научив их наслаждаться жизнью, смягчить их нравы благодаря обретенному таким образом счастью и пробудить даже в заядлых атеистах религиозное чувство, вызвав в их душе горячую благодарность к создателю, который с неисчерпаемой щедростью дарует им земные радости.

Всегда и во всем искать наслаждение значило, по мнению аббата, прославлять бога в его величии и неизреченной милости.

Эти теории принесли свои плоды.

Живя при строгом и добродетельном дворе, привыкший по примеру монарха к добропорядочным удовольствиям и к невинным развлечениям, Родольф стал мечтать под влиянием аббата о безумных ночах в Версале, об оргиях в Шуази, о грубых наслаждениях во дворце Олений Парк, а также изредка, в силу контраста, о мимолетных романтических увлечениях.

Кроме того, аббат не преминул убедить Родольфа в том, что владетельный князь не должен производить никаких военных действий, за исключением посылки своих отрядов для охраны парламента Германского союза.

Впрочем, дух времени был явно настроен на мирный лад.

Проводить свои дни в упоительном безделье среди женщин и утонченной роскоши, поочередно переходить от угара страстей к восхитительному наслаждению искусством, искать иной раз в охоте, не в качестве дикого Немврода, а просвещенного эпикурейца, ту приятную усталость, которая лишь усиливает прелесть беспечности и лени, — таково было, по словам аббата, единственное времяпрепровождение, приличествующее монарху, который (на свое великое счастье!) найдет премьер-министра, готового взвалить на себя тягостную и скучную ношу государственных дел.

Размышляя об этих возможностях, в которых не было ничего преступного, ибо они не выходили за пределы роковой неизбежности, Родольф намеревался, когда бог призовет к себе его батюшку, вести именно тот образ жизни, который аббат Полидори рисовал ему в столь жизнерадостных, заманчивых красках, и назначить премьер-министром своего наставника.

Напомним, что Родольф нежно любил отца и горько оплакивал бы его кончину, хотя она и позволила бы ему стать Сарданапалом в миниатюре. Не стоит говорить о том, что юный принц держал в глубокой тайне эти бурлившие в нем злосчастные чувства.

Зная, что любимыми героями великого герцога были Густав-Адольф, Карл XII и Фридрих Великий (Максимилиан-Родольф имел честь быть близким родственником прусских королей), Родольф думал, не без основания, что его отец, преклонявшийся перед этими королями-военачальниками, вечно в походах, вечно в седле и при шпорах, счел бы своего сына человеком пропащим, если бы заподозрил, что тот может заменить германскую чопорность, царящую при Герольштейнском дворе, веселыми и фривольными нравами эпохи Регентства. Так прошли год, полтора года; Мэрф еще не вернулся, хотя и сообщал о своем скором приезде.

Преодолев свое первоначальное отвращение к угодливости аббата, Родольф все же воспользовался его ученостью и приобрел если не обширные познания, то те поверхностные сведения, которые помогли ему в сочетании с его врожденным, живым и проницательным умом сойти за человека гораздо более образованного, чем он был на самом деле, оказав этим немалую честь

заботам своего ментора.

Мэрф вернулся из Англии с семьей и прослезился от радости, обняв своего бывшего ученика.

Несколько дней спустя достойный эсквайр заметил, что Родольф держится с ним холодно, скованно и отзывается почти иронически об их суровой жизни на лоне природы. Мэрф терялся в догадках – он никак не мог понять причины этой глубоко огорчившей его перемены.

Уверенный во врожденной доброте юного принца, взбудораженный тайным предчувствием, Мэрф подумал, что тот подпал под вредное влияние аббата Полидори; эсквайр инстинктивно возненавидел священника и дал себе слово внимательно наблюдать за ним.

Со своей стороны, аббат, раздосадованный возвращением Мэрфа, которого он опасался из-за его доброты, здравого смысла и проницательности, возымел лишь одно желание: погубить эсквайра во мнении Родольфа.

Как раз в это время Том и Сара были представлены великому герцогу и с отменным радушием приняты при его дворе.

Перед их приездом Родольф отправился с адъютантом и Мэрфом в инспекционную поездку, чтобы произвести осмотр несколькими герольштейнским гарнизонам. Поскольку эта поездка была военного характера, великий герцог счел излишним посылать с ними аббата Полидори. К своему великому сожалению, священник узнал, что на несколько дней Мэрф вернется к своим прежним обязанностям при юном принце.

Со своей стороны, эсквайр рассчитывал на этот случай, чтобы окончательно выяснить причину охлаждения Родольфа.

Увы, этот последний уже научился скрывать свои мысли и, считая опасным говорить Мэрфу о своих проектах, был с ним на редкость мил и сердечен, притворялся, что очень сожалеет о годах своего отрочества и о прежних сельских забавах, что почти успокоило его первого наставника.

Мы говорим «почти», ибо иные любящие сердца наделены удивительной прозорливостью. Несмотря на проявления любви со стороны принца, Мэрф смутно чувствовал, что их разделяет какая-то тайна; напрасно он попробовал выяснить, в чем тут дело, – все его попытки наталкивались на преждевременное двоедушье Родольфа.

Во время этой отлучки аббат не сидел сложа руки.

Интриганы угадывают, узнают себе подобных по некоторым таинственным признакам, позволяющим им наблюдать друг за другом до тех пор, пока они не решат, что для них выгоднее – вступить с данным человеком в союз или в открытую вражду.

Через несколько дней после прибытия Сары с братом ко двору великого герцога Том подружился с аббатом Полидори.

Священник признался сам себе с отвратительным цинизмом, что естественное, почти произвольное сродство душ влечет его ко всем пройдохам и негодяям; недаром, думал он, еще не вполне догадываясь о целях Тома и Сары, я испытываю к ним обоим такую горячую симпатию; они явно лелеют какие-то бесовские замыслы.

Несколько вопросов Тома Сейтона о характере и прошлом Родольфа, вопросов незначительных для человека менее настороженного, чем аббат, просветили его относительно намерений брата с сестрой; но даже он не мог поверить в столь честолобивые виды юной шотландки.

Приезд этой очаровательной девушки показался аббату перстом судьбы. Воображение Родольфа было распалено любовными мечтами; Сара должна была явиться прелестной явью, призванной заменить столько чудесных грез; ибо, думал аббат, прежде нежели прийти к отбору в наслаждения и к разнообразию в страстях, мужчина почти всегда начинает с единственной романтической привязанности; Людовик XIV и Людовик XV были, возможно, верны лишь Марии Манчини и Розетте д'Аррей.

По мнению аббата, то же самое должно было произойти с Родольфом и прекрасной шотландкой. Несомненно, она приобретет огромное влияние на это сердце, увлеченное чарующей прелестью первой любви. Направлять это влияние, извлекать из него выгоду и пользоваться им, чтобы навеки погубить Мэрфа, – таков был план аббата.

Человек ловкий, он дал ясно понять обоим честлюбцам, что им придется считаться с ним, ибо он один отвечает перед великим герцогом за личную жизнь принца.

Но в первую очередь надо было опасаться бывшего наставника Родольфа; этот неотесанный, грубый, напичканный глупыми предрассудками человек имел прежде большое влияние на Родольфа и мог стать бдительным и опасным стражем: вместо того чтобы с пониманием отнестись к безумным и прелестным ошибкам молодости, он сочтет своим долгом воззвать к суровой морали великого герцога.

Том и Сара поняли аббата с полуслова, хотя они и не оповещали его о своих тайных замыслах. По возвращении Родольфа и эскайра все трое, объединенные общими интересами, вступили в тайный союз против Мэрфа, самого грозного их врага.

Глава XIV ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Случилось то, что должно было случиться.

По возвращении ко двору Родольф, ежедневно видя Сару, до безумия влюбился в нее. Вскоре и она призналась ему, что разделяет его чувства, которые, по ее словам, должны были принести им много горя. Они никогда не будут счастливы: слишком большое расстояние разделяет их. Поэтому она советовала Родольфу быть как можно осторожнее, чтобы не вызвать подозрений великого герцога, который будет неумолим и лишит их единственно возможного счастья — счастья видаться каждый день.

Родольф обещал следить за собой и скрывать свою любовь. Шотландка была слишком самолюбива, слишком уверена в себе, чтобы выдать, скомпрометировать себя в глазах двора. Юный принц и сам понимал, что они должны затаить свою любовь; он вел себя так же осторожно, как и Сара. И некоторое время влюбленные свято хранили свою тайну.

Когда же брат с сестрой увидели, что безумная страсть Родольфа дошла до предела и что с каждым днем ему все труднее сдерживать свои чувства, которые могли вырваться наружу и все погубить, они нанесли решительный удар.

Характер аббата допускал разговор начистоту, в котором ктому же не было ничего аморального; Том заговорил первый о необходимости брака Родольфа и Сары; иначе, добавил он вполне искренне, они с сестрой немедленно покинут Герольштейн. Сара разделяет любовь принца, но она может быть только женой принца: бесчестьем она предпочтет смерть.

Эти притязания ошеломили священника: ему и в голову не приходило, что Сара столь отважна и честлюбива. Такой брак с его препятствиями и бесчисленными опасностями показался аббату невозможным; и он откровенно изложил Тому те причины, по которым великий герцог никогда не согласится на союз наследного принца с Сарой.

Том понял эти причины, признал их важность и предложил в качестве *mezzo termine*⁸¹ — тайный брак, который станет достоянием гласности лишь после смерти великого герцога.

Сара принадлежала к старинному благородному роду; таких мезальянсов немало встречалось в истории. Том дал аббату, а следовательно, и принцу неделю на размышление; его сестра не выдержит дольше терзаний неизвестности; если ей суждено отказаться от любви Родольфа, она примет как можно скорее тягостное решение об отъезде.

Чтобы объяснить столь внезапный отъезд, утверждал Том, он отправил на всякий случай одному из своих английских друзей письмо, которое будет опущено в Лондоне и получено братом с сестрой в Герольштейне; в этом письме изложены достаточно веские причины, вменяющие в обязанность Тому и Саре временно покинуть двор великого герцога.

Благодаря своему дурному мнению о роде человеческого аббат на этот раз отгадал истину.

Он всегда искал подоплеку самых бескорыстных чувств и, узнав, что Сара хочет узаконить свою любовь, увидел в этом желании доказательство не добродетели, а честлюбия; вряд ли бы священник поверил бескорыстию Сары, даже если бы та пожертвовала своей честью ради Ро-

⁸¹ Временный выход из положения (*ит.*).

Родольфа, как он это думал сначала, предполагая, что она хочет стать любовницей его ученика. Согласно принципам аббата торговаться, ставить в любви превыше всего долг – значит не любить. Слаба и холодна любовь, говорил Полидори, если она тревожится о небе или о земле!

Убедившись, что он не ошибся касательно намерений Сары, аббат был озадачен. Впрочем, желание, выраженное Томом от имени сестры, было вполне добропорядочным. Чего он добивался? Разрыва или законного брака.

Несмотря на весь свой цинизм, священник не посмел бы усомниться в разговоре с Томом в добропорядочности тех побуждений, которые, казалось, лежали в основе его просьбы, и сказать ему без обиняков, что они с сестрой действовали весьма ловко, дабы навязать принцу этот мезальянс.

У аббата было три выхода: уведомить великого герцога об этом матримониальном заговоре, открыть глаза Родольфу на происки Тома и Сары, содействовать этому браку.

Но предупредить великого герцога значило навсегда восстановить против себя наследного принца.

Осведомить Родольфа о корыстных намерениях Сары значило встретить тот прием, который ожидает всякого, кто попытается унижить в глазах влюбленного предмет его страсти; да и какой жестокий удар он нанесет тщеславию и сердцу принца. Открыть ему, что любимая зарится не на него самого, а на его высокое положение?! Да и в какое странное положение попадает он, священник, осуждающий поведение девушки, которая желает остаться чистой и предоставить права любовницы только законному супругу?

Устроив же это бракосочетание, аббат привяжет к себе принца и его жену узами глубокой благодарности или по меньшей мере соучастия в опасном предприятии.

Конечно, все может открыться, и на него обрушится гнев великого герцога; но брак уже будет совершен и союз влюбленных вступит в свои права; пройдет время, и молодой монарх Герольштейна тем теснее сблизится с аббатом, чем больше будет риск, который тот возьмет на себя, чтобы услужить ему.

Итак, по зрелом размышлении аббат решил помочь Саре, правда, с некоторыми оговорками, о которых мы скажем ниже.

Страсть Родольфа достигла апогея; доведенный до крайности как необходимостью сдерживать свои порывы, так и обольстительным кокетством Сары, страдавшей, казалось, еще больше, чем он, из-за неодолимых препятствий долга и чести, которые стояли на пути к их блаженству, юный принц готов был ежеминутно выдать себя.

Подумать только, ведь это была его первая любовь, любовь пламенная и наивная, доверчивая и страстная; Сара прибегала, чтобы разжечь ее, к уловкам самого утонченного кокетства. Никогда еще целомудренная любовь юноши, исполненного великодушия, воображения, огня, не подвергалась столь долгим и столь умелым искушениям; ни одна женщина не была так коварно пленительна: то игрива, то печальна, то целомудренна, то пламенна, то застенчива, то вызывающе игрива; ее большие черные глаза, томные, искрометные, зажгли в пылкой душе Родольфа неугасимый пожар.

Когда аббат предложил ему навсегда расстаться с этой восхитительной девушкой или же вступить с ней в тайный брак, Родольф бросился ему на шею, назвал его своим спасителем, своим другом, своим отцом. Будь поблизости храм и священник, юный принц немедленно связал бы себя брачными узами.

Аббат пожелал, и не без основания, всем заняться самолично.

Он нашел пастора, свидетелей, и бракосочетание (за формальностями которого тщательно наблюдал Том) было совершено под покровом тайны, во время краткого отсутствия великого герцога, вызванного на собрание всегерманского парламента.

Предсказание шотландской крестьянки сбылось: Сара вышла замуж за наследника престола.

Не угасив пламенной страсти Родольфа, брак сделал юношу более осмотрительным и утишил ту необузданность, которая могла выдать тайну его любви к Саре. Молодая супружеская чета, охраняемая Томом и аббатом, жила так дружно и так умело скрывала свои отношения, что

они никем не были замечены.

В течение первых трех месяцев брака Родольф был счастливейшим из смертных; когда после первого угара страсти в права вступил разум и Родольф хладнокровно взглянул на свое положение, он не посетовал на то, что связал себя нерасторжимыми узами с Сарой, без сожаления отказался от той свободной, исполненной любви и неги жизни, о которой так горячо мечтал прежде, и стал строить вместе с женой радужные планы об их будущем царствовании.

В этой гипотетической дали роль премьер-министра, на которую зарился *in petto*⁸² аббат, потеряла всякое значение: эти важные функции Сара желала присвоить себе; она была натурой слишком властной, чтобы отказаться от претензий на главенство, и желала править страной вместо Родольфа.

Событие, нетерпеливо ожидаемое Сарой, вскоре превратило в бурю царящий при дворе покой.

Она забеременела.

Тогда у этой женщины появились новые требования, испугавшие Родольфа; она заявила ему, проливая притворные слезы, что не может больше выносить то ложное положение, в котором вынуждена жить, положение, ставшее еще тяжелее из-за ее беременности.

И она решительно предложила Родольфу во всем признаться великому герцогу. Конечно, говорила она, поначалу он вспылит, возмутится, но он так нежно, так слепо любит своего сына, так привязан к ней, Саре, что гнев его мало-помалу утихнет, и она займет наконец при Герольштейнском дворе надлежащий ей ранг, и, если так можно выразиться, займет его вдвойне, ибо родит ребенка наследнику престола.

Это притязание привело в ужас Родольфа: он знал, как глубоко любит его отец, но знал также и непреклонность великого герцога, если дело коснется обязанностей наследного принца.

На все эти возражения у Сары находился ответ.

«Я ваша жена перед людьми и богом. Вскоре я уже не смогу скрывать свою беременность, – жестко говорила она. – Я не хочу краснеть из-за положения, которым горжусь, и считаю себя вправе выражать свою гордость во всеуслышание».

Отцовство еще увеличило нежность, испытываемую Родольфом к Саре. Оказавшись между любовью к жене и боязнью прогневить отца, он испытывал щемящую душевную боль. Том стоял на стороне своей сестры.

«Брак нерасторжим, – говорил он своему высокородному зятю. – Единственное, что может сделать великий герцог, – это удалить вас и вашу жену из Герольштейна. Но он слишком любит вас, чтобы решиться на такую меру; он предпочтет примириться с тем, чему уже не может помешать».

Эти рассуждения, в общем-то вполне резонные, не успокоили тревоги Родольфа. Вскоре Том был направлен великим герцогом в Австрию для знакомства с тамошними конными заводами. Это поручение, от которого он не имел права отказаться, должно было занять не более двух недель; он уехал скрепя сердце в момент, когда решалась судьба его сестры.

Эта последняя была одновременно огорчена и довольна временным отсутствием брата; правда, она лишилась его советов, зато в случае, если бы их тайна открылась, Том избежал бы гнева великого герцога.

Сара обещала брату изо дня в день держать его в курсе дела, столь важного для них обоих. На тот случай, если бы их письма попали в чужие руки, они договорились о специальном шифре.

Сама эта предосторожность доказывала, что Сара писала брату отнюдь не о своей любви к Родольфу. В самом деле, ледяное сердце этой честолюбивой, эгоистичной женщины не растаяло в огне страстной любви, которую ей удалось разжечь.

Материнство было для Сары только одним из средств, помогавшим ей управлять Родольфом, оно ничуть не смягчило ее негибкого характера. Молодость, безумная любовь, неопытность принца, почти ребенка, коварно поставленного в безвыходное положение братом с сестрой, не слишком интересовали ее: в своей откровенной переписке с Томом она с презрением и

⁸² В глубине души (*int.*).

горечью жаловалась на слабость этого юнца, дрожавшего перед добродушнейшим из великих князей, который зажил на белом свете.

Словом, переписка брата с сестрой выдавала их корыстные, честолюбивые замыслы, их злое терпение и обнажало пружины темного заговора, приведшего к женитьбе Родольфа.

Несколько дней спустя после отъезда Тома Сара находилась в кругу вдовствующей герцогини.

Дамы с удивлением поглядывали на молодую женщину и перешептывались между собой.

Невзирая на свои девяносто лет, великая герцогиня Юдифь прекрасно видела и слышала, вот почему поведение придворных не ускользнуло от ее внимания. Она жестом подозвала одну из фрейлин и узнала таким образом, что мадемуазель Сара Сейтон оф Холсбери кажется им всем менее тонкой и стройной, чем обычно.

Престарелая герцогиня обожала свою юную протеже; она готова была бога призвать в свидетели непорочности Сары. Возмущенная этими недоброжелательными толками, она пожала плечами и сказала громко из конца в конец гостиной: «Дорогая Сара, послушайте!»

Сара встала.

Ей пришлось пересечь гостиную, дабы подойти к вдовствующей герцогине, которая из лучших чувств позвала ее, желая посрамить клеветников и воочию доказать им, что фигура ее протеже оставалась все такой же тонкой и грациозной.

Увы! Самый коварный недруг не придумал бы того, что придумала добросердечная дама, дабы защитить свою любимицу.

Сара приблизилась к ней. Потребовалось глубокое уважение, которым пользовалась великая герцогиня, чтобы все приближенные подавили шепот удивления и негодования, когда девушка проходила по гостиной.

Даже ненаблюдательные люди обнаружили то, что Сара не желала больше скрывать, хотя ее беременность была еще не слишком заметна; но честолюбивая женщина разыграла эту сцену, чтобы заставить Родольфа объявить о своей женитьбе.

Великая герцогиня все еще не могла поверить своим глазам.

«Дорогая детка, вы отвратительно одеты сегодня. Ведь у вас осиная талия, а из-за этого платья вы просто неузнаваемы».

Мы расскажем ниже о последствиях этого открытия, вызвавшего серьезные и даже грозные события в Герольштейне. Скажем заранее (читатель, вероятно, уже догадался об этом), что Певунья, иначе говоря, Лилия-Мария, была плодом несчастного брака Сары и Родольфа и что оба они считали ее умершей.

Читатель, верно, не забыл, что после посещения дома на улице Тампль Родольф вернулся к себе домой и что в тот же вечер он должен был отправиться на бал в посольство ***.

Мы последуем на это празднество за ныне царствующим великим герцогом Герольштейнским Густавом-Родольфом, путешествующим по Франции под именем графа фон Дюрена.

Глава XV БАЛ

В одиннадцать часов вечера швейцар в парадной ливрее распахнул ворота особняка на улице Плюме, откуда выехала роскошная карета, запряженная двумя великолепными лошадьми серой масти, с пышными гривами; на козлах, покрытых чехлом с шелковой бахромой, восседал огромного роста кучер, казавшийся еще внушительней из-за синего пальто на меху, украшенного по швам серебряной нитью, и с огромным кунным воротником; на запятках кареты стояли величественный лакей с пудренными волосами, в сине-желтой, расшитой серебром ливрее и егерь в мундире с серебряным позументом, как полковой барабанщик, в широкополой шляпе, наполовину скрытой пучком желтых и синих перьев, и с большими усищами.

Свет уличных фонарей озарял внутренность обитой атласом кареты, где можно было различить Родольфа, сидящего справа, рядом с ним барона фон Грауна, а лицом к нему верного

Мэрфа.

Из уважения к монарху, к послу которого Родольф ехал на бал, он прикрепил к своему фракку лишь осыпанный бриллиантами орден ***.

Эмалевый крест на оранжевой ленте командора ордена Золотого Орла Герольштейна поблескивал на груди сэра Вальтера Мэрфа; барон фон Граун надел тот же орден и, кроме того, огромное количество иностранных крестов, которые покачивались на золотой цепочке в промежутке между двумя первыми пуговицами его фрака.

– Меня очень порадовали хорошие вести, полученные от госпожи Жорж о моей молоденькой подопечной с букевальской фермы, – сказал Родольф. – Лечение Давида буквально сделало чудеса. Если бы не постоянная грусть этой бедной девочки, она была бы вполне здорова. Да, кстати, о Певунье: признайтесь, доблестный угольщик, – продолжал Родольф, улыбаясь, – если бы одна из ваших сомнительных знакомых в Сите увидела вас в этом парадном костюме, она была бы вне себя от удивления.

– Полагаю, монсеньор, вы вызвали бы не меньшую сенсацию, если бы пожелали отправиться сегодня вечером на улицу Тампль с кратким дружеским визитом к госпоже Пипле, чтобы немного развеять меланхолию бедного Альфреда, готового всем сердцем полюбить вас, как об этом говорила вашему высочеству достойная привратница.

– Монсеньор так великолепно изобразил нам Альфреда, его парадный зеленый костюм, бессменный цилиндр и менторский вид, – проговорил барон, – что я так и вижу, как он восседает в своей темной и закопченной привратничкой. Впрочем, смею надеяться, ваше величество, что вы удовлетворены указаниями моего тайного агента. Этот дом на улице Тампль, по-видимому, оправдал ваши ожидания?

– Да, – ответил Родольф, – я нашел там даже больше того, что ожидал.

Он ненадолго умолк, чтобы прогнать тягостные мысли, вызванные опасениями по поводу маркизы д'Арвиль.

– Должен признаться в своем ребячестве, – продолжал он более веселым тоном, я нахожу весьма пикантными эти различные роли: сперва я художник по раскраске вееров, сидящий в притоне на Бобовой улице, сегодня утром я коммивояжер, угощающий госпожу Пипле стаканчиком черносмородиновой наливки, а вечером один из тех, кто божией милостью царствует в этом дольном мире и, получая сорок экю процентов с капитала, говорит «мои доходы», словно какой-нибудь миллионер, – заключил в виде отступления Родольф, намекая на весьма скромные размеры своего государства.

– Мало кто из миллионеров, монсеньор, наделен таким редким, таким поразительным здравым смыслом, как ваш обладатель «сорока экю», – сказал барон.

– Вы слишком добры, мой милый фон Граун; право, вы мне льстите, – продолжал Родольф с наигранным смущением.

Тут барон посмотрел на Мэрфа взглядом человека, который понял слишком поздно, что сказал глупость.

– Дорогой фон Граун, – продолжал Родольф с невозмутимой серьезностью, – я, право, не знаю, как оправдать ваше доброе мнение обо мне, а главное, как отплатить за вашу любезность.

– Монсеньор, умоляю вас, не утруждайте себя, – проговорил барон, упустивший из виду, что Родольф беспощадно мстил за лесть, которой не выносил.

– Право, барон, я не желаю быть в долгу у вас; вот, к сожалению, то единственное, что я могу сказать в ответ: клянусь честью, вам можно дать самое большее двадцать лет; даже у Антиноя не было более пленительных черт лица, чем у вас.

– Прошу пощады, монсеньор!

– Взгляните на него, Мэрф: Аполлон Бельведерский и тот не сравнится с ним по изяществу и юношеской стройности фигуры.

– Монсеньор, я уже давно не делал такой глупости.

– А как ему идет эта пурпурная мантия!

– Монсеньор, больше со мной этого не случится.

– А золотой обруч, что удерживает, не скрывая их, завитки прекрасных черных волос,

спускающихся на его божественную шею.

– Пошады, пошады, монсеньор, я, право же, раскаиваюсь, – проговорил несчастный дипломат с комическим отчаянием.

(Читатель, конечно, не забыл, что у пятидесятилетнего барона были пудренные курчавые волосы с проседью, широкий белый галстук, худое лицо и очки в золотой оправе).

– Ей-богу, Мэрф, ему не хватает только серебряного колчана за плечами и лука в руке, чтобы походить на победителя Пифона.

– Я хочу взять его под защиту, монсеньор; не обременяйте его всей этой мифологией, – проговорил, смеясь, эсквайр, – готов поручиться, что отныне он воздержится от лести, если новый герольштейнский словарь толкует таким образом слово «правда».

– Как, и ты туда же, старый друг? В такую минуту ты смеешь?..

– Монсеньор, мне жаль несчастного барона, и я хочу разделить его участь.

– Дорогой придворный уголыщик, ваша преданность другу делает вам честь. Но, говоря серьезно, барон, как вы могли забыть, что я допускаю лесть только со стороны Харнейма и ему подобных? Скажу справедливости ради, что они неспособны говорить иначе: это как бы их визитная карточка; но человек с вашим вкусом и умом... фи, барон!

– Выслушайте меня, монсеньор, – решительно проговорил барон, – в вашем отвращении к похвалам есть немалая доля гордыни, да простит мне ваше высочество эти слова.

– Превосходно, барон, такой язык мне больше по душе! Объясните, что вы подразумеваете под этим.

– Такое же чувство, монсеньор, испытывает хорошенькая женщина, говоря своим воздыхателям: «Бог ты мой, мне и самой известно, что я очаровательна; ваши похвалы скучны, они мне набили оскомину. Зачем утверждать то, что очевидно? Кто станет кричать на улице: солнце – источник света!»

– Это замечание, барон, более остроумно и более опасно. Итак, чтобы продлить ваши муки, признаюсь вам, что чертов аббат Полидори и тот не сумел бы лучше скрыть яд лести.

– Монсеньор, я умолкаю.

– Значит, вы больше не сомневаетесь, ваше высочество, что под обликом шарлатана скрывается аббат Полидори? – серьезно спросил Мэрф.

– Не сомневаюсь, ведь вы были предупреждены, что он недавно обосновался в Париже.

– Я позабыл или, точнее, не хотел говорить вам о нем, монсеньор, – грустно заметил Мэрф, – я же знаю, как вам тягостно вспоминать об этом священнике.

Лицо Родольфа снова омрачилось; и, погруженный в печальные думы, он не сказал больше ни слова до того, как карета въехала во двор посольства.

Все окна этого огромного особняка ярко сияли в темноте ночи; лакеи в парадной ливрее стояли шпалерой от колоннады перед входом и передних до залов ожидания, где находились камердинеры: зрелище было величественное, царственное.

Граф *** с графиней любезно ожидали Родольфа в первом салоне, когда он появился в сопровождении эсквайра Мэрфа и барона фон Грауна.

В ту пору Родольфу было тридцать шесть лет; и хотя молодость его уже миновала, безупречная правильность черт лица и благожелательное достоинство, с которым он держался, невольно бросались в глаза, даже если бы его августейший ранг и не придавал блеска этим преимуществам.

Родольф, вошедший в первый салон посольства, казался другим человеком: в нем не было ничего от буяна с быстрой и решительной походкой, художника по расписке вееров и победителя Поножовщика; в нем не было ничего и от насмешника коммивояжера, с готовностью внимавшего невзгодам г-жи Пипле. Это был принц крови в самом высоком, поэтическом смысле слова.

У Родольфа прямая, гордая посадка головы; выющиеся каштановые волосы обрамляют его широкий, открытый, благородный лоб; взгляд у него ласковый, исполненный достоинства; когда он обращается к кому-нибудь с присущим ему остроумием, в его тонкой чарующей улыбке обнажаются два ряда жемчужных зубов, белизну которых оттеняют темные тонкие усы; такого же

цвета бакенбарды обрамляют безупречный овал его бледного лица вплоть до слегка выступающего вперед подбородка с ямочкой.

Родольф одет очень просто: белый жилет, белый галстук, сверкающий на груди усыпанный бриллиантами орден и синий фрак, который облегает его стройную, изящную, гибкую фигуру; наконец, мужественные, решительные манеры смягчают то, что могло бы показаться слащавым в его обаятельном облике. Родольф так редко бывал в свете и держался с такой царственной непринужденностью, что его прибытие вызвало сенсацию, взгляды всех собравшихся обратились к нему, когда он вошел в первый салон посольства в сопровождении Мэрфа и барона фон Грауна.

Атташе посольства, которому было поручено следить за его прибытием, тотчас же отправился предупредить графиню ***, и она вместе с мужем поспешила навстречу Родольфу.

– Не знаю, ваше высочество, как выразить вам мою признательность за любезность, какую вы оказали нам сегодня, почтив нас своим присутствием, – сказала графиня ***.

– Вы же знаете, графиня, что я всегда рад случаю засвидетельствовать вам свое почтение и выразить господину послу мою сердечную к нему привязанность; ведь мы с вами старые знакомые, граф.

– Вы очень добры, ваше высочество, что не забыли о нашем знакомстве и дали мне новый повод вспомнить о ваших милостях.

– Уверяю вас, граф, не моя вина в том, что иные воспоминания всегда живы у меня в памяти; я наделен счастливым даром не забывать того, что было у меня наиболее приятного в жизни.

– Право же, ваше высочество, это неоценимое преимущество, – заметила, улыбаясь, графиня ***.

– Не правда ли, сударыня? Вот почему спустя много лет я буду иметь удовольствие – очень надеюсь на это – напомнить вам сегодняшний день, а также вкус и редкостную изысканность, которые царят на этом балу... Ибо, скажу вам откровенно на ушко, вы одна умеете давать такие празднества.

– Монсеньор!..

– И это не все; скажите мне, господин посол, почему женщины кажутся у вас красивее, чем на других приемах?

– Потому, ваше высочество, что вы распространяете на них ту благосклонность, которую проявляете к нам.

– Разрешите не согласиться с вами, граф, мне кажется, что это полностью зависит от вашей жены.

– Не будете ли вы так добры, ваше высочество, объяснить мне этот феномен? – улыбаясь, спросила графиня.

– Все очень просто, сударыня; вы умеете принимать всех этих дам с такой безукоризненной учтивостью, с таким восхитительным радушием, вы говорите каждой из них что-нибудь такое приятное, лестное, что даже те женщины, которые не вполне... да, не вполне заслуживают столь любезных похвал, – сказал Родольф с лукавой улыбкой, – приходят в восторг от них, а те, что заслуживают таких комплиментов, бывают в не меньшем восторге из-за того, что вы сумели оценить их красоту. От этой невинной радости расцветают все лица; счастье делает привлекательными даже дурнушек, вот почему, графиня, дамы всегда кажутся у вас красивее, чем на других приемах. Уверен, что господин посол согласится со мной.

– Вы привели столько убедительных доводов в пользу своего мнения, ваше высочество, что я готов присоединиться к нему.

– Что до меня, монсеньор, я принимаю ваше объяснение с благодарностью и удовольствием, словно это правда, а не лесть, хотя и рискую стать такой же хорошенькой, как те женщины, которые не вполне, да, не вполне заслуживают похвал.

– Чтобы убедить вас, сударыня, в истинности моих слов, давайте понаблюдаем за действием комплиментов на выражение лиц присутствующих дам.

– Но, монсеньор, можно ли расставлять им такую ловушку?! – возразила, смеясь, графиня.

– Хорошо, сударыня, я отказываюсь от своего намерения, но при условии, что вы разреши-

те предложить вам руку. Я слышан о некоем волшебном саде, цветущем в январе месяце... Не будете ли вы так добры показать мне это чудо из «Тысячи и одной ночи»?

— С величайшим удовольствием, ваше высочество; но то, что вы слышали о нашем саде, сильно преувеличено. Впрочем, вы сами будете судить о нем, если только ваша обычная снисходительность не введет вас в заблуждение.

Родольф предложил руку графине *** и прошел вместе с ней в другие салоны, в то время как посол беседовал с бароном фон Грауном и с Мэрфом, с которыми был давно знаком.

Глава XVI ЗИМНИЙ САД

Трудно было бы найти что-нибудь более феерическое, более достойное сказок «Тысячи и одной ночи», чем зимний сад, о котором Родольф говорил с графиней ***.

Представьте себе великолепную галерею, откуда вы попадаете на площадку сорока туазов длины и тридцати ширины, над которой навис застекленный, словно невесомый свод, достигающий пятидесяти футов от пола. Зеркальные стены этой площадки в форме параллелограмма, в глубине которых как бы пересекаются крохотные зеленые ромбы камышовых трельяжей, напоминают благодаря игре света и тени ажурную беседку; вдоль стен выстроились апельсиновые деревья и кусты камелии, не уступающие по размерам тем, что находятся в Тюильри; первые усыпаны плодами, сверкающими, как золотые яблоки, среди глянцевиной темно-зеленой листвы, вторые пестрят пурпурными, белыми и розовыми цветами.

Но это лишь обрамление сада.

Пять или шесть куп деревьев и кустов, привезенных из Индии и тропиков, растут в глубоких впадинах, вокруг которых петляют аллеи, выложенные прелестной ракушечной мозаикой; аллеи эти достаточно широки, чтобы три-четыре человека могли гулять по ним, взявшись за руки.

Невозможно описать впечатление, которое производила в разгар зимы, и притом среди бала, эта роскошная экзотическая растительность.

Здесь огромные банановые деревья почти достигают вершины застекленного свода, смешивая свои широкие лоснящиеся листья с остроконечными листьями огромных магнолий, где уже расцветают прекрасные душистые цветы, из чашечек которых, пурпурных сверху и серебристых внутри, торчат золотые тычинки; дальше растут финиковые пальмы Леванта, красные вереники, индийские смоковницы; все эти густолиственные, мощные деревья как бы дополняют буйство окружающей их пышной яркой зелени, которая словно позаимствовала свое великолепие у изумруда, ибо ее крепкие, плотные и гладкие побеги приобретают иной раз искрометные металлические оттенки.

А каких только здесь нет вьющихся растений! Они карабкаются по трельяжам гирляндами цветов и листьев, повисают между апельсиновыми и иными деревьями, спиралью взбираются по их стволам и, образуя непроходимую чашу, поднимаются до верха застекленного свода; страстоцветы, прозванные крылатыми, кавалерники, усыпанные большими пурпурными цветами в голубых прожилках с лиловато-черным пестиком, ниспадают оттуда гигантскими каскадами, цепляясь своими тонкими усиками за стреловидные листья алоэ, точно снова хотят подняться ввысь.

Пушистый индийский жасмин с удлиненными светло-желтыми цветами переплелся с другой лианой, покрытой сочными белыми цветами, которые распространяют вокруг пряный аромат; обе они, не разжимая объятий, украшают своей зеленой бахромой с золотыми и серебряными колокольчиками листья индийской смоковницы.

Дальше взвиваются и зелеными струями падают вниз бесчисленные побеги ласточника, чьи листья и зонтичные цветы по двадцати звездочек в каждом так компактны и глянцевиты, что их можно принять за букеты из розовой эмали, окруженные маленькими зелеными листочками.

Купы деревьев и кустов окружены бордюрами трансваальского вереска, голландских тюльпанов, константинопольских нарциссов, персидских гиацинтов, цикламенов, ирисов, обра-

зующими нечто вроде естественного ковра, где соседствуют во всем своем великолепии самые разнообразные краски и оттенки.

Наполовину скрытые среди листвы китайские фонарики из прозрачного шелка, одни голубые, другие бледно-розовые, освещают зимний сад.

Невозможно описать таинственный мягкий свет, создаваемый их лучами, свет пленительный, сказочный, который напоминает голубоватую прозрачность ясной летней ночи и алые отблески северной зари.

В эту огромную теплицу ведет приподнятая над ней длинная галерея, сверкающая золотом, зеркалами, хрусталем, сияние которой обрамляет, если так можно выразиться, сумеречный сад, где неясно вырисовываются высокие деревья, видимые в ее широкие просветы, наполовину затянутые малиновым бархатом.

Заглянув в один из них, можно подумать, что перед вами расстилается среди спокойной светлой ночи экзотический пейзаж.

Если же смотреть из глубины сада, где под сенью зелени и цветов стоят огромные диваны, галерея являет собой резкий контраст с мягким полумраком оранжереи.

Глаз различает, как в окутывающей их золотистой дымке играют и переливаются, словно на ожившей картине, разнообразные красочные ткани женских платьев, как искрятся бриллианты и другие драгоценные камни.

Звуки оркестра, ослабленные расстоянием и веселым, невнятным шумом галереи, замирают в неподвижной листве высоких экзотических деревьев.

Прогуливаясь по этому саду, гости невольно понижали голос, слышался лишь звук легких шагов и шуршание атласных платьев; этот воздух, одновременно легкий, теплый и напоенный запахом множества благовонных растений, эта тихая, далекая музыка погружали вас в сладостный душевный покой.

Сидя на обитом шелком диване в укромном уголке этого Эдема, двое счастливых влюбленных, опьяненные страстью, гармонией и ароматами, не могли бы найти более волшебной рамки для своей пламенной и недавно зародившейся любви, ибо, увы, месяц или два законного спокойного счастья беспощадно превращает двух любовников в холодную супружескую чету.

Войдя в этот восхитительный зимний сад, Родольф невольно вскрикнул от удивления.

– Право, сударыня, я никогда не подумал бы, что подобное чудо возможно. Этот сад не только воплощение роскоши и вкуса, он – сама поэзия; вместо того чтобы писать поэмы или картины, как крупный мастер, вы создаете то, о чем они вряд ли осмелились бы мечтать, – сказал он графине ***.

– Вы очень любезны, ваше высочество.

– Признайтесь же, сударыня, что мастер, который сумел бы передать эту чарующую картину с ее поразительными красками и контрастами, то ласкающими глаз, то навевающими сладостный покой, признайтесь же, что такой художник или поэт создал бы замечательное произведение искусства, лишь воспроизведя то, что сотворили вы.

– Похвалы, подсказанные снисходительностью вашего высочества, тем более опасны, что они очаровывают тебя своим остроумием и ты помимо воли внимаешь им с огромным удовольствием. Но взгляните, монсеньор, на эту прелестную молодую женщину. Согласитесь, ваше высочество, что маркиза д'Арвиль хороша в любой рамке. Сколько в ней изящества! Разве она не выигрывает по сравнению с холодной красавицей, которая сопровождает ее?

Графиня Сара Мак-Грегор и маркиза д'Арвиль как раз спускались по ступеням, которые вели из галереи в зимний сад.

Глава XVII СВИДАНИЕ

Лестные отзывы графини *** о г-же д'Арвиль не были преувеличены.

Не хватает слов, чтобы передать тонкую, пленительную красоту этой женщины, находившейся во цвете лет, красоту, тем более редкостную, что она заключалась не столько в правиль-

ности черт лица, сколько в невыразимой его прелести, которая как бы скромно пряталась за трогательным выражением доброты.

Мы делаем упор на слова «доброта», ибо обычно не доброта ценится в лице двадцатилетней женщины, красивой, остроумной, окруженной поклонением и любовью, как г-жа д'Арвиль, которая невольно привлекала сердце своим мягким, бесхитростным характером, не вязавшимся с успехом, которым она пользовалась в свете, отчасти, надо признаться, из-за родовитости и богатства мужа.

Попробуем пояснить эту мысль.

Натура слишком гордая, слишком одаренная, чтобы кокетством завлекать мужчин, г-жа д'Арвиль бывала так чистосердечно тронута их вниманием, словно не вполне заслуживала его; внимание это пробуждало в ней не гордость, а радость; равнодушная к похвалам, она ценила превыше всего доброе к себе отношение и прекрасно умела отличить лесть от проявления искренней приязни.

Наделенная ясным, тонким, а порой и лукавым умом, она умела беззлобно высмеять множество самодовольных людей, которые постоянно выставляют напоказ одни свою благодушную физиономию счастливых дураков, другие – надутую физиономию спесивых глупцов... «Эти люди, – шутиливо говорила г-жа д'Арвиль, – проводят жизнь как бы танцуя в одиночку перед невидимым зеркалом и сочувственно улыбаясь ему».

Зато застенчивые, сдержанные, самолюбивые люди вызывали неизменный интерес г-жи д'Арвиль.

Это краткое вступление поможет читателю понять все своеобразие красоты маркизы.

У нее безукоризненный цвет лица с нежным румянцем; длинные локоны светло-каштановых волос касаются округлых плеч, крепких и гладких, как белый мрамор. Невозможно описать ангельскую прелесть ее больших серых глаз, опущенных длинными черными ресницами. Алый рот ее так же выразителен, как и чарующий взгляд, а трогательному, душевному разговору вторит ласковое и грустное выражение лица. Не будем говорить ни об ее безупречной фигуре, ни о редкой изысканности всего ее облика. В тот вечер на маркизе было платье из белого крепа, украшенное веточкой камелии, в чашечке которой сверкали, наподобие капель росы, полускрытые в ней бриллианты; венок таких же цветов осенял ее чистый белый лоб.

Холодная красота графини Мак-Грегор еще больше подчеркивала обаяние и женственность маркизы д'Арвиль.

В свои тридцать пять лет Сара казалась самое большее тридцатилетней. Нет ничего полезнее для тела, чем холодный эгоизм; человек долго сохраняет молодость с этим куском льда в груди.

Иные сухие, черствые души не доступны волнениям, от которых изнашивается и блекнет лицо, они ощущают лишь уколы уязвленной гордости или обманутого честолюбия – огорчения, которые не слишком влияют на здоровье тела.

Моложавость Сары лишь подтверждает наши слова.

Если не считать известной полноты, которая придавала ее фигуре, менее стройной, чем у г-жи д'Арвиль, сладострастную томность, Сара блистала свежестью молодости; мало кто мог выдержать обманчивый огонь сверкающих черных глаз графини, но влажные губы выдавали ее решительную и плотоядную натуру.

Голубоватые жилки на висках и шее проступали сквозь молочную белизну ее тонкой, словно прозрачной, кожи.

На графине Мак-Грегор было муаровое платье соломенного цвета и в тон ему шелковая туника; простой венок из вечнозеленых листьев, оттенком напоминающих бирюзу, прекрасно гармонировал с ее черными как смоль волосами, разделенными на прямой пробор. Эта строгая прическа придавала нечто античное властному и чувственному профилю этой женщины с орлиным носом.

Немало людей, введенных в заблуждение собственной внешностью, рассматривают ее как явное доказательство своего будущего призвания. Один находит у себя чрезвычайно воинственный вид, он воюет; другой – вид поэта, он слагает стихи; третий – вид конспиратора, он конспи-

рирует; четвертый – вид политика, он политиканствует; пятый – вид проповедника, он проповедует. Сара находила, и не без основания, что у нее царственный вид, и, поверив некогда предсказаниям кормилицы, была по-прежнему убеждена в своей высокой судьбе.

Спускаясь по ступенькам лестницы в зимний сад, маркиза с Сарой увидели там Родольфа; но герцог, очевидно, не заметил их, ибо находился на повороте аллеи.

– Герцог так увлечен разговором с супругой посла, – сказала г-жа д'Арвиль, – что даже не обратил на нас внимания...

– Вы ошибаетесь, дорогая Клеманс, – возразила графиня, которая была близкой приятельницей г-жи д'Арвиль, – герцог прекрасно видел нас, но он меня боится... Его неприязнь ко мне так и не прошла.

– Я отказываюсь понимать то упорство, с которым он избегает вас; я часто журила его за столь странное поведение с таким давним другом. «Мы с графиней Сарой смертельные враги, – ответил он шутливо, – я дал обет никогда не, разговаривать с ней, и, по-видимому, обет этот священный, если я отказываю себе в удовольствии беседовать с такой любезной особой». И хотя, дорогая Сара, слова герцога удивили меня, пришлось удовлетвориться ими.⁸³

– Уверяю вас, что причина нашей жестокой ссоры, ссоры полусутоличной, полусерьезной, самая невинная; если бы в этом деле не было замешено третье лицо, я давным-давно открыла бы вам эту великую тайну. Но что с вами, дорогое дитя? Вы чем-то озабочены?

– Пустяки... в этой галерее было так жарко, что у меня разболелась голова; давайте посидим здесь, и, надеюсь, моя головная боль пройдет...

– Вы правы, вот как раз уединенный уголок, где вы будете скрыты от глаз тех, кого опечалит ваше отсутствие... – заметила Сара, улыбаясь и делая ударение на последних словах.

Обе дамы сели на диван.

– Я сказала «тех, кого опечалит ваше отсутствие», дорогая Клеманс... Вы должны быть благодарны мне за сдержанность.

Молодая женщина слегка покраснела, опустила голову и ничего не сказала в ответ.

– Вы слишком сдержанны со мной, – проговорила Сара тоном дружеского упрека. – Разве вы не доверяете мне, детка? Да, для меня вы девочка, ведь я вам в матери гожусь.

– Как вы могли подумать, что я не доверяю вам? – с грустью молвила маркиза. – Разве я не сказала вам того, в чем не смела признаться самой себе?

– Превосходно. Так что же... давайте поговорим о нем, значит, вы решили довести его до отчаяния, до самоубийства?

– Ах! – с ужасом воскликнула г-жа д'Арвиль. – Что вы такое говорите?

– Вы еще не знаете его, бедное дитя!.. Он человек с холодным, решительным характером, для которого жизнь мало что значит. Он был всегда очень несчастлив... и можно подумать, что вас забавляет мучить его.

– Боже мой, как вы могли это подумать?

– Быть может, сами того не желая, вы мучаете его... О, если бы вы знали, как впечатлительны, как болезненно чувствительны те, кого нещадно била жизнь! Послушайте, я только что видела слезы на его глазах.

– Возможно ли?!

– Да... и это среди бела дня; он рискует стать посмешищем, если его тяжкое горе будет замечено в свете. Поверьте, надо очень любить, чтобы так страдать... и, главное, даже не пытаться скрыть своих страданий!..

– Умоляю, не говорите со мной об этом, – растроганно молвила г-жа д'Арвиль, – вы глубоко огорчили меня... Я и сама прекрасно знаю это выражение мягкой и безропотной скорби... Увы, меня погубила жалость к нему, – невольно вырвалось у г-жи д'Арвиль.

Сара сделала вид, что не поняла значения этих последних слов.

– Не преувеличивайте!.. – сказала она. – Считать себя погибшей из-за того, что вы прини-

⁸³ Любовь Родольфа к Саре и последовавшие за ней события, случившиеся 17–18 лет тому назад, не стали достоянием светских сплетен: Родольф и Сара были одинаково заинтересованы в том, чтобы скрыть их.

маете ухаживания мужчины, который по своей скромности, сдержанности даже не хочет быть представленным вашему мужу из боязни скомпрометировать вас, ибо господин Шарль Робер человек чести! А сколько в нем такта, сердечности. Я с такой горячностью защищаю его, потому что вы познакомились с ним в моем доме и у меня с ним встречались. Уважение, которое он питает к вам, так же велико, как и его привязанность...

– Я никогда не сомневалась в его душевных качествах: вы так много говорили о нем хорошего!.. Но особенно тронули меня его несчастья.

– Признайтесь же, что он заслуживает и оправдывает это участие... Да к тому же разве такое прекрасное лицо не есть отражение великой души? Со своим высоким ростом, стройным станом он напоминает мне рыцарей средних веков. Я видела его однажды в военной форме: какой у него был величественный вид! Если бы принадлежность к дворянству зависела от достоинств и внешности человека, он был бы не господином Шарлем Робером, а князем или пэром. С каким блеском он мог бы представлять знатнейшие фамилии Франции!

– Вы знаете, Сара, что родовитость весьма мало трогает меня; не вы ли упрекали меня в том, что я республиканка? – заметила с улыбкой г-жа д'Арвиль.

– Конечно, я всегда считала, как и вы, что господин Шарль Робер не нуждается в титулах, чтобы пленять сердца; а как он музыкален, какой у него дивный голос! Как он скрашивал наши утренние домашние концерты! Помните тот день, когда вы впервые спели с ним дуэт? Сколько экспрессии, сколько чувства он вкладывал в свою партию!..

– Пожалуйста, – сказала г-жа д'Арвиль после долгой паузы, – переменим тему разговора.

– Почему?

– Меня очень опечалили ваши слова о его мрачном настроении.

– Уверяю вас, что в порыве отчаяния человек с таким горячим, страстным темпераментом может найти в смерти конец своим...

– О, умоляю вас, замолчите, замолчите! – воскликнула г-жа д'Арвиль, прерывая Сару. – Впрочем, такая мысль и мне приходила в голову.

Опять наступила пауза.

– Прошу вас, давайте поговорим о ком-нибудь другом... хотя бы о вашем смертельном враге, продолжала маркиза с наигранным весельем, – да, поговорим о герцоге, которого я давно не видела. Знаете, он обаятельнейший человек, Несмотря на свой почти королевский титул. Хотя я и республиканка, но считаю, что в обществе мало таких обворожительных мужчин, как он.

Сара украдкой бросила на г-жу д'Арвиль испытующий, подозрительный взгляд.

– Признайтесь, дорогая Клеманс, – оживленно заметила она, – что вы очень непостоянны. Вспомните, ваш интерес к герцогу не раз уступал место странной к нему неприязни; несколько месяцев тому назад, когда он только что приехал в Париж, вы были в таком восторге от него, что, говоря между нами... я испугалась за покой вашего сердечка...

– Зато благодаря вам, – проговорила с улыбкой г-жа д'Арвиль, – мой интерес к нему был недолговечен, вы прекрасно сыграли роль его смертельного врага, вы сделали мне такие признания о герцоге... что, сознаюсь вам, охлаждение сменило былой интерес, из-за которого вы опасались за покой моего сердца; кстати сказать, он и не думал нарушать его: незадолго до ваших признаний герцог, продолжавший по-дружески посещать моего мужа, почти совсем отказался от чести наносить мне визиты.

– Скажите, вашего мужа как будто нет на этом празднестве? – спросила Сара.

– Нет, он не пожелал выезжать сегодня, – смущенно ответила г-жа д'Арвиль.

– Мне кажется, он все меньше и меньше бывает в свете?

– Да... иногда он предпочитает оставаться дома.

Маркиза была в явном замешательстве, и Сара заметила это.

– В последний раз, когда я видела его, он показался мне побледневшим.

– Да... Ему немного нездоровилось...

– Скажите, дорогая Клеманс, хотите, я буду вполне откровенна с вами?

– Прошу вас...

– Когда разговор заходит о вашем муже, вы впадаете в какое-то странное беспокойство.

– Я... Откуда вы это взяли?

– Видите ли, на вашем личике появляется... Боже мой, как бы это выразить поточнее... Нечто вроде... боязливого отвращения.

Сара с ударением произнесла последние слова, как бы стараясь проникнуть в мысли Клеманс.

Сначала г-жа д'Арвиль противопоставила инквизиторскому взгляду Сары безучастно-холодное выражение лица, однако последняя уловила нервное, еле заметное подергивание нижней губы молодой женщины.

Не желая продолжать свой допрос из боязни вызвать недоверие подруги, графиня поспешила заметить, чтобы сбить ее с толку;

– Да, нечто вроде боязливого отвращения, какое внушает обыкновенно ревнивый ворчун.

При этом объяснении легкое подергивание нижней губки г-жи д'Арвиль прекратилось: она испытала, видимо, огромное облегчение.

– Да нет же, *мой муж* не ревнивец и не ворчун...

Наступила пауза, видимо, маркиза искала предлога переменить неприятный ей разговор.

– Боже мой! А вот и этот несносный герцог де Люсене, один из друзей моего мужа... Только бы он не заметил нас! Откуда он взялся? Я полагала, что он за тридевять земель отсюда.

– В самом деле, поговаривали о том, будто он уехал на Восток, на год или два; а между тем прошло едва пять месяцев, как он покинул Париж. Это внезапное появление должно было немало расстроить герцогиню де Люсене, хотя герцог и не слишком навязчивый муж, – проговорила Сара с недоброй усмешкой. – Впрочем, не только ее огорчит это досадное возвращение... Господин де Сен-Реми разделит ее горе.

– Не надо злословить, дорогая Сара; скажите лучше, что... все будут недовольны его возвращением... Господин де Люсене настолько неприятный человек, что вы могли отнести это, замечание ко всем нам.

– Я не злословлю, нет!.. Я только передаю то, что слышала. Говорят, кроме того, что господин де Сен-Реми, этот законодатель мод, который покорила все светское общество своим великолепием, почти разорен, хотя и продолжает вести столь же роскошный образ жизни; зато госпожа де Люсене несметно богата.

– Какой ужас!..

– Повторяю, я передаю лишь то, что говорят другие... Боже мой! Герцог нас заметил. Он направляется к нам, придется смириться. Какая досада, я не знаю человека более несносного, чем он. Порой он держится так вульгарно, так громогласно хохочет над своими глупыми анекдотами, поднимает такой шум, что у собеседника голова идет кругом; если у вас имеется флакон или веер, которыми вы дорожите, смело защищайте их от его посягательств, ибо он ломает все, к чему ни прикоснется, и делает это с видом бесшабашным и самодовольным.

Герцог де Люсене принадлежал к одному из знатнейших родов Франции; человек еще не старый, с лицом, которое могло бы показаться приятным, если бы не причудливый, непомерной длины нос, герцог с его порывистым, неусидчивым характером, громким голосом и оглушительным смехом отличался к тому же шутками такого сомнительного свойства, выходками столь бесцеремонными и неожиданными, что приходилось постоянно вспоминать о его титуле, дабы не удивляться, встречая его в самом изысканном обществе, и не осуждать тех, кто терпеливо сносил свойственные ему эксцентричные выходки, которые пользовались всепрощением и безнаказанностью благодаря давней к ним привычке. И все же от него бежали как от чумы, хотя он и не был лишен остроумия, проглядывавшего иной раз в потоке его слов. Он был одним из тех людей, которых так и подмывает натравить на самых смешных или ненавистных вам субъектов.

Поведение г-жи де Люсене, одной из обаятельнейших и модных парижанок, хотя ей уже стукнуло тридцать, нередко служило причиной сплетен; но в свете готовы были извинить ее за легкомыслие из-за странностей супруга.

Упомянем еще одно неприятное свойство герцога – несдержанность и немыслимый цинизм при упоминании о нелепых болезнях или немыслимых увечьях, которые он приписывал людям смеха ради и тут же при всем обществе во всеуслышание выражал им свое соболезнование. Как

человек безупречно смелый, он был готов искупить свои оскорбительные выходки и не раз наносил и получал сабельные удары, что, однако, не послужило ему к исправлению.

Предупредив обо всем этом читателя, мы дадим ему послушать, что говорит своим крикливым, пронзительным голосом г-н де Люсене, который, едва завидев г-жу д'Арвиль и Сару, возопил:

– Вот те на, вот те на! Что это такое! Что я вижу? Как, самая хорошенькая женщина на балу держится в стороне от общества! Да разве это допустимо? Я вовремя вернулся от антиподов, чтобы положить конец этому скандалу! Предупреждаю, если вы, маркиза, будете избегать всеобщего восхищения, я закричу во всю глотку, я объявлю об исчезновении лучшего украшения этого праздника!

В заключение своей тирады г-н де Люсене развалился на диване рядом с маркизой; после чего он закинул левую ногу на правую и схватился рукой за свой башмак.

– Как, сударь, вы уже вернулись из Константинополя? – проговорила г-жа д'Арвиль, нетерпеливо отодвигаясь от герцога.

– Уже! Вы говорите то, что подумала моя жена, уверен в этом, ибо она не пожелала сопровождать меня сегодня вечером в честь моего возвращения в свет. Вот и приезжайте невзначай к своим друзьям, чтобы они обдавали вас таким холодным душем!

– Почему бы вам было не проявлять своей любезности... там, откуда вы приехали? – проговорила г-жа д'Арвиль с полуулыбкой.

– Иначе говоря, оставаться в отсутствии, не так ли? Какие мерзости, какие гадости вы говорите! – вскричал г-н де Люсене, ставя ноги на пол и ударяя по своей шляпе, словно по баскскому барабану.

– Ради всего святого, сударь, не кричите так громко и сидите смирно, иначе вы вынудите нас уйти отсюда, – с досадой молвила г-жа д'Арвиль.

– Превосходно, значит, вы хотите опереться на мою руку и пройти по галерее?

– С вами? Нет, конечно. Будьте осторожны, прошу вас, не трогайте этого букета, умоляю, оставьте в покое и мой веер, – не то сломаете его по своему обыкновению.

– Какие пустяки! Поверьте, я и так сломал их немало, особенно хорош был один, китайский, который госпожа де Водемон подарила моей жене.

Произнося эти успокоительные слова, г-н де Люсене теребил густые стебли ползучего растения. Дело кончилось тем, что оно оторвалось от дерева, служившего ему опорой, и рухнуло на герцога.

Из-под этого зеленого покрова раздались взрывы смеха, да такие безумные, визгливые, оглушительные, что г-жа д'Арвиль сбежала бы от своего несносного соседа, если бы не заметила в эту минуту г-на Шарля Робера («офицера», как называла его г-жа Пипле), который направлялся к ним с противоположного конца аллеи. Могло показаться, будто она идет ему навстречу, и, испугавшись этого, молодая женщина осталась рядом с г-ном де Люсене.

– Скажите, госпожа Мак-Грегор, ведь я в точности походил на бога Пана, на наяду, лешего, дикаря под обрушившейся на меня листвой? – спросил г-н де Люсене, обращаясь к Саре, возле которой он неожиданно очутился. – Кстати, о дикаре, я должен рассказать вам чрезвычайно неприличную историю... Представьте себе, что на Таити...

– Герцог, – ледяным тоном прервала его Сара.

– Так вот же, я не расскажу вам этой истории; поберегу ее для госпожи де Фонбон, она как раз идет к нам.

Это была пятидесятилетняя коротышка, очень претенциозная и очень смешная, с тройным подбородком, которая вечно закатывала глаза, говоря о своей душе, о томлении своей души, о запросах своей души, о порывах своей души. В этот вечер на ее голове красовался безвкуснейший тюрбан из ткани медного цвета в мелкий зеленый горошек.

– Я оставляю свою историю для госпожи де Фонбон, – воскликнул, герцог.

– В чем дело, герцог? – спросила г-жа де Фонбон, жеманясь, воркуя и подмаргивая, как говорят в народе.

– А дело в том, сударыня, что эта история в высшей степени неприличная, непристойная и

ни с чем не сообразная.

– Ах, боже мой! Но кто же посмеет... рассказать ее? Кто же позволит себе?..

– Я, сударыня; моя история вогнала бы в краску даже старика Шамборана. Но я знаю ваши вкусы... Послушайте-ка...

– Сударь...

– Так нет же, вы не услышите моей истории, не услышите! И знаете из-за чего? Вы обычно так хорошо одеваетесь, с таким вкусом, с таким изяществом, а сегодня вечером на вас тюрбан, похожий, разрешите сказать, на старую форму для торта, изъеденную ярь-медянкой.

И герцог громко расхохотался.

– Если вы приехали с Востока для того, чтобы возобновить ваши дурацкие выходки, которые прощаются вам лишь потому, что голова у вас не в порядке, – раздраженно проговорила толстуха, – все пожалеют о вашем возвращении, сударь.

И она величественно удалилась.

– Как мне хочется сбросить тюрбан с этой противной жеманницы! – сказал г-н де Люсене. – Прямо руки чешутся, но я уважаю ее: она одинока на белом свете... Ха-ха-ха! А вот и господин Шарль Робер, – воскликнул г-н де Люсене, – я встречал его на пиренейских водах... Он поразительный малый, поет как лебедь. Увидите, маркиза, как я его разыграю. Хотите, я вам представлю его?

– Сидите смирно и оставьте нас в покое, – сказала Сара.

Пока Шарль Робер медленно шел по аллее, делая вид, что любит оранжерейными цветами, г-н де Люсене ловко завладел флаконом Сары и в полном молчании, с чрезвычайным усердием старался отвинтить пробку этой прелестной вещицы.

Господин Шарль Робер подходил все ближе; его высокая фигура была безукоризненно пропорциональна, черты лица отличались редкой правильностью, костюм исключительной элегантностью; однако его лицу и манерам не хватало изящества, обаяния, изысканности; походка была напряженная, чопорная, руки и ноги большие и неуклюжие. Как только он увидел г-жу д'Арвиль, незначительность его лица сразу исчезла, сменившись глубокой меланхолией, слишком внезапной, чтобы ее нельзя было заподозрить в наигранности; однако сделано это было безупречно. Вид у г-на Робера был такой несчастный, такой безутешный, когда он подходил к г-же д'Арвиль, что она невольно подумала о зловещих словах Сары насчет трагического шага, на который может толкнуть его любовь.

– Ба, да это вы, сударь, здравствуйте! – обратился к нему г-н де Люсене. – Я не имел удовольствия видеть вас со времени нашей встречи на пиренейских водах. Но что это с вами? Вид у вас совершенно больной!

Тут г-н Шарль Робер бросил долгий горестный взгляд на г-жу д'Арвиль и ответил герцогу с подчеркнутой печалью в голосе:

– Я и в самом деле болен, сударь.

– Боже мой, боже мой, вы так и не смогли отделаться от своих утренних рвот? – спросил г-н де Люсене с видом искреннего участия.

Вопрос этот был столь неожидан, столь нелеп, что на мгновение г-н Шарль Робер растерялся; затем лоб его покраснел от гнева и он ответил г-ну де Люсене, твердым, отрывистым голосом:

– Если вас так интересует мое здоровье, сударь, я надеюсь, что вы завтра же зайдете справиться о нем?

– Ну конечно, мой милый... конечно, завтра же пришлю к вам... – высокомерно ответил герцог.

Сделав полупоклон, г-н Шарль Робер удалился.

– Забавнее всего, что он так же здоров, как турецкий султан, – сказал г-н де Люсене, снова развалившись на диване рядом с Сарой, – если только я не попал в точку, сам того не подозревая. Скажите-ка, госпожа Мак-Грегор, разве у этого молодца такой вид, словно его рвет по утрам?

Сара резко повернулась спиной к г-ну де Люсене, ничего ему не ответив.

Вся эта сцена разыгралась с молниеносной быстротой.

Сара с трудом подавила взрыв смеха.

Госпожа д'Арвиль жестоко страдала, думая о тягостном положении человека, которому был задан столь нелепый вопрос в присутствии любимой женщины; она пришла в ужас при мысли о возможной дуэли и под влиянием необоримого чувства жалости неожиданно встала, взяла под руку Сару и догнала г-на Шарля Робера, который был вне себя от гнева.

– Завтра в час дня... я приду... – сказала она тихо проходя мимо него.

Затем она вернулась с графиней на галерею и покинула бал.

Глава XVIII АНГЕЛ МОЙ, КАК ТЫ ПОЗДНО ПРИЕХАЛА!

Отправляясь на это празднество, чтобы выполнить долг вежливости, Родольф намеревался выяснить, кроме того, насколько обоснованны его опасения относительно г-жи д'Арвиль, и узнать, была ли она героиней рассказа г-жи Пипле.

Покинув вместе с графиней *** зимний сад, Родольф напрасно обошел несколько салонов в надежде встретить г-жу д'Арвиль. Он возвращался в оранжерею, когда, задержавшись на первой ступеньке лестницы, оказался свидетелем мимолетной сцены, которая произошла между г-жой д'Арвиль и г-ном Шарлем Робером после отвратительной шутки герцога де Люсене. Родольф заметил многозначительные взгляды, которыми они обменялись. Предчувствие подсказало ему, что этот высокий красивый молодой человек и есть тот самый офицер, о котором ему говорила г-жа Пипле. Желая убедиться в этом, он вернулся в галерею.

Оркестр заиграл вальс; вскоре он увидел г-на Шарля Робера, стоявшего в проеме одной из дверей. Казалось, он был вдвойне доволен – и своим ответом г-ну де Люсене (Шарль Робер был человеком весьма храбрым, несмотря на свои причуды), и свиданием, которое назначила ему на следующий день г-жа д'Арвиль: он был уверен, что на этот раз она не обманет его.

Родольф разыскал Мэрфа.

– Видишь высокого блондина вон там, среди кучки людей?

– Господина, явно довольного самим собой? Да, монсеньор.

– Незаметно подойди к нему и скажи так тихо, чтобы он один услышал тебя: «Ангел мой, как ты поздно приехала!»

Эскавайр с недоумением взглянул на Родольфа.

– Вы не шутите, монсеньор?

– Отнюдь нет.

– Я ничего не понимаю, но готов повиноваться.

До окончания вальса достойному Мэрфу удалось встать за спиной г-на Шарля Робера.

Родольф занял наблюдательный пост, откуда он мог прекрасно видеть, чем закончится этот опыт, и стал внимательно следить за Мэрфом.

Не прошло и секунды, как г-н Шарль Робер резко обернулся, Мэрф и глазом не моргнул; конечно же этот высокий лысый мужчина с серьезным внушительным видом был последним человеком, которому офицер мог приписать фразу, напомнившую ему досадное недоразумение, героиней которого была г-жа Пипле.

По окончании вальса Мэрф подошел к Родольфу.

– Вы видели, монсеньор, молодой человек обернулся, словно его ужалили. Так, значит, эта фраза волшебная?

– Да, волшебная, старый друг: она открыла мне то, что я хотел узнать.

Родольфу не оставалось ничего иного, как пожалеть г-жу д'Арвиль из-за совершенной ею ошибки, тем более что соучастницей и наперсницей ее в этом деле (он это прекрасно понял) была графиня Сара Мак-Грегор. При этом открытии Родольф почувствовал, как болезненно жаль его сердце; он перестал сомневаться в причине огорчения г-на д'Арвиля, которого нежно любил; виной всему была, несомненно, ревность; его жена, наделенная красотой и прекрасными душевными качествами, готова была принести себя в жертву недостойному ее человеку. Овладев чужой тайной, Родольф не мог воспользоваться ею, чтобы открыть глаза г-же д'Арвиль на ее из-

бранника, и был осужден оставаться бесстрастным свидетелем гибели молодой женщины, оказавшейся жертвой слепой страсти.

Из задумчивости его вывел барон фон Граун.

– Если вы, ваше высочество, соизволите уделить мне немного времени для беседы в маленькой уединенной гостиной, я сообщу вам те сведения, которые вы приказали мне собрать.

Родольф последовал за бароном.

– Единственная герцогиня, к которой могут относиться инициалы Н и Л, это герцогиня де Люсене, урожденная де Нуармон, – сказал фон Граун, – сегодня ее здесь нет. Я только что встретил ее мужа, пять месяцев назад отправившегося в годичное путешествие по Востоку, – он неожиданно вернулся в Париж не то два, не то три дня тому назад.

Читатель, наверное, помнит, что при посещении дома на улице Тамплъ, Родольф поднял на лестничной площадке против квартиры шарлатана Сезара Брадаманти мокрый от слез носовой платок, обшитый прекрасными кружевами, в уголке которого он заметил инициалы Н и Л, увенчанные герцогской короной. По его приказанию барон фон Граун, ничего не знавший об обстоятельствах этого дела, навел справки о герцогинях, в настоящее время находящихся в Париже, и добыл те сведения, о которых мы только что упомянули.

Родольф все понял.

У него не было ни малейшей причины интересоваться г-жой де Люсене, но он поневоле содрогнулся при мысли, что она та самая женщина, которая побывала у шарлатана, и теперь этот негодяй, иначе говоря, аббат Полидори, знает ее имя, ибо приказал Хромуле выследить ее, и что он может злоупотребить связавшей их страшной тайной, дабы шантажировать герцогиню.

– Странные бывают совпадения, монсеньор, – продолжал барон фон Граун.

– О чем это вы?

– В ту минуту, когда господин де Гранжнев сообщал мне сведения о супругах де Люсене, присовокупив к ним не без ехидства, что неожиданное возвращение господина де Люсене, вероятно, очень расстроило герцогиню и виконта де Сен-Реми, красивого молодого человека и одного из самых знаменитых парижских щеголей, господин посол попросил меня узнать, не разрешите ли вы, ваше высочество, представить вам виконта: он как раз присутствует на этом празднестве; дело в том, что господин де Сен-Реми причислен к французской миссии в Герольштейне и был бы счастлив засвидетельствовать вам свое почтение.

Родольф досадливо поморщился.

– До чего же мне это неприятно, – сказал он, – но отказать невозможно... Что ж, попросите графа *** представить мне господина де Сен-Реми.

Несмотря на свое дурное настроение, Родольф слишком хорошо умел, играть роль монарха, чтобы не встретить г-на де Сен-Реми с подобающей случаю улыбкой. Кроме того, молодой человек слыл любовником герцогини де Люсене, что возбудило любопытство Родольфа.

Граф *** подвел к нему виконта.

Это был очаровательный молодой человек лет двадцати пяти, тонкий, стройный, с прекрасными манерами и приветливым смуглым лицом того мягкого золотистого оттенка, который встречается на портретах Мурильо; его иссиня-черные волосы были разделены на пробор; гладко зачесанные надо лбом, они кудрявились на висках, почти закрывая бледные мочки ушей; его бархатисто-черные глаза ярко блестели, белки глаз были того голубоватого оттенка, который придает пленительное выражение взгляду индийцев. По прихоти природы густые шелковистые усы контрастировали с безбородым юношеским лицом, нежным, как у девушки; из-за собственного ему желанья нравиться он повязывал очень низко черный атласный галстук, открывая шею, достойную античного флейтиста.

Одна-единственная жемчужина скрепляла длинные концы его галстука, жемчужина, бесценная по величине, форме, переливчатому сиянию, более яркому, нежели у опала. Безупречный костюм г-на де Сен-Реми прекрасно гармонировал с этой изысканно-простой драгоценностью.

Увидев хоть раз г-на де Сен-Реми, невозможно было забыть его, – так не походил он на обычного щеголя.

Великолепие его лошадей и экипажей не поддается описанию; он удачно и смело играл

на скачках, и сумма его выигрышей достигала в год двух-трех тысяч луидоров. Его особняк на улице Шайо считался образцом изящества и роскоши. Стол у него был отменный, а по вечерам шла азартнейшая игра в карты, во время которой он проигрывал иной раз огромные суммы с беззаботностью гостеприимного хозяина; и однако, в городе было известно, что виконт уже давно пустил по ветру отцовское наследство.

Чтобы как-то объяснить его непонятную расточительность, завистники или сплетники говорили, как и Сара, об огромном состоянии герцогини де Люсене; они забывали при этом не только о гнусности такого предположения, но и о том, что г-н де Люсене распоряжался, как оно и подобает, состоянием своей жены, а виконт тратил не менее пятидесяти тысяч экю, или, иными словами, двухсот тысяч франков в год. Другие говорили о неосторожных займодавцах, ибо г-ну де Сен-Реми уже не от кого было ждать наследства; наконец, третьи утверждали, будто ему везет на скачках, а шепотом упоминали о тренерах и жокеях, которых он подкупал, чтобы выигрывали те лошади, на которые он ставил большие деньги... но в большинстве своем светские люди не слишком беспокоились о том, к каким средствам прибегает г-н де Сен-Реми, чтобы вести столь роскошный образ жизни.

По рождению он принадлежал к высшей знати, был весел, отважен, остроумен и обладал легким, уживчивым характером; он давал превосходные холостые обеды, а во время игры соглашался на любые ставки. Чего еще оставалось желать?

Женщины обожали виконта; его победам не было числа; он был молод и красив, галантен и великодушен во всех случаях, когда мужчина может проявить эти качества по отношению к даме, словом, всеобщее увлечение им было таково, что покров тайны, которым он окружал речку Пактол, пригоршнями черпая из нее золото, и тот придавал его жизни некую загадочную прелесть. «Должно быть, этот дьявол Сен-Реми нашел философский камень», – говорили светские люди с беззаботной улыбкой.

При известии, что виконт вошел в состав французской миссии при Герольштейнском дворе, многие подумали, что г-н де Сен-Реми решил с честью удрать из Парижа.

– Ваше высочество, – сказал граф ***, – имею честь представить вам господина виконта де Сен-Реми, причисленного к французской миссии в Герольштейне.

Виконт отвесил глубокий поклон.

– Соболаговолите извинить меня, ваше высочество, если я слишком поторопился засвидетельствовать вам свое почтение, но мне не терпелось воспользоваться честью, которой я придаю огромное значение, – сказал он.

– Буду весьма рад, сударь, увидеться с вами в Герольштейне. Как скоро вы рассчитываете отправиться туда?

– Поскольку вы, ваше высочество, пребываете в Париже я не слишком тороплюсь уехать отсюда.

– Спокойствие и тишина наших немецких дворов удивит вас, сударь, ведь вы привыкли жить в Париже.

– Смею вас заверить, ваше высочество, что благосклонность, с которой вы встретили меня и которую, надеюсь, соболаговолите оказывать мне и дальше, не даст мне пожалеть о Париже.

– Не от меня будет зависеть, сударь, чтобы вы продолжали так думать в течение всего вашего пребывания в Герольштейне.

И Родольф слегка наклонил голову, давая этим понять, что аудиенция окончена.

С глубоким поклоном виконт удалился.

Родольф был прекрасным физиономистом, а потому его внезапные симпатии или антипатии почти неизменно оправдывались. Обменявшись несколькими словами с г-ном де Сен-Реми, он почувствовал, сам не зная почему, невольную холодность к виконту. Он подметил в его взгляде нечто хитрое, коварное и нашел, что внешность молодого человека не сулит ничего хорошего.

Мы снова встретимся с г-ном де Сен-Реми при обстоятельствах, ничем не напоминающих то блестящее положение, которое он занимал, когда граф *** представил его Родольфу, и чита-

тель убедится в верности предчувствий последнего.

После окончания аудиенции Родольф спустился в зимний сад, размышляя о странных встречах, посланных ему случаем. Настало время ужина, и салоны почти опустели; наиболее уединенное место зимнего сада находилось в углу между двумя стенами и было скрыто от посторонних глаз огромным банановым деревом, оплетенным вьющимися растениями; за этим развесистым гигантом он заметил маленькую приоткрытую дверцу, замаскированную трельяжем; она вела в длинный коридор, а оттуда в буфетную.

Приютившись за этой завесой, Родольф погрузился в раздумье, когда его имя, произнесенное знакомым голосом, заставило его вздрогнуть.

Сара сидела по другую сторону зеленого массива, скрывавшего Родольфа, и беседовала по-английски со своим братом Томом.

Том был, по обыкновению, во всем черном. И несмотря на небольшую разницу в годах с Сарой, волосы его почти совсем побелели, лицо выражало холодную, упрямую волю; голос звучал отрывисто, резко, глухо. По-видимому, этого человека снедало большое горе или большая ненависть.

Родольф прислушался к их разговору...

— Маркиза только что отправилась на бал к барону де Нервалю; к счастью, она не успела поговорить с Родольфом, который разыскивал ее; я все еще опасаясь его влияния на госпожу д'Арвиль, хотя влияние это мне с таким трудом удалось побороть, а возможно, и уничтожить. Наконец соперница, которой я всегда опасалась, ибо сердце подсказывало мне, что она может стать мне поперек дороги... эта соперница завтра будет устранена. Выслушай меня, Том, дело серьезное...

— Ты ошибаешься, Родольф никогда не помышлял о маркизе.

— Настало время кое-что рассказать тебе по этому поводу. Многое изменилось со времени твоего последнего путешествия... И действовать надо скорее, чем я думала... сегодня вечером после бала. Вот почему нам необходимо поговорить... К счастью, мы здесь одни.

— Говори, я слушаю.

— До своей встречи с Родольфом эта женщина, я убеждена в этом, никого не любила... Не знаю, по какой причине она испытывает непреодолимую антипатию к своему мужу, который обожает ее... Здесь кроется какая-то тайна, которую я напрасно пыталась разгадать. Присутствие Родольфа вызвало в сердце Клеманс еще не изведенное ею чувство. Я задушила в зародыше эту пробуждающуюся любовь, выставив герцога в самом дурном свете. Но жажда любви уже пробудилась у маркизы; встретив как-то у меня Шарля Робера, она была поражена его красотой, как бываешь поражен видом прекрасной картины; к сожалению, этот человек столь же глуп, сколь и красив, но во взгляде у него есть что-то трогательное. Я стала восхвалять величие его души, благородство характера. Зная, как добра от природы госпожа д'Арвиль, я наделила Робера самыми романтическими чертами! Я посоветовала ему неизменно пребывать в безнадежно грустном настроении, воздействовать на маркизу лишь вздохами и возгласами «увы!». А главное, поменьше говорить. Он последовал моим советам. Благодаря своему таланту певца, своему красивому лицу и в особенности выражению неизлечимой грусти он мало-помалу привлек к себе сердце госпожи д'Арвиль, которая таким образом нашла замену потребности в любви, разбуженной в ней Родольфом. Понимаешь?

— Прекрасно понимаю, продолжай.

— Робер и госпожа д'Арвиль встречались в домашней обстановке лишь у меня, и дважды в неделю мы все трое музицировали по утрам. Меланхолический поклонник вздыхал, произносил шепотом несколько нежных слов, а два или три раза вручил своей даме любовные записки. Писем его я опасалась еще больше, чем разговоров; но женщина всегда снисходительна к первым объяснениям в любви; объяснения моего протекже не повредили ему; главное для него было добиться свидания. У молоденькой маркизы принципы перевешивали любовь, или, точнее, она недостаточно любила, чтобы позабыть их... Сама того не сознавая, она все еще хранила в сердце образ Родольфа, который, так сказать, оберегал ее, помогая бороться со склонностью к Шарлю

Роберу... склонностью скорее надуманной, чем реальной... которая подогревалась ее неподдельным сочувствием к воображаемым бедам этого безмозглого Аполлона и моими чрезмерными похвалами ему. Наконец Клеманс, побежденная глубоко несчастным видом своего незадачливого поклонника, согласилась прийти на назначенное им свидание.

– Неужели ты стала поверенной ее тайн?

– Она созналась мне лишь в своей привязанности к Шарлю Роберу. Я не стала расспрашивать ее; это было бы неудобно... Зато он, упоенный счастьем или, точнее, самолюбивой гордостью, поделился со мной своей победой, по умолчал о дне и месте свидания.

– Как же ты узнала об этом?

– По моему приказанию Чарльз два дня подряд дежурил с утра у двери господина Робера. На второй день, около полудня, наш влюбленный отправился на извозчике в отдаленный квартал, на улицу Тампль... Он сошел у дома жалкого вида, пробыл там около полутора часов и ушел. Чарльз оставался весьма долго на своем посту, чтобы посмотреть, не выйдет ли кто-нибудь вслед за Робером. Никто не вышел: маркиза не сдержала своего обещания. Я узнала об этом на следующий день от самого разочарованного и разгневанного влюбленного. Я посоветовала ему разыграть глубокое отчаяние. Клеманс опять разжалобилась; назначено было новое свидание, столь же тщетное, как и первое. В последний раз она все же доехала до двери дома: это уже был шаг вперед. Видишь, как борется эта женщина... А почему? Потому что, уверена в этом, сама того не ведая, она еще любит Родольфа, который как бы охраняет ее, что вызывает мою ненависть к маркизе. Наконец сегодня вечером она назначила Роберу свидание на завтра; не сомневаюсь, что она придет на него. Герцог де Люсене так грубо высмеял этого молодого человека, что госпожа д'Арвиль, расстроенная унижением своего поклонника, согласилась из жалости увидеться с ним наедине, иначе она, по всей вероятности, отказала бы ему. Но теперь она сдержит слово.

– Что же ты думаешь обо всем этом?

– Маркизой владеет не любовь, а нечто вроде доведенного до восторженности сострадания; Шарль Робер так плохо разбирается в тонкости ее чувства, что поспешит воспользоваться предоставившейся ему возможностью и погубит себя во мнении Клеманс; повторяю, она принуждает себя к этому опасному для ее репутации поступку не в порыве увлечения или страсти, а только из жалости. Словом, я не сомневаюсь, что она смело отправится на свидание, желая показать своему поклоннику, как глубока ее обида за него, но вполне спокойная и уверенная в том, что ни на минуту не забудет супружеского долга. Шарль Робер не поймет этого, и маркиза возненавидит его; а когда ее иллюзии развеются, она вновь обратится душой к Родольфу, образ которого все еще живет в глубине ее сердца.

– И что же?

– А то, что она будет навсегда потеряна для Родольфа. Не сомневаюсь, что иначе он рано или поздно изменил бы своей дружбе с господином д'Арвилем и ответил бы на любовь Клеманс; но Родольф возненавидит ее, узнав, что не он был предметом ее любви, а для мужчин это непростительное преступление. Наконец, под предлогом своей давней привязанности к господину д'Арвилю, он никогда больше не встретится с этой женщиной, которая недостойно обманула его близкого друга.

– Так, значит, ты хочешь предупредить мужа?

– Да, и сегодня же вечером, конечно, если ты не против. По словам Клеманс, у ее мужа имеются смутные подозрения, но точно он ничего не знает. Скоро полночь, мы уедем с бала, зайдем в первое попавшееся кафе, и ты напишешь господину д'Арвилю, что завтра в час дня его жена отправляется на любовное свидание на улицу Тампль, семнадцать. Он ревнив: он застанет Клеманс на месте преступления. Нетрудно догадаться, что последует за этим.

– Но это же подло, Сара, – холодно заметил джентльмен.

– И все же ты согласен со мной?

– Да... сегодня вечером господин д'Арвиль узнает обо всем... Но... кто-то прячется там, за этим деревом! – неожиданно заметил Том, понизив голос. – Мне почудился какой-то шорох.

– Надо взглянуть, – сказала Сара с беспокойством.

Том встал, обошел зеленый массив и никого не увидел.

Родольф только что вышел в маленькую дверку, о кото мы говорили.

– Я ошибся, – проговорил Том, возвращаясь, – там никого нет.

– Я так и думала...

– Послушай, Сара, я считаю, что эта женщина не так опасна для твоих планов; Родольф человек принципиальный и от своих принципов не отступится. Девушка, которую он отвез на ферму полтора месяца тому назад, переодевшись рабочим, гораздо больше беспокоит меня; он окружил ее заботами, нанял ей учителей и несколько раз навещал ее. Мне известно, кто она, но, по-моему, эта девка принадлежит к низшим слоям общества. Редкая красота, которой она, видимо, наделена, то, что Родольф сам отвез ее и принимает в ней живейшее участие, – все доказывает, что этой привязанностью нельзя пренебрегать. Вот почему я пошел навстречу твоим желаниям. Дабы устранить это второе препятствие, на мой взгляд, более существенное, чем первое, пришлось действовать крайне осторожно, собрать точные сведения об обитателях фермы, о привычках девушки. Настало время действовать, судьба вновь свела меня с омерзительной старухой, которая предусмотрительно сохранила мой адрес. Ее связи людьми вроде того разбойника, который напал на нас в Сите будут нам весьма полезны. Все предусмотрено, ни малейших улик против нас не будет... К тому же если эта девка принадлежит, как мне кажется, к рабочему люду, она не станет колебаться между нашими предложениями и уделом, пусть даже заманчивым, о котором она, вероятно, мечтает, ибо герцог сохранил строжайшее инкогнито. Итак, завтра этот вопрос будет решен... В противном случае... посмотрим...

– После того, как будут устранены эти два препятствия... Том, а наш великий проект...

– Он сопряжен с большими трудностями, но может уаться.

– Признайся, что одним шансом у нас будет больше, если мы приведем его в исполнение в тот момент, когда Родольф будет вдвойне удручен скандалом с госпожой д'Арвиль и исчезновением этой девки, к которой он так привязан.

– Конечно... Но если эта последняя надежда нас обманет... я буду свободен?.. – спросил Том, мрачно смотря на Сару.

– Да, вполне свободен!

– И ты не возобновишь своих уговоров, из-за которых я помимо воли дважды не смог отомстить?

Затем, указав взглядом на свою повязанную крепом шляпу и черные перчатки, Том злое ще улыбнулся.

– Я жду, я все еще жду... Ты знаешь, что я уже шестнадцать лет хожу в трауре... и сниму его только...

На лице Сары невольно появилось выражение страха, и она поспешно прервала брата.

– Да, я обещала тебе это, ты будешь свободен... Том... – проговорила она с невольной тревогой, – ведь тогда меня покинет глубокая уверенность, служившая мне опорой в самые трудные минуты и оправданная к тому же божественным предначертанием... А теперь, когда я близка к цели, надо убрать с дороги даже самые ничтожные препятствия... Они, возможно, и не столь серьезные, но я сокрошу их, чтобы развязать себе руки. Мои средства бесчестны, согласна!.. А разве меня кто-нибудь пожалел? – воскликнула Сара, невольно повысив голос.

– Тише! Гости возвращаются с ужина, – сказал Том. – Ты полагаешь, что следует предупредить маркиза д'Арвиля о завтрашнем свидании? Хорошо, идем... уже поздно.

– Ночной час, в который будет вручена наша записка, придаст ей еще больше значения.

И Том с Сарой покинули здание посольства.

Глава XIX СВИДАНИЯ

Желая во что бы то ни стало предупредить г-жу д'Арвиль о грозящей ей опасности, Родольф ушел с приема до окончания беседы Тома с Сарой, поэтому он так и не узнал о заговоре, замышляемом против Лилии-Марии, и неминуемой опасности, которой та подвергалась.

Несмотря на все свои старания, Родольфу не удалось, как он надеялся, предупредить маркизу.

После бала в посольстве маркизе д'Арвиль надлежало приличия ради появиться хотя бы на мгновение у г-жи де Нерваль; но маркиза была сломлена обуревавшими ее волнениями, у нее не хватило духа поехать на второе празднество, и она вернулась домой.

Эта помеха все погубила.

Барон фон Граун, как и все гости посланника***, был приглашен к г-же де Нерваль. Родольф немедленно отвез его туда с просьбой отыскать на балу г-жу д'Арвиль и передать ей, что герцог желает в тот же вечер сообщить ей нечто очень важное; он будет стоять возле особняка д'Арвилей, подойдет к карете и скажет ей несколько слов, пока ее люди будут ждать, когда им откроют ворота.

Потеряв много времени на балу, где он так и не нашел маркизы, барон приехал к Родольфу...

Родольф был в отчаянии; он правильно рассудил, что следовало прежде всего предупредить маркизу о заговоре, направленном против нее; в этом случае предательство Сары, которому он не мог помешать, сошло бы за недостойную клевету. Было слишком поздно: постыдная записка была вручена маркизу в час ночи.

На следующее утро г-н д'Арвиль медленно расхаживал по своей спальне, обставленной с изящной простотой, где невольно привлекали внимание коллекция современного оружия и этажерка с книгами.

Постель осталась нетронутой, однако с нее свисало разорванное в клочья шелковое стеганое одеяло; стул и столик из черного дерева с витыми ножками валялись возле камина; на ковре виднелись осколки хрустального стакана, раздавленные свечи, а большой канделябр отлетел в угол спальни.

Казалось, весь этот беспорядок был вызван чьей-то неистовой борьбой.

Господину д'Арвилю было под тридцать; его мужественное характерное лицо, обычно приятное, доброе, было в то утро искажено и мертвенно бледно, губы посинели; маркиз так и остался во вчерашнем костюме, он был без галстука, в расстегнутом жилете, разорванная рубашка запятнана кровью; темные, обычно вьющиеся волосы падали прямыми спутанными прядями на его словно восковой лоб.

«Завтра, в час дня, ваша жена отправится на улицу Тампль, 17, где у нее назначено любовное свидание. Последуйте за ней, счастливый муж! И вы все узнаете...»

По мере того как он пробегал эти читанные и перечитанные строки, губы его судорожно дергались.

Тут дверь отворилась, и вошел камердинер. У этого пожилого человека были седеющие волосы и честное, доброе лицо.

Маркиз резко повернул голову, не меняя положения и все еще держа письмо в руках.

– Зачем пришел? – резко спросил он.

Ничего не отвечая, тот смотрел с горестным изумлением на беспорядок в комнате; затем, внимательно взглянув на своего барина, он воскликнул:

– Рубашка у вас в крови... Боже мой! Боже мой, ваше сиятельство, вы, верно, поранили себя!.. Ведь вы были одни, почему не позвали меня, как обычно, когда чувствуете, что начнется...

– Убирайся!

– Но, ваше сиятельство..... Огонь в камине погас, холод в комнате собачий, и после вашего...

– Замолчи! Оставь меня в покое.

– Но, ваше сиятельство, – продолжал камердинер, дрожа, – вы приказали господину Дубле прийти к вам сегодня утром в Половине одиннадцатого; сейчас как раз половина одиннадцатого,

и он уже здесь с нотариусом.

– Ты прав, – сказал маркиз, овладев собой. – Когда человек богат, надо думать о делах. Иметь большое состояние так приятно!

Наступила пауза.

– Проводи господина Дубле в мой кабинет, – добавил он.

– Господин Дубле, ваше сиятельство, уже там.

– Дай мне какой-нибудь костюм. Мне скоро придется отлучиться.

– Но, ваше сиятельство...

– Делай, что тебе приказано, Жозеф, – проговорил г-н д'Арвиль более мягким тоном.

Помолчав, он спросил:

– Моя жена уже проснулась?

– Не думаю, барыня еще не звонила.

– Пусть меня предупредят, когда она позвонит.

– Хорошо, ваше сиятельство...

– Позови Филиппа, чтобы он помог тебе: ты вечно так копаешься!

– Погодите, барин, сперва я приберу комнату, – грустно ответил Жозеф. – Кто-нибудь другой заметит этот беспорядок и поймет, что случилось сегодня ночью с вашим сиятельством.

– А если поймут, то все выйдет наружу, да? – язвительно заметил г-н д'Арвиль.

– Полно, ваше сиятельство, – воскликнул Жозеф, – никто ни о чем не подозревает.

– Никто?.. Да, никто! – горько ответил маркиз.

Пока Жозеф наводил порядок, его хозяин подошел к коллекции оружия, о которой мы уже упоминали, несколько минут внимательно осматривал ее и с мрачным удовлетворением кивнул головой.

– Уверен, ты забыл почистить ружья, вон те, наверху, что лежат в охотничьем футляре.

– Вы ничего не говорили мне об этом, ваше сиятельство... – удивленно проговорил Жозеф.

– Говорил, но ты запамятовал..

– Осмелюсь возразить, ваше сиятельство...

– Воображаю, в каком они должны быть состоянии!

– Не прошло и месяца, как я принес их от оружейника.

– Не важно, как только я буду одет, ты снимешь футляр, я хочу осмотреть эти ружья: быть может, завтра или послезавтра я отправлюсь на охоту.

– Немного погодя я достану их.

Когда спальня была приведена в порядок, на помощь Жозефу пришел второй камердинер.

Переодевшись, маркиз вошел в свой кабинет, где находились управляющий г-н Дубле, а также клерк и нотариус.

– Вот купчая, которая уже была зачитана вашему сиятельству, – сказал управляющий. – Остается только подписать ее.

– А вы сами читали ее, господин Дубле?

– Да, ваше сиятельство.

– Этого достаточно... дайте сюда бумагу, я поставлю на ней свою подпись.

Маркиз подписал бумагу, клерк вышел из кабинета.

– Благодаря этой покупке, ваше сиятельство, – торжествующе проговорил г-н Дубле, – ваша земельная рента составит не менее ста двадцати шести тысяч франков. Как прекрасно, ваше сиятельство, получать со своих земельных владений сто двадцать шесть тысяч!

– Я счастливее, не правда ли, господин Дубле? Иметь сто двадцать шесть тысяч земельной ренты! Где найдешь другого такого удачника?

– И это не считая основного капитала, ваше сиятельство.

– И не считая других преимуществ!

– Слава богу, у вашего сиятельства есть все, что может пожелать человек: молодость, богатство, здоровье – решительно все, и главное, – проговорил г-н Дубле, приятно улыбаясь, – красивая жена и прелестная дочка, похожая на херувима.

Господин д'Арвиль бросил злобный взгляд на г-на Дубле.

Мы отказываемся описать выражение дикой иронии, с которой он обратился к г-ну Дубле, фамиллярно похлопав его по плечу.

– Вы правы, – сказал он, – со ста двадцатью шестью тысячами франков земельной ренты, с такой женой, как моя... и с дочкой, похожей на херувима... мне больше нечего желать, не так ли?

– Хе-хе, ваше сиятельство, – наивно ответил управляющий, – остается дожить до преклонных лет, чтобы выдать замуж вашу дочку и стать дедушкой... Вот чего я вам желаю, ваше сиятельство, а вашей супруге желаю стать бабушкой и даже прабабушкой.

– Милый господин Дубле, вы весьма кстати вспомнили о Филемоне и Бавкиде. Вы всегда попадаете в точку.

– Вы очень любезны, ваше сиятельство. Что еще прикажете?

– Ничего... Да, скажите, сколько у вас наличных денег?

– Девятнадцать тысяч триста франков с небольшим на текущие расходы, ваше сиятельство, не считая денег, лежащих в банке.

– Вы принесете мне сегодня утром десять тысяч франков золотом и вручите их Жозефу, если меня не будет дома.

– Сегодня утром?

– Да.

– Я принесу их через час. Больше не будет приказаний, ваше сиятельство?

– Нет, господин Дубле.

– Сто двадцать шесть тысяч франков чистоганом! – повторил управляющий, направляясь к двери. – Сегодня удачный день: я боялся, как бы эта ферма, которая так нам подходит, не ускользнула от нас... Ваш покорный слуга.

– До свиданья, господин Дубле.

Едва управляющий вышел из комнаты, г-н д'Арвиль упал, подавленный, в кресло, положил локти на письменный стол и закрыл лицо руками.

Впервые после получения роковой записки Сары он дал волю слезам.

«Что за жестокая насмешка судьбы, сделавшей меня богачом! Кому нужна отныне эта золотая рамка? Кого в нее вставить? Она лишь подчеркнет мой позор и низость Клеманс! Этот позор ляжет, быть может, и на мою дочь! Да, позор... должен ли я сделать решительный шаг или же пожалеть...»

Тут он вскочил, глаза его сверкали, зубы были судорожно сжаты.

– Нет! Нет! – проговорил он глухо. – Я отомщу. Пролитая кровь помешает мне стать помещиком! Понимаю теперь ее отвращение... мерзавка!

Тут он неожиданно умолк, словно сраженный внезапной мыслью.

– Отвращение Клеманс... – продолжал он. – О, я прекрасно понимаю его причину: я внушаю ей страх, ужас!..

Наступила длительная пауза.

– Но разве это моя вина? И обманывать меня из-за этого? Не ненависти я заслуживаю, а жалости, – продолжал он, все более волнуясь. – Нет, нет!.. Мщение, мщение!.. Я убью их обоих!.. Ведь она, наверно, *все сказала тому, другому*.

Эта мысль привела в полную ярость маркиза.

Он поднял к небу судорожно сжатые кулаки; затем, при жав горячую руку к глазам, почувствовал, что необходим взять себя в руки перед слугами, и вернулся в спальню с спокойным лицом; там он увидел Жозефа.

– Где мои ружья?

– Я принес их, ваше сиятельство, они в полном порядке.

– Я сам их осмотрю. А что, барыня звонила?

– Не знаю, ваше сиятельство.

– Сходи, узнай.

Камердинер вышел.

Господин д'Арвиль поспешно взял из оружейного ящика мешочек с порохом, несколько

пуль и пистонов; запер ящик и положил ключ в карман. Затем он подошел к коллекции оружия, выбрал два пистолета средней величины, зарядил их и тоже спрятал в карман своего длинного утреннего редингота.

В эту минуту вошел Жозеф.

– Ее светлость велели сказать, что они уже встали, барин.

– А не знаешь, приказала ли она заложить карету?

– Нет, ваше сиятельство, горничная Жюльетта сказала при мне кучеру, пришедшему за распоряжениями, что сегодня прохладно и сухо и что барыня погуляет пешком... если ей захочется.

– Прекрасно. Ах, совсем забыл: завтра или послезавтра я, вероятно, отправлюсь на охоту.

Скажи Вильяму, чтобы он сегодня же утром осмотрел небольшую зеленую карету, слышишь?

– Да, ваше сиятельство. Подать вам тросточку?

– Нет, не надо. Нет ли тут поблизости извозчичьей стоянки?

– А как же, в двух шагах отсюда, на улице Лилль.

– Пусть Жюльетта спросит у барыни, может ли она принять меня, – молвил маркиз после минутного колебания.

Жозеф вышел.

«Да... между нами разыграется комедия, не хуже всякой другой. И все же я хочу видеть эту вероломную женщину, понаблюдать за слащавой, обманчивой маской, под которой она скрывает свои мысли о скором свидании с любовником; я выслушаю ложь из ее уст и прочту правду в ее развращенном сердце. Это будет прелюбопытно... Видеть, как на тебя смотрит, с тобой говорит и тебе отвечает жена, которая вскоре покроет твоё имя тем нелепым и гнусным позором, что отмывается лишь кровью... Ну и болван же я! Она посмотрит на меня, как обычно, тем же ясным взглядом; каким смотрит на свою дочь, когда целует ее в лоб, прося прочесть молитву. Взгляд... зеркало души? – Он презрительно пожал плечами. – Чем нежнее и стыдливее взгляд, тем больше в нем порочности. Ее пример подтверждает это... А я, дурак, попался на удочку. Горе мне! С каким холодным и наглым пренебрежением она, вероятно, взирала на меня до сих пор сквозь свою лживую маску, мечтая в то же время о свидании с другим... А я относился к ней с уважением, с нежностью... как к молодой матери, целомудренной и серьезной, я вложил в нее всю свою любовь, всю надежду на счастье».

– Нет, нет! – воскликнул г-н д'Арвиль, чувствуя, что гнев душит его. – Нет, я не зайду к ней, я не хочу ее видеть... не хочу видеть и дочь... я выдам себя, откажусь от мщения.

Выйдя из спальни, г-н д'Арвиль, вместо того чтобы пройти к жене, сказал ее камеристке:

– Передайте барыне, что я собирался поговорить с ней сегодня утром, но вынужден отлучиться по делу; если ей угодно позавтракать со мной, скажите, что я вернусь к полудню; в противном случае, пусть не беспокоится обо мне.

«Полагая, что я скоро вернусь, она почувствует себя свободнее», – подумал г-н д'Арвиль.

И он отправился на извозчичью стоянку поблизости от его особняка.

– Извозчик, оплата почасовая.

– Ладно, барин, сейчас половина двенадцатого. Куда поедем?

– По улице Доброй Охоты, завернешь за угол улицы Святого Доминика и затем поедешь вдоль каменной ограды сада... и там подождешь.

– Ладно, барин.

Господин д'Арвиль опустил шторы. Извозчик тронул и почти тотчас же остановился против дома маркиза: отсюда легко было заметить любого человека, выходящего из особняка.

Свидание его жены должно было состояться в час дня; такая буря бушевала в душе маркиза, что время для него летело с невероятной быстротой.

Двенадцать ударов пробили на колокольне Святого Фомы Аквинского, когда дверь особняка медленно отворилась и маркиза вышла на улицу.

«Уже!.. Какая аккуратность! Она, видимо, боится опоздать на свидание!» – с иронией сказал себе маркиз.

Стояла холодная и сухая погода.

На Клеманс была черная шляпа с вуалью того же цвета, теплое красновато-лиловое пальто; огромная темно-синяя кашемировая шаль ниспадала до оборок ее платья, которое она слегка приподняла жестом, исполненным изящества, чтобы перейти через дорогу, приоткрыв до щиколотки маленькую, узкую, стройную ножку, обутую в атласные ботинки.

Странная вещь: несмотря на потрясение, на обуревавшие его мучительные мысли, г-н д'Арвиль заметил эту ножку, которая показалась ему изящнее и кокетливее, чем когда-либо, что еще усилило его гнев, его жгучую ревность. Ему представился коленопреклоненный соперник, в упоении целующий эту прелестную ножку. В одно мгновение все безумства любви, любви горячей, страстной, – предстали перед умственным взором маркиза и опалили его душу.

И впервые в жизни он почувствовал в сердце мучительную физическую боль, боль резкую, глубокую, которая вырвала у него глухой стон. До сих пор он страдал нравственно, так как думал лишь о своей поруганной чести.

Его страдание было так сильно, что ему едва удалось произнести несколько слов.

– Видишь ту даму в синей шали и черной шляпе, – сказал он кучеру, приподняв штору, – ту, что идет вдоль каменной ограды?

– Вижу, барин...

– Поезжай шагом за ней... Если она выйдет на извозничью стоянку, остановись и следуй за каретой, в которую она сядет.

– Да, барин... Ну и забавная же история!

Госпожа д'Арвиль подошла к стоянке, взяла извозчика.

Господин д'Арвиль последовал за ней.

Вскоре, к великому удивлению маркиза, его возница свернул к церкви Святого Фомы Аквинского и остановился возле нее.

– В чем дело? Почему ты стоишь?

– Барин, дама только что вошла в церковь... Черт подери!.. Ну и хорошенькая у нее ножка... До чего забавно!

Множество мыслей пронеслось в голове г-на д'Арвиля; сперва он решил, что его жена, заметив, что за ней следят, пожелала сбить с толку преследователя. Потом он подумал, что, быть может, полученная записка была недостойной клеветой... Если Клеманс виновна, к чему такое показное благочестие? Не было ли это глумлением над верой?

Но его успокоительная иллюзия быстро рассеялась.

Кучер обернулся к нему со словами:

– Барин, дамочка опять села на извозчика.

– Следуй за ней.

– Да, барин! Забавно, до чего забавно!

Извозчик выехал на набережную, миновал ратушу, проехал по улице Сент-Авуа и добрался наконец до улицы Тампль.

– Барин, – сказал кучер, оборачиваясь к г-ну д'Арвилю, – первый извозчик остановился у семнадцатого номера, а мы находимся у тринадцатого. Прикажете тоже остановиться?

– Да!..

– Барин, дамочка только что вошла в дом номер семнадцать.

– Открой дверцу.

– Да, барин.

Минуту спустя г-н д'Арвиль вошел в проход дома вслед за своей женой.

Глава XX

АНГЕЛ

Привлеченные любопытством, у порога дома № 17 стояли г-жа Пипле, Альфред и торговка устрицами.

На лестнице было так темно, что вошедшему с улицы трудно было что-нибудь разглядеть. Маркизе пришлось обратиться к г-же Пипле.

– Как пройти к господину Шарлю, сударыня? – спросила она тихим, прерывающимся голосом.

– К кому? – переспросила старуха, притворившись, будто не расслышала имени, чтобы муж и торговка устрицами могли разглядеть сквозь вуаль черты несчастной женщины.

– Я спрашиваю... господина Шарля... сударыня, – повторила Клеманс дрожащим голосом и потупилась, чтобы скрыть свое лицо от взглядов, рассматривавших ее с нахальным любопытством.

– А, к господину Шарлю, вот оно что... Вы говорите так тихо, что я ничего не могла понять... Так вот, дамочка, если вы идете к господину Шарлю – красивый молодой человек, ничего не скажешь, – поднимитесь прямо по лестнице и увидите перед собой его дверь.

Маркиза в полном замешательстве поднялась на первую ступеньку.

– Хе! Хе! Хе! – проговорила старуха с ухмылкой. – Видно, сегодня все будет без обмана. Да здравствует гулянка! Ух ты!

– Что ни говори, а у офицера губа не дура: его любезная премиленькая, – заметила торговка устрицами.

Если бы г-же д'Арвиль, сникшей от стыда и страха, не пришлось бы снова пройти мимо привратницы, она тут же вернулась бы обратно. Но, взяв себя в руки, она дошла до лестничной площадки.

Каково же было ее изумление!.. Она столкнулась лицом к лицу с Родольфом, который, вложив ей в руку кошелек, поспешно сказал:

– Вашему мужу все известно, он следует за вами по пятам...

В эту минуту раздался резкий голос привратницы:

– Вам куда, сударь?

– Это он! – прошептал Родольф.

И, подтолкнув, так сказать, г-жу д'Арвиль к лестнице на третий этаж, он молвил скороговоркой:

– Поднимитесь на шестой этаж; вы пришли, чтобы оказать помощь одной несчастной семье; их фамилия Морель.

– Сударь! – воскликнула г-жа Пипле, преграждая дорогу г-ну д'Арвилю. – Если вы не скажете, к кому идете, вам придется переступить через мое тело.

– Я пришел с дамой... которая только что вошла, – ответил маркиз, задержавшийся у входа, пока его жена разговаривала с привратницей.

– Другое дело, проходите.

Услышав необычный шум в привратничкой, г-н Шарль Робер приоткрыл дверь: Родольф вбежал к офицеру и запер изнутри его дверь как раз в ту минуту, когда г-н д'Арвиль подходил к лестничной площадке. Родольф боялся, как бы друг не узнал его, несмотря на темноту, и воспользовался представившимся случаем, чтобы избежать с ним встречи.

Господин Шарль Робер в своем великолепном халате с разводами и в бархатном греческом колпаке, расшитом золотом, был поражен появлением Родольфа, которого он не заметил накануне в посольстве ***, а если бы и заметил, то вряд ли узнал в этом скромно одетом человеке.

– Что это значит, сударь?

– Т-с-с! – прошептал Родольф с таким выражением тревоги, что г-н Шарль Робер замолчал. На лестнице раздался грохот, словно кто-то упал и покатился вниз.

– Несчастный, он убил ее! – воскликнул Родольф.

– Убил!.. Кто? Кого? Что здесь происходит? – тихо спросил г-н Шарль Робер и побледнел.

Не отвечая ему, Родольф приоткрыл дверь.

Он увидел Хромулю, который, спеша и припадая на одну ногу, сбежал с лестницы, держа в руке красный шелковый кошелек, только что врученный Родольфом г-же д'Арвиль.

Хромуля скрылся.

Слышался лишь легкий шаг г-жи д'Арвиль и более тяжелая поступь маркиза, следовавшего до пятам за женой.

У Родольфа немного отлегло от сердца, хотя появление Хромули с кошельком в руке

напомнило ему много тяжких переживаний.

– Не выходите отсюда, вы чуть не наделали беды, – сказал он Шарлю Роберу.

– Да объясните же наконец, что все это значит? – спросил нетерпеливым, раздраженным тоном офицер. – Кто вы такой и по какому праву?..

– Это значит, сударь, что господину д'Арвилю все известно, что он дошел вслед за своей женой до вашей двери и идет за ней вверх по лестнице.

– Боже мой, боже мой! – воскликнул Шарль Робер, в ужасе всплеснув руками. – Но что же она будет делать там, наверху?

– Не все ли вам равно? Оставайтесь у себя и не выходите до тех пор, пока привратница не предупредит вас.

И, покинув г-на Робера, столь же напуганного, сколь и изумленного, Родольф спустился в привратничью.

– Что вы на это скажете? – воскликнула сияющая г-жа Пипле. – Погодите, скоро небу станет жарко! Господин преследует дамочку. Это, верно, ее муж! Я мигом все смекнула и пропустила его. Он схватится с офицером, это наделает шума в квартале. Люди будут толпами ходить, чтобы взглянуть на наш дом, как они ходили к дому тридцать шесть, где было совершено убийство.

– Дорогая госпожа Пипле, хотите оказать мне большую услугу? – И Родольф вложил пять луидоров в руку привратницы. – Когда эта дама спустится... спросите ее, как поживают несчастные Морели; скажите ей, что она делает доброе дело, помогая им, как обещала, когда расспрашивала вас об этих бедолагах.

Госпожа Пипле с недоумением смотрела на деньги и на Родольфа.

– Как, сударь... все это золото... для меня?.. Значит, дамочка не у офицера?

– Господин, который идет следом за дамой, ее муж. Бедная женщина была заранее предупреждена и успела направиться к Морелям якобы для того, чтобы помочь им в беде, понимаете?

– Чего же тут не понять?.. А я должна пособить, чтобы обвести вокруг пальца ее мужа... Такое дело как раз по мне!.. Ха-ха-ха! Можно подумать, что я только этим и занималась всю жизнь... Ей-богу!

В эту минуту в полумраке привратничьей возник высокий цилиндр г-на Пипле.

– Анастаси, – серьезно проговорил Альфред, – право, для тебя нет ничего святого, как и для Сезара Брадаманти; к некоторым вещам нельзя относиться легкомысленно, даже с глазу на глаз с любимым...

– Полно, полно, старый дорогуша, не придуривайся и не таращи на меня глаза... ты же видишь, я пошутила. Разве ты не знаешь, что нет никого на свете, кто мог бы похвалиться... Словом, понятно... Если я хочу услужить этой молодой парочке, то делаю это ради нашего нового жильца, он так добр к нам.

Обратившись затем к Родольфу, она сказала:

– Погодите, увидите, как я обтяпаю это дельце!.. Хотите остаться здесь, в углу, за занавеской?.. Они как раз спускаются, слышите?..

Родольф поспешно спрятался.

Господин и госпожа д'Арвиль шли по лестнице, маркиз вел жену под руку.

Когда они поравнялись с привратницей, на лице г-на д'Арвиля лежало выражение глубокого счастья, смешанного с удивлением и замешательством.

Клеманс была спокойна и бледна.

– Видели вы этих несчастных Морелей, милая дамочка? – воскликнула г-жа Пипле, выходя из привратничьей. – Сердце разрывается, смотря на них! Боже мой, вы делаете хорошее, доброе дело... Я уже говорила вам, что они достойны жалости, когда вы заходили сюда, чтобы навести справки о них! Можете быть спокойны, таким славным людям не жаль помогать... правда, Альфред?

Альфред, показная добродетель и врожденная прямота которого восставали против необходимости присоединиться к этому антиматримониальному заговору, издал нечто вроде отрицательного хмыканья.

– У Альфреда опять спазмы в желудке, вот почему его не слышать, а то он сказал бы вам, как и я, что эти несчастные люди будут от всего сердца молить бога за вас, сударыня!

Господин д'Арвиль смотрел на жену с восхищением.

– Она ангел! Суший ангел! О клевета! – повторял он.

– Ангел? Вы правы, сударь, и вдобавок ангел, посланный господом богом!

– Друг мой, едем домой, – проговорила г-жа д'Арвиль, измученная напряжением, в котором жила с тех пор, как переступила порог этого дома; она чувствовала, что силы изменяют ей.

– Едем, – ответил маркиз.

– Клеманс, я нуждаюсь в прощении и жалости!.. – проговорил он, выходя на улицу.

– Кто из нас не нуждается в том же? – ответила молодая женщина со вздохом.

Родольф вышел, глубоко взволнованный этой трагической сценой, к которой примешалось немало грубого и смешного, этой странной развязкой таинственной драмы, породившей столько различных страстей.

– Ну как? – спросила г-жа Пипле. – Надеюсь, я неплохо обдурила этого молокососа? Теперь он будет держать жену под стеклянным колпаком... Бедняга... А как же ваша мебель, господин Родольф? Ее так и не привезли.

– Я еще займусь этим делом... Предупредите офицера, что он может спуститься...

– И то правда... Какую он промашку дал! Выходит, зазря квартиру нанял... Так ему и надо... С его паршивыми двенадцатью франками за уборку...

Родольф распростился с привратницей.

– Теперь, Альфред, настал черед офицера. Ну и посмеюсь же я!

И она поднялась к г-ну Шарлю Роберу и позвонила; он отворил дверь.

– Ваше благородие, – проговорила Анастаси и отдала ему честь, приложив руку к своему парику, – я пришла, чтобы освободить вас... Муж с женой ушли под ручку перед вашим носом. Не важно, зато вы дешево отделались... благодаря господину Родольфу; вы должны поставить за него большую свечку!

– За господина Родольфа? Это тот тонкий господин с усами?

– Он самый.

– Что представляет собой этот субъект?

– Субъект! – негодуя вскричала г-жа Пипле. – Он стоит многих других! Он коммивояжер, живет в нашем доме, у него всего одна комната, и он не сквалыжничает, как иные... Он дал мне шесть франков за уборку, шесть франков с первого слова... шесть франков не торгуясь!

– Ладно... ладно... Вот ваш ключ.

– Надо ли завтра протопить у вас, ваше благородие?

– Нет!

– А послезавтра?

– Нет! Нет!

– Помните, ваше благородие? Я сразу вас предупредила, что вы не возместите своих расходов.

Уходя, господин Шарль Робер бросил презрительный взгляд на привратницу; он никак не мог понять, каким образом какой-то коммивояжер по имени Родольф узнал о его свидании с маркизой д'Арвиль.

В конце крытого прохода он встретил Хромулю, который шел, припадая на одну ногу.

– А, вот и ты, негодник, – сказала г-жа Пипле.

– Одноглазая не приходила за мной? – спросил мальчик, не ответив на обращение привратницы.

– Сычиха-то? Нет, выродок. Зачем бы она пришла за тобой?

– Как зачем? Чтобы отвезти меня в деревню! – ответил Хромуля, переступая с ноги на ногу у порога привратницкой.

– А твой хозяин?

– Отец попросил господина Брадаманти отпустить меня на сегодняшний день... Мы поедем в деревню... в деревню... в деревню... – прогнусавил сын Краснорукого и принялся что-то

напевать, барабана по застекленной двери привратницкой.

– Перестань, бездельник... не то разобьешь стекло! А вот и извозчик!

– Это Сычиха, – сказал мальчик, – какое счастье прокатиться в экипаже!

В самом деле, за стеклом кареты на фоне красной шторы выделялся носатый землистый профиль одноглазой.

Старуха знаком подозвала Хромулю, и тот подбежал к ней.

Извозчик открыл дверцу, и мальчишка влез к Сычихе.

Она была в экипаже не одна.

В дальнем углу сидел какой-то человек в старом пальто с меховым воротником, часть его лица была скрыта под черным шелковым колпаком, надвинутым до самых бровей... это был не кто иной, как Грамотей.

За его красными веками виднелись неподвижные, без радужной оболочки, словно покрытые белилами глаза, из-за которых еще страшнее казалось лицо, стянутое лиловыми и мертвенно бледными шрамами.

– Ну же, ложись на ходули моего муженька, будешь греть его, – сказала одноглазая мальчишке, который присел, как пес, между ней и Грамотеем.

– А теперь в Букеваль, на херму!⁸⁴ Правильно я сказал, Сычиха? – спросил извозчик. – Вот увидишь, что я умею править квымагой.⁸⁵

– А главное, припандорь свою шкапу,⁸⁶ – сказал Грамотей.

– Будь спокоен, чертяка без гляделочек,⁸⁷ он запросто ухандорит⁸⁸ до проселицы.⁸⁹

– Хочешь, я дам тебе лекарство?⁹⁰ – спросил Грамотей.

– Какое?

– Дуй шибче мимо шмырников.⁹¹ Тебя вполне могут узнать, ты ведь долго был бродягой.

– Буду смотреть в оба, – ответил тот, влезая на козлы.

Мы привели здесь этот отвратительный жаргон в доказательство того, что мнимый извозчик был злодеем, достойным сообщником Грамотея.

Карета с Грамотеем, Сычихой и Хромулей покинула улицу Тамплъ.

Два часа спустя, когда уже смеркалось, возница остановился у развилки, возле деревянного креста; отсюда букевальская дорога вела между крутыми склонами на ферму, где под покровительством г-жи Жорж нашла приют Лилия-Мария.

Глава XXI ИДИЛЛИЯ

Пять часов пробило в церкви небольшого сельца Букеваль; стояла холодная погода, небо было безоблачно; солнце, медленно опускаясь за оголенными деревьями холмов Экуена, окрашивало в пурпур горизонт и бросало косые бледные лучи на обширные, скованные морозом поля.

⁸⁴ Ферму.

⁸⁵ Экипажем.

⁸⁶ Настегивай свою лошадь.

⁸⁷ Без глаз (гляделочки — еще одно чуть ли не изящное слово в этом отвратительном жаргоне).

⁸⁸ Добежит.

⁸⁹ Проселочной дороги.

⁹⁰ Совет.

⁹¹ Поезжай быстрее мимо сторожевой заставы.

В каждое время года природа предстает перед нами в новом и чаще всего чарующем облики.

Первозданной белизны снег превращает порой окрестности в череду словно вылепленных из алебастра пейзажей, искристые контуры которых выступают на фоне розовато-серого неба.

В наступающих сумерках встречается иной раз запоздалый крестьянин, который спешит домой, либо поднимаясь на холм, либо спускаясь в долину: лошадь его, пальто, шляпа – все покрыто инеем; стоит жестокий мороз, дует ледяной ветер, приближается темная ночь; но там, между голых стволов, приветливо светятся оконца фермы; высокая кирпичная труба выбрасывает в небо густой столб дыма, говорящий путнику о том, что его ожидает огонь, весело потрескивающий в камине, а на столе – незатейливый ужин; затем, после беседы в домашнем кругу, наступает спокойная ночь в теплой постели, тогда как снаружи свищет ветер, а на разбросанных по долине фермах лают, перекликаясь, собаки.

Иногда по утрам иней развешивает на деревьях свои хрустальные гирлянды, сверкающие, как бриллианты, под зимними лучами солнца; влажная, тучная земля изрыта длинными бороздами, в которых находят приют рыжеватые зайцы или бодро семенящие серые куропатки.

То тут, то там слышится печальное позвякивание колокольчика барана – вожака большого стада, разбредшегося по травянистым склонам дорог, в то время как пастух в сером полосатом плаще сидит у подножья дерева и, напевая, плетет тростниковую корзинку.

Порой все вокруг оживает: эхо множит далекие звуки охотничьего рога и лай своры собак; испуганная лань выскакивает на опушку, в ужасе мчится по долине и скрывается в противоположной лесной чаще.

Конский топот и лай приближаются; белые с желтоватыми подпалинами собаки в свою очередь выбегают из леса, несутся по пашне и земле под паром, принимаясь к следам лани. За ними скачут во весь опор наездники в красных охотничьих костюмах, криками подбадривая свору. Этот яркий вихрь проносится с быстротою молнии; шум постепенно замирает; собаки, лошади, охотники пропадают вдали, в том лесу, где исчезла лань.

Снова наступает тишина, и снова безмолвие широких просторов нарушается лишь однообразной песней пастуха.

Таких пейзажей, таких сельских уголков немало в окрестностях селения Букеваль, расположенного, несмотря на свою близость к Парижу, в уединенном месте, куда ведут лишь проселочные дороги.

Скрытая летом за деревьями, как гнездо среди ветвей, ферма, где нашла пристанище Певунья, была теперь видна как на ладони.

Русло маленькой, скованной льдом речки походило на серебряную ленту, небрежно брошенную среди еще зеленеющих лугов, где лениво паслись тучные коровы, искоса поглядывая на хлев. Привлеченные наступлением вечера, стаи голубей поочередно опускались на островерхую крышу голубятни. Сквозь ореховые деревья, которые летом отбрасывают тень на двор и здания фермы, проглядывали теперь черепичные и соломенные крыши, покрытые бархатистым изумрудным мхом.

Тяжело груженная повозка, запряженная тремя приземистыми сытыми лошадьми с пышной гривой, синие хомуты которых были украшены бубенцами и красными шерстяными кисточками, везла на ферму снопы со скирды, стоящей в долине. Эта громоздкая повозка въехала через главные ворота во двор, тогда как многочисленное овечье стадо теснилось у одного из боковых входов.

Люди и животные, казалось, спешили укрыться от вечернего холода и вкушать сладость отдыха; лошади весело ржали при виде конюшни, овцы блеяли, беспорядочно устремляясь к двери овчарни, пахари бросали голодные взоры на окна кухни, где готовился ужин, достойный Пантагрюэля.

На ферме царил редкий порядок и поразительная, ласкающая глаз чистота.

По окончании трудового дня плуги, бороны и прочие сельскохозяйственные орудия не были оставлены где попало, с присохшей к ним грязью; чистые, недавно покрашенные или же но-

вейшего образца, они стояли в обширном сарае, в нем же возчики аккуратно складывали лошадиную сбрую. – Двор был опрятный, посыпанный песком и обсаженный деревьями; вы не увидели бы здесь ни куч навоза, ни луж гниющей воды, которые портят вид лучших ферм в старинных областях Бос и Бри. Птичий двор, обнесенный зеленым трельяжем, вмещал всех пернатых обитателей фермы, которые возвращались в него по вечерам через дверцу, выходящую в поля.

Не желая обременять читателя новыми подробностями, скажем только, что ферма эта по праву считалась лучшей в округе, благодаря установленному в ней порядку, превосходному ведению хозяйства, высоким урожаям, а также благополучию и трудолюбию ее многочисленных работников.

Мы объясним ниже причину этого явления, теперь же подойдем с читателем к решетчатой двери птичьего двора, который ни в чем не уступал остальным помещениям фермы по сельскому изяществу насестов, курятников и выложенному камнями руслу журчащего прозрачного ручья, тщательно освобождаемого от льдинок, которые могли бы загромоздить его русло.

Внезапно нечто вроде переполоха произошло среди пернатых обитателей птичника: куры, кудахтая, слетели с насестов, индюки принялись гоготать, цесарки пронзительно закричали, голуби покинули крышу голубятни и опустились, воркуя, на посыпанную песком землю.

Все это оживление было вызвано приходом Лилии-Мари.

Грез и Ватто могли лишь мечтать о такой прелестной натурщице, если бы щеки бедной Певуньи были покруглее и не так бледны; но хотя личико ее и осунулось, его выражение, вся фигурка девушки и изящество позы по-прежнему были достойны кисти этих двух великих художников.

Маленький круглый чепчик обрамлял лоб Лилии-Мари и разделенные на прямой пробор белокурые волосы; по примеру крестьянок парижских окрестностей, она повязывала поверх этого чепчика красную ситцевую косынку, скрепленную двумя булавками на затылке, концы которой падали на ее плечи; то был живописный, изящный головной убор, которому могли бы позавидовать швейцарки и итальянки.

Шейный платок из белого батиста скрещивался на ее груди под холщовым фартуком; синий суконный жакет с узкими рукавами облегал ее тонкую талию, прекрасно гармонируя с серой бумазейной юбкой в коричневую полоску; белые чулки, маленькие туфельки на толстой подошве и черные сабо вместо галош, украшенные спереди кожаным квадратом, дополняли этот по-деревенски простой наряд, которому врожденное изящество Лилии-Мари придавало особую прелесть.

Приподняв фартук, она пригоршнями черпала из него зерна и кормила слетевшихся к ней пернатых.

Хорошенький серебристо-белый голубь с пурпурным клювом и такими же лапками, более ручной и смелый, чем его сородичи, покружив вокруг Лилии-Мари, сел к ней на плечо.

Девушка, видимо привыкшая к его бесцеремонности, продолжала разбрасывать зерна; затем, слегка повернув прелестное личико и откинув голову, она с улыбкой приблизила розовые губки к клюву своего любимца.

Последние лучи заходящего, солнца бросали золотистый отблеск на эту идиллическую картину.

Глава XXII ТРЕВОГИ

В то время как Певунья занималась хозяйственными делами, г-жа Жорж и аббат Лапорт, настоятель церкви села Букеваль, сидели в маленькой гостиной фермы и беседовали о Лилии-Мари: тема эта неизменно интересовала их обоих.

Престарелый священник задумчиво, сосредоточенно опустил голову на грудь и, опершись локтями на колени, машинально протянул свои дрожащие руки к огню камина.

Госпожа Жорж что-то шила и время от времени поглядывала на аббата, словно ожидая от него ответа.

– Да, сударыня, надо предупредить господина Родольфа; если он расспросит Марию, она, вероятно, откроет ему то, что скрывает от нас... ведь она так признательна своему благодетелю.

– В таком случае, чаще преподобие, я сегодня же отправлю письмо на аллею Вдов по адресу, который он дал мне...

– Бедная девочка! – продолжал аббат. – Какое горе подтачивает ее? Чего ей не хватает для счастья в Букевале?

– Ничто не может развеять ее грусть, ваше преподобие... даже то усердие, с каким она учится...

– Она и в самом деле сделала поразительные успехи с тех пор, как мы занимаемся ее воспитанием.

– Не правда ли? Она научилась свободно читать и писать и настолько усвоила арифметику, что ведет вместе со мной приходо-расходные книги! И милая девочка так старательно помогает мне по хозяйству, что это глубоко трогает меня. Не переутомляется ли бедняжка вопреки моим просьбам? Ее здоровье беспокоит меня.

– К счастью, врач-негр успокоил нас по поводу небольшого кашля, которым она страдала. От него не осталось и следа.

– Какой чудесный человек этот доктор! Он так хорошо относится к ней; впрочем, у нас все любят, уважают ее. И это неудивительно! Благодаря своему возвышенному и широкому взгляду на жизнь господин Родольф подобрал для этой фермы лучших местных работников. Но даже самые грубые и равнодушные из них подпали под обаяние ангельской кротости Марии, той милой и робкой манеры держать себя, с которой она словно молит о милосердии. Несчастливая девочка! Можно подумать, что она одна во всем виновата!

После недолгого раздумья аббат спросил г-жу Жорж:

– Не вы ли говорили мне, что Мария погрузилась в печаль после дня всех святых, когда здесь побывала госпожа Дюбрей из Арнувиля, фермы его высочества герцога де Люсене?

– Да, мне так показалось, ваше преподобие, и, однако, госпожа Дюбрей, и в особенности ее дочь Клара, образец невинности и доброты, не остались равнодушны к обаянию Марии; обе они проявили к ней самое сердечное внимание; вы знаете, что по воскресеньям наши друзья из Арнувиля приезжают к нам или мы едем к ним. Так вот, можно подумать, что каждое такое посещение увеличивает грусть нашей милой девочки, хотя Клара успела полюбить ее как сестру.

– Право, госпожа Жорж, тут кроется какая-то тайна. Какова причина затаенного горя Марии? Она должна бы чувствовать себя вполне счастливой! Между ее теперешней и прежней жизнью лежит такая же пропасть, как между раем и адом. И вместе с тем ее нельзя упрекнуть в неблагодарности.

– Неблагодарности? Великий боже!.. Она так искренне благодарна нам за наши заботы! В ней столько деликатности! Бедная крошка делает все возможное, чтобы отплатить за наши заботы о ней! Разве она не возмещает своими услугами получаемое у нас гостеприимство? И это еще не все: за исключением воскресных дней, когда, по моему настоянию, Мария одевается понаряднее, чтобы сопровождать меня в церковь, она носит такое же грубое платье, как деревенские девушки, и, несмотря на это, в ней столько врожденного благородства, изящества, что она прелестна даже в этом наряде, не правда ли, ваше преподобие?

– Ах, сколько в вас материнской гордости! – заметил с улыбкой престарелый священник.

При этих словах глаза г-жи Жорж наполнились слезами: она подумала о своем сыне.

Аббат догадался о причине ее волнения.

– Мужайтесь! – сказал он. – Господь послал вам эту бедную девочку, чтобы помочь дожидаться свидания с сыном. Кроме того, священные узы свяжут вас скоро с Марией: если крестная мать правильно понимает свою миссию, она становится как бы родной матерью. Что до господина Родольфа, то он вдохнул в нее душу, вытащив ее из всей этой грязи... И заранее выполнил свою обязанность крестного отца.

– Считаете ли вы ее достаточно подготовленной, чтобы приобщиться святых тайн, ведь эта обездоленная девочка, наверное, никогда не причащалась.

– Вскоре она проводит меня домой, и я сообщу ей, что это таинство, вероятно, состоится

недели через две.

– Быть может, ваше преподобие, вы вскоре совершите и другое таинство, таинство, внушающее надежду на счастье?..

– Что вы имеете в виду?

– Если Марию полюбят так, как она того заслуживает, и она сама отличит какого-нибудь хорошего доброго человека, почему бы ей не выйти замуж?

Аббат печально покачал головой.

– Выдать ее замуж! Подумайте, госпожа Жорж, во имя истины, чести придется все сказать суженому Марии... И несмотря на ваше и мое ручательство, какой мужчина пренебрежет прошедшим, запятнавшим юность этой бедной девочки! Никто не захочет взять ее в жены.

– Но господин Родольф – человек щедрый! Он сделает для своей протеже еще больше того, что уже сделал... Приданое...

– Увы! – сказал священник, прерывая г-жу Жорж. – Горе Марии, если на ней женятся из соображений корысти! Она будет обречена на самую тяжкую долю; жестокие упреки вскоре последуют за таким браком.

– Вы правы, ее ожидает тяжкая доля! Боже мой, какое несчастное будущее уготовано ей!

– Ей придется искупить тяжчайшие грехи, – серьезно проговорил аббат.

– Подумайте, ваше преподобие, ведь она была брошена в детстве без средств к существованию, без поддержки, без понятия о добре и зле... Затем ее насильно увлекли на путь порока. Какая девушка не сбилась бы с пути на ее месте?

– Заложенное в человеке нравственное чувство должно было поддержать, просветить ее; впрочем, она и не пыталась избежать этой страшной участи. Разве в Париже нет сострадательных людей?

– Конечно, их можно найти, но как и где их искать? Прежде чем вы отыщете доброго человека, сколько придется встретить равнодушия, отказов! А ведь Мария нуждалась не в милостыне, а в постоянной поддержке, которая помогла бы ей честно зарабатывать себе на жизнь... Многие матери, вероятно, сжалились бы над ней, но не так-то легко обрести такую женщину. Уж поверьте мне: я знаю, что такое нищета... Счастливый случай вроде того, который, увы, свел слишком поздно Марию с господином Родольфом, редко встречается; горемыки почти всегда наталкиваются на грубый отказ; они думают, что жалости нет на белом свете, и, мучимые голодом... неумолимым голодом, часто ищут в пороке те средства существования, в которых им отказывают люди.

Тут в гостиную вошла Певунья.

– Откуда вы, детка? – ласково спросила г-жа Жорж.

– Сперва я закрыла двери птичьего двора, а потом осмотрела фруктовый сад. Все плоды прекрасно сохранились, за немногим исключением, попорченные я сняла.

– Почему вы не попросили Клодину сделать это вместо вас, Мария? Вы, наверно, переутомились.

– Нет, нет, сударыня, мне очень нравится в моем саду: там хорошо пахнет спелыми плодами.

– Вы непременно должны осмотреть фруктовый сад Марии, ваше преподобие! Трудно себе представить, как хорошо, с каким вкусом она ухаживает за ним. Гирлянды вьющегося винограда свисают между плодовыми деревьями, которые украшены внизу бордюрами изумрудного мха.

– О, ваше преподобие, я уверена, что сад вам понравится, – наивно сказала Певунья. – Вы увидите, как живописно выглядит мох рядом с ярко-красными яблоками и золотистыми грушами. А особенно хороши мелкие яблоки! То розовые, то белые, они походят среди зелени на головки херувимов, – прибавила девушка с восторгом художника, довольного своим произведением.

Священник с улыбкой взглянул на г-жу Жорж и, обратясь к Марии, проговорил:

– Я уже любовался молочным хозяйством, которым вы руководите, дитя мое; самая требовательная фермерша позавидовала бы его образцовому порядку. А на днях зайду полюбоваться вашим фруктовым садом, красными яблоками и золотистыми грушами и, главное, хорошеньки-

ми яблочками-херувимами. Но солнце только что село, вы едва успеете проводить меня до дому и вернуться до наступления темноты. Возьмите свою накидку, и идемте скорее, дитя мое... Но как же я не подумал об этом: на дворе очень холодно; оставайтесь лучше дома, кто-нибудь из работников проводит меня.

– Что вы, ваше преподобие, вы очень огорчите ее, – сказала г-жа Жорж. – Она так любит провожать вас по вечерам.

– Ваше преподобие, – присовокупила Певунья, робко поднимая на священника свои большие голубые глаза, – я подумаю, что вы недовольны мной, если не разрешите проводить вас, как обычно.

– Я? Мое милое дитя! В таком случае поскорей одевайтесь, да как можно теплее.

Мария тут же надела накидку с капюшоном из толстой кремовой шерсти, отороченную черной бархатной лентой, и предложила священнику опереться на ее руку.

– К счастью, – молвил последний, – от фермы до моего дома недалеко, да и место здесь безопасное.

– Его преподобие немного задержался у нас сегодня, – сказала г-жа Жорж. – Не хотите ли, Мария, чтобы кто-нибудь из работников проводил вас?

– Меня сочтут трусихой, – ответила Мария, улыбаясь. – Спасибо, сударыня, но никого не стоит тревожить из-за меня. Отсюда до дома его преподобия четверть часа пути, и я вернусь до наступления ночи.

– Я не стану уговаривать вас: слава богу, мы никогда не слышали здесь о бродягах.

– В противном случае я не согласился бы, чтобы эта милая девушка провожала меня до дому.

И аббат покинул ферму, оперевшись на руку Лилии-Марии, которая старалась приноровить свой легкий шаг к медленной и тяжелой поступи старца.

Вскоре священник и Мария дошли до той впадины, где притаились Грамотей, Сычиха и Хромуля.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава I ЗАСАДА

Церковь и дом священника Букеваля стояли в каштановой роще на склоне холма, откуда была видна вся деревня. Лилия-Мария и аббат шли по извилистой тропинке, которая вела к приходскому дому, пересекая глубокую овражную дорогу, прорезавшую холм по диагонали.

Сычиха, Грамотей и колченогий Хромуля затаились за поворотом дороги и оттуда увидели, как священник и Лилия-Мария спустились в дорожную впадину и выбрались на противоположной стороне по крутому откосу. Капюшон плаща скрывал лицо юной девушки, и кривая Сычиха не узнала свою бывшую жертву.

– Тихо, приятель, – сказала старуха Грамотею. – Девчонка и боров в сутане перелезли через ров. Это наверняка она, если верить приметам, которые нам дал высокий человек в трауре: одежда деревенская, рост средний, юбка в коричневую полоску, плащ шерстяной с черной оторочкой. В таком наряде она провожает борова каждый день до его конуры, а возвращается одна. Когда она сейчас пойдет назад, надо напасть на нее там, в конце тропинки, схватить и отнести в карету.

– А если она закричит, позовет на помощь? – возразил Грамотей. – Ее услышат на ферме, потому что вы сказали, что отсюда видны дома. Вы-то их видите... не то что я, – добавил он своим гнусавым голосом.

– Конечно, отсюда видна вся ферма, она совсем близко, – подтвердил Хромуля. – Я только что взобрался на откос, полз на живот. И слышал, как возчик разговаривал со своими лошадьми

там внизу, на дворе...

– Тогда надо сделать вот что, – подумав минуту, снова заговорил Грамотей. – Ты, Хромуля, пойдешь сторожить к началу тропинки. Когда увидишь издали эту малышку, ковыляй ей навстречу и кричи, что ты сын бедной старухи, что она свалилась в придорожный ров и не может встать и просит о помощи.

– Поняла тебя, хитрец... Бедной старухой будет твоя Сычиха. Здорово придумано! Мой красавчик всегда был королем взломщиков. Ну а что Мне делать потом?

– Ты заляжешь в придорожном рву, как можно ближе к тому месту, где ждет Крючок с фиакром. Я спрячусь поблизости. Когда Хромуля доведет малышку до середины дороги, перестань хныкать и бросайся на нее: одной рукой за горлышко, а другой – зажми рот, чтобы не вопила.

– Понятно, хитрец. Как с той дамочкой на канале Сен-Мартен, у которой мы взяли «чернушку»⁹² из-под мышки, а потом отправили купаться. Тот же фокус, не так ли?

– Да, тот самый... Ты будешь держать девчонку, чтобы не вырвалась, а Хромуля сбегает за мной. Втроем мы запакуем ее в тот плащ, донесем до фиакра Крючка, а потом – вперед, на Сен-Дени, где нас ждет человек в трауре.

– Здорово задумано, не придерешься! Послушай, хитрец, да тебе нет равных! Если бы я могла, я бы устроила в честь твоей башки фейерверк, разукрасила бы ее разноцветным стеклярусом и отправила в дар святому Шарло, покровителю всех висельников.⁹³ Ты слышишь меня, сопляк? – обратилась она к Хромуле. – Если хочешь стать настоящим ловкачом, бери пример с моего башковитого муженька. Вот это человек! – добавила Сычиха с гордостью. – Кстати, – продолжала она, обращаясь к Грамотею. – Ты должен знать: Крючок трясется от страха за свою дурацкую голову.

– Это еще почему?

– Он недавно в драке пришил мужа одной молодежи, который каждое утро приезжал на маленькой тележке, запряженной осликом, и продавал молоко на углу Старосуконной рядом с этой обжираловкой, «Белым кроликом».

Сын Краснорукого не понимал воровского жаргона и прислушивался к словам Сычихи с любопытством и недоумением.

– Тебе, я вижу, хочется знать, о чем мы говорим, сопляк, не так ли?

– Черт возьми, конечно!

– Если будешь умницей, я научу тебя жаргону. Ты уже не маленький, и это может тебе пригодиться. Ну как, доволен, миленочек?

– Еще бы не доволен! Ведь я хочу остаться с вами, а не возвращаться к старому тупице толочь его снадобья и чистить его клячу. Если бы я только знал, где он прячет «крысомор для людей», я бы подсыпал ему в суп, чтобы он не заставлял меня таскаться с ним по всем дорогам.

Сычиха расхохоталась и проговорила, привлекая к себе Хромулю:

– Иди ко мне, поцелуй скорей мамочку, прелесть моя! Какой же ты забавник... Но откуда ты знаешь, что у твоего хозяина есть «крысомор для людей»?

– Откуда? Да я сам слышал однажды, как он говорил об этом. Меня он не видел, потому что я спрятался в темном чулане, где он держит свои бутылки, всякие железные штуковины и толчет свои снадобья в маленьких ступках...

– О чем же он говорил? Что ты слышал? – настаивала Сычиха.

– Он отдал порошок в пакетике одному господину и сказал: «Кто примет три дозы этого порошка, уснет вечным сном под землей, и никто не узнает отчего и почему, потому что не останется никаких следов...»

– А кто был этот господин? – спросил Грамотей.

– Молодой, красивый, с черными усами и нежным лицом, как у девушки... Он пришел еще раз, но на этот раз, когда он ушел, я отправился следом за ним по приказу моего хозяина Брада-

⁹² Пакет с деньгами, обернутый черной провощенной тканью.

⁹³ Палачу.

манти, чтобы узнать, где его «гнездо». Этот красивый господин вошел в богатый дом на улице Шайо. Мой хозяин приказал мне: «Куда бы он ни пошел, следуй за ним и жди у дверей. Если он выйдет снова, следуй за ним и так до тех пор, пока он не останется в последнем доме. Это будет означать, что там он и живет. Так вот, почтенный мой Хромуля, пошевели своими кривулями и узнай его имя, а не то я тебе так выкручу уши, что они станут похожи на твои кривули!»

– А что дальше?

– А дальше я пошевелил своими кривулями и узнал имя молодого господина.

– Как же ты его узнал? – спросил Грамотей.

– Очень просто, я ведь не дурак! Вошел в подъезд того дома на улице Шайо, откуда господин все не выходил, и справился у швейцара, эдакого напудренного, в коричневой ливрее с желтым воротником и серебряными галунами. «Добрый господин, – говорю я ему, – я пришел получить сто су, которые ваш хозяин обещал мне, за то что я нашел и вернул ему его потерявшуюся собачку, такую маленькую, черную, по кличке Тявкалка, ведь это он вошел сюда, такой темно-волосый, с черными усами, в сером рединготе и светлосиних брюках, он мне сам сказал, что живет на улице Шайо в доме одиннадцать и зовут его Дюпон». – «Господин, о котором ты говоришь, – отвечает мне лакей, – мой хозяин, и зовут его виконт де Сен-Реми, и здесь нет никакой другой собачонки, кроме тебя, дрянной мальчишка, так что убирайся отсюда, пока я тебя не вздул за то, что ты пытался выманить у меня сто су!» И тут он меня так пнул, что я вылетел на улицу. Но это уж не важно, – продолжал философски Хромуля. – Главное, я узнал имя красивого господина с черными усами, который приходил к моему хозяину за «крысомором для людей». Его звали виконт де Сен-Реми, да, да, Сен-Реми, Сен-Реми, – пропел, по своему обыкновению, сын Краснорукого.

– Ох, да я его просто съесть готова, этого маленького певуна! – воскликнула Сычиха, обнимая Хромулю. – Каков хитрец, а? Послушай, хочешь, я буду твоей мамашей, ты это заслужил!

Эти слова произвели на колченогого уродца странное впечатление: его хитрая, злая и недоверчивая рожица вдруг сделалась грустной; похоже, он принял всерьез эти материнские нежности Сычихи.

– И я вас тоже очень люблю, – ответил он. – Потому что вы поцеловали меня в тот первый день, когда пришли за мной в «Кровоточащее сердце», к моему отцу... После смерти матери только вы приласкали меня, а все остальные бьют меня и гонят, как паршивую собачонку, все на свете, даже привратница, матушка Пипле.

– Старая ведьма! – воскликнула Сычиха с видом деланного возмущения, которое Хромуля принял за чистую монету. – Подумать только, она еще нос воротит! Оттолкнуть любовь такого ребенка...

И кривая Сычиха еще раз поцеловала Хромулю с преувеличенной нежностью.

Сын Краснорукого, глубоко тронутый этим новым проявлением добрых чувств, ответил на них с горячей признательностью.

– Только прикажите! – вскричал он. – Прикажите, и вы увидите, я исполню все, увидите, как верно я буду вам служить!..

– Правда? Ну хорошо, ты об этом не пожалеешь...

– О, я так рад остаться с вами!

– Ладно, посмотрим, если будешь умником. А пока пойдешь с нами.

– Да, – согласился Грамотей, – ты поведешь меня, несчастного слепца, и будешь говорить, что ты мой сын. Мы будем проникать в дома, и тысяча смертей, – вскричал в ярости убийца, – с помощью Сычихи мы еще не раз поживимся! Я еще покажу этому дьяволу Родольфу, который меня ослепил, что со мной далеко не все кончено!.. Он отнял у меня зрение, но не отнял стремления творить зло. Я буду головой, ты, Хромуля, моими глазами, ты, Сычиха, моей рукой. Ты ведь мне поможешь.

– Ты же знаешь, душегубчик, я с тобой до досочки, до веревочки с петлей. Когда я вышла из госпиталя и узнала, что ты спрашивал меня у кабатчицы Людоедки ради этого простофили из Сен-Манде, я все бросила и помчалась в твою деревню к этим местным ведьмам и всем говорила, что я твоя жена! Ты разве не помнишь?

Но эти слова кривой Сычихи вызвали у Грамотея неприятные воспоминания. Внезапно тон и обращение его к Сычи-хе изменились, и он злобно закричал:

– Да я подыхал там от скуки с этими честными людьми; через месяц я уже больше не мог, мне было страшно. И тогда я придумал позвать тебя. Себе на беду! – добавил он еще более яростно. – На другой же день после твоего появления меня ограбили, утащили остатки денег, которые мне дал этот демон из аллеи Вдов. Да, сняли пояс с золотыми, пока я спал... Только ты могла это сделать, и теперь я в твоей власти... Всякий раз, как вспомню, все время удивляюсь, почему я тебя не убил на месте, старая воровка!

Он шагнул в сторону кривой Сычихи, но его остановил возглас Хромули:

– Берегись, если тронешь Сычиху, худо будет!

– Да я раздавлю вас обоих, злобные гадюки! – в ярости закричал бандит. И, услышав рядом с собой голос сына Крас-норукого, он нанес наугад в его сторону такой страшный удар кулаком, что наверняка уложил бы его наповал, попади он в цель.

Хромуля, чтобы отомстить за себя и за Сычиху, подобрал с дороги камень, прицелился и попал Грамотею прямо в лоб.

Удар был не опасен, но весьма болезнен.

Разъяренный бандит вскочил на ноги, страшный, как раненый бык, сделал несколько шагов вперед, но споткнулся.

– Не сломай себе шею! – воскликнула Сычиха, хохоча до слез.

Несмотря на кровавые узы, связавшие ее с убийцей, она по многим причинам с жестокой радостью наблюдала за унижением этого некогда ужасного зверя, непомерно гордого своей чудовищной силой.

Так одноглазая на свой манер подтверждала правоту безжалостной мысли Ларошфуко о том, что «мы всегда находим нечто утешительное в несчастьях наших лучших друзей».

Уродливый мальчишка с желтыми волосами и крысиной мордочкой всецело разделял буйное веселье одноглазой. Грамотей снова споткнулся, и Хромуля закричал ему:

– Да открой же глаза, старина, открой глаза! Ты идешь не в ту сторону, ты петляешь... Неужели ты сам не видишь?.. Протри получше стекла своих очков!

Понимая, что ему не удастся поймать мальчишку, силач яростно затопал на месте, двумя огромными волосатыми кулаками протер глазницы и глухо зарычал, – как тигр в петле намордника.

– Ты вроде кашляешь, старина? – осведомился сын Краснорукого. – Послушай, вот прекрасное лекарство, его дал мне один жандарм, надеюсь, и тебе оно понравится!

Он подобрал горсть щебня и швырнул в лицо убийцы.

Этот дождь мелких острых камешков, оцарапавших лицо, это новое оскорбление причинили Грамотею еще более жестокие страдания, чем удар камня в лоб; мертвенно побледнев под сетью сине-багровых шрамов, ой внезапно раскинул крестом руки жестом невыразимого отчаяния, воздел к небесам свое ужасное лицо и взмолился из глубины души:

– О господи, господи боже мой!

Странно было слышать из уст этого человека, запятнавшего себя самыми жестокими преступлениями, перед кем дрожали самые отчаянные мерзавцы, внезапный призыв к божьему милосердию, но так было угодно провидению.

– Ах, ах, ах, чертушка раскидывает руки крестом, – захихикала Сычиха. – Ты не того позвал, мой милый, тебе надо звать рогатого на помощь!

– Дай мне хоть нож, чтобы я покончил с собой!.. Дай мне нож!!! Ибо все оставили меня! – вскричал несчастный, кусая кулак в бессильной ярости.

– Нож? У тебя есть нож в кармане, хитрец, и преострый. Старикашка с улицы Руля и торговец быками, должно быть, уже рассказали о нем могильным червям.

Грамотей понял, что ему ничто не мешает покончить с собой, и поспешно сменил тему.

– Поножовщик был ко мне добр, – заговорил он глухим, трусливым голосом. – Он не обокрал меня, он меня пожалел...

– Почему ты сказал, будто я утащила твою казну? – спросила Сычиха, едва удерживаясь от

смеха.

– Ты одна входила ко мне в комнату, – ответил бандит. – Меня обокрали в ночь твоего приезда. Кого же мне еще подозревать? Местные крестьяне на такое не способны.

– А почему бы им не поживиться, твоим крестьянам? Что они, хуже других? Может, они пьют только молоко и щиплют траву, как кролики?

– Так или иначе, меня обчистили.

– Но при чем здесь твоя Сычиха? Да ты сам подумай! Если бы я увела твое сокровище, разве бы я после этого осталась с тобой? Ты что, сдурел? Конечно, я бы взяла твои денежки, если бы могла. Но, верь слову Сычихи, ты бы все равно меня снова нашел потом, когда бы денежки растаяли, потому что ты мне нравишься, белоглазый разбойник! И послушай, брось ты скрипеть зубами, а то все выкрошишь.

– Похоже, он щелкает орехи! – заметил Хромуля.

– Ха-ха-ха! Ты прав, малыш. А ты, душегубчик, успокойся, пусть себе посмеется, он еще так молод. И признайся, что ты несправедлив. Когда высокий человек в трауре, похожий на могильщика, сказал мне: «Плачу тысячу франков, если вы похитите девушку, которая живет на ферме Букеваль, и привезете на указанное место в долине Сен-Дени», разве я не предложила тебе сразу войти в долю, ответь! А ведь могла бы выбрать любого, кто соображает и видит лучше. Так что считай, что я тебя благодетельствовала. Потому что ты нам нужен только для того, чтобы ты держал девчонку, пока мы с Хромулей не запакуем ее в плащ. А в остальном ты нам как карете пятое колесо. Ну ладно. Я бы тебя, конечно, обокрала, если бы могла, но в общем я тебя люблю и желаю тебе добра. Я хочу, чтобы ты был обязан всем твоей дорогой Сычихе: такой уж у меня характер! Мы дадим двести монет Крючку за карету и за то, что он привозил сюда слугу высокого человека – в трауре показать нам место, где мы должны спрятаться, поджидая девчонку. Нам останется восемьсот монет на двоих, будет на что погулять! Ну а теперь что скажешь? Ты еще сердишься на свою старушку?

– Кто поручится, что ты дашь мне хоть что-нибудь, когда дело будет сделано? – мрачно и недоверчиво спросил грабитель.

– Я бы, конечно, могла ничего тебе вообще не дать, мой милый, потому что ты у меня в кармане, как когда-то была Певунья. Так что жарься на моей сковородке, пока рогатый *пекарь*, в свою очередь, не подцепит тебя на вилы, хе-хе-хе!.. Ну что, душегубчик, ты все еще На меня дуешься? – спросила одноглазая, хлопнув бандита по плечу. Тот удрученно промолчал.

– Ты права, – проговорил он наконец со сдержанной яростью. – Такова, видно, моя участь. И это я, я во власти мальчишки и женщины, которую раньше бы убил одним дуновением! О, если бы я так не боялся смерти! – пробормотал он и опустил на придорожный склон.

– А ты стал трусом, ты трус! – презрительно сказала Сычиха. – Поговори теперь о своей «немой», о своей совести, это будет еще смешнее. А если тебя даже на это не хватает, я улечу и брошу тебя.

– Значит, я не смогу даже отомстить тому человеку, который искалечил меня и оставил в этом жалком положении, из которого я никогда не выйду! – вскричал Грамотей с удвоенной яростью. – Да, я очень боюсь смерти, очень... Ну пусть мне скажут: ты получишь этого человека, будешь держать его обеими руками, а потом вас обоих бросят в бездну. Я отвечу: пусть бросят, пусть, потому что я не выпущу его, пока мы оба не достигнем дна. И пока мы будем катиться вниз, я искусаю его лицо, перегрызу горло, вырву сердце, я загрызу его зубами, потому что мой нож для него слишком хорош!

– Вот и прекрасно, чертушка, таким я тебя люблю. Будь спокоен, мы отыщем твоего подонка Родольфа, и Поножовщика тоже. После больницы я долго бродила по аллее, Вдов... все было заперто, заколочено. Но я сказала высокому человеку в трауре: «Когда-то вы хотели нам заплатить, чтобы мы кое-что сделали с этим чудовищем Родольфом. Может быть, после дельца с девчонкой, которое нас ждет, мы займемся Родольфом?..» – «Возможно», – ответил он. Ты слышишь, хитрец? «Возможно!» Мужайся, чертушка. Мы слопаем твоего Родольфа, это я тебе говорю, мы его сожрем!

– Ты правда меня не бросишь? – спросил бандит покорно и в то же время недоверчиво. –

Если ты теперь меня бросишь, что же со мной будет?

– Да, ты прав. Скажи-ка, душегубчик, вот будет весело, если мы с Хромулей удерем в карете и оставим тебя здесь в поле, а ночи-то уже не летние, холодок прихватывает. Вот будет знатная шутка, а, разбойничек?

При этой угрозе Грамотей содрогнулся; он приблизился к Сычихе и проговорил, весь дрожа:

– Нет, нет, ты не сделаешь этого, Сычиха... и ты тоже, Хромуля... Это было бы слишком жестоко.

– Ха-ха-ха, слишком жестоко! Посмотри на этого простачка! А старикашка с улицы Руля, а торговец быками? А женщина на канале Сен-Мартен? А господин в аллее Вдов? Может, им понравилось, когда ты щекотал их своим кинжалом? Почему с тобой, в свою очередь, нельзя сыграть такую шутку?

– Хорошо, я признаюсь, – глухо проговорил Грамотей. – Да, я был неправ, когда заподозрил тебя, и был неправ, когда ударил Хромулю. Я прошу у тебя прощения, Сычиха... и у тебя тоже, Хромуля... Я прошу прощения у вас обоих.

– Нет, пусть он просит прощения на коленях за то, что хотел избить Сычиху! – заявил Хромуля.

– Вот мартышка, какой он забавный! – со смехом сказала Сычиха. – В самом деле, мне хочется посмотреть, какую рожу ты состроишь, когда будешь стоять на коленях, словно сгорая от любви к твоей ненаглядной Сычихе. Вставай на колени и поторопись, иначе мы тебя бросим, предупреждаю, через полчаса уже наступит ночь.

– Да ведь ему все равно, день или ночь, – насмешливо сказал Хромуля. – У этого господина ставни всегда закрыты, он боится испортить цвет лица.

– Хорошо, вот я на коленях. Прости меня, Сычиха... и прости меня ты, Хромуля. Теперь ты довольна? – спросил бандит, стоя на коленях посреди дороги. – Теперь ты меня не покинешь, скажи?

Эта странная группа на дороге между крутыми склонами, освещенная красноватыми отсветами заката, была ужасна и отвратительна.

Посреди дороги стоял на коленях Грамотей, умоляюще протягивая к кривой Сычихе могучие руки; густая и жесткая шевелюра падала словно грива на его багровый лоб; красные веки, безмерно распахнутые от ужаса, позволяли видеть неподвижные зрачки, потускневшие, стеклянные, мертвые, – взгляд мертвеца.

Его огромные лапы были униженно опущены. Этот коленопреклоненный Геркулес дрожа склонялся перед старухой и мальчишкой.

Кривая Сычиха, закутанная в красную клетчатую шаль, в старом чепце из черного тюля, из-под которого вылезали седые пряди, возвышалась над Грамотеем во весь рост. Ее костлявое лицо с крючковатым носом, старое и обветренное, все в морщинах и пятнах, выражало циничную, жестокую радость; единственный красно-желтый глаз сверкал, как пылающий уголек; хищный оскал губ под длинными волосами обнажал три-четыре пожелтевших и полусгнивших зуба.

Хромуля в своей блузе с кожаным поясом стоял на одной ноге, опираясь на Сычиху, чтобы сохранить равновесие.

Боллезненное и хитрое лицо этого мальчишки, такое же серо-желтое, как его волосы, выражало в этот момент насмешливую, дьявольскую жестокость.

Тень от придорожного склона еще более увеличивала ужас этой сцены, которую уже заволакивали сумерки.

– Пообещайте хотя бы не бросать меня! – повторил Грамотей, испуганный молчанием Сычихи и Хромули, которые наслаждались его страхом. – Неужели вы уже ушли? – прибавил убийца, наклоняясь, чтобы прислушаться, и машинально протягивая вперед руки.

– Нет, нет, мой голубчик, мы здесь, не бойся. Покинуть тебя? Да скорее я поцелуюсь с костлявой. Давай я тебя раз навсегда успокою и объясню, почему не покину тебя никогда. Слушай хорошенько: я всегда обожала кого-нибудь мучить, запускать в кого-нибудь мои когти, в

человека или зверя. Еще до Воровки, – пусть *пекарь* вернет ее мне, потому что мне до сих пор хочется умыть ее серной кислотой! – так вот, до Воровки был у меня мальчишечка, который не выдержал и загнулся, за что меня и упекли на шесть лет за решетку. Все эти шесть лет в тюрьме я мучила птиц: сначала приманивала, а потом ошипывала живьем... Но с них было мало толку, они быстро подыхали. Когда я вышла из тюрьмы, в мои когти попала Певунья, но эта нищенка ухитрилась сбежать, когда я могла бы еще с ней позабавиться. Потом у меня была собачка, которой досталось все, от чего сбежала девчонка; под конец я отрубила ей одну заднюю лапу и одну переднюю: из-за этого она так смешно ковыляла, так перекатывалась, что я едва не померла от хохота.

«Так и я сделаю с той собакой, которая меня укусила», – пообещал себе колченогий.

– Когда я встретила тебя, голубчик, – продолжала Сычиха, – я домучивала кошку... Так вот, отныне ты будешь моей кошкой, моей собакой, моей птичкой, моей Воровкой; в общем, будешь моей «тварью страждущей»... Понимаешь, душегубчик, вместо того чтобы мучить птицу или пытаться ребенка, теперь я смогу позабавиться с волком или тигром, ведь это куда интересней, что скажешь?

– Старая ведьма! – вскричал Грамотей и в ярости вскочил на ноги.

– Полно, ты опять дуешься на свою старушку. Ну что же, покинь ее, ты сам себе господин. Я не стану на тебя сердиться за предательство.

– Да, уходи, дверь открыта! Беги не глядя все прямо! – сказал Хромуля и разразился хохотом.

– Лучше умереть, умереть! – закричал Громотей, ломая руки.

– Ты повторяешься, мой милый, ты уже это говорил. И не болтай чепухи! Ты здоров как буйвол, так что оставь, ты проживешь еще долго на радость твоей Сычихе. Я тебя буду мучить время от времени, потому что в этом моя радость, и к тому же ты должен отрабатывать хлеб, которым я тебя кормлю. А если будешь умником, я буду брать тебя на хорошие дела, как сегодня, и, может быть, на другие, повыгоднее, где ты сможешь пригодиться. Короче – ты будешь моим зверем, моим псом. Я прикажу тебе: принеси! И ты принесешь. Я прикажу: загрызи! И ты загрызешь. Но только вот что, милый, я вовсе не хочу тебя принуждать. Если вместо того, что я тебе предлагаю, ты предпочтешь жить на ренту, кататься в карете со смазливой дамочкой, получать ордена и должности вроде «главного соглядатая»⁹⁴ и прозреть, а не оставаться слепым, – пожалуйста, не стесняйся! Весь это так легко! Стоит тебе пожелать – и все тебе преподнесут на блюде... Не правда ли, Хромуля?

– На блюде и горяченькое, только скажи! – со смехом поддержал ее сын Краснорукого.

Но вдруг он склонился к земле и тихо проговорил:

– Я слышу шаги на тропинке. Прячемся! Это не наша девчонка, потому что идут с той стороны, откуда она пришла.

И действительно, через несколько минут на тропинке появилась крепкая, еще молодая крестьянка с накрытой корзиной на голове; за ней бежала большая собака с фермы. Они пересекли дорогу и поднялись по тропе, по которой недавно прошли священник и Певунья.

Присоединимся к этим двум персонажам и оставим пока трех сообщников в их засаде на овражной дороге.

Глава II ДОМ СВЯЩЕННИКА

Последние лучи солнца угасали за массивными стенами замка Экуен и окружающими его лесами. Повсюду вокруг, насколько хватал глаз, простирались обширные поля с коричневыми бороздами, уже отвердевшими от заморозков, безмерное безлюдное пространство, среди которого деревушка Букеваль казалась оазисом жизни.

Прозрачное, чистое небо на западе прочертили длинные пурпурные полосы – верный при-

⁹⁴ Верховного судьи.

знак ветров и холодов. Багряные тучи, яркие и пылающие, по мере приближения сумерек становились фиолетовыми.

Тонкий, четкий полумесяц, похожий, на половинку серебряного кольца, тихо засветился на темно-лазурном небосводе.

Был торжественный час, царила глубокая тишина.

Священник приостановился на вершине холма полюбоваться прекрасным закатом.

Несколько минут он стоял, погруженный в глубокие размышления, затем простер дрожащую руку к далям, наполовину затянутым вечерним туманом, и сказал, обращаясь к Лилии-Марии, которая в задумчивости следовала за ним:

– Взгляни, дитя мое, на эту беспредельность: у нее нет границ!.. И не слышно ни малейшего звука... Мне кажется, безмолвие и бесконечность – это символ вечности... Я говорю тебе это, Мария, потому что ты чувствуешь красоту природы. Часто я с умилением смотрел, с каким благоговейным восторгом ты любовалась этими красотами... ты, столь долго лишенная возможности их созерцать. Наверное, тебя, как и меня, поражает нерушимый покой этого заката?

Девушка не ответила.

Удивленный кюре обернулся; она плакала.

– Что с тобой, дитя мое?

– Отец мой, я так несчастна!

– Несчастлива? Даже сейчас... несчастна?

– Я знаю, что не могу жаловаться на судьбу после всего того, что вы для меня сделали... и все же...

– И все же?

– Ах, отец мой, простите меня за мою печаль: наверное, она обидит моих благодетелей...

– Послушай, Мария, мы часто спрашивали тебя о причинах твоей печали, которая охватывает тебя временами и очень беспокоит твою приемную мать... Ты не отвечала, и мы не настаивали, хотя твоя тайна нас тоже огорчает, потому что мы не знаем, как облегчить твои страдания.

– Увы, отец мой! Я не могу сказать, что происходит со мной. Так же, как и вы, я вдруг ощутила всю красоту этого вечера, такую мирную и грустную... Сердце мое разбито... Я сейчас заплачу...

– Но что с тобой, Мария? Ты знаешь, как мы тебя любим. Послушай, признайся мне во всем! К тому же я могу сказать тебе; уже близок день, когда госпожа Жорж и господин Родольф станут твоими крестными и обязуются перед богом всегда охранять тебя от всех бед.

– Господин Родольф?.. Тот, кто спас меня? – вскричала Лилия-Мария, молитвенно складывая руки. – Неужели ой вновь снизойдет ко мне, даст мне новое доказательство своей доброты? О боже, я ничего не буду скрывать от вас, отец мой, я слишком боюсь оказаться неблагодарной, недостойной.

– Неблагодарной? Недостойной?

– Чтобы вы поняли меня, я должна рассказать о первых моих днях на ферме.

– Я тебя слушаю, говори, пока мы идем.

– Вы будете милосердны, отец мой? То, что я расскажу, может быть, очень нехорошо.

– Господь доказал тебе, что его милосердие безгранично. Мужайся!

Собравшись с мыслями, Лилия-Мария заговорила:

– Когда я узнала здесь, что больше не покину ферму и госпожу Жорж, я подумала, что вижу чудесный сон. Сначала я была словно оглушена таким счастьем и каждый миг думала о господине Родольфе. Очень часто, когда я оставалась одна, словно против своей воли я поднимала глаза к небу, чтобы найти его там и поблагодарить. Да, я виновата, отец мой... Я думала о нем чаще, чем о боге... Ибо он сделал для меня то, что мог сделать только господь. Я была счастлива, счастлива, как человек, избежавший смертельной опасности. Вы и госпожа Жорж были так ко мне добры, что порой мне казалось, что я в самом деле больше достойна жалости, чем порицания.

Кюре посмотрел на Певунью с удивлением. А она продолжала:

– Мало-помалу я привыкла к такой безмятежной, спокойной жизни. Я уже не боялась, про-

сыпаясь, что увижу Людоедку, я спала, как бы сказать, в безопасности. И больше всего мне нравилось помогать госпоже. Жорж во всех ее делах, прилежно внимать вашим урокам, отец мой, а еще – слушать ваши проповеди и поучения. Лишь порой мне бывало стыдно за мое прошлое, а в остальное время я думала, что теперь я такая же, как все люди, потому что все были добры ко мне... Но вот однажды...

Рыдания прервали речь Лилии-Марии.

– Прошу тебя, успокойся, бедное дитя! Наберись смелости!

Утерев слезы, Певунья продолжала:

– Вы помните, отец мой, на праздник всех святых сюда приезжала со своей дочерью госпожа Дюбрей, арендаторша герцога де Люсене в Арнувиле?

– Конечно, помню. И я был рад, что ты познакомилась с Кларой Дюбрей; у этой девушки много достоинств...

– Это ангел, отец мой, просто ангел! Когда я узнала, что она приедет на несколько дней к нам на ферму, я была так счастлива и только и мечтала о встрече с желанной подругой. И наконец она приехала. Я была в своей комнате, Клара должна была пожить у меня, и я старалась убрать комнату получше. За мной прислали; я вошла в гостиную, сердце мое колотилось. Госпожа Жорж подвела меня к этой юной девушке, такой нежной, скромной и доброй, и сказала: «Мария, вот подруга для тебя!» И госпожа Дюбрей прибавила: «Я надеюсь, что скоро вы будете как две сестрички». Едва ее мать произнесла эти слова, Клара бросилась ко мне и обняла меня. И тогда, отец мой, – продолжала Лилия-Мария, заливаясь слезами, – я не знаю, что со мной вдруг случилось... Но когда нежное, свежее личико Клары прижалось к моей увядшей щеке... эта щека загорелась от стыда... и от раскаяния. Я вспомнила, кем я была... Кто я такая, чтобы меня обнимала юная, честная девушка!.. Мне показалось, что я обманщица, презренная лицемерка...

– Но послушай, дитя мое...

– Ах, отец мой! – вскричала Мария с отчаянием и болью, прерывая священника. – Когда господин Родольф увел меня из Сите, я уже смутно догадывалась, как я низко пала... Но неужели вы думаете, что воспитание, советы и примеры, которые давали мне госпожа Жорж и вы, просвещая мой разум, не объясняли мне, увы, что я была не столько несчастна, сколько виновна?.. До приезда мадемуазель Клары, когда эти мысли терзали меня, я старалась заглушить их, старалась угождать госпоже Жорж и вам, отец мой... Если я краснела от стыда за мое прошлое, то только перед самой собой... Но при виде этой юной девушки, такой прелестной, такой невинной, я поняла, какая пропасть легла навсегда между ею и мной... В первый раз я почувствовала, что существуют шрамы, которые ничто не может сгладить... С того самого дня эта мысль не покидает меня... Что бы я ни делала, она преследует меня, с того самого дня я не знаю ни минуты покоя.

Девушка вытерла глаза, полные слез.

Кюре смотрел на нее с нежностью и состраданием. Потом он заговорил:

– Подумай, дитя мое, если госпожа Жорж рассудила, что ты достойна быть подругой мадемуазель Клары, значит, она считала, что ты заслужила такую дружбу своим хорошим поведением. И, упрекая себя, ты словно упрекаешь свою приемную мать.

– Я это знаю, отец мой, я не права, конечно, но я не могла преодолеть стыд и страх... И это еще не все... Где взять мужества, чтобы договорить до конца?..

– Продолжай, Мария! Пока я вижу: твои сомнения или, скорее, угрызения совести говорят только о доброте твоего сердца.

– Когда Клара поселилась на ферме, я думала, буду радоваться, буду счастлива, что у меня появилась подруга моего возраста, но вместо этого пришла печаль. А Клара, наоборот, была счастлива и весела. Ей устроили постель в моей комнате. В первый же вечер она обняла меня и сказала, что уже полюбила меня, что очень ко мне расположена, и попросила называть ее просто Кларой, как она называет меня Марией. А потом она помолилась и сказала, что будет поминать мое имя в своих молитвах, если я тоже буду поминать ее имя в моих молитвах. Я не могла ей в этом отказать. Мы еще немного поболтали, и она уснула, а я даже не прилегла. Я подошла к ней, я плакала и смотрела на ее ангельское лицо, а потом подумала, что она спит в одной комнате со

мною... со мной, найденной в притоне Людоедки среди убийц и воров... Я вся дрожала, словно совершила преступление, меня терзали страхи... Мне казалось, господь когда-нибудь накажет меня за это. Я легла, и мне снились кошмары, я видела ужасные, почти забытые лица Поножовщика, Грамотея, Сычихи, этой одноглазой старухи, которая меня терзала и мучила, пока я была совсем маленькой... О, какая страшная ночь! Господи, какая ночь! Какие ужасные сны!

И Певунья содрогнулась от этих воспоминаний.

– Бедняжка Мария! – с волнением проговорил священник. – Почему же ты раньше не признавалась мне в своих горестях? Я бы помог тебе успокоиться... Но все же продолжай.

– Я уснула поздно; мадемуазель Клара меня разбудила поцелуем, чтобы победить то, что она называла моей недоверчивостью, «холодком», стремясь доказать свою искреннюю дружбу, она решила доверить мне свою тайну. Когда ей исполнится восемнадцать, она станет женой давно любимого ею сына фермера из Гуссенвиля. Их семьи о свадьбе сговорились уже давно. А потом... она мне рассказала кое-что о себе, о своей жизни... Жизни такой простой, спокойной, счастливой... Она никогда не расставалась со своей матерью и не расстанется, потому что ее жених будет возделывать поля фермы вместе с господином Дюбрейем.

«Отныне, Мария, – сказала она мне, – ты знаешь меня как сестра. А теперь расскажи о себе...»

После этих слов я думала, что умру со стыда. Я краснела и бормотала что-то... Я ведь не знала, что госпожа Жорж рассказала обо мне, я боялась подвести ее. А потому ответила, что я сирота, воспитывали меня люди строгие, жестокие даже, и в детстве я была не слишком счастлива и только рядом с госпожой Жорж познала радость жизни. Тогда Клара, скорее из сочувствия, чем из простого любопытства, спросила, где меня воспитывали: в городе или в деревне? Как звали моего отца? И еще она спрашивала, помню ли я мою мать? И каждый ее вопрос смущал меня и причинял мне боль: ибо мне приходилось все время лгать, а вы, отец мой, научили меня, как пагубна и греховна ложь... Но Клара не могла и подумать, что я ее обманываю. Она подумала, что неуверенные и неясные мои ответы – следы горьких воспоминаний детства, Клара мне верила и жалела меня с такой добротой, что мне становилось плохо. Отец мой, вам никогда не понять, сколько я выстрадала за те первые дни, первые разговоры с Кларой! Сколько мне стоило тогда каждое слово лжи и лицемерия!..

– Несчастная! Да обрушится гнев господний на всех, кто вверг тебя в эту страшную бездну греха и, может быть, заставит всю жизнь раскаиваться в неумолимых последствиях первого падения!

– О да, злодеи этого заслуживают, отец мой, – с горечью продолжала Лилия-Мария. – Ибо отмыть мой позор невозможно. И это еще не все. Клара говорила мне о своем светлом счастье, о близкой свадьбе, о доброй семейной жизни, и я не могла не сравнивать ее судьбу со своей. Потому что, несмотря на всю вашу доброту здесь ко мне, судьба моя неотвратимо несчастна. Вы и госпожа Жорж объяснили мне, что такое добродетель, и в то же время дали понять, как низко я опускалась в прошлом: отныне я пример самого подлого, что может быть в мире, и никто меня в этом не разубедит. Познание зла и добра обошлось мне слишком дорого. Так пусть же свершится моя злосчастная судьба!

– О Мария, Мария!

– Я говорю не то, отец мой? Я не права? Увы! Я не решалась вам в этом признаться... Да, порой я не могу с благодарностью принимать ту бесконечную доброту, с которой вы ко мне относитесь. Мне кажется, мне говорят; если бы тебя не вырвали из бездны унижений, ты бы скоро умерла от нищеты и побоев. Так что же! По крайней мере, я бы умерла, не зная о той чистоте и невинности, о которых я буду горевать всю жизнь.

– Увы, Мария, этого не избежать! Даже такое щедро одаренное создателем существо, как ты, погрузившись однажды в нечистоты, подобные тем, из коих тебя извлекли, будет хранить на себе неизгладимые отметины. Такова непреклонная воля божественного правосудия.

– Вот видите, отец мой! – горестно вскричала Лилия-Мария. – Вы сами сказали: я должна страдать и отчаиваться до самой смерти!

– Ты должна сожалеть, что тебе не удастся вычеркнуть из своей жизни эту горестную стра-

ницу, – печально и сурово сказал священник, – но ты должна надеяться и верить в бесконечное милосердие всемогущего. Здесь, на земле, несчастное дитя мое, тебе уготованы раскаяние, слезы, искупление грехов, но когда-нибудь там, – и он воздел руку к небосклону, на котором уже замерцали звезды, – там тебя ждет всепрощение и вечное счастье!

– Сжался, господи, сжался надо мной!.. Я еще так молода и, может быть, проживу еще долго! – воскликнула Певунья душераздирающим голосом и упала на колени, инстинктивно обратившись к священнику.

Он стоял на вершине холма, неподалеку от которого виднелся его дом; черная сутана кюре, его благородное лицо, обрамленное длинными седыми волосами, чуть освещенные последними отсветами заката, вырисовывались силуэтом на фоне поразительно чистого и прозрачного неба, бледно-золотистого на западе и сапфирового на востоке.

Священник поднял дрожащую руку к небесам, а другую протянул Марии, которая обливала ее слезами.

Капюшон ее серого плаща упал ей на плечи, открыв прелестное лицо девушки, ее прекрасные, умоляющие, полные слез глаза, ее белоснежную шею, окутанную шелковистой волной белокурых волос.

Эта простая и величественная сцена являла разительный контраст и странную аналогию с омерзительной сценой, которая разыгрывалась почти одновременно в глубине овражной дороги между Грамотеем и Сычихой.

Во мраке черного оврага ужасный убийца, заклеянный своими преступлениями, изнемогая от трусости и страха, тоже стоял на коленях... но перед своей сообщницей, насмешливой и мстительной фурией, которая безжалостно терзала его и толкала на новые преступления. Перед той, кто была первой виновницей всех несчастий Лилии-Марии. Лилии-Марии, которую теперь безотрывно мучили угрызения совести.

Но разве нельзя понять глубину ее бесконечных страданий? С раннего детства она жила среди отвратительных, опустившихся, злобных людей; променяла эту клоаку на притон Людоедки, тюрьму еще более страшную; никогда не была свободной, никогда не выходила из темных, зловонных кварталов Сите... Несчастливая девушка всю свою жизнь прожила, ничего не ведая о красоте и добре и ничего не зная о своих благородных чувствах, столь же непостижимых для нее, как великая красота природы.

И вдруг, без всякого перехода, она меняет это зловонное узилище на уединение прелестной фермы; свое мерзкое существование – на счастливую и мирную жизнь рядом с самыми достойными, самыми добрыми людьми, сочувствующими ее несчастьям.

Иными словами, перед ее пораженной душой вдруг открылось самое восхитительное сочетание прекрасных людей и прекрасной природы. В этом величественном окружении дух ее воспрял, мысль ожила, благородные инстинкты пробудились... И именно потому, что дух ее воспрял, мысль ожила и благородные инстинкты пробудились, она осознала всю глубину своего первоначального падения, ощутила невыразимое страдание и ужас перед своей прошлой жизнью и теперь, увы, понимает, как она сказала, что от этой грязи ей никогда не отмыться...

– Горе мне, горе! – в отчаянии восклицала Певунья. – Даже если вся жизнь моя отныне будет столь же долгой и столь же чистой, как ваша, отец мой, она все равно останется омраченной угрызениями совести и воспоминаниями о прошлом. Горе мне!

– Наоборот, Мария, счастье тебе, счастье той, кому господь ниспошлет это раскаяние, полное горечи, но такое святое! Оно говорит, что душа твоя не погибла для веры. Очень многие, лишённые твоего душевного благородства, постарались бы на твоём месте скорее забыть свое прошлое, чтобы спокойно наслаждаться радостями настоящего. Твоя нежная душа страдает, а вульгарная и грубая не испытала бы ни малейшей боли. Но все твои страдания будут тебе зачтены там, на небесах! Поверь мне, господь не оставит тебя ни на миг на твоём грешном пути, чтобы тебе досталась слава раскаяния и вечное блаженство во искупление!

Не тебе ли сказал сам господь: «Кто творит добро без борьбы и приходит ко мне с улыбкой на устах – тот избранный; но кто ранен в борьбе и приходит ко мне окровавленный и увечный –

избранные из моих избранных!..» Поэтому мужайся, дитя мое!.. Надейся на нашу поддержку, опору и совет... Я уже слишком стар, но госпожа Жорж и господин Родольф проживут еще долгие годы. Особенно господин Родольф, который проявляет к тебе такой искренний интерес... и с таким благосклонным вниманием следит за твоими успехами. Скажи, Мария, неужели ты когда-нибудь пожалеешь, что повстречалась с ним?..

Певунья уже хотела ответить, но ее прервала крестьянка, о которой мы уже упоминали: по той же тропинке, по которой раньше прошли священник и девушка, она теперь догнала их. Это была одна из служанок с фермы.

– Извините меня, господин кюре, – проговорила она. – Прошу прощения, но госпожа Жорж велела мне отнести вам эту корзину с фруктами и еще велела проводить мадемуазель Марию домой, потому что уже темнеет, а я взяла с собой Турка, – добавила крестьянка, потрепав по голове огромную пиренейскую овчарку, которая не боялась бы схватиться и с медведем. – Хоть у нас и не бывает злых людей на дорогах, но с Турком все-таки спокойней.

– Ты права, Клодина; к тому же мы уже почти дошли до моего дома. Поблагодари от меня госпожу Жорж.

Затем, понизив голос, кюре серьезным тоном сказал Певунье:

– Завтра мне нужно на приходский совет, но к пяти часам я вернусь. Если хочешь, я буду ждать тебя, дитя мое. Насколько я понимаю, в твоем состоянии духа тебе необходимо о многом поговорить со мной.

– Благодарю вас, отец мой, – ответила Лилия-Мария. – Вы так добры, и завтра я обязательно приду.

– А вот мы и дошли до калитки сада! – сказал священник. – Оставь здесь корзину, Клодина, моя домоправительница ее захватит, Возвращайся поскорее на ферму вместе с Марией: уже почти ночь и холодает заметно. До завтра, Мария, в пять часов!

– До завтра, отец мой.

Кюре вошел в сад.

Певунья и Клодина двинулись по тропинке к ферме, и Турок бежал за ними не отставая.

Глава III ВСТРЕЧА

Наступила ночь, холодная и ясная.

По совету Грамотея Сычиха вместе с ним выбрала на овражной дороге место подальше от тропинки на ферму и поближе к перекрестку, где их ждал Крючок.

Хромуля остался у тропинки, поджидая возвращения Лилии-Марии, которую он должен был завлечь в эту западню, умоляя помочь несчастной старой женщине.

Сын Краснорукого на несколько шагов поднялся с дороги на тропинку, но вдруг наострил уши и замер: он услышал издали Певунью, которая о чем-то говорила с Клодиной.

Значит, Певунья не одна, значит, все пропало! Колченогий поспешил спуститься на дорогу и поспешно заковылял к тому месту, где спряталась Сычиха.

– Кто-то идет вместе с девчонкой! – тихо проговорил он, еле переводя дыхание.

– Чтобы ей подохнуть в петле, этой нищенке! – в ярости зашипела Сычиха.

– С кем она идет? – спросил Грамотей.

– Наверняка с той самой крестьянкой, которая только что прошла по тропинке с большой собакой. Я различил женский голос, – ответил Хромуля. – Да слушайте, слушайте! Слышите, как стучат их сабо?

И в самом деле, в ночной тишине издали доносится стук деревянных подошв по схваченной заморозком земле.

– Их двое... Я могу справиться с девчонкой в сером плаще, но как быть с другой? Мой хитрец ничего не видит, а колченогий слишком слаб, чтобы «утихомирить» эту деревенщину, чтобы черт ее задушил! Что делать? Что делать? – повторяла Сычиха.

– Да, я не очень силен, но если вы хотите, я брошусь под ноги этой крестьянке с собакой, я

вцеплюсь в нее руками и зубами и не выпущу, будь что будет!.. А за это время вы утащите девчонку...

– А если они поднимут крик, если будут сопротивляться, их услышат на ферме и успеют прибежать на помощь раньше, чем мы доберемся до кареты Крючка. Не так-то просто нести женщину, которая отбивается!

– Да еще с ними эта большущая собака! – добавил Хрому ля.

– Ба, ерунда! – возразила Сычиха. – Если бы только собака, я бы ей выбила зубы одним ударом сабо!

– Они приближаются, – пробормотал колченогий, прислушиваясь к отдаленным шагам. – Сейчас они спустятся на дорогу...

– Да скажи ты хоть слово! – обратилась Сычиха к Грамотею. – Что нам теперь делать, хитрец, посоветуй! Ты что, проглотил язык?

– Сегодня ничего нельзя сделать, – ответил слепой бандит.

– А тысяча франков господина в трауре? – вскричала Сычиха. – Значит, они фу-фу, улетели? Не больно часто такое предлагают... Нет, хитрец! Твой нож, дай мне твой нож! Я прикончу деревенщину, чтобы она нам не мешала, а девчонку мы с Хромулей как-нибудь оглушим и заткнем ей рот.

– Но человек в трауре не думал, что кого-то придется убивать...

– Так что же? Эту кровь мы тоже запишем ему в счет, и он доплатит, потому что станет нашим сообщником.

– Вот они... – прошептал колченогий. – Спускаются в овраг, на дорогу...

И вдруг он воскликнул в ужасе, протягивая к Сычихе руки:

– Нет, не надо убивать, это уж слишком! Я не могу!..

– Давай свой нож, говорю тебе! – тихо повторила Сычиха, не обращая внимания на мольбы Хромули и торопливо разуваясь. – Я скину башмаки и покрадусь за ними, как волчица. Они меня не услышат. Правда, уже темно, но я различу девчонку по ее плащу и прикончу ту, вторую.

– Нет, – возразил слепой убийца. – Сегодня это уже ни к чему. Подождем, завтра еще будет время.

– Ты боишься, несчастный трус! – прошипела Сычиха со злобой и презрением.

– Я не боюсь, – ответил Грамотей, – но ты можешь промахнуться, и все будет потеряно.

Собака крестьянки несомненно почуяла затаившихся на овражной дороге людей, остановилась как вкопанная и яростно залаяла, не обращая внимания на призывы Лилии-Марии.

– Ты слышишь их собаку? Вот она, скорее давай нож... А не то!.. – с угрозой, вскричала Сычиха.

– Ну что ж, подойди, попробуй взять его... силой, – усмехнулся Грамотей.

– Все кончено! Мы опоздали! – воскликнула Сычиха, прислушиваясь к удаляющимся шагам. – Они уже прошли... Ты мне заплатишь за это, висельник! – добавила она, размахивая кулаком. – Тысяча франков пропала, и все из-за тебя!

– Наоборот! – уверенно возразил Грамотей. – Мы получим тысячу, две тысячи, а может быть, и три. Слушай меня, Сычиха, и ты поймешь, что я был прав, когда не дал тебе нож... Ты сейчас отправишься к Крючку, и вы вдвоем поедете в его фиакре к назначенному месту, где вас ждет господин в трауре... Вы ему скажете, что сегодня ничего не удалось, но завтра мы похитим девчонку.

– А ты что будешь делать? – спросила Сычиха, все еще не остыв от злости.

– Слушай дальше: девчонка каждый вечер одна провожает священника; сегодня за ней пришла крестьянка, но это чистая случайность, и завтра нам, наверное, больше повезет. Поэтому завтра ты в этот же час вернешься на тот же перекресток с Крючком и его каретой.

– А ты, что будешь делать ты?

– Хромуля отведет меня на ферму, где живет эта малютка. Хромуля скажет, что мы заблудились, что я его отец, бедный рабочий-механик, ослепший из-за несчастного случая на работе, что мы идем в Лувр к родственникам, которые нам помогут, а заблудились мы потому, что хотели пройти более короткой дорогой через поля. Мы попросимся переночевать на ферме, где-

нибудь в амбаре. В этом никто никогда не отказывает. Эти крестьяне поверят нам и пустят на ночлег. Хромуля тем временем как следует осмотрит все окна и двери в доме: у этих людей в такое время всегда хранятся денежки для оплаты за аренду. Уж я-то знаю, у самого была когда-то земляца, – добавил он с горечью. – Сейчас середина января... самое подходящее время, когда рассчитываются со всеми долгами. Вы говорили, ферма стоит на отшибе... Мы разведем все входы и выходы и сможем сюда вернуться с друзьями. Это дельце верное!

– Ну и голова у тебя, чертушка! – воскликнула Сычиха, сменяя гнев на милость. – Продолжай, хитрец.

– Назавтра утром, вместо того, чтобы покинуть ферму, я притворюсь, что не могу идти от боли. Если мне не поверят, я покажу им язву, которая не заживает с тех пор, как мне натерли ее кандалы, – она меня в самом деле все время мучит. Но им я, конечно, скажу, что это после ожога раскаленным железом, когда я еще был механиком, и они мне поверят. Так я проведу на ферме еще часть дня, чтобы Хромуля успел осмотреть все как следует. К вечеру, когда наша крошка как обычно отправится провожать священника, я скажу, что мне лучше, и мы пойдем дальше. Но вместо этого мы с Хромулей будем издали следить за девчонкой, чтобы встретить ее на обратном пути в этом же месте на овражной дороге. Она нас увидит, но ничего не заподозрит, потому что уже нас видела и знает... Мы заговорим с ней, а когда она приблизится ко мне, чтобы я мог достать ее рукой... Тут уж я за себя отвечаю: она не вырвется, и тысяча франков будет у нас в кармане... А дня через два-три мы поручим дельце с фермой Крючку или кому-нибудь еще и, если там что-нибудь найдется, получим свою долю, потому что мы дали наводку.⁹⁵

– Ах ты мой умник безглазый, с тобой никто не сравнится! – воскликнула Сычиха, обнимая Грамотея. – Но что, если девчонка завтра вечером не пойдет провожать священника?

– Будем ждать ее послезавтра, и сколько потребуется: такое блюдо не едят горячим и второпях, чтобы не обжечься. К тому же все это мы припишем к счету господина в трауре. И еще: пока я буду на ферме, я узнаю из разговоров, сумеем ли мы похитить девчонку по нашему плану. И если нет – придумаем другой.

– Согласна, хитрец. Твой план хорош. И знаешь, душегубчик, когда ты станешь совсем немощным, мы тебя сделаем нашим главным советчиком, и ты будешь зарабатывать не меньше любой «тюремной крысы».⁹⁶ Поцелуй же свою совушку-сычиху и поспеши, а то эти крестьяне на фермах ложатся спать в одно время с курами. А я побегу к Крючку. Завтра в четыре мы будем на перекрестке с его таратайкой, если только его не загребут за то, что он пришил мужа молочницы на Старосуконной улице... Но если не Крючок, со мной поедет еще кто-нибудь, потому что этот фальшивый фиакр принадлежит господину в трауре и он им уже не раз пользовался. Через четверть часа после приезда на перекресток я доберусь сюда и здесь буду тебя ждать.

– Хорошо, Сычиха. До завтра!

– Постой, я же забыла дать воску Хромуле, чтобы он снял на ферме отпечатки с ключей! Ты, надеюсь, умеешь это, малыш? – спросила одноглазая, подавая Хромуле кусок воска.

– Умею, конечно, ничего нет проще: папаша показал мне, как это делается. Я для него сделал отпечатки замка маленькой железной шкатулки, которую мой хозяин, фокусник-шарлатан, хранит в своей черной комнате.

– Тогда в добрый час! И чтобы воск не приклеился, когда ты его разогреешь в руке, не забудь его смочить.

– Знаю, знаю! – ответил Хромуля. – Вы видите, я готов сделать все, что вы скажете, и все потому, что вы ведь меня любите хоть немножко, не правда ли? Хоть чуть-чуть, Сычиха?

– Еще бы тебя не любить! Да я тебя люблю как сына покойного Наполеона!!! – сказала Сычиха, обнимая и целуя Хромулю, безмерно польщенного этим сравнением с наследником императора. – Итак, до завтра, душгубчик!

– До завтра, – повторил Грамотей.

⁹⁵ Подготовили, указали место кражи.

⁹⁶ Адвокаты.

Сычиха поспешила к перекрестку, где ее ждал Крючок с фиакром.

Грамотей с Хромулей выбрались из овражной дороги и пошли по тропинке в сторону фермы; свет ее окон указывал Хромуле путь.

Поразительная игра судьбы приближала таким образом Ансельма Дюренеля к его супруге, которую он не видел с тех пор, как был приговорен к каторжным работам.

Глава IV ВЕЧЕР НА ФЕРМЕ

Что может больше обрадовать сердце путника, чем зрелище очага на большой ферме в час вечерней трапезы, особенно зимой? Что может больше сказать сердцу о покое и достатке сельской жизни?

Ответом на наши риторические вопросы могла бы послужить кухня фермы Букеваль в этот январский вечер.

Ее огромный камин, высотой в шесть футов и шириной в восемь, походил на большие каменные ворота, распахнутые на пылающее горнило: в почерневшей золе очага пылал настоящий костер из дубовых и буковых поленьев. Этот огромный костер согревал и освещал все уголки кухни, так что свет лампы, подвешенной к средней потолочной балке, в общем-то был ни к чему.

Большие котлы и кастрюли из красной меди, расставленные на полках, сверкали чистотой; старинный кувшин из того же металла сиял как пылающее зеркало рядом с квашней из орехового дерева, от которой исходил аппетитный запах свежего хлеба. Длинный, массивный стол, накрытый необычайно чистой скатертью грубого полотна, занимал всю середину кухни; место каждого отмечали его фаянсовые тарелки, коричневые снаружи и белоснежные внутри, а также его приборы из простого металла, начищенные и блестящие, словно серебро.

Посередине стола большая супница с овощной похлебкой дымилась, как кратер вулкана, застилая ароматным паром огромное блюдо тушеной капусты с ветчиной и такое же, не менее внушительное, блюдо бараньего рагу с картошкой; и, наконец, целая четверть жареного тельника с двумя зимними салатами, обрамленная двумя корзинами с яблоками и сырами двух сортов, завершали симметрию изобилия этого ужина. Три или четыре кувшина с искрящимся сидром и столько же круглых хлебов, каждый величиной с мельничный жернов, были выставлены для работников фермы.

Старая, почти беззубая собака из породы черных грифонов, почетный старейшина всего собачьего рода фермы, получила за свой возраст и былые заслуги право оставаться в доме, в уголке возле камина. Незаметно и скромно пользуясь своей привилегией, она лежала, положив морду на вытянутые лапы, и внимательно следила за разными кулинарными приготовлениями, которые предшествовали ужину.

Эта почтенная псина откликалась на несколько буколическую кличку Лисандр.

Возможно, такая повседневная трапеза на ферме, при всей ее незатейливости, показалась бы слишком роскошной, однако г-жа Жорж, верно следуя в этом советам Родольфа, как могла, скрашивала участь своих работников, набранных среди самых честных и трудолюбивых крестьян округи. Им щедро платили, и судьба их считалась завидной и счастливой, поэтому каждый хороший земледелец мечтал попасть на ферму Букеваль, а их невинное честолюбие, в свою очередь, помогало хозяевам, у которых они работали, потому что поступить на освободившееся на ферме место можно было только с наилучшей рекомендацией.

Таким образом Родольф создавал в очень маленьком масштабе своего рода образцовую ферму, предназначенную не только для улучшения породы скота и сельскохозяйственных методов, но прежде всего для улучшения людей, и он достигал своей цели, заставляя людей быть активнее, изобретательнее и честнее.

Закончив все приготовления к ужину и поставив на стол чашу старого вина на десерт, кухарка фермы позвонила в колокол.

На этот радостный призыв все работники фермы, слуги, коровницы и птичницы, числом в десять-пятнадцать человек, весело поспешили в кухню. У мужчин был открытый, мужественный

вид, женщины отличались здоровьем и привлекательностью, девушки – резвостью и весельем; все были в хорошем настроении, их простые, добродушные лица дышали спокойствием и удовлетворенностью. С наивным вожделением готовились они воздать честь этим яствам, справедливо заслуженным за день неустанных трудов.

Во главе стола сел старый работник с седыми волосами, с честным лицом, открытым и смелым взглядом и слегка насмешливым ртом; типичный крестьянин, здравомыслящий, скрытный и прямой, решительный и прозорливый, деревенский хитрец, в котором издали ощущалась старая галльская закваска.

Дядюшка Шатлэн, – так звали этого патриарха, – с детства не покидал этой фермы и сейчас был главным над всеми работниками. Когда Родольф купил ферму, ему справедливо рекомендовали старого слугу; он оставил его у себя и поручил под началом г-жи Жорж надзирать за сельскохозяйственными работами. Дядюшка Шатлэн пользовался у работников фермы высоким уважением благодаря своему возрасту, знаниям и опыту.

Все крестьяне уселись на свои места.

Громко прочитав застольную молитву, дядюшка Шатлэн по древнему святому обычаю перекрестил один из хлебов кончиком своего ножа и отрезал ломоть, который считался ломтем богородицы или хлебом для бедняка; затем он налил стакан вина, тоже перекрестил его и все поставил на тарелку, которую благоговейно поместили на середине стола.

В этот момент сторожевые псы разразились громким лаем; старый Лисандр ответил им глухим рычанием, вздернув верхнюю губу и показывая два еще внушительных клыка.

– Кто-то идет вдоль ограды двора, – сказал дядюшка Шатлэн.

Едва он произнес эти слова, зазвонил колокольчик у главных ворот.

– Кто бы это мог быть так поздно? – удивился старый работник. – Все наши давно вернулись... Поди посмотри, Жан-Рене!

Жан-Рене, наверное, самый юный на ферме работник, со вздохом сожаления опустил в тарелку с обжигающим супом свою огромную ложку, на которую дул с такой силой, что ему позавидовал бы сам бог ветра Эол, встал и вышел из кухни.

– Что-то давненько уже госпожа Жорж и мадемуазель Мария не приходили к нам во время ужина посидеть в уголке у огня, – заметил дядюшка Шатлэн. – Я голоден как волк, но без них мне не очень хочется есть.

– Госпожа Жорж поднялась в комнату мадемуазель Марии, потому что, проводив господина кюре, мадемуазель почувствовала себя нехорошо и легла пораньше, – объяснила Клодина, та самая крепко сбитая крестьянка, которая проводила Певунью от дома священника и тем самым разрушила зловещие замыслы Сычихи.

– Надеюсь, наша добрая мадемуазель Мария не занемогла? – с надеждой и беспокойством спросил старый крестьянин.

– Нет, нет, слава тебе господи, дядюшка Шатлэн! Госпожа Жорж сказала, что это пустяки, – ответила Клодина. – Иначе госпожа Жорж послала бы в Париж за господином Давидом, тем самым черным доктором, который уже лечил мадемуазель, когда она в самом деле болела... И все равно не могу я понять: доктор – и вдруг чернокожий! Если бы я захворала, я бы ему ни за что не доверилась. Другое дело белый врач, пожалуйста... он все-таки христианин.

– Разве доктор Давид не вылечил мадемуазель Марию, которая первое время угасала на глазах?

– Да, дядюшка Шатлэн, вылечил.

– Так в чем же дело?

– Да, дядюшка Шатлэн, но подумайте сами, черный доктор, совсем черный...

– Послушай, дочка, какой масти корова Мюзетта?

– Она белая, дядюшка Шатлэн, белая, как лебедушка, и к тому же такая дойная, что за нее можно не краснеть.

– А твоя корова Розетта?

– Черная, как ворон, и тоже дает вдоволь молока: надо ко всем быть справедливой.

– А молоко твоей черной коровы, какого оно цвета?

– Ну конечно, белое, дядюшка Шатлэн, это же понятно, белое как снег.
– Такое же белое, как у Мюзетты?
– Да, дядюшка Шатлэн.
– Хотя сама Розетта совсем черная?
– Да, хотя Розетта черная... Но при чем здесь молоко? Коровы могут быть какие угодно: черные, рыжие или белые...

– Значит, разницы никакой?
– Совсем никакой, дядюшка Шатлэн.
– Так вот скажи мне, дочка, почему черный доктор должен быть хуже белого?
– Право, не знаю, дядюшка Шатлэн. Наверное, из-за цвета кожи, – ответила молодая крестьянка в глубоком смущении. – Но если уж черная Розетта дает такое же хорошее молоко, как белая Мюзетта, значит, дело не в масти.

Эти физиогномические рассуждения Клодины о различиях белой расы и черной были прерваны возвращением Жана-Рене, который дул себе на озябшие пальцы с такой же силой, как перед этим дул на горячий суп.

– У, какой холодище! Какая холодная ночь!.. Морозит так, что земля трескается, – проговорил он, входя. – В такую ночь лучше быть в доме, чем на дворе. Ну и холодище!

– Когда заморозки начинаются с восточным ветром, холода будут долгие и жестокие, ты должен это знать, мой мальчик. Но кто там звонил? – спросил старейшина работников.

– Несчастный слепой и мальчишка, который его водит, дядюшка Шатлэн.

Глава V ГОСТЕПРИИМСТВО

– Чего он хочет, этот слепой? – спросил дядюшка Шатлэн Жана-Рене.

– Этот бедный человек и его сын хотели срезать путь по дороге в Лувр и заблудились в полях. А поскольку холод собачий и ночь хоть глаз выколи, потому что небо затягивает тучами, слепой и его сын просят переночевать на ферме где-нибудь в уголке хлева.

– Госпожа Жорж так добра, что никогда не отказывает в гостеприимстве несчастным. Она, конечно, согласится пустить на ночлег этих бедняг... но надо ее предупредить. Сходи к ней, Клодина!

Клодина исчезла.

– Где он сейчас, этот добрый человек? – спросил дядюшка Шатлэн.

– Ждет в маленьком амбаре.

– Зачем же ты запер их в амбаре?

– Если бы он остался на дворе, собаки разорвали бы его на куски вместе с его мальчонкой. Да, дядюшка Шатлэн, напрасно я кричал и кричал: «Тихо, Медор! Ко мне, Турок!.. Назад, Султан!» Никогда еще я их не видел в такой ярости. А ведь у нас на ферме их не учили рвать бедняков, как в других местах...

– Ей-богу, мы сегодня не зря выделили кусок хлеба и глоток вина для бедняка... Потеснитесь немножко... Вот так! Поставим еще два прибора, для слепого и его сына, потому что госпожа Жорж наверняка позволит им переночевать у нас.

– И все же непонятно, почему собаки так разъярились, – проговорил Жан-Рене. – Особенно Турок, которого Клодина взяла с собой, когда ходила в дом священника... Он словно взбесился!.. А когда я его гладил, чтобы успокоить, шерсть на его спине стояла дыбом, как иглы у ежа. Что вы на это скажете, дядюшка Шатлэн? Вы ведь все знаете...

– Скажу тебе, сынок, что, хоть я знаю много, животные знают больше нас... Помнишь, ураган этой осенью превратил нашу маленькую речку в настоящий поток? Ночь была непроглядная, а я как раз возвращался с поля с моими рабочими лошадьми. Ехал я на старом рыже-саврасом жеребце, но черт меня побери, если я знал, где нам перебраться через реку вброд! Темно было, как в печи! Так вот, опустил я повод на шею старого саврасого, и он сам отыскал брод, которого в такой тьме не нашел бы ни один человек... Но кто его этому научил?

– Да, дядюшка Шатлэн, кто научил старого саврасого?

– Тот же, кто научил ласточек лепить гнезда под карнизами, а трясогузок вить гнезда в камышах, мой мальчик... Так что там? – обратился старый пророк к Клодине, которая появилась, неся под каждой рукой по паре белоснежных одеял, – сразу наполнивших кухню свежим запахом шалфея и вербены. – Госпожа Жорж велела накормить несчастного слепого и его сына ужином и оставить переночевать, не правда ли?

– Вот одеяла, мне велено постелить им в маленькой комнате в конце коридора, – ответила Клодина.

– Так пойди же за ними, Жан-Рене!.. А ты, дочка, пододвинь два стула к огню, пусть согреются, прежде чем сесть за стол, потому что холод этой ночью жестокий.

Снова послышался яростный лай собак и голос Жана-Рене который пытался их успокоить. Дверь в кухню внезапно распахнулась, Грамотей вместе с Хромулей вошли так поспешно, словно спасались от погони.

– Придержите ваших собак! – злобно закричал Грамотей. – Они чуть нас не искушали.

– Они оторвали у меня кусок блузы, – добавил Хромуля, все еще бледный от страха.

– Простите, добрый человек, – сказал Жан-Рене, закрывая дверь. – Но я никогда не видел наших собак в такой ярости... Наверное, это холод их так обозлил, вот они и готовы покусать кого угодно, чтобы согреться... Глупые животные!

– Эй, и этот туда же! – воскликнул крестьянин, удерживая старого Лисандра, который с грозным рычанием пытался броситься на чужаков. Он услышал, как другие собаки заходятся от злости, и последовал их примеру. – А ну, ложись на место, старый разбойник, ложись, говорят тебе!

Дядюшка Шатлэн сопровождал свои слова добрым пинком, и Лисандр, все еще ворча, вернулся в свой любимый уголок возле очага.

Грамотей и Хромуля стояли у дверей, не решаясь сделать и шага.

Закутанный в синий плащ с меховым воротником, в шапке, глубоко надвинутой на черную повязку, почти закрывавшую ему лоб, бандит крепко держал за руку Хромулю, который жался к нему, с опаской глядя на крестьян: их честные лица сбивали его с толку и внушали страх.

У дурных натур тоже есть свои симпатии и антипатии.

Черты Грамотея были столь безобразны, что обитатели фермы на миг оцепенели, одни от ужаса, другие от отвращения. Это не ускользнуло от Хромули, и страх крестьян вернул ему уверенность, он был даже горд, что его спутник вызывает у них ужас. Но дядюшка Шатлэн, справившись с первым впечатлением, вспомнил о долге гостеприимства и обратился к Грамотею:

– Подойди к огню, добрый человек, и сначала согрейся. Потом вы оба поужинаете с нами, потому что мы как раз садились за стол. Устраивайтесь вон там! Ох, простите, я не подумал! – спохватился дядюшка Шатлэн. – Мне бы надо было обратиться не к вам, а к вашему сыну, потому что вы, к несчастью, незрячий. Послушай, сынок, подведи твоего отца к очагу.

– Хорошо, мой добрый господин, – ответил Хромуля гнусавым голосом, полным лицемерного смирения. – Да воздаст вам господь за вашу доброту и милосердие!.. Иди за мной, бедный папочка, иди сюда, осторожнее...

И мальчишка повел за собой слепого бандита.

Оба приблизились к камину.

Сначала Лисандр встретил их глухим ворчанием, но, учуяв вблизи запах Грамотея, он внезапно взвыл душераздирающе и страшно: по общему поверью, так воют собаки, когда чувствуют смерть.

«Дьявольщина, – проворчал про себя Грамотей. – Неужели они унюхали кровь, эти проклятые псы? Ведь на мне те же самые штаны, что и в ту ночь убийства торговца быками...»

– Ничего не могу понять, – тихо проговорил Жан-Рене. – Лисандр обнюхал этого человека и воет, как по покойнику.

И тут произошло нечто странное.

Завывания Лисандра были такими жуткими и пронзительными, что его слышали другие собаки, – кухню отделяло от двора только застекленное окно без второй рамы, – и по обычаю

собачьего племени хором присоединились к его жалобному вою.

Работники молочной фермы не были слишком суеверны, однако сейчас они переглядывались почти с ужасом.

В самом деле, происходило что-то необычное.

На ферму пришел человек, на которого невозможно было, смотреть без страха и отвращения. И тотчас до сих пор мирные, добрые псы словно взбесились и теперь зловеще воют, предвещая, по народным поверьям, чью-то близкую смерть.

Даже сам бандит, несмотря на всю свою закоренелость и дьявольское бесстрашие, содрогнулся, услышав этот страшный, погребальный вой, вызванный его появлением... появлением убийцы...

Один Хромуля, циничный и наглый, истинный парижский сорванец, впитавший яд безверия, так сказать, с молоком матери, остался насмешливо-равнодушен. Когда страх, что собаки его покусают, прошел, этот колченогий недоносок совершенно успокоился и теперь с издевкой смотрел на перепуганных обитателей фермы и на потрясенного Грамотея.

Наконец, очнувшись от оцепенения, Жан-Рене выбежал на двор, и вскоре послышалось шелканье его кнута, быстро рассеявшего мрачные предчувствия Султана, Турка и Медора. Постепенно омраченные лица крестьян прояснились, и вскоре ужасное безобразие бандита перестало внушать им страх, а вызывало скорее жалость. Точно так же они с сочувствием смотрели на хромого мальчишку, обиженного судьбой; им нравилась его хитрая мордочка, и они искренне хвалили его за трогательную заботу о слепом отце...

Аппетит крестьян пробудился с новой силой, и в течение нескольких минут за столом слышалось только звяканье вилок и ложек.

Храбро расправляясь со своими деревенскими яствами, работники и коровницы с нежностью поглядывали, как маленький уродец ухаживает за слепым, сидя с ним рядом. Хромуля подавал ему лакомые кусочки, нарезал хлеб, подливал сидра – и все это с поистине сыновьей любовью и вниманием.

Но это была лишь одна сторона медали. А на обороте...

Не столько из жестокости, сколько из духа подражания, свойственного его возрасту, Хромуля находил злобную радость в том, чтобы терзать Грамотея по примеру Сычихи, которую он по-своему преданно любил и старался во всем на нее походить. Но откуда у этого извращенного мальчишки такая потребность в любви? Почему его делали счастливым скупые нежности одноглазой Сычихи! Почему, наконец, его до сих пор волновали воспоминания о материнских ласках? Это было одно из тех неизгладимых воспоминаний, которые доказывают, что порок никогда не бывает монолитен, что и в нем есть трещины.

Мы уже сказали, что Хромуля, так же как Сычиха, находил особое наслаждение в том, что он, заморыш, мог истязать могучего тигра. Сидя рядом с работниками фермы, Хромуля придумал изысканную пытку, заставлявшую Грамотея страдать и выносить его издевательства, не подавая вида.

Каждую заботу, каждое проявление деланного внимания к мнимому отцу он сопровождал пинком ноги под столом и старался при этом угодить по старой незаживающей язве на правой ноге Грамотея, в то место, где ее растерло до кости кандалное кольцо за время каторги. Бандиту понадобились все его мужество и терпение, чтобы скрывать свои страдания при каждом нападении Хромули, тем более что маленький злодей выбирал для своих ударов самые неподходящие моменты, когда Грамотей пил или когда он говорил.

И тем не менее старый убийца не выдавал себя: он великолепно скрывал гнев и страдания, прекрасно понимая, – а колченогий именно на это и рассчитывал, – какая опасность грозит всем его замыслам, если крестьяне догадаются, что творится под столом.

– Держи, бедный папочка, вот тебе орех, я его очистил, – сказал Хромуля, подкладывая на тарелку Грамотею орех, освобожденный от скорлупы.

– Молодец, сынок, – одобрил дядюшка Шатлэн, а затем обратился к слепому бандиту: – Конечно, участь твоя незавидная, добрый человек, но у тебя такой хороший сын, и это должно тебя немного утешить!

– Да, несчастье мое велико, и, если бы не заботы такого нежного сына, я бы...

Тут бандит не удержался и громко вскрикнул.

Сын Краснорукого ухитрился наконец попасть точно по язве, и боль была невыносимой.

– Господи, что с тобой, бедный папочка? – воскликнул Хромуля плаксивым голосом. Он встал и бросился на шею Грамотею.

В первом порыве гнева и ярости бандит хотел задушить колченогого недоноска своими могучими руками и так сильно прижал его к груди, что мальчишка почти задохнулся и жалобно пискнул.

Но тут же, сообразив, что не сможет обойтись без Хромули, слепой бандит сдержался и оттолкнул его на стул.

Во всем этом поведении крестьяне увидели только выражение отцовской и сыновьей любви: бледность Хромули и его прерывистое дыхание показались им признаками беспокойства доброго сына за своего отца.

– Но что с тобой, достойный человек? – спросил дядюшка Шатлэн. – Ты своим криком так напугал сыночка, что он весь побелел... Смотрите, он и сейчас еле дышит!

– Ничего, это пустяки, – ответил Грамотей, вновь обретя обычное хладнокровие. – Я слесарь-механик. Не так давно мы ковали полосу раскаленного железа, и она упала мне на ноги: ожог был таким глубоким, что раны не зажили до сих пор. Я сейчас задел о ножку стола и не сдержал крик от боли.

– Бедный папочка! – посочувствовал Хромуля, оправившись от испуга и бросая на Грамотею змеиный взгляд. – Бедный папочка! И это в самом деле так, добрые люди, язву у него на ноге никто не может исцелить, увы, никто! О, я хотел бы, чтобы она досталась мне, лишь бы он не мучился, бедный папочка...

Женщины смотрели на Хромулю с умилением.

– Очень жаль, добрый человек, – продолжал дядюшка Шатлэн, – очень жаль что вы пришли к нам на ферму только сегодня, а не три недели назад.

– Почему это?

– Потому что у нас был врач из Парижа, у которого есть волшебное средство от всех болезней ног. Одна добрая старушка из деревни совсем не ходила уже три года, так этот врач положил свою мазь ей на раны... А теперь она бегают, как охотник-баск, и обещает при первой возможности пешком отправиться в Париж и поблагодарить своего спасителя. Сами понимаете, отсюда до аллеи Вдов, где он живет, путь неблизкий. Но что с тобой? Опять эта проклятая рана?

Упоминание об аллее Вдов вызвало у бандита такие страшные воспоминания, что он невольно содрогнулся и уродливые черты его лица исказились.

– Да, – ответил он, приходя в себя, – опять приступ боли...

– Добрый папочка, не беспокойся, я тебе остороженько попарю ногу на ночь, – пообещал Хромуля.

– Бедняжка! – умилилась Клодина. – Как он любит отца!

– Право, очень жаль, – продолжал дядюшка Шатлэн, обращаясь к Грамотею, – что этого достойного врача здесь нет. Но я думаю, он столь же милосерден, как учен, и, когда ты будешь снова в Париже, попроси своего сына, чтобы он отвел тебя к нему. Он тебя вылечит, я уверен. Адрес его легко запомнить: аллея Вдов, дом семнадцать. Если даже забудешь номер, не беда, в том квартале не так уж много врачей, особенно чернокожих... Потому что, представь себе, этот превосходный доктор Давид – негр!

Лицо Грамотея было настолько обезображено шрамами, что вряд ли кто-либо заметил его бледность.

И тем не менее он побледнел, смертельно побледнел, услышав сначала номер дома Родольфа, а затем – имя Давида, чернокожего доктора.

Того самого негра, который по приказу Родольфа подверг его ужасному наказанию, мучительные последствия которого он испытывал каждый миг.

Поистине для Грамотея это был черный день.

Утром его унижали и мучили Сычиха и сын Краснорукого; на ферме собаки, почуяв убий-

цу, чуть не разорвали его и выли, как по покойнику; и, наконец, случай привел его в дом, где недавно побывал его палач.

Все эти отдельные происшествия раньше вызвали бы у слепого бандита попеременно ярость или страх, но, вместе взятые, они нанесли ему жестокий удар.

Первый раз в жизни его охватил суеверный ужас... Он спрашивал себя: нет ли в сочетании этих страшных событий грозного предостережения судьбы?

Дядюшка Шатлэн, не заметив бледности Грамотея, продолжал:

– К тому же перед вашим уходом мы дадим твоему сыну адрес доктора, и этого будет достаточно: господин Давид обязательно поможет любому, кто к нему обратится. Он так добр, так добр! Жаль только, что он всегда такой грустный... Ну ладно, выпьем за здоровье твоего будущего спасителя.

– Спасибо, я не хочу больше пить, – мрачно ответил Грамотей.

– Выпей, папочка, выпей, дорогой, это полезно... для твоего желудка! – пристал Хромуля, вкладывая в руку слепого бандита стакан.

– Нет, нет, я не стану пить, – сказал Грамотей.

– Но тебе налили не сидра, а доброго вина, – сказал старый крестьянин. – В городе не всякий богач пивал такое. Черт побери, да вся наша ферма не такая, как все! Ну, что скажешь, к примеру, о нашем простом ужине?

– Все было хорошо, очень хорошо, – машинально ответил Грамотей, все более погружаясь в свои нерадостные мысли.

– Так у нас каждый день: хорошая работа, хорошая еда, чистая совесть и чистая постель: вот в двух словах наша жизнь. Нас здесь семеро, и скажу не хвалясь: мы работаем за четырнадцать. Но нам и платят за четырнадцать! Простым землепашцам – сто пятьдесят экю в год; скотницам и служанкам на ферме – по шестьдесят экю! Да еще мы делим между собой одну пятую всего, что дает ферма. Черт возьми, ты понимаешь, что мы не оставляем ни одного клочка неводеланной земли? Потому что, чем больше дарит наша бедная старая земля-кормилица, тем больше мы получаем.

– Должно быть, ваш хозяин не очень-то богатеет, если он вам так платит, – сказал Грамотей.

– Наш хозяин?... Он совсем не похож на других. У него свой способ наживать добро, и только он его знает.

– Что вы хотите этим сказать? – спросил слепой бандит, готовый говорить о чем угодно, лишь бы уйти от осаждавших его мрачных мыслей. – У вас, наверное, какой-то удивительный хозяин!

– Да, удивительный и необычайный во всем, старина. Но послушай, ты ведь зашел к нам случайно, наша деревушка стоит далеко от всех больших дорог. И наверное, ты сюда никогда не вернешься. Поэтому тебе стоит послушать, кто такой наш хозяин и что он делает на этой ферме. Я расскажу тебе покороче, при условии, что ты потом будешь повторять это всем. Сам увидишь, говорить об этом так же приятно, как слушать.

– Я слушаю, – согласился Грамотей.

Глава VI ОБРАЗЦОВАЯ ФЕРМА

– И ты не пожалеешь, выслушав меня, – сказал Грамотею дядюшка Шатлэн. – Представь, что однажды наш хозяин сказал себе: «Я очень богат, и это хорошо. Но все равно я не могу съесть два обеда. А что, если я накормлю тех, у кого ничего нет на обед, и накормлю досыта добрых людей, у которых еды не хватает? Ей-богу, это мне нравится. Так скорее за дело!» И наш хозяин принялся за дело. Он купил эту ферму, которая тогда немного стоила: на ней было всего две упряжки для пахоты и два плуга: я это точно знаю, потому что родился здесь. Наш хозяин прикупил земли, и ты сейчас узнаешь, для чего. Управительницей фермы он поставил достойную женщину, столь же уважаемую, сколь несчастную, – он всегда вот так выбирал людей, – и

он сказал ей: «Этот дом будет, как дом божий, открытый для добрых и закрытый для негодяев. Мы прогоним ленивых нищих, но будем всегда подавать трудовой хлеб тем, кто сохранил мужество. Эта милостыня труда не унизит тех, кто ее принимает, и принесет пользу тем, кто ее подает. Богач, который этого не делает, – скверный богач». Так сказал наш хозяин, но, ей-богу, он сделал лучше, чем сказал. Прежде отсюда до Экуана была прямая дорога, которая сокращала путь на доброе лье.⁹⁷ Но какая эта была дорога, о господи! Она была так разбита, что по ней нельзя было ни пройти, ни проехать, это была погибель для лошадей и повозок. Немного собственного труда и немного денег от каждого окрестного фермера могли бы привести дорогу в порядок, но если одни мечтали об этом, другие упрямылись и не хотели вкладывать ни свой труд, ни свои денежки. Наш хозяин увидел это и сказал: «Дорога будет исправлена, однако, поскольку те, кто должен в этом участвовать, не хотят в этом участвовать и поскольку это слишком дорогая дорога, которой потом будут пользоваться прежде всего те, у кого есть лошади и экипажи, надо сделать так, чтобы она сначала принесла пользу тем, у кого есть только руки и доброе сердце, но нет работы. Например, поступит к нам на ферму здоровый парень и скажет: „Я голоден, и у меня нет работы“. – «Дорогой мой, отвечу я, вот тебе добрая похлебка, вот кирка и лопата. Тебя сейчас отведут на дорогу в Экуан. Выровняешь за день два туаза дороги – и получишь к вечеру сорок су, выровняешь один туаз – получишь двадцать су, выровняешь полтуаза – получишь десять су, а ничего не сделаешь, не получишь ничего». К вечеру, возвращаясь с полей, я осмотрю дорогу и увижу, кто сколько сделал.

– И подумать только, нашлись два негодяя, которые слопали похлебку и просто украли кирки и лопаты, – с возмущением воскликнул Жан-Рене. – Вот и поди после этого делай добро!

– Да, это правда, – подтвердили остальные крестьяне.

– Полно, дети мои! – возразил дядюшка Шатлэн. – Подумайте сами, неужели мы не будем ни сажать, ни сеять только потому, что на свете есть гусеницы, долгоносики и прочие вредные насекомые, которые объедают листья и грызут зерно? Нет, нет, эту нечисть надо просто давить, а бог милостив, и по его доброте распустятся новые почки и вырастут новые колосья, все снова расцветет, и никто даже не вспомнит о зловредных жучках и червячках. Не правда ли, добрый человек? – обратился он к Грамотею.

– Да, разумеется, – поспешно ответил бандит; уже несколько минут он был глубоко погружен в какие-то свои мысли.

– Нашлась работа и для женщин и для детей, – продолжал дядюшка Шатлэн. – Каждому по его силам.

– И все равно дела на ферме и на дороге идут медленно, – заметила Клодина.

– Ну что ж, зато в округе у добрых людей, к счастью, пока хватает работы.

– А для меня, несчастного слепца, найдется у вас на ферме угол и кусок хлеба, чтобы мне дожить остатки моих дней? – внезапно спросил Грамотей. – Поверьте, мне осталось немного. Окажете вы мне такую милость? О, если бы это сбылось, добрые люди, я бы до конца жизни молился за вашего хозяина!

Бандит говорил в этот момент вполне искренне. Он вовсе не раскаивался в своих прошлых преступлениях, но мирная и счастливая жизнь крестьян привлекала его тем более, что он страшился жестокой участи, которую готовила ему Сычиха. Он страшился этого страшного невообразимого будущего и горько сожалел, что в свое время позвал свою бывшую сообщницу и навсегда потерял возможность жить среди честных людей, у которых его поселил Поножовщик.

Дядюшка Шатлэн с удивлением взглянул на Грамотея.

– Но послушай, бедняга, – сказал он, – я думал, у тебя есть какие-то деньги, друзья...

– Увы, бог свидетель!.. Я ослеп из-за несчастного случая на работе. Теперь иду в Лувр, надеясь на помощь дальнего родственника, но вы понимаете, люди бывают порой такими жестокими, такими эгоистами, – ответил Грамотей.

– О, не одни же себялюбцы живут на свете! – возразил дядюшка Шатлэн. – Хороший и честный работник, как ты, и к тому же такой несчастный, да еще с таким добрым, милым сыноч-

⁹⁷ Лье, или французская миля, равнялась 2282 туазам, или 4444 метрам. (Примеч. перев.)

ком, могут растрогать даже каменное сердце. Однако почему хозяин, у которого ты работал до этого несчастного случая, ничего не сделал для тебя?

– Он умер, – чуть поколебавшись, ответил Грамотей. – Он был моим единственным благодетелем.

– А приют для слепых?

– Я еще не так стар, чтобы меня туда взяли.

– Бедняга! Поистине участь твоя печальна!

– Значит, вы думаете, если родичи в Лувре меня не примут, я могу надеяться, что ваш хозяин, перед которым я преклоняюсь, еще не зная его, может сжалиться надо мной?

– Видишь ли, к несчастью для тебя, наша ферма не дом призрения. Обычно мы позволяем калекам провести здесь ночь или день, а потом даем что-нибудь на дорогу – и да поможет им бог!

– Значит, мне нечего надеяться, что моя горькая участь смягчит вашего хозяина? – спросил слепой бандит со вздохом разочарования.

– Я сказал, что это у нас правило, однако наш хозяин может все решить по-другому. Если он согласится оставить тебя на ферме, тебе не придется ютиться в каком-нибудь углу, ты будешь одним из нас... как сегодня! И для сынка твоего найдется работа по его силам; ему будет с кого брать пример, да и добрыми советами его не обойдут. Наш почтенный кюре обучит его чтению вместе с другими деревенскими детьми, и он вырастет, как говорится, в благости и добре. Но для этого, понимаешь, надо завтра утром откровенно поговорить с нашей святой богородицей-заступницей.

– С кем, с кем? – удивился Грамотей.

– Так мы называем нашу хозяйку. Если она сжалится над тобой, считай, что все в порядке. Когда речь идет о милосердии, наш хозяин не отказывает ей ни в чем.

– Тогда я поговорю с ней сам, я сам поговорю! – радостно вскричал Грамотей, надеясь, что уже избавился от страшных когтей Сычихи.

Но Хромуля вовсе не разделял его радужные надежды; его нисколько не прельщала спокойная жизнь, обещанная старым крестьянином: он не собирался расти в благости и добре под опекой почтенного священника. У сына Краснорукого не было ни малейшей склонности к сельской жизни, да и по духу он далеко не походил на пасторального пастушка. Кроме того, верный заветам Сычихи, он не мог допустить, чтобы Грамотей избавился от их подлого деспотизма. Поэтому он решил вернуть к действительности слепого бандита, который уже размышлял о сельских радостях.

– Да, да, – повторял Грамотей. – Я поговорю с вашей богородицей-заступницей, и она сжалится надо мной... И я...

Но тут Хромуля изо всех сил пнул его в ногу и точно угодил в самое болезненное место.

Грамотей содрогнулся от неизъяснимой муки, не закончил фразу и смог только повторить:

– Да, я надеюсь, добрая госпожа сжалится надо мной...

– Бедный папочка! – вмешался Хромуля. – Ты, однако, забыл мою добрую тетюшку, госпожу Сычиху, которая так тебя любит. Бедная тетя Сычиха!.. Но она тебя так не оставит, ведь ты это знаешь! Скорее уж она придет сюда за тобой с нашим кузеном Крючком.

– Похоже, у этого слепого пройдохи престранные родичи, – с хитрым видом прошептал Жан-Рене, подталкивая локтем свою соседку, Клодину.

– Бессердечный олух! Как ты можешь смеяться над этими несчастными! – так же шепотом ответила доярка и в свою очередь так двинула Жана-Рене локтем, что чуть не сломала ему ребра.

– Госпожа Сычиха одна из ваших родственниц? – спросил старый крестьянин Грамотея.

– Да, одна из моих родственниц, – мрачно ответил тот с озабоченным видом.

Он боялся, что, даже если он найдет на ферме неожиданное пристанище, одноглазая может явиться сюда и выдать его, чтобы напакостить и отомстить; кроме того, он боялся, что странные имена его предполагаемых родичей, упомянутых Хромулей, Сычихи и Крючка – покажутся подозрительными, но в этом отношении его страхи были напрасными, потому что все ограничилось шуткой Жана-Рене, к тому же весьма плохо принятой его соседкой, Клодиной.

– Эта твоя родственница ждет вас в Лувре? – спросил дядюшка Шатлэн.

– Да, – ответил слепой бандит. – Однако мой сын, наверное, зря рассчитывает на нее.

– Ах, бедный папочка, вовсе не зря! Вот увидишь... Она такая добрая, моя тетушка Сычиха!.. Ты ведь знаешь, это она дала мне снадобье, чтобы парить твою ногу... и точно объяснила, как это делать... Это она мне сказала: «Сделай для своего папочки все, что бы сделала я сама, и бог благословит тебя». О, моя тетушка Сычиха, она тебя любит, она тебя любит так сильно, что...

– Хватит, хватит, – оборвал его Грамотей. – Это в любом случае не помешает мне завтра утром поговорить с доброй хозяйкой... попросить ее, чтобы она замолвила за меня словечко перед достойным владельцем этой фермы. Кстати, – добавил он, чтобы сменить тему и прервать неосторожные излияния Хромули, – кстати, о владельце фермы. Мне обещали рассказать, что такого особенного в устройстве его хозяйства.

– Это я обещал, и я сдержу свое слово, – сказал дядюшка Шатлэн. – Наш хозяин придумал то, что он называет милосердием труда. Он сказал себе: есть выставки и премии за улучшение пород скота и лошадей, за новые плуги и прочие орудия земледелия... Но, право же, настало время подумать об улучшении людей... Хороший скот – это прекрасно, однако хорошие люди – это еще лучше, хотя и много труднее. Вдоволь овса и травы, чистая вода и свежий воздух, надежный кров и хороший уход – и тогда лошади и скот станут лучше не пожелаешь и принесут тебе радость. Но человека не так просто сделать добродетельным, как быка – упитанным. Пастбище полезно для быка, потому что сочная трава ему нравится и он набирает вес. Так вот, по моему, чтобы добрые советы приносили пользу человеку, надо, чтобы он к ним прислушивался и следовал им...

– Так же, как бык на добром лугу, дядюшка Шатлэн?

– Точно так же, сынок.

– Дядюшка Шатлэн, – вмешался другой крестьянин. – Говорят, раньше были особые фермы, где молодые воришки, правда за хорошее поведение, обучались земледелию, но там их холили и лелеяли, как маленьких принцев?

– Правда, дети мои, – ответил старик землепашец, – и в этом есть кое-что доброе: похвально и милосердно не отнимать последнюю надежду у заблудших. Но нельзя отнимать надежду и у честных людей. Вот приходит честный, сильный и трудолюбивый парень на такую ферму бывших воров с желанием хорошо работать и хорошо учиться, а ему говорят: «Послушай, ты когда-нибудь воровал? Когда-нибудь бродяжничал?» – «Нет». – «Тогда тебе здесь не место».

– И все же это правда, дядюшка Шатлэн, – сказал Жан-Рене. – Для жуликов делают больше, чем для честных; улучшают скот, а не людей.

– Для того чтобы исправить это зло, сынок, и подать пример, наш хозяин и завел эту ферму, как я говорил нашему гостю... Я знаю, сказал он себе, что на небесах воздастся всем честным людям... Но помилуйте, небеса – это так далеко и высоко, и многие, – к сожалению, дети мои, – не имеют ни сил, ни прозорливости, чтобы их достичь. Да и к тому же откуда им взять время, чтобы то и дело обращать взор к небесам? Целый день от восхода до заката они склоняются к земле, они ее вскапывают и перекапывают по воле своего хозяина, а ночью спят как убитые на своих лежаках... По воскресеньям они напиваются в кабаке, чтобы забыть вчерашнюю усталость и тяжкий труд, который ждет их завтра. Потому что – самое страшное! – это труд, который не имеет для них никакого смысла. Они работают как каторжные, но разве от этого хлеб их не остается таким же черным, постель – такой же жесткой, дети – такими же истощенными, а жены?... У них даже нет, молока, чтобы вскармливать младенцев, потому что они никогда не ели досыта... Нет, нет и нет! Я хорошо знаю, дети мои, что хлеб их черный, но это хлеб, лежак их жесток, но это постель, детишки худенькие, но они живут... Несчастные, наверное, без ропота мирились бы со своей судьбой, если бы знали, что все живут так же, как они. Но они видят белый хлеб, видят мягкие теплые матрасы, видят детей, румяных, как майские розы, и таких откормленных, таких закормленных, что они кидают пирожные собакам... Проклятье! И когда несчастные возвращаются в свои жалкие хижинки, к своему черному хлебу, к своим больным, худющим и голодным детишкам, они думают, что охотно принесли бы им хоть кусочек пирож-

ного, которое дети богачей скормили собакам. «Если уж так заведено, чтобы на свете были богатые и бедные, почему не мы родились богатыми? Это несправедливо... Может, пора поменяться судьбой?» Так говорят они, и это, дети мои, неразумно: это не облегчает их участи, тяжкого жестокого ярма, которое гнетет их и порою ранит, его все равно приходится влачить без отдыха и без надежды когда-нибудь отдохнуть, когда-нибудь познать счастье, которое приносит достаток... И так всю жизнь, о господи, всю жизнь, а это так долго... дольше бесконечного дождливо-го дня без единого проблеска солнца. И люди принимаются за работу с печалью и отвращением. И наконец большинство батраков говорит себе: «Зачем нам работать больше и лучше? Тяжелым будет колос или легким, нам все равно. Для чего надрываться? Будем лишь честными: зло наказывают, поэтому не станем творить зло; за добро не вознаграждают, поэтому незачем делать добро... Будем как добрые вьючные животные: от нас требуется только терпение, сила и покорность...» Такие мысли пагубны, дети мои; от такого равнодушия недалеко до лени, а от лени еще ближе до порока... К сожалению, таких, незлых и недобрых, кто не делает ни зла, ни добра, – большинство. «Поэтому, – сказал наш хозяин, именно их надо улучшать, точно так же, как улучшают породы лошадей, коров или овец... Сделаем так, чтобы они сами старались быть живее, мудрее, трудолюбивее, опытнее и преданнее своему делу... Докажем им, что, становясь лучше, они станут счастливее и станут получать больше... От этого выиграют все. Чтобы добрые советы пошли им на пользу, дадим им здесь, на земле, маленький образчик великого счастья, которое ожидает праведных там, на небесах...»

Порешив так, наш хозяин объявил по округе, что ему нужны шесть пахарей и столько же коровниц, женщин или девушек, но он сам хотел выбрать этих людей среди лучших работников по рекомендациям фермеров, мэров и священников. Им обещали платить, как принцам, как платят нам, кормить лучше, чем едят господа в городах, и отдавать всем работникам одну пятую часть урожая. Эти люди должны были оставаться на ферме два года, а затем уступать место другим работникам на тех же условиях. Через пять лет любой из них мог снова прийти на ферму, если будут свободные места. Вот почему, когда появилась эта ферма, земледельцы и поденщики в округе начали говорить: «Будем стараться, будем честными и трудолюбивыми, чтобы нас заметили, и, может быть, когда-нибудь нас возьмут на ферму Букеваль. Там целых два года мы будем жить как в раю, а когда уйдем, то не с пустыми руками, и, главное, мы будем потом нарахват, потому что попасть на эту ферму может только превосходный работник».

– Меня уже пригласили на ферму Дюбрей в Арнувиле, – сказал Жан-Рене.

– А меня заранее наняли на ферму Гонесс, – подхватил другой работник.

– Вот видишь, добрый человек, от этого выигрывают все. И окрестные фермеры вдвойне. У нас всего двенадцать мужчин и женщин, но в кантоне появляется в пять раз больше старательных работников, которые стремятся поступить на их место. И даже те, кто не сможет получить это место, все равно останутся хорошими работниками, не так ли? Как говорится, добрый хлеб не станет плохим; потому что, если им не повезет сегодня, у них всегда остается надежда на завтра, и в конечном счете число хороших людей возрастает. Ну вот, скажем к слову, назначают приз лошади или быку за скорость, силу и красоту – и хозяева воспитывают сотню животных, способных бороться за этот приз. Так вот, даже если они его не получают, эти отборные питомцы все равно останутся прекрасными и полезными животными... Слышишь, добрый человек? Я был прав, когда говорил, что наша ферма не обычная ферма, а наш хозяин необычайный человек?

– Да, конечно! – воскликнул Грамотей. – И чем больше я слышу о его доброте и щедрости, тем больше надеюсь, что он сжалится над моей несчастной судьбой. Человек, который творит добро с таким благородством и такой мудростью, не станет раздумывать; одним благодеянием больше или меньше – разница невелика.

– Наоборот, он над этим очень раздумывает, – возразил дядюшка Шатлэн. – Но это не мешает ему совершить новое доброе дело. Мне кажется, мы еще с тобой встретимся, бедняга, разумеется, здесь, на ферме, и ты не последний раз сидишь за нашим столом!

– Правда? Я могу надеяться?.. О, если бы вы знали, как я признателен и счастлив! – воскликнул Грамотей.

- Не сомневайся, у нас добрый хозяин.
- Но скажите мне хотя бы, как его зовут и как зовут вашу добрую заступницу, чтобы я мог заранее благословить их святые имена! – живо проговорил Грамотей.
- Я понимаю твое нетерпение, – сказал старый крестьянин. – Черт возьми, ты, наверное, думал, что услышишь громкие имена? И напрасно. У них имена простые и чистые, как у святых. Нашу богородицу-заступницу зовут госпожа Жорж... а нашего хозяина – господин Родольф.
- Моя жена!.. И мой палач!.. – пробормотал слепой бандит, словно молнией пораженный этим открытием.

Глава VII НОЧЬ

Родольф!!! Госпожа Жорж!!!

Грамотей не поверил в случайное совпадение имен. Прежде чем обречь его на страшные муки, Родольф сказал, что сердечно позаботится о госпоже Жорж. И наконец, недавнее посещение этой фермы черным Давидом окончательно доказывало, что Грамотей не ошибался.

Он увидел нечто роковое и предопределенное в этой встрече, которая разбивала в прах все его надежды, основанные на великодушии хозяина фермы.

Первым его побуждением было – бежать!

Родольф внушал ему непреодолимый ужас. А вдруг он сейчас на ферме? Едва придя в себя, слепой бандит ошалело вскочил, схватил Хромулю за руку и вскричал:

– Нам пора! Пойдем! Веди меня отсюда!

Крестьяне изумленно переглянулись.

– Вы хотите уйти... сейчас? И не думай даже об этом, бедняга, – сказал дядюшка Шатлэн. – И какая муха тебя укусила? Ты что, рехнулся?

Хромуля тотчас подхватил этот намек и горестно вздохнул. Постучав указательным пальцем по лбу, он жестом объяснил крестьянам, что его мнимый папочка не совсем в своем уме.

Старый крестьянин понимающе закивал головой и сочувственно развел руками.

– Пойдем, пойдем отсюда! – повторял Грамотей, пытаясь увлечь за собой мальчишку.

Но Хромуля вовсе не собирался менять теплый угол на промерзшие ночные поля.

– Господи, бедный папочка! – завопил он плаксивым голосом. – Опять у тебя приступ... Успокойся, тебе нельзя выходить в такую холодную ночь, тебе станет хуже... Уж лучше я ослужаю тебя, прости, но только не поведу по дорогам в такой час. – И, обращаясь к крестьянам, продолжал: – Вы ведь поможете мне, добрые господа, не дадите моему папочке уйти?

– Да, да, не волнуйся, малыш, – сказал дядюшка Шатлэн. – Мы не откроем дверь твоему отцу... Так что придется ему ночевать на ферме.

– Вы не заставите меня здесь остаться! – вскричал Грамотей. – И к тому же я не хочу стеснять вашего хозяина... господина Родольфа. Вы ведь сказали мне, что ваша ферма не приют для калек. Поэтому еще раз прошу: отпустите меня!

– Стеснять нашего хозяина? Можешь не беспокоиться. К сожалению, он не живет на ферме и приезжает лишь изредка, когда мы просим... Но даже будь он здесь, ты бы ему не помешал. Этот дом не приют, ты прав, но я уже сказал, что калеки, такие же несчастные, как ты, всегда могут провести здесь день или ночь.

– Значит, вашего хозяина сегодня здесь нет? – спросил Грамотей, немного успокаиваясь.

– Нет. Он должен, по своему обыкновению, приехать дней через пять-шесть. Как видишь, тебе нечего бояться. Наша добрая госпожа вряд ли спустится сегодня, иначе она бы тебя успокоила. Но разве она уже не распорядилась приготовить вам здесь постель? Впрочем, если она не сойдет сегодня, – ты сможешь поговорить с ней завтра перед уходом... Попроси ее как следует, чтобы наш хозяин сжалился над твоей судьбой и оставил тебя на ферме...

– Нет, нет! – в ужасе пробормотал бандит. – Я передумал... Мой сын прав, наша родственница в Лувре пожалеет и примет меня... Я пойду к ней!

– Как тебе угодно, – сочувственно сказал дядюшка Шатлэн, полагая, что имеет дело с че-

ловеком, повредившимся уме. – Ты сможешь уйти завтра утром. Но, чтобы пуститься в дорогу сейчас, да еще с этим мальчуганом, – не может быть и речи! Об этом уж мы позаботимся.

Хотя Родольфа и не оказалось в Букевале, страхи Грамотея далеко не рассеялись. Хотя лицо его было страшно изуродовано, он все же боялся, что жена, – а она могла спуститься в кухню в любой момент, – опознает его. И тогда она его выдаст, и его арестуют, ибо он был убежден, что Родольф так страшно покарал его только для того, чтобы удовлетворить мстительную ненависть г-жи Жорж.

Но слепой бандит не мог уйти с фермы; он всецело зависел от Хромули. Поэтому он смирился, но, чтобы жена не увидела его, сказал старому крестьянину:

– Раз уж вы говорите, что я не стесню вашего хозяина и вашу хозяйку... благодарю вас за гостеприимство. Но я очень устал и, если позволите, пойду лягу. Завтра я хочу уйти на рассвете.

– О, на рассвете? Как тебе захочется. Мы здесь рано встаем. А чтобы ты снова не заблудился, тебя с сыном выведут на прямую дорогу.

– Если хотите, я могу подвезти этих бедняг до дороги, – предложил Жан-Рене. – Потому что хозяйка велела мне завтра съездить на повозке в Вилье-ле-Бель к нотариусу за мешочками с серебряной монетой.

– Хорошо, ты выведешь бедного слепца на дорогу, но пойдешь пешком и сразу вернешься, – сказал дядюшка Шатлэн. – Хозяйка передумала. Она решила, и это правильно, что незачем заранее привозить на ферму такую большую сумму: всегда успеется съездить за ней в понедельник или в другой день, а пока пусть серебро полежит у нотариуса, там надежнее.

– Хозяйка лучше знает, что делать, но чего ей бояться, если серебро будет здесь, дядюшка Шатлэн?

– Слава богу, нечего, сынок! Но все равно, по мне, лучше иметь здесь пятьсот мешков зерна, чем десять мешочков с эю, – сказал дядюшка Шатлэн. – Ну хорошо, пойдемте, – обратился он к слепому бандиту и Хромуле. – Иди за мной, сынок, – добавил он. – Я посвечу тебе.

Со свечой в руке он провел за собой неожиданных гостей в маленькую комнатку на первом этаже по длинному коридору, в который выходили многочисленные двери.

Крестьянин поставил свечу на стол и сказал Грамотею:

– Вот ваша комната, да пошлет тебе господь спокойную ночь, добрый человек. А ты, сынок, и так заснешь, в твоём возрасте спят без просыпу!

Задумчивый и мрачный, бандит сел на край постели, к которой его подвел Хромуля.

Колченогий мальчишка сделал красноречивый знак крестьянину, когда тот уже выходил из комнаты, и догнал его в коридоре.

– Чего тебе, сынок? – спросил дядюшка Шатлэн.

– Боже мой! Добрый господин, я так несчастен! Иногда у моего бедного папочки по ночам начинаются приступы, вроде судорог, и я не могу один с ним справиться. Если придется позвать на помощь, меня услышат отсюда?

– Несчастный малыш! – Крестьянин взглянул на него с любопытством. – Успокойся. Видишь эту дверь рядом с лестницей?

– Да, мой добрый господин, вижу.

– Один из наших работников всегда спит там, ключ в дверях: если понадобится, разбуди его и он тебе поможет.

– Ах, мой господин, мы с этим работником, наверно, не справимся с бедным папочкой, такие страшные у него судороги... Вот если бы вы нам помогли, ведь вы такой сильный, такой добрый...

– Послушай, сынок, я сплю вместе с другими пахарями в большом доме в глубине двора. Но ты не беспокойся, Жан-Рене силач, за рога любого быка повалит. А если еще нужна будет помощь, он разбудит старую кухарку; она спит на втором этаже, рядом с комнатами нашей хозяйки и девушками. Эта добрая женщина при нужде всегда ухаживала за больными, она такая заботливая...

– О, благодарю, благодарю, достойный мой господин, я буду молить за вас бога, вы так милосердны, так жалостливы к моему бедному папочке...

– Полно, сынок!.. И спокойной ночи. Надеюсь, все обойдется, и тебе не придется никого звать, чтобы помочь твоему отцу. Беги, он, наверное, тебя ждет.

– Бегу, бегу! Спокойной ночи, добрый господин.

– Да хранит тебя бог, сынок!

И старый крестьянин удалился.

Едва он повернулся спиной, колченогий паршивец сделал ему вслед в высшей степени оскорбительный и насмешливый жест, известный всем парижским мальчишкам: похлопал себя левой рукой по затылку, каждый раз выбрасывая вперед правую руку ладонью вверх.

С дьявольской ловкостью этот гаденыш вызнал немало сведений, полезных для зловещих замыслов Сычихи и Грамотея. Он уже знал, что в этой половине дома, где их устроили, ночью оставались только госпожа Жорж, Лилия-Мария, старая кухарка и один работник фермы.

Возвратившись в отведенную им комнату, Хромуля постарался держаться подальше от Грамотея. Услышав его шаги, Грамотей тихо спросил:

– Где ты пропадал, поганец?

– Ты слишком любопытен, безглазый!

– Ну ты мне заплатишь за все, что заставил вытерпеть и выстрадать за этот вечер, исчадь зла! – воскликнул Грамотей. Он вскочил и заметался по комнате, пытаясь ощупью поймать Хромулю. – Я задушю тебя, подлый змееныш!

– Бедный папочка! Похоже, у тебя хорошее настроение, раз ты вздумал поиграть в кошки-мышки со своим любимым сыночком, – хихикая, ответил Хромуля, с необычайной ловкостью увертываясь от слепого бандита.

В порыве ярости тот все еще надеялся поймать сына Краснорукого, но скоро отказался от этой затеи.

Вынужденный терпеть все его бесстыдные издевательства, пока не подвернется случай отомстить, Грамотей подавил бессильную злобу и рухнул на кровать, изрыгая страшные проклятия.

– Бедный папочка, у тебя что, зубки разболелись? Ах, какие гадкие слова! Что скажет кюре, если тебя услышит? Он наверняка наложит на тебя покаяние...

Грамотей надолго умолк и наконец заговорил глухим, сдержанным голосом:

– Ладно, смейся надо мной, издевайся над моей немощью, несчастный трус! Таково твоё великодушие!

– О, вот это словечко! «Великодушие»! Хватает же у тебя наглости! – воскликнул Хромуля, разражаясь смехом. – Ах, извините! Вы ведь надевали мягкие перчатки, когда раздавали затрещины направо и налево всем, кто ни попадется, пока не окривели на оба глаза.

– Но тебе-то я никогда не делал зла... Почему ты меня так мучаешь?

– Во-первых, потому что ты говорил гадости Сычихе... А потом, когда ты задумал остаться здесь и подружиться с деревенщиной... Наверное, соскучился по ослиному молоку?

– Какой же ты болван! Если бы я мог остаться на этой проклятой ферме, разрази ее гром, я бы... Но ты почти помешал мне своими идиотскими намеками.

– Остаться здесь? Хорошая шуточка! А кого же тогда будет мучить Сычиха? Может быть, меня? Нет уж, спасибо, это не по мне!

– Подлый недоносок!

– Недоносок? Вот и еще один повод. Как говорит моя тетушка Сычиха, нет ничего забавнее смотреть, как ты задыхаешься от ярости, ты, кто мог бы убить меня одним ударом кулака... Это куда интереснее, чем если б ты был хилым и слабеньким... До чего же ты был смешным этим вечером за столом! Господи боже мой! Какую комедию я разыгрывал для одного себя. Почтише фарсов в театре Ла Гетэ! От каждого пинка, которым я награждал тебя под столом, ярость ударяла тебе в голову и твои слепые глаза по краям наливались кровью, оставались только голубые пятна в середине; еще немного, и они бы стали трехцветными, точь-в-точь кокарды городских сержантов... Умереть от смеха!

– Послушай, ты любишь посмеяться, ты веселый паренек, да это и неудивительно в твоём возрасте, – сказал Грамотей добродушным и снисходительным тоном, надеясь разжалобить

Хромулю. – Но, вместо того чтобы насмехаться надо мной, лучше бы ты вспомнил, о чем говорила Сычиха, которая так тебя любит. Ты должен все здесь осмотреть, взять отпечатки с замков. Ты слышал? Они говорили о крупной сумме, которую должны привезти в понедельник... Мы вернемся сюда с друзьями и обделаем хорошее дельце. Ба, я свалил дурака, когда хотел остаться здесь... Нам бы эти добряки крестьяне опостытели к концу недели, не правда ли, сынок? – добавил слепой бандит, чтобы польстить Хромуле.

– Да, ты бы меня очень огорчил, – с усмешкой ответил сын Краснорукого.

– Говорю тебе, здесь можно обделать хорошее дельце... Но если бы даже здесь нечего было взять, я все равно вернулся бы сюда вместе с Сычихой... чтобы отомстить, – проговорил бандит, и голос его задрожал от ярости и злобы. – Потому что теперь я знаю: это моя жена натравила на меня проклятого Родольфа, который ослепил меня и отдал на милость всех и всякого... Сычихи, тебя, увечного мальчишки... Так вот, раз уж я не могу отомстить ему, я отомщу моей жене! Пусть, она заплатит за все... даже если мне придется поджечь этот дом и самому погибнуть в горящих развалинах... О, как я хотел бы!..

– Ты, конечно, хотел бы, чтобы твоя женушка попалась тебе в лапы, не так ли, старина? И подумать только, ведь она всего в десяти шагах от тебя, разве это не забавно? Если бы я захотел, я довел бы тебя до ее комнаты, потому что только я знаю, где эта комната, я знаю, я знаю, я знаю, – пропел, по своему обыкновению, Хромуля.

– Ты знаешь, где ее комната? – воскликнул Грамотей со свирепой радостью. – Ты знаешь?

– Похоже, ты готов, – сказал Хромуля. – Сейчас ты будешь служить передо мной на задних лапках, как пес, которому показывают кость... Итак, мой верный Азор, служить!

– Кто тебе об этом сказал? – воскликнул бандит, невольно поднимаясь.

– Хорошо, Азор, хорошо... Рядом с комнатой твоей жены спит старая кухарка... один поворот ключа – и в наших руках весь дом, твоя жена и девчонка в сером плаще, которую мы хотели похитить... А теперь подай лапку, Азор, постарайся для своего хозяина... Служить!

– Ты врешь, ты все врешь! Откуда ты это знаешь?

– Пусть я хром, но я вовсе не глуп. Только что я наплел этому старому деревенскому дурню, что по ночам у тебя бывают судороги, и спросил, кто мне сможет помочь, если у тебя начнется приступ... Так вот он мне ответил, что, если вас схватит, я могу разбудить слугу и кухарку, и объяснил, где они спят: один внизу, другая наверху, рядом с комнатой твоей жены, твоей жены, твоей жены! – повторил Хромуля свою припевку.

После долгого молчания Грамотей спокойно сказал ему с искренней и устрашающей непреклонностью:

– Послушай, я устал от жизни... Всего час назад, признаюсь, у меня затеплилась надежда, но теперь моя участь кажется мне еще ужаснее... Тюрьма, каторга, гильотина – ничто по сравнению с тем, что я претерпел сегодня и должен буду терпеть до смерти... Отведи меня в комнату моей жены... У меня мой нож, я прикончу ее... Пусть меня убьют потом, это мне все равно... Ненависть душит меня! Я буду отомщен, и месть меня утешит... Такие муки, такое унижение, и это мне, перед которым дрожали все! Нет, непереносимо! Если бы ты знал, как я страдаю, ты бы сжалился надо мной... Мне кажется, голова сейчас лопнет, в висках стучит, разум помутился...

– Да не застудил ли ты головку, старина? Бывает, бывает... Может, у тебя насморк? Прочихайся, это помогает! Ха-ха! – расхохотался Хромуля. – Хочешь понюшку?

И, громко похлопывая по тыльной стороне сжатой в кулаке левой руки, как по крышке табакерки, он пропел:

«Добрый табачок в моей табакерке,
Добрый табачок, но не для тебя!»

– О господи, господи! Они сговорились свести меня с ума! – воскликнул бандит, действительно почти теряя рассудок от всепожирающей пламенной жажды кровавой мести, которую он не мог утолить.

Невероятная сила этого зверя могла сравниться только с его яростью.

Представьте себе голодного, разъяренного, бешеного волка, которого ребенок дразнит весь день сквозь прутья клетки, а за этими прутьями, в одном шаге, кривляется его жертва, которая могла бы разом удовлетворить его голод и утихомирить ярость.

Последняя издевка Хромули взбесила бандита; он потерял голову.

Раз нет под рукою жертвы, он упьется своей кровью... ибо кровь душила его.

Будь у него в руках заряженный пистолет, он бы тут же застрелился. Грамотей сунул руку в карман, вытащил свой длинный нож-наваху, раскрыл его и встал, чтобы нанести удар... Но как ни были быстры его движения, страх, инстинкт самосохранения, мысль о смерти оказались быстрее.

Убийце не хватило мужества, и его рука с ножом опустилась.

Хромуля внимательно следил за каждым его жестом и, когда увидел безобидный исход трагического фарса, насмешливо воскликнул:

– Дуэль не состоялась, господа! Ощиплем трусов!

Грамотей, боясь совсем потерять рассудок в припадке бессильной ярости, постарался пропустить мимо ушей это последнее оскорбление Хромули, который дерзко насмехался над трусостью бандита, не сумевшего покончить с собой. Грамотею казалось, что сам рок преследовал его в лице этого безжалостного проклятого недоноска. В отчаянии он сделал последнюю попытку, решив сыграть на жадности сына Краснорукого.

– Послушай, – сказал он почти умоляющим голосом. – Доведи меня до дверей моей жены; ты возьмешь себе все что хочешь в ее комнате и убежишь, а я останусь один... Можешь даже закричать, что там убивают, грабят! Меня арестуют или прикончат на месте, но тем лучше... Я умру отомщенный, раз уж я не могу сам покончить с собой. Отведи меня к ней, отведи! У нее наверняка есть золото, драгоценности... Я говорю: можешь взять все, все себе одному, ты слышишь? Я прошу только одного: отведи меня к ее комнате...

– Да, я прекрасно слышу: ты хочешь, чтобы я довел тебя до дверей ее комнаты, а потом до ее постели... а потом сказал, куда надо ударить, а потом направил твою руку, не так ли? Короче, ты хочешь, чтобы я стал рукояткой твоего ножа? Старый злодей! – с презрением продолжал Хромуля. Гнев и ужас впервые за весь день сделали серьезной его крысину мордочку, обычно насмешливую и наглую. – Я скорее умру, слышишь ты? Лучше умру, чем поведу тебя к твоей жене!

– Ты отказываешься?

Сын Краснорукого ничего не ответил.

Босиком он неслышно подкрался к слепому бандиту, который сидел на постели, по-прежнему сжимая в руке свой длинный нож; с необычайной ловкостью и быстротой Хромуля выхватил у него это страшное оружие и одним прыжком оказался в другом углу комнаты.

– Мой нож! Мой нож! – закричал бандит, протягивая руки.

– Нет уж, папочка! Завтра утром ты, может быть, захочешь поговорить с хозяйкой и, может быть, кинешься на нее с ножом, потому что, как ты сказал, жизнь тебе надоела, а самому покончить с собой не хватает пороха...

– Дьявольщина, теперь он защищает мою жену от меня! – вскричал бандит, чувствуя, что разум его мутится. – Значит, этот маленький звереныш – исчадь ада? Где я? Почему он ее защищает?

– Чтобы ты не дергался, папочка, – ответил Хромуля, и лицо его приняло прежнее насмешливо-наглое выражение.

– Ах, так, – пробормотал Грамотей в полной растерянности, – тогда я подожгу дом... Мы сгорим все... все! Лучше эта печь огненная, чем другая... Свеча! Где свеча?..

– Ха-ха-ха! – снова разразился смехом колченогий. – Как жаль, что твою свечу задули для тебя... навсегда. Ты бы тогда увидел, что наша свеча вот уж час, как погасла.

И Хромуля замурлыкал:

«Моя свеча погасла,
Нет у меня огня...»

Грамотей глухо застонал, вытянул руки и во весь свой огромный рост рухнул на пол, лицом вниз, сраженный ударом.

– Знаем мы твои штучки, – сказал Хромуля, глядя на неподвижного бандита. – Опять притворяешься, чтобы я подошел помочь тебе, а потом задашь мне трепку... Лежи, лежи... Когда надоест лизать пол, сам поднимешься.

Боясь, что Грамотей ночью найдет его ощупью, сын Краснорукого решил не спать и остался сидеть на стуле, внимательно наблюдая за бандитом. Он был уверен, что тот расставил ему ловушку, и несколько не опасался за его жизнь.

Чтобы приятнее провести время, Хромуля выудил из кармана неизвестно откуда взявшийся маленький кошелек красного шелка и принялся медленно пересчитывать золотые монеты; их было семнадцать, и каждая приносила ему алчное наслаждение.

Откуда же у Хромули это несправедливое сокровище?

Вспомним, что он застал врасплох госпожу д'Арвиль во время ее несостоявшегося свидания с майором. Родольф передал этот кошелек молодой женщине и велел ей подняться на шестой этаж к Морелям как бы для того, чтобы оказать им помощь. Госпожа д'Арвиль быстро поднималась по лестнице, держа кошелек в руке, а Хромуля спускался ей навстречу от своего хозяина-шарлатана. Он сразу заприметил кошелек, сделал вид, что споткнулся, толкнул маркизу и в мгновение ока выхватил у нее кошелек. Госпожа д'Арвиль уже слышала внизу шаги мужа и в отчаянии поспешила на шестой этаж, не смея даже сказать, что дерзкий колченогий мальчишка ее обокрал.

Хромуля сосчитал и пересчитал свои золотые. На ферме все было тихо. Тогда он, чутко прислушиваясь, встал, прокрался босиком в коридор и, загоразив ладонью свечу, снял слепки с замков всех четырех дверей. Если бы его застали здесь, он бы соврал, что шел за помощью для своего папочки.

Когда Хромуля вернулся в комнату, Грамотей по-прежнему лежал на полу. Слегка обеспокоенный, Хромуля послушал немного: бандит дышал спокойно и ровно, наверное, все еще притворялся.

– Знаем твои штучки, старый хитрец, – пробормотал Хромуля.

Но на самом деле только случай спас Грамотея от смертельного кровоизлияния в мозг. Падая, он ударился лицом о пол, и лишь обильное кровотечение из носа предотвратило роковой исход.

Какое-то оцепенение охватило его, наполовину сон, наполовину лихорадочный бред; и тогда он увидел странный и страшный сон.

Глава VIII СОН

Вот что приснилось Грамотею.

Он снова увидел Родольфа в доме на аллее Вдов.

В комнате, где бандит претерпел свои страшные муки, ничто не изменилось.

Родольф сидит за столом, на котором лежат документы Грамотея и маленький лазуритовый образок святого духа, подаренный им Сычихе.

Лицо Родольфа торжественно и печально. Справа от него молча стоит Давид, чернокожий, слева – Поножовщик, и он смотрит на всех троих с ужасом.

Грамотей уже не слеп, но видит все сквозь прозрачную кровавую жижу, заполняющую орбиты его глаз.

Все предметы кажутся ему окрашенными в красный цвет.

Как хищная птица парит неподвижно над своей будущей жертвой, гипнотизируя ее, прежде чем разорвать и сожрать, над ним царит чудовищная сова с уродливым лицом кривой Сычихи... Она безотрывно следит за ним единственным круглым глазом, пылающим зеленоватым пламенем.

Этот пристальный взгляд давит его непомерной тяжестью.

Мало-помалу, как глаза, постепенно привыкая к темноте, начинают различать вначале незаметные предметы, Грамотей все яснее видит огромную лужу крови, отделяющую его от, стола, за которым сидит Родольф.

Этот неумолимый судья, а также Поножовщик и чернокожий врач растут и растут, превращаясь в гигантов, а когда эти призраки достигают головой потолка, потолок начинает подниматься над ними.

Кровавое озеро спокойно и гладко, как красное зеркало. Грамотей видит в нем свое уродливое отражение.

Но вскоре его образ искажается и вовсе пропадает в закипающих волнах.

От волнующейся кровавой поверхности, как от зловонного болота, поднимается туман, багрово-сизый, как губы мертвеца.

Но, по мере того как туман поднимается и поднимается, фигуры Родольфа, Поножовщика и негра продолжают расти и расти непостижимым образом, все время возвышаясь над зловещим кровавым испарением.

В клубах этого тумана Грамотей видит бледные призраки жертв и ужасные сцены убийств, которые он совершил...

В этом фантастическом кошмаре он видит сначала маленького лысого старичка, в коричневом рединготе, с козырьком зеленого шелка на лбу; в неопрятной, неприбранной комнатенке он при свете лампы считает и выстраивает столбиками золотые монеты.

За окном мертвенно-желтая луна освещает вершины деревьев, колеблемых ветром, и его самого, Грамотея, приникшего к стеклу уродливым лицом.

Он следит за каждым движением старичка пылающими глазами... Затем разбивает стекло, открывает створки окна, бросается на свою жертву и всаживает ей длинный нож между лопатками.

Его прыжок так быстр, удар так мгновенен, что труп старика остается на месте, в кресле...

Убийца хочет вытащить нож из мертвого тела.

И не может.

Он удваивает усилия...

Все напрасно!

Тогда он хочет оставить свой нож в теле убитого.

Ничего не выходит.

Рука убийцы вросла в рукоятку кинжала, как лезвие кинжала в труп убитого.

И тогда убийца слышит в соседней комнате звон шпор и сабель.

Ему нужно скрыться любой ценой, и он готов унести с собой труп ветхого старика, от которого не может оторвать свой кинжал и свою руку.

Но не тут-то было!

Мертвое худенькое тело словно налилось свинцом.

Несмотря на могучие плечи, несмотря на отчаянные усилия, он не может даже приподнять этот безмерный груз.

Шаги за дверью звучат все громче, звон сабель о каменный пол приближается и приближается...

Ключ поворачивается в скважине. Дверь открывается...

И видение исчезает.

И тогда Сычиха взмахивает крыльями и кричит: «Это старый богач с улицы Руля!.. Твое первое дело, убийца, убийца, убийца!»

Наплывает тьма, затем багровое облако над озером крови становится вновь прозрачным, и он видит новую призрачную сцену...

Едва светает, еще клубится темный, густой туман. На откосе большой дороги лежит человек в грубой одежде торговца скотом. Развороченная земля, вырванные клочки травы говорят о том, что жертва отчаянно сопротивлялась.

У человека пять кровавых ран в груди... Он мертв, но по-прежнему свистом зовет своих

собак и кричит: «На помощь! Ко мне!»

Он свистит и зовет сквозь эти зияющие раны, края которых шевелятся, как окровавленные губы. Эти пять призывов, пять стонов, одновременно вылетающих из пяти кровавых ран убитого, невыносимо слышать, так они ужасны!

И в этот миг Сычиха снова взмахивает крыльями и, передразнивая предсмертный хрип жертвы, пять раз насмешливо, пронзительно и дико хохочет как сумасшедшая: «Ха-ха, ха-ха...» И кричит: «Это торговец быками из Пуасси... Убийца, убийца, убийца!»

Подземное эхо сначала громко повторяет зловещие вопли Сычихи, но постепенно они замирают, словно уходя в глубины земли.

При последних звуках возникают две огромные собаки, черные как смоль, с горящими как уголья глазами. Они кружатся вокруг Грамотея с яростным лаем все быстрее, быстрее, быстрее, с немыслимой скоростью, подступая все ближе, готовы уже вцепиться в него, но их лай звучит, словно издали доносимый ветром.

Постепенно эти призраки бледнеют и исчезают, как тени в багровом тумане, который по-прежнему вздымается и клубится.

Новая волна испарений встает над кровавым озером. Она похожа на зеленоватое стекло, полупрозрачное, как воды канала.

Сначала видно только дно канала, покрытое толстым слоем ила с бесчисленными личинками и червями, почти незаметными для глаза, но которые постепенно становятся все больше, вырастают как под микроскопом, обретая жуткие формы, чудовищные размеры, далекие от реальности.

Это уже не ил, а сплошная кишасящая гуща, невообразимое переплетение червеобразных, которые наползают и отползают, пожирают друг друга и размножаются в таком множестве и в такой тесноте, что лишь медленные и почти незаметные колебания вздымают поверхность этого ила, вернее, плотной массы нечистых животных.

Над ними лениво и неторопливо течет гнилая, густая, мертвая вода, увлекая в своем тяжелом потоке бесчисленные отбросы из сточных труб большого города, всякую мерзость и трупы животных...

И вдруг Грамотей слышит тяжелый всплеск, чье-то тело упало в канал.

Волна от этого всплеска ударяет ему в лицо.

Сквозь облако воздушных пузырьков, которые поднимаются со дна к поверхности, он видит женщину: она быстро тонет, но все еще отбивается, отбивается...

И видит себя вместе с Сычихой на берегу канала Сен-Мартен: они убегают со всех ног, унося пакет с деньгами, завернутый в черную ткань.

И в то же время он присутствует при всех стадиях агонии злосчастной жертвы, которую они с Сычихой только что бросили в канал.

Но вот, дойдя почти до дна, женщина вдруг начинает всплывать, она поднимается на поверхность и беспорядочно бьет по воде руками, как человек, не умеющий плавать, когда он пытается спастись.

А затем он слышит громкий крик.

Этот последний вопль отчаяния переходит в глухой, булькающий звук, когда жертва невольно заглатывает воду... и вновь идет ко дну.

Сычиха парит все так же неподвижно и насмешливо повторяет конвульсивный хрип утопающей, как до этого передразнивала предсмертные стоны торговца скотом.

Сквозь дьявольский зловещий хохот Сычиха изображает, как булькает вода: «Глу-глу-глу! Глу-глу-глу!»

И подземное эхо повторяет ее крики.

Погрузившись под воду второй раз, женщина задыхается и невольно делает глубокий вдох, но вместо воздуха снова глотает воду.

И тут ее голова запрокидывается, лицо вздувается и синеет, шея становится багрово-синей и вспухает, руки судорожно вытягиваются, а ноги в судорогах агонии взбаламучивают донный ил.

И тогда ее окружает черное облако грязи, в котором она вновь поднимается на поверхность.

Едва утопленница испустила последний вздох, как на нее набрасываются тысячи микроскопических паразитов – прожорливые и ужасные личинки и черви придонного ила.

Какое-то мгновение труп остается на поверхности, слегка покачиваясь на волнах, затем медленно погружается в почти горизонтальном положении ногами вниз и так между двумя слоями воды начинает сплывать по течению.

Иногда труп поворачивается вокруг своей оси, оказывается лицом к лицу с Грамотеем; в эти мгновения призрак пристально смотрит на него выпученными, остекленелыми, мутными глазами... и его фиолетовые губы шевелятся...

Грамотей находится далеко от утопленницы, но она бормочет ему прямо в ухо: «Глу-глу-глу! Глу-глу-глу!» И сопровождает это жуткое бульканье особым звуком, который производит, наполняясь, бутылка, погруженная в воду.

Сычиха машет крыльями и кричит: «Глу-глу-глу! Это женщина из канала Сен-Мартен! Убийца! Убийца! Убийца!»

Подземное эхо вторит ей, но, вместо того чтобы постепенно затихнуть в глубинах земли, на сей раз оно словно приближается и становится все оглушительнее.

Грамотею кажется, что зловещий хохот Сычихи раскатывается над всей землей, от полюса до полюса.

Призрак утопленницы исчезает.

Кровавое озеро, за которым Грамотей все время видит Родольфа, приобретает цвет темной бронзы, затем снова краснеет и превращается в печь огненную, наполненную расплавленным металлом. И эта огненная жидкость закручивается гигантским смерчем и устремляется ввысь, все выше.

И вот уже небо от края до края пылает, словно печь, раскаленная добела.

Этот бескрайний, необъятный небосвод одновременно ослепляет и жжет глаза Грамотею, но, прикованный к месту, он не может отвести от него взгляда.

И на фоне этого яростного пламени, раздирающего тело и разум Грамотея, перед ним снова и снова медленно проплывают гигантские, черные призраки его жертв.

«Волшебный фонарь угрызений совести... совести... совести!» – кричит Сычиха, хлопает крыльями и дико хохочет.

Несмотря на невыносимую боль, причиняемую этим бесконечным зрелищем, Грамотей не может оторвать глаз от призраков, проплывающих в пламени.

Он чувствует, как приближается нечто ужасное.

Пройдя все стадии невыносимой пытки, он больше не в силах смотреть на пылающее небо; он чувствует, как его зрачки в наполненных кровью глазных орбитах становятся все горячее, закипают, плавятся, как в огнедышащей печи, и наконец обугливаются в глазницах, словно две капли остывающего железа.

Благодаря какому-то страшному чуду он видел и чувствовал, как его зрачки постепенно гасли и превращались в пепел, а теперь он погружался в изначальную тьму своего прежнего мира.

Но вот внезапно, словно по волшебству, страдания его утихают.

Напоенный ароматами ветерок чудесно освежает его все еще горящие орбиты...

В этом ветре перемешаны все нежные запахи весенних цветов и трав, окропленных росой.

Грамотей слышит вокруг себя легкий шорох, словно ветер играет с листьями, и еще какой-то нежный звон, словно рядом журчит и струится живой ручеек, пробираясь среди камней и мхов.

Тысячи птиц поют и щебечут, выводя фантастические трели, а если они умолкают, то лишь для того, чтобы слышнее были ангельские детские голоса неземной чистоты: они поют странные гимны, и слова их непонятны Грамотею, но эти слова такие окрыленные, что взлетают прямо к небесам и Грамотей невольно вздрагивает.

Чувство душевного покоя, расслабленности и бесконечного благодушия постепенно овла-

девает им.

Волшебство, чарующее сердце и разум, неизъяснимая душевная чистота, не сравнимые ни с каким физическим наслаждением, опьяняют его.

Грамотей чувствует, как тихонько и плавно парит над землей в эфирной сияющей сфере, поднимаясь все выше и выше на неизмеримую высоту над юдолью людской.

.....

Но после недолгих мгновений невыразимого счастья он вновь погружается в черную бездну своих прежних мыслей.

Он все еще видит чудесный сон, но теперь он всего лишь слепой, беспомощный бандит, который богохульствует и проклинает весь мир в припадках бессильной злобы.

Вдруг слышится голос, торжественный и звонкий.

Это голос Родольфа.

Грамотей содрогается от ужаса: он смутно понимает, что все это ему снится, однако Родольф внушает ему такой непреодолимый страх, что он напрягает все силы, чтобы избавиться от этого нового видения.

Голос звучит, и он его слышит.

В голосе Родольфа нет гнева, он исполнен печали и сострадания.

«Несчастный злодей, – говорит он Грамотею, – час раскаяния для тебя еще не пробил. Один бог знает, когда он придет. Ты еще не претерпел всех мук за свои преступления. Ты страдал, но ты их не искупил, а потому судьба продолжает вершить высшее правосудие. Твои сообщники стали твоими палачами: старая женщина и ребенок командуют тобой и терзают тебя...

Подвергнув тебя наказанию столь же ужасному, как твои преступления, я сказал, вспомни мои слова: „Ты преступник, возгордившийся своей силой... Я отниму ее у тебя. Самые свирепые и могучие дрожали перед тобой... отныне ты будешь трепетать перед самыми слабыми!“

Ты покинул скромное убежище, где мог бы жить, раскаиваясь и искупая свои грехи...

Ты испугался безмолвия и одиночества.

Недавно тебя соблазнила на миг мирная жизнь крестьян на этой ферме, но поздно, уже слишком поздно!

Почти беззащитный и беспомощный, ты вновь с головой окунулся в мутную среду мерзавцев и убийц, потому что боялся оставаться среди честных людей, у которых тебя поселили.

Ты хотел опьяниться новыми злодеяниями. Ты бросил дерзкий и наглый вызов тому, кто решил помешать тебе творить зло и приносить горе ближним, но твой преступный побег был напрасен. Несмотря на всю свою смелость, коварство, изворотливость и силу, ты скован по рукам и ногам. Жажда злодеяний пожирает тебя, но ты не можешь ее удовлетворить. Только что в припадке ужасного и кровавого безумия ты хотел убить свою жену: ведь она совсем рядом, под одной с тобой крышей, она спит, и она беззащитна. А у тебя твой нож, ее спальня в двух шагах, ничто тебе не может помешать, ничто не спасет ее от твоей дикой злобы, ничто... кроме твоего бессилия!

Ты видел сейчас сон и продолжаешь его видеть, который мог бы многому тебя научить, мог бы тебя спасти. Таинственные образы этого сновидения имеют глубокий смысл.

Озеро крови, в котором появлялись твои жертвы, – это пролитая тобою кровь. Огненная лава, сменившая кровь, – это жгучие угрызения совести, которые должны были тебя испепелить, чтобы господь когда-нибудь сжалился над твоими мучениями, призвал тебя к себе и дал вкусить неизъяснимую сладость всепрощения. Но этому не суждено свершиться! Нет, нет! Эти предостережения не пойдут тебе впрок: вместо того чтобы раскаяться, ты будешь каждый день с горечью и проклятиями вспоминать о тех преступных временах, когда ты творил свои злодеяния... Увы, эта постоянная борьба между твоими кровавыми страстями и невозможностью их удовлетворить, между старой привычкой всех безжалостно подавлять своей силой и теперешней необходимостью подчиняться слабым и жестоким существам, окончится для тебя так страшно, так ужасно!.. О несчастный злодей!»

Голос Родольфа прервался.

На мгновение он умолк, словно волнение и страх мешали ему говорить.

Грамотей почувствовал, как волосы встают дыбом у него на голове.

Какова же была его участь, если над ним сжалился даже сам палач?

«Участь твоя столь ужасающа, – продолжал Родольф, – что даже если бы господь всемогущий в неотвратимом гневном своем захотел выместить на тебе одном все преступления всех злодеев на свете, он не смог бы придумать более страшной кары. Горе, горе тебе! Судьбе угодно, чтобы ты узнал, какое ужасное наказание ожидает тебя, и чтобы ты даже не старался его избежать.

Да откроется тебе будущее!»

Грамотею показалось, что он снова прозрел.

Он открыл глаза и увидел...

Но то, что он увидел, поразило его таким невыносимым страхом, что он дико закричал и проснулся, содрогаясь от этого ужасного сновидения.

Глава IX ПИСЬМО

Часы на ферме Букеваль пробили девять, когда г-жа Жорж тихонько вошла в комнату Лилии-Марии.

У девушки был такой легкий сон, что она проснулась почти в то же мгновение. Яркие лучи зимнего солнца проникали сквозь ставни и занавески из легкого полотна, подбитого розовой бумагой, и наполняли комнату Певуньи розоватым светом, сообщая ее бледному и нежному лицу легкий румянец, которого ей так не хватало.

– Доброе утро, дитя мое, – сказала г-жа Жорж, усаживаясь на край постели и целуя девушку в лоб. – Как ты себя чувствуешь?

– Лучше, сударыня, спасибо.

– Тебя никто не разбудил сегодня рано утром?

– Нет, сударыня.

– Тем лучше. Этот несчастный слепой и его сын, которых вчера оставили здесь ночевать, захотели уйти с фермы еще до рассвета; я боялась, что хлопанье дверей тебя разбудит.

– Бедные люди! Почему они ушли так рано?

– Не знаю. Вчера вечером, когда тебе стало лучше, я спустилась на кухню, чтобы взглянуть на них, но они так устали, что попросили разрешения пораньше лечь спать. Дядюшка Шатлэн сказал, что у слепого, похоже, не все в порядке с головой, и еще наших людей поразило, с какой любовью его маленький сын заботится о своем несчастном отце. Но скажи, Мария, тебя не познабливает? Я не хочу, чтобы ты простудилась, так сегодня не выходи из комнат.

– Простите меня, сударыня, но сегодня в пять пополудни я должна быть в доме священника: он будет меня ждать, я обещала.

– И напрасно: я уверена, ты провела беспокойную ночь. У тебя усталые глаза, ты не выспалась.

– Да, это правда... Мне опять снились страшные сны. Я снова увидела ту женщину, которая терзала меня, когда я была еще маленькой: я проснулась как от толчка, дрожа от страха. Мне стыдно, но я никак не могу избавиться от этой моей слабости.

– И меня твоя слабость огорчает, потому что она заставляет тебя страдать, бедняжка! – проговорила г-жа Жорж с нежным участием, видя, что глаза Певуньи наполняются слезами.

Мария бросилась на шею своей приемной матери и спрятала лицо у нее на груди.

– Господи, что с тобой, Мария? Ты меня пугаешь.

– Вы так добры ко мне, и теперь я стыжусь, что не доверила вам того, что доверила господину кюре. Завтра он вам сам все расскажет, а мне будет очень трудно еще раз повторять исповедь.

– Полно, полно, девочка, успокойся. Я уверена, что в твоей тайне, которую ты доверила

нашему доброму кюре, больше достойного похвалы, чем осуждения. Не плачь так, милая, не огорчай меня!

– Простите, сударыня, я сама не знаю почему, но последние два дня у меня порою сердце разрывается... И слезы сами текут из глаз... У меня дурные предчувствия... Мне кажется, со мной случится какая-то беда.

– Мария, Мария! Я отругаю тебя, если ты будешь поддаваться воображаемым страхам. Неужели нам мало настоящих огорчений, которых и так хватает в жизни.

– Вы правы, сударыня. Я виновата и постараюсь преодолеть эту слабость... Если бы вы знали, как я упрекаю себя за то, что не могу всегда улыбаться, не могу быть веселой и счастливой, как любая другая на моем месте. Увы, моя печаль должна вам казаться признаком неблагодарности.

Госпожа Жорж принялась разубеждать Певунью, но в этот момент в дверь постучали и вошла Клодина.

– Что тебе, Клодина?

– Сударыня, Пьер приехал из Арнувиля в кабриолете госпожи Дюбрей; он привез для вас письмо, говорит, очень срочное.

Госпожа Жорж взяла письмо и прочитала вслух:

– «Дорогая госпожа Жорж, вы окажете мне огромную услугу и выведете из большого затруднения, если немедленно приедете к нам на ферму; Пьер привезет вас и отвезет обратно сегодня же после обеда. Я поистине не знаю, что мне делать. Господин Дюбрей сейчас в Понтуазе, продает овечью шерсть, так что я могу обратиться только к вам и к Мариш. Клара целует свою добрую сестричку и ждет ее с нетерпением. Постарайтесь приехать в одиннадцать часов к завтраку.

Ваша искренняя подруга госпожа Дюбрей».

– Что там могло случиться? – обратилась г-жа Жорж к Лилии-Марии. – К счастью, по тону письма госпожи Дюбрей можно судить, что ничего серьезного.

– Я поеду с вами? – спросила Певунья.

– Нет, это было бы неосторожно, сейчас слишком холодно. А впрочем, это тебя развлечет, – передумала г-жа Жорж. – Мы тебя укутаем хорошенько, и маленькая прогулка пойдет тебе только на пользу.

– Но простите, сударыня, – сказала Певунья, чуть подумав. – Ведь кюре ждет меня вечером в пять часов у себя.

– Да, ты права. Но мы вернемся раньше пяти часов вечера, обещаю тебе.

– О, благодарю вас! Я буду так рада повидать мадемуазель Клару!

– Ты опять! – сказала с упреком г-жа Жорж. – Мадемуазель Клара! Разве она называет тебя мадемуазель Марией, когда говорит о тебе?

– Нет, сударыня, – ответила Певунья, опуская глаза. – Это все потому, что я...

– Ты! Ты просто несчастный ребенок, который все время сам себя мучает. Ты уже забыла о том, что мне сейчас обещала. Одевайся-ка побыстрее да потеплее. Мы еще успеем доехать до Арнувиля к одиннадцати часам.

И, выходя вместе с Клодиной, г-жа Жорж добавила:

– Пусть Пьер подождет немножко, мы будем готовы через несколько минут.

Глава X РАЗОБЛАЧЕНИЕ

Полчаса спустя после этого разговора г-жа Жорж и Лилия-Мария уже ехали в одном из тех громоздких кабриолетов, которыми пользуются богатые фермеры в окрестностях Парижа. Вскоре эта повозка, запряженная сильной лошадью, которой управлял Пьер, покатила по травянистой дороге, соединявшей Букеваль с Арнувилем.

Большие дома и многочисленные службы фермы госпожи Дюбрей свидетельствовали о богатстве этого великолепного имения, которое Сезарина де Нуармон принесла в приданое герцогу де Люсене.

Звучным щелканьем кнута Пьер предупредил г-жу Дюбрей о прибытии г-жи Жорж и Лилии-Марии. Гости вышли из кареты и были радостно встречены хозяйкой фермы и ее дочерью.

Госпоже Дюбрей было под пятьдесят; у нее была нежное и добродушное лицо; а черты ее Дочери, хорошенькой брюнетки с голубыми глазами и свежим румянцем на щеках, дышали невинностью и добротой.

Когда Клара бросилась Певунье на шею, та с изумлением заметила, что ее подруга была одета так же просто, как она, по-крестьянски, а не в платье богатой барышни.

– Как, и вы тоже, Клара, переоделись в сельчанку? – с удивлением проговорила г-жа Жорж, целуя юную девушку.

– Разве она не должна во всем подражать своей сестренке Марии? – возразила г-жа Дюбрей. – Она мне покоя не давала, пока не получила такой же суконный казакин и такую же бумазейную юбку, как у Марии... Но все это лишь капризы девчонок, бедная моя госпожа Жорж!.. – со вздохом добавила г-жа Дюбрей. – Пойдемте, я расскажу вам о моих неприятностях.

Войдя в салон вместе со своей матерью и г-жой Жорж, Клара тут же усадила Лилию-Марию на самое лучшее место у камина, окружила ее тысячьо забот, взяла ее руки в свои, чтобы удостовериться, что они не озябли, еще раз поцеловала ее, называя своей жестокой маленькой сестрицей и тихонько выговаривая за то, что она так редко приезжает в гости.

Если мы вспомним о беседе несчастной Певуньи со священником, то поймем, почему она принимала эти нежные и невинные ласки со смешанным чувством унижения, боязни и радости.

– Но что у вас случилось, дорогая госпожа Дюбрей? – спросила г-жа Жорж. – И чем я могу вам помочь?

– Господи, случилось сразу столько! Я вам сейчас объясню. Полагаю, вы знаете, что эта ферма в действительности принадлежит госпоже герцогине де Люсене. Мы имеем дело непосредственно с нею, минуя герцогского управляющего.

– В самом деле? Я этого не знала.

– Сейчас вы поймете, почему я вам об этом рассказываю... Значит, так, мы платим аренду за ферму самой госпоже герцогине или госпоже Симон, ее первой камеристке. Госпожа герцогиня хотя и немножко легкомысленна, но так добра, так добра, что иметь с ней дело одно удовольствие. Мы с моим мужем готовы за нее в огонь и в воду. Господи, да ведь это понятно: мы ее знали еще маленькой девочкой, когда она приезжала сюда со своим отцом, покойным принцем де Нуармон... Так вот, последний раз она попросила выплатить ей аренду за полгода вперед... Сорок тысяч франков – это, как говорят, на дороге не валяется. Но у нас была эта сумма про запас, приданое нашей Клары, и на другой же день госпожа герцогиня получила свои деньги в звонких луидорах. Этим знатым дамам так необходима роскошь! Правда, госпожа герцогиня начала требовать арендную плату до срока лишь год назад. Раньше, похоже, – ей и так всегда хватало денег... Но теперь все переменилось!

– Дорогая госпожа Дюбрей, я пока не возьму в толк, чем я могу быть полезной?

– Подождите, послушайте! Я вам рассказываю все это, чтобы вы поняли: госпожа герцогиня нам полностью доверяет. Не говоря уже о том, что в двенадцать – тринадцать лет она вместе со своим отцом крестила нашу Клару, которую всегда так любила. Так вот, вчера я вдруг получила от госпожи герцогини вот это письмо:

«Дорогая госпожа Дюбрей, необходимо срочно привести в полный порядок маленький садовый павильон, чтобы он был готов к послезавтрашнему вечеру. Прикажете перенести туда всю необходимую мебель, ковры, занавески и прочее. Сделайте так, чтобы всего было вдоволь, а главное, чтобы он был вполне комфортабельным...»

Комфортабельным! Вы слышите, госпожа Жорж? И это слово еще подчеркнуто!

Госпожа Дюбрей посмотрела на подругу с задумчивым и смущенным видом, затем продолжала читать:

– *«Прикажите топить в павильоне днем и ночью, чтобы не было сыро, ведь там уже давно никто не жил. Примите человека, который в нем поселится, как приняли бы меня. Письмо, которое он вам вручит, объяснит вам, что от вас требуется. Рассчитываю на ваше неизменное усердие. Надеюсь, что моя просьба и на этот раз вас не стеснит: я знаю вашу доброту и преданность. Прощайте, дорогая госпожа Дюбрей. Поцелуйте за меня мою прелестную крестницу и примите уверения в моих самых добрых чувствах.*

Нуармон де Люсене.

Р. С. Человек, о котором идет речь, прибудет послезавтра к вечеру. Главное, не забудьте, прошу вас, сделать павильон как можно комфортабельнее».

– Вот видите, это несносное словечко опять подчеркнуто! – сказала г-жа Дюбрей, пряча в карман письмо герцогини де Люсене.

– И это все? – удивилась г-жа Жорж. – Нет ничего проще...

– Нет ничего проще? Разве вы не слышали? Госпожа герцогиня желает, чтобы павильон был как можно комфортабельней, поэтому я и просила вас приехать. Мы вдвоем с Кларой со вчерашнего вечера ломаем себе головы и не можем взять в толк, что это такое – комфортабельней? А ведь Клара была в пансионе в Вилье-ле-Бель и получила бог знает сколько премий по истории и географии... И все равно она поняла не лучше моего, что означает это странное слово. Наверное, его употребляют при дворе или высшем свете... Вы понимаете теперь, в каком мы затруднении? Госпожа герцогиня желает, чтобы павильон был как можно комфортабельней, она подчеркивает это слово, повторяет его дважды, а мы не знаем, что оно означает!

– Слава богу, я могу вам это объяснить, – с улыбкой сказала г-жа Жорж. – Тут нет никакой тайны. В данном случае комфортабельный означает удобный, хорошо обставленный, теплый, без сквозняков, короче, жилье, где есть все необходимое и даже с излишком.

– О господи! Теперь я понимаю, но от этого еще не легче...

– Почему же это?

– Госпожа герцогиня говорит о коврах, всякой мебели и еще о многом прочем, но у нас здесь нет ковров, и мебель у нас самая что ни на есть простая. И наконец, я не знаю, кто этот человек, которого мы должны принять, – мужчина или женщина, а все надо подготовить в завтрашнему вечеру... Что делать? Как быть? Здесь нет никаких запасов. Ей-богу, госпожа Жорж, можно голову потерять!

– Но послушай, мама, если ты возьмешь на время мебель из моей комнаты, я просто проведу три-четыре дня в Букевале у Марии...

– Из твоей комнаты? Дитя мое, но достаточно ли она хороша, твоя мебель, – проговорила г-жа Дюбрей, пожимая плечами. – Достаточно ли она комфортабельна, как говорит госпожа герцогиня. Господи боже мой, и где только придумывают подобные словечки?

– Значит, в этом павильоне обычно никто не живет? – спросила г-жа Жорж.

– Никто. Это маленький белый домик, он стоит отдельно в самом дальнем конце сада. Господин принц построил его для госпожи герцогини, когда она еще была девицей; когда она приезжала на ферму вместе с отцом, она там отдыхала. В доме три хорошенькие комнаты, а в конце сада – швейцарская молочная ферма, где мадемуазель герцогиня забавлялась, разыгрывая из себя работницу. После ее замужества мы видели госпожу герцогиню на ферме всего два раза, и каждый раз она проводила в маленьком павильоне несколько часов. Первый раз, шесть лет назад, она прискакала на лошади вместе с...

Но тут г-жа Дюбрей умолкла, словно ей помешало присутствие Клары и Лилии-Марии. А потом продолжала:

– Я тут болтаю, болтаю, но как мне со всем этим справиться? Помогите мне, моя дорогая госпожа Жорж, помогите мне!

– Послушайте, расскажите лучше, какая мебель сейчас в павильоне?

– Да ее почти нет. В главной комнате – соломенный матрас на деревянной раме, плетеный тростниковый диванчик-канapé, такие же плетеные кресла, стол, несколько стульев, и все. Как видите, назвать это комфортабельным трудновато.

– Так вот, на вашем месте я бы сделала вот что: я бы послала в Париж сообразительного человека, ведь сейчас только одиннадцать часов!

– Нашего доверенного, самого бойкого слугу!

– Чудесно... Через два часа он будет в Париже. Он отправится к обойщику на улице Антен, не важно какому, и передаст ему список, который я составлю, но прежде мне надо взглянуть, чего не хватает в павильоне. И он ему скажет, чтобы любой ценой...

– Конечно, конечно, лишь бы госпожа герцогиня была довольна, я за ценой не постою.

– Так вот, он ему скажет, что, сколько бы это ни стоило, все обозначенное в списке должно быть здесь сегодня вечером или ночью, вместе с тремя-четырьмя мастерами-обойщиками, чтобы все привести в порядок.

– Они смогут приехать с почтовой каретой, она отправляется из Парижа в восемь часов вечера.

– А поскольку в павильоне надо только расставить мебель, прибить ковры и повесить занавеси, они легко успеют это сделать до завтрашнего вечера.

– О моя дорогая госпожа Жорж, вы меня просто спасаете! Я бы никогда до этого не додумалась... Вам послало мне само провидение... Вы составите мне список, чтобы павильон стал, как его...

– Комфортабельным? Разумеется, составлю.

– Господи, вот еще одно затруднение! Я уже сказала, мы не знаем, кого ждать, господина или даму? В своем письме госпожа герцогиня говорит: человек... Но это так неопределенно!

– Приготовьтесь так, как если бы вы ожидали даму, если же это окажется мужчина, ему будет только приятнее и удобней, дорогая госпожа Дюбрей.

– Вы правы, вы всегда правы...

Появилась служанка фермы и объявила, что завтрак подан.

– Мы сейчас придем, – сказала г-жа Жорж, – но, пока я составлю список всего необходимого, прикажите измерить все три комнаты в павильоне в высоту и по стенам, чтобы можно было заранее раскроить занавеси и подобрать ковры.

– Хорошо, хорошо, я прикажу нашему доверенному.

– Сударыня, – снова вмешалась служанка. – Там еще эта молочница из Стэна, и все ее добро на тележке, запряженной осликом. Ей-богу, не много у нее добра!

– Бедная женщина, – с сочувствием сказала г-жа Дюбрей.

– Кто она, эта бедная женщина? – спросила г-жа Жорж.

– Крестьянка из Стэна. У нее было четыре коровы, и кое-как перебивалась: продавала По утрам молоко в Париже. Муж ее был деревенским кузнецом; однажды ему понадобилось железо и он пошел в Париж со своей женой. Они договорились встретиться на углу той улицы, где она обычно продавала молоко. На свою беду, молочница выбрала дурной квартал; когда муж вернулся, она отбивалась от каких-то пьяных прощелыг, которые опрокинули ее бидоны в канаву. Кузнец хотел их урезонить, они набросились на него. Он стал защищаться и в драке получил смертельный удар ножом... Там он и остался.

– Господи, какой ужас! – воскликнула г-жа Жорж. – Надеюсь, убийцу арестовали?

– К сожалению, нет. В суматохе он скрылся, но бедная вдова утверждает, что сможет его опознать, потому что видела много раз вместе с его приятелями, завсегдатаями квартала. Однако до сих пор все поиски оставались тщетными. Короче, после смерти мужа молочнице пришлось расплачиваться с разными долгами. Она продала своих коров и свой клочок земли. Фермер из Стэна порекомендовал мне эту славную женщину как прекрасную работницу, столь же честную, сколь несчастную, потому что у нее трое детей... старшему только двенадцать лет. У меня как

раз освободилось место доярки, я ей предложила, вот она и прибыла к нам на ферму.

– Такая ваша доброта меня не удивляет, дорогая госпожа Дюбрей.

– Послушай, Клара! – обратилась хозяйка фермы к своей дочери. – Помоги этой славной женщине устроиться, а я пока переговорю с нашим ловким доверенным о его поездке в Париж.

– Хорошо, мама. Марии можно пойти со мной?

– Ну конечно... Разве вы можете хоть минуту обойтись друг без друга?

И г-жа Дюбрей рассмеялась.

– А я займусь списком, чтобы не терять времени, – сказала г-жа Жорж, присаживаясь к столу. – Потому что нам нужно вернуться в Букеваль к четырем часам.

– К четырем? Вы так торопитесь? – удивилась г-жа Дюбрей.

– Да, потому, что в пять часов Мария должна быть в доме священника.

– О, если речь идет о нашем добром кюре Лапорте, это дело святое, – сказала г-жа Дюбрей. – Я распоряджусь, чтобы все было в порядке. А пока пусть девочки наговорятся! Им, наверное, столько нужно сказать друг другу... Пусть поболтают:

– Значит, мы уедем в три часа?

– Да, решено. Но как же я вам благодарна, дорогая госпожа Жорж! Какая добрая мысль мне пришла – обратиться к вам за помощью! – проговорила г-жа Дюбрей, Пойдемте, девочки, Клара, Мария, пойдем!

Госпожа Жорж принялась составлять список, а г-жа Дюбрей вышла из комнаты вместе с двумя девушками и служанкой, известившей ее о прибытии молочницы из Стэна.

– Где эта несчастная женщина? – спросила Клара.

– Она со своими детишками, с повозкой и осликом на дворе у амбаров, мадемуазель.

– Ты сейчас увидишь эту бедную женщину, Мария, – сказала Клара, беря Певунью за руку. – Она такая бледная, такая печальная в своем Вдовьем трауре. В последний раз, когда она приходила к маме, она меня очень расстроила: плакала горячими слезами, вспоминая покойного мужа, и вдруг слезы ее просыхали и она так проклинала его убийцу!.. Мне... мне становилось страшно, сколько в ней было злобы... Но ее можно понять. Бедняжка! Сколько же на свете несчастных людей, не правда ли, Мария?

– Да, да, вы правы, к сожалению, очень много, – рассеянно ответила Певунья, тяжело вздыхая. – Очень много несчастных людей, мадемуазель...

– Ты оцять за свое! – вскричала Клара, сердито топнув ногой. – Опять ты говоришь мне «вы» и называешь «мадемуазель»! За что ты меня так не любишь, Мария?

– Я? О господи!

– Тогда почему ты говоришь мне «вы»? Я знаю, мадам Жорж и моя мать уже бранили тебя за это. И предупреждаю, если еще раз скажешь мне «мадемуазель», я пожалуюсь и тебе еще влетит! Тем хуже для тебя.

– Клара, прости, я задумалась...

– Задумалась! После целой недели разлуки... – печально сказала Клара. – Задумалась, о чем? Уж и так нехорошо, но дело не в этом. Знаешь, Мария, наверное, ты просто гордячка.

Лилия-Мария побледнела как смерть и ничего не ответила.

Перед ней очутилась маленькая женщина во вдовьем трауре и при виде ее дико закричала от ярости и ужаса.

Это была та самая молочница, которая каждое утро продавала Певунье молоко, когда та жила у Людоедки в кабаке «Белый кролик».

Глава XI МОЛОЧНИЦА

Сцена, о которой сейчас будет рассказано, произошла на одном из дворов фермы в присутствии работников и служанок, собравшихся к обеду.

Под навесом стояла маленькая, запряженная ослом повозка, где уместилась вся бедная, деревенская утварь вдовы; двенадцатилетний мальчик и два его младших братишки уже начали ее

сгружать.

Молочница была женщина в глубоком трауре, около сорока лет, с грубым, мужественным и решительным лицом; глаза ее покраснели от непрорыхающих слез. Увидев Лилию-Марию, она сначала дико вскрикнула от ужаса, но тут же боль, негодование и гнев исказили ее черты. Она бросилась к Певунье, грубо схватила ее за руку и закричала, обращаясь к работникам фермы:

– Вот эта злодейка! Она знает убийцу моего несчастного мужа!.. Я сто раз видела, как она говорила с этим разбойником, когда я продавала молоко на углу Старосуконной улицы. Она покупала у меня молоко каждое утро, она должна знать, кто нанес предательский, подлый удар, она такая же, из одной шайки с этими бандитами... О, теперь ты от меня не уйдешь, подлая тварь! – кричала молочница, подогревая себя злобными подозрениями.

Ошеломленная, дрожащая Певунья хотела бежать, но молочница схватила ее на другую руку.

Клара была потрясена этим внезапным нападением; сначала она не могла произнести ни слова, но при этом новом наскоке она воскликнула, обращаясь к вдове:

– Вы с ума сошли! Горе помутило ваш разум, вы ошибаетесь...

– Я ошибаюсь? – переспросила вдова с горькой усмешкой. – Я ошибаюсь? О нет, я вовсе не ошибаюсь. Смотрите, как она побледнела, несчастная! У нее уже зуб на зуб не попадает... Судья заставит тебя говорить; ты пойдешь со мной к господину мэру, ты слышишь? И не пробуй даже сопротивляться, у меня рука цепкая, я тебя сама потащу!

– Да как вам не стыдно! – вскричала Клара, теряя терпение. – Убирайтесь отсюда! Как вы смеете оскорблять мою подругу, мою сестренку!

– Вашу сестренку? Да полно, мадемуазель, это вы тут спятили, – грубо ответила вдова. – Ваша сестренка, ха! Уличная девка! Полгода я видела, как она таскается по кварталу Сите.

При этих словах работники начали перешептываться, бросая подозрительные взгляды на Лилию-Марию; они приняли сторону молочницы, которая была для них своей, крестьянской, и явно сочувствовали ее несчастью.

Трое ребятишек, услышав громкий голос матери, подбежали и с ревом повисли на ее юбке, не понимая толком, что происходит. Вид этих несчастных малышей, тоже одетых в траур, еще больше привлек крестьян на сторону вдовы и удвоил их негодование против Певуньи.

Перепуганная их угрожающими возгласами, Клара взволнованно сказала работникам фермы:

– Уведите отсюда эту женщину! Говорю вам: горе помутило ее разум. Прости меня, Мария, прости! Господи, эта сумасшедшая сама не знает, что говорит...

Смертельно бледная, сраженная, Певунья стояла, опустив голову, чтобы ни с кем не встретиться взглядом, и не делала ни малейшей попытки вырваться из грубых рук коренастой молочницы.

Клара подумала, что ее сестренку испугала эта дикая сцена, и снова закричала работникам:

– Разве вы не слышали? Я приказала прогнать эту женщину! А раз она так упорствует и оскорбляет нас, в наказание она не получит места, которое ей обещала моя мать. В жизни ноги ее не будет на нашей ферме!

Никто из работников даже не двинулся, чтобы выполнить ее приказ. А один осмелился сказать:

– Прошу прощенья, мадемуазель, если это уличная девка и она знает убийцу мужа этой бедной женщины, надо, чтобы она пошла к мэру и все рассказала...

– Повторяю, – твердо сказала Клара, – вы никогда не поступите на нашу ферму, если немедленно не попросите прощенья у мадемуазель Марии за свои грубые слова.

– Вы меня прогоняете, мадемуазель? Тем лучше! – с горечью ответила вдова. – Пойдемте, бедные сиротки, – добавила она, обнимая своих детей. – Грузите снова все на тележку, мы заработаем себе на хлеб в другом месте, господь сжалятся над нами. Но мы уведем с собой эту несчастную к господину мэру, и она выдаст убийцу моего мужа... потому что она знает всю эту шайку!.. А вы, мадемуазель, – продолжала она, с вызовом глядя на Клару, – если вы так богаты и даже если у вас такие приятельницы, не след быть такой жестокой к бедным людям!

– Правда, – сказал один из крестьян. – Молочница права...

– Бедная женщина!

– Несправедливо это...

– Убили ее мужа, что же ей, радоваться?

– Никто не запретит ей сделать все, чтобы отыскать убийцу!

– И отсылать ее тоже несправедливо.

– Чем она виновата, что подруга мадемуазель Клары оказалась уличной девкой?

– Как можно прогнать честную женщину, мать троих детей, из-за какой-то несчастной дрянни?

Голоса раздавались все более громко и угрожающе, когда Клара воскликнула:

– Мама, наконец-то! Слава богу!

И действительно, г-жа Дюбрей появилась на дворе на обратном пути из садового павильона.

– О, Клара! Мария! Вы идете обедать? – спросила хозяйка фермы, приближаясь к группе крестьян. – Пойдемте, девочки, уже поздно.

– Мамочка! – воскликнула Клара. – Оградите мою сестру от оскорблений этой женщины. – Она показала на вдову. – Пожалуйста, отошлите ее! Если бы вы слышали, какие дерзости она осмелилась говорить нашей Марии...

– Как? Она осмелилась?..

– Да, мамочка. Посмотрите на мою бедную сестренку: она вся дрожит и еле держится на ногах... Какой стыд, что подобная сцена могла разыграться у нас на ферме! Прости нас, Мария, умоляю...

– Но что это все означает? – спросила г-жа Дюбрей, с беспокойством оглядываясь вокруг: особенно ее встревожил удрученный вид Певунии.

– Хозяйка рассудит по справедливости... по справедливости, – глухо забормотали крестьяне.

– Вот госпожа Дюбрей, – сказала молочница, обращаясь к Лилии-Марии. – И она выставит за порог не меня, а тебя!

– Значит, это правда? – воскликнула г-жа Дюбрей, глядя на молочницу, которая по-прежнему держала Марию за руку. – Значит, вы действительно осмеливаетесь так говорить с другой моей дочери? И это ваша благодарность за мою доброту? Извольте отпустить эту девушку!

– Я уважаю вас, сударыня, и благодарна вам за ваши милости, – сказала вдова, выпуская руку Лилии-Марии. – Но прежде чем обвинять меня и прогонять вместе с моими детьми, порасспросите эту несчастную. У нее, наверное, не хватит духу отрицать, что я ее знаю и она меня знает.

– Господи, Мария, ты слышишь, что говорит эта женщина? – спросила потрясенная г-жа Дюбрей.

– Тебя зовут Певунья, да или нет? – спросила молочница.

– Да, – ответила бедняжка, не поднимая глаз, чтобы не встретиться взглядом с г-жой Дюбрей. – Да, так меня звали.

– Ага! Вы видите! – злобно закричали крестьяне. – Она призналась, призналась!

– Призналась, но в чем? В чем она призналась? – в ужасе вскричала г-жа Дюбрей. – В том, что она знала убийцу?

– Эти твари только с такими и знают, – ответила вдова.

Сбитая с толку этим внезапным открытием, которое подтвердили слова Лилии-Марии, г-жа Дюбрей вдруг все поняла и отшатнулась с ужасом и отвращением. Она резко и грубо отдернула к себе Клару, которая пыталась утешить Певунью, и воскликнула:

– Какой ужас! Клара, не подходи к ней, не прикасайся к этой несчастной!.. Но как госпожа Жорж могла принять ее у себя? Как она осмелилась представить ее мне, чтобы моя дочь... О, господи боже мой, как это ужасно! Я не в силах поверить... Нет, нет, госпожа Жорж не способна на такую низость! Ее, наверное, обманули, как всех нас... Иначе это было бы просто гнусно с ее

стороны!

Огорченная и перепуганная этой жестокой сценой, Клара не верила своим глазам и ушам. В своем невинном неведении она не понимала страшных обвинений, которые сыпались на ее подругу; сердце ее разрывалось и глаза заволакивали слезы при виде оцепеневшей Певуньи, которая стояла молча, понутив голову, как преступница перед судьями.

– Пойдем, пойдем, моя девочка! – позвала г-жа Дюбрей Клару и, обратившись в Лилии-Марии, добавила: – А тебя, недостойную, господь бог накажет за подлое лицемерие. Да как ты осмелилась допустить, чтобы моя дочь, этот ангел, называла тебя своей подругой, сестренкой? Подруга, сестренка! Ты распоследнее отребье, какое только есть на свете! Что за бесстыдство! Втереться к честным людям, когда твое место наверняка в тюрьме, среди тебе подобных...

– Да, да! – закричали крестьяне. – В тюрьму ее! Она знает убийцу!

– Может, она его сообщница?

– Видишь, есть бог на свете! – крикнула вдова, грозя Певунье кулаком.

– А что до вас, добрая женщина, – сказала г-жа Дюбрей, обращаясь к молочнице, – то никто вас не прогонит с фермы, и, наоборот, вам зачтется за то, что вы разоблачили эту негодяйку.

– Слава богу! Наша хозяйка справедлива... Она все знает, – переговаривались между собой крестьяне.

– Пойдем, Клара, – сказала хозяйка фермы. – Госпожа Жорж объяснит нам свое поведение, иначе я ее больше в жизни не увижу. Ибо если она сама не была обманута, она поступила с нами ужасно.

– Но, мама, посмотри на бедную Марию!

– Пусть умрет от стыда, если может, так будет даже лучше! Она достойна только презрения... Я не хочу, чтобы ты оставалась рядом с ней ни минуты. Это одно из тех существ, с которыми юная девушка, чистая, как ты, не должна даже говорить, чтобы не запачкаться.

– Боже мой, боже мой, мама! – взмолилась Клара, упираясь. – Я не знаю, что все это значит... Может быть, Мария виновата, раз вы так говорите, но смотрите, она сейчас потеряет сознание, хотя бы сжальтесь над нею.

– Ах, мадемуазель Клара, вы так добры, вы меня прощаете, – сказала Лилия-Мария, бросив на свою защитницу взгляд, исполненный бесконечной благодарности. – Если я вас и обманула, то, верьте мне, это случилось не по моей воле. Я так об этом жалею...

– Мама, мама, неужели в тебе нет жалости? – воскликнула Клара душераздирающим голосом.

– Жалости, к ней? Не говори глупостей. Если бы не госпожа Жорж, которая избавит нас от нее, я бы выбросила эту негодницу за ворота фермы как зачумленную, – жестко ответила г-жа Дюбрей.

И она увлекла за собой свою дочь, которая в последний раз обернулась к Певунье и крикнула:

– Мария, сестра моя! Я не знаю, в чем тебя обвиняют, но верю, что ты невиновна, и люблю тебя, как прежде!

– Молчи, молчи, – зашипела г-жа Дюбрей, зажимая рот дочери. – Молчи, прошу тебя! К счастью, все видели, что после этого ужасного разоблачения ты не осталась и на миг с этой падшей девицей. Вы все видели, друзья мои?

– Да, да, сударыня! – подтвердил один из крестьян. – Мы свидетели, что она не осталась с этой девчонкой! А она ведь наверняка воровка, потому что водилась с убийцами.

Госпожа Дюбрей увлекла за собой Клару.

Певунья осталась одна среди разъяренных крестьян, окруживших ее плотным кольцом.

Несмотря на упреки, которыми осыпала ее г-жа Дюбрей, присутствие ее и Клары немного успокоило Лилию-Марию: она уже не боялась рокового исхода. Но когда эти две женщины ушли и она осталась одна в толпе крестьян, силы покинули ее, и она была вынуждена опереться о край глубокой каменной бадьи, в которой поили лошадей.

Ничего не могло быть трогательнее беспомощной позы несчастной девушки!

Ничего не могло быть бесчеловечнее угроз и злобы окруживших ее крестьян!

Певунья стояла, прислонившись к каменной бадье, пряча лицо в ладонях; на голове у нее была маленькая круглая шапочка; красный ситцевый платок окутывал ее шею и прикрывал грудь; она была воплощением горя и отрешенности.

В двух шагах от нее молочница-вдова, торжествующая, но все еще озлобленная против Лилии-Марии из-за суровых слов г-жи Дюбрей, с презрением и ненавистью тыкала пальцем в сторону несчастной девушки, показывая ее своим детям и крестьянам.

Работники фермы подходили к Певунье все ближе, не скрывая своих враждебных чувств: на их грубых, простых лицах выражалось одновременно возмущение, гнев и какая-то особая издевка, оскорбительная и тупая, и больше всех ярились и возмущались женщины, чему немало способствовала трогательная красота Певуньи.

Работники и работницы фермы не могли простить Лилии-Марии, что их хозяева до сих пор принимали ее как равную.

А кроме того, кое-кого из крестьян Арнувиля не взяли на ферму Букеваль – завидное местечко! – из-за отсутствия хороших рекомендаций, и они затаили против г-жи Жорж злобу, которую готовы были выместить сейчас на ее воспитаннице.

Первые порывы простых душ всегда ведут к крайностям.

Они либо прекрасны, либо отвратительны.

Но они становятся необычайно опасными, когда толпа уверена, что ее зверства оправданы действительной или мнимой виной того, кого она преследует, обуянная злобой и жадой мести.

Хотя большинство работников этой фермы ни в чем не могли упрекнуть Лилию-Марию и ничто не оправдывало их озлобленности, само присутствие здесь Певуньи, казалось, осквернило их деревенскую чистоту: они прямо тряслись от одной мысли, к какому низкому разряду принадлежала эта несчастная, которая наверняка была знакома с убийцами. Чего еще нужно было, чтобы разжечь глухую злобу крестьян, к тому же подогретую примером г-жи Дюбрей?

Кто-то крикнул:

– Отведите ее к мэру!

– Да, отведем! А не захочет идти – потащим!

– И она еще смеет одеваться как честные деревенские девушки! – добавила одна из самых последних дурнушек на ферме.

– Еще бы! – подхватила другая уродка. – А с виду такая святая недотрога, что господь бог простил бы ее без исповеди.

– И она еще смела ходить с нами в церковь!

– Нечестивая!.. А не окрестить ли ее тут же, на месте?

– И еще старалась втереться к нашим хозяевам!

– К счастью, правда всегда выплывает наружу!

– Хватит! Пусть она признается и выдаст убийцу! – крикнула вдова. – Ты из одной с ними шайки. Мне кажется, я тебя даже видела вместе с ними в тот день. Довольно, поздно распускать нюни, – когда тебя уличили. Покажи-ка нам свое личико, оно такое смазливое!

И вдова грубо отдернула руки Певуньи, которыми та закрывала свое залитое слезами лицо.

Певунья сначала сгорала от стыда, но теперь она начала дрожать от страха перед толпой этих озверевших людей. Она сложила руки на груди и, глядя на молочницу умоляющими, испуганными глазами, проговорила своим тихим, нежным голоском:

– Боже мой, сударыня, я уже два месяца живу уединенно на ферме Букеваль, а потому никак не могла быть свидетельницей постигшего вас несчастья...

Робкий голос Лилии-Марии заглушили злобные выкрики:

– Отведем ее к мэру, пусть там объясняется!

– Пошли вперед, красотка!

И угрожающая толпа вплотную обступила Певунью. Инстинктивно скрестив перед собою руки, та в отчаянии озиралась по сторонам в надежде на помощь.

– Зря ты надеешься! – продолжала молочница. – Нечего смотреть, мадемуазель Клары нет и никто за тебя не заступится, ты от нас не сбежишь.

– Увы, я и не думаю бежать, – ответила Лилия-Мария дрожащим голосом. – Я готова отве-

тить на все вопросы, если это сможет вам помочь... Но что я плохого сделала всем этим людям, которые теснят меня и угрожают?..

– Что ты нам сделала? А то, что сидела за одним столом с нашими хозяевами, когда нас туда не звали, хотя мы в тысячу раз честнее и лучше тебя... Вот что ты нам сделала!

– А зачем ты хотела, чтобы эту бедную вдову с ее детишками прогнали отсюда? – спросил кто-то.

– Это не я, это мадемуазель Клара хотела...

– Перестань нам морочить голову! – оборвал ее тот же крестьянин. – Ты не только не заступилась за нее, ты была рада, что ее хотят лишиться куска хлеба.

– Да, да, она не вступилась за вдову!

– Такая бессердечная!

– Бедная вдова, мать троих детей...

– Я не могла за нее заступиться, потому что не в силах была произнести ни слова, – оправдывалась Лилия-Мария.

– А с убийцами тебе хватило сил говорить?

Как бывает всегда в возбужденной толпе, эти крестьяне, скорее неразумные, чем жестокие, сами себя озлобляли и распаляли надуманными обидами, опьяняясь собственным гневом, угрозами и оскорблениями, которые они бросали в лицо беззащитной девушке.

Так разнузданная толпа доходит порой до предела и, сама того не желая, совершает самые жестокие и несправедливые поступки.

Круг обозленных крестьян смыкался вокруг Лилии-Марии; вдова кузнеца уже не владела собой.

От глубокого водопоя Певунью отделял только каменный парапет, на который она опиралась. Боясь, что ее опрокинут в воду, Певунья воскликнула, умоляюще протягивая руки:

– Боже мой, чего вы хотите от меня? Умоляю, сжальтесь!

Молочница подскочила к ней, размахивая кулаками перед самым ее лицом. Лилия-Мария невольно отшатнулась и воскликнула:

– Прошу вас, не толкните меня! Я могу упасть в воду...

Последние слова Лилии-Марии подали этим грубым людям жестокую мысль. Почему бы не сыграть с этой городской девкой одну из тех деревенских шуточек, от которых порой волосы встают дыбом? И тогда один из самых обозленных закричал:

– Окунем ее! Искупаем!

– Давай! Окунем! В воду ее! – подхватили остальные с хохотом, громко хлопая в ладоши.

– Пусть напьется водицы!.. От этого она не умрет.

– Будет знать, как обманывать честных людей!

– В воду ее, в воду!

– Кстати и лед сегодня уже раскололи.

– Эта уличная девка надолго запомнит добрых работников фермы Арнувиль!

Услышав эти бесчеловечные выкрики, эти варварские насмешки и видя, как на нее надвигаются тупые, разъяренные лица, как тянутся к ней корявые руки, Певунья подумала, что пришла ее смерть.

Мгновенный страх уступил место горькому удовлетворению: будущее рисовалось ей в таких черных красках, что сейчас она возблагодарила бога за скорое избавление от всех ее страданий. Она не произнесла больше ни слова, не стала умолять о пощаде, а только упала на колени, молитвенно скрестила руки на груди, закрыла глаза и стала ждать, шепча про себя молитву.

Крестьяне, пораженные ее отрешенным видом и покорным молчанием, на миг заколебались, но женская половина толпы продолжала науськивать их яростными воплями, чтобы они решились довести до конца жестокую расправу.

Двое самых рьяных и озлобленных уже протягивали к Лилии-Марии свои руки, когда вдруг раздался громкий и властный голос:

– Остановитесь! Назад!

В то же мгновение г-жа Жорж, проложив себе путь сквозь разъяренную толпу, очутилась

рядом с Певуньей, по-прежнему стоявшей на коленях, схватила ее за руку, подняла и воскликнула:

– Встань, дитя мое! Встань, моя дорогая дочь! Преклонять колени следует только перед господом богом.

Слова и поведение г-жи Жорж были исполнены такого мужества и решимости, что толпа отступила и умолкла.

Обычно бледное лицо г-жи Жорж пылало от негодования. Она сурово оглядела крестьян и сказала громким, угрожающим голосом:

– Несчастные! У вас нет ни стыда ни совести! Как смели вы угрожать этой бедной девочке?

– Да ведь она...

– Это моя дочь! – воскликнула г-жа Жорж, перебивая крестьян. – Господин аббат Лапорт, которого все знают и благословляют, любит ее и заботится о ней, а если он уважает ее, значит, она достойна уважения.

Эти простые слова произвели большое впечатление на крестьян.

Кюре из Букеваль считали в округе святым человеком; к тому же многие крестьяне знали, что он заботится о Певунье. Тем не менее в толпе снова послышался глухой ропот, значение которого г-жа Жорж тотчас поняла и воскликнула:

– Да будь эта бедная девочка самой последней, самой отверженной из всех созданий, все равно ваше поведение отвратительно! За что вы хотите ее покарать? И по какому праву? Кто дал вам такую власть? Право сильного? Вы, мужчины, набросились на беззащитную слабую девушку... Какая трусость! Какой позор! Пойдем, Мария, пойдем, любимое дитя мое, вернемся к себе... Там нас, по крайней мере, знают и ценят.

Г-жа Жорж взяла Лилию-Марию за руку; смущенные и пристыженные за свое грубое поведение крестьяне почтительно расступились.

Одна вдова выступила вперед и сказала решительно г-же Жорж:

– Эта девка не уйдет отсюда, пока не даст показаний мэру об убийце моего несчастного мужа!

– Любезная, – проговорила г-жа Жорж, еле сдерживаясь, – моя дочь не обязана давать здесь никаких показаний. Если позднее правосудие сочтёт нужным выслушать ее свидетельство, ее вызовут, и я пойду вместе с нею... А пока никто не имеет права ее допрашивать.

– Но, сударыня, говорю вам...

Г-жа Жорж сурово оборвала молочницу:

– Даже горе не может извинить вашего недостойного поведения! Когда-нибудь вы пожалеете о всех оскорблениях, которые нанесли моей дочери. Мадемуазель Мария живет вместе со мной на ферме Букеваль, известите об этом судью, которому подали ваше первое заявление, мы будем ждать его распоряжений.

Вдове нечего было ответить на эти разумные слова. Она села на край водопоя и горько заплакала, обнимая своих ребятишек.

Через несколько минут после этой тягостной сцены Пьер подал кабриолет и г-жа Жорж с Лилией-Марией сели в него, чтобы вернуться в Букеваль.

Когда они проезжали мимо господского дома Арнувиля, Певунья заметила Клару: она плакала, прячась за полуприкрытой ставней, и на прощание помахала Лилии-Марии платком.

Глава XII УТЕШЕНИЯ

– Ах, мама, мама! Как мне стыдно! – жаловалась Лилия-Мария своей приемной матери в маленькой гостинной фермы Букеваль. – Какое это горе для вас! Теперь вы наверняка навсегда поссорились с госпожой Дюбрей, и все из-за меня. Не зря у меня были дурные предчувствия... Бог наказал меня за то, что я обманула госпожу Дюбрей и ее дочь... Я стала причиной раздора между вами и вашей подругой.

– Подругой?.. Она женщина превосходная, милое дитя, но головка у нее слабенькая. По

счастью, у нее доброе сердце, и завтра, я уверена, она пожалеет о своем сегодняшнем глупом поведении.

– Сударыня, не думайте, что я хочу Оправдать ее, обвиняя вас. Господи, вовсе нет! Но ваша доброта ко мне, наверное, ослепляет вас. Поставьте себя на место госпожи Дюбрей! Узнать вдруг, что подруга ее невинной дочери была... скажите, кем я была? Можно ли порицать ее за благородное материнское негодование?

Госпожа Жорж, к сожалению, не нашлась, что ответить на этот вопрос Лилии-Марии, и та с волнением продолжала:

– Об этом унижении, которому я подверглась сегодня на глазах у всех в Арнувиле, завтра будет знать вся округа. Я не за себя боюсь, но репутация Клары может быть запятнана навсегда... потому что она называла меня своей подругой, своей сестренкой. Я должна была послушаться первого побуждения, воспротивиться желанию приблизиться к доброй госпоже Дюбрей, отказаться от дружбы, которую она мне предлагала, даже рискуя вызвать ее неприязнь и недовольство... Как видите, я за это наказана, о, как жестоко наказана! И не зря, ибо я, наверное, причинила непоправимый вред этой юной девушке, такой целомудренной и такой доброй.

– Дитя мое, ты не права, – сказала г-жа Жорж, немного подумав. – Зря ты себя так горько упрекаешь. Прошрое твоё печально, да, очень печально. Но разве ты своим раскаянием не заслужила благоволения нашего доброго кюре? Не по его ли желанию и не по моему ли тебя представили госпоже Дюбрей? Разве не твои достоинства внушили ей привязанность и любовь, которую она сама тебе выказывала? Не сама ли она просила тебя называть Клару своей сестрой? И наконец, как я ей только что сказала, – ибо я не могла и не должна была ничего от нее скрывать, – могла ли я, уверенная в твоём искреннем раскаянии, рассказывать всем о твоём прошлом, зная, что это помешает твоему будущему, может быть, погубит его навсегда и заставит тебя отчаяться, если на тебя обрушится презрение таких же несчастных и отверженных людей, какой была ты, но не сохранивших, как ты, глубокого чувства порядочности и добродетели? Разоблачение этой молочницы очень неприятно, хуже не придумаешь. Но могла ли я заранее пожертвовать спокойствием твоей души в предвидении столь маловероятной случайности?

– Ах, сударыня, это только доказывает, что мое положение навсегда останется ложным и несчастным, что если вы были правы, скрывая мое прошлое из любви ко мне, то мать Клары не менее права, презирая меня за это прошлое, как отныне меня будут презирать все на свете, ибо все узнают о том, что случилось на ферме Арнувиль, узнают все обо мне... О, я умру от стыда... Я никому не смогу посмотреть в глаза!

– Даже мне? Бедное дитя! – воскликнула г-жа Жорж, разражаясь слезами и прижимая к себе Лилию-Марию. – Но ведь в моем сердце ты найдешь только нежность и материнскую преданность... Поэтому ничего не бойся, Мария! Ты раскаялась, и это поможет тебе. Здесь ты среди друзей, и этот дом – твой дом. Мы предупредим все разоблачения, которых ты так боишься: наш добрый аббат соберет всех работников фермы – они любят тебя – и откроет им истину о твоём прошлом... Верь мне, дитя мое, его слово имеет такую власть, что это сообщение сделает тебя еще привлекательнее в их глазах.

– Я верю вам, сударыня, и доверяюсь во всем. Вчера во время нашей беседы господин кюре предсказал, что меня ждут жестокие испытания; они начались, и я этому не удивляюсь. Он еще сказал, что страдания мои когда-нибудь мне зачтутся... Я надеюсь... Вы и господин кюре поддерживаете меня в моих испытаниях, и я не стану больше жаловаться.

– К тому же ты скоро увидишь, что его советы никогда еще не были столь спасительны для тебя. Сейчас уже половина пятого, скоро тебе надо будет отправиться в дом священника, ты готова, дитя мое? А я напишу господину Родольфу обо всем, что случилось на ферме Арнувиль. Ему срочно доставят мое письмо... А потом я приду к вам в дом нашего доброго аббата... потому что нам нужно незамедлительно переговорить втроем.

Вскоре Певунья уже выходила с фермы, направляясь к дому священника по тропинке, пересекавшей овражную дорогу в том самом месте, где Грамотей и Хромуля накануне сговорились захватить ее врасплох.

Глава XIII РАЗМЫШЛЕНИЯ

.....

Как мы уже знаем из беседы с г-жой Жорж и священником Букеваля, Лилия-Мария всей душой приняла советы своих благодетелей и так глубоко ими прониклась, что теперь даже редкие воспоминания о ее позорном прошлом приводили ее в отчаяние.

В довершение несчастья разум ее развился так же быстро, как расцветали добрые чувства в ее душе в той атмосфере порядочности и чистоты, в которой она очутилась.

Не обладай она таким острым умом, такой утонченной чувствительностью и таким живым воображением, Лилия-Мария давно бы утешилась и успокоилась.

Она бы раскаялась, почтенный священник простил бы ее, и она бы забыла все ужасы своего прошлого на улицах Сите среди прелестей деревенской жизни, которую разделяла с г-жой Жорж. И наконец, она без колебаний приняла бы дружбу г-жи Дюбрей, и вовсе не потому, что не понимала тяжести совершенных ею проступков, а из слепого доверия к словам тех, чье превосходство она признавала.

Они говорили ей: «Теперь твое доброе поведение делает тебя такой же, как все честные люди».

И она бы могла поверить, что ничем не отличается от честных людей.

Ужасная сцена на ферме Арнувиля могла тяжело ее ранить, но она, так сказать, предвосхитила, предвидела эту сцену, проливая горькие слезы и терзаясь раскаяниями при виде спящей Клары, такой невинной и чистой, которая разделяла комнату с бывшей пленницей Людоедки.

Несчастливая девочка!.. В безмолвии долгих бессонных ночей она упрекала себя еще горше, обвиняя себя во сто раз беспощаднее, чем работники фермы в тот день.

Лилию-Марию медленно убивали угрызения совести, суровая оценка всех ее поступков, а главное, она постоянно сравнивала свое будущее, которое неумолимо определялось ее прошлым, с тем будущим, о котором она могла только мечтать.

Склонность к анализу, самокритичность и умение сравнивать – непереносимые качества живого, острого разума. Людей бойких и гордых он заставляет во всем сомневаться и восставать против всех.

Людей робких и застенчивых он заставляет сомневаться в себе и восставать против себя.

Мы осуждаем первых, но они сами себя оправдывают.

Мы оправдываем вторых, но они сами себя осуждают.

Кюре Букеваля, несмотря на всю свою святую чистоту, и г-жа Жорж, несмотря на все свои добродетели, а скорее оба они из-за своей чистоты и добродетели не могли даже представить, как страдала Певунья с тех пор, как душа ее, очистившаяся от скверны, познала всю глубину своего падения.

Они не могли знать, что страшные воспоминания Певуньи придавали им почти сверхъестественную силу действительности; они не знали, что эта юная девушка обладает острой чувствительностью и поэтическим воображением, что ее ранимая душа болезненно воспринимает любой намек; они не знали, что эта юная девушка каждый день, каждый час вспоминала с глубоким раскаянием и болью, смешанной с отвращением и ужасом свое постыдное прошлое.

Попробуйте представить себе девочку шестнадцати лет, невинную и чистую и сознающую, что она невинна и чиста, брошенную какой-то дьявольской силой в зловонную харчевню Людоедки и всецело отданную во власть этой ведьмы! Так воспринимала Лилия-Мария свое прошлое, которое определяло ее настоящее и будущее.

И попробуем теперь понять всю глубину ее отвращения к прошлому, невыносимые душевные муки, которые так жестоко терзали Певунью, когда она вспоминала о прошлом и не осмеливалась признаться даже аббату, что хотела бы захлебнуться и утонуть в этом болоте.

Кто умеет размышлять и наделен каким-то жизненным опытом, не воспримет наши слова

как парадокс.

Лилия-Мария была достойна сочувствия и жалости не только потому, что она никогда не любила, но еще потому, что все ее чувства еще не пробудились и были как бы заморожены. Так довольно часто даже у женщин, не столь чувствительных и робких, как Лилия-Мария, целомудренные инстинкты сохраняются еще долго после замужества. Стоит ли удивляться, что эта несчастная девушка, опоенная Людоедкой и брошенная в шестнадцать лет на утеху разнузданной шайке жестоких и диких зверей, населявших Сите, испытала только боль и ужас и вырвалась из этой клоаки, сохранив всю чистоту души?

Наивные признания Клары Дюбрей о ее платонической любви к молодому крестьянину, за которого она собиралась выйти замуж, очень огорчили Лилию-Марию. Она тоже чувствовала, что могла бы полюбить смело и безоглядно, вложив в свою любовь всю преданность, благородство, чистоту и величие, но ей не было отныне дозволено внушить или испытать это прекрасное чувство. Ибо если она полюбит, то лишь такого же возвышенного душой, но, чем достойнее будет выбор, тем недостойнее будет она казаться самой себе.

Глава XIV ОВРАЖНАЯ ДОРОГА

Солнце склонялось к горизонту; поля были пустынными и безмолвными.

Лилия-Мария приближалась по тропинке к овражной дороге, которую ей нужно было пересечь на пути к дому священника, когда вдруг увидела хромого мальчика в серой блузе и синей фуражке. Лицо у него казалось заплаканным, и, заметив Певунью, он сразу бросился к ней.

– Добрая госпожа, пожалейте меня! – воскликнул он, умоляюще складывая руки.

– Что с тобой? Чем я могу помочь тебе, мальчик? – сочувственно спросила Певунья.

– Увы, добрая госпожа! Моя бедная бабушка, такая старенькая, такая старенькая, упала вот там, спускаюсь в овраг. Ей так больно, так больно!.. Наверное она сломала ногу... А я слишком слаб, чтоб поднять ее. Господи, что мне делать, если вы мне не поможете? Бедная бабушка, она наверное умрет...

Тронутая горем маленького уродца, Певунья воскликнула:

– Я тоже не очень сильна, мальчик мой, но может быть, я смогу помочь твоей бабушке! Веди меня к ней скорее. Я живу вон на той ферме. Если бедная старушка не сможет туда дойти, я пришлю за нею.

– Добрая госпожа, да благословит вас бог! Идите сюда, тут всего в двух шагах от дороги... Она упала, спускаясь с откоса, я уже говорил.

– Значит, ты нездешний? – спросила Певунья, следуя за Хромулей, которого вы наверняка уже узнали.

– Нет, добрая госпожа, мы идем из Экуана.

– И куда вы идете?

– К доброму кюре, который живет вон там на холме, – ответил сын Краснорукого, чтобы рассеять последние сомнения Лилии-Марии.

– Неужели к аббату Лапорту?

– Да, моя добрая госпожа, к господину аббату Лапорту. Моя бедная бабушка его знает давно-давно, очень давно.

– Я тоже как раз шла к нему. Какое совпадение! – проговорила Лилия-Мария, спускаясь все ниже по овражной дороге.

– Бабушка! Бабушка! Вот и я! Потерпи немножко, сейчас мы тебе поможем, – закричал Хромуля, чтобы Грамотей и Сычиха приготовились схватить свою жертву.

– Значит, твоя бабушка упала где-то неподалеку?.. – спросила Певунья:

– Да, моя добрая госпожа, вон за тем большим деревом, где дорога поворачивает, всего в двадцати шагах.

Внезапно Хромуля остановился.

В вечерней тишине послышался звонкий галоп приближающегося коня.

«Все пропало», – пробормотал про себя Хромуля.

В нескольких шагах от того места, где находился сын Краснорукого вместе с Певуньей, дорога поворачивала под довольно острым углом.

Из-за этого поворота вынесся всадник и резко остановился, поравнявшись с девушкой.

В тот же миг раздался стук копыт другой лошади, и через несколько секунд из-за поворота рысью выехал слуга, в коричневом рединготе с серебряными пуговицами, в лосинах белой кожи и в сапогах с отворотами. За спиной его был привязан свернутый макинтош хозяина, перетянутый рыжим ремнем.

Сам хозяин, в простом теплом рединготе зеленоватого цвета и в серых брюках, ловко сидел на чистокровном гнедом коне поразительной красоты; несмотря на немалый путь, на его блестящей шелковистой шкуре с золотым отливом не было ни одного пятна пота.

Лошадь грума, остановившаяся в нескольких шагах от своего хозяина, тоже отличалась породой и красотой.

В этом всаднике с загорелым приятным лицом Хромуля узнал виконта де Сем-Реми, которого считали любовником герцогини де Люсене.

– Прелестное дитя! – обратился он к Певунье, пораженный ее красотой. – Ты не укажешь мне дорогу к деревне Арнувиль?

Мария опустила глаза под смелым пристальным взглядом молодого кавалера и ответила:

– За овражной дорогой, сударь, сверните на первую тропу направо, она доведет вас до вишневой аллеи, а та напрямик в Арнувиль.

– Тысяча благодарностей, прелестное дитя... Ты объяснила мне гораздо лучше старухи, которую я нашел в двух шагах отсюда: она лежит там под деревом, и от нее я ничего не услышал, кроме стонов и причитаний.

– Моя бедная бабушка, – жалобно пробормотал Хромуля.

– А теперь еще один вопрос, – продолжал де Сен-Реми, обращаясь к Певунье. – Как мне найти в Арнувиле ферму господина Дюбрей?

Певунья невольно вздрогнула, услышав эти слова, которые напомнили ей о мучительной утренней сцене, и ответила:

– Дома фермы подходят вплотную к аллее, по которой вы поедете, сударь.

– Еще раз спасибо, прелестное дитя! – сказал Сен-Реми и пустил своего коня галопом. Грум последовал за ним.

Приятные черты лица виконта немного разгладились, пока он говорил с Лилией-Марией, но, едва он остался один, лицо его вновь отразило глубокую озабоченность и беспокойство.

Лилия-Мария вспомнила о неизвестном человеке, для которого по приказу г-жи де Люсене спешно приводили в порядок садовый павильон в Арнувиле; несомненно он предназначался для этого юного и прекрасного кавалера.

Звон подков по мерзлой земле еще какое-то время доносился до нее, постепенно угасая в отдалении, и наконец затих.

Вновь воцарилось безмолвие.

Хромуля облегченно вздохнул.

Чтобы успокоить и предупредить своих сообщников, один из которых, Грамотей, успел спрятаться при приближении всадников, сын Краснорукого громко закричал:

– Бабушка! Мы идем! Со мной добрая госпожа, которая тебе поможет!

– Скорее, идем скорее! – заторопила его Певунья. – Из-за этого господина мы потеряли минут пять.

И она ускорила шаг, стараясь побыстрее миновать поворот овражной дороги.

Едва она достигла его, Сычиха, затаившаяся за поворотом, тихо скомандовала:

– Ко мне, мой хитрец!

В тот же миг одноглазая ведьма бросилась на Певунью, обхватила ее одной рукой за шею, а другой зажала ей рот, а Хромуля кинулся ей под ноги и вцепился в них обеими руками, чтобы девушка не смогла сделать и шага.

Все произошло так быстро, что Сычиха не успела разглядеть лицо Певуньи, но пока Гра-

мотей вылезал из канавы, где он прятался, и пока ощупью подходил со своим плащом в руках, кривая старуха узнала свою бывшую пленницу.

– Воровочка, ты? – воскликнула она, не веря себе, но ее изумление тут же сменилось жестокой радостью. – Опять ты мне встретишься! Видно, сам главный палач послал мне тебя! Видно, тебе на роду написано попадаться мне в когти! У меня в фиакре припасен пузырек с серной кислотой, теперь-то попорчу твою смазливую мордашку, потому что меня тошнит от твоего личика святой недотроги... Ко мне, мой силач! Смотри, чтобы она тебя не укусила, держи ее крепче... Сейчас мы ее упакуем!

Грамотей схватил Певунью своими могучими руками, и не успела та даже вскрикнуть, как Сычиха накинула плащ ей на голову и плотно обмотала.

В одно мгновение Певунью связали и заткнули рот, так что она не могла ни пошевелиться, ни позвать на помощь.

– Теперь дело за тобой, душегубчик, – сказала Сычиха. – Неси эту куклу... К счастью, она не тяжелее «чернушки», которую мы отняли у той женщины на канале Сен-Мартен, не правда ли, мой силач? – И, увидев, что слепой бандит содрогнулся при этих словах, вспомнив свой жуткий сон, одноглазая добавила: – Что это с тобой, хитрец? Ты вроде дрожишь? Сегодня с утра у тебя зубы щелкают, как от лихорадки, и ты озираешься то и дело, словно что-то можешь увидеть.

– Толстый увалень!.. Он просто ловит мух! – добавил перца Хромуля.

– Давай поскорее, хитрец! Упакуй получше Воровочку, и в путь! – торопила Сычиха бандита, который подхватил спеленатую Лилию-Марию на руки, как ребенка. – Скорее в карету!

– Но кто меня поведет? – спросил Грамотей глухим голосом, прижимая к могучей груди свою легкую и гибкую ношу.

– Вот старый упрямец! Обо всем подумает, – пробормотала Сычиха.

Она распахнула шаль, размотала красный платок, который окутывал ее худую морщинистую шею, скрутила его в длинный жгут и сказала Грамотею:

– Открой свою пасть и зажми конец этого платка клыками крепче. Хромуля возьмет другой конец в руку и поведет тебя, как на поводке... Доброму слепцу – доброго пса-поводыря. Ко мне, мой песик!

Маленький хромец подпрыгнул на месте, насмешливо и злобно затаивал, затем взялся за скрученный платок и повел за собой Грамотею, в то время как Сычиха поспешила к перекрестку, чтобы предупредить Крючка.

Невозможно описать беспредельный ужас Певуньи, когда она очутилась во власти Сычихи и слепого бандита. Лилия-Мария едва не потеряла сознания и не могла оказать ни малейшего сопротивления.

Несколько минут спустя её погрузили в карету Крючка, хотя уже наступила ночь, шторы экипажа были тщательно задернуты, и трое сообщников со своей полумертвой жертвой покатили к равнине Сен-Дени, где их ждал Том.

Глава XV КЛЕМАНС Д'АРВИЛЬ

Пусть извинит нас читатель за то, что мы покидаем одну из наших героинь в столь трагическом положении, – о том, как все это кончилось, мы расскажем позднее.

Особенности этого многоликого повествования, к сожалению слишком разнообразного в своем богатстве, заставляют нас постоянно переходить от одного персонажа к другому, стараясь по мере сил, чтобы действие развивалось и интерес к нашему произведению не остывал, – если только вообще подобное произведение может вызвать какой-то интерес, ибо оно добросовестно и беспристрастно и вовсе не для легкого чтения.

Мы еще последуем за некоторыми участниками этой драмы на жалкие мансарды, где дрожит от холода и голода нищий люд, покорный и скромный, честный и трудолюбивый.

Последуем в тюрьмы для мужчин и женщин, порой кокетливые и светленькие, а чаще

мрачные и темные, но всегда достаточно вместительные, в эти школы пагубы, пропитанные зловонной атмосферой порока, в которой невинная душа задыхается и хиреет и выходит оттуда почти всегда искалеченной и развращенной.

В эти больницы, где за несчастными бедняками порой ухаживают с такой трогательной заботой, что они потом с сожалением вспоминают об одинокой койке, на которой они тряслись от лихорадки, в ледяном поту.

В эти таинственные притоны, где соблазненная и брошенная девушка рождает свое несчастное дитя и обливает горькими слезами, потому что никогда уже больше его не увидит.

В эти страшные дома, где все виды безумия, гротескного, трогательного, идиотского, отвратительного или жестокого, проявляются в самых ужасающих обликах, начиная от кроткого дурачка, который смеется таким жалким смехом, что хочется плакать, и кончая буйнопомешанным, который рычит как дикий зверь, сотрясая прутья своей клетки.

И еще мы увидим...

Но к чему такой слишком длинный перечень!

Не испугаем ли мы нашего читателя? Он и так уже покорно следовал за нами в самые странные места и сейчас может заколебаться перед новыми странствиями по нелегким, извилистым путям.

Впрочем, будущее покажет.

.....

Напомним, что за день до того, как произошли только что описанные события – похищение Певуньи Сычихой и ее сообщниками, – Родольф спас г-жу д'Арвиль от неминуемой опасности, которую навлекла на нее ревность Сары, – та предупредила господина д'Арвиля, что его жена неосторожно согласилась пойти на свидание к Шарлю Роберу.

Глубоко потрясенный этой сценой, Родольф вышел из дома на улице Тампль и вернулся к себе, решив отложить на – завтра посещение Хохотушки и семьи несчастных ремесленников, о которых мы уже говорили. Он считал, что они на время избавлены от нужды благодаря его деньгам, которые он вручил г-же д'Арвиль, чтобы сделать ее благотворительный визит более правдоподобным в глазах ее мужа. К несчастью, Родольф не подозревал, что Хромуля выхватил у г-жи д'Арвиль его кошелек, но мы-то знаем, как маленький уродец совершил эту дерзкую кражу.

Около четырех часов принц получил следующее письмо.

Его принесла пожилая женщина и сразу удалилась, не дожидаясь ответа.

«Ваше высочество!

Я обязана вам более чем жизнью и хотела бы сегодня же выразить вам мою глубокую признательность. Завтра, может быть, я уже ничего не смогу вам сказать от стыда... Если вы окажете мне честь посетить меня сегодня вечером, вы сможете завершить свой день так же, как его начали, – добрым делом.

Д'Орбиньи-д'Арвиль.

Р. S. Не трудитесь отвечать мне, монсеньор, я буду у себя весь вечер».

Родольф был счастлив оказать г-же д'Арвиль важную услугу, однако его смущала вынужденная интимность, возникшая в связи с этими обстоятельствами между ним и маркизой.

Он не мог предать дружбу с д'Арвилем, но его глубоко поразила душевная тонкость и редкостная красота Клеманс. Поняв, что слишком увлекся ею, Родольф после месяца настойчивых ухаживаний спохватился и решил больше не видеться с маркизой.

Тем более что он не мог без волнения вспоминать о случайно подслушанном разговоре между Томом и Сарой на приеме в посольстве. Пытаясь оправдать свою ненависть и ревность, Сара утверждала, и не без оснований, что г-жу д'Арвиль почти помимо ее воли всегда неудер-

жимо влекло к Родольфу.

Сара была слишком прозорлива и умна и слишком хорошо знала все слабости человеческого сердца, чтобы не разгадать Клеманс, обиженной и оскорбленной равнодушием человека, который произвел на нее огромное впечатление. Именно поэтому Клеманс с досады так легко поддалась настойчивым уговорам коварной подруги и вдруг ни с того ни с сего горячо заинтересовалась воображаемыми несчастьями Шарля Робера, хотя и не смогла при этом окончательно забыть Родольфа.

Другая женщина, верная своим воспоминаниям о человеке, которого она избрала и отличила, осталась бы равнодушной к воздыханиям майора. Таким образом Клеманс д'Арвиль была виновна вдвойне, хотя и уступила только из жалости. К счастью, острое чувство долга и, наверное, образ принца, хранимый ею в глубине души, этот спасительный образ уберег ее от непоправимой ошибки.

Тысячи противоречий раздирали Родольфа, когда он думал о предстоящем свидании с г-жой д'Арвиль. Он твердо решил противиться чувству, которое влекло его к маркизе, и сейчас то радовался, что может ее разлюбить, может и упрекнуть за столь недостойный выбор, как этот Шарль Робер, то, наоборот, горько сожалел, что она лишилась того ореола, которым он ее окружил.

Клеманс д'Арвиль тоже с волнением ожидала этого свидания; два чувства владели ею: мучительное смущение, когда она думала о Родольфе... и глубокое отвращение, когда она вспоминала о Шарле Робере.

Причин этому отвращению, почти ненависти, было немало.

Женщина может пожертвовать своим покоем, своей честью ради мужчины, но она никогда не простит ему, если он поставит ее в унижительное или смешное положение.

А маркиза д'Арвиль, натолкнувшись на оскорбительные взгляды и циничные замечания г-жи Пипле, едва не сгорела от стыда.

Но это еще не все.

Получив от Родольфа предупреждение о грозящей ей опасности, Клеманс поспешно поднялась на шестой этаж; лестница здесь поворачивала так, что она еще снизу заметила Шарля Робера в его роскошном халате в тот момент, когда, заслышав легкие шаги женщины, которую он поджидал, он приоткрыл свою дверь с уверенной и победительной улыбкой... Фатовская интимность этого майорского халата сразу показала маркизе, как жестоко она ошибалась в этом человеке. По доброте своего сердца и великодушию характера она решилась на это свидание, которое могло ее погубить, вовсе не из любви, а всего лишь из жалости, чтобы утешить Шарля Робера за то унижение, которое ему пришлось претерпеть на приеме в посольстве из-за дурного вкуса герцога де Люсене.

Можно понять смятение и отвращение г-жи д'Арвиль, когда она увидела победную улыбку Шарля Робера... уже облаченного в роскошный халат!

Часы любимой маленькой гостиней г-жи д'Арвиль пробили девять.

Портные и содержатели ресторанов настолько опошлили стиль Людовика XV, или стиль Ренессанса, что маркиза, женщина тонкого вкуса, изгнала со своей половины эту вульгарную роскошь, велев перенести всю эту мебель в залы для больших приемов. Гостиная, где маркиза ожидала Родольфа, отличалась изысканным изяществом.

Стены были обтянуты индийским шелком цвета соломы, такими же были простые портьеры без рюшек и кистей; на блестящем фоне этой материи матовым шелком того же оттенка были вышиты изящные и причудливые арабески. Двойные алансонские шторы полностью закрывали окна.

Двери розового дерева украшали тонкие рамки инкрустированного позолоченного серебра, которые на каждой дверной панели обрамляли овальные медальоны севрского фарфора в локоть высотой, с изысканными изображениями сверкающих цветов и птиц. Рамы зеркал и карнизы были того же розового дерева с такими же инкрустациями из позолоченного серебра.

Фриз камина из белого мрамора поддерживали две кариатиды античной красоты и поразительного изящества, изваянные вдохновенным резцом великого скульптора Марочетти, который

согласился выполнить этот заказ, наверное, потому, что вспомнил, что гениальный Бенвенуто Челлини не отказывался украшать кувшины и панцири.

Два канделябра и два факела из позолоченного серебра тончайшей работы Гутьера обрамляли напольные часы в форме куба из ляпис-лазури, установленного на цоколе из восточной яшмы и увенчанного великолепной золотой чашей с перегородчатой эмалью и вкрапленными в нее жемчужинками и рубинами, – шедевр флорентийского Возрождения.

Многочисленные прекрасные картины средних размеров, принадлежавшие к венецианской школе, довершали этот великолепный ансамбль.

Благодаря приятному нововведению последних лет этот прелестный салон жалко освещала лампа из матового хрустала, наполовину спрятанная среди живых цветов, поставленных в глубокую, огромную японскую вазу с пурпурными, синими и золотыми узорами, подвешенную к потолку, как люстра, на трех толстых цепях позолоченного серебра, вокруг которых обвивались зеленые стебли многочисленных выющихся растений; некоторые гибкие отростки с цветами свешивались через края вазы изумрудной бахромой, чудно выделяясь на фоне золотых, лазурных и пурпурных узоров японского фарфора.

Мы останавливаемся на всех этих, может быть ребяческих, подробностях не только для того, чтобы дать представление о природном вкусе г-жи д'Арвиль, почти верном признаке артистической одаренности, но и для того, что скрытая боль и тайные страдания бывают еще мучительнее среди подобной роскоши и красоты, которые для всех посторонних были бы символами завидной счастливой жизни.

Клеманс д'Арвиль, гладко причесанная, сидела в глубоком кресле, сплошь обтянутом материей соломенного цвета, как и вся остальная мебель в салоне. На ней было глухое платье черного бархата, на котором прелестно выделялся широкий воротник и плоские манжеты из английских кружев, смягчая слишком резкий переход от черного бархата к ослепительной белизне ее шеи и рук.

Признательность с новой силой пробудила прежние чувства к Родольфу. Интуиция, которая так редко обманывает любящие сердца, подсказывала маркизе, что не только случай привел Родольфа ей на помощь, что если он вот уже несколько месяцев не стремился ее увидеть, то во все не из пренебрежения. И тот же инстинкт пробуждал в душе Клеманс сомнения в искренности Сары.

Прошло несколько минут. Негромко постучав, в салон вошел слуга и спросил:

– Госпожа маркиза примет госпожу Астон и мадемуазель?

– Разумеется, как всегда, – ответила г-жа д'Арвиль.

И ее дочь неторопливо вошла в салон.

Эта четырехлетняя девочка могла бы быть прелестной, если бы не ее болезненная бледность и чрезвычайная худоба. Г-жа Астон, ее гувернантка, держала девочку за руку. Клэр, – так звали девочку, – несмотря на свою слабость, бросилась к матери, протягивая к ней ручки. Два бантика вишневого цвета удерживали над висками закрученные косички каштановых волос, обрамлявших ее личико; она была такой слабенькой, что ее одели в подбитую ватой душегрейку коричневого шелка, вместо красивых, открытых платьиц из белой кисеи с бантиками. Под цвет волос, чтобы можно было любоваться розовыми ручками и свежей, шелковистой кожей плечиков, таких прелестных у здоровых детей.

Большие черные глаза этой девочки казались огромными на ее худеньком личике со впалыми щеками. Несмотря на кажущуюся слабость, счастливая и добрая улыбка озарила лицо Клэр, когда она умолилась на коленях своей матери, которая осыпала ее страстными, нежными поцелуями, стараясь скрыть печаль.

– Как она чувствовала себя сегодня? – спросила г-жа д'Арвиль гувернантку.

– Довольно хорошо, госпожа маркиза, хотя был такой момент, когда я подумала...

– Опять! – воскликнула Клеманс, невольно прижимая дочь к своей груди в порыве страха.

– По счастью, сударыня, я ошиблась, – сказала гувернантка. – Приступа не было, мадемуазель Клэр успокоилась, это была только минутная слабость. Она мало спала сегодня после обеда, но все равно не хотела ложиться, пока не обнимет свою мамочку и не попрощается с госпожой

маркизой.

– Бедный мой, любимый ангелочек! – воскликнула г-жа д'Арвиль, осыпая дочку поцелуями.

Девочка отвечала на ее ласки с детской радостью, когда слуга, распахнул обе створки дверей салона и торжественно объявил:

– Его высочество великий герцог Герольштейнский!

Сидя на коленях матери, Клэр обнимала ее двумя ручонками за шею и целовала в обе щеки. При виде Родольфа Клеманс покраснела, осторожно спустила дочку на ковер, сделала г-же Астон знак, чтобы та увела девочку, и поднялась навстречу гостю.

– Вы разрешите? – с улыбкой проговорил Родольф, почтительно поклонившись маркизе. – Могу я вновь познакомиться с моей маленькой подружкой, которая, – увы! – наверное, уже меня позабыла?

И, слегка наклонившись, он протянул руку девочке.

Клэр сначала посмотрела на него своими черными глазами, потом узнала, мило кивнула головой и послала ему воздушный поцелуй с кончиков худеньких пальчиков.

– Ты знаешь этого господина, дитя мое? – спросила Клеманс.

Клэр утвердительно кивнула головой и послала Родольфу еще один воздушный поцелуй.

– Кажется, она немного поправилась с тех пор, как я ее не видел, – сказал Родольф, обращаясь к маркизе.

– Да, ваше высочество, она себя чувствует лучше, но все еще порой недомогает.

Маркиза и принц одинаково боялись предстоящего им разговора и почти радовались той отсрочке, которую им давала Клэр. Но гувернантка потихоньку увела с собой девочку, и Родольф и Клеманс остались наедине.

Глава XVI ПРИЗНАНИЯ

Кресло, где сидела г-жа д'Арвиль, находилось справа от камина; Родольф стоял, легко опираясь на мраморную полку локтем.

Благородный и прекрасный облик принца поразил Клеманс, как никогда; голос его показался невыразимо нежным и звучным.

Чувствуя, что маркизе трудно начать разговор, Родольф сказал:

– Сударыня, вы стали жертвой подлого предательства: низость графини Сары Мак-Грегор едва не погубила вас.

– Неужели это правда, монсеньор? – воскликнула Клеманс. – Значит, мои предчувствия не обманули меня. Но как ваше высочество узнали?..

– Вчера, совершенно случайно, на балу у графини *** я услышал об этом подлом заговоре. Я сидел в дальнем уголке зимнего сада. Графиня Сара и ее брат не знали, что меня отделяет от них только зеленая шпалера, и не стесняясь говорили о своих замыслах и о ловушке, которую вам расставили. Я хотел предупредить вас о грозящей вам опасности, а потому поспешил на бал к госпоже де Нерваль, надеясь увидеть вас там, но вы там не появились.

Написать вам утром я не решился: письмо могло попасть в руки маркиза и пробудить его подозрения. Я предпочел подождать вас на улице Тампль, чтобы предупредить о предательстве Сары. Надеюсь, вы простите меня, что я так долго говорю о столь неприятном для вас деле? Если бы не ваше доброе письмо, я бы в жизни об этом не заговорил...

Чуть помолчав, г-жа д'Арвиль сказала Родольфу:

– У меня только один способ выразить вам мою благодарность, монсеньор... это сделать признание, которого не сделала бы никому. Это признание не оправдывает меня в ваших глазах, но, может быть, смягчит мою вину перед вами.

– Честно говоря, – с улыбкой сказал Родольф, – мое положение весьма затруднительно.

Пораженная его почти легкомысленным тоном, Клеманс взглянула на Родольфа с изумлением.

– Я не понимаю вас, монсеньор!

– Благодаря простому стечению обстоятельств, о которых вы, сударыня, несомненно догадываетесь, я был вынужден сыграть роль, скажем, доброго дядюшки в этой истории. Но поскольку вы не попались в подлую ловушку, расставленную вам графиней Сарой, об этом вряд ли стоит говорить. Однако, – добавил Родольф серьезно и сочувственно, – не забывайте, что ваш муж для меня почти как брат. Мой отец многим обязан его отцу. Поэтому я от всей души поздравляю вас за то, что вы смогли вернуть вашему мужу уверенность и покой.

– Ах, монсеньор, именно потому, что вы удостаиваете господина д'Арвиля своей дружбы, я обязана открыть вам всю правду! И об этом моем выборе, который казался вам таким постыдным и в действительности таким оказался, и о моем поведении, оскорбительном для моего мужа, которого ваше высочество называет почти братом.

– Сударыня, я всегда буду счастлив и горд малейшим доказательством вашего доверия. Однако позвольте сказать вам о вашем выборе, что я знаю: вы поддались чувству жалости и настойчивым уговорам графини Сары Мак-Грегор, у которой были свои побуждения вас погубить... Я также знаю, что вы долго колебались, прежде чем решиться на поступок, о котором так сожалеете до сих пор.

Клеманс была поражена.

– Вас это удивляет? – продолжал принц с улыбкой. – Я открою вам когда-нибудь свою тайну, чтобы вы не считали меня волшебником. Но скажите, вы уверены, что ваш муж окончательно успокоился?

– Да, монсеньор, – сказала Клеманс, смущенно опуская глаза. – Признаюсь, мне так стыдно, когда он просит прощения за то, что подозревал меня, и восторгается моим скромным умолением о благотворительных делах.

– Он счастлив в своем неведении, не упрекайте его за это, наоборот, поддерживайте, сколько можно, этот невинный обман! Если бы я мог так легко говорить об этом приключении, если бы речь шла не о вас... я бы сказал, что вы самая очаровательная женщина, которая вынуждена что-то скрывать от своего мужа. Невозможно представить, какие щедрые ласки расточает нечистая совесть, какие восхитительные цветы расцветают на почве измены... В молодости, – добавил Родольф с улыбкой, – я обычно испытывал смутные опасения, когда мне выказывали особенно нежную привязанность, и поскольку я, со своей стороны, всегда чувствовал особую уверенность в себе, когда бывал безупречным, то, встречая ту же коварную ласковость, какую старался проявить сам, был убежден, что за этим согласием таится... взаимная измена.

Госпожа д'Арвиль все больше удивлялась, слушая, как насмешливо говорит Родольф о ее приключении, которое могло окончиться для нее ужасными последствиями. Но вскоре она поняла, что своим легкомысленным тоном принц благородно пытается уменьшить значение оказанной им услуги, и сказала, глубоко тронутая его скромностью:

– Я понимаю ваше великодушие, монсеньор. Вам дозволено сейчас шутить и не вспоминать об опасности, от которой вы меня избавили... Но то, что я вам обязана сказать, настолько важно, и настолько грустно, и настолько связано с сегодняшними событиями, что ваш совет мне необходим, и я умоляю вспомнить, что вы спасли мне честь и жизнь, да, жизнь! Мой муж был при оружии, он мне в этом признался в приступе раскаяния, он хотел меня убить.

– Боже мой! – вскричал пораженный Родольф.

– И он был прав, – горько ответила г-жа д'Арвиль.

– Заверяю вас, сударыня, – уже серьезно продолжал Родольф, – мне вовсе не безразлична ваша судьба. Если я сейчас подшучивал, то только потому, что хотел рассеять ваши печальные воспоминания об этом утреннем происшествии, которое должно было вас так взволновать. А теперь, сударыня, я слушаю вас с величайшим вниманием, так как вы сказали, что мои советы могут быть вам весьма полезными.

– Даже очень полезными, монсеньор! Но, прежде чем испросить их у вас, позвольте рассказать в двух словах о не столь далеком прошлом, о котором вы не знаете... о моей жизни до брака с господином д'Арвилем.

Родольф поклонился, и Клеманс продолжала.

– В шестнадцать лет я потеряла мать, – говорила она, невольно уронив слезу. – Нет сил сказать, как я ее любила! Представьте, монсеньор, воплощенную доброту! В своей нежности и заботах обо мне она находила глубокое утешение за свои земные печали... Она мало кого любила, здоровьем была слаба, и, естественно, на склоне лет самым большим удовольствием для нее стало мое воспитание. Она обладала основательными и разнообразными знаниями и могла лучше всех исполнить выбранную ею роль.

... Судите сами, монсеньор, как были мы поражены, она и я, когда, – мое образование уже завершилось, – отец под предлогом того, что мать нездорова, объявил нам, что некая молодая вдова из хорошей семьи, чьи печали его очень тронули, готова завершить то, что начала моя мать. Та сначала воспротивилась желаниям моего отца. Я тоже умоляла его не ставить между мной и матерью чужую женщину. Но он был непреклонен, несмотря на наши слезы. Госпожа Ролан, вдова полковника, погибшего где-то в Индии, поселилась у нас и получила должность моей учительницы.

– Как, та самая госпожа Ролан, на которой ваш отец женился почти сразу же после вашей свадьбы? – воскликнул Родольф.

– Да, монсеньор.

– Наверное, она была очень хороша?

– Да нет, так себе.

– Тогда, может быть, очень умна?

– Притворство и хитрость, и ничего больше. Ей было лет двадцать пять, очень светлая блондинка с почти белыми ресницами и большими круглыми голубыми глазами; личико скромное и слащавое, а характер подленький до жестокости, угодливый до самой последней низости.

– А воспитание? Знания?

– Никаких! До сих пор не могу понять, монсеньор, как мой отец, всегда столь рабски подчинявшийся условностям, не подумал, что неподготовленность этой женщины самым скандальным образом выдает истинную причину ее присутствия у нас. Моя мать заметила ему, что госпожа Ролан невежда. Отец ответил не допускающим возражений тоном, что невежда она или нет, но эта молодая и интересная вдова останется в нашем доме моей воспитательницей. Я узнала обо всем этом много позже; после этого разговора моя мать поняла все и погрузилась в глубокое горе, сожалея, как я думаю, не столько о неверности моего отца, сколько о тех пагубных последствиях, которые могла причинить эта связь, если бы слухи о ней дошли до меня.

– Но послушайте, сударыня, даже если ваш отец так безумно увлекся этой женщиной, совершенно непонятно, зачем он ввел ее в ваш дом... Это было неразумно!

– Ваше недоумение удвоится, монсеньор, если вы узнаете, что отец мой был самым щепетильным человеком из всех, кого я знала, человеком, считавшимся со всеми условностями, и, если он пренебрег ими, нужны были необычайная воля и настойчивость госпожи Ролан, которая прикрывалась безумной любовью к нему.

– Но сколько же лет было вашему отцу?

– Около шестидесяти, монсеньор.

– И он верил в любовь этой женщины?

– Мой отец был одним из самых модных светских людей своего времени, и госпожа Ролан, следуя своему инстинкту или хитрым советам...

– Хитрым советам? Кто мог их давать?

– Я сейчас скажу вам, монсеньор. Понимая, что мужчина, избалованный победами, на пороге старости весьма восприимчив к похвалам его внешности, напоминаям ему о расцвете его лет, эта женщина – поверите вы мне, монсеньор? – все время льстила ему, восхищаясь его лицом и фигурой, его неповторимой элегантностью, его неотразимым очарованием, а ему было за пятьдесят. Все восхищались ее редкостным умом, и он попался на эту простейшую приманку. В этом была и есть, я не сомневаюсь, основа влияния этой женщины на моего отца. Несмотря на мои горестные заботы, монсеньор, я не могу без улыбки вспоминать, как госпожа Ролан, еще до моего замужества, говорила и повторяла, что «истинная зрелость» – самый прекрасный возраст. И эта «истинная зрелость», по ее словам, наступает только на пятьдесят пятом – шестидесятом

году жизни.

– Сколько же лет вашему отцу?

– Именно столько, монсеньор. Только в этом возрасте, говорила госпожа Ролан, разум и опыт достигают высшего развития; только тогда человек высокого положения получает в свете достойное признание, только тогда его черты, его прекрасные манеры достигают совершенства, и лицо его в этих годах приобретает божественное выражение, чудную редкую смесь снисходительной безмятежности и доброй серьезности. И наконец, легкий оттенок меланхолии, которая всегда сопутствует опыту прежних разочарований, дополняет неотразимое очарование «истинной зрелости», очарование, которое, спешила заметить госпожа Ролан, понятно только женщинам с добрым умом и сердцем, которые лишь пожимают плечами, слыша взрыв хохота сорокалетних ветренников, на которых нельзя ни в чем положиться и чьи еще не зрелые черты пока не имеют величавого выражения, свидетельствующего о глубоком знании жизни.

Родольф невольно улыбнулся, слушая, с какой иронией маркиза д'Арвиль рисует портрет своей мачехи.

– Есть одна вещь, которую я никогда не прощаю смешным и нелепым людям, – сказал он маркизе.

– Что же это, монсеньор?

– Их злобность. Она мешает нам весело посмеяться над ними.

– Может быть, в этом и есть их расчет, – сказала Клеманс.

– Я готов в это поверить, а жаль. Потому что, если бы, к примеру, я не знал, что эта госпожа Ролан намеренно причинила вам столько горя, я бы от души поохотал над ее изобретением «истинной зрелости», которую она противопоставляет бездумной молодости сорокалетних сорванцов, как утверждает эта женщина, едва вышедших из «возраста пажей», как говаривали наши предки.

– Отец мой, по-моему, до сих пор счастливо тешится иллюзиями, которые внушила ему моя мачеха.

– А сама она несомненно страдает, расплачиваясь за свою ложь: ваш отец поверил в ее страстную любовь, поймал ее на слове, и теперь она пленница его любви и одиночества. Позвольте сказать вам: жизнь вашей мачехи столь же невыносима, сколь велико счастье вашего отца. Представьте себе радость шестидесятилетнего мужчины, привыкшего к успехам в свете и уверовавшего, что его еще может страстно любить молодая женщина! Естественно, у него возникло желание отгородиться вместе с нею от всего мира...

– Пусть отец будет счастлив, монсеньор, я бы не стала жаловаться на госпожу Ролан, если бы не ее отвратительное отношение к моей матери... И еще, если бы не ее слишком рьяное старание поскорей выдать меня замуж. За это я ее особенно презираю и ненавижу, – сказала г-жа д'Арвиль.

Родольф посмотрел на нее с удивлением.

– Господин д'Арвиль ваш друг, монсеньор, – продолжала Клеманс твердым голосом. – Я сознаю всю важность моих слов. Вы скоро поймете, насколько они справедливы. Однако вернемся к госпоже Ролан, назначенной мне в гувернантки, несмотря на ее очевидную безграмотность и неспособность. Из-за нее у моей матери произошло мучительное объяснение с моим отцом. Мама объявила ему, что положение этой женщины в доме нетерпимо и что она не выйдет к столу, если госпожа Ролан немедленно не уйдет от нее. Моя мать была воплощением мягкости и доброты, но в то же время была негибаема, дело шло о ее собственном достоинстве. Мой отец остался непоколебим, а она сдержала свое слово: с этого дня мы жили с ней совершенно отдельно на ее половине дома. Отец стал ко мне так же холоден, как к моей матери, а госпожа Ролан почти в открытую играла роль хозяйки дома, все еще притворяясь, будто она моя гувернантка.

– До какой же крайности может довести слепая страсть самого разумного человека! И чем больше нам льстят, чем больше расхваливают наши достоинства, которых уже больше нет, тем скорее мы забываем о достоинствах, которыми еще обладаем. Доказывайте шестидесятилетнему, что он так же хорош и силен, как в тридцать лет, – это же азбука самой грубой лести! Но чем грубее лезть, тем она действенней... Увы, нам, принцам, это давно знакомо.

– Да, вам ли это не знать, монсеньор!

– В этом смысле вашего отца обманывали, как короля... Но ваша мать, наверное, страдала невыразимо.

– И не столько за себя, сколько за меня, монсеньор, потому что она думала о будущем. Она вообще была очень слабенькая, а теперь начала угасать и скоро серьезно заболела. И судьба сложилась так, что наш домашний врач Сорбье, которому мама так доверяла, умер, и она долго его оплакивала. У госпожи Ролан был свой врач и приятель, какой-то итальянец, весьма знаменитый, как она говорила. Отец, естественно, иногда обращался к нему, был доволен и порекомендовал его моей матери, которая, увы, согласилась... Он ее пользовал, когда она в последний раз занемогла.

При этих словах глаза г-жи д'Арвиль наполнились слезами.

– Мне стыдно признаться в моей слабости, монсеньор, – продолжала она. – Но именно потому, что этого врача порекомендовала моему отцу госпожа Ролан, он вызывал у меня, хотя и без всякой причины, какое-то невольное подозрение. Я чего-то боялась, глядя, как моя мама доверяется этому пусть ученому, но незнакомому доктору Полидори...

– Что вы сказали? – вскричал Родольф.

– Что с вами, монсеньор? – удивленно спросила Клеманс, глядя на искажившееся лицо Родольфа.

– Нет, быть не может, – пробормотал про себя принц. – Я наверняка ослышался. Вот уже пять-шесть лет назад мне говорили, что Полидори года два скрывается в Париже под чужим именем... Не его ли я видел вчера, этого шарлатана Брадаманти? И все-таки два имени... какое совпадение!⁹⁸ Простите, несколько слов об этом докторе Полидори, – сказал Родольф маркизе д'Арвиль, которая глядела на него с возрастающим удивлением. – Сколько лет этому вашему итальянцу?

– Лет пятьдесят примерно.

– А каков он собой?

– Довольно мрачный... Никогда не забуду его глаза, светло-зеленые, и его нос, горбатый, как огромный клюв...

– Он, точно он! – воскликнул Родольф. – И вы думаете, мадам, что этот доктор Полидори все еще живет в Париже?

– Не знаю, монсеньор. Примерно через год после новой женитьбы моего отца он покинул Париж. Одна из моих знакомых, которую в то время пользовал этот врач-итальянец, герцогиня де Люсене...

– Герцогиня де Люсене? – воскликнул Родольф.

– Да, монсеньор... Чем вы так удивлены?

– Позвольте мне не ответить вам. Но расскажите, что было в то время между герцогиней де Люсене и тем итальянцем?

– Знаю только, что после отъезда из Парижа он часто писал ей довольно остроумные письма, рассказывал о странах, где побывал, потому что он много путешествовал... А потом... Помню, месяц назад я как-то спросила герцогиню де Люсене о Полидори, а она замялась и сказала, что давно о нем не слышала, что не знает, где он и что с ним случилось, и даже ходят слухи, будто он умер.

– Поразительно! – воскликнул Родольф, сразу вспомнив о том, что герцогиня де Люсене приходила к шарлатану Брадаманти.

– По-видимому, вы тоже знаете этого человека, монсеньор?

– Да, к несчастью... Но, бога ради, продолжайте ваш рассказ! Я вам потом скажу, кто такой этот Полидори...

– Как? Этот врач?

– Скажите лучше: злодей, запятнанный самыми гнусными преступлениями!

⁹⁸ Напомним читателю, что Полидори был тем самым ученым медиком, который вознамерился стать воспитателем Родольфа.

– Преступлениями? – в ужасе вскричала г-жа д'Арвиль. – Он совершал преступления, этот человек, друг госпожи Ролан и врач моей матери? Моя мать умерла у него на руках, проболев всего несколько дней!.. Ах, монсеньор, вы пугаете меня! Вы говорите обо всем этом слишком много... но все же не до конца...

– Я не обвиняю этого человека в еще одном преступлении, не обвиняю вашу мачеху в немыслимом двуличии, я говорю только, что вы должны благодарить бога за то, что ваш отец после женитьбы на госпоже Ролан не прибегал к услугам этого доктора Полидори.

– О господи! – воскликнула г-жа д'Арвиль душераздирающим голосом. – Значит, предчувствия не обманывали меня!

– Ваши предчувствия?

– Да, монсеньор. Я вам уже говорила о подозрениях, которые внушал мне этот врач, потому что его пригласила к нам в дом госпожа Ролан. Но я сказала вам не все, монсеньор...

– Как не все?

– Я боялась бросить тень, на невиновного под влиянием тяжелых воспоминаний. Но теперь я скажу вам всю правду, монсеньор. Мать болела вот уже пять дней, и я не отходила от нее. Однажды вечером я вышла подышать на террасу нашего дома. Минут через пятнадцать я возвращалась по длинному, темному коридору. Дверь в комнату госпожи Ролан была приоткрыта, и я в полумраке увидела, как из нее выходил господин Полидори. Эта женщина провожала его. Я спряталась в тени, и они меня не заметили. Госпожа Ролан сказала ему что-то, но я не могла слышать ее слов. Однако врач ответил ей громче, и я услышала одно слово: «Послезавтра!» И поскольку госпожа Ролан продолжала говорить с ним шепотом, я услышала, как он ответил ей с особым выражением: «Послезавтра, говорю вам, послезавтра, и не позднее!» Что означали его слова? Что они означали, монсеньор? В среду вечером господин Полидори говорил: «Послезавтра!» В пятницу моя мать умерла...

– Это ужасно!

– Когда я подумала обо всем этом и вспомнила, об этих его словах, – «послезавтра, и не позднее!» – которые как бы предсказывали день смерти моей матери, мне пришла в голову одна мысль: господин Полидори, зная, что моей матери осталось недолго жить, поспешил уведомить об этом госпожу Ролан... Ту самую госпожу Ролан, которая могла только радоваться ее близкой смерти! Одного этого было достаточно, чтобы возненавидеть этого мужчину и эту женщину! Но я никогда не могла даже подумать... Нет, нет, до сих пор я не могу поверить в столь ужасное преступление!..

– Полидори был единственным врачом, который пользовал вашу мать?

– За день до ее смерти он привез на консультацию кого-то из своих коллег. Как рассказал мне позднее отец, этот врач нашел состояние моей матери весьма опасным. После столь сурового приговора меня отвезли к одной из наших родственниц, которая очень любила мою мать. И та, не считаясь с моим юным возрастом, без обиняков рассказала мне, что я имела все основания ненавидеть госпожу Ролан. Она рассказала мне о честолюбивых замыслах этой женщины. Я была подавлена, я только тогда поняла, как страдала моя мать. Когда я снова увидела отца, мое сердце было разбито: он приехал за мной, чтобы увезти меня в Нормандию, где мы должны были провести первые дни траура. По дороге он часто плакал и говорил, что у него осталась только я одна и без меня он не вынес бы этого страшного несчастья. Я искренне отвечала ему, что он тоже остался у меня один на свете после смерти моей любимой матери. Он помешкал немного, а затем смущенно ответил, что вынужден оставить меня одну из-за разных неотложных дел, и без всякого перехода, самым естественным образом сообщил, что, по счастью для него и для меня, госпожа Ролан согласилась управлять домом и быть моей наставницей и подругой.

Удивление, негодование и боль не позволили мне ответить; я только молча плакала. Отец спросил, в чем причина моих слез. Я воскликнула, может быть с излишним негодованием и горечью, что никогда не останусь под одной крышей с госпожой Ролан, потому что презираю эту женщину и ненавижу за все горе, которое она причинила моей матери. Он остался спокойным и, пожурив меня за то, что он называл ребячеством, холодно объявил мне, что решение его непреклонно и мне придется ему подчиниться.

Я умоляла его позволить мне удалиться в монастырь Сердца Иисусова, где у меня были подруги, обещая остаться там, пока он не сочтет нужным выдать меня замуж. Он ответил мне, что прошли те времена, когда женились у решеток монастыря, что в моих словах видит хотя и понятную, но неразумную чрезмерную чувствительность, которая скоро несомненно пройдет, поцеловал меня в лоб и назвал бедной дурочкой.

Увы, мне пришлось подчиниться. Судите сами, монсеньор, как я страдала! Жить каждый день бок о бок с женщиной, которую я почти подозревала в смерти моей матери!.. Я предвидела, какие жестокие сцены будут возникать у меня с отцом, и знала, что никакое чувство почтительности не помешает мне выражать глубочайшее отвращение к госпоже Ролан. Мне казалось, что таким образом я буду мстить за свою мать и любое доброе слово по отношению к этой женщине будет позорным святотатством.

– Господи, если бы, я знал, как вы страдали! Если бы я знал, сколько вам довелось претерпеть, я бы старался быть рядом с вами. Но ни одно ваше слово даже не позволяло догадываться...

– Потому что в то время, монсеньор, у меня не было извинений в моей непозволительной слабости... Я рассказываю вам так подробно о том периоде моей жизни, чтобы вы могли понять, в каком состоянии находилась я, когда вышла замуж... и почему я стала женой господина д'Арвиля, несмотря на все предубеждения, которые должны были меня удержать от этого шага.

Когда мы прибыли в Обье, поместье моего отца, первый, кто нас встретил, была госпожа Ролан. Она устроилась тут как хозяйка сразу же после смерти моей матери. Несмотря на видимую скромность и слащавость, она уже не скрывала торжествующей радости. Никогда не забуду ее иронического и в то же время злобного взгляда, которым она меня встретила. Казалось, она говорила: «Здесь я хозяйка, а ты – незваная гостья!» И еще одно горе поджидало меня: то ли из непозволительного отсутствия деликатности, то ли из дерзкого бесстыдства эта женщина устроилась в комнате моей матери. Я была возмущена и пожаловалась отцу, что это немыслимо, недопустимо! Он сурово ответил мне, что это нисколько не должно меня удивлять, потому что отныне я должна почитать госпожу Ролан как мою вторую мать. Я ответила, что это равно надругательству над святым именем «мать», и, сколько он ни гневался, при каждой возможности выражала госпоже Ролан мое глубокое презрение. Он выходил из себя и не раз выговаривал мне перед этой женщиной. Он упрекал меня в холодности и неблагодарности по отношению к этому ангелу, которого судьба послала нам в утешение. «Прошу вас, отец, говорите только за себя», – однажды сказала я ему. Он ответил мне жестоко. Госпожа Ролан своим сахарным голоском вроде бы вступилась за меня с лицемерной добротой: «Будьте снисходительны к бедняжке Клеманс, ее сожаления о столь прекрасной матери, которую все мы оплакиваем, вполне понятны и похвальны, а потому нам следует простить ее выходки, ибо горе ее пока не утихло». – «Ну что? – спросил меня отец, показывая с восхищением на госпожу Ролан. – Разве ты не видишь, как она добра, как великодушна? Ты должна признаться в этом и обнять ее!» – «Не надо, отец! Она меня не любит, и я ее ненавижу». – «Ах, Клеманс, вы меня очень огорчаете, но я вас прощаю», – сказала госпожа Ролан, возводя глаза к небесам. «Дружок мой! Моя благородная подруга! – взволнованно воскликнул отец! – Умоляю вас, успокойтесь! – Сжальтесь, ради меня, над этой дурочкой, которая даже не может вас оценить!» А затем, бросив на меня разъяренный взгляд, отец объявил: «Трепещи, несчастная! Если ты еще раз посмеешь оскорбить самую благородную душу на свете... Немедленно извинись перед ней!» – «Мать моя видит меня и слышит, – ответила я ему. – Она бы не простила мне такого малодушия». И я вышла, оставив отца утирать госпоже Ролан ее фальшивые слезы. Извините, монсеньор, за эти детские воспоминания, но только они помогут вам понять, как мне тогда жилось...

– Мне кажется, я сам душой участвовал в этих сценах, таких обыденных, правдивых и горьких. В скольких семьях они повторялись и будут бессчетно повторяться! Поведение госпожи Ролан весьма банально и очень хитро: сама простота ее подлого замысла ставит ее в ряд посредственных умов... Посудите сами! Вся беда не в том, что она была хитра, а в том, что ваш отец был слеп; но как же смотрели на нее соседи?

– Как на мою воспитательницу... и его подругу. И относились к этому спокойно.

– Не знаю, стоит ли спрашивать... Очевидно, ваш отец жил все так же уединенно?

– К нему изредка приезжали соседи и люди по делам, кому он не мог отказать, а больше никто. Мой отец полностью отдался своей страсти и, наверняка по настоянию госпожи Ролан, едва минуло три месяца после смерти моей матери, отказался от траура, объявив, что носит траур в душе. Его холодность ко мне возрастала изо дня в день, его безразличие доходило до того, что он предоставлял мне полную свободу, немыслимую для девушки моего возраста. Я видела его за завтраком; потом он уходил к себе с госпожой Ролан, которая вела его деловую переписку как секретарь, потом он выходил или выезжал с ней и возвращался только к обеду... Госпожа Ролан переодевалась в новое, прелестное платье; отец одевался с необычайной изысканностью, смешной в его возрасте. Иногда после обеда он принимал у себя людей. Потом до десяти часов играл с госпожой Ролан в триктрак, а затем предлагал ей руку, чтобы отвести в комнату моей матери, целовал ей руку и почтительно удалялся. А я могла делать все, что хотела, ездить на лошади в сопровождении слуги или гулять, сколько вздумается, по лесам в окрестностях замка. Иногда мне бывало так грустно, что я не приходила к завтраку; отец этого даже не замечал...

– Какое странное равнодушие! Какое невнимание...

– Несколько раз подряд, когда я ездила верхом, я встречала в лесу одного из наших соседей. Я отказалась от этих прогулок и больше не выходила из парка.

– Но как вела себя эта женщина, когда вы оставались наедине?

– Так же как и я, она по возможности избегала подобных встреч. Однажды, намекая на суровые слова, которые я сказала ей накануне, она холодно заметила мне: «Поостерегитесь! Вы собираетесь бороться со мной? Вам не поздоровится!» – «Как моей матери?» – спросила я ее. – К сожалению, госпожа Ролан, теперь не будет господина Полидори, который скажет вам, что это случится... послезавтра». Эти слова произвели на госпожу Ролан такое впечатление, что она едва опомнилась. Теперь, когда я знаю благодаря вам, монсеньор, кто такой этот доктор Полидори и на что он способен, невольный ужас госпожи Ролан, когда я напомнила ей его загадочные слова, мог бы подтвердить мои самые тяжкие подозрения... Но нет, нет, я не хочу в это верить! Мне будет слишком страшно думать, что сейчас мой отец почти полностью во власти этой женщины.

– А что она вам ответила, когда вы напомнили ей эти слова Полидори?

– Сначала она покраснела, потом справилась с волнением и холодно спросила, что я имею в виду. «Когда вы останетесь наедине с собой, сударыня, задайте себе этот вопрос и получите от себя же ответ», – сказала я. Вскоре после этого произошла сцена, которая, по сути говоря, решила мою судьбу. Среди множества картин, висевших в гостиной, где мы все собирались по вечерам, находился портрет моей матери. Но однажды я заметила, что он исчез. С нами обедали в тот день два наших соседа; один из них, местный нотариус господин Дорваль, всегда относился к моей матери с величайшим почтением. Войдя в гостиную, я спросила отца: «Где портрет моей матери?»

«Эта картина навевала на меня такую печаль...» – смущенно ответил он, показывая кивком на гостей, невольных свидетелей нашего разговора. «А где теперь этот портрет?» Нетерпеливо повернувшись к госпоже Ролан, он вопросительно взглянул на нее. «Куда унесли портрет?» – «В кладовую для старой мебели», – ответила она и посмотрела на меня с вызовом, уверенная, что я не посмею ей ничего сказать при посторонних. «Я понимаю, сударыня, – холодно сказала я, – что вам было не по себе от ее взгляда, но это еще не причина, чтобы отправить на чердак портрет женщины, которая призрела вас в вашем ничтожестве и милостиво позволяла жить в своем доме».

– Великолепно! – воскликнул Родольф. – Такое ледяное презрение должно было ее раздавить.

– «Мадемуазель!» – вскричал мой отец. Но я прервала его: «Вы должны признать, что особа, трусливо оскорбляющая память женщины, подавшей ей милостыню, не заслуживает ничего, кроме презрения и отвращения».

Мой отец на мгновение замер, пораженный, а госпожа Ролан побагровела от стыда и злости. Смущенные соседи сидели молча, опутив глаза. «Мадемуазель!» – вновь заговорил мой отец. – Вы забываете, что она была подругой вашей матери, вы забываете, что она по-

матерински заботилась и заботится о вашем воспитании, и, наконец, вы забываете, что я отношусь к ней с глубочайшим почтением. А поскольку вы позволили себе столь недостойную выходку в присутствии этих господ, я скажу вам напрямик: только трусливые и неблагодарные особы, забывая о нежных заботах, могут упрекать в благородной бедности ту, кто заслуживает сочувствия и уважения». – «Я не могу себе позволить обсуждать с вами этот вопрос», – ответила я покорным голосом. «Может быть, мадемуазель соизволит поговорить об этом со мной?» – вскричала госпожа Ролан, которую злоба заставила на сей раз забыть об осторожности. – Может быть, вы осчастливите меня хотя признанием, что мне вовсе не за что благодарить вашу мать, что я могу помнить только о ее холодности, которую она мне всегда выказывала, ибо лишь помимо ее воли я смогла...» – «Ах, сударыня, – сказала я, прерывая ее. – Из уважения к моему отцу или хотя бы из чувства скромности избавьте нас от этих постыдных признаний, иначе я буду очень сожалеть, что вынудила вас к таким унижительным разоблачениям...» – «Как вы смеете, мадемуазель! – закричала она вне себя от гнева. – Вы осмеливаетесь говорить...» – «Я говорю, сударыня, – снова прервала я ее, – что если моя мать и позволила вам жить в ее доме, вместо того чтобы выставить за порог, на что у нее были все основания, своим презрением давала вам ясно понять, что ее терпимость по отношению к вам была вынужденной».

– Прекрасно сказано! – восхитился Родольф. – Это же просто приговор! Ну а что эта женщина?

– Госпожа Ролан решила закончить эту сцену самым вульгарным, но вполне надежным способом. Она закричала: «Боже мой, боже мой!» – и упала в обморок. Оба наших соседа воспользовались этим и выскочили из комнаты, якобы чтобы позвать кого-нибудь на помощь. Я последовала их примеру, оставив растерянного отца хлопотать над госпожой Ролан.

– Представляю себе, с каким гневом он обрушился на вас потом!

– Он пришел ко мне на следующее утро и сказал: «Чтобы на будущее избежать ваших сцен, подобных вчерашней, заявляю вам, что, как только истечет кратчайший срок моего и вашего траура, я женюсь на госпоже Ролан. Поэтому отныне вы должны относиться к ней с уважением, которое заслуживает... моя супруга. По некоторым причинам необходимо, чтобы вы вышли замуж до нашей свадьбы. Состояние вашей матери достигает более миллиона; это ваше приданое. Начиная с сегодняшнего дня я займусь вашим будущим и постараюсь найти вам достойного супруга; ко мне уже обращались с соответствующими предложениями. Упорство, с которым вы преследуете, несмотря на все мои просьбы, дорогую мне женщину, говорит о вашей дочерней привязанности. Госпоже Ролан безразличны ваши наскоки, но я не потерплю, чтобы подобные безобразные сцены повторялись в присутствии посторонних в моем собственном доме. Отныне вы сможете находиться в гостиной только тогда, когда в ней будем одни мы с госпожой Ролан».

После этого разговора я стала совсем затворницей. Отца я видела только за столом, где все хранили мрачное молчание. Жизнь моя была так печальна, что я с нетерпением ждала, чтобы отец предложил мне хоть кого-нибудь в супруги, и заранее готова была на все. Госпожа Ролан не решалась больше плохо говорить о моей матери, но вымещала всю свою злобу на мне, заставляя каждый миг мучительно страдать. Она нарочно пользовалась тысячами мелочей, которые принадлежали моей матери: ее креслом, ее пальцами для вышивания, книгами из ее личной библиотеки и даже ее подноском для лекарств, на который я сама вышила салфетку с ее инициалами посередине... Она пачкала и опошляла все своим прикосновением...

– Я понимаю, как это было для вас мучительно!

– Тем более что полное одиночество усугубляло мои страдания.

– Неужели у вас не было никого, кому вы могли бы довериться?

– Никого... Впрочем, я получила одно трогательное доказательство участия ко мне, которое могло просветить меня относительно моего будущего. Одним из двух свидетелей той сцены, когда я так сурово обошлась с госпожой Ролан, был, как я уже говорила, господин Дорваль, старый и честный нотариус, которому моя мать оказала несколько услуг, в частности, устроила судьбу одной его племянницы. После запрета моего отца я никогда не спускалась в салон, если в нем были посторонние, поэтому больше ни разу не видела Дорваля. Но однажды, к моему великому изумлению, он сам подошел ко мне с таинственным видом на аллее парка, где я обычно

гуляла. «Мадемуазель, – сказал он, – я боюсь, что господин граф застанет нас, поэтому скорее возьмите это письмо, прочтите и сразу сожгите. Речь идет об очень важных для вас вещах». И он поспешно удалился.

В этом письме он сообщал о намерении отца выдать меня за маркиза д'Арвиля; партия казалась, со всех точек зрения вполне подходящей; маркиз, обладал многими неоспоримыми достоинствами, был молод, богат, отличался умом и приятной внешностью, и тем не менее две семьи, к чьим дочерям по очереди сватался маркиз д'Арвиль, по каким-то причинам внезапно отказывали ему. Нотариус не знал причин этих двух отказов, но считал своим долгом предупредить меня, хотя и не знал за маркизом ничего предосудительного. Две девушки, к которым он сватался, были одна – дочь пэра Франции господина де Борегара, вторая – дочь лорда Болтропа. Дорваль сообщил мне об этом потому, что мой отец в своем нетерпении поскорее выдать меня замуж, по-видимому, не придавал никакого значения этим обстоятельствам.

– Да, в самом деле, – сказал Родольф, минуту подумав. – Теперь я припоминаю, что ваш муж сообщал мне сначала об одном своем сватовстве, а через год – о другом, и оба раза брачные договоры внезапно расторгались незадолго до свадьбы, по причинам денежных разногласий, как он мне писал.

Г-жа д'Арвиль горько усмехнулась и сказала:

– Сейчас вы узнаете всю правду, монсеньор... Прочитав письмо старого нотариуса, я ощутила одновременно любопытство и беспокойство. Кто такой этот маркиз д'Арвиль? Мой отец никогда не говорил мне о нем. Я напрасно рылась в памяти, но не могла даже вспомнить его имени. Вскоре госпожа Ролан, к моему великому удивлению, уехала в Париж. Она отсутствовала неделю, не больше, но отец все равно жестоко переживал даже такую краткую разлуку. Его характер заметно портился, он становился ко мне все холоднее. Однажды, когда я спросила, как он себя чувствует, он резко ответил: «Очень плохо, и все из-за вас!» – «Из-за меня?» – «Конечно! Вы знаете, как я привык к госпоже Ролан, а теперь эта восхитительная женщина, которую вы так оскорбили, ради вас отправилась в эту поездку и находится вдали от меня».

Такое проявление Интересы ко мне со стороны госпожи Ролан испугало меня. Я смутно догадывалась, что речь идет о моем замужестве. Можете представить себе, монсеньор, как обрадовался отец возвращению моей будущей мачехи. Назавтра он попросил меня зайти к нему; они были вдвоем.

«Я давно думал о вашем будущем, – сказал отец. – Срок вашего траура истечет через месяц. Завтра к нам приедет господин маркиз д'Арвиль, замечательный молодой человек, богатый и во всем вас достойный. С ним вы будете счастливы. Он видел вас в свете и живо заинтересован в этом браке. Все деловые вопросы уже улажены. Поэтому только от вас зависит, чтобы свадьба состоялась не позднее чем через полтора месяца. Если же по какому-нибудь внезапному капризу вы откажетесь от этой превосходной партии, на которую я даже не мог надеяться, я все равно женюсь, как я вам объявил, сразу же по окончании моего траура. В последнем случае, должен вас предупредить, ваше присутствие здесь будет возможным лишь в том случае, если вы обещаете выказывать моей жене любовь и уважение, какого она заслуживает». – «Понимаю, отец, – сказала я. – Если я не выйду за д'Арвиля, вы женитесь на госпоже Ролан, и тогда ни у вас, ни у нее не останется никаких возражений против того, чтобы я удалилась в монастырь Сердца Иисуса». – «Никаких», – холодно подтвердил отец.

– Увы, это уже не душевная слабость, а самая настоящая жестокость! – воскликнул Родольф.

– Поверьте, монсеньор, я никогда не обижалась на отца. И знаете почему? У меня было предчувствие, что когда-нибудь он заплатит, и, увы, очень дорого, за свою слепую страсть к госпоже Ролан. Слава богу, что день этот еще не пришел.

– И вы ничего ему не сказали о письме старого нотариуса, о двух случаях, когда с маркизом д'Арвилем внезапно расторгали брачный контракт?

– Да, монсеньор, сказала... В тот день я попросила отца разрешения поговорить с ним несколько минут наедине. «У меня нет секретов от госпожи Ролан, – ответил он. – Можете говорить при ней». Я хранила молчание. «Еще раз повторяю: у меня нет от нее секретов! – сурово

сказал отец. – Поэтому говорите открыто!» – «Если позволите, я подожду, когда вы освободитесь и будете один». Внезапно госпожа Ролан вскочила и выбежала. «Теперь вы довольны? – спросил отец. – Что ж, говорите!»

«У меня нет никаких возражений против партии, которую вы мне предлагаете. Однако я узнала, что господин д'Арвиль дважды сватался, но в последний момент ему оба раза отказывали...» – «Знаю, знаю, – прервал меня отец. – Все эти разрывы произошли на почве денежных разногласий, но в обоих случаях маркиз д'Арвиль проявил благородство и его не в чем упрекнуть. Если у вас нет других возражений, можете считать себя женой маркиза, и счастливой женой!.. Потому что я искренне желаю вам счастья».

– Госпожа Ролан, наверное, была в восторге от этой партии?

– В восторге? Да, монсеньор, – с горечью ответила Кле-манс. – Еще бы! Ведь это было делом ее рук. Она первая подала моему отцу эту мысль... Она прекрасно знала истинную причину, по которой д'Арвилю дважды отказывали. Именно поэтому она и хотела выдать меня за него замуж.

– Но с какой целью?

– Она хотела отомстить мне, обрекая на ужасную судьбу.

– Но ваш отец?

– Госпожа Ролан обманула его, и он поверил, что причиной отказов д'Арвилю были денежные разногласия.

– Какой гнусный замысел!.. Но в чем же была истинная причина?

– Сейчас я скажу вам, монсеньор. Маркиз д'Арвиль приехал к нам в Обье. Его манеры, его остроумие, его внешность понравились мне; у него было доброе, чуть грустное лицо, мягкий характер. Я заметила в нем одну не совсем понятную, но довольно привлекательную особенность: он был очень образован и знатен, обладал прекрасным состоянием, и все же лицо его, обычно энергичное и решительное, вдруг становилось испуганным и робким, выражая уныние и трогательную неуверенность в себе. Мне было также приятно видеть, с какой очаровательной добротой он относится к своему старому слуге, который его вырастил и служил ему до сих пор, потому что маркиз доверялся только ему одному. Через какое-то время д'Арвиль вдруг заперся и не выходил из своей комнаты два дня. Отец захотел его увидеть, но старый слуга этому категорически воспротивился. Он сказал, что его хозяина мучит такая жестокая мигрень, что он не может принять никого. Когда вышел на третий день, я нашла, что он очень бледен и сильно изменился. Позднее его всегда раздражали и огорчали любые разговоры об этом его коротком недомогании... По мере того как я узнавала д'Арвиля, я находила в нем все больше привлекательных черт. Он имел все основания быть счастливым, но никогда этим не кичился. Срок нашей свадьбы был установлен, и он старался предупредить малейшие мои желания во всем, что касалось нашего будущего. Если я иногда его спрашивала о причинах его мимолетной грусти, он мне рассказывал о своих родителях, которые были бы счастливы и горды тем, что сын их наконец нашел себе невесту по сердцу и по вкусу. Я была бы неблагодарной, если бы не приняла столь лестного для себя объяснения. Маркиз д'Арвиль догадался, в каких отношениях я была с госпожой Ролан и с отцом, хотя последний, обрадованный моим близким замужеством, которое приближало день его собственной свадьбы, стал ко мне заметно добрее и нежнее. Во время наших многих разговоров д'Арвиль с большим тактом и осторожностью давал мне понять, что любит меня еще больше за мои прошлые страдания. Я сочла нужным по этому поводу предупредить его, что мой отец собирается снова жениться, и начала рассказывать, как этот брак может отразиться на моем состоянии, но он не дал мне закончить, выказав самое благородное бескорыстие. Я подумала, что, наверное, семьи, с которыми он хотел породниться, оказались очень уж скряжными, если отвергли его из-за каких-то денежных интересов.

– Да, именно таким я его и знал, – подтвердил Ро-дольф. – Добросердечным, преданным и деликатным... Но вы никогда не говорили с ним об этих несостоявшихся браках?

– Признаюсь вам, монсеньор, этот вопрос много раз возникал у меня на губах, но он был так добр, так предан, что я каждый раз умолкала, боясь ранить его преданность и доброту... Чем ближе подходил день нашей свадьбы, тем счастливее был господин д'Арвиль. И все же време-

нами он впадал в мрачное уныние... Однажды он с печалью посмотрел на меня и глаза его наполнились слезами. Он казался очень удрученным, как будто хотел, но не решался доверить мне важный секрет... Я подумала, что он вспоминает о тех непонятных, болезненных отказах... Признаюсь, мне стало страшно. Тайное предчувствие предупредило меня, что речь идет, по-видимому, о чем-то ужасном, способном искалечить всю мою жизнь. Но я так настрадалась в доме моего отца, что подавила мои страхи...

– И д'Арвиль ничего вам не открыл?

– Ничего. Когда я спросила о причинах его печали, он ответил: «Простите, просто у меня такая грустная радость». Эти слова, произнесенные трогательным тоном, немного успокоили меня... К тому же как я могла сомневаться, когда глаза его были полны слез, как могла оскорбить его недоверием из-за его прошлого?

Свидетели со стороны маркиза д'Арвиля, герцог де Люсене и виконт де Сен-Реми, прибыли в Обье за несколько дней до нашей свадьбы, на которую были приглашены только наши ближайшие родственники. Сразу же после брачной церемонии мы должны были отправиться в Париж... Я не испытывала к маркизу любви, но он был мне симпатичен; его характер вызывал уважение. Если бы не события, последовавшие за моим роковым замужеством, я бы, наверное, нежно привязалась к нему. Итак, мы обвенчались.

При этих словах г-жа д'Арвиль побледнела, казалось, решимость покидает ее. Но затем она продолжала:

– Сразу после свадьбы отец нежно обнял меня. Госпожа Ролан тоже поцеловала меня, и я не могла при всех уклониться от этого лицемерного поцелуя. Своей белой сухой рукой она с такой силой сжала мою руку, что мне стало больно, и прошептала мне на ухо слащавым голосом коварные слова, которые я не забуду никогда: «Вспоминайте изредка обо мне, наслаждаясь своим счастьем, ибо это я устроила вашу свадьбу!»

Увы, я не могла тогда понять истинный смысл ее слов. Венчание закончилось в одиннадцать часов. Сразу после этого мы сели в карету; с нами была моя горничная и старый слуга маркиза. Мы ехали так быстро, что должны были добраться до Парижа часам к десяти вечера.

Меня бы удивила молчаливость и уныние д'Арвиля, если бы я не знала, что у него, как он говорил, радость печальная. Да и сама я волновалась и тосковала: я возвращалась в Париж первый раз после смерти матери, а кроме того, как ни горько мне жилось с отцом, все-таки это был мой родной дом, и я покидала его, Чтобы поселиться в чужом доме, где все для меня будет новым и незнакомым. Я останусь там одна со своим мужем, которого знаю всего полтора месяца и который еще накануне обращался со мной с изысканной вежливостью, не более. Вряд ли кто до конца понимает, какой страх внушают нам перемены в обращении даже самых воспитанных мужчин, когда мы становимся их женами. Никто не думает, что молодой женщине трудно за несколько часов преодолеть девичью робость и смущение.

– Мне всегда казался диким и варварским этот обычай так бесцеремонно и грубо увозить молодую жену, словно военную добычу, вместо того чтобы окружить ее нежностью и деликатностью и со всей осторожностью страсти пробудить ее к любви.

– Значит, вы понимаете, монсеньор, с каким тяжелым сердцем и с какими опасениями возвращалась я в этот город, где совсем недавно умерла моя мать. И вот мы приехали в дом д'Арвилей.

Волнение молодой женщины удвоилось, на щеках появился жгучий румянец, и она горестно воскликнула:

– И все же вам надо знать все до конца, иначе вы будете меня презирать еще больше! Так вот, – продолжала она с решимостью отчаяния, – меня проводили в предназначенные для меня покои и оставили одну... Вскоре господин д'Арвиль пришел ко мне... Несмотря на всю его предупредительность и нежность, я умирала от страха... Рыдания душили меня... Но я принадлежала ему... Нужно было отрешиться от себя... И вдруг мой муж испустил ужасный крик, схватил меня так, что кости затрещали, но я не могла вырваться из его железных объятий... Я молила его сжалиться, но он меня не слышал... Лицо его исказили страшные конвульсии, глаза вращались в орбитах с завораживающей быстротой, из перекошенного рта шла кровавая пена, и он все равно

не отпускал меня... Я потеряла сознание, когда маркиз д'Арвиль забился в судорогах в пароксизме этого ужасного припадка. Вот такой была моя брачная ночь, монсеньор... Такова была месть госпожи Ролан!

– Несчастливая женщина! – горестно воскликнул Родольф. – Я все понял, это эпилепсия... Какой ужас!

– И это еще не все, – добавила Клеманс душераздирающим голосом. – О, эта роковая ночь... будь она проклята навсегда! Моя доченька, мой бледный ангелочек унаследовала эту ужасную болезнь.

– Значит, ваша дочь тоже?... Значит, отсюда ее бледность и слабость?

– Да, отсюда. О господи, да, это так, и врачи говорят, что эта болезнь неизлечима... потому что она наследственная...

Маркиза д'Арвиль спрятала лицо в ладони; мучительное признание истощило ее, и она не могла больше произнести ни слова.

Родольф тоже молчал.

Мысль его невольно отступала перед ужасами этой трагической брачной ночи... Он представлял себе эту юную девушку, огорченную и подавленную возвращением в город, где умерла ее мать, представлял, как она вошла в незнакомый, чужой дом и осталась наедине с женщиной, к которому испытывала только симпатию и уважение, но ничего похожего на любовь, на сладостное смущение, на то пьянящее чувство, которое заставляет женщину забыть целомудренные страхи и предаться очарованию законной и разделенной страсти.

Нет, ничего этого не было. Дрожа от стыда и страха, Клеманс ждала, печальная и холодная, с разбитым сердцем, с пылающим лицом, с глазами, полными слез... Она решается, уступает... но вместо слов любви и нежности, вместо слов утешения и благодарности за счастье, которые она подарила, она слышит рычание безумца и видит у своих ног человека, пораженного самой ужасающей из всех неизлечимых болезней, который хрипит с кровавой пеной у рта и бьется в страшных судорогах.

И это не все! Ее дочь, бедный невинный ангелочек, тоже обречена от рождения.

Мучительные и горькие признания Клеманс пробудили у Родольфа мрачные мысли.

«Таковы законы этой страны, – говорил он себе. – Прелестная юная девушка, чистая, преданная и доверчивая, становится жертвой гнусного обмана и соединяет свою судьбу с человеком, пораженным ужасной болезнью, которая передается по наследству его детям. Несчастливая женщина слишком поздно узнает эту страшную тайну. Но что она может сделать? Ничего.

Ей остается только страдать и плакать, стараться превозмочь свой ужас и отвращение, проводить дни в агонии нескончаемых страхов, да еще, может быть, искать на стороне утешения в том беспросветном горе, на которое ее обрекли.

И снова эти жестокие законы, – говорил себе Родольф, – невольно наводят на горькие мысли, на сравнения, унижительные для человека.

По этим законам животные ставятся выше человека. О животных заботятся, улучшают их породу, оберегают их потомство.

Когда вы покупаете какое-нибудь животное, то, если у него вдруг обнаруживается какой-то недостаток или болезнь, сделку тут же аннулируют. Еще бы! Ведь это возмутительное преступление против общества заставлять человека держать больное животное, которое кашляет, бодается или хромот! Да ведь это скандал, преступление, чудовищная жестокость! Подумайте сами, каково это содержать всю жизнь чахоточного мула, бодливую корову или хромого осла! Какими страшными последствиями это может обернуться для всего человечества? Поэтому такую сделку отменяют, от договоренности отказываются, контракт расторгают. Всемогущий закон развязывает нам руки.

Но если речь идет о существе, созданном по образу и подобию божью, если юная девушка по своей невинности и доверчивости выходит замуж за человека, который потом оказывается эпилептиком, полубезумцем, пораженным одним из самых страшных недугов со всеми его ужасающими моральными и физическими последствиями, болезнью, которая разрушает и позорит семьи и способна поразить всех его потомков...

О, тот же закон, неумолимый по отношению к бодливым, хромым или кашляющим животным, тот же предусмотрительный закон, который запрещает использовать жеребца с пороками как производителя, этот закон не может спасти жертву обмана от противоестественного супружества.

Ибо узы священны и нерасторжимы, и разбить их – значит нанести оскорбление людям и господу богу.

Поистине, – говорил себе Родольф, – человек порой бывает подл до низости и эгоистичен до отвращения... Он сам ставит себя ниже всякого животного, здоровье которого оберегает, отказывая в этом себе. Он губит сам себя, навязывая и передавая ближним самые ужасные болезни, потому что они находятся под охраной незыблемых законов, божеских и человеческих».

Глава XVII МИЛОСЕРДИЕ

Родольф сурово порицал д'Арвиля, но он обещал себе хоть как-то оправдать его в глазах Клеманс, хотя после ее горьких признаний понял, что маркиз навсегда стал рабом своей страсти.

Он думал и думал и наконец сказал себе:

«Долг повелел мне удалиться от любимой женщины, которая, наверное, уже относилась ко мне благосклонно. Может быть, из сердечного одиночества, может быть, из ложной жалости она едва не потеряла честь и жизнь из-за какого-то глупца, которого досчитала несчастным. Если, вместо того чтобы избегать ее, я окружил бы ее заботами, любовью и уважением, я бы держался так осторожно, что на ее репутации не было бы ни малейшего пятнышка, и муж никогда бы ни в чем ее не заподозрил. А теперь она почти во власти этого фата Шарля Робера, и я боюсь, что он поведет себя подло и нескромно, тем более что у него нет для этого ни малейшего повода.

И еще одно. Кто знает, не займет ли сердце мадам д'Арвиль кто-нибудь другой, несмотря на все перенесенные ею опасности? Вернуться к мужу она не может, это невозможно... А она молода, красива, богата и по характеру склонна сочувствовать всем, кто страдает... Сколько опасностей ей угрожает! Сколько разочарований! А для д'Арвиля – сколько мучительных тревог и горя! Он сгорает от ревности и любви к своей жене, которая неспособна превозмочь отвращения и ужаса после той кошмарной первой брачной ночи... Несчастливая его судьба!»

Клеманс сидела, подпирая ладонью лоб; глаза ее были полны слез, щеки горели от стыда после столь тяжких признаний, и она избегала взгляда Родольфа.

– Увы, теперь я понимаю причину безнадежной печали маркиза д'Арвиля, – снова заговорил Родольф после долгого молчания. – Раньше я не мог ее разгадать... Теперь понимаю все его муки и сожаления...

– Его сожаления? – вскричала Клеманс. – Скажите лучше: угрызания совести!.. Если только он может их испытывать, ибо никогда еще подобное преступление не было так расчетливо и холодно задумано.

– Преступление?

– А как это еще назвать? Намеренно привязать к себе нерасторжимыми узами юную девушку, которая вам доверилась, и знать при этом, что вы поражены неизлечимой болезнью, внушающей страх и отвращение! И при этом знать, что наверняка обрекаешь своего несчастного ребенка на такие же муки! Кто принудил д'Арвиля принести нас в жертвы обеих, меня и мою дочь? Неудержимая, слепая страсть? Вовсе нет. Ему подошло мое происхождение, мое состояние и я сама, и он решил вступить в достойный для себя брак, потому что ему наскучила жизнь холостяка.

– Сударыня, имейте хотя бы жалость...

– Жалость? Знаете, кто действительно ее заслуживает, моей жалости? Это моя дочь. Несчастливая жертва нашего противоестественного брака. Сколько ночей, сколько дней просидела я рядом с нею! Сколько горьких слез пролила, глядя на ее страдания!..

– Однако ее отец... тоже испытывал незаслуженные страдания.

– Но это ее отец обрек ее на болезненное детство, на загубленную юность и на жизнь, – ес-

ли она останется жива! — полную горя и одиночества, ибо она никогда не выйдет замуж. О нет, я слишком люблю ее, чтобы она когда-нибудь проливала слезы над своим ребенком, пораженным роковым недугом, как я сегодня плачу над ней... Я слишком настрадалась из-за этого предательства, чтобы стать виновницей или сообщницей подобной же измены.

— Да, вы были правы, месть вашей мачехи ужасна... Но потерпите... Может быть, и вы когда-нибудь будете отомщены, — сказал Родольф после недолгого раздумья.

— Что вы хотите этим сказать, монсеньор? — спросила Клеманс, пораженная его тоном.

— Мне почти всегда улыбалось счастье видеть, как злодеи, которых я знавал, бывали наказаны, и пренебрежительно, — ответил он с выражением, заставившим Клеманс содрогнуться. — Но что сказал вам муж после той ужасной ночи?

— Он признался со странной наивностью, что семьи, с которыми он хотел породниться, узнали о его тайном недуге и тотчас разорвали брачные контракты. А потому, после того как его дважды отвергли, он все же попытался... О господи, как это недостойно! И подумать только, что его до сих пор принимают в свете как честного и благородного дворянина!

— Вы такая добрая, а сейчас вы жестоки.

— Я жестока потому, что была недостойно обманута. Господин д'Арвиль знал, что я добра, почему же он не обратился искренне к моей доброте, почему не сказал всю правду?

— Вы бы его отвергли...

— Это слово звучит как приговор, монсеньор, ибо он подло обманул меня, потому что знал о грозящей нам опасности...

— Но он любил вас!

— Если бы он любил, мог ли он принести меня в жертву своему эгоизму? Господи, если бы я не была в такой горе, не так спешила покинуть дом моего отца, будь мой муж до конца искренним, может быть, он тронул бы меня своим раскаянием, своим одиночеством, на которое его обрекала жестокая и неотвратимая судьба... Да, если бы я узнала его таким честным и несчастным, я бы, наверное, не нашла в себе смелости ему отказать. И если бы я согласилась принять на себя все священные обязательства супружеской преданности, я бы с мужеством сдержала свои обещания. Но поставить меня в полную зависимость, сначала взымая к моему долгу и к моему милосердию, а потом к моим обязанностям супруги, он, который предал свои обязанности мужа и честного отца... Это было трусостью и безумием! Теперь, монсеньор, судите сами, какова была моя жизнь. Судите о моих горчайших разочарованиях! Я верила в честность господина д'Арвиля, а он меня жестоко обманул. Меня тронула его нежная грусть, которую он объяснял печальными воспоминаниями, а она была всего лишь следствием его неизлечимого недуга.

— Но все-таки, неужели он стал вам так чужд и враждебен? Неужели его страдания не разжалобили вас, ваше благородное и милостивое сердце?

— Как я могла утешиться в моем горе! Если бы кто-то услышал мои жалобы, если бы чей-то сочувственный взгляд ответил мне... Увы! О, вы не знаете, монсеньор, как ужасны эти приступы, когда человек извивается в диких судорогах, ничего не видит, ничего не слышит и ничего не чувствует, а потом впадает в мрачную апатию. Когда у моей дочери случился такой приступ, я была в отчаянии; сердце мое разрывалось, я обливала слезами ее несчастные холодные ручки, сведенные судорогами, которые ее убивали... И это моя дочь, моя дочь! И когда я вижу, как она страдает, я тысячу раз снова проклинаю ее отца. Когда мучения моего ребенка утихают, утихает и моя ненависть к моему мужу. И тогда, тогда я жалею его, потому что я добра, и мое отвращение уступает место горькой жалости... Но неужели я вышла замуж в семнадцать лет только для того, чтобы всегда испытывать поочередно чувство ненависти и презрительного сочувствия, чтобы плакать над моим несчастным ребенком, которому, наверное, недолго осталось жить? И если уж говорить о моей дочери, монсеньор, позвольте отвести от себя упрек, которого я, наверное, заслуживаю и который вы не решаетесь мне сделать. Моя доченька такая милая, что могла бы заполнить все мое сердце; я страстно люблю ее, но мою болезненную привязанность к ней настолько омрачают повседневные опасения и страхи за ее будущее, что моя нежность к дочери всегда выражается в слезах. Когда я сижу рядом с ней, сердце мое разрывается от муки и отчаяния. Ибо я не в силах избавить ее от неизлечимого недуга. И вот, надеясь как-то избавиться от

этой удручающей и мрачной атмосферы, я возмечтала, что найду утешение в нежной привязанности, найду покой и отдохновение... Увы, я была обманута, признаюсь, недостойно обманута, и теперь возвращаюсь в ад, который создал для меня мой муж. Скажите, монсеньор, за что мне такие мучения? Неужели я одна виновата в проступке, за который д'Арвиль собирался сегодня утром лишить меня жизни? Вина моя велика, я это знаю, потому что до сих пор краснею от одного только имени моего избранника. К счастью для меня, то, что вы услышали, монсеньор, из разговора графини Сары и ее брата по поводу Шарля Робера, избавило меня от лишнего унижения. Теперь, надеюсь, вы не будете только порицать меня, но сжалитесь надо мной и посоветуете, как выйти из этого мучительного затруднения.

– Не могу вам выразить, мадам, как взволновал меня ваш рассказ. После смерти вашей матери и до рождения вашей дочери сколько скрытых страданий, сколько тайных мук довелось вам пережить!.. Вам, такой восхитительной, такой прекрасной, такой желанной!..

– О, поверьте мне, монсеньор, когда страдают от беды, которую невозможно открыть, нет ничего страшнее, как слышать отовсюду: «Она так хороша! Так счастлива!»

– Но это же ребячество. Не вы же одна страдаете от жестокого несоответствия между тем, что кажется, и тем, что есть на самом деле.

– Не понимаю вас, монсеньор.

– Ваш супруг должен казаться всем гораздо счастливее вас, потому что он обладает вами. А на самом деле он гораздо более достоин жалости. Можно ли представить более несчастного человека, чем он? Он так жестоко наказан! Он любил вас бесконечно, как вы того заслуживаете... Он знает, что вы не можете испытывать к нему ничего, кроме непреодолимой неприязни... Его болезненная, страдающая дочь – вечный упрек для него. И это еще не все, его терзает жестокая ревность.

– А что я могу, монсеньор? Даже не давать ему поводов для ревности? Пусть будет так. Но если мое сердце не принадлежит никому, имеет ли он на него право? Он знает, что не имеет. После той жуткой ночи, о которой я вам рассказала, мы живет отдельно, но перед всем светом я исполняю обязанности верной супруги... Никому, кроме вас, монсеньор, я не открыла этой ужасной тайны.

– И заверяю вас, сударыня, что если бы оказанная мною услуга и заслуживала какого-то осуждения, ваше доверие вознаградило меня тысячекратно. Но раз уж вы попросили у меня совета, позвольте говорить с вами откровенно.

– О, монсеньор, умоляю вас!

– Позвольте заметить вам, что, вместо того чтобы воспользоваться одним из самых драгоценных ваших достоинств, вы лишаете себя неповторимого счастья, которое могло бы не только утишить ваше глубокое сердечное горе, но и отвлекло бы от домашних неприятностей и удовлетворяло стремление к острым ощущениям и, я бы осмелился сказать, – извините меня за не столь высокое мнение о женщинах вообще, – пристрастие к тайным интригам, которые так влекут всех вас.

– Что вы хотите сказать, монсеньор?

– Я хочу сказать, что вам хочется совершать добрые дела, и ничто вам так не нравится, ничто вас так не привлекает.

Госпожа д'Арвиль смотрела на Родольфа с изумлением.

– Не подумайте, – продолжал он, – что я говорю с вами необдуманно или пренебрежительно. Щедрая милостыня беднякам, которых вы зачастую не знаете и которые, может быть, не заслуживают ваших благодеяний, забавляет вас. Точно так же, как меня иногда забавляет играть роль провидения. Признайтесь, иногда в благотворительности есть что-то пикантное, романтическое!

– Я никогда не думала, монсеньор, что в благотворительности Может быть нечто забавное, – тоже с улыбкой ответила Клеманс.

– Я сделал это открытие, потому что ненавижу все обыденное и скучное. Это я понял по время политических совещаний с моими министрами. Но вернемся к нашей забавной благотворительности. Я не обладаю достоинствами добрых людей, которые доверяют другим добрым

людям раздавать свою милостыню. Если бы дело шло о том, чтобы разослать моих камердинеров с несколькими сотнями луидоров по всем округам Парижа, признаюсь, к моему стыду, я бы не испытал от этого никакого удовлетворения. Потому что тайно творить добро, как я это понимаю, – самая забавная вещь на свете! Я повторяю: тайно, ибо только это мне нравится, только это меня привлекает. И поверьте, сударыня, если бы вы согласились стать моей сообщницей в кое-каких таинственных интригах подобного рода, вы бы увидели, клянусь честью, что нет ничего увлекательнее и прелестнее, а порой – ничего более захватывающего, чем эти приключения, связанные с благотворительностью. И потом – сколько надо уловок, чтобы скрыть свое имя! Сколько хитрости, чтобы никто не узнал, от кого поступили деньги! Какие сильные и разноречивые чувства пробуждаются при виде добрых бедняков, которые заливаются слезами благодарности! Господи, это стоит порой в тысячу раз больше, чем насупленное лицо любовника, ревнивого или неверного, а только такими они и бывают... Послушайте, вы можете вновь испытать эти чувства, почти те же самые, какие испытали сегодня утром на улице Тамплль... Одетая поскромнее, чтобы вас не узнали, с трепетом в сердце, вы сели бы в самый скромный фиакр, опустив при этом шторы, а потом, оглядываясь по сторонам, из страха, что вас заметят, вошли бы тайком в какую-нибудь жалкую с виду лачугу, как сегодня, повторяю, сударыня... Но только вы не говорили бы себе: если меня застанут здесь, я пропала! И еще вы говорили бы себе: если все узнается, я буду благословенна! Но поскольку вы скромны и стесняетесь своих добрых чувств, вы бы прибегали ко всем хитростям и чертовским уловкам, чтобы вас не благословляли.

– Ах, монсеньор! – с умилением вскричала г-жа д'Арвиль. – Вы меня спасаете! Я не в силах выразить, какие новые мысли и надежды пробуждают во мне ваши слова. Вы справедливо говорите: посвятить свое сердце и разум добру ради благодарности тех, кто страждет, – это все равно что полюбить... Что говорю я? Их благодарность больше чем любовь! Как я могла не увидеть, какое счастье открывается мне по сравнению с постыдным будущим, на которое обрекла бы меня моя ошибка, в которой я раскаиваюсь все горше?!

– Я тоже был бы этим очень огорчен, – с улыбкой ответил Родольф. – Потому что самое горячее мое желание – помочь вам забыть о прошлом и доказать, что душе открыты многие пути. Зло и добро зачастую идут по ним рядом, и только конечная цель отличает их... Иными словами, если добро и зло одинаково привлекательны и забавны, зачем выбирать последнее? Послушайте, я приведу вам довольно пошлый пример. Почему многие женщины предпочитают мужчин, которые не стоят и подметки их мужей? Потому что самое привлекательное в любви – это соблазн запретного плода... Признайтесь, если бы у такой любви отнять неуверенность, страхи, тревоги, опасности, риск, от нее бы не осталось ничего или очень мало – всего лишь любовник в самом примитивном смысле. И это всегда было бы не более, чем приключение мужчины, который на вопрос: «Почему вы не женитесь на этой вдове, вашей любовнице?» – ответил бы: «Увы, я подумывал об этом, но куда бы я девался тогда по вечерам?»

– Пожалуй, в этом большая доля истины, – сказала г-жа д'Арвиль с улыбкой.

– Так вот, если мне удастся избавить вас от ваших страхов, тревог и опасений, которыми вы опьяняетесь, если мне удастся использовать вашу врожденную склонность к тайнам и приключениям, вашу скрытность и хитрость, – уж простите мое нелестное мнение о женщинах, которое я, как видите, не в силах скрыть, – весело добавил Родольф, – то не смогу ли я использовать вашу доброту и непреклонность, качества превосходные, если они служат добру, и роковые, если они служат злу? Послушайте, мадам, мы могли бы вдвоем совершать всевозможные добрые дела помимо закона, оказывая хитрые милости, жертвами которых будут, как всегда, самые почтенные люди! У нас будут свои тайные свидания, переписка, наши секреты... А главное, мы уйдем из-под опеки маркиза, ибо ваш утренний визит к Морелям, должно быть, пробудил его подозрения. Короче, если вы согласны, завяжем настоящую интригу!

– С радостью и благодарностью принимаю ваше предложение участвовать в этом таинственном союзе, – весело ответила Клеманс. – А для начала нашего романа я завтра вернусь к тем беднякам – этим утром не смогла, к несчастью, принести ничего, кроме слов утешения, потому что какой-то хромой мальчишка воспользовался моим страхом и спешкой и выхватил у меня кошелек, который вы мне передали. Ах, монсеньор, – продолжала Клеманс, и лицо ее утрати-

ло минутное выражение робкой веселости. – Если бы вы знали, какая там нищета! Какая ужасная картина! Нет, я даже не думала, что на свете могут быть такие обездоленные... А я еще жалуясь... Я еще сетую на свою судьбу!..

Родольф был глубоко растроган словами г-жи д'Арвиль, которая на миг забыла о своей судьбе, доказывая тем свое благородство, и, не желая этого показывать, весело подхватил:

– Если позволите, я исключу Морелей из нашего сообщества. Я сам займусь этими бедняками. А главное, обещайте мне больше не приходить в этот мрачный дом... потому что я там живу.

– Вы, монсеньор? Это шутка!

– Я вполне серьезно. Комната, правда, скромная, за двести франков в год, и еще шесть франков за уборку, щедрая добавка консьержке, той самой отвратительной старухе Пипле, с которой вы познакомились. Прибавьте к этому, что соседка моя – одна из самых прелестных гризеток квартала Тампль, мадемуазель Хохотушка, и согласитесь, что для счетовода, который получает сто восемьдесят франков, – а меня там держат за счетовода, – жилье у меня вполне пристойное.

– Ваше неожиданное появление в этом... роковом для меня доме доказывает, что вы говорите правду, монсеньор. Видимо, какой-то великодушный замысел заставил вас там поселиться. Но какое доброе дело предназначили вы для меня? Какую роль я должна сыграть?

– Роль ангела-утешителя и, простите мне эти грубые слова, роль демона изворотливости и хитрости, ибо есть такие болезненные и тайные раны, которые может излечить лишь нежная рука женщины. На свете немало обездоленных, таких гордых, затаенных и скрытных, что нужна редкостная проницательность, чтобы их обнаружить, и неотразимое обаяние, чтобы завоевать их доверие.

– И когда я смогу проявить эту проницательность и обаяние, которыми вы меня наделяете? – нетерпеливо спросила г-жа д'Арвиль.

– Скоро, надеюсь, вы сможете одержать достойную вас победу. Но для этого вам придется проявить самую изощренную хитрость и лицемерие.

– Когда же вы посвятите меня в эту тайну, монсеньор?

– Давайте подумаем... Сегодня наше первое свидание... Вы окажете мне честь принять меня через четыре дня?

– Так долго? – наивно воскликнула Клеманс.

– А тайна? И еще условности! Посудите сами, если кто-то заподозрит, что мы сообщники, нас будут опасаться. Но, возможно, я вам напишу. Кто эта пожилая женщина, которая принесла мне сегодня вечером вашу записку?

– Бывшая горничная моей матери, сама преданность и неподкупность.

– Значит, я буду ей отдавать мои письма к вам. Если захотите мне ответить, пишите по адресу: господину Родольфу, улица Плюме. Пусть ваша горничная относит ваши письма на почту.

– Я сама могу это делать, монсеньор, когда буду прогуливаться как обычно пешком.

– Вы гуляете пешком и одна?

– Почти каждый день, когда хорошая погода.

– Превосходная привычка, хорошо бы ее усвоить всем женщинам с первых месяцев замужества. Всегда может пригодиться при любых обстоятельствах. Это, так сказать, прецедент, как выражаются наши юристы. Потом эти обычные прогулки не будут вызывать опасных подозрений. Если бы я был женщиной, – а, между нами говоря, боюсь, что я был бы женщиной одновременно очень милосердной, щедрой и очень легкомысленной, – завтра же после свадьбы я бы самым невинным образом начал совершать компрометирующие поступки... Я бы просто-душно напустил на себя таинственный вид, опять же чтобы создать прецедент, о котором я говорил, чтобы однажды спокойно отправиться по благотворительным делам... или к своему любовнику.

– Но это же кошмарное лицемерие, монсеньор! – с улыбкой сказала г-жа д'Арвиль.

– К счастью для вас, вам не дано понять всего смиренномудрия подобных предосторожностей.

Мадам д'Арвиль перестала улыбаться, покраснела, опустила глаза и печально сказала:

– Вы не великодушны, монсеньор.

Сначала Родольф поглядел на маркизу с удивлением, затем продолжал:

– Я вас понимаю. Однако давайте раз и навсегда определим ваше отношение к Шарлю Роберу. Однажды одна из ваших знакомых показывает вам жалкого попрошайку из тех, кто молитвенно закатывает глаза и печально играет на кларнете, чтобы разжалобить прохожих. «Это бедный, но добрый человек, – говорит вам ваша знакомая. – У него семеро детей, а жена слепая, глухая и немая и т. д. и т. п.». – «Ах, несчастный!» – восклицаете вы и подаете нищему щедрую милостыню. С тех пор этот нищий, завидев вас издали, умоляюще возводит глаза, а его кларнет издает самые жалостливые звуки, и каждый раз ваша милостыня попадает в кошель. Однажды ваша коварная подруга особенно растрогала вас рассказами о горестях этого бедняка и вы, по доброте своего сердца, решили посетить несчастного в его нищем жилище... Вы приходите, и о ужас! Вместо жалкого нищего с умоляющим взглядом и плаксивым кларнетом перед вами предстает жизнерадостный и нахальный здоровяк, распеваяющий кабацкие куплеты. И тотчас жалость к нему уступает место презрению, ибо вы приняли за доброго бедняка самого наглого обманщика, ни больше и ни меньше. Не так ли?

Маркиза д'Арвиль не могла удержаться от улыбки, слушая эту забавную притчу.

– Такое объяснение мне кажется весьма приемлемым, монсеньор, – ответила она. – Однако все не так-то просто.

– Однако в конечном счете вы совершили всего лишь благородную и великодушную неосторожность... И у вас довольно средств, чтобы ее исправить, а не сожалеть о ней... Но скажите, смогу я сегодня увидеть д'Арвиля?

– Нет, монсеньор... Утренняя сцена так его взволновала, что он... опять занемог, – ответила маркиза, понижая голос.

– Да? Ах, понимаю, – грустно сказал Родольф. – И все же мужайтесь! Вам не хватает цели в жизни, которая могла бы отвлечь вас от ваших печалей, как вы сами сказали. Искренне надеюсь, что вы найдете эту цель в том будущем, о котором я вам говорил... И тогда ваше сердце утешится и успокоится, и, может быть, в нем не останется места для горечи и презрения к вашему мужу. Вы почувствуете к нему жалость, как к вашей бедной дочери. А что касается этого ангелочка, то теперь, когда я знаю причину болезни, я осмелюсь сказать, что все-таки есть надежда...

– Неужели это возможно, монсеньор? – воскликнула Клеманс, молитвенно, складывая руки.

– Мой врач – человек мало известный, но очень ученый. Он долго пробыл в Америке. Помнится, он мне рассказывал о двух-трех случаях почти чудесного излечения рабов, пораженных этим ужасным недугом.

– Ах, монсеньор, возможно ли?..

– Не надо слишком надеяться, разочарование может быть жестоким... Но отчаиваться тоже не надо.

Клеманс д'Арвиль устремила на Родольфа взгляд, исполненный бесконечной признательности. Этот человек с благородными чертами лица, по сути, почти король, утешал ее с такой тактичной деликатностью и добротой!

И она спросила себя: как же она могла проявить хоть какой-то интерес к Шарлю Роберу?

Мысль о нем ужаснула ее.

– Я вам так благодарна за все, монсеньор, – сказала она взволнованно. – Вы успокоили меня, дали надежду, что дочь мою можно вылечить, и я поверила, несмотря ни на что, и вы открыли передо мной новое будущее, где я обрету одновременно утешение, радость и свое достоинство... Значит, я была права, когда писала вам, что, если вы сообразоволите прийти сюда этим вечером, вы завершите свой день так же, как его начали, – добрым делом!

– Все же добавьте, что эти добрые дела я совершаю из чистого эгоизма: они доставляют мне удовольствие лишь тогда, когда они интересны и очаровательны, – сказал Родольф, поднимаясь, ибо часы в гостиной пробили половину двенадцатого.

– Прощайте, монсеньор, и не забудьте поскорее сообщить мне об этих бедняках на улице Тампль.

– Я увижу их завтра утром... К сожалению, я не знал, что этот маленький хромец выхватил у вас кошелек, и эти бедняги, наверное, сейчас в отчаянном положении. Не забывайте, через четыре дня я извещу вас о той роли, которую вам предстоит сыграть. Однако должен предупредить, что вам, наверное, придется изменить свой облик и одежду.

– Переодевание! Какая прелесть! А какой наряд мне выбрать, монсеньор?

– Пока не могу сказать... Вы посмотрите сами.

Вернувшись к себе, принц мысленно поздравил себя с общим успехом разговора с г-жой д'Арвиль. Он намеревался: во-первых, занять чем-то серьезным ум и сердце этой юной женщины, которую невыносимое одиночество отделяло от мужа; пробудить в ней романтическое любопытство таинственной целью, не связанной с любовью, чтобы дать пищу ее воображению и душе и уберечь ее от новых любовных увлечений.

А во-вторых, внушить Клеманс д'Арвиль такую глубокую, неизлечимую и в то же время такую благородную и чистую страсть, чтобы эта юная женщина не смогла больше отдаться менее возвышенному чувству и никогда больше не смущала душевный покой маркиза д'Арвиля, которого Родольф любил как брата.

Глава XVIII НИЩЕТА

Читатель не забыл, наверное, что несчастная семья, главой которой был ювелир-гранильщик Морель, ютилась в мансарде в доме на улице Тампль.

Войдем в это печальное жилище.

Пять часов утра.

Снаружи царит глубокое безмолвие леденящей, непроглядной ночи. Идет снег.

Свеча, подпертая двумя щепками, воткнутыми в щели квадратной дощечки, не в силах разогнать своим желтоватым мертвенным светом темноту мансарды, узкой и низкой; потолок на две трети скошен крутым наклоном крыши; сквозь обрешетку повсюду видна снизу позеленевшая черепица.

Перегородки покрыты почерневшей от времени штукатуркой, она вся растрескалась, а местами вовсе осыпалась, и под нею видны полусгнившие доски этих жалких стен; в одной из них – щелястая дверь, ведущая на лестницу.

Грязный, липкий пол, утративший всякий цвет, усыпанный пучками гнилой соломы, вонючими тряпками и теми огромными костями, которые самые последние бедняки покупают у самых гнусных перекупщиков тухлого мяса, чтобы обглодать хрящи и сухожилия.⁹⁹

Такая страшная грязь всегда свидетельствует либо о крайней неряшливости, либо о крайней нищете, такой отчаянной и угнетающей, что даже честный человек, раздавленный и опустившийся, уже не находит в себе ни сил, ни воли, ни желания выбраться из этой клоаки и заживо гниет в ней, как зверь, замурованный в своей норе.

Днем эту комнатенку освещает узкое и длинное окно в наклонной части потолка, с застекленной рамой, которая поднимается и опускается с помощью крюка.

В тот час, о котором мы говорим, окно покрыто толстым слоем снега.

Свеча, поставленная примерно посередине мансарды на верстаке гранильщика, образует здесь неколеблющийся круг желтоватого света, который по краям постепенно тускнеет и теряется в тени чердака, где смутно угадываются какие-то беловатые предметы.

На верстаке, тяжелом дубовом столе, грубо оструганном и крепко сколоченном, среди пятен сажи и свечного сала сверкает и переливается, как живая, горсть довольно крупных рубинов и алмазов великолепной огранки.

⁹⁹ В кварталах бедноты немало таких перекупщиков, которые торгуют мясом мертворожденных телят, скота, павшего от болезней, и т. д.

Морель был специалистом по настоящим камням, а не по фальшивым, как он всем говорил и как думали его соседи в доме на улице Тампль. Благодаря этому невинному обману все полагали, что камушки, которые он огранивает, ничего не стоят, и он мог оставлять драгоценности у себя, не боясь, что его обворуют.

То, что люди доверяли такие сокровища такому бедняку, избавляет нас от необходимости говорить о безупречной честности Мореля.

Сидя на табуретке, сломленный усталостью, холодом и бессонницей после долгой ночи работы, гранильщик уронил на верстак свою отяжелевшую голову, свои затекшие руки и оперся лбом на большой горизонтально установленный наждачный круг, который он обычно вращал с помощью маленького ручного привода; пилочка из тонкой стали и другие инструменты разбросаны по верстаку; мы видим только лысую голову ремесленника, окруженную прядями седых волос; на нем старая вязаная кофта коричневого цвета, надетая прямо на голое тело, и дешевые полотняные штаны; на ногах у него рваные ботинки из обрезков кожи, и сквозь дыры видны его посиневшие ноги, поставленные на нижнюю перекладину стола.

В этой мансарде такой леденящий, пронизывающий холод, что даже в полусне измученный ремесленник иногда вздрагивает всем телом.

Длинный, обугленный фитиль свечи говорит о том, что Морель задремал уже довольно давно. Слышится только его стесненное дыхание, потому что остальные семеро обитателей мансарды не спят.

Да, в этой жалкой, тесной комнатенке живет восемь человек!

Пятеро детей, младшему из которых всего четыре года, а старшему едва исполнилось двенадцать.

И еще – больная мать.

И еще – ее мать, восьмидесятилетняя, выжившая из ума старуха.

Холод жестокий, потому что даже естественное тепло восьми человек, сгрудившихся в такой тесной комнатенке, не способной согреть леденящий воздух, потому что восемь худеньких, болезненных, дрожащих тел, начиная с маленького ребенка и кончая его бабушкой, выделяло мало калорий, как сказал бы ученый.

Никто из них не спит, кроме задремавшего отца, силы которого на исходе; и вовсе не холод, голод или болезнь заставляют их ни на миг не смыкать глаз, ни на миг.

Всем известно, как редок и драгоценен для бедняка глубокий, спасительный сон, в котором он забывает свои горести и черпает новые силы. После такой благословенной ночи он просыпается таким бодрым и свежим, готовым к самому тяжкому труду, что даже люди неверующие, в католическом смысле этого слова, испытывают смутное чувство благодарности если не к богу, то, по крайней мере, ко сну, и благословляют сон и того, кто его ниспослал.

Зрелище ужасающей нищеты этого ремесленника по сравнению с огромной ценностью доверенных ему камней потрясает разительным контрастом, который одновременно ранит и вызывает душу.

Зрелище невыносимых страданий его семьи постоянно стоит у него перед глазами; все беды и горести терзают его родных, начиная от голода и кончая безумием, но он свято хранит эти драгоценные камушки, а ведь любой из них мог бы избавить его жену и детей от лишений, которые их медленно убивают.

Разумеется, он исполняет свой долг, просто долг честного человека; но что значит просто исполнить свой долг? Этот подвиг всегда велик и прекрасен. А в таких условиях исполнение долга заслуживает еще большего уважения.

Разве этот ремесленник, такой несчастный и честный среди доверенных ему сокровищ, не представляет огромное и подавляющее большинство таких же честных людей, обреченных на нищету, но трудолюбивых и кротких, которые каждый день смотрят без ненависти и зависти на великолепие и роскошь богачей?

Есть нечто благородное и утешительное в том, что не сила и не страх, а глубокое нравственное чувство сдерживает этот могучий и страшный народный океан, который мог бы захлестнуть все общество, если бы вышел из берегов, опрокидывая все законы и установления, как

разбушевавшееся море опрокидывает плотины и разбивает дамбы.

Душа и разум проникаются глубочайшей симпатией к этой великодушной мудрости народа, проявляющего столько мужества и терпения и требующего за все свои муки только немножко места под солнцем.

Однако вернемся к нашему примеру столь ужасающей и, увы, слишком реальной нищеты и попытаемся ее описать во всей ее страшной наготе.

У ювелира всего один тоненький матрас и кусок одеяла, которые пришлось отдать бабке, потому что та в своей глупости и старческом эгоизме не желала ни с кем делить свой топчан.

В начале зимы она стала впадать в буйство и однажды едва не задушила самую младшенькую, четырехлетнюю, когда ее хотели уложить рядом с нею, потому что у девочки начиналась чахотка и она мерзла на соломенном матрасе, где спала вместе со своими братьями и сестрами.

Сейчас мы объясним, как зачастую укладываются спать подобные бедняки. По сравнению с ними животные на ферме просто сибариты – у каждого своя соломенная подстилка!

Таков общий вид мансарды ремесленника, каким он предстает, когда глаза привыкают к полумраку, где теряется слабый свет свечи.

У опорной стены, менее сырой, чем все другие перегородки, стоит деревянная рама с матрасом, – топчан, на котором лежит полубезумная старуха. Она не выносит никаких платков, поэтому ее седые волосы острижены очень коротко и обрисовывают череп с плоским лбом; густые брови затеняют глубокие орбиты, где диким огнем горят глаза; впалые, мертвенно бледные щеки с тысячами морщин словно приклеены к скулам и выступающим углам челюсти; она лежит на боку, сжавшись в комок, так что ее подбородок почти касается колен, и трясется под серым шерстяным одеялом, слишком коротким, чтобы прикрыть ее целиком, из-под которого высовываются худые ноги и обтрепанный подол старой юбки. Омерзительный, гнилой запах исходит от топчана.

Вдоль той же стены за изголовьем старухи лежит на полу соломенный матрас, на котором спят пятеро детей.

И вот каким образом.

С каждой стороны полотняного матраса сделали два надреза по его длине, затем уложили детей внутрь, в сырую и зловонную солому, так что обе половинки матраса служат им и простыней и одеялом.

Две маленькие девочки, одна из которых тяжело больна, дрожат от холода с одного края, трое мальчиков – с другого.

Все улеглись одетыми, если только можно назвать одеждой их жалкие лохмотья.

Густые, белокурые волосы детей, тусклые, спутанные и взъерошенные, – потому что мать не стрижет их, надеясь хоть как-то уберечь от холода, – наполовину закрывают их бледные, лишённые красок, болезненные личики. Один из мальчиков натянул окоченевшими, пальцами чехол матраса до подбородка, чтобы лучше укрыться, другой, боясь высунуть руки наружу, держит край чехла зубами, но у него щелкают зубы от холода; третий жмется между двумя братьями.

Младшая из девочек, пораженная чахоткой, бессильно опустила свое несчастное личико, уже синевато-бледное и прозрачное, на холодную как лед грудь своей пятилетней сестренки, которая тщетно старается согреть ее в своих объятиях и следит за ней с тревогой и страхом.

На другом матрасе в глубине лачуги, напротив своих детей, лежит жена ремесленника, сгорая от медленной лихорадки; какой-то болезненный недуг вот уже несколько месяцев не позволяет ей встать.

Мадлен Морель тридцать шесть лет. Старый платок из синей бумазеи, повязанный над ее впалым лбом, еще больше подчеркивает болезненную желчную бледность ее костлявого лица. Коричневые круги обрамляют угасшие глаза; кровавые трещины рассекают побелевшие губы.

Ее печальное, унылое лицо, незначительное и малопривлекательное, изобличает один из тех добрых, но слабых характеров, которые не имеют ни сил, ни энергии для борьбы с жестокой судьбой, а только сгибаются перед ней, покоряются и могут только жаловаться и плакать.

Слабая, вялая, ограниченная, она осталась честной, потому что ее муж был честен; если бы она была предоставлена самой себе, нищета могла бы сбить ее с праведного пути и подтолкнуть

ко злу. Она любила своих детей, своего мужа, но не было ни сил, ни воли, чтобы удержаться от горьких жалоб на свою и их судьбу. Часто ювелиру, чей упорный труд поддерживал всю семью, приходилось прерывать работу, чтобы утешать и успокаивать несчастную, больную жену.

Поверх грубого одеяла из толстого полотна, местами протертого до дыр, Морель накинул на жену, чтобы ее согреть, какую-то одежду, настолько старую и заплатавшую, что ее уже никто не хотел брать в залог.

Маленькая печка, котелок и глиняный кувшин с отбитым носиком, две-три выщербленные чашки, разбросанные там и сям по столу, корыто, стиральная доска и большая каменная бадья, поставленная под скатом крыши возле щелястой двери, сотрясаемой порывами ветра, – вот и все достояние этой семьи.

Эту горестную картину озаряет свеча, чье пламя колеблется от зимнего ветра, проникающего сквозь щели черепичной кровли, то выхватывая из мрака бледные образы нищеты, то вдруг вспыхивая тысячами огней, тысячами радужных искр, озаряя верстак, за которым заснул гра-нильщик.

Но никто из его несчастной семьи не спит; они лежат молча и все, от безумной старухи до самых младших детей, не спускают с него глаз, ибо он их единственная опора, единственная надежда.

В своем наивном эгоизме они беспокоятся, что он ничего не делает, сломленный усталостью.

Мать думает о своих детях.

Дети думают о себе.

Безумная старуха, похоже, не думает ни о чем.

Но вдруг она приподнялась на своем топчане, скрестила на костлявой груди сухие, длинные руки, желтые, как самшит, и уставилась на свечу моргающими глазами. Потом медленно встала, увлекая за собой как саван лохмотья своего одеяла.

Она была очень высокого роста, ее коротко стриженная голова казалась слишком маленькой, толстая нижняя губа отвисла и конвульсивно подергивалась: эта отвратительная маска была олицетворением жестокости и слабоумия.

Идиотка осторожно подкралась к верстаку, как ребенок, собирающийся набедокурить.

Подойдя к свече, она приблизила к ней трясущиеся ладони; они были такими худыми, что пламя, которое они заслоняли, придало им синеватую прозрачность.

Мадлен Морель следила со своего матраса за каждым движением старухи. Продолжая греть у свечи руки, та опустила голову и с идиотским любопытством принялась рассматривать переливы рубинов и бриллиантов, сверкавших на верстаке.

Увлеченная этим зрелищем, слабоумная старуха слишком приблизила ладони к пламени свечи, обожглась и дико вскрикнула хриплым голосом.

От этого крика Морель вздрогнул, проснулся и живо поднял голову.

Ему было сорок лет, его открытое лицо дышало умом и добротой, но нищета уже отметила его и состарила. Седая щетина, отросшая за несколько недель, скрывала нижнюю часть его лица со следами оспы; преждевременные морщины залегли на его уже лысеющем лбу; покрасневшие веки были воспалены от постоянного недосыпания.

Как это часто бывает у рабочих слабого телосложения, обреченных на сидячую работу, которая заставляет их по целым дням оставаться на месте, такая работа деформировала хилую фигуру ювелира. Ему приходилось все время сгибаться над верстаком и наклоняться в правую сторону, чтобы вращать наждачный круг, и он как бы застыл и окостенел в той позе, которую сохранял по двенадцать – пятнадцать часов в день; он сгорбился и уже скособочился.

Кроме того, его правая рука, которой он постоянно приводил в движение тяжелый наждачный круг, стала необычайно сильной и мускулистой, в то время как левая, всегда неподвижная и опирающаяся о верстак, чтобы точнее подводить фасетки бриллиантов на наждачному кругу, сделалась страшной худой, каким-то жалким отростком; слабые ноги почти атрофировались от недостатка движения и с трудом поддерживали измученное тело, вся сила и жизненная субстанция которого, казалось, сосредоточились в единственном его органе, постоянно выполнявшем

безмерную работу.

Как иногда говорил сам Морель с горькой отрешенностью:

«Я ем не столько чтобы жить, сколько для того, чтобы придать силу руке, которая вращает круг».

Внезапно разбуженный ювелир оказался лицом к лицу со слабоумной старухой.

– Что с вами? Что вам нужно, матушка? – спросил Морель, потом добавил, понижая голос, чтобы не разбудить остальных, – он думал, что они спят. – Ступайте, ложитесь, матушка, и не шумите. Мадлен и дети спят.

– Я не сплю, я стараюсь согреть Адель, – сказала старшая дочка.

– А я слишком голоден и не могу заснуть, – подхватил один из сыновей. – Ведь вчера была не моя очередь ужинать, как мои братья, у мадемуазель Хохотушки.

– Бедные дети! – горестно сказал Морель. – А я-то надеялся, что вы хоть поспите.

– Я не хотела тебя будить, Морель, – сказала его жена. – Иначе я попросила бы у тебя воды; мне хочется пить, опять у меня приступ лихорадки.

– Сейчас, сейчас, – ответил ювелир. – Только сначала надо уложить твою мать. Послушайте, не трогайте мои камни! – прикрикнул он на слабоумную, которую заворожило сверканье крупного рубина. – Ступайте, ложитесь спать!

– Это, вот это, – бормотала идиотка, протягивая руку к драгоценному камню.

– Вы меня рассердите, матушка! – сказал Морель, повышая голос, чтобы напугать свою тещу, и тихонько отстраняя ее руку.

– Боже мой, боже мой, как хочется пить! – простонала Мадлен. – Дай же мне воды!

– Как я могу отойти! Не могу же здесь оставить твою мать рядом с моими камнями! А вдруг она куда-нибудь денет еще один бриллиант, как в прошлом году? Один бог знает, чего нам стоил этот бриллиант и сколько еще будет стоить.

И ювелир уныло провел ладонью по лбу. Затем он обратился к одному из сыновей:

– Феликс, подай матери воды, раз уж ты не спишь!

– Нет, нет, я подожду, – возразила Мадлен. – А то он еще простудится.

– Снаружи не холоднее, чем в этом матрасе, – сказал мальчик, поднимаясь.

– Послушайте, кончайте это! – вскричал Морель угрожающим голосом, чтобы отогнать идиотку, которая не отходила от верстака и все пыталась схватить один из камней.

– Мать, вода в бадье замерзла! – крикнул Феликс.

– Так разбей лед, – сказала Мадлен.

– Он слишком толстый, я не могу.

– Морель, разбей лед в бадье, – нетерпеливо потребовала Мадлен плаксивым голосом. – Раз уж мне нечего пить, кроме воды, пусть будет хотя бы вода! Я умру от жажды!

– Боже мой, боже мой, где взять терпения? – вскричал несчастный ювелир. – Я не могу отойти, пока твоя мать не ляжет.

Он никак не мог отделаться от идиотки, которая раздражалась все больше, встречая его сопротивление, и злобно что-то ворчала.

– Да позови ты ее, – обратился Морель к жене. – Она иногда тебя слушается.

– Мама, ложись спать! Если ты будешь умницей, я дам тебе кофе, который ты так любишь.

– Это, вот это! – не унималась идиотка, пытаясь на сей раз оттолкнуть Мореля и добраться до желанного рубина.

Морель удерживал ее, грозил, но все было тщетно.

– Господи, ты же знаешь, что не справишься с ней, если не пригроишь кнутом! – воскликнула Мадлен. – Только это может ее испугать и успокоить.

– Может быть, и так, – согласился Морель. – Но грозить старой женщине кнутом, даже слабоумной, мне просто отвратительно.

Старуха пыталась его укусить, и он удерживал ее одной рукой. Наконец закричал страшным голосом:

– А где кнут! Если немедленно не ляжешь, отведаешь кнута!

Но и эти угрозы не испугали слабоумную.

Тогда он выхватил из-под верстака кнут, громко щелкнул, угрожая идиотке, и крикнул:

– В постель! Сейчас же ложись!

От громкого хлопка кнута старуха отпрянула, но тут же остановилась посередине мансарды, ворча сквозь зубы и бросая на зятя злобные взгляды.

– В постель! В постель! – повторял тот, наступая на нее и щелкая кнутом.

Только тогда идиотка начала медленно пятиться в свой угол, грозя ювелиру костлявым кулаком.

Желая поскорее закончить эту сцену и подать жене напиток, он приблизился к идиотке вплотную и последний раз громко щелкнул кнутом, впрочем ее не задев, и еще раз повторил грозным голосом:

– Немедленно в постель!

Перепуганная старуха дико завопила, бросилась на свой топчан, сжалась там, как побитая собачонка, и принялась стонать и вопить что есть мочи.

Дети тоже испугались: они решили, что отец действительно ударил старуху кнутом.

– Не бей бабушку! Не бей! – закричали они, заливаясь слезами.

Невозможно передать, как ужасна была ночная сцена, сопровождаемая мольбами детей, злобными воплями идиотки и жалобными причитаниями жены ювелира.

Глава XIX НЕОПЛАЧЕННЫЙ ДОЛГ

Ограничку Морелю приходилось не раз выдерживать сцены, подобные той, которую мы описали, но сейчас он бросил кнут под свой верстак и вскричал в порыве отчаяния:

– Боже, и это жизнь? Какая это жизнь!

– Разве я виновата, что моя мать слабоумная? – слезливо вопрошала Мадлен.

– А может быть, это я виноват? Я же ничего не прошу. Я убиваю себя этой работой ради всех вас. Я тружусь день и ночь и не жалуюсь. Пока хватит сил, я буду работать. Но я не могу зарабатывать на хлеб для всех и в то же время быть сиделкой при слабоумной старухе, больной жене и детях! Нет, право, нет на небесах справедливости! Это несправедливо, обрушивать на одного человека столько горя и нищеты! – проговорил ювелир с отчаянием и почти упал на свой верстак, обхватив голову руками.

– Но ведь никто не захотел взять мою мать в приют, потому что она еще не совсем безумна! Что же ты хочешь от меня? – жалобно спросила Мадлен плаксивым, ноющим голосом. – Что мы можем поделать? Сколько ни мучь себя, какой от этого толк, если все равно ничего не изменишь?

– Да, ничего, – согласился бедный ювелир, утирая слезы, увлажнившие его глаза. – Ничего, ты права... Но когда все разом обрушивается на тебя, нелегко с собой совладать.

– Боже мой, боже, как я хочу пить! Я дрожу, и лихорадка сжигает меня, – простонала Мадлен.

– Подожди, сейчас принесу воды.

Морель подошел к бадье под скатом крыши. С трудом он разбил корку льда, зачерпнул чашку ледяной воды и понес ее жене, которая нетерпеливо протягивала к нему руки.

Но, подумав мгновение, он сказал ей:

– Нет, вода слишком холодная. Когда у тебя приступ лихорадки, это тебе повредит.

– Мне повредит? Тем лучше! Дай мне скорей напиток, – с горечью возразила Мадлен. – Чем скорее все кончится, тем скорее ты избавишься от меня и останешься сиделкой только при детях и слабоумной старухе. Не придется тогда заботиться о больной жене.

– Почему ты так говоришь со мною, Мадлен? – печально спросил Морель. – Я этого не заслужил. Прошу тебя, не мучь меня; у меня осталось сил и разума только для работы, в голове моей мутится, и боюсь, она не выдержит. И что станет тогда с вами со всеми? Я забочусь о вас. Если бы дело шло обо мне одном, я бы не думал о будущем. Слава богу, реки текут для всех и примут меня тоже.

– Бедный Морель! – растроганно воскликнула Мадлен. – Я не права, я не должна была до-
садовать и говорить, что хочу умереть, чтобы освободить тебя. Не сердись, я говорила искренне.
Ведь я ничем не могу вам помочь, ни тебе, ни детям. Вот уже полтора года я не встаю с постели...
О господи, как я хочу пить! Прошу тебя, дай мне воды.

– Подожди чуть-чуть, я стараюсь согреть чашку в моих ладонях.

– Как ты добр! И я еще смела упрекать тебя...

– Бедная моя жена, ты так страдаешь, а страдания ожесточают. Говори мне все что хочешь,
но только не говори, что хотела бы умереть и освободить меня.

– Но зачем я тебе нужна теперь?

– А зачем нам нужны наши дети?

– Чтобы ты еще больше сидел за своим верстаком.

– Да, правда, из-за вас мне приходится иногда работать. Из последних сил по двадцать часов в сутки, я стал кривобоким и одноруким уродом. Но неужели ты думаешь, что я бы надрывался так ради себя одного? О нет, такая жизнь невыносима, и я бы расстался с нею.

– Так же, как и я, – подхватила Мадлен. – Если бы не дети, я бы давно сказала тебе: Морель, хватит нам с тобой мучиться! Разожги печурку, подкинь угля, и... прощай нищета! Но дети, наши дети...

– Ты видишь, и они нам для чего-то нужны, – сказал Морель с восхитительной наивностью. – На, попей, только маленькими глоточками, потому что вода еще холодная.

– О, спасибо, Морель, спасибо! – сказала Мадлен, с жадностью припадая к чашке.

– Хватит, хватит...

– Да, вода очень холодна, меня трясет еще больше, – сказала Мадлен, возвращая чашку.

– Боже мой, боже, я же тебе говорил, тебе станет хуже...

– Ничего, у меня уже нет сил дрожать. Мне просто кажется, что я вмерзла в лед, вот и все...

Морель снял с себя кофту, накрыл ею ноги жены, а сам остался по пояс голым; у несчастного не было рубахи.

– Но ты же замерзнешь, Морель!

– погоди немного, если мне будет слишком холодно, я на время возьму кофту.

– Бедный мой муж! Да, ты прав, нет в небесах справедливости. За что нам такие страдания, когда другие...

– Каждому свое горе, большим и малым.

– Но горе больших людей не подводит им живот от голода, не заставляет дрожать от холода. Послушай, когда я думаю, что только один из этих бриллиантов, которые ты шлифуешь, мог бы позволить нам жить в довольстве, тебе и нашим детям, у меня сердце переворачивается. И зачем им эти бриллианты?

– Если спрашивать, зачем это им, можно зайти далеко. Можно спросить, зачем этому господину, этому майору, как его называет мамаша Пипле, весь второй этаж, который он снял и обставил, хотя никогда там не живет! Зачем ему эти мягкие постели и теплые одеяла, хотя он ночует где-то в другом месте?

– Да, это правда. Там хватило бы добра не на одну бедную семью, такую, как наша... Не говоря уже о том, что мамаша Пипле каждый день топит там, чтобы мебель не отсырела. Сколько тепла уходит зря, а мы с нашими детьми дрожим от холода! Ты ответишь мне: мы ведь не мебель! О, эти богачи, как они жестоки!

– Не более жестоки, чем другие люди, Мадлен. Но, понимаешь, они не знают, что такое нищета. Они рождаются счастливыми, живут счастливыми и умирают счастливыми: к чему им думать о таких, как мы? И еще раз скажу: они не знают... Как им представить страдания бедняков? Чем больше они проголодались, тем больше радуются: значит, тем лучше пообедают! Чем холоднее на дворе, тем лучше; они говорят: какой чудный морозец! Это ведь так просто! Если они выходят прогуляться пешком, они возвращаются к пылающему камину, и, чем сильнее мороз, тем приятнее им тепло очага. Поэтому они не могут нас понять и пожалеть: голод и холод обращаются для них в удовольствие. Понимаешь, они не знают, не знают!.. И мы бы на их месте

поступали точно так же.

– Значит, бедные люди лучше их, потому что знают и понимают друг друга. Эта добрая маленькая мадемуазель Хохотушка, которая так часто ухаживала за мною и за детьми, когда мы болели, позвала вчера Жерома и Пьера разделить с ней ужин. А что ее ужин? Всего лишь чашка молока и кусочек хлеба. А в ее возрасте у девушек хороший аппетит: она поделилась последним, оторвала от себя.

– Бедная девушка! Да, она очень добра. А почему? Потому что она знает, что такое горе и нищета. Я всегда повторяю: если бы эти богачи знали, если бы они только знали!..

– А эта дамочка, которая прибежала к нам такая перепуганная и все спрашивала, не нужно ли нам чего, она-то теперь знает, что такое нищета? Но ведь она же не вернулась!..

– Я не то хотел сказать, – мягко возразил Морель. – Я говорю: у них свои недостатки, а у нас – свои.

– Может быть, она вернется, потому что, несмотря на испуг, лицо у нее было доброе и благородное!..

– Беда в том, что они не знают!.. Беда в том, например, что множество полицейских ищут бродяг, совершивших преступления, и нет ни одного, кто бы искал честных тружеников, обремененных семьей, что прозябают в такой нищете, ждут помощи в самый нужный момент и могут порой впасть в соблазн. Справедливо карать зло – это, может быть, лучшее средство предотвращать его. Вы были честным до пятидесяти лет; но крайняя бедность, голод толкают вас на преступление, и вот – еще одним злодеем больше!.. Но если бы они знали!.. Однако к чему говорить об этом? Мир таков, каков он есть. Я беден, и я отчаялся, а потому говорю так; будь я богат, я бы говорил о другом, о празднествах и наслаждениях. Как ты чувствуешь себя, бедная моя женоушка? – спросил он, помолчав.

– Все так же!.. Ног не чувствую!.. Но ты весь дрожишь. Возьми свою кофту и задуй свечу, нечего ей зря гореть, уже светает.

И на самом деле бледный рассвет уже пробивался сквозь снег на откидном окне мансарды и печально освещал ее убожество, еще более трагичное ранним утром. Ночные тени хотя бы частично скрывали эту нищету.

– Подожду, пока совсем рассветет, а потом снова сяду за работу, – сказал ювелир, присаживаясь на край постели своей жены и пряча лицо в ладони.

Помолчав немного, Мадлен спросила:

– Когда госпожа Матье придет за камнями, которые ты ограниваешь?

– Сегодня утром. Мне осталось отшлифовать только одну фасетку фальшивого бриллианта.

– Фальшивого бриллианта? Но ты же работаешь только с настоящими камнями, хотя в доме и думают по-другому!

– Как, разве ты не знаешь? Да, когда в тот день приходила госпожа Матье, ты спала. Она принесла мне десять фальшивых бриллиантов, десять рейнских камушков и попросила, огранить их точно так же, как подлинные бриллианты, которые она мне вручила вместе с рубинами. Я никогда еще не видел алмазов такой чистой воды: эти десять камней стоят наверняка больше шестидесяти тысяч франков.

– А зачем ей понадобилось заказывать к ним фальшивки?

– Одна знатная дама, кажется, герцогиня, которой принадлежат бриллианты, поручила ювелиру Бодуэну продать ее ожерелье и сделать вместо него такое же из фальшивых камней. Госпожа Матье, доверенная Бодуэна, объявила мне это, когда принесла настоящие камни, и просила, чтобы фальшивые ничем не отличались от них по форме и огранке. Матье обратилась с такой же просьбой к еще четырем огранщикам, потому что нужно было изготовить к нынешнему утру сорок или пятьдесят фальшивых бриллиантов. Я не мог сделать все один к утру, а Бодуэну нужно еще время, чтобы вставить эти фальшивые камни в оправу. Госпожа Матье призналась, что эти знатные дамы частенько пытаются потихоньку заменить подлинные бриллианты рейнскими камушками.

– Я понимаю. Эти фальшивые камни очень похожи на настоящие, и некоторые знатные дамы носят для украшения только их, но им никогда не приходит мысль, что хотя бы один брилли-

ант мог бы избавить от нищеты и страданий такую семью, как наша!

– Бедная моя жена! Будь разумна, горе делает тебя несправедливой. Кто из них знает, что мы, Морели, несчастны?

– Ну что ты за человек, о господи, что за человек! Тебя будут резать на куски, и все равно ты скажешь спасибо.

Морель снисходительно пожал плечами.

– Сколько должна тебе госпожа Матье? – спросила Мадлен.

– Почти ничего, потому что я попросил у нее заранее сто двадцать франков.

– Ничего? Мы же потратили вчера последние двадцать су!

– Да, но что поделаешь, – ответил Морель, вид у него был убитый.

– Что же нам делать?

– Не знаю.

– Булочник не дает больше хлеба в долг...

– Да, поэтому я вчера одолжил у госпожи Пипле четверть батона.

– Матушка Бюрет не ссудит нас?

– Нас? После того как она приняла в залог все наши вещи, подо что ей ссужать? Под наших детей? – ответил Морель с горькой улыбкой.

– Но ведь все мы – моя мать, дети и мы, съели вчера всего полтора фунта хлеба! Ты же не можешь умереть с голоду. Ты сам виноват: не захотел записать нас на этот год в благотворительное общество.

– Туда записывают только бедняков, у которых есть утварь, мебель, а у нас нет ничего; на нас смотрят как на отверженных. В приюты принимают детей, у которых есть хотя бы куртка или блуза, а у наших – одни лохмотья. И потом, чтобы попасть в список этих благотворительных обществ, мне пришлось бы ходить в их конторы по двадцать раз, потому что у нас нет покровителей. Я потерял бы больше времени, чем если бы я работал.

– Но что же тогда делать?

– Может быть, та маленькая дама, которая приходила вчера, не забудет нас?

– Как же, дожидайся! Скорее госпожа Матье одолжит нам сотню су. Ты работаешь на нее уже десять лет, она не оставит в такой крайности честного человека, обремененного семьей.

– Не думаю, чтобы она выручила нас из беды. Она сделала все что могла, одалживая мне понемногу сто двадцать франков; для нее это большие деньги. Если она служит доверенной комиссионершей по бриллиантам и носит в своей сумочке порою камни на сотни тысяч франков, это вовсе не значит, что она богата. Она вполне довольна, когда получает сотню франков в месяц, потому что у нее на руках две племянницы, которых она должна воспитать и поставить на ноги. Видишь ли, для нее сто су – все равно что сто су для нас, и порой у нее и этого не бывает, а ты знаешь, что это такое. Она уже так много дала нам в долг, что не может отнять кусок хлеба у себя и своей семьи.

– Вот что значит работать на посредницу, вместо того чтобы иметь дело с настоящими ювелирами! Они, во всяком случае, щедрее. Но тебя всегда стригли, как покорную овцу, и виноват в этом только ты.

– Да, я виноват! – вскричал бедняга, не в силах более выносить эти глупые упреки. – Кто стал причиной всех наших несчастий? Не твоя ли мать? Если бы она не задевала куда-то бриллиант, за который до сих пор приходится платить, мы бы давно разделались с долгами, я бы давно получал полностью за свою работу, у нас были бы деньги, которые пришлось взять из страховой кассы и еще добавить к этому втрое больше за все, что одолжил нам этот Жак Ферран. Да будет проклято имя его!

– Но ты все не решаешься попросить хоть немного у этого скряги. Конечно, он скуп и, может, не даст ничего, но все-таки стоит попробовать?

– Попросить у него? Обратиться к нему! – вскричал Морель. – Да пусть я лучше сгорю на медленном огне. Прошу тебя, не говори мне больше об этом человеке, иначе ты сведешь меня с ума.

При этих словах лицо Мореля, обычно доброе и покорное, обрело выражение трагичной

решимости и на бледных щеках выступили красные пятна. Он резко поднялся и взволнованно заходил по мансарде. Он был слаб, кривобок, но черты его лица выражали благородное негодование.

– Ты знаешь, я добрый человек и в жизни никому не делал зла, но этот нотариус!¹⁰⁰ – воскликнул он. – О, я желаю ему столько же горя, сколько он принес мне!

Он обхватил голову руками и с болью прошептал.

– Господи, за что моя горькая участь, которой я не заслужил, отдала меня и всю мою семью в безраздельную власть этого лицемера? Неужели он всегда сможет пользоваться своими деньгами, чтобы губить, развращать и унижать всех, кого захочет погубить и унижить?

– Что ж, плачь и жалуйся! – сказала Мадлен. – Проклинай его! А что толку, если он посадит тебя в тюрьму, – а он может это сделать хоть сегодня из-за векселя на тысячу триста франков, за который он подал на тебя в суд. Он держит тебя как курицу на веревочке. Я тебя презираю не меньше, чем этого нотариуса, но раз мы от него зависим, придется...

– Позволить ему обесчестить нашу дочь? Ты этого хочешь? – вскричал Морель громовым голосом.

– Господи, молчи, дети не спят! Они тебя слышат!

– Правда? Ха-ха! Тем лучше, – ответил Морель с горькой иронией. – Это будет хорошим примером для наших маленьких дочерей, это их подготовит. Пусть Только дождутся, когда нашему нотариусу взбредет на ум новая фантазия! Мы от него целиком зависим, как ты говоришь? Повтори еще раз, что он может бросить меня в тюрьму, когда захочет. Говори откровенно. Значит, мы должны отдать ему нашу дочь?

И несчастный шлифовальщик разразился рыданиями, ибо этот добрый по натуре человек не мог продолжать разговор в этом тоне язвительного сарказма.

– Дети мои! – вскричал он, обливаясь слезами. – Бедные дети мои! Моя Луиза! Моя добрая и прекрасная Луиза! Слишком добрая, слишком красивая... И отсюда, наверное, все наши беды. Если бы она не была так хороша, этот человек не предложил бы мне деньги в долг. Я честен и трудолюбив, ювелир дал бы мне отсрочку, и я ничем не был бы обязан этому старому подлецу, и он не мог бы, за оказанную нам милость, посягать на честь нашей дочери, я бы и на день не оставил ее в его доме. Но пришлось, пришлось. Он держит меня за горло. О, нищета, нищета, сколько обид и оскорблений ты заставляешь нас терпеть!

– А что делать? Ведь сказал же он Луизе: «Если ты уйдешь от меня, я посажу твоего отца в тюрьму...»

– Да, он тыкал ей, как самой последней девке.

– Если бы только это, мы бы еще потерпели, – возразила Мадлен. – Но уйди она из дома нотариуса, он посадил бы тебя в тюрьму, и что бы тогда стало со мной, с детьми и с моей матерью? Если Луиза будет получать на другом месте всего двадцать франков в месяц, как мы проживем на это вшестером?

– Значит, для того, чтобы прожить, мы пожертвуем честью Луизы?

– Ты всегда преувеличиваешь! Нотариус волочит за ней, это правда, она нам сама сказала, но она честная девушка, и ты это знаешь.

– Да, она честная, работающая и добрая... Когда ты заболела и нам приходилось туго, она захотела пойти в услужение, чтобы не быть в тягость. Я тебе не сказал тогда, чего мне это стоило! Чтобы она стала прислугой... чтобы ее попрекали и унижали! Ее, такую гордую по натуре! Ты помнишь? Мы смеялись тогда, называя ее принцессой, – она грозила навести у нас такую чистоту, что наша бедная комнатуха станет маленьким дворцом. Дорогая моя девочка! Ничего мне не надо, лишь бы она осталась со мной, хотя бы мне пришлось для этого работать все ночи напролет. Когда я видел рядом, у моего верстака ее веселое румяное лицо и карие глаза, когда слышал ее песенки, работа казалась мне легче легкого! Бедная Луиза, такая трудолюбивая и при

¹⁰⁰ Читатель, может быть, помнит, что Лилия-Мария еще совсем маленькой была доверена заботам этого нотариуса и что его экономка отдала девочку Сычихе, которая согласилась заботиться о ней, сразу получив за это аванс в тысячу франков.

этом такая веселая... Даже твоя мать всегда ее слушалась... Да что там! Стоит Луизе заговорить с человеком, взглянуть на него – и он во всем с ней соглашается. А помнишь, как она за тобой ухаживала, как забавляла тебя, сестричек и братьев, не думая о себе? На все она находила время... Может, потому, когда ушла Луиза, ушло наше счастье, все ушло...

– Прошу тебя, Морель, не напоминай мне об этом, тырываешь мне сердце! – воскликнула Мадлен, заливаясь горячими слезами.

– И когда я думаю, что этот старый урод... Нет, от одной этой мысли у меня в голове мутится. Я готов убить его, а потом покончить с собой.

– А мы, что станет с нами? И еще раз говорю тебе: ты все преувеличиваешь! Может быть, нотариус сказал это Луизе просто так, шутя... Ведь он же ходит в церковь каждое воскресенье, посещает священников разных приходов... И многие люди говорят, что отдавать ему деньги надежнее, чем в страховую кассу.

– А что это доказывает? Только то, что он богат и лицемер! Я хорошо знаю Луизу, она честная... Но она любит нас, как никто. Сердце у нее обливается кровью, когда она видит нашу бедность. Она знает, что без меня вы бы умерли с голоду; и если этот нотариус грозит ей упрятать меня в тюрьму, она, несчастная, может согласиться.... О, голова моя, голова! Нет, я сойду с ума!

– Ах, господи, если бы это случилось, нотариус дал бы ей денег, разные подарки, и она, конечно, не оставила бы все себе, она бы поделилась с нами.

– Замолчи! Как тебе в голову могло прийти такое? Луиза?..

– Но для себя... Ради нас...

– Замолчи, говорю тебе, замолчи! Мне страшно... Если бы не я, до чего бы ты дошла... Что стало бы с тобой... и с нашими детьми тоже, если ты на самом деле так думаешь...

– Но что я плохого сказала?

– Ничего...

– Так почему ты боишься, что она...

Морель нетерпеливо оборвал жену:

– Я боюсь, потому что вот уже три месяца, как Луиза приходит к нам и чего-то стесняется, почему-то краснеет.

– Потому что рада видеть тебя!

– А может быть, от стыда? И к тому же она с каждым разом все печальнее...

– Потому что видит, что нам живется все хуже. И потом, когда я говорила с ней о ее нотариусе, она сказала, что теперь он больше не грозит тебе тюрьмой.

– Но какой ценой она отвела эту угрозу? Она не сказала и краснеет всякий раз, когда целует меня. О господи, как просто бесчестному хозяину сказать честной служанке, которая от него целиком зависит: «Уступи мне, иначе я тебя выгоню за нерадивость и ты нигде больше не устроишься!» Но чего проще сказать ей: «Уступи, иначе я засажу твоего отца в тюрьму!» Тем более что он знает: вся семья зависит от работы ее отца. Это же в тысячу раз преступнее!

– Но если подумать, что алмазы на твоём верстаке помогли бы вернуть долг нотариусу, вызволить от него нашу дочь и оставить у нас... – медленно проговорила Мадлен.

– Повторяй это хоть сотни раз, но к чему? – с горечью ответил Морель. – Если бы я был богат, я конечно бы не был бедняком.

Верность слову для него была настолько естественна, настолько, если можно сказать, органична, что ему и в голову не приходило, что его жена, ожесточенная нищетой и болезнями, могла даже подумать о чем-то дурном и попытаться поколебать его непогрешимую честность.

– Надо смириться, – продолжал он с горечью. – Счастливы те, кто мог держать своих детей при себе и оберегать от всяких соблазнов. Но дочь бедняка?.. Кто может ее уберечь? Никто... Едва она войдет в возраст, чтобы хоть сколько-нибудь зарабатывать своими руками, она с утра бежит в свою мастерскую и возвращается только вечером. А в это время отец работает и мать тоже. Время – наше достояние, и хлеб насущный обходится так дорого, что нам некогда следить за нашими детьми. К чему же тогда все эти вопли о недостойном поведении девушек из бедных семей? Если бы мы могли держать их дома, если бы у нас было время гулять с ними по городу...

Лишения ничто – по сравнению с тем, что нам приходится оставлять одних жену, детей, родителей... Ведь именно нам, беднякам, семейная жизнь была бы спасительной и утешительной. Но, увы, едва наши дети достигают разумного возраста, нам приходится с ними расстаться!

В этот момент кто-то грубо и шумно застучал в дверь мансарды.

Глава XX СУДЕБНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Удивленный гранильщик поднялся и открыл дверь. В мансарду вошли двое мужчин.

Один из них, высокий и тощий, с прыщавым лицом, обрамленным густыми черными бакенбардами с проседью, держал в руке тяжелую трость со свинцовым набалдашником; на нем была мягкая шляпа и грязный зеленоватый длинный сюртук, застегнутый на все пуговицы. Из потертого воротника черного бархата выглядывала длинная шея, красная и облезлая, как у стервятника. Звали его Маликорн.

Другой, пониже ростом, коренастый толстяк, вульгарный и красноречивый, был одет с претензией на роскошь. На его рубашке сомнительной чистоты сверкали фальшивые бриллианты, длинная золотая цепочка пересекала потертый клетчатый жилет, а пальто его было серо-желтого цвета... Этого человека звали Бурден.

– О господи, здесь просто разит нищетой и смертью! – воскликнул Маликорн, переступая порог мансарды.

– Да, тут не мускусом пахнет! – подхватил Бурден, презрительно отдуваясь. – Ну и вонища!

Затем он надвинулся на Мореля, который смотрел на него с крайним удивлением и возмущением.

Через полуоткрытую дверь сунулась любопытная, злая и хитрая мордочка колченогого мальчишки, который незаметно следовал за этими незнакомцами, подсматривал, подслушивал и выводил.

– Что вам угодно? – воскликнул Морель, возмущенный наглостью этих людей.

– Вы Жером Морель? – спросил Бурден.

– Да, это я.

– Рабочий-шлифовальщик?

– Да.

– Мы не ошибаемся?

– Еще раз говорю вам: это я. Но вы меня выводите из себя. Что вам нужно? Объяснитесь или уйдите прочь!

– Смотри-ка, какие они здесь честные-пречестные! – воскликнул Маликорн, обращаясь к своему товарищу. – А здесь не очень-то жирно, не то что у виконта Сен-Реми, тут не поживишься!

– Да, но когда есть «навар», тебя встречают с каменными рожами, как тогда, на улице Шайо. А птичка-то наша оттуда уже улетела, и остались мы с носом. Только такие вот крысы прячутся по своим норам.

– Похоже, похоже. Он уже испекся и готов, хоть на стол подавай!

– Надо только, чтобы волк-ростовщик¹⁰¹ не жадничал, а то это будет стоить ему дороже... Но это уж его дело.

– Послушайте! – возмущенно вскричал Морель. – Если бы вы не были пьяны, – а на это очень похоже, – я бы по-настоящему рассердился. Немедленно убирайтесь из моего дома!

– Ха-ха! Посмотрите на этого недоноска! – воскликнул Бурден с оскорбительным смехом, намекая на физический недостаток гранильщика. – Ты слышал, Маликорн? И он еще называет своим домом эту... конуру, в которую я бы не посадил и собаку!

– Боже мой! – вскричала Мадлен, настолько перепуганная, что до сих пор не могла сказать

¹⁰¹ Заимодавец, кредитор.

и слова. – Боже мой, позови на помощь! Это, наверное, злодеи... Морель, твои бриллианты!..

Видя, что два незнакомца действительно приближаются к верстаку, на котором сверкала россыпь драгоценных камней, Морель испугался. Он бросился к верстаку и прикрыл камни обеими руками.

Вездесущий и всюду подслушивающий Хромуля уловил слова Мадлен, заметил жест гранильщика и сказал себе:

«Ах, вот оно как! Говорили, будто он шлифует только стекляшки... А на деле? Если бы камни были фальшивыми, он бы так не боялся за них... Надо запомнить. И еще – матушку Маттье, которая сюда частенько навещается. Значит, она – доверенная ювелира и ходит с настоящими камнями в своей сумочке. Надо запомнить. И Сычихе сказать, и Сычихе сказать», – пропел колченогий сын Краснорукого.

– Если вы не уйдете, я крикну полицейских! – пригрозил Морель.

Испуганные дети заплакали, а старая идиотка приподнялась на своем топчане.

– Звать полицейских? Пожалуйста! Только позовем их мы, слышите, господин недоносок?! – сказал Бурден.

– Особенно потому, что, возможно, понадобится их помощь, когда мы потащим вас в тюрьму, если вздумаете брыкаться, – добавил Маликорн. – С нами нет мирового судьи, но, если он вам так нужен, мы его представим, вытащив его из постели, совсем тепленького и такого добренького... Бурден, сходи за судьей!

– Меня... в тюрьму? – вскричал пораженный Морель.

– Да, в Клиши...

– В Клиши? – повторил ошеломленный гранильщик.

– У него, наверное, с головой не все в порядке, – заметил Маликорн.

– В долговую тюрьму, если это вам больше нравится! – пояснил Бурден.

– Значит, вы... Как же так?.. Значит, нотариус... О господи!

И Морель, побледнев как смерть, упал на свою табуретку, не в силах вымолвить больше ни слова.

– Мы судебные приставы, и нам поручено схватить тебя, если повезет... Теперь понятно, деревня?

– Дети! – взмолилась Мадлен. – Просите этих господ не уводить нашего несчастного отца, нашего единственного кормильца! Ах, Морель! – воскликнула она душераздирающим голосом. – У них записка от хозяина Луизы. Мы погибли!

– Вот постановление, – сказал Маликорн, вынув из своей папки документ с печатями.

Он пробормотал, по своему обыкновению, почти невнятно большую часть текста, зато отчетливо прочитал последние слова, к несчастью слишком понятные Морелю:

«Исходя из последнего, суд приговаривает вышеупомянутого Жерома Мореля выплатить вышеупомянутому негоцианту Пьеру Пти-Жану долг в тысячу триста франков, взыскав его со всего его имущества и с него самого со всеми процентами со дня вынесения приговора и со всеми судебными расходами.

*Заслушано и утверждено в Париже, 13 сентября 1838 года».*¹⁰²

– А как же Луиза? – воскликнул Морель, почти ничего не поняв в этой тарабарщине. – Что с Луизой? Где она? Значит, она ушла от нотариуса, раз он может посадить меня в тюрьму? Луиза!.. Господи, что с ней стало?

– Какая еще Луиза? – спросил Бурден.

– Хватит! – грубо прервал его Маликорн. – Ты что, не видишь, что он ломает комедию? Пошли! – продолжал он, подступая к Морелю. – Налево кругом и вперед! Шагай, раб нерадивый. Пора подышать свежим воздухом, а то здесь такая вонища!..

¹⁰² Ловкий нотариус знал, что не сможет преследовать бедного Мореля в судебном порядке от своего имени, а потому подsunул ему так называемый безыманный вексель и затем заполнил его на третье лицо.

– Морель, не ходи с ними! Защищайся! – в отчаянии закричала Мадлен. – Убей этих проходимцев! О, какой ты трус! Неужели ты позволишь увести себя? Оставить нас одних?

– Не стесняйтесь, сударыня, будьте как дома, – сардонически усмехнулся Бурден. – Но если ваш муженек поднимет на меня руку, я его оглушу.

Морель думал сейчас только о Луизе и почти не слышал того, что говорили с ним рядом. Внезапно выражение горькой радости осветило его лицо и он воскликнул:

– Значит, Луиза ушла из дома нотариуса! Что ж, я пойду в тюрьму с легким сердцем.

Но, окинув взглядом мансарду, он вскричал:

– А моя жена? Ее мать? Все мои дети? Кто будет их кормить? Мне же не доверят камни, если я попаду в тюрьму. Все будут думать, что я в чем-то виноват... Это же смерть для меня и всей моей семьи! Этого хочет нотариус?

– И раз, и два, мы когда-нибудь с этим покончим? – завопил Бурден. – Как это надоело! Одевайся, и пошли!

– Добрые господа, простите меня за то, что я тут наговорила, – взмолилась Мадлен со своего тюфяка. – Вы ж не так жестоки, чтобы увести Мореля! Что станет со мной, с пятью детишками и слабоумной матерью? Посмотрите на нее, посмотрите, как она скорчилась на своем топчане! Она совсем впала в детство, добрые господа, она выжила из ума!

– Эта остриженная старуха?

– Смотри-ка, она в самом деле острижена! – сказал Маликорн. – А я-то думал, что у нее на голове белый платок.

– Дети, просите не колених этих добрых господ! – воскликнула Мадлен в последней попытке умиловить судебных приставов.

Но перепуганные детишки только плакали и не осмеливались вылезти из своего матраса.

От всего этого необычного шума, от вида незнакомых людей старая идиотка начала кричать и глухо рычать, ударяясь затылком о стену.

Морель, казалось, не видел, что происходит вокруг него. Этот удар был таким ужасным, таким неожиданным; арест его грозил такими страшными последствиями, что он не мог об этом даже думать... Лишения измучили его, и он вконец обессилел; бледный, с блуждающим взглядом, сидел он на своей табуретке, опустив руки, с поникшей на грудь головой.

– Довольно! Тысяча чертей! Когда-нибудь это кончится? – завопил Маликорн. – Мы что здесь, на свадьбе? Пошли, иначе я тебя поволоку!

Пристав схватил ремесленника за плечо и затряс.

Эти угрозы, эти грубые жесты вконец испугали детей; трое мальчиков, почти голые, выбрались из своего матраса, бросились в ноги судебным приставам и закричали, сложив ручки, жалобными голосами:

– Пощадите! Не убивайте нашего отца!..

При виде этих несчастных детей, дрожащих от холода и от испуга, Бурден, несмотря на всю природную жестокость и привычку к подобным сценам, почти растрогался. Однако его неумолимый коллега оттолкнул детей, которые цеплялись за его ноги с умоляющим плачем.

– Эй, прочь, сопляки! Какая собачья должность, иметь дело с такими нищими!

Ужасное происшествие сделало эту сцену еще страшнее. Старшая из девочек, которая лежала в матрасе со своей больной сестрой, вдруг закричала:

– Мама, мама, я не знаю, что такое с Адель! Она вся холодная... Смотрит на меня и не дышит...

Несчастливая чахоточная девочка тихо умерла без единой жалобы, глядя на сестренку, которую так любила...

Невозможно передать, как закричала жена Мореля, услышав эти слова, ибо она сразу поняла все. Это был жуткий, потрясающий вопль, вырвавшийся, казалось, из самого чрева матери.

– Наверное, сестра моя умерла! Боже мой, боже мой, как я боюсь! – закричала девочка. Она выбралась из матраса и, гонимая страхом, бросилась в объятия матери.

А та, забыв, что почти парализованные ноги не могут ее держать, сделала отчаянную попытку подняться, чтобы подойти к своей мертвой дочери. Но силы оставили ее, и она упала на

свой топчан с последним горестным криком отчаяния.

Этот крик пробудил Мореля; он вдруг вышел из оцепенения, бросился к распоротому матрасу и поднял младшую, четырехлетнюю, дочку на руки.

Она была мертва.

Холод и лишения ускорили ее смерть... хотя ее болезнь, вызванная нищетой, и так была смертельна.

Ее худенькие ручки и ножки уже окоченели и были ледяными...

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава I ЛУИЗА

Морель стоял неподвижно, пораженный ужасом и отчаяньем, седые волосы его растрепались; он держал мертвую дочь на руках и неотрывно смотрел на нее сухими, воспаленными глазами.

– Морель, Морель, дай мне мою девочку! – воскликнула несчастная мать, протягивая к мужу руки. – Нет, это неправда, она не умерла!.. Ты увидишь, я ее согрею...

Эти крики, суэта двух приставов вокруг Мореля, который не хотел расстаться с тельцем своей дочери, возбудили любопытство старой идиотки. Она перестала вопить, поднялась и свесила свою уродливую и глупую голову через плечо Мореля... Несколько мгновений безумная старуха смотрела на труп внучки.

Лицо ее сохраняло обычное выражение идиотизма и жестокости, через минуту она хрипло зевнула с подвывом, как голодная гиена, бросилась на свой топчан и завопила:

– Есть хочу! Есть хочу!

– Вы видите, господа, видите эту бедную девочку? Ей было четыре годика, ее звали Адель... Вчера еще я поцеловал ее на ночь, а сегодня утром... Вы скажете: одним ртом меньше и я должен только радоваться, не так ли? – растерянно бормотал Морель.

Разум его не выдерживал этих ударов, следовавших один за другим.

– Морель, дай мне мою дочь, дай мне ее! – кричала Мадлен.

– Да, ты права, каждому свой черед, – ответил несчастный отец.

Он положил мертвую девочку на руки матери, обхватил голову руками и мучительно застонал.

Мадлен тоже не помнила себя: она зарыла тельце дочери в солому своего матраса, глядя на нее со звериной ревностью, а остальные дети стояли рядом на коленях и горько рыдали.

Судебные приставы, растроганные смертью ребенка, вскоре спохватились и обрели свою обычную грубую жестокость.

– Послушай, приятель! – сказал Маликорн. – Дочь твоя умерла, это, конечно, несчастье, но все мы смертны. Мы тут ни при чем, а ты тем более... Следуй за нами! Нам надо прихватить еще одну птичку, такой уж сегодня удачливый денек.

Морель его не услышал.

Погруженный в свои горькие мысли, отрешенный от всего, гранильщик разговаривал сам с собой глухим прерывистым голосом:

– Надо все-таки похоронить мою девочку... Надо посидеть рядом с ней, тогда ее не унесут... Похоронить, но на какие деньги? У нас нет ничего... А гроб! Кто нам даст его в долг? Даже такой маленький гроб! Для девочки четырех лет... Это ведь недорого!.. А катафалк? Зачем? Такой гробик можно отнести на руках. Ха-ха-ха! – разразился он вдруг жутким смехом. – Да я же счастливчик! Она могла умереть в восемнадцать лет, в возрасте Луизы, и тогда никто мне не дал бы в долг большой гроб!

– Эй, пора кончать с этим! – сказал Бурден Маликорну. – Этот парень сейчас спятит. Ты посмотри на его глаза! И еще эта старуха, которая вопит от голода... Ну и семейка!

– Да, пора кончать... Правда, за арест этого нищего нам заплатят всего семьдесят шесть франков семьдесят пять сантимов, мы по справедливости округлим все расходы до двухсот сорока или двухсот пятидесяти франков. Волк за все заплатит.

– То есть даст аванс, но платить за всю музыку придется этому зайчику да еще плясать под нее!

– Если он откопает где-нибудь две с половиной тысячи франков, – за свой долг с процентами, судебными расходами и прочим, вот будет жарко!

– А пока мы здесь замерзаем, – ответил пристав, дуя на пальцы. – Давай кончать. Поведем его, успеет еще похныкать по дороге... Мы с тобой, что ли, виноваты, что его малявка загнула?

– А не надо плодить детей, когда жрать нечего!

– Пусть ему будет наукой! – добавил Маликорн и хлопнул Мореля по плечу. – Вставай, приятель, пойдем, у нас нет времени. Если не можешь заплатить – в тюрьму!

– В тюрьму? Господина Мореля? – раздался чистый и звонкий голос, и в мансарду ворвалась юная девушка, румяная, свежая брюнетка с непокрытой головой.

– Ах, мадемуазель Хохотушка! – воскликнул кто-то из детей, утирая слезы. – Вы такая добрая! Спасите папу, его хотят увести в тюрьму, а наша маленькая сестренка умерла...

– Адель умерла! – воскликнула девушка, и ее большие черные глаза наполнились слезами. – Вашего отца в тюрьму? Этого не может быть...

Она стояла неподвижно, обводя горящим взглядом всех, кто был в мансарде: Мореля, его жену, судебных приставов.

– Послушайте, милое дитя, вы, похоже, в своем уме, так образумьте этого человека! Его маленькая дочь умерла, ну и ладно! Но мы должны отвести его в Клиши, в долговую тюрьму. Мы судебные приставы коммерческой палаты.

– Значит, это правда? – воскликнула девушка.

– Очень даже правда! Мать спрятала девочку в своей постели, отнять ее невозможно, столько возни... А папаша постарается воспользоваться суматохой и сбежать...

– Господи! Господи боже мой! Какое несчастье! Что же делать?

– Заплатить или сесть в тюрьму. Другого выбора нет. Найдется у вас две-три ассигнации по тысяче франков, чтобы одолжить ему? – насмешливо спросил Маликорн. – Если найдется, сбегайте за ними в банк и погасите его должок, нам ничего больше не надо.

– О, как это отвратительно! – возмущенно воскликнула Хохотушка. – Вы еще смеете шутить, когда такое горе...

– Так вот, кроме шуток, – оборвал ее другой пристав. – Если вы такая добрая и хотите чем-то помочь, постарайтесь, чтобы жена не видела, как мы уведем ее мужа. Вы избавите их обоих от неприятной сцены.

При всей своей грубости совет был разумен, и Хохотушка, следуя ему, подошла к Мадлен. Та не помнила себя от горя и даже не заметила девушку, вставшую на колени возле ее матраса рядом с плачущими детьми.

Морель немного пришел в себя после приступа отчаяния, – но его угнетали самые мрачные мысли. Он понимал весь ужас своего положения. Если нотариус решил на такую крайность, от него нечего ждать пощады, а судебные приставы только исполняли свой долг.

Морель решил покориться.

– Так пойдем мы наконец или нет? – воскликнул Бурден.

– Я не могу оставить здесь бриллианты, – ответил Морель, показывая на драгоценные камни, рассыпанные на верстаке. – Моя жена не в себе от горя, а доверенная ювелира придет за ними только утром или днем. Камни стоят очень дорого...

«Тем лучше, тем лучше, – промурлыкал про себя Хромуля, который по-прежнему прятался за полуоткрытой дверью. – Тем лучше! Сычиха узнает и это».

– Подождите хотя бы до завтра, чтобы я мог вернуть бриллианты! – продолжал Морель.

– Ничего не выйдет! Пошли!

– Но я не могу оставить здесь бриллианты, они могут пропасть!

– Возьми их с собой, внизу ждет фиакр, заплатишь за него по статье расходов. Поедем к твоей ювелирше, а если ее нет, сдашь камушки в камеру хранения в тюрьме Клиши, там они будут надежнее, чем в банке... И поторопись, чтобы твоя жена и дети не заметили, как мы уходим.

– Прошу вас, подождите до завтра, чтобы я мог похоронить мою дочь! – взмолился Морель прерывающимся от рыданий голосом.

– Нет! Мы и так уже целый час потеряли.

– Да и похороны огорчат вас еще больше, – добавил Маликорн.

– Да, огорчат, – с болью ответил Морель. – Вам ведь так не хочется огорчать людей!.. Еще одно слово...

– Черт побери! Ты пойдешь наконец? – заорал Маликорн, потеряв терпение.

– Скажите только, когда вы получили ордер на мой арест?

– Приговор вынесен четыре месяца назад, но наш судебный исполнитель получил его от нотариуса вчера.

– Только вчера? Почему же он ждал так долго?

– Откуда мне знать! Вставай, собирайся!

– Вчера!.. И Луиза не приходила... Где она? Что с ней? – бормотал гранильщик, вынимая из-под верстака картонную коробку с ватой и укладывая в нее драгоценные камни. – Но что сейчас гадать?.. В тюрьме будет время обо всем подумать.

– Послушай, собирай поскорей свои вещи и одевайся!

– У меня нет никаких вещей, только алмазы, чтобы отдать на сохранение в тюремную канцелярию.

– Тогда одевайся!

– У меня нет другой одежды, кроме той, что на мне.

– Ты хочешь выйти в этих лохмотьях? – поразился Бурден.

– Вам, наверное, будет стыдно за меня? – с горечью спросил Морель.

– Не очень, потому что мы поедем в твоём фиакре, – ответил Маликорн.

– Папа, мамочка зовет тебя! – сказал один из ребятишек.

– Послушайте! – шепотом быстро заговорил Морель, обращаясь к судебным приставам. – Не будьте жестокими, окажите мне последнюю милость... Я не смогу так проститься с женой, с детьми... у меня сердце разорвется... Если они увидят, что вы меня уводите, они побегут за мной... Я боюсь этого. Умоляю, скажите погромче, что вернетесь через два-три дня, и сделайте вид, что уходите... Вы подождете меня этажом ниже, я выйду к вам через пять минут... Это избавит меня от горестных прощаний, я их не выдержу, поверьте мне... Я сойду с ума! Я и так чуть не утратил разум...

– Знаем мы эти шуточки! – обозлился Маликорн. – Ты хочешь надуть нас? Хочешь смыться?

– О господи, что за люди! – вскричал Морель с болью и негодованием.

– Я не думаю, что он притворяется, – шепнул Бурден своему приятелю. – Сделаем, как он просит, иначе мы никогда отсюда не выберемся. А я постою за дверью: из мансарды нет другого выхода, он от нас все равно не уйдет.

– Ладно, будь по-твоему, но черт бы их всех побрал! Какая дыра! Хуже любой конуры!

И, понизив голос, Маликорн сказал Морелю:

– Договорились, мы будем ждать на пятом этаже. Разыгрывай свой спектакль, только побыстрее!

– Благодарю вас, – сказал Морель.

– Ну что ж, в добрый час! – громко воскликнул Бурден, подмигивая ремесленнику. – Раз уж так вышло и вы обещаете заплатить долг, мы уходим. Вернемся дней через пять или шесть... Но только не подведите нас!

– Да, господа, я уверен, что смогу к тому времени заплатить, – ответил Морель.

И судебные приставы направились к двери.

Боясь, что его застигнут, Хромуля скатился по лестнице, прежде чем блюститители закона вышли из мансарды.

– Госпожа Морель, вы меня слышите? – спросила Хохотушка, пытаясь вывести жену гранильщика из мрачного оцепенения. – Вашего мужа оставили в покое, эти два человека ушли.

– Мама, ты слышала? Нашего папу не увели! – подхватил старший из сыновей.

– Морель, послушай меня, возьми один большой бриллиант, никто об этом не узнает, а мы спасемся, – бормотала Мадлен в полубреду. – Нашей маленькой Адель не будет холодно, она не будет такой мертвой...

Воспользовавшись мгновением, когда никто на него не смотрел, Морель осторожно вышел из комнаты.

Судебный пристав ожидал его на маленькой площадке под скошенной крышей. На эту площадку выходила дверь чердака, который был как бы продолжением мансарды Морелей; Пипле хранил там запасы своих кож. Кроме того, – об этом мы уже говорили, – достойный привратник называл чердак своей ложей в театре мелодрам, потому что иногда подглядывал в щель между досками перегородки за горестными сценами в семье Морелей.

Судебный пристав заметил эту чердачную дверь и даже на миг подумал, что его пленник рассчитывает на этот выход, чтобы сбежать или спрятаться.

– Наконец-то! – сказал он, спускаясь на ступеньку и делая знак гранильщику следовать за ним. – Вперед, вшивая рота!

– Еще минуту, прошу вас! – воскликнул Морель.

Он встал на колени, приник к одной из щелей в двери, бросил последний взгляд на свою семью и заплакал горькими слезами.

– Прощайте, мои бедные детки! – шептал он прерывающимся голосом. – Прощай, моя несчастная жена! Прощайте!..

– Может, хватит? Кончишь ты лить из пустого в порожнее? – грубо оборвал его Бурден. – Прав был Маликорн: конура! Поганая конура!

Морель поднялся и уже был готов последовать за приставом, когда на лестнице раздался возглас:

– Отец! Мой отец!

– Луиза! – вскрикнул Морель, поднимая руки к небесам. – Значит, я смогу обнять тебя, пока меня не увели!

– Господи, слава тебе, я поспела вовремя!

Голос девушки приближался, и слышно было, как она торопливо взбегает по лестнице.

– Не волнуйся, моя девочка, – присоединился к ней снизу второй голос, язвительный и прерывистый от одышки. – Если надо, я подожду их у выхода с моей верной метлой и моим старым другом-супругом! Они отсюда не выйдут, пока ты с ними не поговоришь, с этими рожами!

Без сомнения, вы уже узнали голос г-жи Пипле, которая, не столь скорая на ногу, все же старалась не отставать от Луизы.

Через несколько секунд девушка бросилась в объятия своего отца.

– Это ты, Луиза! Добрая моя Луиза! – плача, говорил Морель. – Но как ты бледна! Господи, что с тобой?

– Ничего, ничего, – отвечала Луиза, запыхавшись. – Я так бежала... Вот деньги...

– Как?

– Ты свободен.

– Значит, ты знала?

– Да, да... Возьмите, тут все деньги, – сказала девушка, протягивая Маликорну завернутый в бумагу столбик золотых монет.

– Но откуда эти деньги, Луиза?

– Не волнуйся... Ты сейчас все узнаешь... Пойдем, успокоим мать!

– Нет, только не сейчас! – воскликнул Морель, преграждая ей путь к двери. Он подумал о том, что Луиза не знает о смерти своей младшей сестры. – Подожди, я должен поговорить с тобой! Но откуда деньги?

– Погодите-ка! – прервал его Маликорн. Он пересчитал золотые и упрятал себе в карман. – Тут всего шестьдесят пять луидоров, значит, тысяча триста франков. А больше у тебя ничего

нет, милашка?

– Но ты ведь должен только тысячу триста франков! – воскликнула ошеломленная Луиза, обращаясь к отцу.

– Да, – ответил Морель.

– Минуточку! – снова прервал его пристав. – Вексель на тысячу триста франков он оплатил, прекрасно. А судебные расходы? Если даже без ареста, их набежало уже на тысячу сто сорок франков.

– Боже мой! – воскликнула Луиза. – Я думала – тысяча триста франков, и все. Но мы заплатим потом, чуть позднее... Мы вам дали такой большей задаток, не правда ли?

– Позднее? Прекрасно! Принесите деньги в тюремную канцелярию, и мы тотчас отпустим вашего папеньку. А сейчас пошли!

– Вы хотите его увести?

– И немедленно. За все надо платить. Когда рассчитается, его выпустят. Вперед, Бурден!

– Сжальтесь, сжальтесь! – закричала Луиза.

– О господи, как она верещит! Опять сопли и вопли! Тут и на морозе вспотеешь, право слово! – грубо закричал пристав и надвинулся на Мореля. – Если сам не пойдешь, я тебя схвачу за ворот и спущу по лестнице. Мне это, наконец, надоело!

– О, мой бедный отец! А я-то думала, что спасу тебя! – удрученно проговорила Луиза.

– Нет, нет, господь несправедлив! – отчаянно закричал гранильщик и в гневе затопал ногами.

– Вы не правы, господь справедлив, он всегда заботится о честных людях, которые страждут, – возразил ему добрый и звучный голос.

И в то же мгновение Родольф вышел на лестничную площадку из чердака, где он прятался и незримо для всех наблюдал за трагическими сценами, которые мы описали.

Он был бледен и глубоко взволнован.

Вынув из кармана маленькую пачку банковских билетов, Родольф отсчитал три ассигнации, вручил их Маликорну и сказал:

– Здесь две с половиной тысячи франков. Верните девушке золотые, которые она вам дала.

Изумляясь все более и более, пристав нерешительно взял ассигнации, повертел их и так и сяк, посмотрел на свет и сунул наконец в карман. Но, по мере того как рассеивалось его удивление и проходил внезапный страх, к нему возвращалась его грубость. Он нагло уставился на Родольфа и сказал:

– Ваши банкноты вроде не фальшивые! Но откуда у вас на руках такая сумма? Откуда эти денежки?

Родольф был одет очень странно и к тому же перепачкался в пыли на чердаке.

– Я тебе сказал: верни золотые этой девушке! – коротко ответил Родольф суровым голосом.

– Ты мне сказал? А с чего это вдруг ты мне «тыкаешь?» – воскликнул пристав, угрожаясь надвигаясь на Родольфа.

– А ну, возвращай луидоры! – ответил принц. Он схватил Маликорна за руку и так стиснул его запястье, что тот согнулся от этой железной хватки и завопил:

– Ой, больно, больно! Отпустите меня!

– Верни золотые! Тебе заплачено сполна, и убирайся. Еще одна дерзость, и я спущу тебя с лестницы!

– Вот они, ваши золотые, – простонал Маликорн, возвращая девушке сверток с луидорами. – Но не тыкайте мне и не трогайте меня. Вы думаете, что, если вы сильнее...

– Да, в самом деле! – вмешался Бурден, на всякий случай прячась за спину своего коллеги. – Кто вы, собственно говоря, такой?

– Кто он такой, невежа? Это мой жилец, самый лучший из всех жильцов, дрянь ты немытая! – задыхаясь, ответила ему г-жа Пипле, которая наконец поднялась по лестнице все в том же своем белокуром парике в стиле императора Тита.

Привратница держала в руках кастрюльку с горячайшим супом, который она милосердно несла Морелям.

– Это еще что? – воскликнул Бурден. – Откуда эта старая крыса?

– Если попробуешь меня тронуть, я наброшусь на тебя и укушу! – ответила г-жа Пипле. – А потом мой жилец, лучший из жильцов, спустит вас обоих по лестнице, как он обещал... А я еще вымету вас метлой, как кучу мусора, потому что вы дрянь и мусор!

– Эта старуха поднимет против нас весь дом! – шепнул Бурден Маликорну. – Нам заплатили долг, заплатили за расходы, и баста! Бежим отсюда.

– Вот ваши расписки! – сказал Маликорн, бросив папку с документами к ногам Мореля.

– Подбери! Тебе платят за честность, а не за наглость! – сказал Родольф, останавливая пристава одной рукой и указывая другой на папку.

Судебный пристав понял, что ему не уйти от железной хватки незнакомца, и, кривясь от боли, нагнулся. Он подобрал папку с документами и, бормоча невнятные угрозы, подал ее Морелю.

Тот думал, что все это ему снится.

– Послушайте, вы, хоть у вас хватка мясника с большого рынка, но берегитесь попасть нам в руки! – крикнул Маликорн и, погрозив Родольфу кулаком, скатился по лестнице, перепрыгивая через десять ступенек. Его приятель бросился за ним, испуганно оглядываясь через плечо.

Тут г-жа Пипле подумала, что может достойно отомстить этим судейским крысам за своего лучшего жильца. Она вдохновенно взглянула на кастрюлю с дымящимся супом и героически воскликнула:

– Долги Морелей заплачены, у них будет что поесть и без моего варева... Эй, вы, там, внизу, берегитесь!

И, перегнувшись через перила, старуха выплеснула всю кастрюлю на спины двух приставов, которые добежали только до второго этажа.

– Нате вам! – добавила привратница. – Бегите, бегите, мокрые, как суп, как два супа! Хе-хе-хе, вот потеха!

– Сто тысяч чертей! – возопил Маликорн, облитый горячей и не столь уж аппетитной похлебкой г-жи Пипле. – Ты что там, рехнулась наверху, старая шлюха?

– Альфред! – завопила в ответ г-жа Пипле таким голосом, что и глухой бы его услышал. – Альфред! Лупи их, мой дорогой! Они тут хотели позабавиться с твоей Стази, эти бродяги! Они на нее напали, эти два похабника! Лупи их метлой! Зови дворничиху и дворника, они тебе помогут... Бей их! Колоти! Лупи, как паршивых котов! Держи их! Караул! Воры, воры! Ху-ху! Колоти их, мой дорогой! Молодец, мой старенький! Бум-бум!!!

И чтобы завершить свою ораторию, г-жа Пипле, опьяненная победой, приплясывая от восторга, швырнула вниз фаянсовую кастрюлю, которая с ужасным грохотом разбилась как раз в тот момент, когда оба пристава, оглушенные ее криками и угрозами, долетели, кувыряясь, до последней площадки, что немало ускорило их позорное бегство.

– Нате вам! – повторила Анастази с громким хохотом, торжествующе скрестив руки на груди.

Но пока она преследовала приставов своими воплями и оскорблениями, Морель стоял на коленях перед Родольфом.

– Сударь, вы спасли мне жизнь! Кому мы обязаны этой неожиданной помощью?

– Господу богу. Как видите, он всегда заботится о честных людях.

Глава II ХОХОТУШКА

Луиза, дочь гранильщика алмазов, отличалась удивительной, строгой красотой. Высокая и стройная, она напоминала правильностью лица античную Юнону, а живостью и гибкостью фигуры – Диану-охотницу. Несмотря на загар, несмотря на красные руки, превосходные по форме, но огрубевшие от стирки и прочих домашних работ, несмотря на бедную одежду, эта девушка сохраняла облик, полный благородства, и Морель, даже в отцовском своем восхищении, не зря называл ее принцессой.

Мы не станем и пытаться изобразить всю признательность и ошеломляющую радость этой семьи, внезапно избавленной от горчайшей участи. В какой-то момент общего опьянения все забыли даже о смерти маленькой девочки.

Поэтому только Родольф заметил крайнюю бледность Луизы и мрачную озабоченность, которая владела ею, несмотря на освобождение отца.

Чтобы окончательно уверить Морелей в их будущем и объяснить им свое вмешательство, которое могло разоблачить его инкогнито, Родольф, пока Хохотушка осторожно готовила Луизу к известию о смерти ее сестры, вывел гранильщика на лестничную площадку.

– Позавчера к вам приходила молодая дама, – сказал он.

– Да, и ее очень огорчило то, что она у нас увидела.

– Это ее вы должны благодарить за все, а не меня.

– Как же так?.. Эта молодая дама...

– И есть ваша благотельница, – закончил за него Родольф. – Я часто относил к ней товар. А когда я снял здесь комнату на пятом этаже и узнал от привратницы о всех ваших бедах, я сразу подумал о доброте этой дамы и отправился к ней... Позавчера она была здесь, чтобы самой убедиться в тяжести вашего положения. Ее оно взволновало до боли. Но, поскольку ваша нищета могла быть следствием нерадивости, она поручила мне поскорее разузнать о вас все, что можно, чтобы оказать вам помощь в соответствии с вашей порядочностью.

– Добрая, милосердная дама! Я был прав, когда говорил...

– Когда говорил Мадлен: «Если бы богатые знали», – не так ли?

– Откуда вы знаете имя моей жены? Кто вам сказал, что я...

– Сегодня с шести утра, – прервал его Родольф, – я прятался на маленьком чердаке, который примыкает к вашей мансарде.

– Вы, сударь?

– И я все слышал, все. Вы превосходнейший и чистейший человек.

– Господи, но как вы туда попали?

– К добру или к худу, но я решил все разузнать о вас лично от вас самих. Я хотел сам все увидеть и все услышать, не выдавая себя. Пипле говорил мне об этом маленьком чердаке и соглашался уступить мне его под дрова. Сегодня утром я сказал ему, что хочу осмотреть чердак, и я пробыл там больше часа и убедился, что трудно сыскать человека более чистого, благородного и мужественного в беде, чем вы.

– Господи, в этом нет никаких заслуг, просто я таким родился и не могу поступать по-другому.

– Я это знаю, а потому не хвалю вас, а воздаю вам должное. Я хотел уже выйти из своего тайника, чтобы избавить вас от приставов, но тут услышал голос вашей дочери. Я намеревался предоставить ей удовольствие быть вашей спасительницей, но, к несчастью, жадность судейских исполнителей лишила бедную Луизу этого невинного удовольствия. И тогда пришлось выступить мне. Вчера мне вернули кое-какие деньги, я мог, в виде аванса вашей благотельнице, заплатить этот ваш жалкий долг. Но ваши несчастья так велики и вы переносите их с таким честным достоинством, что на этом ее благодеяния не остановятся, вы заслуживаете большего. От имени вашего ангела-хранителя обещаю вам и вашей семье счастливое и мирное будущее...

– Возможно ли это? Но скажите хотя бы ее имя, сударь, как зовут этого ангела небесного. Нашего ангела-хранителя, как вы сами сказали?..

– Да, она ангел. Вы еще говорили, что у больших и малых свои беды.

– Неужели эта дама несчастна?

– У каждого свое горе... Но у меня нет причин скрывать ее имя... Ее зовут...

Но тут Родольф подумал: Пипле знает, что г-жа д'Арвиль спрашивала майора, и может проболтаться. Поэтому, чуть помолчав, он продолжал:

– Я вам скажу ее имя при одном условии.

– Я согласен на все, говорите!

– При условии, что вы не откроете его никому. Понимаете? Никому!

– Клянусь вам!.. Но могу ли я хотя бы поблагодарить эту заступницу бедняков?

– Я спрошу об этом у самой маркизы д'Арвиль и думаю, она не станет возражать.

– Значит, эта дама?..

– Маркиза д'Арвиль.

– О, я никогда не забуду это имя! Она будет моей святой, я буду ей молиться. Когда только подумаю, что благодаря ей моя жена, мои дети спасены!.. Увы, не все, не все... Бедная крошка Адель, ее больше нет... О господи, но мы бы все равно ее потеряли, раньше или позже, потому что она была обречена.

Морель вытер слезы.

– Но следует отдать последний долг этой бедняжке, и я бы на вашем месте... Впрочем, послушайте: я еще не въехал в свою комнату; она просторная, чистая, проветренная. Там уже есть кровать, а все остальное можно перенести, чтобы вы с семьей могли устроиться в этой комнате, пока госпожа д'Арвиль не подыщет вам подходящее жилище. Тело вашей дочери останется на ночь в мансарде, над ним, как полагается, священник будет читать молитвы. Я попрошу господина Пипле заняться этими печальными делами.

– Но, сударь, как можно лишать вас вашей комнаты! Стоит ли? Теперь, когда все успокоилось, когда мне больше не грозит тюрьма, наша бедная каморка покажется мне дворцом, особенно если Луиза останется с нами и все приберет, как в былые времена...

– Ваша Луиза вас больше не покинет. Вы говорили, что ее присутствие для вас великая радость, так пусть оно будет вашим вознаграждением.

– Господи, возможно ли это? Мне кажется, я сплю и вижу сны... Я никогда не был особенно благочестивым, но такое чудо провидения... эта помощь, ниспосланная свыше, любого заставит уверовать...

– Ну и верьте на здоровье... Чем вы рискуете?

– Да, правда, – наивно ответил Морель. – Чем я рискую?

– Если бы можно было утешить горе отца, я бы сказал вам: вы лишились одной дочери, зато другая вернулась к вам.

– Да, это так. Теперь Луиза будет с нами.

– Надеюсь, вы займете мою комнату, не так ли? Иначе где установят гроб для ночного бдения? Подумайте о вашей жене... У нее и так с головой не все в порядке, и оставить ее на целые сутки рядом с мертвой дочерью – это слишком жестоко!

– Вы обо всем подумали, обо всем! Как вы добры, сударь.

– Благодарите за все вашего ангела-хранителя, это она меня вдохновляет. Я говорю то, что сказала бы она сама, и уверен, она меня одобрит. А теперь скажите мне, кто такой Жак Ферран?..

Лицо Мореля сразу омрачилось.

– Это тот самый Жак Ферран? – продолжал Родольф. – Нотариус, который живет на Пешеходной улице?

– Да, сударь. Вы его знаете?

Тут новые опасения за Луизу охватили Мореля, и он воскликнул:

– Если вы его знаете, сударь, скажите, имею ли я право его ненавидеть?.. Потому что он... кто знает?.. Моя дочь, Луиза...

И он спрятал лицо в ладонях, не закончив фразы.

Но Родольф понял его страхи.

– Само поведение нотариуса должно вас успокоить, – сказал он. – Ферран хотел посадить вас в тюрьму наверняка из мести, чтобы наказать вашу дочь за ее гордость. Да вообще, у меня все основания думать, что он бесчестный человек. А если это так, – добавил Родольф после мгновенной паузы, – пусть покарает его провидение!

– Он очень богатый и очень двуличный, сударь.

– Вы были очень бедны и очень несчастны, – оставило вас провидение?

– О нет, слава богу!.. Не подумайте, я так благодарен.

– Ангел-хранитель пришел к вам, неумолимый мститель настигнет однажды нотариуса... если он виновен.

В этот момент из двери мансарды вышла Хохотушка, утирая слезы.

Родольф сказал ей:

– Вы слышали, соседка? Я просил Мореля с семьей на время перебраться в мою комнату, пока его благодетель, от имени которого я действую, не найдет ему подходящего жилья.

Хохотушка посмотрела на Родольфа с удивлением.

– Как, вы настолько великодушны!..

– Да, но при одном условии... Тут все зависит от вас, моей соседки.

– От меня?

– Мне надо срочно подготовить отчет для моего хозяина, за ним скоро придут... Бумаги мои у меня внизу... Если вы, как соседка, позволите мне заняться отчетом у вас, где-нибудь на краешке вашего стола, пока вы шьете... Я не буду вам мешать, а семья Мореля сможет сразу перебраться ко мне с помощью супругов Пипле.

– О, если только это, конечно, я согласна! Соседи должны помогать друг другу. Вы первый подали пример, пригласив к себе бедного Мореля. Так что к вашим услугам, сударь.

– Называйте меня просто соседом, иначе я буду стесняться и не смогу принять ваше предложение, – с улыбкой сказал Родольф.

– За этим дело не станет! Я давно могла называть вас соседом, потому что вы и есть мой сосед!

– Папа, мама тебя зовет! Иди скорее! – крикнул один из мальчиков, выбегая на лестницу.

– Ступайте, дорогой Морель, когда комната будет готова, вас предупредят.

Гранильщик поспешно ушел к себе.

– А теперь, соседка моя, – обратился Родольф к Хохотушке, – я попрошу еще об одной услуге.

– Заранее согласна, сосед мой... Все, что смогу.

– Я уверен. Вы превосходная хозяйка. Речь идет о том, чтобы немедленно купить для Морелей все необходимое: постель, одежду, мебель, потому что у меня там самая скромная обстановка – стол, стул да холостяцкая койка. Как раздобыть поскорее все, что может понадобиться Морелям?

Хохотушка минуту подумала и ответила:

– До двух часов у вас будет все, что вам нужно: готовая прочная одежда, теплая и чистая, белое постельное белье на всю семью, две маленьких кровати для детей, одна – для их бабки, в общем – все, что надо... Но ведь все это стоит кучу денег!

– Сколько?

– Самое малое... пятьсот – шестьсот франков.

– За все?

– Увы, сами видите, какие большие деньги! – сказала Хохотушка, сделав большие глаза и качая головой.

– И у нас будет все это?..

– До двух часов!

– Может быть, вы фея-волшебница, а, соседка?

– Да нет же, все очень просто... Тампль отсюда в двух шагах, и там мы найдем все, что нужно.

– Тампль?

– Да, Тампль.

– А что это такое?

– Как, сосед, вы не знаете, что такое Тампль?

– Нет, соседка.

– Но ведь там всегда покупают одежду и мебель такие люди, как мы с вами, когда удастся что-нибудь сэкономить. Там все не хуже, чем в других местах, зато гораздо дешевле...

– В самом деле?

– Я-то знаю... Ну вот, к примеру, сколько вы заплатили за ваш редингот?

– Право, не могу вам сказать.

– Как, сосед, вы не знаете, сколько стоит ваш редингот?

– Признаюсь вам по секрету, соседка, – с улыбкой сказал Родольф, – мне его подарили... Так что, сами понимаете, откуда мне знать?..

– Ах, сосед, сосед, похоже, вы не очень-то привыкли к точности и порядку.

– Увы, это правда.

– Придется исправиться, если вы хотите, чтобы мы стали добрыми друзьями, а мы будем друзьями, я чувствую, ведь вы такой добрый! Вы не пожалеете, что у вас такая соседка, вот увидите. Вы будете мне помогать, а я вам все чинить и штопать – по-дружески, по-соседски. Я, конечно, буду стирать вам белье, а вы помогать мне, когда понадобится натереть полы... Я встаю рано и могу вас будить, чтобы вы не опаздывали в свой магазин. Я буду стучать вам в перегородку, пока вы не скажете в ответ: «С добрым утром, соседка!»

– Значит, договорились, вы меня будите по утрам, стираете мое белье, а я – натираю полы в вашей комнате...

– И вы будете следить за порядком?

– Разумеется!

– А когда вам нужно будет что-нибудь купить, вы пойдете в Тамплъ, потому что, к примеру, ваш редингот стоил вам, наверное, франков восемьдесят, не правда ли? А на бульваре Тамплъ вы купили бы такой же за тридцать франков.

– Да это же чудесно! Значит, вы думаете, что за пятьсот – шестьсот франков эти бедняги Морели...

– Обуются, оденутся, и некоторые надолго!

– Соседушка, у меня есть мысль!

– Послушаем, что за мысль.

– Вы понимаете, что нужно в хозяйстве?

– Как будто понимаю, – ответила Хохотушка с насмешкой.

– Тогда возьмите меня под руку, и пойдем в этот Тамплъ, чтобы купить Морелям все, что им нужно. Идем?

– А деньги?

– У меня хватит.

– Пятьсот франков?

– Благодетель Морелей дал мне право не стесняться в расходах, лишь бы у этих добрых людей было все, что нужно. И если мы найдем что-нибудь получше, чем в Тампле...

– Да нигде мы не найдем получше, а главное – в Тампле все готовое – и для детишек, и для матери.

– Тогда вперед, соседка, идем в Тамплъ!

– Да, но боже мой!

– Что еще случилось?

– Да ничего... Но, понимаете, я уже и так потеряла время – час туда, час сюда, эта бедная госпожа Морель, за которой пришлось ухаживать, вот и вылетел весь день, а это тридцать сантимов, а когда за день ничего не заработаешь, на что же потом жить... Ну да ладно, как-нибудь устроюсь! Ночью наверстаю... Удовольствия теперь в редкость, но на этот раз я уж навеселюсь! С вами я буду воображать, что я такая богатая-разбогатая и что я на свои денежки покупаю все эти вещи для бедняков Морелей... Погодите минуту, только накину шаль и надену чепчик – и, я с вами, сосед!

– Если вам нужно надеть только это, соседка, может быть, в это время я перенесу к вам свои документы?

– Пожалуйста, заодно увидите мою комнату, – ответила с гордостью Хохотушка. – Я уже прибралась, я же говорила, что встаю поутру, а если вы соня и лентяй, тем хуже для вас, я буду вам беспокойной соседкой!

И, легкая, как птичка, Хохотушка сбежала по лестнице. Родольф последовал за ней, чтобы стряхнуть с себя пыль и паутину, налипшую на него на чердаке.

Мы расскажем позднее, почему Родольфа не известили о похищении Лилии-Марии близ фермы Букеваль, которое произошло накануне, и почему он не пришел к Морелям сразу же по-

сле разговора с маркизой д'Арвиль.

Напомним также читателю, что только мадемуазель Хохотушка знала новый адрес Франсуа Жермена, сына г-жи Жорж, и Родольфу было очень важно раскрыть эту тайну.

Прогулка на бульвар Тамплъ, надеялся он, расположит к нему гризетку, сделает подоверчивее и в то же время отвлечет его от грустных мыслей, навеянных смертью дочери Мореля.

Ребенок Родольфа, о котором он горько сожалел, умер, наверное, в том же возрасте...

Именно в этом возрасте Лилия-Мария была отдана Сычихе экономкой нотариуса Жака Феррана.

Зачем и при каких обстоятельствах, об этом мы расскажем позднее.

С огромным свертком бумаг, чтобы не выдать себя, на всякий случай Родольф вошел в комнату Хохотушки.

Хохотушка была примерно того же возраста, что и Певунья, ее соседка по тюремной камере.

Между этими двумя девушками была та же разница, как между смехом и слезами; между веселой беззаботностью и печальной мечтательностью; между самой бесшабашной дерзостью и нескончаемыми грустными раздумьями о будущем; между деликатной, изысканной, возвышенной и поэтической душой, болезненно чувствительной и смертельно раненной угрызениями совести, и, с другой стороны, – характером веселым, живым, подвижным, прозаическим и не обремененным размышлениями, хотя в то же время добрым и милосердным.

Хохотушка вовсе не была эгоисткой, но у нее не было своих печалей; она болела только за других, отдавалась душой тем, кто страждет, но забывала о них, едва отвернувшись; как грубо говорят: с глаз долой – из сердца вон.

Частенько она переставала хохотать, чтобы так же искренне заплакать, и утирала слезы, чтобы расхохотаться еще звонче.

Настоящее дитя Парижа, Хохотушка предпочитала опьянение покою, движение – отдыху, резкие и громкие мелодии, оркестров на балах в Шартрез или в Колизее – нежному шепоту ветра в листве или журчанию ручейка.

Оглушительную толкотню парижских перекрестков – одиночеству полей...

Ослепительные огни фейерверков, вспышки и грохот ракет – безмятежной красоте ночей, полных звезд, теней и безмолвия.

Увы, будем искренни! Эта добрая девушка откровенно предпочитала черную грязь столичных улиц зелени цветущих лугов; скользкие или раскаленные мостовые – свежим бархатистым мхам лесных тропинок, овечьим запахом фиалок; удушающую пыль парижских застав или бульваров – золотым пшеничным полям, расцвеченным багрянцем диких маков и лазурью васильков...

Хохотушка покидала свою комнатку лишь по воскресеньям, да еще каждый день по утрам, на минутку, только чтобы купить немножко хлеба, молока и проса, – для себя и своих двух птичек, как говорила г-жа Пипле; но она жила в Париже ради Парижа. И пришла бы в отчаяние, если бы ей пришлось покинуть столицу.

И еще была в ней одна странность; несмотря на любовь к парижским развлечениям, несмотря на полную свободу или, вернее, полное отсутствие опеки, Хохотушка была одиношенька... Несмотря на сказочную бережливость в расходах, которую ей приходилось проявлять, чтобы жить примерно на тридцать су в день, несмотря на свою самую пикантную, самую озорную и самую прелестную в мире мордашку, Хохотушка выбирала своих возлюбленных – мы не станем называть их любовниками, и будущее покажет правоту г-жи Пипле, которая утверждала, что все намеки соседей гризетки не более чем клевета и сплетни, – так вот, Хохотушка выбирала своих возлюбленных только из своей среды, то есть среди своих соседей, и это равенство перед домовладельцем было для нее решающим.

Один богатый и знаменитый художник, так сказать современный Рафаэль, наставник нашего Кабриона, увидел однажды портрет Хохотушки с натуры, где она была отнюдь не прикрашена. Пораженный прелестью юной девушки, мэтр упрекнул молодого художника в том, что тот поэтизировал, так сказать, идеализировал свою натурщицу.

Однако Кабрион, гордясь своей прелестной соседкой, предложил своему учителю на пари показать ее как «предмет искусства» на одном из воскресных балов в Эрмитаже. Очарованный озорной грацией Хохотушки, «Рафаэль» на этом балу сделал все, чтобы оттеснить Кабриона. Нашей гризетке посыпались самые соблазнительные, самые щедрые предложения, но она героически отвергла их все, а на следующее воскресенье спокойно и весело приняла приглашение своего скромного соседа поужинать вместе в «Меридьян» – кабаре на бульваре Тампль, – а потом посидеть с ним на галерке в театрике Ла Гетэ или Амбигю.

Подобные интимные связи могли бы скомпрометировать Хохотушку и заставить усомниться в ее добродетели.

Не станем объясняться по этому поводу, но заметим пока, что есть тайны и бездны, к которым следует приближаться очень осторожно.

Еще несколько слов о нашей гризетке, и мы введем ее соседа Родольфа в ее комнату.

Хохотушке едва исполнилось восемнадцать; она была среднего роста, пожалуй, даже чуть ниже среднего, но фигурка у нее была такая изящная, такая стройная и гордая, с такими соблазнительными округлостями, что при ее легкой и стремительной походке она казалась совершенством. Чуть-чуть прибавить, чуть-чуть убавить, и она бы все потеряла, настолько совершенным был весь ее грациозный облик.

У нее были маленькие ножки, и она всегда носила безупречные ботиночки из черного казимира с невысоким каблучком; от этого ее быстрая, задорная и в то же время сдержанная походка напоминала перепелку или трясогузку; казалось, что она не идет, а лишь слегка касается мостовой, быстро скользит над ее поверхностью.

Эту особенную походку гризетки, быструю, завлекающую и вроде бы испуганную, пожалуй, можно объяснить тремя причинами: им хочется нравиться; им не хочется, чтобы им выражали восхищение... слишком откровенно; у них слишком мало времени, чтобы терять его, когда они спешат по своим делам.

Родольф видел Хохотушку только в полумраке мансарды Мореля или на столь же сумрачной лестнице, а потому был просто ослеплен изумительной свежестью девушки, когда тихонько вошел в комнату, залитую светом двух больших окон с квадратами переплетов. На мгновение он замер, пораженный прелестной картиной, представшей его глазам.

– Стоя перед зеркалом, поставленным на камине, Хохотушка завязывала под подбородком ленты чепчика из вышитого тюля, обрамленного цветочками вишневого цвета; этот чепчик, посаженный очень плотно и сдвинутый почти на затылок, открывал два густых и блестящих, черных как смоль завитка, почти закрывавших лоб; ее тонкие, разлетистые брови, словно нарисованные тушью, закруглялись над огромными черными глазами, блестящими и озорными; на упругих и полных щеках играл свежий румянец, такой свежий, что хотелось притронуться, как к румяному персику, еще прохладному от утренней росы.

Ее маленький носик, чуть вздернутый, озорной и чуть-чуть нахальный, мог бы принести целое состояние какой-нибудь Лизетте или Мартон; рот казался немного широковатым, но розовые, влажные губы, жемчужно-белые ровные зубки и веселая, насмешливая улыбка заставляла обо всем забывать. Три очаровательные ямочки придавали ее лицу дерзкую привлекательность: две на щеках, а третья – на подбородке, чуть ниже черной родинки, замершей как неотразимая мушка в углу ее рта.

Между вышитым широко открытым воротом платья и нижним краем чепчика, окантованного вишневой лентой, виднелась грациозная шейка; густые волосы над ней были так аккуратно и туго подобраны, что корни их казались точками китайской туши на слоновой кости.

Шерстяное платье цвета коринфского винограда, с облегающей спинкой и обуженными рукавами, – Хохотушка любовно сшила его своими руками! – сидело на ней как влитое и свидетельствовало, что девушка никогда не носила корсета... из экономии. Гибкость и необычная естественность в каждом повороте ее плеч и стана, напоминавшие мягкие движения кошки, выдавали ее секрет.

Представьте себе такое платье, плотно облегающее округлые и полированные формы мраморной статуэтки, и поймете, Почему Хохотушка обходилась без вышеупомянутой принадлеж-

ности дамского туалета. Вместо корсета маленький фартучек из темно-зеленого левантина опоясывал ее талию, которую можно было охватить двумя ладонями.

Полагая, что она одна, – ибо Родольф по-прежнему незаметно и неподвижно стоял у дверей, – Хохотушка пригладила локоны на лбу ладонью своей белой, маленькой и ухоженной руки, поставила ножку на стул и нагнулась, чтобы затянуть шнурки полусапожка. Этот интимный жест невольно показал нескромному Родольфу краешек белоснежного чулка и стройную ножку безупречной и чистой линии.

После этого столь подробного рассказа о туалете Хохотушки читатель легко поймет, что она сегодня выбрала свой самый красивый чепчик и самый красивый передничек, чтобы сделать честь своему соседу на прогулке по бульвару Тамплъ.

Ей пришлось по душе милый коммивояжер, ей очень нравилось его лицо, такое добродушное и в то же время гордое и смелое. И к тому же он выказал такую доброту к Морелям, великодушно уступив им свою комнату! И благодаря этому великодушию, а может быть, и благодаря своей приятной внешности Родольф, сам того не ведая, сразу завоевал доверие маленькой портнишки.

А та, пораздумав практично о вынужденной интимности и взаимных обязанностях столь близкого соседства, искренне решила, что ей просто повезло, поскольку такой сосед, как Родольф, занял место коммивояжера, Кабриона и Франсуа Жермена. К тому же ей казалось, что соседняя комната слишком долго оставалась пустой, а она боялась, что в ней поселится не очень-то желательный постоялец.

Пользуясь тем, что его не видят, Родольф с любопытством осмотрел комнатку, которая показалась ему выше всех похвал мамыши Пипле, объяснявших эти достоинства только необычайной чистоплотностью скромной портнихи.

Трудно представить что-либо более веселое и ухоженное, чем эта бедная комнатка.

Стены были оклеены светло-серыми обоями с зелеными букетами; половицы сочного красного цвета сверкали как зеркало. В камине стояла белая фаянсовая печурка, по бокам которой симметрично лежали стопки дров, таких тонких и коротеньких, что их можно было без особого преувеличения сравнить с большими спичками.

Полку камина, имитацию серого мрамора, украшали две дешевенькие вазы веселого изумрудного цвета: с начала весны в них всегда стояли самые простые, но ароматные цветы; и маленькие часы в позолоченном футляре с серебряным циферблатом вместо громоздких напольных часов с маятником. Там же стоял с одной стороны медный подсвечник с огарком свечи, сверкавший, как золотой, а с другой стороны – такая же начищенная до блеска лампа, цилиндр с медным рефлектором на стальной ножке и на свинцовом основании. Довольно большое квадратное зеркало в раме из черного дерева висело над камином.

Ситцевые занавески серо-зеленого цвета были обшиты шерстяной бахромой; их выкроила, сшила и отделала сама Хохотушка. И она же развесила их на легких рейках из почерненного железа на окнах и вокруг кровати с таким же покрывалом. Два застекленных шкафчика белого цвета стояли по бокам алькова; наверное, в них была всякая хозяйственная утварь – переносная печурка, посуда, умывальник, веник и прочее и тому подобное, – ибо ни один из этих предметов не нарушал кокетливого стиля маленькой комнаты.

Отполированный до блеска комод орехового дерева с красивыми прожилками, четыре стула того же дерева, большой рабочий стол для глажки и раскройки, покрытый куском зеленого сукна, какое еще можно найти где-нибудь в деревенском доме, соломенное кресло с таким же табуретом, на котором обычно сидела портниха за шитьем, – вот и вся скромная обстановка комнаты.

И наконец, в амбразуре одного из окон стояла клетка с двумя чижиками, верными друзьями и нахлебниками Хохотушки.

С изобретательностью, свойственной лишь беднякам, Хохотушка поместила эту клетку в большой деревянный ящик глубиной с треть метра на особой подставке, а вокруг нее насыпала земли и назвала это садом чижей; зимой его выстилал мох, а весной Хохотушка засекала его травкой и ранними цветочками.

Родольф разглядывал этот маленький мирок с интересом и любопытством; теперь он прекрасно понимал жизнерадостный характер его хозяйки.

Он представлял себе, как она сидит здесь и шьет, беззаботно распевая вместе со своими чижками; летом она наверняка работала возле окна, наполовину затененного зеленой занавеской розового душистого горошка, оранжевых настурций и синих и белых выюнков; а зимой – рядом с маленькой печью при мягком свете своей лампы.

По воскресеньям она отвлекалась от трудовых будней, вознаграждая себя безудержным весельем и наслаждениями вместе с каким-нибудь молоденьким соседом, таким же веселым, влюбленным и беззаботным, как она... (В то время у Родольфа не было никаких причин верить в добродетель юной гризетки).

А в понедельник она вновь принималась за работу, вспоминая об удовольствиях прошедшего дня, мечтая о будущих. Родольф сейчас почувствовал особенно остро всю прелесть этих простеньких куплетов о Лизетте-простушке и ее комнатнушке, о безумных и беззаботных страстях, которые пылают на бедных мансардах, ибо эта поэзия приукрашала все и превращала жалкий чердак в веселое гнездышко влюбленных, где смеялась и радовалась зеленая и свежая юность... И никто не мог представить себе лучше Родольфа эту очаровательную богиню.

Родольф был весь во власти этих сентиментальных размышлений, когда взгляд его невольно остановился на двери и он вдруг увидел огромный засов...

Такой засов вполне подошел бы к дверям тюрьмы...

Этот засов заставил его задуматься.

Он имел двойное значение и мог служить двум разным целям: закрывать дверь от влюбленных... закрывать дверь за влюбленными.

Одна из этих целей полностью опровергала домыслы г-жи Пипле.

Другая их подтверждала.

Родольф мучительно пытался разгадать эту загадку, когда Хохотушка повернула голову, увидела его и, не меняя позы, воскликнула:

– Смотри-ка, сосед, вы уже здесь?

Глава III СОСЕД И СОСЕДКА

Полусапожок был зашнурован, и прелестная ножка исчезла под пышным подолом юбки цвета коринфского винограда.

– И давно вы здесь, господин соглядатай?

– Не очень... Я любовался молча.

– Чем же вы любовались, сосед мой?

– Этой прелестной маленькой комнаткой... Вы устроились здесь как принцесса, соседка!

– Черт возьми, я могу себе позволить хоть эту роскошь. Ведь я почти не выхожу, так пусть хотя здесь будет хорошо.....

– Я просто опомниться не могу! Какие милые занавески... И этот комод, словно из красного дерева... Вам, наверное, все это безумно дорого стоило?

– И не говорите. У меня было четыреста двадцать пять франков, когда я вышла из тюрьмы... Почти все ушло на эту комнатнушку...

– Вышли из тюрьмы? Вы?

– О, это целая история! Вы, надеюсь, не думаете, что я попала в тюрьму за какое-то преступление?

– Но как же это случилось?

– После холеры я осталась на свете совсем одна. Мне было тогда лет десять...

– Но до этого кто-то заботился о вас?

– Да, заботились добрые люди, но всех унесла холера... – Большие черные глаза Хохотуш-

ки увлажнились. — То немного, что у них осталось, продали, чтобы уплатить какие-то небольшие долги, и я осталась одна, и никто не хотел меня принять. Я не знала, что делать, и пошла в караульную, которая была напротив дома, и, сказала часовому: «Господин солдат, мои родители умерли, я не знаю, куда мне идти, что мне делать, скажите!» Тут появился офицер и приказал отвести меня к полицейскому комиссару. А комиссар отправил меня в тюрьму за бродяжничество, и я вышла оттуда уже шестнадцати лет.

— Но ваши родители?

— Я не знаю, кто был моим отцом. Мне было шесть лет, когда я потеряла мать, которая взяла меня из сиротского приюта, куда ей пришлось сначала меня отдать. Добрые люди, о которых я вам говорила, жили в нашем доме. У них не было детей. Когда я осталась сиротой, они меня взяли к себе.

— А кто они были, эти люди? Чем занимались?

— Папа Пету, — я так его называла, — был маляром, а его жена — вышивальщицей.

— Они, по крайней мере, не терпели нужды?

— Как и во всех рабочих семьях. Я говорю «семья», хотя они и не были женаты, но они называли друг друга мужем и женой. Так вот, бывало по-всякому, и хорошо и худо. Когда была работа, мы ни в чем не нуждались, когда ее не было — бедствовали. Но это не мешало супругам никогда не огорчаться и смотреть на жизнь весело.

При этом воспоминании лицо Хохотушки прояснело.

— Во всем квартале не было второй такой пары: всегда они были бодры, всегда распевали, а таких добрых людей я еще не видела: все, что было у них, принадлежало всем. Госпожа Пету была жизнерадостная толстушка лет тридцати, чистюля и непоседа, всегда подвижная и веселая, как зяблик. Ее муж был вторым Роже Бонтамом: большой нос, большой рот, на голове всегда шапочка из бумаги, и такое смешное лицо, такое уморительное, что на него нельзя было смотреть без смеха. Каждый раз, возвращаясь домой после работы, он принимался кричать, петь, плясать и строить рожи, — как мальчишка. Он заставлял меня танцевать, подбрасывал на колени; он играл со мной, словно мы были одного возраста, а его жена всячески баловала меня и почитала это за счастье. Оба хотели от меня только одного: чтобы я была в хорошем настроении, но веселья мне, слава богу, было не занимать. Поэтому они и прозвали меня Хохотушкой, и так это имя за мной и осталось. Они сами подавали мне пример: всегда были веселы. Я никогда не видела их грустными. Если они и ссорились, то жена говорила: «Послушай, Пету, это, глупо, но ты так смешон, так смешон!» Или он говорил своей жене: «Послушай, Рамонетта (не знаю, почему он называл ее Рамонеттой?), замолчи, прошу тебя, не то я умру от смеха!..» И я хохотала, глядя, как они смеются... Вот так они меня воспитывали, такой дали характер... Надеюсь, я их не обманула!

— Нисколько, соседка! Значит, они никогда не ссорились?

— Никогда, ни разу!.. По воскресеньям, а иногда в понедельник или в четверг они устраивали, как они говорили, гулянье и всегда брали меня с собой. Папа Пету был очень хорошим мастером: когда он хотел, он зарабатывал столько, сколько ему было, нужно и его жене тоже. Когда у них было на что погулять в воскресенье и понедельник, они были довольны и рады, а остальные дни недели можно прожить и кое-как! И даже если работы не было, они не унывали... Я вспоминаю, когда мы сидели на хлебе и воде, папа Пету обычно брал из своей библиотеки...

— У вас была библиотека?

— Он называл так маленький ящик, куда складывал сборники новых песен... Он покупал их и все знал наизусть. Так вот, когда в доме не было хлеба, он брал из своей библиотеки старую поваренную книгу и говорил нам: «А ну-ка посмотрим, что у нас сегодня на обед? Что выбираем? Вот это или это?..» И он нам читал названия самых вкусных блюд. Каждый выбирал по своему вкусу. Тогда папа Пету брал пустую кастрюлю и с потешными ужимками и шутками делал вид, будто кладет в кастрюлю все, что нужно для вкуснейшего рагу. А потом он делал вид, словно выкладывал рагу на пустое блюдо и подавал его на стол с такими потешными гримасами, что мы держались за бока. Потом он снова брал поваренную книгу и читал нам, к примеру, рецепт фрикасе из курицы, которое мы выбрали; у нас просто, слюнки текли, и под это чтение мы ели

свой хлеб, хохоча как сумасшедшие.

– И у этой веселой семейки были долги?

– Никогда! Когда были деньги, мы гуляли, когда денег не было, обедали «вприглядку», как говорил папа Пету.

– Разве они не думали о будущем?

– Думали, конечно. Но для нас будущее это было новым воскресеньем и понедельником. Летом мы их проводили у городских ворот, зимой – в предместье.

– Если эти добрые люди так подходили друг другу, если они так часто и весело гуляли вместе, почему же они не поженились?

– Один из друзей однажды спросил их об этом при мне.

– Так что же?

– Они ответили: «Если бы мы хотели детей, тогда конечно. Но нам и так хорошо. Зачем заставлять нас делать то, что мы и так делаем по доброй воле? К тому же свадьба – это лишние расходы, а у нас нет лишних денег...» Господи! – спохватилась Хохотушка. – Как я разболталась! Но понимаете, когда я вспоминаю этих добрых людей и все, что они для меня сделали, мне хочется рассказывать о них и рассказывать. Послушайте, сосед, подайте мне, пожалуйста, шаль с моей кровати и помогите заколоть сзади под воротничком вот этой большой булавкой. И тогда – в путь, потому что нам давно пора на бульвар Тампль, если вы хотите купить все нужное для этих бедных Морелей.

Родольф поспешил исполнить просьбу Хохотушки: он взял с постели большую тартановую шаль коричневого цвета с широкими пунцовыми полосами и осторожно накинул ее на прелестные плечи гризетки.

– А теперь, сосед, приподнимите немного мой воротничок и скрепите вместе шаль и платье булавкой, только смотрите на уколите меня!

Для того чтобы исполнить эту просьбу, Родольфу пришлось бы почти коснуться этой шейки цвета слоновой кости с черной, четкой линией приподнятых эбеновых волос Хохотушки.

В комнате было сумеречно, Родольф подошел очень близко, без сомнения слишком близко, потому что гризетка внезапно испуганно вскрикнула.

Не беремся объяснять причину ее испуга.

Может быть, был укол булавкой? Может быть, Родольф коснулся губами этой атласной нежной шейки? Во всяком случае, Хохотушка живо обернулась и воскликнула полунасмешливо, полупечально:

– Нет, сосед, я никогда вас больше не попрошу заколоть на мне шаль!

Родольф искренне пожалел, что допустил даже столь невинную вольность.

– Простите меня, соседка, я так неловок!

– Наоборот, за это я и сержусь... А теперь подайте руку и будьте умником, а то мы поссоримся.

– Нет, право, соседка, я не виноват... Ваша прелестная шейка так бела, что меня проста ослепило... Голова склонилась сама собой, и я...

– Ну ладно, хватит! В будущем я уж постараюсь вас больше не ослеплять.

Хохотушка погрозила ему пальчиком, они вышли, и она закрыла свою дверь.

– Будьте добры, сосед, возьмите мой ключ: он такой большущий, что прорвет мне карман, и тяжеленный... настоящий пистолет!

И она расхохоталась.

Родольф вооружился, в буквальном смысле слова, огромным ключом, который мог бы поспорничать с теми символическими ключами от взятых городов, которые побежденные униженно подносят на блюде победителю.

Хотя Родольф и был уверен, что с годами достаточно сильно изменился и Полидори не сможет его узнать, на всякий случай, проходя перед дверью шарлатана, он поднял воротник пальто.

– Сосед, не забудьте предупредить мамашу Пипле, что скоро доставят вещи и надо отнести их в вашу комнату, – сказала Хохотушка.

– Вы правы, соседка, сейчас мы заглянем на минутку к привратнице.

Господин Пипле с его извечной шляпой-трубой на голове, в своем зеленом сюртуке важно восседал, как всегда, перед столом, заваленным обрезками кожи и всевозможной рваной обувью; сейчас он старался починить сапог и занимался этим делом с обычной серьезностью. Анастаси в каморке не было.

– Привет, господин Пипле! – сказала Хохотушка. – У нас для вас новости. Спасибо моему соседу, Морели теперь спасены... Подумать только, несчастных хотели отправить в тюрьму! Ох уж эти судебные приставы, у них нет сердца!

– И нет совести, – добавил Пипле, размахивая рваным сапогом, в который он вставил для починки свою левую руку. – Я не боюсь это сказать и готов повторить перед богом и людьми, это бессовестные твари! Они воспользовались темнотой на лестнице и осмелились поднять руку даже на мою супругу, непрестанно хватая ее за талию. Когда я услышал ее крики оскорбленной невинности, я не смог удержаться и поддался праведному гневу. Не стану скрывать, сначала я хотел сдержаться и только краснел от стыда, думая об отвратительных приставаниях к моей Анастаси. Она ведь чуть не сошла с ума, потому что в отчаянии швырнула нашу фаянсовую кастрюльку сверху вниз по лестнице! И в этот момент эти два нахала пробегали перед дверью нашей каморки...

– Надеюсь, вы бросились их преследовать? – проговорила Хохотушка, с трудом сохраняя серьезный тон.

– Я так и думал сделать, – ответил Пипле с глубоким вздохом. – Но когда я представил, что мне придется встретить их нахальные взгляды и, может быть, услышать неприятные слова, меня это возмутило, вывело из себя. Я не такой уж злой человек, не хуже других, но, когда эти бесстыдники пробегали мимо нашей двери, кровь вскипела во мне и я не удержался: я закрыл рукою глаза, чтобы не видеть этих похотливых злодеев!!! Но меня ничто не удивило, со мной должно было приключиться сегодня какое-то несчастье, потому что мне приснился этот негодяй Кабрион!

Хохотушка улыбнулась, и вздохи Пипле смешались со стуком его молотка по подметке старого сапога...

Судя по всему, Альфред не понимал, что Анастаси принадлежала к тому типу старых кокеток, которые все время рассказывают о бесконечно опасных покушениях на их честь, пытаясь раздуть огонь ревности в своих мужьях или любовниках.

– Не спорьте, сосед, – тихонько сказала Хохотушка Родольфу. – Пусть бедняга думает, что они приставали к его жене. Ему это, наверное, даже льстит.

Родольф и не собирался лишать Пипле его иллюзий.

– Вы разумно избрали участь мудрецов, дорогой господин Пипле, – сказал он. – Вы презрели недостойных! К тому же добродетель мадам Пипле поистине неприступна.

– Ее добродетель, сударь, ее добродетель! – Альфред снова начал размахивать надетым на руку сапогом. – Да я голову за нее сложу на эшафоте! Слава великого Наполеона и добродетель Анастаси... за них я могу ответить своей собственной честью.

– И вы правы, господин Пипле. Но забудем на минуту этот прискорбный случай. Я прошу вас оказать мне одну услугу.

– Люди созданы, чтобы помогать друг другу, – наставительно и меланхолично ответил Пипле. – Тем более если речь идет о таком достойном жилище, как вы, сударь.

– Надо будет отнести ко мне разные вещи, которые вскоре доставят. Они для Морелей.

– Не беспокойтесь, сударь, я за всем прослежу.

– И еще, – печально добавил Родольф, – надо позвать священника, чтобы он побыл возле маленькой девочки, которая умерла этой ночью, оповестить о ее смерти и сразу заказать гроб и достойные похороны. Вот вам деньги... не скупитесь... Благодетель Морелей, – а я всего лишь исполнитель его воли, – пожелал, чтобы все было как можно лучше.

– Доверьтесь мне, сударь. Анастаси пошла купить нам кое-что к обеду. Как только она вернется, я оставлю ее здесь и займусь вашими поручениями.

В этот момент какой-то господин, настолько «упрятанный» в свое пальто, как говорят ис-

панцы, что видны были только глаза, и стараясь держаться в тени подальше от двери, осведомился у Пипле, можно ли ему подняться к госпоже Бюрет, торговке комиссионными вещами?

– Вы прибыли из Сен-Дени? – спросил Пипле с заговорщическим видом.

– Да, в час с четвертью.

– Хорошо, можете войти.

Человек в пальто с капюшоном быстро поднялся по лестнице.

– Что все это значит? – спросил Родольф у Пипле.

– Там что-то затевается, у этой мамыши Бюрет... Все время приходят, уходят. Утром она мне сказала: «Всех, кто придет ко мне, спрашивайте: „Вы из Сен-Дени?“ – и, если ответят: „Да, в час с четвертью“, – пропускайте ко мне. Но только этих людей!»

– Похоже, настоящий пароль, – сказал Родольф, не скрывая тревожного любопытства.

– Вот именно, сударь. Поэтому я и сказал себе: у мамыши Бюрет наверняка что-то затевается! Не говорю уже о том, что Хромуля, маленький хромой паршивец, он прислуживает Сезару Брадаманти, вернулся сегодня в два часа ночи с какой-то кривой старухой, которую зовут Сычиха. Они сидели до четырех утра у мамыши Бюрет, и все это время у дверей ее ждал фиакр. Откуда взялась эта кривая старуха? Что она здесь делала в такой поздний час? Такие вопросы задавал я себе и не мог на них ответить, – удрученно закончил Пипле.

– Эта кривая старуха, которую звали Сычихой, уехала на фиакре в четыре утра? – спросил Родольф.

– Да, сударь. И она наверняка вернется, потому что мамаша Бюрет сказала, что пароль для кривой старухи необязателен.

Родольф подумал, и не без оснований, что Сычиха замышляет какое-то новое злодеяние, но, увы, ему и я голову не приходило, как близко коснется его эта новая интрига.

– Значит, договорились, дорогой Пипле. Не забудьте сделать все для Морелей и попросите вашу супругу отнести им хороший обед из лучшей соседней харчевни.

– Будьте спокойны, – сказал Пипле. – Как только моя супруга вернется, я побегу в мэрию, в церковь и к харчевнику... В церковь – для мертвых и в харчевню – для живых, – философски добавил Пипле, поэтически украшая эту сентенцию. – Будьте спокойны, считайте, что все уже сделано.

У выхода Родольф и Хохотушка буквально столкнулись в Анастази, которая возвращалась с рынка с тяжелой корзиной всякой провизии.

– Счастливо вам, сосед и соседка! – воскликнула г-жа Пипле, глядя на них коварно и многозначительно. – Вы уже ходите под ручку... Дай бог, дай бог... Горячо, горячо! Молодость есть молодость... Хорошей девке – хороший парень! Да здравствует любовь! И дай вам боже...

Старуха исчезла в глубине аллеи, ведущей к дому, но голос ее доносился:

– Альфред, не печалься, мой старенький!.. Вот идет твоя Стази, несет тебе вкусенького, мой старый лакомка!

Родольф предложил Хохотушке руку, и они вышли из дома к бульвару Тампль.

Глава IV БЮДЖЕТ ХОХОТУШКИ

Ночью шел снег, а потом задул очень холодный ветер; обычно слякотная мостовая стала почти сухой. Хохотушка и Родольф направились к огромному и единственному в своем роде базару, который называли «Тампль». Девушка опиралась на руку своего кавалера и откровенно льнула к нему, как будто их давно уже связывала интимная интрига.

– Ну какая она смешная, эта мамаша Пипле! – заметила гризетка.

– Ей-богу, соседка, по-моему, она права – ответил Родольф.

– А в чем она права, сосед?

– Она сказала: «Да здравствует боже!»

– Ну так что?

– Вот и я так же думаю...

– Не понимаю...

– Я бы тоже хотел воскликнуть: «Да здравствует любовь», но... с вами, и пошел бы... куда вы меня поведете.

– Верю вам, вы не очень упрямы.

– Что же в том плохого? Ведь мы соседи!

– Если бы не были соседями, я бы не вышла с вами вот так, под ручку.

– Значит, я могу надеяться?

– На что надеяться?

– Что вы меня полюбите.

– Я вас уже люблю.

– В самом деле?

– Это ведь очень просто: вы добрый и веселый. Хотя и сами бедны, вы делаете все, что можете, для несчастных Морелей, взывая к богачам, чтобы они сжалились над бедняками; у вас хорошее лицо и вежливое обхождение, а мне это приятно и льстит мне: кто подает мне руку, тот получает мою. Я думаю, достаточно причин полюбить вас.

Хохотушка весело рассмеялась и вдруг воскликнула:

– Посмотрите на эту толстушку, вот ту, в ее сапожках на меху! Похоже, она тащит на ногах двух кошек без хвоста!

И она снова расхохоталась.

– Я предпочитаю смотреть на вас, милая соседка. Я так счастлив, что вы меня уже полюбили.

– Я вам говорю это, потому что так оно и есть. Если бы вы мне не нравились, я бы вам тоже это сказала. Я никогда никого не обманывала и не была кокеткой-притворяхой. Когда кто-то мне нравится, я это сразу говорю...

Внезапно остановившись перед лавкой старых вещей, гризетка воскликнула:

– Ох, посмотрите на эти грубые часы с маятником и на эти две прекрасные вазы! Я уже отложила три ливра и десять су – они у меня в копилке. Лет через пять-шесть я смогу купить себе такие же.

– Значит, вы даже откладываете? А сколько же вы зарабатываете, соседка?

– Самое малое тридцать су в день, а иногда и сорок. Но я рассчитываю только на тридцать, так будет осторожнее, и трачу не больше, – ответила Хохотушка с такой серьезностью, словно речь шла, о равновесии государственного бюджета.

– Но как же вы можете жить на тридцать су в день?

– Рассчитать не долго... Хотите, я расскажу вам, сосед? Похоже, вы мот по натуре, так это вам будет примером.

– Да что вы, соседка!

– Мои тридцать су в день – это значит сорок пять франков в месяц, не так ли?

– Правильно.

– Из них двенадцать франков уходит за комнату и двадцать три на еду.

– На еду... двадцать три франка?

– О господи, ну примерно столько! Признайтесь, что для такой крохотули, как я, и это слишком много. Кстати, я себе ни в чем не отказываю.

– Маленькая лакомка!

– И включите сюда моих чижигов.

– Да, понятно, если вас трое, то это уже и так разорительно. Но расскажите подробнее... чтобы я мог поучиться.

– Так слушайте: фунт хлеба – это четыре су, на два су молока, на четыре су зимних овощей, а летом – фрукты и салат; обожаю салат, его легко приготовить и он не пачкает руки; значит, это шесть су; на три су масла сливочного или оливкового и еще немного уксуса для приправы – итого тринадцать! И еще – ведро чистой воды – это роскошь, которую я себе позволяю, с вашего разрешения, значит, уже пятнадцать су... Прибавьте к этому два-три су в неделю на конопляное семя и птичью смесь для моих чижей, чтобы их порадовать, а обычно они клюют хлебный мя-

киш, размоченный в молоке, – и все на двадцать су, двадцать три франка в месяц, ни больше, ни меньше.

– И вы совсем не едите мяса?

– Мяса? Да ведь оно же стоит десять – двенадцать су за фунт! Я о нем и не думаю. А потом, когда оно варится, от него такой запах, вся комната пропахнет... А вот молоко, овощи, фрукты можно приготовить быстро. Знаете, что я больше всего люблю? Это так просто, я так вкусно это готовлю!

– Что же это за блюдо?

– Я кладу желтенькие чистенькие картошечки на противень – и в печку, а когда они испекутся, я их растолку, добавлю немного масла, чуть-чуть молока и щепотку соли, и... это пища богов! Если будете вести себя хорошо, я вас угощу.

– Если вы все приготовите вашими прелестными ручками, это, наверное, будет восхитительно. Но постойте, соседushка, давайте посчитаем... У нас уже вышло двадцать три франка на еду и двенадцать франков за комнату, итого тридцать пять франков в месяц...

– Чтобы дойти до сорока пяти или пятидесяти франков, которые я зарабатываю, мне остается потратить еще десять – пятнадцать франков на дрова и на масло для лампы зимой, и еще на одежду и на стирку, то есть на мыло, потому что, кроме простыней, я все стираю сама, – это тоже моя роскошь! Если бы я все отдавала прачке, я бы осталась голой! А я сама стираю, и глажу очень даже неплохо, и обхожусь! За пять зимних месяцев у меня уходит пять с половиной охапок дров и масла для лампы на четыре-пять су, значит, всего примерно восемьдесят франков в год на тепло и свет.

– Таким образом, у вас остается в лучшем случае сто франков, чтобы одеваться?

– Да, и прибавьте еще к этому сэкономленные три франка и десять су.

– Но ваши платья, ваши ботиночки, этот прелестный чепчик?

– Мои чепчики? Я их надеваю, только когда выхожу, и они меня не разорят, потому что я их шью сама. А дома – зачем мне чепчики с такой копной волос? А платья и ботиночки – разве нет рядом Тампля?

– Ах да, благословенный Тамплъ! Значит, вы там находите...

– Превосходные платья, и очень красивые. Представьте, знатные дамы завели обычай дарить свои старые платья горничным... Когда я говорю «старые», это значит, что они поносили их с месяц-другой, да и то разъезжали в каретах, а горничные тут же их продают в Тампле... почти даром. Вот, глядите, на мне платье превосходной шерсти цвета коринфского винограда. Мне оно обошлось всего в пятнадцать франков, а стоило не меньше шестидесяти, и оно почти не ношенное. Я его подогнала по себе и надеюсь, оно мне делает честь.

– Это вы ему делаете честь, соседushка!.. Однако со всеми чудесами вашего Тампля я начинаю понимать, как вы можете одеваться всего на сто франков в год.

– Трудно поверить, правда? Там продают чудные летние платьица всего за пять-шесть франков, полуботиночки, ну вот как у меня, почти новенькие, за два или три франка. Поглядите, они как на меня пошиты! – воскликнула Хохотушка, останавливаясь и показывая в самом деле отлично обутую ножку.

– Ножка прелестная, ничего не скажешь, на такую, наверное, нелегко найти туфельки... Но если вы мне скажете, что в этом Тампле продают и детскую обувь...

– Ох, какой же вы льстец, сосед. Но признайтесь все-таки, что маленькая, одинокая и разумная девушка может прожить и на тридцать су в день! Надо, правда, сказать, что эти четыре-ста пятьдесят франков, которые я получила, выходя из тюрьмы, мне очень помогли устроиться... Когда люди видели комнатку со всей этой мебелью, они доверяли мне и давали работу на дом. Но не сразу, не сразу. По счастью, у меня еще оставались деньги, и я могла прожить три месяца и без работы.

– У вас такое озорное личико, и кто бы подумал, что у вас столько рассудительности и расчета?

– Господи, когда ты одна на всем белом свете и когда не хочешь ни от кого зависеть, приходится быть расчетливой и, как говорят, вить свое гнездо.

– А ваше гнездышко прелестно!

– Правда? Ведь, в конце концов, я себе ни в чем не отказываю. Даже за комнату плачу больше, чем могла бы. И птички у меня, и летом две вазочки с цветами на моем камине, и цветочки в ящиках на подоконниках и в клетке у чижиков. И при всем при том, как я уже вам говорила, у меня уже были три франка и десять су в моей копилке, чтобы я могла когда-нибудь купить полный набор для моего камина.

– Что же стало с вашими сбережениями?

– Господи, в последние дня я видела этих, бедных Морелей такими несчастными, такими жалкими, что я сказала себе: «Нет смысла хранить в копилке три глупых монеты по двадцать су, которые пылятся от безделья в копилке, когда честные люди рядом умирают с голоду...» И я одолжила три франка госпоже Морель. Когда я говорю «одолжила», то это так, чтобы не унижать ее, потому что я отдала им эти деньги от чистого сердца.

– Вот видите, соседushка, вы были правы, теперь у них все в порядке, и они вернут вам этот долг.

– Да, а самом деле, и я не откажусь. Все-таки будет какая-то зацепочка, что когда-нибудь я смогу купить все для моего камина: решетку, щипцы... Я так об этом мечтаю!

– Но все-таки нужно хоть немного думать о будущем?

– О будущем?

– Ну если, например, заболете...

– Я? Заболею?..

И Хохотушка разразилась смехом.

Она расхохоталась так громко, что толстяк, который шел перед ними с такой же толстой собачонкой на руках, сердито обернулся, посчитав, что смеются над ним.

Хохотушка, не переставая смеяться, отвесила ему полупоклон с таким озорным видом, что Родольф невольно присоединился к веселому смеху своей спутницы.

Толстяк сердито проворчал что-то и пошел дальше.

– Да вы что, с ума сошли, соседushка? Успокойтесь! – попытался урезонить ее Родольф.

– Вы сами виноваты...

– В чем же?

– Говорите мне такие глупости!

– Что вы можете заболеть?

– Я? Заболеть?

И она снова расхохоталась.

– А почему бы и нет?

– Неужели я похожа на больную?

– Да нет же, я никогда не видел такого свежего и румяного личика.

– Так в чем же дело? Почему вы думаете, что я могу заболеть?

– Почему? Со всеми бывает...

– В восемнадцать лет... и при жизни, какую я веду, разве это возможно? Я встаю в пять утра, зимой и летом, ложусь спать в десять или в одиннадцать; я ем, пусть немного, но сколько мне хочется, не мерзну, работаю весь день и распеваю, как жаворонок, сплю как сурок, сердце мое свободно и радостно, я всем довольна; работы мне всегда хватает, об этом я не забочусь; так от чего же, по-вашему, мне болеть?.. Было бы просто смешно!

И опять она расхохоталась.

Родольф был поражен этой слепой и благословенной верой в будущее и упрекнул себя, что едва ее не поколебал... Он с ужасом подумал, что роковой недуг мог бы всего за месяц погубить это радостное и мирное создание.

Глубокая вера Хохотушки в свои восемнадцать лет и ее храбрость – ее единственное достоинство преисполнили Родольфа глубоким уважением. Святая простота!

Со стороны юной девушки в этом не было беззаботности или непредусмотрительности: в этом была инстинктивная вера в то, что божье милосердие и справедливость не покинут трудолюбивое и юное создание, бедную портнишку, виноватую разве лишь в том, что она целиком

полагалась на свою молодость и здоровье, подаренные ей небесами...

Когда птицы небесные по весне трепещут крыльями и радостно распевают над розовой люцерной или взмывают в теплых просторах лазури, разве думают они о грядущей суровой зиме?

– Значит, вы ни к чему особому не стремитесь? – спросил Родольф гризетку.

– Нет.

– Абсолютно ни к чему?

– Да нет же... Впрочем, я ведь говорила о гарнитуре для моего камина. Он у меня обязательно будет, только не знаю когда. Но я это вбила себе в голову, и я своего добьюсь. Может быть, буду работать даже по ночам...

– А кроме этого камина?..

– Ничего мне особенно не хотелось... До сегодняшнего дня.

– Что же случилось?

– Еще позавчера я мечтала о соседе, который бы мне понравился... чтобы зажить с ним в доброй дружбе, как я всегда это делала, чтобы оказывать ему небольшие услуги, я – ему, а он – мне.

– Мы уже договорились об этом, соседка: вы будете заботиться о моем белье, а я – натирать полы в вашей комнате... не говоря уже о том, что вы будете стучать мне в перегородку, чтобы пораньше меня разбудить.

– И вы думаете, это все?

– А что же еще?

– Нет, вы еще не все поняли. Разве вы не будете водить меня по воскресеньям к городским воротам или на бульвары? Ведь это у меня единственный свободный день...

– Прекрасно, договорились. Летом мы отправимся в деревню.

– Нет, я терпеть не могу деревню, я люблю только Париж. Правда, я несколько раз бывала в окрестностях Сен-Жермена да и то, чтобы угодить одной моей подруге: мы с ней познакомились в тюрьме, и звали ее Певунья, потому что она распевала весь день. Очень хорошая, добрая девочка.

– Что же с ней стало?

– Право, не знаю. Она тратила деньги, заработанные в тюрьме, без всякого удовольствия. Всегда была печальной, но отзывчивой, милосердной... Когда мы вышли вместе, у меня еще не было работы, а когда появились заказы, я уже не выходила из своей комнатухи. Я дала ей мой адрес, но она ни разу не пришла ко мне; наверное, у нее были свои дела... Так вот, мой сосед, я сказала, что люблю Париж больше всего! Поэтому, если вы сможете, сводите меня пообедать в ресторанчик, а может быть, порой в театр. А если у вас не будет денег, пойдемте посмотреть на витрины в ближайших пассажах, – для меня эта такая же радость. И можете не беспокоиться: во время этих прогулок вам не придется за меня краснеть. Вы увидите, как я смотрюсь в моем лучшем платье из темно-синего левантина, – я надеваю его только по воскресеньям! Мне оно так идет, просто прелесть, да еще при маленьком чепчике с кружевами и оранжевыми бантиками, – на моих черных волосах они тоже глядятся неплохо, – да еще когда я в ботиночках из турецкого сатина, сделанных на заказ, и в прелестной шали из шелковых оческов под кашемир. Подумайте только, сосед! На нас будут все оборачиваться! Мужчины будут говорить: «Смотрите, какая прелесть эта малышка, ей-богу, прелесть!» А женщины: «Какая у него красивая осанка, у этого стройного высокого юноши!.. Какой у него изысканный вид... И эти черные усики так ему к лицу!» И я буду согласна с этими дамами, потому что обожаю усы... К несчастью, Жермен не носил усов из-за работы в своей конторе. У Кабриона были усы, но такие же рыжие, как его огромная борода, а я не люблю большие бороды, и к тому же он вел себя на улице как последний мальчишка-озорник и всегда издевался над беднягой Пипле. Вот, скажем, Жирадо, – мой сосед еще до Кабриона, – был очень видным, но страшно косил. Вначале это меня очень смущало, потому что казалось, будто он смотрит куда-то в сторону, мимо меня, и я все время оборачивалась, чтобы узнать, на кого это он смотрит.

И снова взрыв смеха.

Родольф слушал эту болтовню с любопытством и уже третий или четвертый раз спрашивал себя, что ему думать о Хохотушке, о ее морали.

Откровенная речь гризетки и воспоминания об огромном засове на ее двери заставляли его почти верить в то, что всех своих соседей она любила как сестра, как братьев, как товарищей и что г-жа Пипле клеветала на нее, но тут же он усмехался своей наивной доверчивости и думал, что вряд ли такая юная и одинокая девушка могла устоять перед соблазнительными предложениями господ Жиродо, Кабриона и Жермена. И все же откровенность, простота и неподдельная искренность Хохотушки вновь заставляли его сомневаться.

– Вы меня радуете, соседка, обещая занять все мои воскресенья, – весело подхватил Родольф. – Можете не беспокоиться, мы славно погуляем.

– Минуточку, господин растратчик! При одном условии: кошелек будет у меня. Летом мы сможем отлично, ну просто преотлично пообедать всего за три франка в Шартрезе или в Эрмитаже на Монмартре, а потом – полдюжина контрдансов или вальсов, а потом – гонки на деревянных лошадках. Ах, как я люблю сидеть на деревянных лошадках!.. И все это вам обойдется всего в сто су, и ни грошика больше... Вы танцуете вальс?

– Да, и неплохо.

– Вот и прекрасно! Кабрион всегда наступал мне на ноги, да еще рада шутки разбрасывал гремучие хлопунки, поэтому нас и перестали пускать в Шартрез.

И опять взрыв хохота.

– Можете не беспокоиться, я сам не люблю эти хлопунки, поверьте на слово. Но что мы будем делать зимой?

– Зимой не так хочется есть, и мы будем обедать всего за сорок су, и нам останется три франка на театр, поэтому я не хочу, чтобы вы тратили больше ста су, это и так слишком много, но в одиночку вы бы истратили гораздо больше в кабачках или на бильярд с разными проходимцами, от которых так воняет табаком, что просто ужас! Разве не лучше провести веселый день с хорошенькой девушкой, доброй и смешливой, которая к тому же найдет время сэкономить вам на галстуки и заботясь о вашем хозяйстве?

– Разумеется, соседка, тут чистая выгода. Но вот задача, что, если мои друзья встретят меня под ручку с моей маленькой прелестной подружкой?

– Ну что ж, они скажут: «Повезло этому Родольфу, чертовски повезло!»

– Вы уже знаете, как меня зовут?

– Когда я узнала, что соседняя комната сдается, спросила, кому ее сдали.

– А друзья мне скажут: «Повезло этому счастливчику Родольфу!» И будут мне завидовать.

– Тем лучше!

– Они будут думать, что я счастлив.

– Тем лучше, тем лучше!..

– А если я вовсе не буду так счастлив, каким покажусь?

– Что вам до того, главное, чтобы все в это верили. Мужчинам большего и не нужно.

– Но ваша репутация?..

Хохотушка звонко рассмеялась.

– Репутация гризетки? Кто верит в эти падучие звезды? Если бы у меня был отец или мать, сестра или брат, я бы думала, что обо мне скажут... Но я одна, и это уж мое дело...

– Но я-то буду очень несчастлив.

– Почему это?

– Потому что меня будут считать счастливчиком, а я буду в самом деле любить, любить такой, какой вы были у папы Пету, когда вы с ним пировали сухой коркой хлеба, слушая, как он вам читает поваренную книгу.

– О господи, какие пустяки! Вы попривыкнете. Я буду такой нежной, такой, признательной, такой послушной, что вы сами скажете: все-таки лучше провести воскресенье с ней, чем с каким-нибудь приятелем... И в любой день недели, если вечером вы свободны и если вам со мной не скучно, вы можете цриходить ко мне посидеть у печурки при свете моей лампы. Вы будете брать в книжной лавочке на время романы и читать их мне. Лучше уж это, чем терять день-

ги на бильярде. А если вы долго задержитесь у своего хозяина или засидитесь в кафе, вы всегда можете постучать и пожелать мне спокойной ночи, если я еще не сплю. И даже если я буду спать, я утром постучу вам в перегородку, чтобы вас разбудить, и пожелаю доброго утра... Кстати, мосье Жермен, мой последний сосед, проводил так со мною все вечера и не жаловался! Он прочел мне почти всего Вальтера Скотта! Это было так забавно!.. Иногда по воскресеньям, когда погода была скверная, мы не ходили гулять или в театр; вместо этого он покупал что-нибудь вкусное, и мы устраивали настоящую пирушку в моей комнате, а потом читали... Меня это веселило почти как в театре. Я вам все рассказываю, чтобы вы поняли, что я совсем неприхотлива и всегда стараюсь угодить. А раз уж вы заговорили о болезнях, если вы когда-нибудь заболите, я буду вам самой верной маленькой сестрой милосердия... Можете спросить у Морелей! Вы даже не знаете, как вам повезло, господин Родольф. Вам выпал самый большой выигрыш в лотерею, что у вас такая соседка.

— Что правда, то правда, мне всегда везло. Кстати, а что стало с этим Жерменом? Где он теперь?

— Наверное, в Париже.

— Вы его больше не видели?

— С тех пор как он съехал, он ко мне на заходил.

— Но где он живет? Что делает?

— К чему все эти расспросы, сосед?

— Потому что я ревную, — ответил Родольф, улыбаясь. — И я хотел бы...

— Ревнуете? — Хохотушка расхохоталась. — Было бы из-за чего... Бедный малый!

— Нет, серьезно, соседка, мне очень важно, где я могу встретить Жермена. Вы знаете, где он живет, и, поверьте на слово, я никогда не употреблю во зло то, о чем прошу мне сказать... Клянусь, это только в его интересах.

— А если серьезно, сосед, то я верю, что вы желаете Жермену только добра, но он взял с меня слово, что я никогда не дам его адреса, и я не скажу его вам, потому что это мне невозможно... Не надо из-за этого на меня сердиться... Если бы вы мне доверили свою тайну, вы бы, наверное, похвалили меня за то, что я храню.

— Но все дело в том...

— Послушайте, сосед, раз и навсегда, не надо больше об этом. Я дала слово, и я его сдержу; что бы мне ни говорили, я отвечу то же самое: нет!

Несмотря на все свое озорство и легкомыслие, девушка произнесла последние слова так твердо, что Родольф, к своему великому сожалению, понял: от нее он так ничего не добьется. А прибегать к хитрости, чтобы заставить Хохотушку врасплох, ему было неприятно. Поэтому он подождет немного и весело заговорил снова:

— Не будем больше об этом, соседка! Черт возьми, вы так свято храните чужие тайны, что уж наверняка не выдадите свои собственные секреты.

— Мои секреты? Хотелось бы мне их иметь, наверное, это забавно.

— Как, у вас нет даже маленьких сердечных тайн?

— Сердечные тайны?

— Но разве вы никого не любили? — спросил Родольф, пристально глядя на гризетку и пытаясь угадать, скажет ли она правду.

— Как это никого? Жиродо? А Кабрион? Жермен? И вы, наконец!

— Вы их любили больше, чем меня? То есть не так, как меня?

— О господи! Нет, конечно, наверное, меньше, чем вас. Потому что мне приходилось мириться с косыми глазами Жиродо, с рыжей бородой и дурацкими шуточками Кабриона и с вечной печалью Жермена, — он всегда был такой грустный-прегрустный, этот бедный молодой человек. А с вами все наоборот, вы мне сразу понравились...

— Послушайте, соседка, только не сердитесь, я спрошу вас как верный друг...

— Давайте спрашивайте!.. У меня легкий характер... И к тому же вы так добры, что вам сердце не позволит спрашивать меня о том, что может меня огорчить. Я в этом уверена!

— Да, конечно... Но скажите откровенно, у вас никогда не было любовника?

– Любовники!.. Ну да, понимаю... Но разве есть у меня на это время?

– При чем здесь время?

– При том. Время – самое главное. Прежде всего, я буду ревновать, как тигрица, и без конца терзаться муками ревности. Так вот, сколько я зарабатываю? Могу я терять каждый день по два-три часа на слезы и душевные переживания? А если мне изменят – сколько горя, сколько страданий!.. Это вам для примера... Но одно лишь это так уменьшит мой заработок, что страшно подумать!

– Но не все же любовники изменяют, не все заставляют плакать своих любовниц.

– Так это еще хуже... Если он будет слишком хорошим, разве смогу обойтись без него хоть минуту?.. А ему, наверное, придется сидеть целый день в своей конторе, в мастерской или в лавке, и я буду весь день слоняться, как потерянная душа, пока он не придет... Я буду выдумывать тысячи ужасов, будто его любит другая, что сейчас он с нею... А если он меня бросит?.. А если... мало ли что еще может со мной приключиться? В любом случае я не смогу работать, как раньше... И что тогда со мной станет? Сейчас я спокойна и могу работать по двенадцать-пятнадцать часов в день, иначе мне не свести концы с концами... А представьте, что теряла бы три-четыре дня в неделю на страдания и переживания... Как бы я нагнала потерянное время? А никак... и пришлось бы мне к кому-нибудь в услужение идти. Но уж это нет! Мне слишком дорога моя свобода!

– Ваша свобода?

– Да, я давно могла бы получить место первой швеи в хозяйкином ателье, на которую я работаю... Мне бы платили четыреста франков, с жильем и едой...

– И вы не соглашаетесь?

– Конечно, нет... Я буду тогда наемной работницей, зависящей от других, а сейчас, как я ни бедна, я хозяйка в моем бедном доме, я никому ничего не должна... Я ничего не боюсь, я добра, я здорова и весела... У меня прекрасный сосед, я говорю о вас, – чего еще мне нужно?

– А вы никогда не думали о замужестве?

– О замужестве? Я могу выйти замуж только за такого же бедняка, как я. Вы видели несчастных Морелей? Видели, к чему это ведет? А, нет, пока ты отвечаешь только за самое себя, можно еще дожить...

– Значит, вы никогда не строили воздушных замков, ни о чем не мечтали?

– Нет, почему же? Я мечтаю о гарнитуре для камина... а кроме этого... о чем я еще должна мечтать?

– Но если какой-нибудь дальний родственник вдруг оставит вам маленькое наследство, ну, скажем, тысячу двести франков ренты, то для вас, с вашими пятьюстами франками, я полагаю...

– Черт возьми, наверное, это было бы здорово, но может быть и наоборот.

– Наоборот?

– Я счастлива такая есть, знаю жизнь, которой живу, и не знаю той жизни, какую мне придется вести, если я разбогатею. Вот послушайте, сосед: когда после долгого рабочего дня я ложусь в постель, когда лампа погасла и только угольки еще тлеют в моей печурке, я вижу при их слабом свете мою чистенькую комнату, мои занавески, мой комод и стулья, моих птичек, мои часы и мой рабочий стол, заваленный материей, которую мне доверили, и я говорю себе: «Наконец все это мое, и я никому за это не обязана, кроме меня самой...» Честное слово, сосед, эти мысли лениво меня убаюкивают, и я порой засыпаю гордая и всегда довольная собой. Так вот, если бы все это у меня было на деньги какого-нибудь старого дальнего родственника, я бы этим не так гордилась и не так радовалась, уверяю вас. Но смотрите, мы уже подходим к Тамплю! Признайтесь, прекрасное зрелище!

Глава V ТАМПЛЬ

Хотя Родольф и не разделял беспредельного восхищения Хохотушки, его все же поразил этот единственный в своем роде огромный базар с его кварталами и бесчисленными переходами.

Примерно в середине улицы Тампль, неподалеку от фонтана на углу большой площади, стоял огромный деревянный павильон в форме параллелограмма с высокой шиферной крышей.

Это был Тампль.

Слева его ограничивала улица Пти-Туар, справа – улица Персэ, а замыкался этот базар колоссальный ротондой с галереей открытых аркад.

Длинная улица пересекала Тампль посередине во всю его длину, разделяя на две примерно равные части, а те в свою очередь делились и подразделялись множеством маленьких продольных и поперечных переулков, которые перекрещивались в разных направлениях, и все они прятались от дождя под крышей огромного базара.

Здесь было все, кроме новых товаров, но даже самый куций обрезок ткани, самый крошечный кусочек меди, железа, стали, чугуна или бронзы всегда находили в Тампле своих продавцов и своих покупателей.

Были там «негоцианты», торгующие лоскутками материй всех цветов и оттенков, всех качеств и всех времен, которые могли понадобиться на заплаты для дырявой или рваной Одежды.

Были там лавчонки со всякой ношеной обувью, драной, прохудившейся, со сбитыми каблуками и совсем без подошв, среди которых попадались невыразимые обувки, потерявшие форму и цвет, забитые гвоздями, как тюремные двери, с подметками толщиной в палец и жесткими, как лошадиные подковы! Настоящие скелеты обуви, изъеденной временем и лишенной принадлежности к какой-либо эпохе. Все это заплесневелое, скорченное, дырявое, ржавое – и все продавалось и покупалось. И многие жили такой торговлей.

Здесь есть мелкие лавочники, торгующие бахромой, петличными шнурками, оторочками, витыми шнурами, кружевной отделкой из льна или шелка или нитками, которые они извлекают из совершенно непригодных занавесей и гардин.

Другие умельцы специализируются на дамских шляпках: этот товар поступает к ним только в мешках перекупщиц после самых странных превращений и немыслимых перекрасок, и у каждой шляпки своя долгая и невообразимая история. Для того чтобы эти товары не занимали слишком много места в лавочке, которая обычно чуть побольше собачьей конуры, эти шляпки складывают вдвое, в тесноте они сплюсываются как селедки, разве что без рассола, и невозможно представить, какое количество товара умещается в лавочке площадью в четыре фута на четыре.

Если появляется покупатель, эти шляпки выдергивают из кучи; торговка небрежно хлопает по ним, надевает на кулак, чтобы вернуть им былую форму, кладет на колено, чтобы разгладить поля, и перед вами предстает некий странный, фантастический предмет, который смутно напоминает легендарные головные уборы театральных служительниц, которые провожают вас в ложу, или тетушек, молодых фигуранток или дуэний провинциального театра.

Чуть дальше, под вывеской «Современные моды», под сводами ротонды, сооруженной в конце широкого прохода, который делит Тампль на две части, развешаны как «ex-voto»¹⁰³ всевозможные и бесконечные одежды самой невероятной расцветки и покроя, перед которыми блекнут все дамские шляпки.

Здесь можно найти серый шерстяной фрак, дерзко украшенный тремя рядами медных пуговиц на манер гусарского ментика, и вдобавок с огненным воротничком из лисьего меха.

Тут же рединготы, первоначально зеленого бутылочного цвета, но теперь выгоревшие до салатного, с черной шнурковой окантовкой, омоложенные подкладкой из шотландки в сине-желтую клетку, которая придает им развеселый вид.

Тут же сюртуки с рыбьими хвостами, как говорили раньше, пепельного цвета, с широкими отворотами и некогда посеребренными пуговицами, которые со временем стали медно-красными.

Здесь можно увидеть и коричневые плащи со стоячими воротниками, петлицами и обшивкой из черного, потертого шнура; рядом – домашние халаты, искусно сделанные из старых кариков, у которых срезали тройную пелерину и добавили подкладку из лоскутов набивного ситца.

¹⁰³ Приношение по обету (исп.). (Примеч. перев.)

У менее поношенных сохранился первоначальный цвет, синий или грязно-зеленый, с вышитыми вставками разных оттенков, и красная подкладка с оранжевыми розанчиками, такими же обшлагами и воротничками; витой шерстяной шнурок, который когда-то служил для того, чтобы звонком вызывать лакеев, ныне выдают за пояс этого элегантного домашнего халата, в котором Робер Макэр мог бы гордо наслаждаться покоем.

Мы не станем перечислять все эти дикие, странные, фантастические одежды, – всех не упомнишь! – но среди них попадались и подлинные ливреи королевских и княжеских дворов, которые всевозможные революции вытащили из дворцов на торжище в Тампле.

Эта выставка старой обуви, шляпок и нелепых одежд придавала базару Тампля гротескный вид; это был рынок лохмотьев, кое-как подновленных и с претензией приукрашенных. Однако следует признать, даже провозгласить, что столь широкий выбор очень полезен беднякам или малоимущим людям. Здесь они могут купить по самой низкой цене великолепные вещи, почти новые, у которых износ, можно сказать, чисто воображаемый.

Одно из отделений Тампля, где продавались спальные принадлежности, было заполнено одеялами, простынями, матрасами и подушками. Чуть поодаль продавали ковры, занавеси, всевозможную домашнюю утварь; еще дальше – одежду, обувь, головные уборы для покупателей любого сословия и любого возраста. Эти вещи, как правило, очень чистые и приличные, ни у кого не вызывали неприязни.

Тем, кто не видел этого базара, трудно представить, что за самое короткое время и с небольшими деньгами здесь можно нагрузить целую повозку всем, что необходимо для хозяйства двух или трех семей, у которых нет ничего.

Родольф был поражен, с каким благодушием, предупредительностью и радостью торговцы, стоя перед своими лавчонками, спешили обслужить покупателей; их манеры, проникнутые почтительной фамильярностью, казались отголоском прошедших веков. Родольф подал Хохотушке руку. Едва они вошли в пассаж, где продавали спальные принадлежности, на них со всех сторон посыпались самые соблазнительные предложения.

– Мосье, взгляните на мои матрасы! Они совсем как новые! Я вам распорю уголок, вы увидите, набивка словно шерсть ягненка, такая она белая и нежная.

– Моя маленькая красotka, у меня простыни из наилучшего льна, и лучше чем новые, потому что не такие жесткие: они мягкие, как замшевая перчатка, и прочные, как стальная кольчуга.

– Милые молодожены, купите у меня эти одеяла! Посмотрите, какие они пышные, теплые и легкие; взгляните на этот пуховик, его полностью перебрали, да он и прослужил всего раз двадцать; дамочка, убедите вашего мужа, я доставлю вам все на дом, уверяю вас, вы будете довольны, и еще вернетесь к мамаше Бувар, и найдете у нее все, что вам нужно... Вчера у, меня была такая удачная покупка!.. Да вы сами посмотрите, за погляд денег не берут!

– Ей-богу, соседка, эта толстуха мне нравится, – сказал Родольф Хохотушке. – Она принимает нас за молодоженов, и это мне льстит... Так что зайдём в ее лавку.

– Что ж, пусть будет эта толстуха, – ответила Хохотушка. – Она мне тоже нравится!

Гризетка и ее спутник вошли к мамаше Бувар.

По великодушию, которое царит только в Тампле, соперницы мамыши Бувар не возмутились, что покупатель предпочел ее, и одна из соседок даже заметила без всякой зависти:

– Лучше уж мамаша Бувар, чем кто-нибудь другой. У нее семья, и она старейшина и гордость нашего Тампля.

Да и в самом деле, трудно себе представить более приветливую, открытую и добродушную физиономию, чем у этой старейшины Тампля.

– Смотрите, моя милая маленькая дамочка, – обратилась она к Хохотушке, которая с видом знатока рассматривала ее товар. – Вот эта моя счастливая покупка: два полных спальных гарнитура, и оба как новенькие. А если вам захочется купить еще старый маленький секретер, то отдам почти даром, вот он. – И мамаша Бувар указала рукой. – Достался мне заодно с постелями. Я, правда, обычно не покупаю такую мебель, но тут я не смогла отказать: люди, у которых я все это купила, были такими несчастными! Бедная женщина!.. И расставание с этим старьем больше

всего надрывало ее сердце... Наверное, этот секретер – последнее, что у нее оставалось от семейной мебели...

При этих словах, пока Хохотушка спорила с торговкой о цене спальных гарнитуров, Родольф внимательно присмотрелся к секретеру, на который показала мамаша Бувар.

Это был старый секретер розового дерева, почти прямоугольный по форме, с передней крышкой на медных петлях с упорами: если ее опустить, она превращалась в маленький столик. На внешней стороне крышки, обрамленной разноцветным орнаментом, он заметил инкрустацию из черного дерева, переплетенные буквы М и Р, – и над ними – графская корона.

Он подумал, что владелец этого секретера принадлежал к высшему классу общества. И любопытство его удвоилось. Он еще внимательнее присмотрелся к секретеру, начал машинально выдвигать ящички, но один из последних почему-то не поддавался. С некоторым усилием он осторожно потянул его на себя и увидел листок бумаги, застрявший между ящичком и пазами секретера.

Пока Хохотушка заканчивала торговые переговоры с мамашей Бувар, Родольф с любопытством исследовал свою находку.

По многим зачеркнутым словам можно было сразу определить, что перед ним черновик неоконченного письма.

Родольф прочитал его с немалым трудом:

«Сударь!

Поверьте, что только последняя крайность заставляет меня обращаться к вам. Меня удерживала вовсе не гордость, неуместная в моем положении, а полное отсутствие заслуг, за которые я могла бы просить награды. Однако вид моей дочери, доведенной, как и я, до ужасной нищеты, заставляет меня преодолеть мои колебания. Всего несколько слов о причинах угнетающего меня несчастья.

После смерти моего мужа мне осталось триста тысяч франков, которые мой брат отдал в рост нотариусу Жаку Феррану. В Анжере, куда я удалилась с моей дочерью, я получала проценты с этой суммы через моего брата. Вы знаете об ужасном происшествии, которое оборвало его жизнь; он разорился, по-видимому, из-за тайных неудачных спекуляций и покончил с собой восемь месяцев назад. Накануне этого рокового события я получила от него отчаянное письмо. Когда я буду его читать, писал он, его уже больше не будет на свете. Он закончил это письмо предупреждением, что у него нет никаких документов относительно суммы, помещенной на мое имя у Жака Феррана: нотариус никогда не давал расписок, ибо он считался честью и гордостью своего сословия, и мне достаточно явиться к нему, чтобы это дело было устроено наилучшим образом.

Как только я смогла опомниться после ужасной смерти брата, я приехала в Париж, где почти никого не знаю, кроме вас, да и то не прямо, а через некоторых знакомых моего мужа. Как я уже сказала, сумма, доверенная г-ну Жаку Феррану, составляла все мое состояние: и мой брат каждые полгода присылал мне проценты с этих денег. Но после последней выплаты прошло более года, и я пришла к г-ну Жаку Феррану, чтобы востребовать эти деньги, в которых крайне нуждалась.

Едва я предстала перед ним и назвала себя, он, невзирая на мое горе, обвинил моего брата в том, что тот якобы занял у него две тысячи франков, которые он потерял, что его самоубийство было не только преступлением перед богом, добавил он, но и перед людьми, и что это было бесчестным поступком, жертвой которого стал он, Жак Ферран.

Его отвратительные слова возмутили меня: кристальная честность моего брата была известна всем. Правда, он, не слушая меня и своих друзей, потерял свое состояние в рискованных спекуляциях, но он умер с незапятнанной репутацией и не оставил никаких долгов, кроме долга нотариусу.

Я ответила г-ну Феррану, что разрешаю ему взять эти две тысячи франков, ко-

торые задолжал мой брат, из трехсот тысяч франков, отданных ему на сохранение. При этих словах он посмотрел на меня с изумлением и спросил, о каких трехстах тысячах франков идет речь...

„Тех самых, которые мой брат передал вам полтора года назад и с которых вы до сих пор перечисляли мне проценты, через его посредство“, – ответила я, не понимая его удивления.

Нотариус пожал плечами, улыбнулся с жалостью, словно я пошутила, и ответил, что мой брат никаких денег ему не поручал, а, наоборот, занял у него две тысячи франков.

Не могу вам описать, как ужаснул меня этот ответ.

„Куда же делась такая сумма денег? – вскричала я. – У нас с дочерью нету иных доходов. Если у нас отнимут и это, мы окажемся в самой страшной нищете. Что же с нами будет?“

„Я ничего не знаю, – холодно ответил нотариус. – Возможно, ваш брат, вместо того чтобы передать мне эти деньги, как он вам говорил, истратил их на всякие неудачные спекуляции, которыми увлекался, несмотря на все наши предостережения“.

„Это неправда, и это подлость! – воскликнула я. – Мой брат был воплощением совести. Он не мог обездолжить меня и мою дочь, наоборот, он даже не женился, только для того, чтобы оставить все свое достояние моей дочери“.

„Значит, вы смеете утверждать, что я способен отрицать, будто получил от вас вклад, который вы мне якобы передали?“ – спросил меня нотариус с негодованием, которое показалось мне настолько искренним и справедливым, что я ему ответила:

„Нет, ваша честность известна всем, но тем не менее я не могу даже подозревать брата в том, что он так жестоко злоупотребил моим доверием“.

„Какие документы могут подтвердить ваше заявление?“ – спросил г-н Ферран.

„Никакие. Полтора года назад мой брат, желая устроить мои дела, написал мне: 'Есть прекрасная возможность поместить твои деньги из расчета шести процентов годовых. Вышли мне доверенность на продажу твоей ренты; я помещу триста тысяч франков, доплатив до круглой суммы, у нотариуса Жака Феррана...' Я отослала доверенность брату, а через несколько дней он оповестил меня, что вклад сделан вам, хотя вы никогда не даете расписок, и через полгода я получила причитающиеся мне проценты“.

„Но у вас сохранились хоть какие-то письма по этому поводу?“

„Нет, сударь. Чисто деловые письма я не храню“.

„К сожалению, ничем не могу вам помочь, – ответил нотариус. – Поскольку моя честность выше всех подозрений и неуязвима, я вам скажу: обращайтесь в суд! Обвините меня! И судьям придется выбирать между честным словом почтенного и почитаемого всеми человека, который за тридцать лет завоевал уважение всех добрых людей, и посмертными претензиями одного из самых безумных спекулянтов, который не нашел иного выхода, кроме самоубийства... И под конец скажу вам: попробуйте обвинить меня, и память вашего брата будет обесчещена. Но я думаю, что вы смиритесь с вашим несчастьем, конечно немалым, но к которому я совершенно не причастен“.

„Но поймите, я все-таки мать! Если мы лишимся всего, нам останется только продать нашу скромную мебель, а потом – нищета, ужасная нищета!“

„Вас обманули, и это большое несчастье, – ответил нотариус. – Но тут уж я ничем не могу помочь. Еще раз повторяю: ваш брат обманул вас. Если вы сомневаетесь, кто говорит правду, он или я, обвиняйте меня! Судьи вынесут свой приговор“.

Я ушла от нотариуса с отчаянием и болью в душе. Что оставалось мне делать в этой крайности? Без всяких документов, которые могли бы доказать справедливость моих требований, убежденная в безупречной честности моего брата и смущенная непоколебимой уверенностью г-на Феррана, я не знала, к кому обратиться за сове-

том. Вы были тогда в отлучке. Я знала, что консультация у адвокатов стоит немалых денег, и желая сохранить то немногое, что у нас оставалось, не посмела затевать подобную тяжбу. И вот тогда...»

На этом черновик письма обрывался: последние строки были так густо зачеркнуты, что разобрать их было невозможно. И только в самом низу листа, в уголке Родольф разобрал нечто вроде памятки: «Написать герцогине де Люсене».

Родольф надолго задумался над этим неоконченным письмом.

Хотя новое преступление Жака Феррана и не было доказано, этот человек проявил такую жестокость к несчастному Морелю, такую подлость по отношению к его дочери Луизе, что утверждение этого негодяя, будто он не брал на сохранение под проценты денег, да еще у самоубийцы, вряд ли могло кого-нибудь удивить.

Эта мать, пытавшаяся спасти свое необъяснимым образом исчезнувшее достояние ради дочери, очевидно всегда жившей в достатке, внезапно оказалась нищей, никого не знала в Париже, как говорилось в черновике письма. Что могли делать эти две женщины без всяких средств, одинокие в этом огромном городе?

Родольф, как мы помним, обещал г-же д'Арвиль волнующие приключения, правда, обещал наугад, но был уверен, что представится такая возможность отвлечь ее, дать ей возможность заняться благотворительностью, потому что до следующего свидания с маркизой наверняка найдет бедняг, которые нуждаются в помощи и утешении.

Он подумал, что случай, может быть, навел его на след благородной жертвы, которая согласно его планам сможет занять сердце и воображение маркизы.

Черновик письма, наверное так и не отосланного человеку, к которому она взывала о помощи, говорил, что женщина, писавшая его, обладала гордым и решительным характером и, несомненно, возмущалась бы, если бы ей предложили что-то вроде милостыни. В таком случае, сколько же предосторожностей и хитростей придется применить, чтобы скрыть источник щедрых благодеяний и заставить ее принять их!

И потом, сколько ловкости понадобится, чтобы войти в доверие к этой женщине, оценить, достойна ли она сочувствия, которое внушает! Родольф предвидел во всем этом множество новых побуждений, любопытных и трогательных, которые должны были особенно позабавить г-жу д'Арвиль, как он ей это обещал.

– Ну так что же, муженек, – весело сказала Хохотушка Родольфу. – Что это за клочок бумаги, который вы читаете?

– Вы слишком любопытны, моя женушка! – ответил Родольф. – Я потом расскажу. Вы закончили с вашими покупками?

– Конечно, и ваши подопечные будут жить как короли. Остается только заплатить; мамаша Бувар довольно уступчива, надо отдать ей должное.

– Моя маленькая женушка, у меня идея! Пока я расплачиваюсь, не поищите ли вы одежду для Мадлен Морель и ее детей? Признаюсь, я сам в этом ничего не смыслю. Скажите, чтобы все принесли сюда, и мы, люди небогатые, все увезем за раз.

– Вы всегда правы, муженек. Ждите меня здесь, я скоро. У меня здесь знакомые торговки, у которых я обычно покупаю; у них я найду все, что нам нужно.

И Хохотушка выбежала из лавки.

Но на пороге обернулась и воскликнула:

– Только прошу вас, мамаша Бувар, не стройте глазки моему муженьку! Я его вам доверяю!

И со звонким хохотом она исчезла.

Глава VI ОТКРЫТИЕ

– Надо признаться, сударь, – сказала мамаша Бувар Родольфу, когда Хохотушка убежала, –

надо признаться, вам досталась хорошая хозяйюшка. Черт возьми, она умеет так дешево все покупать! И к тому же она добрая, прехорошенькая, – беленькая, румяная, черноглазая, и волосы черные... а это уже редкость.

– Не правда ли, она очаровательна? Я счастливый муж, госпожа Бувар!

– А она счастливая жена, я в этом уверена.

– И вы не ошибаетесь. Но скажите, сколько я вам должен?

– Ваша маленькая хозяйка ни за что не хотела уступать и сторговала все за триста франков. Видит бог, я на этом имею всего пятнадцать франков, потому что заплатила за все эти вещи дороже, чем могла бы... Но у людей, которые их продавали, был такой несчастный, жалкий вид!

– В самом деле? Кстати, вы не у них купили этот маленький секретер?

– Да, сударь... Как подумаю о них, просто сердце разрывается! Представляете, позавчера приходит сюда молодая дама, еще очень красивая, но такая бледная, такая худая, что смотреть больно... Мы-то, бедные люди, кое-что в этом понимаем. И хотя она была одета, как говорится, со вкусом, но ее старая черная шерстяная шаль, ее поношенное черное бомбазиновое платье, – дама была в трауре, – ее соломенная шляпка – и это в январе! – говорили яснее ясного о том, что мы называем благородной нищетой, потому что я уверена: это очень приличная дама. Она спросила, не куплю ли я у нее спальный гарнитур из двух кроватей и маленького секретера, и вся покраснела от смущения. Я ответила, что, раз уж я продаю мебель, надо ее и покупать, если она мне подойдет, считайте дело сделанным, но сначала надо посмотреть. Она предложила сходить к ней, это совсем недалеко, по другую сторону бульвара, в доме на канале Сен-Мартен. Что ж, я оставляю лавку на свою племянницу и следую за дамой. Мы приходим в дом, как говорится, для маленьких людей, в самой глубине двора, поднимаемся на пятый этаж, дама стучит, нам открывает дверь девочка лет четырнадцати, и тоже в трауре, и такая же бледная и худая, но при всей ее бледности и худобе такая хорошенькая, – как ясный день, такая красавица, что я просто онемела.

– Кто же эта прелестная девочка?

– Дочка той дамы в трауре... В доме было холодно, а на ней – бедненькое бумажное платье, черное в белый горошек, и маленькая черная шаль, совсем изношенная.

– Наверное, они жили в страшной нищете?

– Представьте себе две комнаты, очень чистенькие, но совершенно голые и такие холодные, что можно умереть. Камин; но в нем даже пепла нет, его давно уже не топили. А из мебели – две кровати, два стула, комод, старый сундук и маленький секретер. На сундуке – какой-то пакет, завязанный в платок... Этот узелок было все, что осталось матери и дочери, когда они продадут свою мебель. Привратник, который поднялся вместе с нами, объяснил, что хозяин дома согласился взять у них за долги только деревянные рамы двух кроватей, стулья, сундук и стол. Поэтому дама в трауре попросила меня честно оценить матрасы, простыни, занавески и покрывала. Слово честной женщины, сударь, я живу тем, что покупаю подешевле, а продаю подороже, но, когда я увидела эту несчастную девочку с глазами, полными слез, и ее бедную мать, которая при всем ее хладнокровии едва сдерживала рыдания, я оценила все с точностью до пятнадцати франков, и это была хорошая цена, клянусь вам. Я даже согласилась, чтобы их выручить, взять маленький секретер, хотя это и не по моей части...

– Я его покупаю у вас, госпожа Бувар.

– Господи, тем лучше! А то бы долго не знала, кому его сбыть. Я ведь взяла его, только чтобы помочь бедной даме. Когда я сказала ей свою цену, я думала, она будет торговаться, запросит больше... Так нет же! Тут я еще раз убедилась, что эта дама не из простых: благородная нищета, вы меня понимаете?... Я ей говорю: даю столько-то. А она отвечает: «Хорошо. Пойдемте к вам, там вы мне заплатите, потому что я не могу вернуться в этот дом». Потом она говорит своей дочери, которая сидит на сундуке и плачет: «Возьми узелок, Клэр!» Я хорошо запомнила имя, она назвала ее Клэр. Юная мадемуазель встала, но, когда она подошла к маленькому секретеру, вдруг упала перед ним на колени и разрыдалась. «Мужайся, дитя мое, на нас смотрят», – сказала ей мать вполголоса, но я ее услышала. Понимаете, сударь, они очень бедные люди, но при этом гордые. Когда дама в трауре протянула мне ключ от секретера, я увидела, как из ее покрасневших глаз тоже скатились слезы, словно сердце ее обливало кровью, наверное, ей был

очень дорог этот секретерчик, но она постаралась сохранить хладнокровие и достоинство перед чужими людьми. Под конец она предупредила портье, что я заберу все, что не взял себе хозяин дома, и мы вернулись ко мне в лавку. Девочка одной рукой поддерживала мать, а в другой несла узелок со всем их добром, Я отсчитала им триста пятнадцать франков, и больше я их не видела.

– Вы знаете, как их зовут?

– Нет, сударь. Дама продала мне свои вещи в присутствии привратника, так что мне были ни к чему их имена: и так было ясно, что это ее вещи.

– А куда они перебрались?

– И этого я не знаю.

– Наверное, об этом знают в их прежнем доме?

– Нет, сударь. Когда я вернулась туда за купленными вещами, портье сказал мне об этой даме и ее дочке: «Они были очень скромные, очень достойные и очень несчастные. Только бы с ними не стряслось никакой новой беды! С виду они вроде спокойны, но я душой чувствую, что они в отчаянии...» – «Куда же они сейчас перебрались?» – спросила я. «Ей-богу, не знаю, – ответил он. – Они ничего мне об этом не сказали и наверняка сюда уже не вернутся».

Все надежды, возникшие было у Родольфа, рухнули. Как отыскать двух несчастных женщин, зная только имя дочери, Клэр, и имея в руках только обрывок черновика письма, о котором мы уже говорили, где внизу осталась только одна строчка: «Написать герцогине де Люсене»?

Единственный, хотя и слабый шанс отыскать следы этих, двух бедняжек могла дать только герцогиня де Люсене, которая, по счастью, была из круга знакомых г-жи д'Арвиль.

– Возьмите отсюда сколько нужно, – сказал Родольф, протягивая торговке билет в пятьсот франков.

– Я вам дам сдачи.

– Где нам найти повозку, чтобы отвезти все эти вещи?

– Тут совсем рядом. Хватит одной большой ручной повозки, такая есть у папаши Жерома, моего соседа. Он мой постоянный перевозчик... По какому адресу доставить вещи?

– Улица Тампль, дом семнадцать.

– Тампль, семнадцать? Как же, как же, прекрасно знаю...

– Вы уже бывали в этом доме?

– И довольно часто... Сначала я там покупала всякую рухлядь у одной ростовщицы, которая там живет. Конечно, ремесло у нее не очень почетное, но какое мне дело? Она продает, я покупаю, и мы в расчете. В другой раз я приходила туда месяца полтора назад за мебелью одного молодого человека, который куда-то переезжал. Он жил на пятом этаже.

– Случайно это не Франсуа Жермен? – воскликнул Родольф.

– Он самый. Вы его знаете?

– И очень хорошо. Но, к несчастью, на улице Тампль он не оставил своего нового адреса, и я не могу его отыскать.

– Ну, если дело только за этим, я вам помогу.

– Вы знаете, где он живет?

– Точно не знаю, но могу сказать, где вы его наверняка можете встретить.

– Где же это?

– У нотариуса, у которого он работает.

– У нотариуса?

– Да, он живет на Пешеходной улице.

– Жак Ферран! – воскликнул Родольф.

– Он самый; святой человек, у него в конторе и распятие, и освященные кусочки дерева от креста господня; не контора, а просто церковная ризница.

– Но откуда вы узнали, что Жермен работает у нотариуса?

– Ну, в общем, этот молодой человек пришел и предложил мне купить у него всю его скудную мебель. Хотя это и не по моей части, в тот раз тоже я купила все оптом, чтобы потом продать в розницу. Молодого человека это устраивало, а мне хотелось ему помочь. Значит, я у него покупаю всю его холостяцкую мебелишку, я ему плачу... Наверное, он был доволен, потому что

недели через две он вернулся ко мне, чтобы купить полный кроватный гарнитур. С ним – доставщик с маленькой ручной тележкой. Мы все увязываем, грузим, и вот в последнюю минуту он вдруг замечает, что забыл дома свой кошелек. Этот молодой человек казался таким честным, что я ему и говорю: «Забирайте, все же ваши вещи, а за деньгами я к вам завтра зайду». – «Очень хорошо, – говорит мне он. – Только меня почти никогда не бывает дома. Приходите завтра на Пешеходную улицу к нотариусу Жаку Феррану, – я у него работаю, – и я вам заплачу». На другой день я пришла к нему, он мне уплатил, и все бы хорошо, но вот что непонятно: зачем он продал свою мебель, чтобы через две недели купить другую?

Родольф, казалось, понимал причину этого странного поступка: Жермен хотел сбить со следа негодяев, которые за ним охотились. Он явно боялся, что, если переедет со своей мебелью, преследователи об этом узнают и найдут его новое жилье; поэтому он предпочел все продать, а потом купить, сбежать налегке, а потом купить заново необходимые вещи.

Родольф задрожал от радости при мысли о том, как будет счастлива г-жа Жорж, когда узнает, что сможет наконец увидеть своего сына, которого так долго и тщетно искала.

Вскоре вернулась, Хохотушка, как всегда веселая, с улыбкой на устах.

– Я же вам говорила, я не ошибаюсь! – воскликнула она. – Мы истратили всего шестьсот сорок франков, зато Морели заживут теперь как короли. Смотрите, смотрите, торговцы идут один за другим, и все нагруженные вещами! Теперь у семьи будет все, что нужно, – и гриль, и две чудные кастрюли, заново луженные, и даже кофейник... Я сказала себе: если уж делать все с размахом, нечего мелочиться... И на все это я потратила от силы три часа!.. Но платите скорее, сосед, и пойдем отсюда... Скоро уже полдень, и моей иголке придется мелькать, как молния, чтобы утро совсем не пропало.

Родольф заплатил и вместе с Хохотушкой покинул базар Тампл.

Глава VII ЯВЛЕНИЕ ПРИЗРАКА

В тот момент, когда гризетка со своим спутником входили в аллею перед домом, их чуть не сбила с ног растрепанная, растерянная и перепуганная привратница.

– Боже мой, что с вами, госпожа Пипле? – спросила Хохотушка. – Куда это вы так бежите?

– Ах, это вы, мадемуазель Хохотушка! – воскликнула Анастаси. – Сам господь мне вас посылает... Помогите мне спасти жизнь моего Альфреда!

– Что вы говорите?

– Бедный мой дорогой старичок упал в обморок... Сжальтесь над нами! Сбегайте в винную лавку, купите на два су абсента, самого крепкого, это ему всегда помогало, если он болен, особенно при запорах... наверное, и сейчас поможет. Будьте так добры, поспешите, а я вернусь к Альфреду. У меня голова идет кругом.

Хохотушка выдернула руку из-под руки Родольфа и бросилась в винную лавку.

– Но что с ним случилось, госпожа Пипле? – спросил Родольф, следуя за привратницей к ее каморке.

– Откуда мне знать, достойный господин! Я вышла в мэрию, в церковь, а заодно – к трактирщику, чтобы Альфреду самому не бегать... Возвращаюсь – и что я вижу! Мой бедный старичок лежит, все четыре лапы вверх... Посмотрите, господин Родольф, – продолжала она, открывая дверь своей конуры. – Это же сердце может разорваться!..

Действительно, зрелище было жалостное. Как всегда, в своей шляпе с раструбом, но сейчас нахлобученной до самых глаз и явно с чьей-то помощью, если судить по глубокой поперечной вмятине в засаленном фетре, г-н Пипле сидел на полу, прислонившись к своей кровати.

Обморок прошел, и Альфред делал слабые движения, словно что-то отталкивал от себя, а затем попытался освободиться от надвинутой на глаза шляпы.

– Он уже шевелится, это добрый знак! Он приходит в – чувство! – воскликнула привратница и, нагнувшись, прокричала ему прямо в ухо: – Что с тобой, мой Альфред? Это я, твоя Стази... Как ты себя чувствуешь? Сейчас тебе принесут абсента, и ты сразу поправишься!

А затем добавила самым сладеньким фальцетом:

– Тебя чуть не ограбили, чуть не убили! Чуть не похитили у твоей мамочки? И кто?

Альфред глубоко вздохнул и со стоном лишь одно роковое слово:

– Кабрион!!!

Его дрожащие руки снова попытались оттолкнуть ужасное видение.

– Кабрион? Опять этот нищий мазила воскликнула г-жа Пипле. – Он снился Альфреду всю ночь, поэтому он все время брыкался и не давал мне спать. Это чудовище для него настоящий кошмар! Он отравляет ему не только дни, но и ночи, он его преследует даже во сне, да, сударь, Как будто Альфред преступник, а он – его больная совесть, покарай господь этого Кабриона!

Родольф усмехнулся про себя, подумав, какую еще шутку выкинул бывший сосед Хохотушки.

– Альфред, отвечай мне, не молчи, ты меня слушаешь? – продолжала г-жа Пипле. – Ну послушай, опомнись... Почему ты все время думаешь об этом мерзавце? Ты же знаешь, от этих кошмаров тебя всегда пучит, как от капусты, и ты задыхаешься.

– Кабрион! – повторил Пипле, стаскивая с головы свою сплюсненную шляпу и растерянно озираясь.

Тут прибежала Хохотушка с бутылочкой абсента.

– Спасибо, мамзель, вы такая добрая! – сказала старуха и добавила: – А ну, мой старенький, мой хороший, проглоти-ка все это, и тебе сразу станет лучше.

Анастаси живо поднесла бутылочку к губам Пипле, чтобы он выпил абсент.

Альфред торжественно, но тщетно сопротивлялся: пользуясь слабостью своей жертвы, жена одной рукой крепко удерживала его голову, а другой всунула горлышко маленькой бутылки ему в рот и заставила проглотить ее содержимое после чего торжествующе воскликнула:

– Вот и славно! Теперь с тобой все в порядке, милый мой старичок!

И действительно, вытерев рот тыльной стороной руки, Альфред окончательно открыл глаза, поднялся на ноги и спросил все еще испуганным голосом:

– Вы его видели?

– Кого?

– Он ушел?

– Но кто, Альфред?

– Кабрион!

– Да как он посмел! – вскричала привратница.

Пипле, безмолвный, как статуя командора, лишь дважды с загробным видом утвердительно кивнул головой.

– Кабрион приходил сюда? – спросила Хохотушка, едва удерживаясь от непреодолимого желания рассмеяться.

– Этот злодей ополчился на Альфреда! – воскликнула г-жа Пипле. – О, если бы я была здесь с моей метлой... Он бы слопал ее до самой ручки! Говори же, Альфред, расскажи нам о твоём горе!

Пипле сделал жест, что готов и говорить. Все слушали человека в расплюсченной шляпе в священной тишине.

А он рассказывал взволнованным голосом:

– Моя супруга оставила меня, чтобы мне самому не ходить в мэрию, в церковь и к трактирщику, как мне порекомендовал сей достойный господин.

Кивок в сторону Родольфа.

– Моего дорогого старичка всю ночь мучили кошмары, и я решила избавить его от этих хлопот, – пояснила Анастаси.

– Этот кошмар был ниспослан мне свыше как предупреждение, – благоговейно продолжал Пипле. – Мне снился Кабрион... Мне предстояло пострадать от него. И утро началось с покушения на талию моей супруги...

– Альфред, Альфред, ну что ты рассказываешь об этом перед всеми! – манерным воркующим голосом пропела г-жа Пипле, стыдливо опуская глаза. – Я так стесняюсь...

– Когда эти два похотливых злодея ушли, я думал, что испил свою чашу несчастий в этот несчастливый день, – продолжал Пипле. – Но вдруг, о боже мой, боже!..

– Мужайся, Альфред, говори!

– Да, я найду в себе мужество, – героически ответил привратник, – оно мне еще понадобится. Так вот, я спокойно сидел перед рабочим столом и размышлял, какие изменения следует внести в голенище этого сапога, доверенного моему умению, как вдруг я услышал шум, словно кто-то царапался в дверь нашей комнаты... Что это было? Предчувствие? Знак свыше? Сердце мое сжалось, я поднял голову и сквозь дверное стекло увидел... я увидел...

– Кабриона?! – вскричала Анастаси, заламывая руки.

– Да, Кабриона, – глухо ответил Пипле. – Его безобразное лицо было прижато к стеклу, и он смотрел на меня в упор своими кошачьими глазами... Что я говорю, кошачьими? Глазами тигра! Точно как в моем кошмаре... Я хотел заговорить – но язык прилип у меня к небу, хотел подняться – и не смог оторваться от кресла; сапог выпал у меня из рук, но, как во всех критических и самых важных случаях в моей жизни, я... сохранил полную неподвижность... И тогда ключ повернулся в скважине, дверь открылась и Кабрион вошел!

– Он вошел! Какое нахальство! – подхватила г-жа Пипле, не менее мужа пораженная этой дерзостью.

– Он вошел медленно, – продолжал Альфред, – остановился на миг у порога, гипнотизируя меня своими свирепыми глазами... затем двинулся ко мне, останавливаясь на каждом шагу и бросая на меня пронизывающие взгляды, не говоря ни слова, ужасный и безмолвный, как привидение!..

– Ох, у меня мурашки бегут по спине, – прошептала Анастаси.

– Но я становился все неподвижнее и неподвижнее, сидя в моем кресле... Кабрион приближался все так же медленно, завораживая меня взглядом, как змея маленькую птичку... Он внушал мне ужас, но я не мог оторвать взгляда от его страшных глаз. Он подошел ко мне совсем близко... Я не мог больше выносить его отвратительного вида, это было сильнее меня, я не выдержал... и я закрыл глаза. И тогда я почувствовал, что он осмелился поднять руку... на мою шляпу! Я почувствовал, как он взял ее за верх, медленно поднял... и оставил меня с обнаженной головой! Я почувствовал головокружение, дыхание мое стеснилось, в ушах шумело, я все плотнее вжимался в кресло и все крепче зажмуривал глаза. И тогда Кабрион наклонился, обхватил руками мою лысую голову, мою почтенную, достойную голову. Как я имел право сказать до этого покушения, – так вот, он взял мою голову двумя руками, ледяными, как руки мертвеца... и на моем высоком лбу, покрытом холодным потом... запечатлел бесстыдный, дерзкий поцелуй!!!

Анастаси воздела руки к небесам.

– Мой самый злейший враг целует меня в лоб! И я вынужден терпеть его мерзкие ласки, после того как он повсюду преследовал меня из-за моих волос! Такой чудовищный кошмар заставил меня призадуматься и совсем парализовал... Кабрион воспользовался моей неподвижностью, чтобы снова надеть мне шляпу на голову, а затем ударом кулака нахлобучил ее мне до самых глаз, как вы сами видели. Это последнее оскорбление потрясло меня, это было последней каплей, переполнившей чашу, все вокруг меня завертелось, и я потерял сознание. Но в последний миг я увидел из-под полей моей шляпы, как он выходит из нашей комнаты так же спокойно и медленно, как и вошел.

Тут Пипле упал в свое кресло, словно этот рассказ истощил его силы, и безвольно воздел руки к небесам.

Хохотушка выскочила из швейцарской, у нее тоже сил больше не было, она просто задыхалась от смеха и не могла больше сдерживаться. Родольф и тот с великим трудом сохранял серьезность.

Внезапно на улице послышался шум, который обычно производит множество людей, перед воротами произошла какая-то суeta и еще через минуту по плитам у двери дома загремели ружейные приклады.

Глава VIII

АРЕСТ

– Ох, господин Родольф! – кричала Хохотушка, вбегая; она была бледна и вся дрожала. – Там полицейский комиссар со стражей!

– Правосудие божие заботится обо мне! – воскликнул Пипле в религиозном экстазе. – Наконец-то арестовали этого Кабриона... К несчастью, слишком поздно!

Комиссар, которого легко было узнать по перевязи, выглядывавшей из-под его черного сюртука, вошел в швейцарскую; лицо его было серьезным, достойным и суровым.

– Господин комиссар, вы пришли слишком поздно: преступник сбежал, – печально сказал Пипле. – Но я могу вам дать все его приметы... улыбка жестокая, взгляд нахальный, манеры...

– О ком вы говорите? – удивился полицейский.

– О Кабрионе, о ком же, господин комиссар! Но если поспешить, еще можно поймать, – ответил Пипле.

– Я не знаю, кто такой Кабрион, – нетерпеливо прервал его полицейский. – В вашем доме живет ювелир-гранильщик по имени Жером Морель?

– Да, мой комиссар, – насторожившись, ответила г-жа Пипле.

– Ведите меня в его квартиру.

– Морель-гранильщик? – переспросила привратница вне себя от изумления. – Да ведь это агнец божий, он не способен...

– Здесь проживает Жером Морель, да или нет?

– Да, мой комиссар, со своей семьей, в мансарде.

– Так ведите меня на эту мансарду!

Затем, обращаясь к одному из своих спутников, полицейский добавил:

– Пусть два жандарма ждут внизу и не уходят от ворот, а Жюстена пошлите за фиакром.

Тот удалился, чтобы исполнить приказ.

– А теперь, – сказал комиссар полиции, обращаясь к Пипле, – ведите меня к Морелю.

– Если вам все равно, мой комиссар, я заменю Альфреда: он себя плохо чувствует из-за этого Кабриона... Его от него мутит, как от капусты.

– Вы или ваш муж, мне это безразлично. Идемте!

Вслед за г-жой Пипле он начал подниматься по лестнице, но вскоре остановился, заметив, что Родольф и Хохотушка идут за ним.

– А вы кто такие? Что вам нужно? – спросил он.

– Это двое наших жильцов с пятого этажа, – ответила г-жа Пипле.

– Извините, я не знал, что вы здесь живете, – сказал комиссар Родольфу.

Надеясь на снисходительность вежливого полицейского, тот сказал ему:

– Вы увидите семью, доведенную до отчаяния. Я не знаю, какая еще беда ожидает этого несчастного ремесленника, но в эту ночь на его долю выпало страшное испытание... Одна из его дочерей, уже истощенная болезнью, умерла у него на глазах... умерла от холода и нищеты...

– Возможно ли это?

– Это чистая правда, мой комиссар, – вмешалась г-жа Пипле. – Если бы не этот господин, с которым вы говорите, – а он принц среди наших жильцов, и потому, что своей щедростью спас несчастных Морелей от долговой тюрьмы, – вся его семья умерла бы с голоду.

Комиссар посмотрел на Родольфа с интересом и удивлением.

– Нет ничего проще, – объяснил Родольф. – Одна милосердная особа, узнав, что Морель, за честность и порядочность которого я отвечаю, незаслуженно оказался в отчаянном положении, поручила мне оплатить долговое письмо, по которому судебные приставы могли упрятать в тюрьму этого бедного ремесленника, единственную опору многочисленной семьи.

Пораженный в свою очередь благородным обликом Родольфа и достоинством его манер, комиссар ответил:

– Я не сомневаюсь в честности Мореля, но, к сожалению, обязан исполнить тяжкий долг, который вас огорчит, потому что вы так искренне печетесь о семье Морелей.

– Что вы хотите этим сказать?

– Судя по услугам, которые вы им оказали, и по вашей речи, я вижу, что вы благородный человек. А потому у меня нет причин скрывать от вас предписание, которое я должен выполнить. У меня ордер на арест Луизы Морель, дочери гранильщика.

Родольф сразу вспомнил сверток с золотыми монетами, который девушка вручила судебским приставам.

– В чем же ее обвиняют, господа?

– Ее ждет тюрьма за детоубийство.

– Ее, тюрьма? О, несчастный ее отец!

– Судя по горестным обстоятельствам, о которых вы мне рассказали, этот новый удар будет для ремесленника ужасен... К сожалению, я должен выполнять полученные приказы.

– Может быть, речь идет только о предварительном заключении? – воскликнул Родольф. – Доказательств наверняка нет?

– Я не могу вам ничего больше сказать по этому поводу... Правосудие узнало об этом преступлении, вернее о подозрении в преступлении, от весьма достойного во всех отношениях человека, ее хозяина...

– От Жака Феррана, нотариуса? – возмущенно спросил Родольф.

– Да, сударь... Но почему такой тон?..

– Потому что Жак Ферран – мерзавец!

– Мне жаль, сударь, что вы совсем не знаете человека, о котором судите; господин Жак Ферран достойнейший человек, его честность признана всеми.

– Я повторяю вам, сударь: этот нотариус – мерзавец... Он хотел посадить Мореля в тюрьму, потому что его дочь отвергла его гнусные домогательства. Если Луизу обвиняют только на основании доноса такого человека... Признайтесь, сударь, подобное обвинение не заслуживает доверия.

– Я не могу и не хочу обсуждать с вами справедливость заявления господина Феррана, – холодно сказал комиссар полиции. – Это дело правосудия, все решит суд присяжных. Что касается меня, я должен установить личность Луизы Морель и выполнить данное мне предписание.

– Вы правы, извините меня за то, что в порыве негодования, впрочем вполне законного, я забыл на минуту, что здесь действительно не время и не место для обсуждения таких вопросов. Только одно: тело покойной дочери Мореля осталось у него в мансарде, а я предложил его семье свою комнату, чтобы избавить всех от печального зрелища мертвой девочки. Так что вы найдете гранильщика и, может быть, его дочь у меня. Умоляю вас, во имя человечности, не забирайте Луизу так сразу, когда они еще не оправились от страшного горя. Морель в эту ночь испытал столько потрясений, что разум его не выдержит нового. Жена его тоже смертельно больна, и еще один удар убьет ее.

– Я всегда исполнял приказы со всевозможной мягкостью и сегодня буду действовать так же осторожно.

– Позвольте попросить вас об одном одолжении, если хотите, милости. Вот что я предлагаю: девушка, которая идет за нами вместе с привратницей, занимает комнату рядом с моей. Не сомневаюсь, что она предоставит ее в ваше распоряжение. Вы сможете, если нужно, позвать туда сначала Луизу, – а потом Мореля, чтобы дочь могла с ним проститься. По крайней мере, вы избавите несчастную больную и беспомощную мать от этой душераздирающей сцены.

– Если можно это устроить, что ж, я согласен.

Этот разговор происходил вполголоса; Хохотушка и г-жа Пипле скромно отстали от комиссара и Родольфа на десять ступеней. Родольф спустился к Хохотушке, весьма смущенной присутствием полицейского, и шепнул ей:

– Бедная моя соседка, я попрошу от вас еще одной жертвы: уступите мне вашу комнату примерно на час!

– На сколько хотите, господин Родольф... Мой ключ у вас. Но, господа, что тут происходит?

– Я вам потом расскажу. Но это еще не все: возвращайтесь поскорее в Тампль и попросите, чтобы все наши покупки доставили не ранее чем через час.

– Охотно, господин Родольф. Неужели еще что-то стряслось с несчастным Морелем?

– Увы, случилась новая беда, и вы скоро об этом узнаете.

– Хорошо, сосед, я бегу в Тампль. Господи, а я-то надеялась, что благодаря вашей доброте эти бедные люди избавятся от всех забот! – сказала гризетка и быстро спустилась по лестнице.

Родольф прежде всего хотел избавить ее от печальной сцены ареста Луизы.

– Мой комиссар, если уж мой принц жильцов доведет вас, может, я спущусь к моему Альфреду? – спросила г-жа Пипле. – Он меня беспокоит. Ведь он только что оправился от этой встречи с Кабрионом.

– Идите, идите, – сказал комиссар, и они остались вдвоем с Родольфом.

Потом одновременно они поднялись на площадку пятого этажа и остановились перед дверью комнаты, где временно разместился Морель со своей семьей.

Внезапно дверь распахнулась.

Из нее быстро вышла Луиза, бледная и заплаканная.

– Прощайте, прощайте, отец! – воскликнула она. – Я вернусь, но сейчас мне нужно уйти.

– Луиза, девочка моя, послушай меня! – умолял Морель, следуя за нею и пытаясь ее удерживать.

При виде Родольфа и комиссара полиции отец и дочь замерли.

– Ах, это вы, наш спаситель! – воскликнул гранильщик, узнав Родольфа. – Помогите мне удержать Луизу. Я не знаю, что с ней, но она меня пугает. Она хочет уйти. Но ведь правда, ей не нужно больше возвращаться к хозяину? Вы ведь сами сказали мне: «Луиза вас больше не покинет, это вам будет, наградой». О, благословенное обещание! Я, признаюсь, на миг позабыл даже о смерти маленькой Адели. Поэтому я не могу расстаться с тобой, Луиза! Никогда, никогда!

Сердце Родольфа сжалось, он не мог ответить ни слова.

Комиссар сурово спросил Луизу:

– Вас зовут Луиза Морель?

– Да, – ответила девушка в замешательстве.

Родольф отпер комнату Хохотушки.

– А вы Жером Морель, ее отец? – продолжал полицейский, обращаясь к гранильщику.

– Да, но что...

– Войдите сюда вместе с вашей дочерью!

Комиссар показал на комнату Хохотушки, где уже находился Родольф.

Ободренные его присутствием, Морель и Луиза, удивленные и смущенные, вошли в комнату гризетки вслед за комиссаром. Тот закрыл дверь и, сдерживая волнение, обратился к гранильщику:

– Я знаю, что вы честны и у вас горе, поэтому с большим сожалением должен сказать вам, что именем закона я арестую вашу дочь.

– Все открылось!.. Я погибла! – воскликнула перепуганная Луиза и бросилась в объятия отца.

– Что ты говоришь?.. О чем ты говоришь? – бормотал пораженный Морель. – Ты сошла с ума... Погибла?.. Арестовать тебя?.. За что?.. Кто может тебя арестовать?

– Я, именем закона! – И полицейский комиссар показал ему свою перевязь.

– О, я несчастная, несчастная! – вскричала Луиза, падая на колени.

– Как это, именем закона? – бормотал ремесленник, чей разум, потрясенный ночной трагедией, начал мутиться от этого нового удара. – Зачем забирать мою дочь именем закона? Я отвечаю за Луизу, отвечаю... Это дочь моя, достойная дочь... не правда ли, Луиза? Как? Арестовать тебя, когда наш добрый ангел вернул тебя нам, чтобы утешить за смерть моей маленькой Адели? Да полно, все это неправда! И потом, господин комиссар, при всем уважении, арестуют только преступников, вы слышите? А Луиза, моя дочь, не преступница. Ну конечно, ты видишь, дитя мое, он ошибается... Мое имя Морель, другого Мореля нет, а тебя зовут Луиза, есть только одна Луиза, вот так. Видите ли, господин комиссар, это ошибка, наверняка ошибка!

– К сожалению, никакой ошибки нет!.. Луиза Морель, попрощайтесь с вашим отцом.

– Вы отнимаете у меня мою дочь? Вы не смеете! – воскликнул гранильщик, обезумев от

горя, и двинулся на комиссара полиции с угрожающим видом.

Родольф схватил его за руку и сказал:

– Успокойтесь, не теряйте надежды. Дочь вернется к вам; ее невиновность будет доказана; я верю, что она не совершила никакого преступления.

– В чем ее обвиняют?.. Она ни в чем не виновата! Ручаюсь вам...

Но тут он вспомнил о золотых, которые Луиза принесла, чтобы оплатить долговую расписку.

– Значит, эти деньги? – воскликнул Морель, бросая на дочь уничтожающие взгляды. – Откуда взяла ты эти деньги сегодня утром?

Луиза поняла.

– Я их не украла! – воскликнула она, и вспыхнувший румянец негодования, искренность ее голоса и жеста успокоили отца.

– Я это знал! – крикнул он. – Вот видите, господин комиссар! А она за всю жизнь не солгала ни разу, клянусь вам. Спросите всех, кто ее знает, и они вам скажут то же самое. Лгать? Для этого она слишком горда, и к тому же долговое письмо оплатил наш благодетель... А это золото, ей оно не нужно; она собиралась вернуть его тому, кто его одолжил, запретив называть его имя... Правда, Луиза?

– Вашу дочь не обвиняют в воровстве, – сказал комиссар полиции.

– Но, господи, в чем же тогда ее обвиняют? Я ее отец и клянусь вам, она ни в чем не повинна, что бы ни говорили. А я за всю свою жизнь тоже ни разу не солгал.

– Зачем вам знать об этом обвинении? – вступился Родольф, тронутый его горем. – Невиновность Луизы будет доказана; особа, которая стремится помочь вам, сумеет защитить вашу дочь... Поэтому мужайтесь! Провидение и на этот раз не оставит вас. Обнимите вашу дочь, вы скоро с ней увидите...

– Господин комиссар! – вскричал Морель, не слушая Родольфа. – Вы отнимаете дочь у отца, даже не говоря, в чем ее обвиняют! Я хочу все знать!.. Луиза, может, ты сама скажешь?

– Ваша дочь обвиняется в детоубийстве, – сказал комиссар полиции.

– Я... я не понимаю...

И потрясенный Морель забормотал что-то неясное.

– Вашу дочь обвиняют в том, что она убила своего ребенка, – объяснил комиссар полиции, глубоко потрясенный этой сценой. – Но то, что она совершила это преступление, еще не доказано.

– О нет, нет, этого не было! – с силой воскликнула Луиза, поднимаясь с колен. – Клянусь вам, он был уже мертв! Он уже не дышал, он был совсем холодный... Я потеряла голову, и в этом все мое преступление... Но чтобы я своего ребенка... Нет, нет, никогда!

– Твоего ребенка, несчастная? – вскричал Морель, вздевая обе руки, словно он хотел уничтожить Луизу этим жестом и этим страшным возгласом.

– Пощади, отец, пощади меня! – воскликнула Луиза.

Воцарилась тяжкая, жуткая тишина, а затем Морель заговорил еще более страшным голосом:

– Уведите ее, господин комиссар, уведите эту тварь... Она мне больше не дочь...

Гранильщик хотел выйти, но Луиза бросилась ему в ноги, обхватила обеими руками его колени и, откинув голову, закричала с отчаянием и мольбой:

– Отец мой! Выслушайте меня, только выслушайте!

– Господин комиссар, заберите ее, я вам ее оставляю, – повторял гранильщик, тщетно пытаясь освободиться от рук Луизы.

– Послушайте ее! – вмешался Родольф, останавливая его. – Не будьте хоть сейчас таким безжалостным.

– И это она! Господи боже мой, она! – повторял Морель, пряча лицо в ладонях. – Обещанная!.. Подлая!..

– А если она приняла бесчестие, чтобы вас спасти? – тихо спросил его Родольф.

Эти слова поразили гранильщика как молния. Он посмотрел на свою заплаканную дочь,

все еще обнимающую его колени. Его вопрошающий взгляд был неописуем. И вдруг он проговорил глухим голосом сквозь стиснутые от ярости зубы:

– Нотариус?

Ответ уже дрожал на губах Луизы... Она готова была сказать, но, видимо, какая-то мысль удержала ее; она опустила голову и промолчала.

– Да нет же, еще сегодня утром он хотел посадить меня в тюрьму! – засмеявшись, продолжал Морель. – Значит, это не он? О, тем лучше, тем лучше!.. Ей нечем даже оправдать свою вину, значит, я тут ни при чем, я не виноват в ее бесчестии... и могу проклясть ее без угрызений совести!..

– Нет, нет, не проклиняйте меня, отец! Вам я все расскажу, только вам одному. И вы увидите, увидите, достойна ли я прощения...

– Выслушайте ее ради бога! – сказал Родольф.

– О чем она может мне рассказать? О своем бесстыдстве? Пусть расскажет всем, а я подожду...

– Сударь! – воскликнула Луиза, обращаясь к комиссару полиции. – Сжальтесь! Позвольте мне сказать несколько слов моему отцу наедине... прежде чем мы расстанемся, может быть навсегда. И перед вами я все расскажу, наш спаситель, но только вам и моему отцу...

– Я согласен, – сказал комиссар.

– Неужели у вас нет жалости? Неужели вы откажете ей в последнем утешении? – спросил Родольф Мореля. – Если вы хоть немного благодарны мне за все доброе, что я для вас сделал, не откажите вашей дочери в этой последней милости.

После минуты угрюмого и злобного молчания Морель проговорил:

– Пошли!

– Но куда? – удивился Родольф. – Рядом вся ваша семья...

– Куда? – переспросил гранильщик с горькой иронией. – Куда мы пойдем? Наверх, наверх, в мансарду... поближе к телу моей маленькой дочки... Самое подходящее место для таких признаний, не правда ли? Пошли! Посмотрим, посмеет ли Луиза лгать перед трупом своей сестренки. Идем!

И Морель с блуждающим взглядом вышел из комнаты, не оглядываясь на Луизу.

– Сударь, – тихо сказал комиссар Родольфу. – Ради бога, сократите как можете этот тягостный разговор из жалости к несчастному отцу. Вы были правы, боюсь, его рассудок не выдержит, у него и сейчас был уже взгляд безумца...

– Да, я, как и вы, опасюсь нового и ужасного несчастья. Постараюсь, чтобы это горестное прощание длилось недолго.

И Родольф начал подниматься по лестнице вслед за гранильщиком и его дочерью.

Каким бы ни был странным и зловещим выбор Мореля, он, так сказать, определялся расположением комнат: комиссар полиции согласился ждать у Хохотушки, семья Мореля занимала комнату Родольфа, значит, оставалась только мансарда.

В этот жуткий склеп под самой крышей и пришли Луиза, ее отец и Родольф.

Глава IX ИСПОВЕДЬ

Жестокое и мрачное зрелище!

Посреди мансарды, такой, как мы ее описали, на топчане старой идиотки лежало тело умершей утром девочки, прикрытое рваным одеяльцем.

Потоки яркого света, проникая сквозь узкое окно в потолке, падали на лицо трех актеров этой сцены, превращая их в белые маски с резкими черными тенями.

Родольф стоял, прислонившись спиной к стене; у него было тяжело на душе.

Морель присел на край своего верстака, понунив голову и опустив руки; пристально и угрюмо смотрел он на топчан, где лежало тельце маленькой Адели.

При виде ее гнев и возмущение гранильщика постепенно уступили место горечи и невыра-

зимой печали; он обессилел и согнулся под тяжестью нового удара судьбы.

Луиза была смертельно бледна и боялась потерять сознание: ее ужасало то, в чем она должна была признаться. И все же она решилась, трепеща, взять руку своего отца, бедную, исхудавшую руку, измученную непосильной работой.

Он не отнял ее, и тогда его дочь с рыданиями осыпала ее поцелуями и вскоре почувствовала, как он легонько прижал свою руку к ее губам. Гнев Мореля улетучился, и из глаз его потекли наконец слезы, которые он так долго сдерживал.

– Отец! Если бы вы знали! – воскликнула Луиза. – Если бы вы знали, какая я несчастная!

– Ох, Луиза, я буду каяться в этом вечно, до конца моей жизни, – ответил, плача, гранильщик. – Ты, о господи, и в тюрьме!.. На скамье подсудимых!.. Ты, такая гордая... когда тебе было чем гордиться... Нет! – воскликнул он снова в приступе боли и отчаяния. – Нет, лучше тебе лежать в смертном саване рядом с твоей несчастной маленькой сестрой!.

– Да, лучше, я бы тоже этого хотела! – ответила Луиза.

– Молчи, несчастное дитя, не надрывай мне сердце... Я не хотел, этого говорить, я забылся... Говори же, но, бога ради, не лги! Какой бы жестокой ни была правда, скажи мне все... что-бы я узнал от тебя, а не от других... Мне будет легче... Говори! У нас мало времени, внизу тебя ждут. Господи, какое горькое расставание!

– Отец, я скажу вам все, – начала Луиза, собрав всю свою решимость. – Но обещайте мне, и пусть наш спаситель обещает, что вы не расскажете об этом никому... никому... Если он только узнает, что я рассказала, о боже мой! – Она содрогнулась от ужаса. – Вы все погибнете, погибнете, как я... потому что вы не знаете могущества и жестокости этого человека.

– Какого человека?

– Моего хозяина...

– Нотариуса?

– Да, – прошептала Луиза и оглянулась, словно боясь, что ее услышат.

– Успокойтесь, – сказал Родольф. – Пусть он могуществен и жесток, мы с ним справимся. К тому же, если я открою кому нужно все, что вы хотите рассказать, это будет только в ваших интересах и в интересах вашего отца.

– И я тоже, Луиза, – подтвердил Морель. – Если я заговорю, то только для того, чтобы тебя спасти. Но что он сделал, этот негодяй?

– Вот еще что, – сказала Луиза, чуть подумав. – Речь пойдет еще об одном человеке, который оказал мне огромную услугу... и всегда относился к моему отцу и к нашей семье с большой добротой. Он уже служил у Феррана, когда я к нему нанялась, и заставил меня поклясться, что я не назову его имени.

Родольф подумал, что, наверное, речь идет о Жермене, и сказал Луизе:

– Если вы имеете в виду Франсуа Жермена, то можете быть спокойны: мы с вашим отцом сохраним его тайну.

Луиза посмотрела на Родольфа с удивлением.

– Вы его знаете? – спросила она.

– Еще бы! Этот добрый, превосходный молодой человек жил здесь месяца три. Значит, он уже работал у нотариуса, когда ты пришла к нему? – спросил Морель. – Но когда ты впервые увидела его, ты как будто его не узнала...

– Так мы условились, отец. У него были важные причины, чтобы никто не знал, что он работает у Феррана. Это я посоветовала ему снять комнату у нас на пятом этаже, зная, что он будет нам добрым соседом...

– Но кто же направил вашу дочь к нотариусу? – спросил Родольф.

– Когда моя жена заболела, я сказал госпоже Бюрет, – она живет здесь и ссужает деньги под заклад, – что Луиза хочет пойти в прислуги, чтобы нам помочь. Госпожа Бюрет знала экономку нотариуса; она дала мне письмо к ней, в котором рекомендовала Луизу как превосходную служанку. Будь оно проклято, это письмо!.. Оно стало причиной всех наших несчастий. Вот так, сударь, моя дочь попала в прислуги к нотариусу.

– Хотя я кое-что знаю о причинах ненависти Феррана к вашему отцу, – сказал Родольф, –

все же расскажите, Луиза, что в общем происходило между вами и нотариусом, после того как вы к нему нанялись... Это может пригодиться для вашей защиты.

– В первые дни службы у Феррана мне как будто не на что было жаловаться, – ответила Луиза. – Работать приходилось много, экономка часто обращалась со мной грубо, дом был мрачный, но я все терпела: служба есть служба, и в других домах у меня были бы другие неприятности. У Феррана было суровое лицо, он ходил к мессе, часто принимал у себя священников, в общем, я его не опасалась. Первое время он едва удостоивал меня взглядом и говорил со мной очень строго, особенно при чужих.

Кроме швейцара, который жил в комнате с выходом на улицу, в главном доме, где находится контора, из всей прислуги я оставалась одна с экономкой, госпожой Серафен. Мы жили во флигеле, он стоял в стороне, между садом и двором. Моя комната была на самом верху. По вечерам мне часто становилось страшно, когда я оставалась совсем одна, либо на кухне, в полуподвале, либо у себя в моей комнатухе. Мне порой слышались какие-то глухие страшные звуки на нижнем этаже, где никто не жил и где обычно работал днем Жермен. Два окна этого этажа были замурованы, а одна из толстых тяжелых дверей была усилена железными полосами. Экономка сказала мне, что за ней находится касса господина Феррана.

Однажды я надолго задержалась, чтобы закончить срочную починку белья, и уже ложилась спать, когда услышала, как кто-то крадется по маленькому коридору, в конце которого была моя комната. Кто-то остановился перед моей дверью. Я думала, что это экономка, но никто не вошел, и я испугалась. Я не смела шевельнуться, только прислушивалась, но за дверью никто не шевелился, а я была уверена, что за ней стоят. Я спросила два раза: кто там? Мне не ответили. Я еще больше испугалась и придвинула к двери комод – у меня не было ни замка, ни засова. Я долго вслушивалась, но никто в коридоре не шевелился. Через полчаса, показавшимися мне вечностью, я улеглась в постель; ночь прошла спокойно. Наутро я попросила экономку сделать на моей двери засов, потому что в ней не было замка. Рассказала ей о моих ночных страхах. Она ответила, что все это мне приснилось, а насчет засова надо просить Феррана. Услышав мою просьбу, он пожал плечами и сказал, что я сошла с ума. Больше я не осмеливалась его просить. Через некоторое время случилось это несчастье с бриллиантом. Мой отец был в отчаянии и не знал, что делать. Я рассказала о его горе госпоже Серафен; она мне ответила: «Наш господин такой милосердный, что, наверное, чем-нибудь поможет вашему отцу». В тот же вечер, когда я прислуживала за столом, господин Ферран вдруг мне сказал: «Твоему отцу нужно тысячу триста франков. Сегодня же скажи ему, чтобы зашел ко мне в контору, я одолжу ему эти деньги. Он честный человек, и надо ему помочь». От такой доброты я расплакалась. Я не знала, как отблагодарить моего хозяина. Но он мне сказал с обычной своей суровостью: «Полно, полно, здесь нет ничего особенного...» Вечером после работы я поспешила принести отцу добрую весть. А на следующий день...

– Я получил тысячу триста франков в долг на три месяца и написал расписку – на предъявителя, – сказал Морель. – Я, как Луиза, едва не плакал от благодарности, называл этого человека моим благодетелем, моим спасителем... Господи, каким же надо быть жестоким, чтобы растоптать мою признательность и мое уважение к нему...

– Эта долговая расписка на предъявителя на такой короткий срок, эта странная предосторожность не вызвали у вас подозрений? – спросил Родольф. – Ведь вы бы не успели вернуть долг!

– Нет, сударь, я думал, что нотариус делает это на всякий случай. К тому же он мне сказал, что дает мне два года. Просто каждые три месяца я для порядка должен давать новую расписку. Но, когда миновал первый срок, он предъявил ее к оплате от третьего лица, денег у меня не было, и суд вынес постановление... Но он сказал мне, чтобы я не беспокоился, мол, это просто ошибка судебного пристава...

– Он хотел держать вас в своей власти, – сказал Родольф.

– Увы, сударь, вы правы. Со дня этого постановления он начал... Но продолжай, Луиза, продолжай! Я уже не знаю, на каком я свете... В голове мутится... В памяти какие-то провалы... Я сойду с ума! Нет, это слишком, я не выдержу, не выдержу!

Родольф успокоил гранильщика... Луиза продолжала:

– Я старалась как могла отблагодарить Феррана за его доброту. И тогда экономка возненавидела меня: она находила какое-то наслаждение в том, чтобы мучить меня, не передавала мне приказы моего хозяина, и я всегда была виноватой; все время придиралась ко мне, и я бы давно ушла – на другое место, но расписка моего отца удерживала меня. Прошло три месяца; Ферран по-прежнему обращался со мной очень грубо перед госпожой Серафен, но иногда он посматривал на меня исподтишка так, что я смущалась, и улыбался, видя, как я краснею.

– Вы понимаете, сударь? – спросил Морель. – Он готовил мне арест за неуплату долга.

– Однажды, – продолжала Луиза, – после обеда экономка ушла, против своего обыкновения; клерки тоже покинули контору – все они живут в городе. И вот Ферран отсылает швейцара с каким-то поручением, и мы остаемся в доме одни. Я прибиралась в прихожей, он мне позвонил. Я вхожу в его спальную; он стоит перед камином; я подхожу к нему, внезапно он оборачивается и обнимает меня... Лицо его было кроваво-красным, глаза сверкали. Я испугалась до ужаса и сначала не могла шевельнуться, но, хоть он сильнее, я отбивалась так отчаянно, что сумела вырваться. Я убежала в прихожую, захлопнула дверь и навалилась на нее всем телом, но ключ торчал с его стороны.

– Вы слышите, сударь, слышите? – пробормотал Морель, обращаясь к Родольфу. – Вот как вел себя этот достойный благодетель!

– Через несколько мгновений дверь подалась под его натиском, – продолжала Луиза. – К счастью, лампа была со мной рядом и я успела ее погасить. Он очутился внезапно в темноте. Он меня позвал, я не ответила. Тогда он сказал дрожащим от злобы голосом: «Если ты попытаешься убежать от меня, твой папаша сядет в тюрьму за тысячу триста франков, которые он мне должен и не может вернуть!» Я его умоляла сжалиться надо мной, обещала делать все что угодно, чтобы услужить ему, отблагодарить за его доброту, но сказала твердо, что никто не заставит меня пойти на крайнее унижение.

– Узнаю мою прежнюю Луизу, – сказал Морель. – Узнаю ее гордую речь. Но все-таки как же?... Говори, говори...

– Было совсем темно, через минуту я услышала, как мой хозяин ощупью нашел входную дверь и запер ее на ключ. Я была в его власти. Он сбегал к себе и вернулся со свечой. Не могу передать, не смею, как я отбивалась от него, как он мне угрожал, бегал за мной из комнаты в комнату... К счастью, отчаяние, страх и гнев придавали мне силы; мое сопротивление сводило его с ума, он уже не владел собой. Он терзал меня, бил, у меня все лицо было в крови...

– Господи боже мой! – воскликнул гранильщик, вздымая руки к небесам. – Какой зверь! Какое чудовище! Для таких преступников нет достойной казни...

– Возможно, – проговорил Родольф и на миг задумался. Затем, обращаясь к Луизе, сказал: – Мужайтесь! Расскажите все.

– Эта борьба длилась долго, я уже теряла силы, когда вернулся швейцар и позвонил два раза: так он извещал о срочном письме. Опасаясь, что если я не пойду за письмом, то его принесет швейцар, хозяин пригрозил мне: «Убирайся! Скажешь хоть слово – и твой отец погиб. Если попытаешься уйти от меня, он все равно погибнет. Если будут справляться о тебе, я намекну, хоть и не буду ничего доказывать, что ты воровка, и ты нигде не найдешь себе места. И еще скажу, что служанка ты никудышная...» На следующий день, несмотря на угрозы моего хозяина, я прибежала сюда и все рассказала отцу. Он хотел, чтобы я немедленно покинула этот дом... Но тогда бы его ждала тюрьма... Даже мой маленький заработок был необходим семье, с тех пор как заболела мать... А если Ферран распустит обо мне всякие слухи, я долго не смогу найти себе другого места.

– Да, – с горечью подтвердил Морель и помрачнел. – Мы были трусами, эгоистами, и мы позволили нашей дочке вернуться туда... О, я говорил вам: нищета, проклятая нищета! На какие подлости она нас толкает!

– Увы, отец! Разве вы не пытались всеми способами раздобыть эти тысячу триста франков? А когда мы увидели, что это невозможно, пришлось смириться.

– Говори, говори... Да, твои близкие стали твоими палачами. Да, мы больше всех виноваты

в твоём несчастье. Это правда, – пробормотал гранильщик, закрывая лицо руками.

– Когда я вернулась к моему хозяину, – продолжала Луиза, – он повел себя так, словно между нами не было той ужасной сцены, о которой я вам рассказала: был как прежде суров и резок, о том, что было, не обмолвился ни словом; экономка продолжала преследовать меня, почти не давала, есть, запирая хлеб в буфете, а иногда нарочно обливала всякой дрянью остатки еды, чтобы мне ничего не досталось, – сама-то она почти всегда обедала вместе с Ферраном. Ночью я почти не спала, боясь, что нотариус может в любую минуту войти в мою комнату, которая не запиралась. Он приказал даже вынести из нее комод, чтобы я не могла задвинуть им дверь. У меня остался только один стул, маленький столик и мой сундук. Я старалась нагромоздить все это перед дверью и спала не раздеваясь. Какое-то время он не трогал меня, даже не смотрел в мою сторону. Я начала уже успокаиваться, надеясь, что он больше не думает обо мне. В одно из воскресений, свободный день, я прибежала к отцу с этой доброй вестью; мы все были счастливы!.. Были счастливы... То, что случилось потом, – голос Луизы задрожал, – об этом страшно говорить, я всегда скрывала...

– Да... конечно... я чувствовал... Знал, что ты не говоришь... скрываешь от меня свой секрет... Какую-то тайну! – вскричал Морель; его блуждающий взгляд и странное многословие поразили Родольфа. – Твоя бледность, твое лицо... должны были все мне открыть. Сто раз я говорил твоей матери... но, увы, ха-ха, она меня успокаивала! Вот и добились, вот и хорошо ей! Чтобы избавиться от нищеты, отдала нашу дочь этому чудовищу!.. А куда пойдет теперь наша дочь?.. На скамью подсудимых... Хорошо ей! А впрочем, кто знает?.. Может быть, и лучше? В самом деле, когда ты беден... А что же другие?.. Ха-ха-ха, другие!..

Внезапно Морель умолк, стараясь собраться с мыслями, стукнул себя по лбу кулаком и воскликнул:

– Ох, я не знаю сам, что говорю... Голова раскалывается, словно я напился...

И он снова спрятал лицо в ладонях.

Родольфа очень встревожила несвязная речь гранильщика, но он постарался, чтобы Луиза этого не заметила.

– Вы несправедливы, Морель, – серьезно сказал он. – Не только ради себя, но ради своей матери, ради своих детей и ради вас несчастная ваша жена не хотела, чтобы Луиза уходила от нотариуса. Она боялась худшего... Не обвиняйте никого... Пусть все проклятия и месть обрушатся на одного человека, на это чудовище лицемерия, которое поставило вашу дочь перед выбором: бесчестие или полная нищета, быть может, ваша смерть и гибель всей вашей семьи; на этого хозяина, который гнусно злоупотребил своей властью... Но, терпение, терпение, говорю я вам; судьба нередко готовит таким преступникам страшное и небывалое отмщение.

Голос Родольфа, когда он заговорил о неотвратимом возмездии судьбы, был проникнут, если можно так сказать, такой уверенностью и убежденностью, что Луиза посмотрела на своего спасителя с удивлением, почти со страхом.

– Продолжайте, дитя мое, – сказал Родольф, обращаясь к Луизе. – Не спрашивайте ничего... Это очень важно, важнее, чем вы думаете.

– Значит, я начала понемногу успокаиваться. Но однажды вечером Ферран и его экономка вышли из дому, каждый из своей двери. Они не стали обедать дома, и я осталась одна. Как обычно, мне оставили мой кусок хлеба, воду и немного вина, а все остальное заперли в буфетах. Я закончила уборку, поужинала, и мне стало боязно одной в этом доме. Я зажгла лампу Феррана и поднялась в свою комнату. Когда он выходил по вечерам, его не надо было ждать. Я принялась за рукоделье, но, странно, сон морил меня... Ах, отец! – вскричала Луиза, прерывая свой рассказ. – Я боюсь, вы не поверите мне, станете обвинять меня во лжи... Но смотрите, над телом моей маленькой несчастной сестры я клянусь вам, что говорю только правду!

– Расскажите подробнее, – попросил Родольф. – Что было потом?

– Увы, вот уже семь месяцев я сама стараюсь понять, что случилось потом, в ту страшную ночь... и не могу. Я чуть с ума не сошла, пытаюсь проникнуть в эту тайну.

– Господи! Господи! Что она сейчас нам скажет? – вскричал гранильщик, очнувшись на миг от оцепенения, в которое он то и дело погружался во время рассказа Луизы.

– Я почему-то заснула, сидя на стуле, хотя раньше со мной этого никогда не бывало. Это последнее, что я помню, – продолжала Луиза. – А потом, потом, прости меня, отец, я не знаю! Но клянусь тебе, я не виновата...

– Верю тебе, верю, но говори!

– Я не знаю, сколько проспала, а когда проснулась, лежала на постели в моей комнате, обесчещенная Ферраном, который сидел со мной рядом.

– Ты лжешь, лжешь! – в ярости закричал Морель. – Признайся, что ты уступила насилию из страха, что меня посадят в тюрьму, но только не лги?

– Отец, клянусь вам...

– Ты лжешь, лжешь! Если ты ему уступила, зачем бы он вдруг захотел упрятать меня в тюрьму?

– Уступила! О нет, отец, мой сон был таким глубоким, что я была словно мертвая... Это вам кажется страшным, невероятным... Господи, я сама это знаю и до сих пор не могу понять...

– А я все понимаю, – вмешался Родольф, прерывая Луизу. – Этому человеку не хватало только такого злодеяния. Не обвиняйте вашу дочь во лжи, Морель!.. Скажите, Луиза, когда вы ужинали, прежде чем подняться к себе, вы не заметили никакого странного привкуса в том, что вы пили? Постарайтесь вспомнить, это очень важно.

Немного подумав, Луиза ответила:

– Я в самом деле вспоминаю, что вода с капелькой вина, которую мне оставила как обычно госпожа Серафен, была чуть-чуть горьковатой. Но я не обратила внимания, потому что злая экономка иногда нарочно подсыпала мне в графин соли или перцу.

– Значит, в тот вечер напиток показался вам горьким?

– Да, но не очень, и я все равно его выпила. Я подумала, что вино, наверное, уже обернулось в уксус.

Морель сидел, вытаращив глазами растерянно слушал вопросы Родольфа и ответы Луизы, вряд ли что-нибудь понимая.

– Прежде чем заснуть, сидя на стуле, вы не почувствовали, что голова и моги как бы тяжелеют?

– Да, у меня стучало в висках, и я плохо себя чувствовала, как при ознобе.

– О негодяй, подлец! – вскричал Родольф. – Знаете, Морель, чем он опоил вашу дочь?

Ремесленник смотрел на него, не отвечая.

– Экономка, его сообщница, подлила Луизе снотворного, скорее всего опиума. Сила и разум вашей дочери были парализованы на несколько часов. А когда она очнулась от наркотического сна, она уже была обесчещена!..

– Ах, теперь я все понимаю! – воскликнула Луиза. – Вы видите, отец, я не так уж виновата, как вам кажется. Отец, отец мой, ответьте мне!

Взгляд гранильщика был ужасающе неподвижен.

Разум этого наивного и честного человека не мог постичь всей глубины столь подлого злодеяния. Он едва понимал, о каком ужасном преступлении рассказывала его дочь.

И к тому же, надо сказать, временами он уже не улавливал смысл слов, мысли его путались и он погружался в бездну, которая для разума так же черна, как непроглядная ночь для зрения, – страшный симптом безумия.

Однако Морель быстро заговорил глухим, прерывающимся голосом:

– Да, да, это очень плохо, очень плохо, плохо...

И снова погрузился в апатию.

Родольф смотрел на него с беспокойством. Он боялся, что гнев и возмущение иссякнут в душе несчастного Мореля, как бывает, когда слишком большое горе иссушает слезы.

Стараясь поскорее закончить это тягостное прощание, Родольф сказал Луизе:

– Наберитесь мужества! Откройте нам до конца ужасную правду.

– Увы, все, что вы слышали, это только начало. Когда я увидела Феррана рядом со мной, я закричала от страха. Я хотела бежать, он удержал меня силой. Я еще чувствовала себя такой слабой, такой отяжелевшей, наверняка из-за того зелья, о котором вы говорили, что не могла вы-

рваться из его рук. «Зачем же теперь бежать от меня? – спросил Ферран с таким удивлением, что я растерялась. – Что ты капризничаешь? Разве ты не приняла меня по доброй воле?» – «Ах, сударь! – закричала я. – Это недостойно! Вы воспользовались тем, что я спала, и погубили меня. Я все, расскажу отцу!» Хозяин расхохотался. «Я воспользовался твоим сном? Да ты шутишь. Кто поверит в твоё вранье? Сейчас четыре утра. Я здесь уже два часа. Похоже, ты спала слишком долго и слишком притворно. Признайся лучше, что отдалась мне по доброй воле. Полно, хватит капризничать, иначе я рассержусь. Твой отец в моей власти, так что незачем тебе меня отвергать. Будь послушной, и мы подружимся. А иначе – берегись!» – «Я все расскажу отцу! – крикнула я. – Он отомстит за меня. Есть справедливость на свете». Ферран посмотрел на меня с удивлением. «Ты совсем сошла с ума? Что ты скажешь своему отцу? Что он уговорил тебя уступить мне? Поступай как хочешь, посмотрим, что он тебе ответит»... – «Господи, это неправда! Вы же знаете, что вошли сюда без моего согласия!» – «Без твоего согласия? И у тебя хватит наглости утверждать это, говорить, будто я тебя изнасиловал? Хочешь, я докажу, что все это вранье? Вчера вечером я велел Жермену, моему кассиру, вернуться в контору к десяти часам, чтобы закончить срочную работу. Он сидел за своими книгами до часу ночи, сидел в комнате, которая прямо под твоей. Спроси его, слышал он крики, шум борьбы, какую мне пришлось вести с тобой там, внизу, когда ты, злючка, не была еще такой покладистой, как сегодня? Так спроси завтра Жермена, и он тебе ответит: этой ночью в доме все было тихо и спокойно».

– Да, он принял все предосторожности, чтобы выйти сухим из воды, – заметил Родольф.

– Я была убита, сударь. Я не знала, что ответить на слова моего хозяина. Я не знала, что мне подлили, и сама не могла понять, почему так крепко спала. Казалось, все было против меня. Если я пожалуюсь, мне никто не поверит, и неудивительно потому, что эта ужасная ночь для меня самой оставалась неразрешимой загадкой.

Глава X ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Невероятная подлость и лицемерие Феррана поразили Родольфа.

– Значит, вы не осмелились рассказать отцу о гнусном поступке вашего хозяина? – спросил он Луизу.

– Да, сударь. Отец бы мне не поверил. Он посчитал бы, что я заодно с Ферраном. И потом, я боялась, что в порыве гнева он забудет, что его свобода, жизнь всей нашей семьи в руках у моего хозяина.

Желая избавить Луизу от тягостных признаний, Родольф сказал:

– Очевидно, вам пришлось смириться с ролью жертвы этого негодяя из страха за отца и за вашу семью...

Луиза потупила взор и покраснела.

– Но потом его отношение к вам стало не таким жестоким и грубым?

– Наоборот, сударь. Чтобы избежать всяких подозрений, мой хозяин, когда у него, например, бывал в гостях священник церкви Благовещения, особенно строго распекал меня. Он просил господина кюре наставить меня на путь истинный, он говорил, что рано или поздно я погублю свою душу, что я слишком вольно веду себя с его писцами, что я лентяйка, что он держит меня только из жалости к моему отцу и его семье, которым оказывает помощь. Он и правда помог отцу, но все остальное – ложь! Я никогда в глаза не видела ни одного его клерка, все они работали в главном здании конторы, а не в нашем флигеле.

– А когда вы оставались наедине с Ферраном, как он объяснял свои нападки на вас в присутствии кюре?

– Он уверял меня, что просто шутил. Но кюре принимал его обвинения всерьез. Он сурово говорил мне, что на мне лежит двойной грех, если я не веду себя как следует в этом дважды святом доме, где у меня перед глазами всегда пример чистоты и добродетели. Я не знала, что на это ответить, и только краснела, опуская глаза. И мое молчание, мое смущение оборачивались против меня. Мне было так страшно жить, что порою я хотела покончить с собой, но я думала о мо-

ем отце, о моей матери, братьях и сестрах, которым я могла хоть немного помочь, и я смирилась. Я была гадкой, презренной, но у меня было утешение: я спасала отца от тюрьмы. А потом, – неотвратимое несчастье, – я почувствовала, что стану матерью... Я поняла, что это моя погибель! Не знаю почему, я все предугадала. Ферран, когда узнал об этом и мог бы стать ко мне добрее, вместо этого начал придирааться и выговаривать мне еще суровее. Но я даже представить не могла, что он мне готовит.

Морель как бы очнулся от своего беспамятства, с удивлением посмотрел вокруг, провел рукою по лбу, словно что-то вспоминая, и сказал своей дочери:

– Я, похоже, забылся. Устал, совсем растерялся от горя... О чем ты говорила?

– Когда Ферран узнал, что я беременна...

Гранильщик в отчаянии воздел руки; Родольф успокоил его одним взглядом.

– Ладно, ладно, я дослушаю все до конца, – пробормотал Морель. – Говори, говори...

– Я спросила Феррана, как мне скрыть свой позор, в котором он был виноват, – продолжала Луиза. – Вы не поверите, отец, как он мне ответил!..

– Что же он ответил?

– Он прервал меня с возмущением и с деланным изумлением, словно ничего не понимал. Он сказал, что я, наверное, сошла с ума. Я была в ужасе, я закричала: «Господи, что же теперь со мной будет? Если вы не пожалеете меня, пожалейте хотя бы вашего ребенка». – «Какой ужас! – воскликнул Ферран, воздев руки к небу. – Ты, подлая тварь! Ты осмелилась обвинить меня, будто я пал так низко, опустился до такой грязной девки, как ты! И у тебя хватает наглости приписать мне плоды твоего распутства, мне, который сотни раз повторял тебе перед самыми достойными свидетелями, что ты погубишь свою душу, презренное создание! Убирайся отсюда немедленно, я тебя увольняю!»

Родольф и Морель замерли от ужаса; их поразило такое неслыханное лицемерие.

– Да, признаюсь, – сказал Родольф, – подобной подлости я даже не мог себе представить.

Морель ничего не сказал, глаза его расширились до ужаса, лицо исказила страшная гримаса; он сполз с верстака, на котором сидел, внезапно выдернул ящик, выхватил оттуда длинный, остро отточенный нож с деревянной рукояткой и бросился к двери.

Родольф понял его замысел, схватил за руку и остановил.

– Морель, куда вы? Вы погубите себя, несчастный!

– Поберегись! – закричал Морель вне себя от ярости. – Отойди, иначе я убью двоих вместо одного!

Обезумевший ремесленник бросился на Родольфа.

– Отец, это же наш спаситель! – закричала Луиза.

– Ему наплевать на нас! Ха-ха-ха, он хочет спасти нотариуса! – отвечал обезумевший гранильщик, вырываясь из рук Родольфа.

Но через секунду Родольф уверенно, но мягко обезоружил его, распахнул дверь и выкинул нож на лестницу.

Луиза бросилась к отцу, обняла его и сказала:

– Отец, это наш благодетель. И ты на него поднял руку! Опомнись!

Эти слова привели Мореля в себя, он закрыл лицо руками и упал на колени перед Родольфом.

– Встаньте, несчастный отец, – с жалостью проговорил Родольф. – Терпение, терпение... я понимаю ваш гнев, я разделяю вашу ненависть, но во имя праведной мести, не мешайте ей свершиться...

– Господи, господи! – вскричал гранильщик, поднимаясь на ноги. – Но что может правосудие, что может закон против такого?... Несчастные мы люди! Если мы, бедняки, попробуем обвинить этого злодея, богатого, могущественного, всеми уважаемого, над нами просто насмеются!.. Ха-ха-ха! – Он разразился судорожным смехом. – И люди будут правы. Какие у нас доказательства? Да, какие доказательства? Нам не поверят. Поэтому, говорю вам, – вскричал он в новом приступе ярости, – я верю только в справедливость ножа...

– Замолчите, Морель, – печально сказал ему Родольф. – Горе затмило ваш разум. Дайте

вашей дочери все досказать... Каждая минута дорога, комиссар ждет ее, а я должен знать все, понимаете? Все!.. Говори, дитя мое!

Морель бессильно упал на свой верстак.

– Незачем говорить вам, как я рыдала, как просила сжалиться, – продолжала Луиза. – Я погибала. Все, это происходило в десять утра в кабинете Феррана, кюре должен был прийти в тот день позавтракать с ним, и он вошел в тот момент, когда мой хозяин осыпал меня упреками и оскорблениями... Появление священника очень ему не понравилось...

– И что он сказал?

– Он сразу переменялся, выбрал другую роль. «Посмотрите, господин аббат! – закричал он. – Я говорил вам, что она погубит свою душу! А теперь она погибла навсегда: она только что мне призналась в своем падении и позоре... и умоляла спасти ее... И подумать только, что, я приютил в своем доме эту негодяйку!» – «Немыслимо! – с возмущением воскликнул господин аббат, обращаясь ко мне. – Сколько раз ваш хозяин тут при мне давал вам добрые и праведные советы, и это вас не остановило?... Вы так низко пали?... Этому нет прощений! Друг мой, вы были слишком добры к этой несчастной и к ее семье, но снисхождение с вашей стороны было бы слабость. Будьте справедливы, но непоколебимы!» Так сказал аббат, обманутый, как и все, лицемерием Феррана.

– И вы в этот момент не попытались разоблачить негодяя? – спросил Родольф.

– Господи! Я была так перепугана, голова у меня кружилась, я не могла сказать ни слова и все же хотела говорить, хотела оправдаться... «Послушайте, сударь...» – начала я, но Ферран прервал меня: «Ни слова больше, недостойная тварь! – крикнул он. – Ты слышала, что сказал господин аббат? Жалость была бы слабостью. Через час ты должна оставить мой дом!» И, не давая мне времени ответить, он увел аббата в другую комнату.

– После ухода Феррана, – продолжала Луиза, – я не помнила себя. Я представляла, как меня выгонят из этого дома, как я буду искать и не найду себе другого места из-за моего положения и других сведений обо мне, которые разошлет мой хозяин. Я была уверена, что он от злости посадит в тюрьму моего отца. Я не знала, что делать, и убежала в свою комнату.

Часа через два туда пришел Ферран. «Ты собрала свои тряпки?» – спросил он. «Сжалюсь! – взмолилась я, падая к его ногам. – Не прогоняйте меня в моем положении. Что со мной будет? Меня никто не возьмет в услужение!» – «Тем лучше, господь, накажет тебя за твое распутство и твою ложь». – «Вы смеете говорить, что я лгу? – возмущенно воскликнула я. – Вы смеете говорить, что это не вы меня погубили?» – «Убирайся отсюда немедленно, тварь! – закричал он страшным голосом. – Ты еще смеешь клеветать на меня! Так вот завтра, в наказание тебе, я засажу твоего папашу в тюрьму». – «Нет, что вы, что вы, – в испуге сказала я ему. – Я ни в чем не стану обвинять вас, обещаю вам, только не прогоняйте меня... Пожалейте моего отца, мой маленький заработок так нужен нашей семье! Оставьте меня у себя... я ничего не скажу, постараюсь, чтобы никто ничего не заметил, а когда уже будет невозможно скрывать мое горестное положение, ну что ж, тогда вы меня уволите».

Я долго его умоляла, упрашивала, и под конец Ферран согласился оставить меня. Я сочла это великой милостью, настолько положение мое было безысходно. И все же в течение пяти месяцев после этой ужасной сцены мне пришлось очень плохо и очень трудно; только Жермен, которого я видела изредка, с сочувствием спрашивал меня, почему я такая печальная, но я стыдилась сказать ему правду.

– Наверное, в это время он и поселился здесь?

– Да, сударь. Он искал комнату где-нибудь поблизости от бульвара Тампль или от Арсенала. Здесь как раз освободилась комната, та самая, которую вы сейчас занимаете, и она ему подошла. Он съехал месяца два назад и просил никому не давать его нового адреса, который знали только в конторе Феррана.

Попытки Жермена уйти от своих преследователей объяснили Родольфу все эти предосторожности.

– А вам никогда не хотелось рассказать обо всем Жермену? – спросил Луизу.

– Нет, сударь. Его тоже обмануло лицемерие Феррана: он считал его грубым, слишком тре-

бовательным, но честнейшим человеком на свете.

– Когда Жермен жил здесь, он ни разу не слышал, чтобы ваш отец обвинял нотариуса, что тот пытается вас соблазнить?

– Мой отец никогда не говорил о своих опасениях при посторонних, и к тому же в то время я его обманывала. Я уверяла, что Ферран больше не думает обо мне... Увы, бедный мой отец, простите меня за этот обман! Я только хотела вас успокоить, вы теперь понимаете, не правда ли?

Морель ничего не ответил; уронив голову на руки, скрещенные на верстаке, он безмолвно рыдал.

Родольф сделал знак Луизе, чтобы она больше не обращалась к отцу.

– Пять месяцев, – продолжала Луиза, – я плакала и страдала. Каждый день был нескончаемой пыткой. С помощью разных ухищрений мне удавалось скрывать свое положение от всех, но на последних двух месяцах, которые отделяли меня от рокового срока, об этом нечего было и думать. Каждый день все больше страшил меня. Господин Ферран заявил, что больше не хочет меня держать... Я лишалась даже той малости, которая выручала нашу семью. Отец проклял бы меня и выгнал, узнав, что я его обманывала, хотя я желала только не волновать его. Он подумал бы, что я не жертва Феррана, а его сообщница. Что было делать? Где спрятаться? Где найти новое место в моем положении? Мне приходили в голову преступные мысли. Но, по Счастью, я отступила перед ними. Я признаюсь вам в этом, сударь, потому что ничего не хочу скрывать, даже то, что может пойти мне во вред, а также для того, чтобы вы поняли, до какой крайности довела меня бессердечность господина Феррана. Если бы я поддалась жестокому соблазну и совершила преступление, разве он не считался бы соучастником?

Немного помолчав, Луиза с усилием продолжала дрожащим голосом:

– Я слышала от привратницы, что в нашем доме живет один лекарь-шарлатан... и я...

Она не могла больше говорить.

Родольф вспомнил, как при первой встрече с г-жой Пипле, когда она отлучилась, он принял от разносчика письмо на грубой бумаге с измененным почерком и заметил на нем следы слез...

– И вы написали ему, несчастное дитя? Три дня назад!.. Вы изменили почерк и плакали над этим письмом!

Луиза смотрела на Родольфа с ужасом.

– Откуда вы это знаете?

– Успокойтесь. Я был один в привратничке у госпожи Пипле, когда принесли это письмо, и заметил его случайно.

– Да, вы правы, сударь. В этом письме без подписи я писала господину Брадаманти, что не смею прийти к нему, но прошу встретить меня вечером возле Шато-д'Ор... Я потеряла голову. Я хотела получить от него страшный совет... И вышла от моего хозяина с намерением этот совет исполнить. Но через минуту мысли мои прояснились: я поняла, на какое преступление иду... Я вернулась, встреча не состоялась. В тот же вечер произошла ужасная сцена, из-за которой на меня обрушились новые несчастья.

Ферран подумал, что я ушла часа на два, а я возвратилась очень скоро. Проходя мимо маленькой садовой калитки, я, к своему удивлению, увидела, что она полуоткрыта. Я вошла в сад и отнесла ключ в кабинет Феррана, где обычно его оставляли. Эта комната – самая дальняя в доме, за ней только его спальня – была самым уединенным местом: там он с кем-то советовался втайне, а обычные дела вел в своей конторе. Вы поймете сейчас, сударь, почему я рассказываю все это так подробно. Я прекрасно знала все входы и выходы этого дома. Я прошла через столовую, где горел свет, вошла в гостиную, где не было света, потом в кабинет перед его спальней. И дверь спальни открылась, когда я хотела положить ключ на стол. Едва мой хозяин заметил меня при свете лампы в своей комнате, он захлопнул дверь за каким-то человеком, которого я не успела разглядеть. И тогда, несмотря на темноту, он набросился на меня, вцепился двумя руками в шею, словно хотел меня задушить, и прошипел с яростью... и в то же время со страхом: «Ты подглядывала? Ты подслушивала за дверью? Что ты слышала, говори! Отвечай, или я тебя задуш!» Но, видно, ему пришло что-то другое в голову, он вытеснил меня в столовую; дверь кла-

довки была открыта, он грубо втолкнул меня туда и запер.

– И вы ничего не слышали из его разговора?

– Ничего, сударь. Если я знала, что он разговаривает с кем-то в своем кабинете, я не входила туда. Он запрещал это даже госпоже Серафен.

– А когда вы вышли из кладовки, что он вам сказал?

– Меня выпустила экономка, и в тот вечер я не видела больше Феррана. От волнения, от испуга мне стало очень плохо. На другое утро, когда я спускалась по лестнице, я встретила Феррана и вся задрожала, вспомнив его угрозы. Но как же он меня удивил! Он сказал мне почти спокойно: «Ты ведь прекрасно знаешь, что я запрещаю входить в мой кабинет, когда у меня посетители. Но к чему тебя бранить, раз уж тебе и так недолго оставаться в моем доме». И он ушел в свою комнату.

Такое добродушие удивило меня после недавнего приступа ярости. Я, как обычно, занялась домашними делами и хотела уже прибраться в его спальне... Но вы знаете, я так страдала всю ночь, я была такой слабой, удрученной... Когда я вешала какой-то его костюм в темный гардероб рядом с альковым, я вдруг почувствовала страшные боли и в голове у меня все помутилось... Уже падая, я ухватилась за пальто, висевшее на дверце, и стащила его на себя, и оно меня почти всю укрыло.

Когда я пришла в себя, застекленная дверь спальни была закрыта... Я услышала голос Феррана... Он говорил очень громко... Вспомнив о вчерашней сцене, я подумала, что умру, если только шевельнусь. Я подумала, что мой хозяин не заметит меня под этим пальто в темном гардеробе. Если он увидит меня, как объяснить ему эту случайность? Я затаила дыхание и невольно услышала разговор, который наверняка продолжался уже давно.

Глава XI РАЗГОВОР

– А кто разговаривал с нотариусом в его запертой комнате? – спросил Родольф.

– Не знаю, сударь, – ответила Луиза. – Голос был незнакомый.

– О чем же они говорили?

– Разговор, наверное, шел уже давно, потому что я услышала только обрывки. «Ничего нет проще, – говорил незнакомый голос. – Один парень по прозвищу Краснорукий, старый контрабандист, свел меня с семейкой „речных пиратов“¹⁰⁴ – это по тому дельцу, о котором я только что говорил. Они устроились на мысу маленького островка близ Аньера. Два самых страшных бандита на этом свете! Дедушка и папаша отдали свои головы гильотине, два сына – на каторге до конца своих дней, но еще осталась мамочка, три сыночка и две девочки – это прохиндеи хуже не придумаешь. Говорят, чтобы шарить по обоим берегам Сены, они спускаются по ночам на лодке до самого Берси! Эти детишки убьют первого встречного за один золотой. Но для этого нам они не нужны. Достаточно, чтобы они приютили нашу даму из провинции. Марсиали, – так зовут моих пиратов, – предстанут перед ней как семья честных рыбаков. Я, от вашего имени, навещу раза два-три вашу юную даму, пропишу ей кое-какие отвары... а примерно через недельку она упокоится на кладбище Аньера. В тихих деревушках люди уходят на тот свет незаметно, как письма, отправленные почтой. А в Париже на все обращают внимание. Но когда вы пришлете вашу провинциалочку на островок под Аньером? Я должен заранее предупредить Марсиалей, какую роль им играть». – «Завтра она прибудет сюда, послезавтра будет у них, – ответил Ферран. – И я предупрежу ее, что доктор Венсан будет о ней заботиться по моему поручению». – «Ладно, пусть я буду Венсаном, – сказал другой голос. – Чем это имечко хуже другого?»

– Это какая-то новая тайна и новое преступление! – воскликнул пораженный Родольф.

– Новая? Нет, сударь, вы увидите, что она связана с преступлением, которое вам уже известно, – возразила Луиза и продолжала: – Я услышала, как передвигаются стулья; разговор был окончен. «Я не прошу открыть мне тайну, – сказал Ферран. – Вы меня держите в своей власти, и

¹⁰⁴ Позднее мы узнаем об этих «речных пиратах».

я вас держу». – «Это значит, что мы всегда будем помогать друг другу и никогда не будем друг другу вредить, – ответил незнакомец. – Видите, как я усердствую! Получил ваше письмо вчера в десять вечера, а утром я уже у вас. До свидания, друг и сообщник, не забудьте островок под Аньером, рыбака Марсиаля и доктора Венсана. Эти три магические имени – гарантия, что ваша провинциалка не протянет и недели». – «Подождите, – сказал Ферран. – Я отодвину секретный засов в кабинете и посмотрю, нет ли кого-нибудь в прихожей, чтобы вы могли спокойно выйти через садовую калитку, как вы сюда вошли...» Ферран вышел, потом вернулся, и наконец я услышала, как он удалился с тем человеком, чей голос я слышала...

Вы можете понять, в каком я была ужасе во время всего этого разговора и совсем пришла в отчаяние, невольно подслушав об этой тайне. Часа через два госпожа Серафен пришла за мной в мою комнату, куда я поднялась, вся дрожа. Мне было очень плохо, как никогда. «Хозяин зовет вас, – сказала она. – Вам выпало счастье, которого вы не заслуживаете. Спускайтесь скорее! Ах, бедняжка, какая она бледная! Но то, что вы сейчас услышите, вернет вам румянец».

Я последовала за госпожой Серафен. Ферран был в своем кабинете. Увидев его, я невольно задрожала, хотя вид у него был не такой суровый, как обычно. Он долго, пристально смотрел на меня, словно хотел прочесть мои мысли. Я опустила глаза. «Похоже, вы очень страдаете?» – спросил он. «Да, сударь», – ответила я и очень удивилась про себя, что он обращается ко мне на «вы» против своего обыкновения. «Да это и понятно, – продолжал он. – Причиной всему ваше положение и попытки его скрыть. Однако, несмотря на все ваше вранье, плохое поведение и вчерашнюю нескромность, я вас жалею, – добавил он более мягким тоном. – Через несколько дней вам уже будет невозможно скрывать вашу беременность. И хотя я выговаривал вам, как вы того заслуживаете, перед нашим кюре, такой скандал опозорит мой дом в глазах всех наших прихожан, и к тому же опозорит вашу семью... Учитывая все это, я хочу вам помочь». – «Ах, сударь! – воскликнула я. – За эти добрые слова я готова все забыть!» – «Что забыть?» – жестко спросил он. «Ничего, ничего, простите меня», – спохватилась я, боясь, что он вдруг рассердится, и надеясь, что сегодня он будет ко мне милосерднее. «Так слушайте меня! – продолжал он. – Вы пойдете сегодня к отцу. Вы ему скажете, что я посылаю вас на два-три месяца в деревню следить за домом, который я недавно там купил. За время вашей отлучки я буду посылать ему ваш заработок. Завтра вы покинете Париж. Я дам вам рекомендательное письмо к госпоже Марсиаль, матери честной семьи рыбаков, которые живут близ Аньера. Вам следует сказать, что вы из провинции, и ни слова больше. Позднее вы узнаете, что все это делается в ваших интересах. Матушка Марсиаль будет ухаживать за вами как за родной дочерью; врач моих друзей, доктор Венсан, будет заботиться о вас, как этого требует ваше положение... Вы видите, как я к вам добр!»

– Какой ужасный замысел! – воскликнул Родольф. – Теперь я все понимаю. Он думал, что вы накануне подслушали что-то очень опасное для него, и решил от вас избавиться. И ему, наверное, было выгодно обмануть своего сообщника, представив вас какой-то женщиной из провинции. Представляю, как вы ужаснулись этому предложению!

– Да, это был страшный удар. Я была потрясена и ничего не могла ответить. Я смотрела на Феррана с ужасом, голова у меня кружилась. Я уже хотела рискнуть жизнью и сказать ему, что утром подслушала его разговор с незнакомцем, но, к счастью, вспомнила о новых опасностях, которыми грозило мне это признание. «Вы что, не понимаете меня?» – раздраженно спросил он. «Нет, сударь... Да, сударь, – ответила я, вся дрожа. – Но я не хотела бы ехать в деревню». – «Почему бы это? Там, куда я вас посылаю, за вами будет прекрасный уход...» – «Нет, нет, я не поеду! Лучше я останусь в Париже, здесь моя семья, отец... Лучше я признаюсь ему во всем, лучше умру от стыда, если так доведется...» – «Значит, ты отказываешься? – спросил Ферран, все еще сдерживая гнев, и внимательно посмотрел на меня. – Почему ты вдруг изменила свое решение? Ты ведь только что соглашалась...» Я поняла, что, если он догадается, я погибла. Я ответила ему, что не думала, что придется уезжать из Парижа, где моя семья. «Но ведь ты опозоришь свою семью, негодяйка!» – закричал он. Уже не владея собой, он схватил меня за руку и дернул так сильно, что я упала. «Даю тебе срок до завтра! – кричал он. – А завтра ты либо поедешь к Марсиалям, либо пойдешь к своему папеньке и скажешь ему, что я тебя выгнал, а он отправится

в тюрьму!»

Я осталась одна, на полу в его кабинете. Подняться не было сил. Прибежала госпожа Серафен, услышав громкий голос своего хозяина. С ее помощью я кое-как добралась до своей комнаты, слабея на каждом шагу. И сразу упала на кровать. Я не вставала дотемна, так потрясли меня все эти ужасы! А к часу ночи у меня начались невыносимые боли и судороги, я поняла, что до срока рожу этого несчастного ребенка.

– Почему вы не позвали на помощь?

– О, я не смела! Ферран хотел избавиться от меня, он наверное послал бы за доктором Венсаном, который убил бы меня в его доме, а не в доме этих Марсиалей... Или сам Ферран задушил бы меня, а потом сказал, что я умерла при родах... Увы, сударь, это, наверное, были безумные мысли, но тогда они меня преследовали, и это стало причиной моей гибели. Если бы не эти страхи, если бы я позвала на помощь, меня бы не обвинили в том, что я убила своего ребенка. Но я боялась позвать, боялась, что услышат мои крики, и кусала, затыкала себе рот простынями. И наконец, в ужасных страданиях, одна, в темноте, я родила несчастное создание, которое наверняка погибло из-за этих преждевременных родов... Я не убила его, господи, не убила! В той ночи у меня был миг горького счастья, когда я прижала мое дитя к груди!..

Голос Луизы угас, и она зарыдала.

Морель слушал рассказ своей дочери со странной апатией, угрюмым безразличием, которое все больше пугало Родольфа.

Гранильщик по-прежнему сидел, опершись локтями о верстак и обхватив голову руками, но, увидев, что Луиза рыдает, он пристально посмотрел на нее и забормотал:

– Она плачет... Плачет... Почему она плачет?

И, мгновение поколебавшись, продолжал:

– Знаю, знаю... это нотариус... Говори, бедняжка Луиза... ты моя дочь... я люблю тебя... всегда люблю... Но вот сейчас... я тебя не узнал... Слезы помешали... О господи, господи! О, моя голова... Как же больно!

– Вы видите, отец, я ни в чем не виновата?

– Да... вижу...

– Это страшное несчастье, но я так боялась нотариуса!

– Нотариус... Да, я тебе верю... Он плохой человек, плохой...

– Теперь вы меня простите?

– Да...

– Это правда, отец?

– Да... Это правда... О, я тебя люблю... всегда люблю... хотя не могу сказать... О, моя голова... Голова!..

Луиза со страхом посмотрела на Родольфа.

– Он страдает, дайте ему немного успокоиться. И продолжайте.

Несколько раз с беспокойством взглянув на Мореля, Луиза продолжила свой рассказ.

– Я прижала к себе мое дитя... и удивилась, не слыша его дыхания. Но я сказала себе: такой маленький ребенок дышит так тихо, что его не услышишь... а потом он мне показался совсем холодным... Я не могла зажечь свечу, у меня все отнимали... Дождалась, пока не рассвело, и все прижимала его к груди, стараясь согреть... но он все больше холодел. Я еще говорила себе: бедняжка, он так замерз, потому что в комнате холодно.

При первых лучах рассвета я поднесла моего ребенка к окну, посмотрела... Он был окоченелый, холодный как лед! Я припала губами к его роту, чтобы почувствовать дыхание... приложила руку к его сердцу... Оно не билось... он умер!

Луиза залилась слезами.

– Ах, в этот миг со мной что-то случилось, что-то невыразимое! Смутно помню, что было потом, все как во сне: отчаяние, ужас и ненависть, но больше всего – страх! Нет, я уже не боялась, что Ферран меня задушит, но я боялась, что, если найдут моего мертвого ребенка рядом со мной, меня обвинят, что я его убила. И мелькнула вдруг одна только мысль: спрятать его тельце, чтобы никто не нашел. Тогда никто не узнает о моем позоре, отец не будет гневаться на меня,

Ферран не станет меня преследовать, потому что теперь, без ребенка, я смогу уйти от него, наняться служанкой в какой-нибудь другой дом и зарабатывать хоть немножко, чтобы помогать семье...

Увы, сударь, эти мысли заставили меня ни в чем не признаваться и спрятать мертвого младенца. Да, я была не права, но в моем положении, когда я мучительно страдала и чуть не сходила с ума, когда мне отовсюду грозила смерть, я не подумала о том, что меня ждет, если все откроется...

– Боже, какие мучения, какая безысходность, – удрученно проговорил Родольф.

– Быстро светало, и у меня оставалось всего несколько минут, пока в доме не проснулись, – продолжала Луиза. – Я больше не колебалась, завернула моего ребенка, как могла, спустилась потихоньку, дошла до самого дальнего угла сада, чтобы выкопать могилку и похоронить его там, но за ночь земля промерзла. Тогда я спрятала мертвое тельце в погреб, куда зимой никто не заходил, накрыла его пустыми ящиками из-под цветов и вернулась к себе в комнату. Никто меня не заметил.

Обо всем этом у меня сохранилось лишь смутное воспоминание. Я была очень слаба и до сих пор не понимаю, как я нашла в себе силы и смелость сделать все это. В девять часов госпожа Серафен пришла узнать, почему я не встаю. Я ответила, что заболела, и умоляла позволить мне провести один день в постели, а завтра я покину дом, потому что Ферран меня увольняет. Через час он явился ко мне сам. «Вот видите, вам стало хуже, – сказал он. – А все из-за вашего упрямства. Если бы воспользовались моей добротой, вы сегодня были бы в семье славных людей, которые окружили бы вас участием и заботой. Впрочем, я и сейчас не оставлю вас: не такой уж я жестокий. Вечером к вам зайдет доктор Венсан».

От этой угрозы я содрогнулась. Я ответила, что накануне была не права, когда отказалась от его предложения, что сейчас я его принимаю. Однако пока еще слишком плохо себя чувствую и не смогу сразу уехать, но завтра мне наверняка станет лучше и я отправлюсь к Марсиалам, так что доктора Венсана беспокоить совершенно незачем. Я хотела только выиграть время, а на самом деле твердо решила на завтра покинуть этот дом и уйти к отцу, надеясь, что он никогда ничего не узнает. Мой ответ успокоил Феррана, и он проявил ко мне даже некоторую снисходительность и первый раз в жизни поручил меня заботам госпожи Серафен.

Весь день прошел в смертельной тревоге: я дрожала от страха, боясь, что кто-нибудь случайно найдет моего мертвого ребенка. Я молила только об одном: чтобы скорее потеплело, земля оттаяла и я могла бы его похоронить... Но пошел снег... и это тоже внушило мне надежду... Весь день я пролежала в постели.

Наконец, когда все уснули, я нашла в себе силы встать и добраться до дровяника; там я взяла топор для колки дров, чтобы вырубить в заснеженной земле могилку... Мне удалось это сделать ценой мучительных усилий... Тогда я взяла трупик и, обливая его слезами, похоронила, как могла, в маленьком ящике из-под цветов. Я не знала погребальных молитв, а потому прочитала над ним «Отче наш» и «Ave», моля бога, чтобы он принял его невинную душу в рай... Я думала, силы оставят меня и я не смогу засыпать землей этот маленький гробик... Мать, хоронящая своего ребенка!.. И все же я справилась... Чего это мне стоило, знает один лишь бог! Поверх земли я нагребла немного снега, чтобы ничего не было заметно. Мне светила луна. Надо все было скрыть, я долго не решалась уйти... Бедная малютка, в холодной земле, под снегом... Я знала, что он мертв, но мне почему-то казалось, что он страдает от холода... Наконец я вернулась в свою комнату и легла, меня всю трясло, и у меня был жар... Утром Ферран прислал узнать, как я себя чувствую; я ответила, что немного лучше и на завтра наверняка смогу уехать в деревню. Весь день я тоже пролежала, чтобы набраться сил. Вечером я встала и спустилась в кухню погреться; я сидела там долго совсем одна. Потом вышла в сад помолиться последний раз.

Когда я возвращалась к себе в комнату, мне повстречался Жермен на площадке лестницы перед кабинетом, где он иногда работал... он был очень бледен... Сунул мне в руку тяжелый сверток и очень быстро проговорил: «Завтра рано утром должны арестовать вашего отца по долговой расписке на тысячу триста франков. Заплатить ему нечем. Поэтому вот деньги... Как толь-

ко рассветет, бегите к нему!.. Сегодня наконец я раскусил этого Феррана: он очень злой человек... Но я его разоблачу!.. Главное, никому не говорите, что эти деньги от меня»..

Он не дал мне времени даже поблагодарить его и быстро сбежал по лестнице вниз.

Глава XII БЕЗУМИЕ

– Этим утром, – продолжала Луиза, – пока в доме Феррана никто еще не вставал, я прибежала сюда с деньгами, которые дал мне Жермен, чтобы спасти моего отца. Но их оказалось недостаточно, и, если бы не ваша щедрость, я не смогла бы вырвать его из рук судебных приставов... Наверное, после моего ухода от Феррана они поднялись в мою комнату и нашли там следы, которые позволили им сделать ужасное открытие. Прошу вас, сударь, о последней услуге, – проговорила Луиза, вынимая сверток с золотыми, – можете вы вернуть эти деньги Жермену?.. Я обещала не говорить никому, что он служит у нотариуса, но, поскольку вы это уже знали, я не выдам его тайну... А теперь, сударь, повторяю еще раз: бог свидетель, я не солгала ни единым словом... Я не старалась снять с себя вину, а только...

Но, внезапно прервав свою речь, Луиза в ужасе закричала:

– Сударь, взгляните на моего отца!.. Смотрите, что это с ним?!

Морель слушал последнюю часть рассказа дочери с мрачным безразличием, которое Родольф объяснил себе полным упадком сил несчастного ремесленника. «После целого ряда страшных потрясений, следовавших одно за другим, силы его иссякли, чувствительность притупилась, и он уже не может даже возмущаться», – думал Родольф.

Но он ошибался.

Подобно пламени факела, который то угаснет, то разгорится, меркнувший разум Мореля иногда еще вспыхивал, освещая отдельные сцены отблесками понимания, но вдруг заколебался и... угас.

Совершенно безразличный ко всему, что говорилось и происходило вокруг него, гранильщик тихо сошел с ума.

Хотя его шлифовальный круг находился на другом конце верстака, а под рукой у него не было ни драгоценных камней и никаких орудий, ремесленник внимательно и прилежно выполнял свою обычную работу с помощью воображаемых инструментов.

Он сопровождал эту пантомиму тихим жужжанием, воспроизводя звук вращающегося шлифовального колеса.

– Смотрите, смотрите, – продолжала Луиза со все возрастающим страхом. – Что с ним?

Затем она приблизилась к ремесленнику.

– Отец, вы меня слышите? Отец!

Морель посмотрел на нее мутным и неопределенным, ничего не выражающим взглядом, свойственным тихопомешанным.

Не прекращая своей воображаемой работы, он заговорил негромко и печально:

– Я должен тысячу триста франков... это цена за жизнь Луизы. Надо работать, работать... О, я заплачу, заплачу, заплачу...

– Господи, но это невыносимо! Это не может продолжаться! Ведь он не совсем сошел с ума, не правда ли? – вскричала Луиза душераздирающим голосом. – Он придет в себя... Это лишь минутное затмение.

– Морель, друг мой! – обратился к нему Родольф. – Мы здесь, рядом с вами. Вот ваша дочь, и она ни в чем не повинна...

– Тысяча триста франков! – проговорил гранильщик и продолжал свою воображаемую работу, не глядя на Родольфа.

– Отец! – воскликнула Луиза, бросаясь перед ним на колени и хватая его за руки. – Это я, твоя дочь Луиза!

– Тысяча триста франков, – повторил он, с трудом вырываясь из объятий дочери. – Тысяча триста франков... А иначе, – добавил он шепотом, словно доверяя величайшую тайну, – иначе

Луизу ждет гильотина...

И он снова принялся вращать воображаемый шлифовальный круг.

Луиза закричала:

– Он сошел с ума! Он безумен! И все из-за меня... Я всему причина. О господи, господи, но я не виновата... Я не хотела сделать ничего дурного... Это все он, этот зверь, чудовище!

– Успокойся, бедное дитя, наберись храбрости, – сказал Родольф. – Не будем терять надежды... Может быть, это только временное помешательство. Ваш отец слишком настрадался; столько несчастий, и все одно за другим, этого никто бы не перенес... Разум его затмился, однако будем надеяться, что не надолго.

– Но моя мать, моя бабушка, сестры, братья, что с ними станет? – воскликнула Луиза. – Теперь у них нет ни отца, ни меня... Они умрут от голода, нищеты и отчаяния!

– Вы забыли обо мне... Успокойтесь, у них ни в чем не будет недостатка... И наберитесь храбрости, говорю я вам. Ваше признание поможет покарать опасного преступника. Вы убедили меня в своей невиновности, и она будет признана всеми, я в этом уверен.

– Ах, сударь, вы видите, сколько зла причиняет этот человек: бесчестие, безумие, смерть... И никто ничего с ним не может поделать! От одной этой мысли мне не хочется жить!

– Пусть другая мысль поможет вам перенести все беды.

– Что вы хотите сказать, сударь?

– Унесите с собой уверенность, что ваш отец, вы сами и все ваши близкие будут отомщены.

– Отомщены?

– Да! Клянусь вам! – торжественно ответил Родольф. – Клянусь вам, когда преступления этого человека будут доказаны, он жестоко поплатится за бесчестие, смерть и безумие, которые сеет вокруг себя. И если даже закон окажется бессильным покарать его, если его хитрость и ловкость столь же непомерны, как его злодеяния, против его хитрости найдется другая хитрость, против его ловкости – другая ловкость, против его злодеяний – еще более страшные, но праведная неотвратимая месть не будет похожа на трусливое и тайное убийство.

– Ах, сударь, да услышит вас бог! Я не думаю об отмщении за мои страдания, я думаю о безумном отце, о моем ребенке, который ни минуты не прожил...

Луиза сделала последнюю попытку вырвать Мореля из мрака безумия.

– Прощай, отец, прощай! – воскликнула она. – Меня уводят в тюрьму... Я больше тебя не увижу! Твоя Луиза прощается с тобой. Отец, отец мой, отец!

Но он не ответил на эти душераздирающие призывы.

Ничто не пробудилось в его несчастной помраченной голове, ничто...

Струны родительских чувств, которые труднее всего разорвать, даже не дрогнули, не отозвались.

Дверь мансарды открылась.

Вошел полицейский комиссар.

– Время истекло, – сказал он Родольфу. – К сожалению, должен вам сказать, что эта беседа не может быть продолжена далее.

– Эта беседа окончена, – с горечью ответил Родольф, показывая на Мореля. – Луизе нечего больше сказать своему отцу, потому что он не слышит свою дочь... Он сошел с ума.

– Господи боже мой! Этого я и боялся! – воскликнул комиссар. – Какой ужас!

Он живо приблизился к ремесленнику и после минутного осмотра убедился в горестной истине.

– Ах, сударь, – печально сказал он Родольфу, – я с самого начала искренне желал, – чтобы невиновность этой юной девушки была признана и доказана! Однако после такого несчастья я не стану ограничиваться одними пожеланиями, нет! Я расскажу об этой семье, такой честной и такой обездоленной, я расскажу о последнем ужасном ударе, который ее поразил, и можете не сомневаться, судьи найдут еще одну причину, чтобы оправдать обвиняемую.

– Хорошо, сударь, – согласился Родольф. – Поступая таким образом, вы не только выполняете свои обязанности, вы исполняете священный долг.

– Поверьте мне, наши обязанности почти всегда тяжелы и печальны, поэтому мы всегда радуемся и бываем счастливы, когда можем оказать помощь добрым и честным людям.

– Еще одно слово, сударь. Признания Луизы Морель убедили меня в ее невинности. Можете вы мне сказать, как было открыто ее так называемое преступление, вернее, кто об этом донес?

– Сегодня утром, – ответил комиссар, – ко мне явилась экономка господина Феррана и заявила, что после поспешного бегства Луизы Морель, которая, как она знает, была на седьмом месяце беременности, она поднялась в ее комнату и нашла там следы тайных родов. После недолгих поисков следы на снегу позволили ей обнаружить труп новорожденного младенца, похороненного в саду.

После ее заявления я прибыл на Пешеходную улицу. Господин Ферраи был возмущен, что такой скандал произошел в его доме. Кюре из церкви Благовещения, за которым он послал, тоже подтвердил, что дочь Мореля призналась перед ним в своем грехе и просила своего хозяина проявить к ней жалость и милосердие. Кроме того, он часто слышал, как господин Ферран самым строгим тоном предостерегал Луизу Морель, предсказывая ей, что рано или поздно она себя погубит. «И предсказания его исполнились самым прискорбным образом», – добавил священник. Негодование господина Феррана, – продолжал комиссар, – показалось мне таким справедливым, что я его разделил. Он сказал мне, что Луиза Морель наверняка укрылась у своего отца. Я тотчас направился сюда. Преступление было явным, и у меня имелись все основания для немедленного ареста.

Родольф с трудом удержался, услышав о негодовании Феррана. Он сказал полицейскому комиссару:

– Благодарю вас, бесконечно благодарю за вашу снисходительность и за то, что вы хотите помочь несчастной Луизе. Я попрошу отвести ее бедного отца в сумасшедший дом, а также мать его жены, такую же помешанную.

Он обратился к Луизе, которая все еще стояла на коленях перед отцом, тщетно пытаясь вернуть его к разуму:

– Дитя мое, вам придется уйти, не повидавшись с матерью. Избавьте ее от тягостного прощания... О судьбе ее не беспокойтесь: отныне ваша семья ни в чем не будет нуждаться, мы найдем женщину, которая позаботится о вашей матери, ваших сестрах и братьях, и ваша добрая соседка, Хохотушка, присмотрит за всем. Что касается вашего отца, то будет сделано все, чтобы он оправился как можно скорее. Мужайтесь и верьте мне: честные люди нередко подвергаются самым жестоким испытаниям, но всегда выходят из них еще более закаленными, еще более сильными и достойными.

Через два часа после ареста Луизы, Давид, по приказу Родольфа, отвез гранильщика и старую идиотку в Шарантон,¹⁰⁵ где им были обеспечены отдельные комнаты и самое внимательное лечение.

Морель покинул свой дом на улице Тамплъ без всякого сопротивления: он пошел туда, куда его повели, безразличный ко всему; его помешательство было тихим, безобидным и печальным.

А бабушка хотела есть. Ей показали мясо и хлеб, и она пошла за мясом и хлебом.

Драгоценные камни ювелира, оставленные его жене, были в тот же день переданы посреднице, г-же Матье, которая приехала за ними.

К несчастью, за нею неотступно следил Хромуля, узнавший об истинной ценности якобы фальшивых бриллиантов из подслушанного разговора Мореля с судебными приставами. Сын Краснорукого выяснил, что она жила на бульваре Сен-Дени в доме номер одиннадцать.

Хохотушка с большой осторожностью рассказала Мадлен Морель о том, что ее муж помешался, и об аресте Луизы. Сначала Мадлен горько плакала, рыдала, но, когда первый приступ отчаяния и боли прошел, это несчастное, слабое и легкомысленное создание успокоилось, видя, что сама она и ее дети ни в чем не нуждаются благодаря щедрости их благодетеля.

¹⁰⁵ Шарантон — известнейший парижский дом сумасшедших. (Примеч. перев.)

Что касается Родольфа, то его одолевали самые мрачные мысли он думал о признаниях Луизы.

«Такую подлость видишь на каждом шагу, – говорил он себе. – Уговорами или силой хозяин овладевает служанкой; иногда запугивает ее, иногда застает врасплох, но во всех случаях добивается своего благодаря превосходству господина над своей рабыней.

Эта растленность нисходит от богатого к бедному и не щадит даже святости домашнего очага; она отвратительна, когда ее принимают добровольно, но становится ужасной и преступной, когда ее навязывают силой.

Это подлое и грубое порабощение, варварское и бесчестное унижение живого существа, которое в страхе отвечает на посулы своего хозяина слезами, на его похотливые приставания – дрожью ужаса и отвращения.

А что потом ждет несчастную женщину? – продолжал размышлять Родольф. – Почти всегда отчаяние и безразличие ко всему на свете, нищета, проституция, кражи, а иногда и детоубийство!

И какие страшные у нас об этом законы!

Каждый соучастник преступления отвечает за преступление.

Каждый скупщик краденого приравнивается к вору.

Это справедливо.

Но если человек от безделья соблазняет юную, невинную нечистую девушку, делает ее матерью, а потом бросает ее, оставляя ей только позор, нищету и отчаяние, и толкает к детоубийству, за это ей приходится отвечать только своей головой...

Посмотрят ли на этого человека как на ее соучастника? Смешно! Что он такого сделал? Да это же так, пустячок, любовная шалость с хорошенькой куколкой... Однодневный каприз!.. Сегодня одна, завтра другая...

Мало того, если этот человек обладает оригинальным и лукавым характером и к тому же считается честнейшим из людей, он может пойти в суд, полюбоваться своей жертвой на скамье обвиняемых.

Если его случайно привлекут как свидетеля, он может позабавиться и ответить этим слишком любопытным людишкам, озабоченным только тем, как бы поскорее отправить на гильотину эту бедную девушку во славу отечества и общественной морали:

„Я хочу сообщить суду нечто очень важное“. – „Говорите!“ – „Господа присяжные, эта несчастная была добродетельна и чиста, это святая правда... я ее соблазнил, и это тоже правда... Я стал отцом ее ребенка, не отрицаю...

Но поскольку она блондинка, я ее бросил ради другой, брюнетки, и это опять-таки истинная правда.

Но при этом я пользовался своим неотъемлемым правом выбора, священным правом, которое признано обществом и законом“. – „В самом деле, этот молодой человек совершенно прав, – скажут друг другу присяжные шепотком. – Нет такого закона, чтобы судить его, если он сделал младенца блондинке, а потом увлекся молоденькой брюнеткой. Он просто шалопай!“

„А теперь, господа присяжные, эта несчастная уверяет, будто убила своего ребенка, я бы даже сказал, нашего ребенка, потому что я ее бросил...

Потому что она осталась одна, в безысходной нищете, испугалась и потеряла голову. Но почему? Потому что если бы ей пришлось сохранить своего ребенка, – объяснит вам она, – если бы ей пришлось ухаживать за ним, она бы не смогла вернуться в свою мастерскую и заработать на жизнь себе и младенцу, плоду нашей любви.

Но я полагаю, что ее оправдания ничего не стоят, разрешите вам это сказать, господа присяжные!

Разве мадемуазель не могла пойти рожать в приют Ля Бурб... если там было место?

Разве мадемуазель не могла в самый критический момент явиться к комиссару полиции своего квартала и признаться ему в своем, скажем, позоре, чтобы получить разрешение отнести своего младенца в Дом подкидышей?

И наконец, разве мадемуазель не могла найти какой-нибудь другой, не столь варварский

способ избавиться от плода наших заблуждений и наслаждений, пока я покурил в кофейной, поджидая свою новую любовницу?

Признаюсь вам, господа присяжные, я нахожу ее способ слишком диким и слишком удобным для нее. Она хотела только избавиться от всяких забот на будущее!

Подумайте, господа присяжные! Эта девушка должна была не только терпеть позор и унижение, вынашивая девять месяцев незаконного ребенка. Ей бы пришлось еще его выкармливать и растить! Заботиться о нем, воспитывать его, чтобы он стал таким же честным молодым человеком, как его отец, или такой же честной девушкой, не похожей на свою развратную мать... Ибо материнство – священный долг, черт побери! И негодяйки, которые им пренебрегают, которые топчут ногами священные материнские обязанности, не матери, а изуверки, и они достойны самого сурового, примерного наказания!

Поэтому, господа присяжные заседатели, прошу вас: поскорее отдайте эту мерзавку палачу. Этим вы совершите акт, достойный неподкупных и добродетельных, твердых и просвещенных граждан. *Dixi*!¹⁰⁶

„Этот господин рассматривает данное дело с точки зрения высокой морали, – добродушно скажет какой-нибудь разбогатевший шляпник или старый ростовщик из числа присяжных. – Он сделал то, что и мы бы с вами сделали на его месте, черт побери! Посмотрите, какая она хорошенькая, эта блондиночка, хотя и бледненькая... Этот молодец, как говорится, 'кружит головы блондинкам и брюнеткам'. Ну и что? Закон не запрещает. А что до этой несчастной, то в конечном счете она сама во всем виновата. Почему она ему не сопротивлялась? Не пришлось бы тогда совершать такого преступления, ужасного преступления, постыдного, позорного для всех, для всего нашего общества“. И этот разбогатевший шляпник или старый ростовщик будут правы, абсолютно правы.

В чем можно упрекнуть ловкого соблазнителя? Разве он был прямым или косвенным участником преступления, разве он несет за него моральную или материальную ответственность? Ведь он ничего не сделал! Счастливый пройдоха только совратил красивую девушку, а потом ее бросил, в чем сам признался. Ну и что? Есть такой закон, который это запрещает?

И все наше общество в таких случаях уподобляется папаше из какой-то полупохабной сказочки, который кричит:

„Берегите ваших кур, соседи! Мой петух вылетел из курятника! Я умываю руки...“

Но если какой-нибудь бедолага, из нужды или по глупости, не зная законов, которые не может прочитать, в простоте душевной купит краденую тряпку, он получит двадцать лет каторги как скупщик краденого, точно так же, как вор, – двадцать лет каторги.

И в этом есть железная логика.

Без скупщиков краденого не было бы и воров.

Без воров не было бы скупщиков краденого.

Нет, хватит шалости! Поменьше милосердия! Не разбирая, кто стал жертвой и кто был палачом!

Пусть даже самая малая причастность к преступлению будет наказана самой страшной карой!

Подумаем... В этой суровой и благодатной мысли есть высокая мораль.

Преклонимся перед обществом, которое провозгласило такие законы... Однако вспомним, что это общество, неумолимое по отношению к соучастию в малейших преступлениях против собственности, устроено таким образом, что если наивный и неискушенный человек попытается доказать, что бесчестный соблазнитель пусть не материально, но хотя бы морально отвечает за позор покинутой им девушки, его просто поднимут на смех.

А если этот простака попробует возразить, что без отца... не было бы и младенца, то же самое общество завопит, что он зверь, негодяй и сумасшедший.

И будет право, опять же право, ибо в конечном счете этот господинчик, который мог бы наговорить присяжным такие красивые слова, сможет потом преспокойно пойти полюбоваться,

¹⁰⁶ «Я сказал» (лат.) завершающее слово в конце обвинения или речи.

как его любовнице отрубят голову за страшное преступление – детоубийство, преступление, в котором он был сообщником, а лучше скажем: главным преступником, потому что безжалостно бросил несчастную мать.

Эта очаровательная снисходительность нашего общества к его мужской половине, к легкомысленным шалостям наших мужчин под защитой маленького божка Амура, разве не доказывают, что настоящие французы преклоняются перед грациями и по-прежнему остаются самыми галантными мужчинами в мире?»

Глава XIII ЖАК ФЕРРАН

В то время, когда происходили эти события, в конце Пешеходной улицы стояла длинная растрескавшаяся стена, по гребню которой в известку были вставлены осколки бутылок. Эта стена ограждала сад нотариуса Жака Феррана и примыкала к главному зданию, выходившему на улицу. В нем было всего два этажа и чердак.

Две большие таблички из позолоченной меди с именем нотариуса были прибиты к створкам входной двери, такой старой и ветхой, что первоначальный цвет ее уже невозможно было различить под слоем грязи.

За дверью был крытый переход; справа – каморка наполовину глухого швейцара, который принадлежал к цеху портных примерно так же, как Пипле – к цеху сапожников, слева – бывшая конюшня, служившая ему кладовкой, прачечной, дровяником и крольчатником; недавно овдовевший швейцар с горя начал разводить в колоде, где когда-то лошади хрупали овес, этих милых домашних зверьков.

Рядом с его каморкой открывался вход на узкую извилистую и темную лестницу, которая вела к конторе, как подсказывала клиентам намалеванная черной краской рука, указательный палец которой утыкался в написанные на стене такой же черной краской слова: «Контора на втором этаже».

По одну сторону широкого мощеного двора, заросшего травой, стояли заброшенные службы, по другую – ограда из ржавых железных прутьев отделяла сад, в глубине которого, во флигеле, жил сам нотариус.

Пологая лестница из восьми-десяти истертых каменных плит, расшатанных, поросших мхом и позеленевших от времени, вела к этому квадратному флигелю, состоявшему из кухни и других подвальных помещений, первого и второго этажа и мансарды, где жила Луиза.

Этот флигель выглядел таким же запущенным, как все остальное, на стенах были глубокие трещины, рамы и ставни, когда-то выкрашенные в серый цвет, с годами сделались почти черными; шесть решетчатых окон второго этажа, выходивших на двор, были без занавесок. Какая-то жирная тусклая ржавчина покрывала стекла; лишь на первом этаже сквозь более прозрачные окна можно было разглядеть бумажные желтые занавески с красными розетками.

Четыре окна выходили в сад, но два из них были замурованы.

Этот сад, захваченный сорняками, казался совсем заброшенным. В нем не было ни цветочных грядок, ни клумб, – только дикая поросль и несколько больших кустов акации и бузины, газон, покрытый мхом, выгоревший от солнца, тропинки, заросшие терном; где-то в глубине – наполовину вросшая в землю теплица; а вокруг – высокие серые стены соседних домов с редкими отдушинами, зарешеченными, как тюремные окна. Так печально выглядели сад и жилище нотариуса.

Однако Жак Ферран придавал этой видимости, вернее реальности, большое значение.

Обычно простакам такое небрежение в сочетании с достатком кажется безразличием ко всему мирскому, и даже грязь они объясняют скромностью и воздержанием.

Сравнивая кричащую роскошь некоторых нотариусов или сказочные наряды их жен с печальным, старым домом Жака Феррана, презирающего всякие модные причуды, элегантность и показное богатство, люди невольно проникались уважением или даже слепым доверием к этому человеку, который мог сказать, несмотря на свою многочисленную клиентуру и немалые дохо-

ды, – слухом земля полнится! – мог бы громко сказать, как большинство его собратьев: «Мой выезд (так это говорится), мой раут, моя ложа в Опере», и так далее и тому подобное, но вместо этого жил в скромности и скудно. А потому всякие вклады, вексели, нотариальные поручения и прочие денежные операции, требующие безупречной честности и доверия, сыпались на Жака Феррана как манна небесная.

Он жил, довольствуясь малым, и это было в его вкусе... Нотариус презирал большой свет, празднества, дорогие удовольствия. Если бы это было не так, он без колебаний отказался бы от своих дорогих сердцу привычек и зажил бы всю, как ему и полагалось.

Скажем несколько слов о характере этого человека.

Он принадлежит к великой семье скупцов.

Их всегда выставляют в смешном свете, осмеивают, издеваются над ними, и почти всегда скупец предстает перед нами всего лишь эгоистом, в крайнем случае – злым эгоистом.

Большинство из них скаречно копит свои богатства, меньшинство решается одалживать деньги за тридцать процентов, и лишь очень немногие, самые смелые, рискуют нырять в бездну биржевых спекуляций... Но чтобы скряга, скупец ради новой прибыли пошел на преступление, на убийство? Такого еще не слыхивали.

Это само собой разумеется.

Скупость по природе своей – страсть отрицательная, пассивная.

Скупец, придумывая свои бесконечные комбинации, мечтает о том, как бы ему разбогатеть, ничего не потратив, и скорее сужает вокруг себя границы самого необходимого, нежели стремится нажиться за счет других. Можно сказать, что он мученик, жертва своей скупости.

Слабый, трусливый, хитрый, недоверчивый, а главное осторожный и осмотрительный, никогда не впадающий в гнев, безразличный к чужим несчастьям, скупец не причинит этих несчастий сам. Он прежде всего и главным образом человек положительный, верящий в незыблемость вещей, а можно сказать по-другому: он скупец потому, что верит только факту, реальности, а реальность для него – только золото в его сундуке.

Всякие спекуляции, одалживание денег даже под самый верный залог его не очень-то соблазняют; даже малейший риск потерять хоть немного пугает его, и он предпочитает хранить свой капитал, а не наживаться на процентах.

Такой боязливый, положительный человек, предпочитающий высматривать и выжидать, вряд ли станет преступником, готовым идти на каторгу или рискнуть головой ради больших денег.

«Рисковать» – это слово вычеркнуто из словаря скупца.

Именно в этом смысле Жак Ферран был редким исключением и, скажем прямо, новой и любопытной разновидностью скупцов.

Потому что Жак Ферран рисковал, и очень многим.

Он рассчитывал на свою хитрость, поистине беспредельную; на свое лицемерие, не знающее границ; на свой ум, изворотливый, гибкий, изобретательный; на свою дьявольскую дерзость, которая позволила ему безнаказанно совершить уже немало преступлений.

Жак Ферран был исключением не только в этом.

Обыкновенно такие люди, отчаянные авантюристы, которые не останавливаются ни перед каким злодейством ради золота, подвержены низким страстям, привычке к роскоши, азартным играм, обжорству и пьянству, разврату.

Жак Ферран был избавлен от всех этих шумных беспорядочных страстей. Замкнутый и терпеливый, как фальшивомонетчик, жестокий и решительный, как наемный убийца, он был внешне скромен и пристоен, как Гарпагон.

Единственное чувство, вернее страсть, но постыдная, низменная, звериная в своей жестокости, часто доводила его почти до безумия.

Это была похоть.

Похоть хищника, волка или тигра.

Когда ее жгучая отрава проникала в кровь этого коренастого здоровяка, жар бросался ему в голову, он весь пылал и плотские вожделения затмевали его разум. И тогда, забывая порой о

всякой хитрости и осторожности, он превращался, как мы говорили, в тигра или волка, о чем и свидетельствует его покушение на Луизу.

Обманувшее всех бесстыдное лицемерие, с которым он отрицал свое преступление, было, так сказать, гораздо больше в его стиле, чем открытое насилие.

Вожделение, грубая похоть, звериная страсть, которая не считается ни с чем, – так разгоралась любовь этого человека.

Мы говорим об этом, чтобы показать на примере Луизы, что милосердие, доброта и щедрость были ему совершенно неизвестны. Ферран одолжил тысячу триста франков Морелю за большие проценты: для него это было выгодное дельце и одновременно ловушка, способ устроить Луизу. Он был уверен в честности гранильщика, знал, что рано или поздно получит свои деньги, и все же красота Луизы произвела на него такое большое впечатление, что он готов был отказаться от столь немалых денег, одолженных на таких выгодных условиях.

Не считая этой его слабости, Жак Ферран по-настоящему любил только деньги, золото. Он любил деньги ради денег.

Вовсе не за те радости, которые они ему приносили.

Он был аскетом.

Вовсе не за те радости, которые могло бы ему дать богатство; у него не хватало фантазии, чтобы вообразить себе, как это делают некоторые скупердяи, какой-то несуществующий рай. А что касается собственного кошелька, то он любил его за то, что он его собственный. А что до вкладов его клиентов, особенно очень больших вкладов, которые ему доверяли, полагаясь на его безупречную честность, он испытывал, возвращая их, такую же боль, такое же страшное отчаяние, какие испытывал ювелир Кардильяк, когда отдавал заказчику драгоценность, превращенную благодаря его изысканному вкусу в шедевр искусства.

Для нотариуса таким шедевром была его безупречная репутация... И поэтому вклады, с которыми ему приходилось расставаться, вызывали у него боль и ярость.

Сколько забот, хитрости и ловкости, сколько искусства, в конечном счете, употреблял он, чтобы заполучить эти деньги в свой сундук и превратить эти сверкающие доказательства своей безупречности в драгоценные свидетельства доверия к нему, как жемчужины и бриллианты, оправленные Кардильяком!

Говорят, знаменитый ювелир с возрастом смотрел на свои изделия все ревнивее и считал каждое своим последним шедевром и никак не мог с ним расстаться.

Так и Жак Ферран, чем больше он совершенствовался в своем преступном искусстве, тем больше придавал значения особым их личным приметам: они должны были быть «уникальными и потрясающими». И каждую свою новую подлость он считал шедевром.

Мы увидим дальше, какими поистине дьявольскими способами, с какой ловкостью и хитростью ему удалось безнаказанно присвоить огромные суммы денег.

Его вторая, тайная жизнь доставляла ему такие же волнения и радости, как азартному картежнику игра.

Против кошелька его невинных жертв Жак Ферран ставил свою голову, лицемерие, хитрость, дерзость... И всегда играл, как говорится, наверняка. Потому что, если не считать человеческого правосудия, о котором он довольно вульгарно и зло говорил: «Печная труба на голову не свалится», – он ничего не боялся. Для него проиграть означало только не выиграть. И к тому же он был таким ловким, талантливым преступником, что с горькой иронией считал себя неуязвимым, насмехаясь над бесконечной доверчивостью не только своих богатых клиентов, но также мелких буржуа и рабочих своего квартала.

Многие из них помещали у него свои сбережения и говорили: «Милости от него не жди, это правда. Он святоша, но это уж его беда. Но он надежнее, чем все правительственные банки и сберегательные кассы».

И несмотря на всю свою исключительную ловкость, этот человек совершил ошибку, которой не могут почти никогда избежать даже самые хитрые преступники.

Правда, его вынудили к этому обстоятельства, и он связался с двумя сообщниками. Эта грубейшая ошибка, как и сам он признавал, частично была исправлена: ни один из двух сообщ-

ников не мог его предать, не выдав при этом себя, и оба не могли извлечь из такого предательства ничего, кроме праведного гнева общества и суда над ними самими и над нотариусом.

Значит, в этом отношении он мог быть спокоен.

А в остальном, замышляя новые преступления, он рассчитывал, что помощь этих неудобных сообщников скоро вполне окупится.

Еще несколько слов о внешнем облике Жака Феррана, и мы проследуем в его контору, где найдем главных героев нашего рассказа.

Феррану было пятьдесят лет, но выглядел он всего на сорок. Среднего роста, чуть согбенный, широкоплечий, коренастый, мускулистый, рыжий и весь заросший, как медведь.

Он приглаживал волосы на висках, лоб его был с залысинами, брови едва различимы, цвет лица желчный, серо-зеленый, но и это трудно было различить из-за бесчисленных рыжих веснушек. Но когда он сильно волновался, эта рыжая землистая маска наливалась кровью и становилась почти фиолетовой.

Лицо у него было плоское; как говорят в простонародье – мертвая голова. Нос вздернутый и на конце приплюснутый, губы такие тонкие и незаметные, что рот казался щелью, а когда он зловеще и зло улыбался, виднелись края его гнилых зубов почти черного цвета. Всегда чопорный, важный, он хранил одновременно суровое и блаженное выражение лица, невозмутимое и строгое, холодное и задумчивое. Его маленькие черные глазки, живые и пронзительные, прятались за большими зелеными очками.

У Жака Феррана было отличное зрение, но, прячась за этими очками, он приобретал огромное преимущество! Он все видел, а его не видели. А зачастую как много может сказать случайный и невольный взгляд! Несмотря на всю свою беспредельную дерзость, ему пришлось раза два-три в жизни встретиться с пронизывающими, магическими взглядами людей, которые были сильнее его, и он вынужден был перед ними опускать глаза. Не надо! Ни при каких обстоятельствах он больше не будет опускать глаз перед человеком, который расспрашивает, обвиняет или осуждает.

Большие очки господина Феррана были, таким образом, своего рода амбразурами, из которых он внимательно следил за всякими маневрами своего врага... ибо все на свете были врагами нотариуса, все на свете были простаками или глупцами, а те, кто сможет его обвинить, – такие же дураки, только более или менее просвещенные и взбунтовавшиеся.

Одевался Жак Ферран скромно, даже очень, все на нем было грязноватое или какое-то поношенное. Его лицо со щетиной, – он брился раз в два-три дня, – его грязные и корявые руки, плоские ногти с черными ободками, запах как от старого козла, заплатанные сюртуки, засаленные шляпы, перекрученные галстуки, черные шерстяные носки и грубые ботинки внушали особое уважение глупым клиентам, которые видели во всем этом пренебрежение к мирским благам и философскую отрешенность, которая их покоряла.

«Каким своим вкусам, каким пристрастиям и слабостям принес бы нотариус в жертву это бесконечное доверие к нему? – говорили люди. – Да никаким! Он зарабатывал, наверное, шестьдесят тысяч франков в год, а жил в своем ветхом доме с одной служанкой и старой экономкой. Единственное его удовольствие – ходить к мессе по воскресеньям и на торжественные службы по праздникам. Никакая опера не заменит ему величавый голос органа. Никакое общество – мирной беседы с кюре и скромного ужина с ним у затопленного камина. Вся его радость была в безупречности, его гордость в честности, его блаженство – в светлой вере».

Таково было мнение окружающих о Жаке Ферране, этом редкостном и великом, добродетельнейшем из людей.

Глава XIV КОНТОРА

Контора г-на Феррана походила на все конторы, клерки – на всех клерков. В контору проходили через прихожую, где стояли четыре старых стула. В самой конторе, обставленной со всех сторон этажерками с папками, где содержались дела всевозможных клиентов г-на Феррана, си-

дели пять молодых людей, склоняясь над столиками черного дерева, то хохоча, то болтая между собой; то старательно что-то записывая.

Приемная, также обставленная полками с разными бумагами в папках, всецело принадлежала господину главному клерку. За нею была совершенно пустая комната, которая для большей секретности отделяла приемную от кабинета нотариуса. Таково было расположение всей этой юридической кухни, где стряпались всевозможные завещания, договоры, акты и прочие документы.

На старых часах, стоявших между двумя окнами конторы, кукушка прокуковала два раза. Среди клерков чувствовалась нервозность и беспокойство. Обрывки разговоров позволят понять причину их волнения.

– Если бы кто-нибудь посмел сказать мне, что Франсуа Жермен – вор, – горячился один из молодых людей, – я бы ответил: вы лжете!

– И я тоже!

– И я...

– Меня так потрясло, когда я увидел, как полицейские схватили его и увели, что я за столом не проглотил и куска... Впрочем, оно и к лучшему, это спасло меня от ужасной похлебки, которой нас потчует каждый день мамаша Серафен.

– Семнадцать тысяч франков – немалая сумма!

– Еще бы!

– И подумать только, почти полтора года Жермен прослужил кассиром, и за все это время из кассы не пропало ни одного сантима!

– Я считаю, наш патрон был неправ, когда потребовал арестовать Жермена. Ведь бедняга клялся всеми богами, что взял всего тысячу триста франков в золотых монетах. И к тому же сегодня утром принес эти деньги, чтобы вернуть их в кассу, но патрон все равно послал за полицией.

– Да, нелегко иметь дело с такими безупречными людьми: они безжалостны к нашим слабостям.

– И все равно, он обязан был дважды подумать, прежде чем губить молодого человека, который до сих пор вел себя безупречно.

– Ферран сказал: «Пусть это послужит примером!»

– Примером кому? Честным он не нужен, а бесчестные и так знают, что, сколько ни воруй, когда-нибудь да попадешься.

– Но, похоже, этот дом весьма заинтересовал комиссара полиции...

– Как это?

– Да ты что, не знаешь, черт побери? Утром эта несчастная Луиза, а потом – Жермен...

– С Жерменом тут что-то непонятное...

– Но ведь он признался!

– Да, признался, что взял тысячу триста франков, но клянется, что не брал пятнадцати тысяч франков в ассигнациях и семисот франков золотом, которых недосчитали в кассе.

– В самом деле, зачем признаваться в одном и отрицать другое?

– Да, ты прав, за тысячу пятьсот франков дают столько же, как за пятнадцать тысяч.

– С той лишь разницей, что хитрец себе думает: когда я выйду из тюрьмы, эти пятнадцать тысяч франков помогут мне очень прилично устроиться.

– Да, не глупо!

– Но что ни говорите, за этим что-то кроется.

– И подумать только: Жермен всегда защищал патрона, когда мы называли его иезуитом!

– Да, это правда. «Почему наш патрон не имеет права ходить к мессе? – говорил он. – Ведь вы имеете право не появляться в церкви!...»

– Смотри-ка, Шаламель возвращается, вот кто сейчас удивится!

– Чему это, друзья? Что еще стряслось? Есть какие-нибудь новости о несчастной Луизе?

– Ты бы уже знал об этом, лентяй, если бы не ходил по поручениям столько времени!

– Послушайте, может, вы думаете, что отсюда до дворца Шайо один куриный шаг!

– Ну ловкач! Ну хитрюга!

– Так что с этим знаменитым виконтом де Сен-Реми?

– Разве он еще не приходил?

– Нет.

– Удивительно! Карета была готова, и он передал через слугу, что тотчас приедет. Правда, сказал слуга, он, кажется, чем-то недоволен... Ах, друзья, если бы видели его прелестный маленький дом! Какая роскошь! Можно сказать, один из тех дворянских особняков, о которых сказано в Фобласе... О, этот Фоблас! Он мой герой, он мне служит примером, – продолжал Шаламель, ставя в угол свой зонтик и стаскивая калоши.

– Наверное, у него долги, за которые могут арестовать. У этого виконта?

– Вексель на тридцать четыре тысячи франков; судебный пристав передал его сюда, потому что кредитор предпочел, чтобы он был оплачен у нас в конторе. А почему – этого я не знаю.

– Лучше ему сразу все оплатить, этому красавцу виконту, потому что он и так просрочил три дня, прятался от судебных приставов в деревне и вернулся только вчера вечером.

– Но почему до сих пор не описали его дом?

– Не так уж он глуп. Дом не принадлежит ему, обстановка – его камердинера, который якобы от чьего-то имени сдает его виконту внаем со всей мебелью; точно так же лошади и кареты записаны на его кучера, и тот утверждает, будто сдает виконту напрокат эти великолепные выезды за столько-то в месяц. Хитер этот Сен-Реми. Но о чем это вы тут говорили? Что еще случилось?

– Представь себе, часа два назад влетает наш патрон вне себя от ярости. «Где Жермен?» – кричит он. «Не знаем, сударь». – «Так вот, он вчера украл семнадцать тысяч франков!»

– Жермен? Украл? Да полно вам.

– Лучше послушай!..

– «Как, сударь, вы уверены? Это невозможно», – говорим мы ему наперебой.

– А я говорю: «Вчера я оставил в ящике кассы пятнадцать ассигнаций по тысяче франков и еще две тысячи франков золотом в маленькой шкатулке, и все похищено». В этот момент вбегает папаша Марритон, швейцар, и кричит: «Хозяин, полицейские сейчас придут!»

– А что Жермен?

– Подожди немного. Патрон говорит швейцару: «Когда появится господин Жермен, пошли его сюда, в контору, но ничего не говори...» Так приказал патрон. «Я хочу уличить его перед вами всеми, господа...» Примерно через четверть часа приходит бедняга Жермен как ни в чем не бывало; мамаша Серафен только что принесла нам свою похлебку; он спокойно здоровается с патроном и со всеми. «Жермен, вы хотите с нами позавтракать?» – спрашивает Ферран. «Нет, сударь, я не голоден». – «Вы сегодня опоздали». – «Да, сударь, мне пришлось сегодня утром отправиться в Бельвиль». – «Наверняка, чтобы спрятать деньги, которые вы у меня украли!» – закричал господин Ферран страшным голосом.

– И что Жермен?

– Несчастный побледнел как смерть и тут же забормотал: «Сударь, умоляю, не губите меня...»

– Он в самом деле украл?

– Да подождите вы, Шаламель! «Не губите меня», – говорит он патрону. «Значит, ты признаешься, негодяй?» – «Да, сударь... Но вот деньги, которых недостает. Я надеялся вернуть их рано утром, пока вы не встали, но, к несчастью, той дамы, которая была мне должна эту маленькую сумму, не оказалось вчера дома; она уже два дня находилась в Бельвиле, и мне пришлось отправиться туда с утра. И этим и объясняется мое опоздание... Сжальтесь, сударь, не погубите меня! Когда я брал эти деньги, я знал, что смогу вернуть их утром. Вот тысяча триста франков золотом». – «Какие тысяча триста? – закричал Ферран. – При чем здесь тысяча триста франков? Вы украли у меня из ящика стола на втором этаже пятнадцать ассигнаций по тысяче франков в зеленой папке и еще две тысячи франков золотом!» – «Я? Да ничего подобного! – воскликнул ошеломленный Жермен. – Я взял у вас тысячу триста франков золотом... и ни сантима больше. Никакой зеленой папки я не видел, там было только две тысячи франков золотом в шкатулке». –

«О, какая гнусная ложь! – закричал патрон. – Вы украли тысячу триста франков, значит, могли украсть и больше. Суд решит... О, я буду беспощаден!.. Так злоупотреблять моим доверием!.. Пусть это будет уроком для всех». И тогда, мой бедный Шаламель, явились полицейские с секретарем полиции, чтобы составить протокол, и нашего Жермена схватили и увели. Вот так-то!

– Неужели это возможно? Жермен честнейший из честных!

– Нам это тоже показалось очень странным.

– Надо, впрочем, сказать, что Жермен был со странностями: он никому не говорил, где он живет.

– Да, это правда.

– У него всегда был такой таинственный вид...

– Но это не причина, чтобы он вдруг взял и украл семнадцать тысяч франков.

– Это конечно.

– Я об этом и говорю.

– Действительно, хорошенечкая новость... Прямо как дубиной по голове... Жермен... Жермен такой с виду честный! Да ему бы любой доверился как на исповеди!

– Похоже, он предчувствовал, что его поджидает беда...

– Почему ты так думаешь?

– Последнее время что-то его грызло, беспокоило...

– Может быть, это из-за Луизы?

– Из-за Луизы?

– Я только повторяю слова мамы Серафен. Она говорила утром...

– Что она говорила? О чем?

– О том, будто он любовник Луизы... и отец ее ребенка.

– Подумать только! Вот лицемер!

– Неужто правда? Вот это да!

– Да не верю!

– Не может этого быть!

– Откуда ты это знаешь, Шаламель?

– Недели две назад Жермен по секрету признался мне, что безумно влюблен, просто сходит с ума от одной маленькой портнишки. Он, познакомился с ней в доме, где недавно жил. Когда он говорил о ней, на глазах у него были слезы.

– Браво, Шаламель! Ура, Шаламель! Да из какой старой оперы ты явился?

– И еще говорил, что его герой – Фоблас! А сам, как малый ребенок, как невинная девица, как простак акционер, не понимает, что можно любить одну и быть любовником другой! Потеха!

– А я вас уверяю, что Жермен говорил вполне серьезно...

В этот момент в контору вошел старший клерк.

– Вы уже здесь, Шаламель? – спросил он. – Исполнили все поручения?

– Да, господин Дюбуа. Я был у виконта Сен-Реми, он сейчас должен приехать и все заплатить.

– А у графини Мак-Грегор?

– Да, вот ее ответ.

– А у графини д'Орбиньи?

– Она благодарит патрона, она только вчера утром приехала из Нормандии и не ждала так скоро нашего ответа: вот ее письмо. Я также посетил управляющего маркиза д'Арвиля, как он меня просил, чтобы оплатить расходы за договор, который я недавно составил у него дома.

– Вы сказали, что это не спешно?

– Сказал, но тем не менее управляющий пожелал рассчитаться немедленно. Вот деньги. Ах, чуть не забыл, там внизу была визитная карточка у швейцара с надписью карандашом, – ну конечно, на карточке, а не на швейцаре, ха-ха! Какой-то господин спрашивал патрона и оставил ее.

– «Вальтер Мэрф», – прочитал старший клерк, и ниже – карандашную строчку: – «Вернусь через три часа по делу чрезвычайной важности». Я не знаю этого имени, – пробормотал старший клерк.

– Да, еще забыл! – воскликнул Шаламель. – Бадино сказал, что согласен, что господин Ферран может поступать по своему усмотрению, и он уверен, что все будет хорошо.

– Он не дал письменного ответа?

– Нет, он сказал, что очень торопится.

– Прекрасно.

– Днем зайдет Шарль Робер поговорить с патроном, кажется вчера он дрался на дуэли с герцогом де Люсене.

– Он ранен?

– Не думаю, мне об этом сказали бы слуги.

– Смотрите-ка! Подъехала карета.

– Ох, какие прекрасные кони! Так и рвутся из постромок! А этот толстый кучер-англичанин в белом парике, в коричневой ливрее с серебряными галунами и эполетами – ну просто настоящий полковник!

– Или какой-нибудь посол.

– А посмотрите на лакея на запятках! Сколько на нем серебряного шитья!

– И какие усищи!

– Да ведь это ж карета виконта де Сен-Реми, – сказал Шаламель.

– Значит, это его стиль? Ну, спасибо.

Через минуту виконт де Сен-Реми уже входил в контору.

Глава XV ВИКОНТ ДЕ СЕН-РЕМИ

Мы уже описали прекрасное лицо, изысканную элегантность и обворожительные манеры виконта де Сен-Реми, приехавшего накануне с фермы д'Арнувиль, собственности герцогини де Люсене, где он скрывался от судебных приставов Маликорна и Бурдена.

Господин де Сен-Реми быстро вошел в контору, не снимая шляпы, с гордым и дерзким видом, полуприкрыв глаза и ни на кого не глядя; он надменно спросил:

– Нотариус у себя?

– Господин Ферран работает в своем кабинете. Если вы соблаговолите немного подождать, он примет вас.

– То есть как это – подождать?

– Но послушайте, сударь...

– Не может быть никаких «но»! Ступайте и скажите, что приехал виконт де Сен-Реми. Я вообще не понимаю, как этот нотариус может держать меня в этой прихожей... здесь печка дымит, угореть можно...

– Соблаговолите пройти с соседнюю комнату, – сказал старший клерк. – Я тотчас доложу о вас господину Феррану.

Сен-Реми пожал плечами и последовал за старшим клерком.

Через четверть часа, которые показались ему бесконечными и превратили досаду в ярость, его допустили в кабинет нотариуса.

Прелюбопытнейший был контраст между этими двумя людьми, каждый из которых был опытным физиономистом и обычно безошибочно судил с первого взгляда, с кем он имеет дело.

Виконт де Сен-Реми видел Жака Феррана впервые. Он был поражен видом этого бескровного лица, сурового, невозмутимого, его огромными зелеными очками, за которыми прятались глаза, его лысым черепом под низко надвинутым старым колпаком черного шелка.

Нотариус сидел за своим столом в кожаном кресле; сзади, в обветшалом камине, полном золы, едва дымились две черные головешки. Ободранные шторы зеленого перкалина, прикрепленные к маленьким железным угольникам над окнами, закрывали стекла, пропуская в темный кабинет зловещий и мрачный зеленоватый полумрак. Полки черного дерева с помеченными шифрами папками, несколько стульев вишневого дерева с сиденьями, крытыми желтым утрехтским бархатом, большие часы красного дерева, пожелтевшие, влажные и холодные плитки пола,

растрескавшийся потолок, затянутый паутиной, – таково было логово, святая святых Жака Феррана.

Виконт не сделал и двух шагов в этом кабинете, не произнес ни слова, а нотариус его уже возненавидел, хотя и знал о нем только понаслышке. Прежде всего он увидел в нем, так сказать, соперника в подлости, а поскольку сам Ферран страдал от своей гнусной и низменной внешности, он ненавидел у других изящество, красоту и молодость, особенно когда эти невыносимые преимущества сочетались с дерзостью.

Нотариус обычно разговаривал со своими клиентами сурово и резко, почти грубо, и производил на них желаемое впечатление: они еще больше уважали его за мужицкие манеры. И он пообещал себе быть особенно грубым с виконтом.

А тот, тоже зная о Жак Ферране только по слухам, ожидал увидеть перед собой эдакого писаря-замарашку, добродушного и чудаковатого. Виконт всегда представлял себе почти идиотами таких исключительно честных людей, образцом которых был, по слухам, Жак Ферран. Но, столкнувшись лицом к лицу с этим писарем-простаком, виконт испытал невыразимое чувство – наполовину страх, наполовину ненависть, хотя у него не было особых причин бояться его или ненавидеть. Поэтому, по своему решительному характеру, виконт де Сен-Реми повел себя еще более дерзко и вызывающе, чем обычно.

Нотариус сидел в своем колпаке, виконт не снял шляпу и с порога закричал гневно и возмущенно:

– Что это такое, черт побери! Очень странно, сударь, что вы заставляете меня приходить сюда, вместо того чтобы послать ко мне за деньгами, которые я должен по векселям этому Бадино и за которые этот субъект преследует меня по судам... Но мне, правда, сказали, что вы имеете мне сообщить нечто важное... Пусть будет так, однако вы могли бы не заставлять меня ждать целых четверть часа в вашей прихожей. Это не очень-то вежливо, сударь!

Ферран невозмутимо закончил свои подсчеты, неторопливо вытер перо о влажную губку, на которой стояла выщербленная фаянсовая чернильница, и обратил к своей жертве землистое, сизое, курносое лицо, наполовину скрытое очками.

Оно было похоже на череп, в котором пустые орбиты заменили огромные мертвые глаза, мутные и зеленые.

С минуту он молча смотрел на виконта, затем грубо и резко спросил:

– Где деньги?

Такое хладнокровие вывело де Сен-Реми из себя. Он, виконт, кумир всех дам, образец для всех мужчин, желанный гость в лучших салонах Парижа, прославленный дуэлист, которого все боялись, – и такое пренебрежение со стороны какого-то жалкого нотариуса! Это было постыдно, отвратительно. И хотя он находился один на один с Жаком Ферраном, его тщеславие и гордость были уязвлены.

– Где векселя? – спросил он так же резко.

Нотариус молча постучал одним пальцем, поросшим рыжей шерстью, по кожаной папке у себя на столе.

Решив не говорить ни одного лишнего слова, но внутренне дрожа от гнева, виконт вынул из кармана своего редингота маленький кошелек русской кожи с золотыми застежками, извлек из него сорок ассигнаций по тысяче франков и показал их нотариусу.

– Сколько? – спросил тот.

– Сорок тысяч франков.

– Давайте сюда.

– Возьмите, и покончим с этим побыстрее, сударь. Делайте, что вам положено, берите деньги и верните мне мои векселя, – сказал виконт, нетерпеливо бросив пачку ассигнаций на стол.

Нотариус взял их, поднялся, осмотрел их одну за другой у окна, поворачивая и переворачивая с таким тщанием и такой осмотрительной внимательностью, что виконт де Сен-Реми бледнел от ярости.

Нотариус, словно догадываясь о его чувствах, покачал головой, повернулся к нему и про-

изнес невыразительным тоном:

– Да, мы и такое видали...

Смешавшись на миг, де Сен-Реми сухо спросил:

– О чем вы говорите?

– О фальшивых банкнотах, – ответил нотариус, продолжая внимательно рассматривать ассигнации.

– Почему вы говорите об этом со мной, сударь?

Жак Ферран прервал на миг свое занятие, пристально посмотрел на виконта сквозь свои зеленые очки, затем чуть пожал плечами и продолжал изучать ассигнации, не говоря ни слова.

– Черт меня побери! – вскричал де Сен-Реми, разъяренный спокойствием нотариуса. – Когда я спрашиваю, я привык, чтобы мне отвечали!

– Ну эти-то вот настоящие, – проговорил нотариус, возвращаясь к столу; взял тоненькую пачку бумаг с гербовыми марками, с двумя приколотыми к ней векселями.

Затем положил на папку с документами одну ассигнацию в тысячу франков и три пачки по сто франков и сказал виконту, показывая пальцем на деньги и векселя:

– Вот все, что вам остается от сорока тысяч франков. Мой клиент поручил мне взыскать с вас за расходы.

Виконт едва сдерживался, пока Жак Ферран производил свои расчеты. Вместо того чтобы ответить ему и взять деньги, он воскликнул дрожащим от ярости голосом:

– Я спрашиваю вас, сударь, почему вы сказали о тех банковских билетах, которые я вам передал, что видели такие же фальшивые?

– Почему?

– Да, почему?

– Потому что я попросил вас прибыть сюда... в связи с одним делом, сходным...

И нотариус уставился на виконта сквозь свои зеленые очки.

– Но какое я имею отношение к фальшивкам?

Минуту помолчав, Ферран ответил ему печально и сурово:

– Вы себе представляете, сударь, какие обязанности выполняет нотариус?

– Подсчитать и понять несложно! Только что у меня было сорок тысяч франков, а сейчас осталось всего тысяча триста...

– Вы большой шутник, сударь... Скажу вам, поверьте мне, что нотариус в мирских делах – все равно что исповедник в духовных... И по своей обязанности и профессии он узнает иногда постыдные тайны.

– Что же дальше?

– Ему приходится иногда иметь дело с проходимцами...

– Ну и что?

– Он должен, по мере возможности, защищать достойные и честные имена от позора.

– Но какое мне до всего этого дело?

– Ваш отец оставил вам славное имя, которое вы позорите, сударь.

– Да как вы смеете?

– Если бы не мое уважение к этому имени, почитаемому всеми честными людьми, я бы не говорил с вами здесь, а вы бы отвечали перед судом.

– Я вас не понимаю.

– Два месяца назад вы с помощью некоего посредника учли заемное письмо на пятьдесят восемь тысяч франков торговым домом «Мелаерт и компания» в Гамбурге на имя некоего Уильяма Смита с оплатой через три месяца у парижского банкира Гримальди.

– Ну и что из того?

– Так этот вексель – фальшивка.

– Это неправда...

– Вексель – фальшивка! Торговый дом «Мелаерт» никогда не выдавал заемного письма Уильяму Смигу; он его просто не знает.

– Неужели это правда? – вскричал де Сен-Реми с изумлением и возмущением. – Значит,

меня ужасно обманули, потому что я принял этот документ как чистые деньги.

– От кого?

– От самого мистера Уильяма Смита. Торговый дом «Мелаерт» всем известен, и я был так уверен в честности мистера Уильяма Смита, что без колебаний принял от него этот вексель в оплату суммы, которую он был мне должен...

– Уильям Смит никогда не существовал... Это выдуманная личность.

– Сударь, вы меня оскорбляете!

– Подпись поддельная, и, наверное, все остальное тоже.

– Повторяю вам, Уильям Смит существует, но я несомненно стал жертвой... Так подло злоупотребить моим доверием!

– Бедный, доверчивый юноша...

– Объясните, чего вы хотите?

– В немногих словах: теперешний владелец этого векселя утверждает, что вы его просто подделали.

– Как вы можете?!

– Он утверждает, что у него есть все доказательства. Позавчера он попросил меня вызвать вас сюда и предложить вернуть вам этот фальшивый вексель, разумеется возместив все расходы. До сих пор все было вполне законно. Но далее – не все очень законно, и я просто сообщаю вам это как посредник: он требует сто тысяч франков, золотом... и сегодня же. Иначе завтра в полдень фальшивый вексель будет передан королевскому прокурору.

– Но это же подлость!

– И к тому же бессмыслица... Вы разорены, вас преследовали судебские приставы за тот долг, который вы мне только что вернули, уж не знаю из каких доходов... Я объяснил это все моему поручителю... Но он ответил, что некая богатая дама выручит вас из беды...

– Довольно, сударь, довольно!

– Еще одна подлость и еще одна бессмыслица с его стороны, я совершенно с вами согласен.

– Так чего же, наконец, он хочет?

– Бесчестно нажиться на бесчестном поступке. Я согласился довести до вашего сведения это предложение, от всей души порицая его, как любой честный человек. Теперь дело за вами. Если вы виновны, выбирайте: или суд присяжных, или уплата выкупа, которого от вас требуют... я со своей стороны официально выполнил поручение и больше не желаю вмешиваться в такое грязное дело. Имя третьего лица, посредника, Пти-Жан, торговец оливковым маслом; он живет на берегу Сены, набережная Билли, дом десять. Договаривайтесь с ним. Вы найдете общий язык... если вы действительно подделали вексель, как он это утверждает.

Виконт де Сен-Реми вошел к нотариусу с высоко поднятой головой и дерзкими словами на устах. Хотя он и совершил в жизни несколько постыдных поступков, в нем еще оставалась некая дворянская гордость и природная храбрость, которых никто не смел отрицать. В начале этого разговора он смотрел на нотариуса как на недостойного его противника и в душе издевался над ним.

Но когда Жак Ферран заговорил о подлоге, виконт почувствовал себя раздавленным. Нотариус в свою очередь взял над ним верх.

Если бы виконт не отличался высочайшим самообладанием, ему бы не удалось скрыть, в какой ужас повергло его это неожиданное разоблачение, ибо оно могло привести к самым непредсказуемым последствиям, о которых нотариус даже не подозревал.

После минуты молчаливых размышлений виконт, такой гордый, вспыльчивый и тщеславно храбрый, решился уговаривать этого грубого мужлана, который так сурово говорил с ним на языке неподдельной честности.

– Сударь, вы доказали, что относитесь ко мне с сочувствием, и я вас благодарю за это, – сказал де Сен-Реми самым сердечным тоном. – Прошу извинить меня за некоторую резкость в начале нашей встречи...

– Я вам нисколько не сочувствую! – грубо оборвал его нотариус. – Ваш отец был образцом

честности, и я просто не хотел, чтобы его имя трепали на суде, вот и все.

– Повторяю вам, сударь, я не способен на подлость, в которой меня обвиняют.

– Вот и скажите это Пти-Жану.

– Однако признаюсь, отсутствие Уильяма Смита, который так недостойно обманул меня...

– Подумайте, каков негодяй!

– Отсутствие мистера Смита ставит меня в крайне тяжелое положение. Я ни в чем не виноват, и, если меня обвинят, я смогу оправдаться, но подобные обвинения всегда наносят ущерб имени благородного человека.

– Что же дальше?

– Будьте настолько великодушны и передайте сумму, что я вам вернул, человеку, в руках у которого тот вексель, чтобы хотя бы частично удовлетворить его.

– Эти деньги не мои, а моего клиента, и они священны!

– Но я возьму их через два-три дня.

– Вы не сумеете этого сделать.

– У меня есть возможности.

– Никаких... во всяком случае, явных и честных. Вы сами говорите, что ваш дом, обстановка, лошади принадлежат не вам, что уже само по себе бессовестный обман.

– Вы слишком жестоки, сударь. Но, даже если допустить, что все это так, разве я не превращу все в деньги при таких отчаянных обстоятельствах? Но только я не успею собрать к завтрашнему полудню сто тысяч франков. Поэтому заклинаю вас: употребите те деньги, что я вам передал, на выкуп злосчастного векселя. Или, может быть, – ведь вы так богаты – сами сможете одолжить мне необходимую сумму, чтобы выручить из крайнего положения?

– Поручиться за вас на сто тысяч франков? Да вы с ума сошли!

– Сударь, умоляю вас, во имя моего отца, о котором вы говорили... будьте великодушны.

– Я великодушен к тем, кто этого заслуживает, к честным людям, – грубо ответил нотариус. – А мошенников я ненавижу и с удовольствием погляжу, как одного из этих молодчиков без веры и без чести, нечистых и развратных, привяжут к позорному столбу на пример и устрашение другим... Но мне кажется, я слышу стук копыт... Ваши лошади застоялись, господин виконт, – добавил нотариус, обнажая в ухмылке края своих черных зубов.

В этот момент в дверь кабинета постучали.

– Кто там? – спросил Жак Ферран.

– Госпожа графиня д'Орбиньи, – доложил старший клерк.

– Попросите ее подождать минуту.

– Это же мачеха маркизы д'Арвиль! – воскликнул виконт де Сен-Реми.

– Совершенно верно. У меня с ней назначена встреча. Так что прошу покорно...

– Ни слова ей обо всем этом! – с угрозой проговорил де Сен-Реми.

– Я уже сказал вам, сударь, что нотариус умеет хранить тайны так же, как исповедник.

Жак Ферран позвонил, появился клерк.

– Позовите графиню д'Орбиньи! – Затем, обращаясь к виконту, проговорил: – А вы возьмите эти тысячу триста франков, может быть, они пригодятся как аванс господину Пти-Жану.

Госпожа д'Орбиньи, в прошлом г-жа Ролан, вошла в кабинет и столкнулась в дверях с виконтом де Сен-Реми; лицо его было искажено от бешенства из-за того, что он без всякой пользы так унижался перед нотариусом!

– О, добрый день, господин де Сен-Реми, – поздоровалась с ним г-жа д'Орбиньи. – Что-то мы давно с вами не виделись...

– В самом деле, сударыня, со дня свадьбы д'Арвиля, на которой я был свидетелем; с тех пор не имел этой чести, – ответил де Сен-Реми, усилием воли придавая лицу любезное выражение и вежливо улыбаясь. – Вы теперь все время живете в Нормандии?

– Увы! Граф д'Орбиньи теперь может жить только в деревне, но я люблю все, что любит он... Так что перед вами настоящая провинциалка... И в Париже не была ни разу после свадьбы моей падчерицы с этим превосходным д'Арвилем... Кстати, вы с ним часто видитесь?

– Д'Арвиль сделался каким-то нелюдимым и очень угрюмым и почти не бывает в свете, –

ответил де Сен-Реми с некоторым нетерпением – этот разговор был ему невыносим, потому что задерживал его еще больше и потому что нотариуса он явно забавлял.

Но мачеха маркизы д'Арвиль, очарованная встречей со светским щеголем, была вовсе не из тех женщин, которые легко расстаются со своей добычей.

– А моя дорогая падчерица, – продолжала она, – надеюсь, не такая нелюдимая, как ее супруг?

– Госпожа д'Арвиль, сейчас в большей моде и всегда окружена поклонниками, как и подобает красивой женщине. Но боюсь, сударыня, что я злоупотребляю вашим временем...

– Да нет, что вы, уверяю вас! Для меня такое счастье встретить самого элегантного кавалера, законодателя столичной моды. Благодаря вам я за десять минут узнаю о Париже все, как будто и не уезжала отсюда.... Как поживает ваш дорогой друг де Люсене, который был с вами свидетелем на свадьбе д'Арвиля?

– Оригинален, как никогда: отправился путешествовать на Восток и вернулся как раз вовремя, чтобы получить вчера укол шпагой, впрочем, вполне невинный.

– Бедный герцог! А его жена по-прежнему прекрасна и обворожительна?

– Вы знаете, сударыня, что я имею честь быть одним из ее лучших друзей, так что мое свидетельство будет пристрастным... Надеюсь, по возвращении в Обье вы не забудете меня и засвидетельствуете мое почтение графу д'Орбиньи.

– Уверяю вас, он будет очень тронут – это очень мило, что вы его помните. А он о вас часто вспоминает, интересуется вашими успехами... Он всегда говорит, что вы ему напоминаете герцога де Лозена.

– Одно это сравнение уже выше всех похвал, но, к несчастью для меня, в нем больше доброжелательности, чем истины. Прощайте, сударыня, потому что я не смею надеяться, что вы окажете мне честь принять меня до вашего отъезда.

– Право, я была бы огорчена, если бы вы решились навестить меня, потому что я кое-как устроилась на несколько дней в меблированных комнатах. Но если летом или осенью вы окажетесь поблизости от нас, по дороге в один из модных замков, где щеголихи будут соперничать между собой за счастье пригласить вас... Подарите нам несколько дней, хотя бы из любопытства и любви к контрастам и чтобы отдохнуть у бедных сельских жителей от оглушительной суеты, ибо там, где вы, всегда начинается праздник!

– Сударыня...

– Мне нет необходимости говорить вам, как мы с д'Орбиньи будем счастливы принять вас. Однако прощайте, виконт. Я боюсь, что этот добрый ворчун, – она кивнула на нотариуса, – уже устал от нашей болтовни.

– О нет, сударыня, совсем наоборот, – возразил Ферран со скрытой издевкой, что удвоило еле сдерживаемое бешенство виконта де Сен-Реми.

– Признайтесь, что Ферран – ужасный человек, – продолжала г-жа д'Орбиньи с шаловливым кокетством. – И берегитесь! Поскольку он, к счастью для вас, занимается вашими делами, он все время будет вас ругать и распекать. Это человек безжалостный! Но что я говорю? Наоборот! Для такого вертопраха, как вы, иметь своим нотариусом Феррана, – да это просто счастье, это свидетельство о вашем полном благополучии, ибо все знают, что он никогда не дает своим клиентам совершить безумства, иначе он от них отказывается... Он вовсе не хочет быть нотариусом кого попало, не так ли, Ферран? А знаете, господин пуританин, вы совершили благое дело, наставив на путь истинный этого великолепного светского льва, законодателя мод.

– Да, поистине это было благое дело, сударыня... виконт уходит из моего кабинета совсем другим человеком.

– Я же говорю: вы творите чудеса, и в этом нет ничего удивительного, потому что вы – святой.

– Ах, что вы, вы мне льстите, – сокрушенно возразил Жак Ферран.

Виконт де Сен-Реми низко поклонился г-же д'Орбиньи и, прежде чем покинуть нотариуса, решил сделать последнюю попытку разжалобить его.

– Дорогой господин Ферран, – проговорил он как будто небрежно, но с плохо скрытым

волнением, – может быть, вы передумаете и окажете мне услугу, о которой я вас прошу?

– Несомненно, какой-нибудь каприз? – со смехом воскликнула г-жа д'Орбиньи. – Не уступайте, мой пуританин, будьте непоколебимы!

– Вы слышали, сударь? Разве я могу перечить такой прекрасной даме?

– Дорогой господин Ферран, поговорим серьезно... о серьезных вещах, а это дело, вы знаете, очень важное. Вы решительно мне отказываете? – спросил виконт с дрожью в голосе.

Нотариус не мог отказать себе в жестокой шутке и сделал вид, что колеблется. У виконта на миг зародилась надежда.

– Как, вы, железный человек, собираетесь уступить? – со смехом воскликнула мачеха маркизы д'Арвиль. – Значит, вы тоже поддались очарованию этого красавца?

– Право же, сударыня, я действительно чуть не уступил, как вы сами заметили, – проговорил Ферран. – Но вы заставили меня устыдиться своей слабости. – И, обращаясь к виконту, продолжал в таких выражениях, которые не оставляли ни тени сомнения: – Увы, отвечаю вам очень серьезно, – он подчеркнул последние два слова, – это совершенно невозможно... Я не потерплю, чтобы вы из каприза совершили подобную неосторожность... Господин виконт, я считаю себя опекуном моих клиентов, у меня нет другой семьи, и я бы никогда не простил себе, если бы позволил им совершать всякие безумства.

– Вот видите? Вот что значит настоящий пуританин! – воскликнула г-жа д'Орбиньи.

– А впрочем, повидайтесь с господином Пти-Жаном. Но я уверен, он ответит вам точно так же, как я, он вам скажет «нет»!

Виконт де Сен-Реми вышел в полном отчаянии.

После минутного размышления он сказал себе: «Ничего не поделаешь, надо». А лакею, открывшему перед ним дверцу кареты, приказал:

– К особняку де Люсене.

Пока виконт де Сен-Реми едет к герцогине, давайте послушаем, о чем беседуют наедине Жак Ферран и мачеха маркизы д'Арвиль.

Глава XVI ЗАВЕЩАНИЕ

Читатель, наверное, уже позабыл портрет мачехи г-жи д'Арвиль, обрисованный ее падчерицей. Напомним, что г-жа д'Орбиньи была маленькой, тоненькой блондинкой с почти белыми ресницами и круглыми голубыми глазами; речь ее слащавая, взгляды лицемерны, манеры вкрадчивые и завлекающие. Изучая ее насквозь фальшивую и коварную физиономию, можно обнаружить в ней какую-то подлую скрытую жестокость.

– Какой очаровательный молодой человек, этот де Сен-Реми, – сказала г-жа д'Орбиньи Жаку Феррану после ухода его жертвы.

– Да, очаровательный. Но поговорим о делах, сударыня. Вы мне написали из Нормандии, что хотели бы посоветоваться по важному вопросу.

– Разве вы не были всегда моим советчиком с тех пор, как наш добрый доктор Полидори направил меня к вам?.. Кстати, как он поживает? – спросила г-жа д'Орбиньи самым невинным тоном.

– После отъезда из Парижа он ни разу мне не написал, – так же безразлично ответил нотариус.

Предупредим читателя, что эти два человека бесстыдно лгали друг другу.

Нотариус недавно виделся с Полидори, одним из двух своих сообщников, и предложил ему отправиться в Анжер к Марсиалам, этим речным пиратам, о которых мы еще поговорим, появиться у них под именем доктора Венсана и отравить Луизу Морель.

А мачеха маркизы д'Арвиль приехала в Париж специально для тайных переговоров с этим мерзавцем, который, как она уже знала, давно скрывался под именем Сезара Брадаманти.

– Но речь пойдет вовсе не о нашем добром докторе, – продолжала мачеха маркизы д'Арвиль. – Я очень встревожена. Мой муж плохо себя чувствует. Здоровье его становится все

хуже и хуже: Я не поддаюсь страхам, но его состояние беспокоит меня, вернее, его самого беспокоит, – проговорила г-жа д'Орбиньи, вытирая платочком чуть повлажневшие глаза.

– В чем, собственно, дело?

– Он все время говорит о последних распоряжениях о завещании.

Тут г-жа д'Орбиньи на несколько минут уткнулась лицом в свой платочек.

– Разумеется, все это печально, – продолжал нотариус, – однако в самой такой предосторожности нет ничего плохого... Каковы же намерения вашего супруга, сударыня?

– Господи, откуда мне знать? Вы понимаете, когда он начинает говорить на эту тему, я стараюсь его поскорее отвлечь.

– Но, в конце концов, неужели он не сказал вам по это му поводу ничего положительного?

– Мне кажется, – отвечала г-жа д'Орбиньи с совершенно незаинтересованным видом, – кажется, он собирается оставить мне не только все то, что позволяет закон, но также... Ах, я не могу! Прошу вас, не будем больше об этом говорить?

– Тогда о чем нам говорить?

– Увы, как всегда, вы правы, безжалостный человек! Мне все же придется вернуться к печальной теме, которая привела меня к вам. Так вот, граф д'Орбиньи выказал такую доброту, что пожелал... продать часть своих владений и отказать мне... значительную сумму.

– Но его дочь? Как же его дочь? – сурово воскликнул Ферран. – Я обязан объявить вам, что год назад маркиз д'Арвиль поручил мне вести его дела. Последний раз я убедил его купить великолепное поместье. Вы знаете мою беспощадность в делах, и не важно, что маркиз д'Арвиль мой клиент: я прежде всего стремлюсь к справедливости, и, если ваш муж задумал обездолить свою дочь маркизу д'Арвиль, решение, по-моему, недостойное, то скажу вам сразу: на мое содействие не рассчитывайте! Действовать четко и прямо, таково всегда было мое правило.

– И мое тоже! Поэтому я без конца повторяю мужу то же самое, что вы мне сказали: «Ваша дочь во многом виновата перед вами, пусть это правда, но это не причина лишать ее наследства».

– Очень хорошо, прекрасно сказано! И что он ответил?

– Он ответил: «Я оставляю дочери двадцать пять тысяч франков ренты. Она унаследовала от матери более миллиона. У ее мужа свое огромное состояние. Неужели я не могу подарить остальное вам, моей нежной подруге, единственной моей опоре и утешительнице, ангелу-хранителю моей старости?» Я повторяю вам эти слишком лестные для меня слова, – продолжала г-жа д'Орбиньи, скромно вздохнув, – чтобы показать, насколько мой супруг добр ко мне. Однако, несмотря на все это, я всегда отказывалась от его дара. Видя это, он решился попросить меня, чтобы я обратилась к вам.

– Но я не знаю графа д'Орбиньи.

– Зато он, как и все на свете, знает о вашей безупречной честности.

– Но как он вас ко мне направил?

– Чтобы разом покончить с моими отказами, сомнениями и колебаниями, он сказал мне: «Я не прошу вас обращаться к моему нотариусу, вы подумаете, что он слишком предан мне, а потому пристрастен. Но я абсолютно уверен в законности решения одного человека, чья справедливость и беспристрастность вошли в поговорку, – это Жак Ферран. Если он решит, что мое предложение для вас неприемлемо, не будем больше об этом говорить, вы от него просто откажетесь». – «Хорошо, я согласна», – сказала я моему супругу. Таким образом он избрал вас нашим арбитром. «Если он одобрит мое решение, – добавил муж, – я пришлю ему полную доверенность на мои ренты и прочие ценности; всю вырученную сумму я отдам ему на хранение, а когда меня не станет, моя нежная подруга, вы сможете, по крайней мере, вести достойное вас существование».

Вот когда Жаку Феррану пригодились его зеленые очки! Если бы не они, г-жу д'Орбиньи поразил бы огонь, загоревшийся в глазах нотариуса при словах: «всю сумму... ему на хранение».

Тем не менее он ответил ворчливым тоном:

– Просто надоело... вот уже сколько раз меня выбирали в арбитры... и каждый раз под предлогом моей честности... Только и слышишь: честность, честность! А что мне с этого? Одни

неприятности и беспокойство.

– Мой добрый Ферран, не отказывайте мне так сурово! Вы напишете графу, он ждет вашего письма и сразу отправит вам доверенность... чтобы вы могли реализовать эту сумму.

– Сколько там примерно?

– Он, кажется, говорил о четырехстах или пятистах тысячах франков.

– Не такая уж большая сумма, как я думал. В конечном счете вы целиком посвятили себя господину д'Орбиньи... Дочь его и без того богата, – а у вас нет ничего... Да, я могу вас ободрить; мне кажется, вы можете принять это предложение, и оно будет вполне законным.

– Правда? Вы так думаете? – обрадовалась г-жа д'Орбиньи.

Она, как и все прочие, была одурачена легендарной честностью нотариуса, в чем ее, разумеется, не стал разубеждать Полидори.

– Вы можете принять этот дар, – повторил Жак Ферран.

– В таком случае, я согласна, – со вздохом сказала г-жа д'Орбиньи.

Старший клерк постучал в дверь.

– Кто там еще? – спросил Ферран.

– Графиня Мак-Грегор.

– Пусть немножко подождет.

– Итак, я покидаю вас, дорогой господин Ферран, – сказала г-жа д'Орбиньи. – Вы напишете моему мужу, ибо это его воля, и завтра он вышлет вам полную доверенность.

– Да, я напишу...

– Прощайте, мой достойный и добрый советчик!

– Ах, вы, светские люди, просто не знаете, как сложно и неприятно порой брать подобные суммы на сохранение. Ведь это такая ответственность! Откровенно скажу вам, нет ничего хуже репутации искреннего и честного человека, которая навлекает на тебя только лишние заботы!

– И восхищение всех добрых людей!

– Помилуй бог! Я надеюсь получить награду, которую, может быть, заслужил, не от людей, а от всевышнего, – ответил Ферран с ханжеским смирением.

Едва графиня д'Орбиньи удалилась, ее место заняла Сара Мак-Грегор.

Глава XVII ГРАФИНЯ МАК-ГРЕГОР

Сара вошла в кабинет нотариуса с обычным своим хладнокровием и уверенностью. Жак Ферран не знал ее, не знал цели ее визита и рассматривал ее особенно пристально, надеясь одурачить еще одну жертву. Он смотрел на графиню очень внимательно и, несмотря на холодную невозмутимость этой женщины с мраморным лицом, заметил легкое подрагивание бровей, которое, видимо, выдавало сдержанное смущение.

Нотариус поднялся со своего кресла, пододвинул стул, жестом пригласил Сару сесть и сказал:

– Вы просили принять вас сегодня, сударыня; вчера я был очень занят и смог ответить вам только утром. Тысячу раз прошу прощения.

– Я хотела встретиться с вами по делу чрезвычайной важности. Ваша репутация честного, доброго и отзывчивого человека позволяет мне надеяться, что мой приход к вам будет не напрасным...

Нотариус слегка поклонился.

– Я знаю, сударь, что ваша скромность не требует доказательств. Вы умеете хранить тайны.

– Это мой долг, сударыня.

– Вы человек суровый и неподкупный.

– Да, сударыня.

– И тем не менее, если бы я вам сказала: от вас, сударь, зависит вернуть жизнь, да что жизнь... вернуть рассудок несчастной матери, найдется у вас смелость отказаться?

– Уточните факты, и я вам отвечу.

– Примерно пятнадцать лет назад, в конце декабря тысяча восемьсот двадцать четвертого года, один человек, тогда еще молодой, в глубоком трауре, пришел к вам и предложил взять на сохранение сумму в сто пятьдесят тысяч франков, которую хотели поместить на безымянный счет в пользу трехлетнего ребенка, родители которого желали остаться неизвестными.

– Что же дальше? – спросил нотариус, избегая утвердительного ответа.

– Вы согласились взять эти деньги и распорядиться ими так, чтобы ребенку была обеспечена пожизненная рента в восемь тысяч франков; половину этой суммы следовало пустить в оборот, чтобы затем вернуть ее девочке, когда она достигнет совершеннолетия, другую половину следовало вручить тому, кто о ней будет заботиться.

– Далее, сударыня?

– Примерно через два года, – говорила Сара, с трудом сдерживая волнение, – двадцать восьмого ноября тысяча восемьсот двадцать шестого года ребенок умер.

– Прежде чем продолжать этот разговор, я должен спросить, какое отношение вы имеете к этому делу?

– Мать этой маленькой девочки... моя сестра.¹⁰⁷ В доказательство моих слов я имею свидетельство о смерти несчастной девочки, письма человека, который о ней заботился, и обязательство одного из ваших клиентов, которому вы ссудили пятьдесят тысяч экю, чтобы он вложил их в свое дело.

– Покажите эти документы, сударыня.

Предельно удивленная, что ей не верят на слово, Сара вынула из сумочки многочисленные бумаги, которые нотариус внимательно просмотрел.

– Что ж, чего вы теперь желаете? Свидетельство о смерти в полном порядке, а пятьдесят тысяч экю перешли к моему клиенту, некоему Пти-Жану, после смерти ребенка: это одно из условий риска по обеспечению пожизненной ренты, о чем я предупредил господина, который поручил мне это дело. Что касается доходов с этой суммы, я их регулярно выплачивал до смерти ребенка.

– Вы действовали по закону, и я рада это признать. Женщина, которой был доверен ребенок, тоже имела все права на нашу признательность, она искренне заботилась о нашей маленькой племяннице.

– Это святая истина. Меня так тронуло поведение этой женщины, что, когда она осталась без места после смерти ребенка, я взял ее к себе, и она до сих пор служит у меня.

– Госпожа Серафен служит у вас?

– Вот уже четырнадцать лет, она моя экономка. И я не могу ею нахвалиться.

– В таком случае, она может оказать нам большую помощь... если вы согласитесь удовлетворить мою просьбу, которая может показаться вам странной, даже на первый взгляд незаконной. Но когда вы узнаете причины...

– Незаконная просьба? Я думаю, вы на это не способны, точно так же, как и я не способен ее выслушать.

– Я знаю, что вы далеко не тот человек, к которому можно обратиться с подобной просьбой, но вся моя надежда... единственная надежда на ваше милосердие. В любом случае, могу я рассчитывать на вашу скромность?..

– Да, сударыня.

– Итак, продолжаю. Смерть девочки была для матери таким страшным ударом, что она до сих пор не может оправиться от горя и отчаяния, даже спустя четырнадцать лет. Сначала мы боялись за ее жизнь, теперь – за ее рассудок.

– Бедная мать! – со вздохом сказал Ферран.

– Да, несчастная мать, ибо она могла только краснеть от стыда, пока не потеряла своего ребенка. Но теперь обстоятельства изменились, и моя сестра, если бы ее дочь осталась в живых,

¹⁰⁷ Мы считаем полезным напомнить читателю, что девочка, о которой идет речь, это Лилия-Мария, дочь Родольфа и Сары, и что Сара, упоминая о вымышленной сестре, была вынуждена лгать, ибо это было необходимо для ее замыслов, как мы сейчас увидим. Кроме того, Сара, как и Родольф, была убеждена в смерти маленькой девочки.

могла бы законным образом удочерить ее, никому не говоря об этом, и больше не расставаться с нею. Тем более что к ее постоянным угрызениям совести прибавились новые печали, и мы боимся, что она в любой момент может утратить разум.

– К сожалению, тут ничего нельзя поделать.

– Нет, можно, сударь...

– О чем вы говорите?

– Представьте, что несчастной матери скажут: мы думали, ваша дочь умерла, но это не так, и женщина, которая о ней заботилась, когда она была совсем маленькой, может это подтвердить.

– Такая ложь была бы слишком жестокой, сударыня! Зачем внушать тщетную надежду несчастной матери?

– Но представьте, что это не просто ложь! Представьте, что такая надежда может осуществиться!

– Каким чудом? Если бы для этого нужно было присоединить мои молитвы к вашим, я бы помолился вместе с вами от чистого сердца, поверьте мне, сударыня... Но, к сожалению, свидетельство о смерти составлено по всем правилам.

– Ах, я это знаю, ребенок умер. И все же, если вы согласитесь, это непоправимое несчастье можно будет поправить.

– Вы говорите загадками, сударыня.

– Хорошо, я выскажусь яснее. Если моя сестра завтра вновь обретёт свою дочь, она не только возродится к жизни, но и сможет выйти замуж за отца своей девочки, за человека, который сегодня так же свободен, как и она. Моя племянница умерла в возрасте шести лет. Родители расстались с ней, когда она была еще младенцем, и не сохранили о ней никаких воспоминаний... Представьте, что мы найдем девушку семнадцати лет, – моей племяннице сейчас было бы столько же. Девушку, каких сейчас множество, сироту, оставленную родителями... И мы скажем моей сестре: «Вот ваша дочь, ибо вас обманули, из каких-то важных соображений ее выдали за умершую, но она осталась жива. Женщина, которая ее воспитала, и всеми уважаемый нотариус могут подтвердить, что это она...»

Жак Ферран долго не прерывал графиню, но тут он вскочил и воскликнул с возмущенным видом:

– Довольно, довольно, сударыня! О, какая низость!

– Сударь!

– И вы осмелились предложить это мне, предложить мне... подмену ребенка, уничтожение свидетельства о смерти... наконец, соучастие в преступлении! Первый раз в моей жизни мне наносят подобное оскорбление... На я этого не заслужил, видит бог, и вы это знаете!

– Но кому это повредит, сударь? Моя сестра и человек, за которого она хочет выйти замуж, вдовеют, и у них нет детей... Оба горько сожалеют о погибшей дочери. Обмануть их? Наоборот, это значит вернуть им счастье и жизнь, а заодно обеспечить счастливую участь какой-нибудь бедной, покинутой девушке... Это благородное и милосердное дело, а вовсе не преступление.

– Поистине невероятно! – вскричал нотариус с возрастающим возмущением. – Я просто восхищаюсь, с какой ловкостью самые отвратительные планы маскируются под самые добрые дела!

– Однако подумайте, сударь...

– Повторяю, все это низко и подло... Мне стыдно, что женщина ваших достоинств замышляет подобные махинации, к которым ваша сестра, надеюсь, не причастна.

– Сударь!..

– Довольно, сударыня, довольно! Я не галантный кавалер и скажу вам грубо, напрямик...

Сара бросила на нотариуса один из своих черных, страшных взглядов, пронизывающих душу, и холодно спросила:

– Значит, вы отказываетесь?

– Не оскорбляйте меня больше.

– Тогда берегитесь...

– Угрозы?

– Да, угрозы... И чтобы вы убедились, что они не напрасны, узнайте для начала: у меня нет никакой сестры...

– То есть как это, сударыня?

– Я мать этого ребенка.

– Вы?

– Да, я!.. Я придумала обходной маневр, чтобы достичь своей цели, придумала басню, чтобы разжалобить вас, но вы безжалостны. Поэтому я сбрасываю маску... Вы хотите войны? Что ж, будь по-вашему!

– Война? Потому что я отказываюсь участвовать в преступной махинации? Какая дерзость!

– Слушайте меня, сударь! Ваша репутация честного человека чиста и безупречна, огромна и всеми признана... Такая репутация дорого стоит!

– Потому что она заслужена мною! Поэтому нужно потерять всякий разум, чтобы предлагать мне подобную сделку...

– Но я лучше других знаю, как опасно доверять столь блистательной добродетели, которая часто скрывает ветреность женщин и мошенничество мужчин...

– Вы осмеливаетесь говорить, сударыня...

– С самого начала нашего разговора... уж не знаю почему, я усомнилась в ваших достоинствах, в вашем праве на уважение и почтение, которыми вы пользуетесь.

– В самом деле, сударыня? Эти сомнения делают честь вашей прозорливости.

– Не правда ли?.. Ибо это сомнение основано на пустяках... на моем инстинкте, на необъяснимых предчувствиях. Но эти предчувствия редко меня обманывали.

– Значит, закончим этот разговор, сударыня.

– Но прежде узнайте мое решение... Для начала скажу вам с глазу на глаз, что я уверена в смерти моей дочери... Но это не важно, все равно я буду утверждать, что она не умерла; самые очевидные факты можно оспаривать... Сегодня вы в щекотливом положении: у вас должно быть множество завистников, и они ухватятся за любую возможность, набросятся на вас... А я им такую возможность предоставляю...

– Вы?..

– Да, я, выдвинув против вас обвинение под каким-нибудь самым нелепым предлогом, например, что свидетельство о смерти составлено не по закону... но это не важно. Я буду утверждать, что моя дочь не умерла. А поскольку мне очень важно заставить людей поверить, будто она жива, я могу проиграть дело, но этот процесс получит огромную огласку и все равно послужит моим интересам. Мать, которая сражается за свое дитя, всегда вызывает сочувствие. На моей стороне будут все ваши завистники, все ваши враги, все чувствительные и романтические души.

– Это непристойно и совершенно нелепо. Какой мне смысл утверждать, что ваша дочь умерла, если бы она была в живых?

– Вы правы, мотив отыскать затруднительно, к счастью, на то и существуют адвокаты!.. Кстати, я подумала, вот прекрасное объяснение: вы хотели поделить с вашим клиентом деньги, предназначенные для выплаты пожизненной ренты моей дочери... и она исчезла..

Нотариус невозмутимо пожал плечами.

– Если бы я решился на подобное преступление, она бы не исчезла, я бы ее просто убил!

Сара вздрогнула от изумления, замолкла на миг, затем с горечью продолжала:

– Для святого человека столь преступная мысль свидетельствует о немалом опыте... Я попала в точку, хотя и целилась наугад?.. Тут есть над чем задуматься... и я подумаю. Последнее слово. Вы видите, кто я такая... я раздавлю всякого, кто встанет у меня на пути... Подумайте хорошенько. Завтра вы должны принять решение. Вы можете выполнить мою просьбу, ничем не рискуя. Отец моей дочери будет вне себя от радости и не станет сомневаться в подробностях ее воскрешения из мертвых, если наш счастливый для него обман будет ловко отрепетирован. К тому же нет никаких доказательств, что наша дочь умерла, кроме письма, которое я ему написала четырнадцать лет назад, – мне будет нетрудно его убедить, что я обманула его тогда, потому что была оскорблена им и ожесточилась... Я скажу ему, что в отчаянии хотела порвать един-

ственную связь, которая нас еще соединяла. Так что вас никто не сможет заподозрить: только утверждайте и подтверждайте... безупречный человек... что все было обговорено между вами, мною и госпожой Серафен, и вам поверят. А что касается пятидесяти тысяч эку, помещенных на счет моей дочери, то это уже мое личное дело. Они останутся у вашего клиента, который ничего обо всем этом не должен знать. И наконец, вы сами назначите сумму вознаграждения.

Жак Ферран сохранял все свое хладнокровие, несмотря на всю странность этой столь необычной и столь опасной для него ситуации.

Графиня была уверена, что ее дочь умерла, и тем не менее предлагала нотариусу объявить живой ту самую девочку, которую он четырнадцать лет назад объявил умершей.

Он был слишком хитер и слишком хорошо знал все опасности своего положения, чтобы не оценить, какую угрозу представляла для него Сара.

Репутация нотариуса, воздвигнутая с таким искусством и трудом, все же была построена на песке. Публика легко отрекается от тех, кого восхваляет, чтобы с наслаждением растоптать кумира, которого вчера превозносила до небес. Как оценить последствия этой первой атаки против безупречной репутации Жака Феррана? Пусть эта атака будет отчаянной, безумной, но дерзость ее породит сомнения...

Прозорливость Сары, ее ожесточенность пугали нотариуса. Эта мать не умилилась и на миг, говоря о своей потерянной дочери; ее смерть для нее была только потерей оружия в борьбе за свои интересы. Подобные люди беспощадны в своих замыслах и мщении.

Пытаясь выиграть время, обдумать, как отразить опасность, Ферран холодно сказал Саре:

– Вы дали мне отсрочку до завтрашнего полудня. А я вам даю отсрочку до послезавтра, чтобы вы могли отказаться от своего замысла, последствия которого вы даже не представляете. Если к этому времени я не получу от вас письма, что вы отказываетесь от этой безумной и преступной мысли, вы убедитесь на своем горьком опыте, что правосудие умеет защищать честных людей, которые не желают быть участниками отвратительных махинаций, и умеет карать их зачинщиков.

– Иными словами, вы просите один день, чтобы подумать над моим предложением, не так ли? Это добрый знак, я согласна... Послезавтра в это же время я приду к вам, и тогда между нами либо мир, либо война... И, повторяю вам, война не на жизнь, а на смерть, без жалости и пощады!

И Сара удалилась.

«Все пока идет хорошо, – говорила она себе. – Эта жалкая девчонка, которой Родольф заинтересовался из каприза и отослал на ферму Букеваль, наверняка чтобы сделать потом своей любовницей, – ее больше нечего бояться... потому что одноглазая отдала ее в мою власть...

Ловкость Родольфа вызволила маркизу д'Арвиль из расставленной мной западни, но она наверняка попадет в новую ловушку и будет навсегда потеряна для Родольфа.

И тогда, убитый горем, обескураженный, лишенный всякого сочувствия, он ослабеет и будет счастлив принять за истину ту спасительную ложь, которую я ему преподнесу с помощью нотариуса... А нотариус мне поможет, потому что я его испугала.

Я легко найду девушку-сироту, миленькую и бедную, и научу её сыграть роль нашей дочери, которую Родольф так горько оплакивал. Я знаю величие и щедрость его души. Да, несомненно, чтобы вернуть имя и положение своей вновь обретенной дочери, до сих пор несчастной и покинутой, он вернется ко мне, и нас снова свяжут узы супружества, которые я считала нерасторжимыми. И тогда наконец сбудется предсказание моей кормилицы... Я на этот раз достигну высшей цели моей жизни – короны!»

Едва Сара успела покинуть дом нотариуса, как к нему подкатил на самом элегантном кабриолете Шарль Робер и как завсегдатай направился прямо в кабинет Жака Феррана.

Глава XVIII ШАРЛЬ РОБЕР

Бесцеремонный майор, как его называла г-жа Пипле, ворвался к нотариусу, который сидел

в самом мрачном и желчном настроении.

– После полудня я принимаю только моих клиентов, – грубо сказал ему Жак Ферран. – Если хотите поговорить со мной, приходите с утра.

– Дорогой мой стряпчий! (Это была одна из шуточек господина Робера). Речь идет об очень важном деле, а кроме того, я хотел первым вас успокоить, чтобы у вас не было никаких опасений...

– Каких опасений?

– Вы ничего не знаете?

– Чего я не знаю?

– О моей дуэли...

– Какой дуэли? С кем?

– С герцогом де Люсене. Неужели вы ничего не слышали?

– Ничего.

– Вот так так!

– Из-за чего была дуэль?

– Страшное оскорбление, которое можно было смыть только кровью. Представьте себе, что на приеме в посольстве этот де Люсене позволил себе сказать мне в глаза, что я... харкаю и брызжу слюной!

– Что такое?

– Он сказал, что я брызжу слюной, дорогой мой стряпчий! Будто у меня такой неприятный порок!

– И вы из-за этого дрались на дуэли?

– А из-за чего же еще вызывают на дуэль? Вы, наверное, думаете, что можно вот так просто... спокойно сказать, что я брызжу слюной? Что у меня харкотина? Да еще в присутствии очаровательной дамы? Перед этой маленькой маркизой, которая... Впрочем, хватит!.. Я не мог этого так оставить...

– Да, разумеется.

– Мы люди военные, вы понимаете, шпага всегда при нас. Мои секунданты на завтра отправились договариваться с секундантами герцога. Я прямо заявил: дуэль, или он приносит извинения.

– Извинения за что?

– За харкотину, черт побери! За то, что я брызжу слюной, вот что он позволил себе сказать!

Нотариус пожал плечами.

– А секунданты герцога сказали: «Мы с почтением относимся к уважаемому Шарлю Роберу, однако герцог де Люсене не может, не должен и не хочет приносить никаких извинений». – «Таким образом, господа, – ответили мои секунданты, – герцог де Люсене упорствует, утверждая, будто мосье Шарль Робер брызжет слюной?» – «Да, господа, но он не думал, что затрагивает этим утверждением честь Шарля Робера». – «Пусть возьмет свои слова обратно, извинится». – «Нет, господа, герцог де Люсене считает господина Робера благородным человеком, но утверждает, что он брызжет слюной». Вы понимаете, что не было другого выхода из такого запутанного положения?

– Да, выхода не было... Вас оскорбили в самых лучших ваших чувствах благородного человека.

– И вы так думаете? Итак, мы условились о месте и времени встречи: вчера утром в Венсенне. Все произошло самым благородным образом: я нанес легкий укол шпагой в руку герцога де Люсене; секунданты объявили, что моя честь восстановлена, и тогда герцог громко заявил: «Я никогда не беру слов обратно перед дуэлью, но после дуэли – другое дело. Поэтому мой долг, моя честь требуют, чтобы я сказал: я напрасно заподозрил господина Шарля Робера в том, что у него харкотина и он брызжет слюной. Господа, я признаю, что он не брызгал слюной, и утверждаю, что он никогда не харкал и не будет харкать...» После этого герцог протянул мне руку и спросил: «Теперь вы довольны?» – «Отныне мы с вами друзья на жизнь и на смерть», – ответил я ему. И я действительно ему обязан... Он все решил превосходно. Он мог вообще ничего не ска-

зять или просто признать, что я не брызжу слюной, но он объявил, что у меня не было и не будет подобного недостатка, а это с его стороны весьма деликатное замечание.

– Вот что значит храбрость, приносящая пользу!.. Но что вам от меня угодно?

– Дорогой мой архивариус! (Еще одна шутка Шарля Робера). Речь идет об очень важном для меня дельце. Вам прекрасно известно, что по нашему соглашению, когда я одолжил вам триста пятьдесят тысяч франков, чтобы вы могли покрыть ваши обязательства, между нами было условлено, что, предупредив вас за три месяца, я могу изъять эту сумму, за которую вы мне начисляете проценты...

– Что же дальше?

– Ну понимаете, – смутился Робер, – не знаю, как даже сказать...

– Говорите же!

– Вы можете подумать, что это прихоть, дорогой мой стряпчий... но мне захотелось стать помещиком.

– Говорите яснее, мы теряем время!

– Одним словом, мне предложили выгодно купить поместье, и, если вы не имеете ничего против, я хотел бы, то есть я желаю получить от вас вложенные мною деньги... Я приехал заранее предупредить вас об этом, как мы договаривались.

– Ха, интересно.

– Надеюсь, вы на меня не сердитесь?

– А с чего мне сердиться?

– Я боялся, вы подумаете, что я поверил слухам...

– Каким слухам?

– Да нет, так, пустяки...

– Говорите же!

– Я вовсе не из-за всяких глупостей, которые говорят о вас...

– Каких глупостей?

– Разумеется, в этом нет ни слова правды, но завистники нашептывают, будто вы оказались невольно замешаны в разных темных делишках. Конечно, все это полнейшая чепуха! С тем же успехом можно говорить, что мы с вами заодно играли на бирже. Слухи эти быстро угасли... но все же я бы хотел, чтобы вы и я были чисты, как агнцы божьи.

– Значит, вы не верите больше, что ваши деньги в надежных руках?

– Что вы, помилуйте... но я бы хотел, чтобы они были в моих руках.

– Подождите здесь!

Ферран задвинул ящик своего стола и встал.

– Куда это вы, мой архивариус?

– За доказательствами, чтобы вы увидели, насколько справедливы слухи о моих денежных затруднениях, – иронически ответил нотариус.

Он открыл потайную дверцу на маленькую лестницу, которая позволяла ему пройти в глубине двора, минуя контору, во флигель, и исчез за нею.

Едва он вышел, постучался старший клерк.

– Войдите, – сказал Шарль Робер.

– Господин Ферран у себя?

– Нет, мой достойный бумагомарака... (Еще одна шутка Шарля Робера).

– Пришла дама под вуалью и хочет немедленно cereговорить с ним по очень срочному делу.

– Достойный бумагомарака, патрон сейчас вернется, и я ему об этом скажу. А что эта дама, хорошенькая?

– Трудно догадаться: на ней такая густая, черная вуаль, что лица не различишь.

– Ну уж, так уж? Я ее прекрасно разгляжу, когда буду уходить. А Феррана я предупрежу, как только он вернется.

Клерк вышел.

«Какого черта, куда подевался этот мой стряпчий? – проговорил про себя Шарль Робер. –

Наверное, проверяет свою кассу... Если эти слухи ложные, тем лучше! В конечном счете, скорее всего сплетни, которые распространяют злые языки... У таких достойных людей, как Ферран, столько завистников!.. Все равно, я предпочитаю иметь свои деньги на руках... Я куплю замок, о котором мне говорили... Там есть готические башенки времен Людовика XIV, в духе Ренессанса... Самый настоящий стиль рококо... Это позволит мне выглядеть сеньором настоящим, а не каким-нибудь траченным молью... Тогда уж мои чувства никто не отвергнет, как эта недотрога д'Арвиль! Господи, как она меня провела! Как осрамила! Но нет, я еще не сделал все мои покупки, как говорит эта дура привратница с улицы Тамплъ, с ее париком под маленькую девочку... Эта шутка обошлась мне самое малое в тысячу франков. Правда, мебель осталась за мной... И я еще найду способ скомпрометировать маркизу... А вот и мой стряпчий!»

Жак Ферран вернулся, держа в руках ворох бумаг, которые тут же передал Шарлю Роберу.

– Вот триста пятьдесят тысяч франков в ассигнациях государственного банка, – сказал он. – Через несколько дней мы урегулируем все расчеты по процентам... Пишите расписку.

– Как? – воскликнул пораженный Шарль Робер. – Но вы, по крайней мере, не поверили?..

– Я ни во что не верю.

– Однако...

– Расписку!

– Дорогой мой архивариус...

– Пишите расписку и расскажите людям, которые болтают о моих денежных затруднениях, как я отвечаю на их подозрения.

– В самом деле, когда об этом узнают, ваш кредит еще больше укрепитя. Но возьмите эти деньги, они мне сейчас ни к чему, я же сказал вам: через три месяца.

– Господин Робер, я не позволю, чтобы меня подозревали дважды.

– Вы сердитесь?

– Расписку!

– Гром и молния! Пусть будет по-вашему, – ответил Шарль Робер.

Закончив писать расписку, он добавил:

– Там дожидается дама, вся под густой вуалью, хочет с вами говорить сейчас же, немедленно, по очень, очень срочному делу... Постараюсь разглядеть ее мимоходом, вдруг она мне понравится?... Вот вам расписка. Надеюсь, все в порядке?

– Прекрасно. А теперь уходите по этой маленькой лестнице.

– А как же таинственная дама?

– Именно затем, чтобы вы ее не видели.

Нотариус позвонил старшему клерку и сказал:

– Пригласите даму... Прощайте, сударь!

– Что ж, значит, я ее так и не увижу... Но я не обижаюсь, мой стряпчий... Поверьте мне...

– Хорошо, хорошо! Прощайте...

И нотариус закрыл дверь за Шарлем Робером.

Через несколько мгновений старший клерк ввел в кабинет герцогиню де Люсене, одетую очень скромно и закутанную в большую шаль; лицо ее полностью скрывала густая черная кружевная вуаль, накинутая поверх муаровой шляпки того же цвета.

Глава XIX ГЕРЦОГИНЯ ДЕ ЛЮСЕНЕ

Герцогиня с некоторым смущением медленно приблизилась к нотариусу, который сделал несколько шагов ей навстречу.

– Кто вы... и что вам от меня угодно? – грубо спросил Жак Ферран, чье настроение, омраченное угрозами Сары, еще больше ухудшилось из-за дурацких и неприятных подозрений Шарля Робера. К тому же герцогиня была одета так скромно, что нотариус счел себя вправе обращаться с ней без церемоний. Она замедлила с ответом, и он продолжал еще резче.

– Может, вы наконец объяснитесь, сударыня?

– Сударь, – заговорила она взволнованным голосом, стараясь спрятать лицо под складками вуали. – Сударь, могу ли вам доверить очень важную тайну?

– Мне можно доверить все, но я должен знать и видеть, с кем я имею дело.

– Может быть, это не столь необходимо? Я знаю, что вы – воплощение чести и справедливости...

– К делу, к делу! Там... извините, меня ждут, сударыня! Кто вы?

– Мое имя вам ничего не скажет. Однако один из моих друзей, моих родственников, только что был у вас.

– Его имя?

– Флорестан де Сен-Реми.

– Ах, вот как?

Нотариус испытующе и пристально посмотрел на герцогиню и продолжал:

– Так в чем дело?

– Виконт де Сен-Реми... рассказал мне все.

– Что же он вам рассказал?

– Все!

– А точнее?

– О боже, вы ведь и сами все знаете.

– Я многое знаю о де Сен-Реми.

– Увы, сударь, это ужасно!..

– Я знаю много ужасного о де Сен-Реми.

– Ах, сударь, правду он говорил мне, вы не знаете жалости...

– Да, к мошенникам и хлыщам с фальшивыми векселями в кармане у меня нет жалости. Этот Сен-Реми в самом деле вам родственник? Тогда вам следовало бы не признаваться в этом, а стыдиться такого родства. Если вы пришли сюда плакаться, в надежде смягчить меня, то пришли напрасно. Вы взялись за дело, недостойное честной женщины... если вы... честная женщина...

Этот грязный намек возмутил герцогиню, оскорбил ее гордость, затронул честь ее знатного рода. Она встала, откинула вуаль, выпрямилась во весь рост и твердым, повелительным голосом ответила:

– Я герцогиня де Люсене!

Эта женщина вдруг проявила столько благородства, столько властности, что нотариус невольно отступил, покоренный ее красотой и величием, машинально сдернул свой шелковый черный колпак с лысой головы и глубоко поклонился.

Трудно представить себе более прекрасный и более гордый облик, хотя герцогине де Люсене было давно уже за тридцать и ее бледное лицо казалось немного усталым; но у нее были огромные карие глаза, огненные и смелые, великолепные черные волосы, тонкий орлиный нос, розовые губы с презрительной гримасой, белоснежный цвет лица, сверкающие зубы, высокая, стройная и гибкая фигура и благородство в каждом движении, которое напоминало, по выражению бессмертного Сен-Симона, «поступь богини, шествующей по облакам».

С ее зажигательным взглядом и в наряде XVIII века де Люсене по своему физическому облику и морали вполне сошла бы за одну из тех пылких герцогинь времен регентства, которые во всех своих многочисленных романах отличались неслыханной дерзостью, выдумкой и очаровательным добродушием, проявляя порой свои слабости с такой наивной откровенностью, что самые суровые моралисты говорили с улыбкой: «Да, конечно, она слишком легкомысленна и сама во всем виновата, но она так добра, так прелестна! Она любит своих возлюбленных с такой страстью, преданностью и верностью... пока она их любит... что не следует судить ее слишком строго. В конце концов, она губит только одну себя, но зато приносит счастье столь многим!»

Если не считать пудренных париков и платьев с огромными фижмами, именно такой была герцогиня де Люсене; когда ее не одолевали мрачные заботы.

Она вошла к нотариусу в образе скромной мещаночки и вдруг предстала перед ним высококородной дамой, гордой и разгневанной. Жак Ферран в жизни еще не встречал подобных женщин, обладающих такой дерзкой красотой и такими смелыми и благородными манерами.

Слегка утомленное лицо герцогини, ее прекрасные глаза, окруженные едва заметными синими тенями, ее розовые нервные ноздри говорили о пылком характере, который опьяняет и сводит с ума настоящих мужчин. Жак Ферран был стар, уродлив, мрачен и мерзок, однако и он не мог не оценить чувственную красоту герцогини де Люсене.

Его ненависть и озлобление против де Сен-Реми удвоились от невольного грубого чувства, которое пробудила в нем гордая и прекрасная любовница виконта. Жак Ферран, снедаемый тайными низменными страстями, с бешенством думал о том, что этот дворянчик, которого он почти заставил ползать перед собой на коленях, угрожая судом за подлог, этот мелкий мошенник внушает столь благородной даме такую любовь, что она решилась обратиться к нему, рискуя себя погубить. От этих мыслей к нотариусу вернулась его смелость, которую он на миг утратил. Ненависть, зависть и неудержимая дикая злоба зажгли в его глазах и на лице огни самых постыдных и жестоких страстей.

Когда герцогиня приступила к столь деликатному сюжету, нотариус был уверен, что сейчас начнутся разговоры вокруг да около, недомолвки, намеки.

Каково же было его изумление! Она заговорила с такой высокомерной уверенностью, как будто речь шла о самом обычном ничтожном деле, не считая даже нужным притворяться перед каким-то нотариусом, отбросив всякие условности, которые наверняка соблюдала бы при общении с равными себе людьми.

Действительно, неприкрытое хамство нотариуса задело и оскорбило герцогиню и заставило ее отбросить маску скромной и униженной просительницы: эта роль оказалась ей не по силам. Взыграла ее благородная кровь, и она не смогла сдержаться перед этим писакой, составителем каких-то актов-договоров. Это было ниже ее достоинства!

Умная, щедрая и великодушная, исполненная доброты и сердечной преданности, но в то же время дочь матери, которая своей возмутительной неводержанностью сумела опорочить даже святые и благородные страдания эмиграции, г-жа де Люсене, в своем наивном пренебрежении к некоторому сорту людей, могла бы сказать подобно римской императрице, принимавшей ванну перед своим рабом: «Разве это мужчина?»

– Так вот, господин нотариус, – решительно сказала герцогиня Жаку Феррану. – Виконт де Сен-Реми – один из моих друзей; он мне признался, что находится в затруднении из-за двойного обмана, жертвой которого стал... Но с деньгами все можно устроить. Сколько я вам должна, чтобы покончить со всеми этими жалкими пересудами?

Жак Ферран был поражен такой откровенностью и смелостью.

– Для этого потребуется сто тысяч франков, – ответил он ворчливым тоном, едва оправившись от удивления.

– Вы получите сто тысяч франков и немедленно вернете эти гадкие бумажки виконту де Сен-Реми.

– А где эти сто тысяч франков, госпожа герцогиня?

– Разве я не сказала, что вы их получите?

– Мне они нужны завтра до полудня, иначе заявление о подделке будет передано в суд.

– Так в чем же дело? Выдайте эту сумму, я за нее отвечаю, а что касается вас, я вам заплачу, как вы пожелаете.

– Сударыня, это невозможно...

– Вы же не станете утверждать, что такой нотариус, как вы, не сможет сразу найти ста тысяч франков, когда это нужно?

– А под какие гарантии?

– Что вы хотите этим сказать? Объяснитесь!

– Кто мне ответит за такую сумму?

– Я.

– Однако...

– Вы должны знать, что одно только поместье в четырех лье от Парижа приносит мне восемьдесят тысяч ливров ренты... Одного этого, надеюсь, достаточно, чтобы послужить вам гарантией, как вы это называете.

– Конечно, если будет закладная на земельное владение.

– Что это еще такое? Наверное, какие-нибудь формальности. Составьте эту закладную, сударь, да побыстрее!

– Такой документ может быть оформлен не ранее, чем через две недели, и понадобится еще согласие вашего высокочтимого мужа, сударыня.

– Но ведь эти земли принадлежат мне, только мне одной! – нетерпеливо воскликнула герцогиня.

– Это не имеет значения; ваши владения с мужем нераздельны, и составление подобных актов о закладе земельной собственности – дело долгое и очень сложное.

– Повторяю еще раз, я не верю, что вам затруднительно найти какие-то сто тысяч франков за два часа!

– В таком случае обратитесь к своему нотариусу или управляющему... Что касается меня, то я не могу этого сделать.

– У меня есть причины держать это в тайне, – высокомерно ответила герцогиня. – Вы знаете мошенников, которые намерены шантажировать виконта де Сен-Реми. Поэтому я и обратилась к вам.

– Ваше доверие делает мне честь, польщен. Однако я не могу удовлетворить вашу просьбу.

– У вас нет таких денег?

– В моей кассе гораздо больше этой суммы, в банковских ассигнациях и золотом...

– О, сколько лишних слов!.. Вам нужна моя подпись? Пожалуйста, и покончим с этим...

– Если поверить, что вы действительно герцогиня де Люсене...

– Приезжайте через час в особняк герцога де Люсене. Я подпишу там все, что нужно подписать.

– Герцог тоже подпишет?

– Я не понимаю вас, сударь...

– Одной вашей подписи для меня недостаточно.

Жак Ферран с жестокой радостью наслаждался тревожным нетерпением герцогини, которая под маской хладнокровного презрения скрывала глубокую озабоченность и... страх.

К тому времени она осталась почти без денег. Еще накануне ее ювелир одолжил ей значительную сумму под залог ее драгоценностей, часть которых была у гранильщика Мореля. Эта сумма позволила оплатить векселя де Сен-Реми и успокоить его других кредиторов. Дюбрей, фермер из Арнувиля, уже выплатил за аренду земли на год вперед; а время не терпело! К тому же, к несчастью для герцогини, двое из ее друзей уехали куда-то из Парижа. Она полагала, что виконт де Сен-Реми был невиновен ни в каких подделках. Он сказал, и она поверила, что он стал жертвой двух мошенников, но его положение было ужасно. Если его обвинят, бросят в тюрьму... Даже если он скроется, убежит, его имя все равно будет опозорено.

Эти страшные мысли заставили герцогиню содрогаться от ужаса... Она слепо любила этого человека, такого ничтожного и в то же время наделенного таким очарованием. Ее любовь к нему, ее страсть были одним из тех беспорядочных увлечений, которые женщины ее характера и ее воспитания обычно испытывают, когда первые цветы их молодости облетают и они приближаются к возрасту зрелости.

Жак Ферран пристально наблюдал за малейшими движениями лица герцогини, которое казалось ему все прекраснее и привлекательнее. Он смотрел на нее с ненавистью и сдержанным восхищением и с жестокой радостью старался побольнее уязвить своими отказами эту женщину, которая могла испытывать к нему только презрение и гадливость.

Герцогиню возмущала даже мысль обратиться к нотариусу с чем-то похожим на просьбу, и в то же время она понимала, что иного способа нет и что только этот человек может спасти виконта де Сен-Реми.

– Поскольку у вас есть необходимая мне сумма и вы знаете мои гарантии, почему же вы мне отказываете?

– Потому что у мужчин есть свои капризы, как и у женщин, сударыня.

– Но что же это за каприз, который заставляет вас поступать вопреки вашим интересам?

Потому что, повторяю, назовите ваши условия, любые! – и я их приму.

– Вы примете любые мои условия? – многозначительно спросил нотариус.

– Любые!.. Две, три, четыре тысячи франков, если хотите, больше! Потому что вся моя надежда только на вас, – с детской откровенностью призналась герцогиня. – Мне больше нигде взять эти деньги до завтра. А они нужны сейчас, это необходимо, совершенно необходимо! Вы понимаете? Поэтому, повторяю, я готова на любые ваши условия, чего бы мне это ни стоило, на любые...

Нотариус начал задыхаться, в висках у него стучало, все лицо налилось кровью; к счастью зеленые стекла очков скрывали похотливые огоньки в его глазах. Жгучее облако замутило его разум, обычно такой холодный и ясный, он обезумел. В своем гнусном ослеплении он принял последние слова герцогини за недостойное предложение; он увидел своим помутившимся от похоти взглядом эту гордую женщину, подобную придворным дамам минувшего века, готовой на все ради чести своего любовника и, может быть, даже на еще более унижительные жертвы ради его спасения. Все это было глупо и подло, но мы уже говорили, что Жак Ферран иногда превращался в тигра или волка, и тогда все звериное в нем затмевало все человеческое.

Он вскочил и подбежал к герцогине.

Она также быстро встала и с удивлением взглянула на него.

Поистине необъяснимы противоречия в человеческом характере! При виде уродливо возбужденного лица Феррана и разгадав его странные, страшные и смешные вожделения, герцогиня, несмотря на все свои страхи и тревоги, разразилась таким откровенным, звонким и безудержным смехом, что ошеломленный нотариус отшатнулся.

Не давая ему и слова промолвить, герцогиня продолжала хохотать, безумно забавляясь нелепостью этой сцены. Она опустила вуаль на лицо и между двумя взрывами смеха едва смогла объяснить нотариусу, ошеломленному от ярости и злобы:

– Господи, такую услугу, говоря откровенно, я могла бы попросить у герцога де Люсене!

Она вышла, продолжая смеяться так громко, что раскаты ее хохота нотариус слышал даже за закрытой дверью своего кабинета.

Жак Ферран постепенно пришел в себя и проклял свою неосторожность. Однако он понемногу успокоился, пораздумав о том, что в конечном счете герцогиня наговорила много такого, что могло бы ее очень скомпрометировать.

И все же это был для него неудачный день. Он погрузился в самые мрачные мысли, когда потайная дверца его кабинета вдруг открылась и вбежала взволнованная Серафен.

– Ах, Ферран! – воскликнула она, заламывая руки. – Вы были тысячу раз правы, когда говорили, что когда-нибудь мы погибнем из-за того, что оставили ее в живых!

– Кого?

– Эту проклятую девчонку!

– Что случилось?

– Пришла одноглазая старуха, я ее не знаю, но Турнемин отдал ей малышку, чтобы избавить нас от нее, четырнадцать лет назад, когда мы сказали, будто она умерла... О господи, кто бы мог подумать!..

– Говорите же, что было дальше?

– Эта кривая старуха сейчас приходила... Она была здесь... Она сказала, что знает меня, что это я отдала ей ребенка.

– Проклятье! Кто мог это сказать ей? Турнемин сейчас на каторге...

– Я все отрицала, обзывала эту одноглазую лгуньей, но поди же ты! Она твердит, что разыскала эту маленькую девочку, которая теперь выросла, знает, где она, и может все рассказать, всех нас выдать...

– Что за день сегодня, весь ад раскрылся, чтобы поглотить меня? – воскликнул нотариус в припадке ярости, исказившем до безобразия его лицо.

– Господи, что сказать этой женщине? Что обещать ей, чтобы она молчала?

– Как она выглядела? Состоятельной?

– Я обозвала ее побирушкой, но она потрясла передо мной своим грязным кошельком: там

звенело серебро.

– Она знает, где сейчас эта девушка?

– Говорит, что знает.

«И это дочь графини Сары Мак-Грегор, – сказал себе ошеломленный Ферран. – Подумать только, вот сейчас она предлагала мне сколько угодно, чтобы я подтвердил, что ее дочь не умерла... А она жива! Я могу вернуть ее матери!.. Но что же делать с фальшивым свидетельством о смерти? Если начнется расследование, я пропал! Одно преступление наведет на след остальных».

Минуту помолчав, он сказал госпоже Серафен:

– Значит, эта кривая знает, где сейчас девушка?

– Да.

– И она обещала вернуться?

– Завтра.

– Напиши Полидори, чтобы он был у меня сегодня вечером к девяти.

– Вы хотите отделаться от этой девушки, а заодно от кривой старухи?.. Не много ли за один раз, Ферран?

– Я сказал: напиши Полидори, чтобы он был у меня к девяти часам!.

Вечером того же дня Родольф сказал Мэрфу, которому так и не удалось проникнуть в кабинет нотариуса:

– Прикажите барону Грауну немедленно отправить курьера... Необходимо, чтобы Сесили была в Париже через неделю, и не позднее.

– Опять эта чертовка? Неверная жена этого несчастного Давида, столь же подлая, сколь соблазнительная! Зачем это вам?

– Зачем? Об этом вы спросите через месяц у нотариуса Жака Феррана.

Глава XX ДОНОС

В день, когда Лилия-Мария была похищена Сычихой и Грамотеем, часам к десяти вечера на ферму Букеваль прискакал всадник, сказал, что он от г-на Родольфа, и утешил г-жу Жорж, чтобы она не беспокоилась о своей юной подопечной, которая вернется к ней не сегодня, так завтра. По многим и очень важным соображениям, добавил этот человек, г-н Родольф просит г-жу Жорж, если у нее есть какие-либо пожелания, не писать ему в Париж, а передать это срочное письмо ему, он вручит его сам.

Это был тайный посланец Сары.

Благодаря такой хитрости она успокаивала г-жу Жорж и могла на несколько дней отдалить тот момент, когда Родольф узнает о похищении Певуны.

За это время Сара надеялась заставить Жака Феррана помочь ей в подлой махинации – подмене ребенка, о чем мы уже говорили.

Но это было еще не все...

Сара хотела избавиться от г-жи д'Арвиль, которая внушала ей серьезные опасения и которую она чуть не погубила, если бы не проницательность Родольфа.

На следующий день, когда маркиз проследил свою жену до дома на улице Тампль, Том пришел туда, без особых трудностей заставил разговориться г-жу Пипле и узнал, что молодая женщина, которую едва не застиг ее муж, была спасена благодаря ловкости одного из жильцов, некоего Родольфа.

Зная об этих обстоятельствах, но не имея никаких существенных доказательств свидания, которое Клеманс якобы назначила Шарлю Роберу, Сара замыслила другой коварный план. Он сводился к тому, чтобы послать маркизу д'Арвиль анонимное письмо, которое должно было их окончательно посорить или, во всяком случае, заронить в душу маркиза такие страшные сомнения, чтобы он решительно запретил своей жене встречаться с принцем.

Вот текст этого письма:

«Вас недостойно обманули. Вашу жену предупредили, что вы за нею следите и она придумала, будто занимается благотворительностью, а на самом деле она шла на свидание с очень высокой особой, которая сняла комнату на пятом этаже, в доме по улице Тампль, под именем Родольфа. Если вы сомневаетесь в этих обстоятельствах и они кажутся вам странными, сходите на улицу Тампль в дом семнадцатый, порасспрашивайте, опишите внешность сиятельного жильца, о котором идет речь, и убедитесь, что вы самый доверчивый и добродушный муж, которого гнусно обманывают. Не пренебрегайте этим предупреждением, иначе многие подумают, что вы еще и слишком близкий друг принца».

Это письмо было отправлено по почте самой Сарой около пяти часов в тот день, когда она побывала у нотариуса.

В тот же день, приказав Грауну как можно скорее вызвать в Париж Сесили, Родольф вечером отправился на прием к супруге посла, г-же***. После этого он должен был зайти к маркизе д'Арвиль, чтобы сообщить, что нашел ей дело, заслуживающее ее внимания и милосердия.

Последуем за ним сразу к маркизе д'Арвиль. Мы узнаем из их беседы, что эта юная женщина, которая до сих пор относилась к своему супругу с предельной холодностью, последовала благородным советам Родольфа и проявила великодушие и понимание.

Маркиз и его супруга только что отобедали. Сцена происходила в маленькой гостиной, которую мы уже описывали. Лицо Клеманс было нежным и сочувственным, сам маркиз выглядел менее печальным, чем обычно.

Заметим, что он еще не получил новое и гнусное анонимное письмо Сары.

– Что вы делаете сегодня вечером? – спросил он машинально свою жену.

– Я не стану выходить... А вы?

– Право, не знаю, – ответил он со вздохом. – Эти светские сборища невыносимы... Наверное, проведу этот вечер, как всегда... в одиночестве.

– Почему же в одиночестве? Ведь я никуда не поеду!

Маркиз д'Арвиль посмотрел на жену с удивлением.

– Да, конечно... однако...

– Так в чем же дело?

– Я знаю, что вы предпочитаете оставаться у себя, когда не выезжаете в свет...

– Это так, но у меня свои капризы, – с улыбкой ответила Клеманс. – Сегодня я очень хотела бы разделить свое одиночество с вами... если вы не возражаете.

– Это правда? – взволнованно воскликнул маркиз. – Как вы добры, что угадали мое желание, которое я не смел даже высказать!

– Знаете, друг мой, ваше удивление похоже на упрек.

– Упрек? О нет, нет, но после моих жестоких и несправедливых подозрений я не мог и надеяться, что вы проявите такую доброту, поэтому, признаюсь, она меня удивила, но такая неожиданность – бесценный подарок.

– Забудем прошлое, – сказала маркиза с доброй улыбкой.

– Клеманс, как могу я все позабыть? – печально ответил маркиз. – Я осмелился вас заподозрить. Сказать вам, до какой низости довела меня слепая ревность?... Но что все это по сравнению с моей виной перед вами, куда более страшной и непоправимой?

– Забудем прошлое, говорю вам, – сказала Клеманс, гоня от себя горестные воспоминания.

– Я не ослышался? Вы сможете тоже забыть это?

– Я надеюсь.

– И это правда? О Клеманс... такое великодушие... Однако нет, нет, я не верю в подобное счастье! Я от него отказался навсегда.

– И вы были неправы, теперь вы это видите.

– Господи, как все переменялось! Уж не сон ли это? О, скажите мне, что я не ослышался!

– Нет, вы не ослышались.

– В самом деле, вы смотрите на меня не так холодно. И голос ваш теплее... Скажите, неужели это правда? Может быть, это все мне только кажется?

– Нет, ибо я тоже перед вами виновата.

– Вы?

– И во многом. Разве я не была по отношению к вам несправедлива и даже жестока? Разве я подумала, что вам пришлось проявить редкое мужество, почти сверхчеловеческое самообладание, чтобы жить, как вы жили? Одиноким, несчастным... Как могли вы противиться единственной возможности найти утешение в браке с той, кого вы полюбили. Увы, когда человек страдает, он ищет утешения в великодушии своих близких... До сих пор вы рассчитывали только на мое великодушие... Так вот, я постараюсь вам доказать, что вы не были неправы.

– О, говорите, говорите! – воскликнул маркиз д'Арвиль, восторженно сжимая руки.

– Наши судьбы связаны навсегда, и я сделаю все, чтобы жизнь ваша не была так печальна...

– Господи! Боже мой! Клеманс, неужели вы мне это говорите?

– Прошу вас, не удивляйтесь так... Мне это тяжело... Я слышу в этом упрек, горький упрек моему поведению в прошлом... Кто же пожалеет вас, кто протянет вам дружескую руку помощи, если не я? Меня осенила добрая мысль... Я подумала, хорошенько подумала о прошлом и будущем. Я признала свои ошибки и, мне кажется, нашла способ их исправить...

– Ваши ошибки? Бедная женщина!

– Да, на другой же день после нашей свадьбы я должна была обратиться к вашей совести и потребовать расторжения брака...

– Клеманс, умоляю!.. Сжальтесь!

– Но, раз уж смирилась со своим положением, я должна была оправдать его добротой и преданностью, а не быть вам постоянным молчаливым упреком, проявляя холодное высокомерие. Я должна была утешить вас в этом страшном несчастье и помнить только, что это ваша горькая беда. Постепенно я бы привыкла к роли сестры милосердия, к заботам о вас, может быть, даже к жертвам, а ваша признательность возместила бы мне все, и тогда... Но что с вами, господи? Вы плачете!..

– Да, плачу... И это благостные слезы... Вы не знаете, какие новые чувства пробуждают во мне ваши слова! О Клеманс, позвольте мне поплакать!.. Только сейчас я понял, какое преступление совершил, связав вашу судьбу с моей, печальной судьбой!

– А я только сейчас почувствовала, что могу все забыть и простить. Ваши покаянные слезы принесли мне счастье, о котором я даже не знала. Поэтому мужайтесь, мой друг, мужайтесь! Не суждена нам райская и беспечная жизнь, но утешимся в исполнении долга, предназначенного нам судьбой. Будем терпимы друг к другу, а если станем слабеть, то поглядим на колыбель нашей дочки, отдадим ей все наши добрые чувства, и у нас еще останутся печальные и святые радости...

– Ангел, вы просто ангел!.. – воскликнул маркиз д'Арвиль, сжимая руки и глядя на жену со страстью и восхищением, – О Клеманс, вы сами не знаете, какое счастье и горе принесли мне! Вы не знаете, что самые жестокие ваши слова и самые горькие упреки в прошлом, быть может мною заслуженные, не ранят меня столь глубоко, как сейчас ваше нежное снисхождение, ваша великодушная терпимость... И все же, несмотря ни на что, вы пробуждаете во мне надежду. Вы даже не представляете, о каком будущем я смею мечтать!

– И вы можете полностью и слепо верить во все, о чем я говорю, Альбер. Моя решимость тверда, клянусь вам, и я от своего решения не отступлюсь. Позднее я смогу представить вам новые доказательства...

– Доказательства? – воскликнул маркиз, ошеломленный столь неожиданной радостью. – Какие доказательства? Разве я в них нуждаюсь? Ваш взгляд, ваш тон, божественное выражение лица, которое делает вас еще прекраснее, мое сердце, которое бьется и трепещет, – разве все это не доказывает мне; что вы говорите святую правду? Вы знаете, Клеманс, мужчины ненасытны в своих желаниях, – добавил маркиз, приближаясь к креслу своей жены. – Однако ваши благородные и трогательные слова внушают мне надежду, даже смелость надеяться на счастье... которое

еще вчера казалось мне безумной и недостижимой мечтой!

– О чем вы? – спросила Клеманс, немного встревоженная страстными словами мужа. – Я не совсем понимаю...

– Да, да! – воскликнул он, сжимая руку жены. – Ваша нежность, ваши заботы, ваша любовь... Вы слышите, Клеманс?.. Любовь! Я надеюсь на вашу любовь, не на бледную, чуть теплую симпатию, а на пылкую страсть, подобную моей... О, вы не знаете глубины этой страсти! Я не смел даже говорить о ней... Вы всегда были ко мне так холодны... Никогда ни единого доброго слова... Никогда ни одного из тех слов, которые сейчас заставили меня плакать... и сейчас внушают надежду на счастье... Да, на счастье, которое я заслуживаю! Ибо я всегда так любил вас... и так страдал, не смея об этом сказать... Сердце мое разрывалось от боли, и я страдал. Я страшился людей, у меня был замкнутый, угрюмый характер, и все от этого. И представьте, каково было мне, ведь в моем доме жила очаровательная и обожаемая женщина, моя жена, которую я жаждал с пылкой любовью, сгорал от страсти, но был обречен на одинокие, горячечные бессонные ночи... О нет, вы не знаете моих слез отчаяния, моей бессильной ярости! Уверяю вас, если бы знали, вы бы сжалились надо мной. Но что я говорю? Разве вы об этом не знаете? Не догадывались о моих мучениях? Вы все поняли, обо всем догадались и понимали меня... Ваша несравненная красота, ваша грация, обаяние перестанут быть для меня повседневной сладостной пыткой, не так ли? Это самое драгоценное из всех сокровищ, которые принадлежат мне и которым я не обладаю... оно будет скоро моим... Да, мое сердце, мое опьянение, моя невыразимая радость говорят мне, что так оно и будет! Не правда ли, моя любимая, моя нежная подруга?

С этими словами маркиз д'Арвиль припал к руке своей жены со страстными поцелуями.

Клеманс, ошеломленная тем, как неправильно понял ее маркиз, испытала ужас и почти отворачивание и чуть было не отдернула свою руку.

Лицо ее слишком откровенно выражало ее чувства, чтобы маркиз мог в них ошибаться.

Это было для него ужасным ударом. Лицо его исказилось гримасой отчаяния. Г-жа д'Арвиль живо протянула ему руку и воскликнула:

– Альбер! Клянусь вам, я буду вам самой верной подругой, самой нежной сестрой... но не более... Простите, простите меня, если мои слова подали вам надежду, которой никогда не сбыться... Я не смогу!

– Никогда?.. – воскликнул маркиз д'Арвиль, устремив на свою жену умоляющий и отчаянный взгляд.

– Никогда, – ответила Клеманс.

Это единственное слово, и как оно было произнесено, дало понять, что решение ее окончательное.

Родольф своими уговорами убедил Клеманс, что она должна нежно заботиться о своем муже, и она на это решилась, но испытывать к нему любовь не могла.

И еще одно чувство, более властное, чем ужас, презрение или ненависть, навсегда отталкивало ее от мужа.

Это было непреодолимое отвращение.

После минуты тягостного молчания маркиз д'Арвиль смахнул рукой слезы и сказал своей жене с печалью и горечью:

– Простите, что я так ошибся. Простите, что я понадеялся так безумно...

И, помолчав, он воскликнул:

– Боже, как я несчастен!

– Друг мой, – тихонько сказала ему Клеманс, – я не хотела бы вас упрекать, и все же. Неужели для вас ничего не значит мое обещание, что я буду вам самой нежной сестрой?.. Моя дружба и преданность – не заменят ли они вам то, что не может вам дать любовь? Надейтесь! Надейтесь на лучшие дни... До сих пор вы находили, что я безразлична к вашим горестям. Теперь вы увидите, как я вас жалею и какое утешение вы найдете в моем сочувствии.

Постучав, вошел лакей и сказал Клеманс:

– Его высочество великий герцог Герольштейна спрашивает маркизу, может ли она его принять.

Клеманс взглядом спросила мужа.

Д'Арвиль, овладев собой, ответил жене:

– Разумеется!

Лакей вышел.

– Простите меня, друг мой, – продолжала Клеманс. – Я не отказываюсь принимать... И к тому же вы так давно не видели принца; он будет рад увидеть вас здесь.

– Я тоже с удовольствием, – ответил маркиз д'Арвиль. – Однако, признаюсь, я сейчас так взволнован, что предпочел бы принять его в другой день...

– Я вас понимаю... Но что делать? Вот и он.

В тот же момент лакей объявил о госте, и Родольф вошел.

– Бесконечно счастлив, что имею честь видеть вас, сударыня, – сказал Родольф. – И дважды счастлив, что мне довелось встретиться с вами, дорогой мой Альбер, – добавил он, обращаясь к маркизу и дружески пожимая ему руку.

– В самом деле, монсеньор, я уже давно не имел чести выказать вам мои самые...

– Полно, полно! А кто виноват, господин невидимка? Последний раз, когда я пришел поухаживать за госпожой д'Арвиль, я вас спрашивал, но вы куда-то исчезли! Вот уже три недели, как вы обо мне забываете; это непростительно...

– Не жалейте его, монсеньор! – с улыбкой сказала Клеманс. – Маркиз д'Арвиль столь же виноват перед вами, сколь глубока его преданность вашему величеству, и лишь из этого можно судить о тяжести его вины.

– Простите мое тщеславие, но, понимаете, что бы ни сделал д'Арвиль, я никогда не усомнюсь в его преданности. О, я не должен был этого говорить!.. Иначе он примет мои слова как поощрение своему невниманию ко мне.

– Поверьте, монсеньор, лишь крайние и непредвиденные обстоятельства не позволяли мне пользоваться вашей добротой...

– Между нами, дорогой Альбер, мне кажется, вы относитесь к истинной мужской дружбе слишком платонически: зная, что вас любят, вы не слишком заботитесь о том, что друзьям нужно что-то давать, получая нечто реальное.

Маркизу слегка покорило это легкое отступление от придворного этикета, но в этот момент появился лакей с письмом для г-на д'Арвиля.

Это было анонимное письмо Сары Мак-Грегор, в котором она утверждала, что принц – любовник маркизы.

Из уважения к принцу маркиз отстранил рукой маленький серебряный поднос с письмом и сказал слуге:

– Потом... Позднее...

– Дорогой Альбер, – сказал Родольф самым любезным тоном. – Неужели я вас стесняю?

– Монсеньор...

– С разрешения маркизы... прошу вас, прочтите это письмо.

– Уверяю вас, монсеньор, тут нет никакой срочности...

– Еще раз, Альбер, прочтите это письмо!

– Но, монсеньор...

– Я прошу вас... Я велю вам!

– Если ваше высочество желает, – растерянно сказал маркиз и взял письмо с подноса.

– Да, я желаю, и желаю, чтобы вы относились ко мне как к другу.

Затем он обратился к маркизе, пока д'Арвиль распечатывал роковое письмо, о содержании которого Родольф не мог даже подозревать, и добавил с улыбкой:

– Вы одержали победу! Вам снова удалось переубедить этого неисправимого упряма!

Маркиз д'Арвиль подошел к одному из канделябров у камина и открыл письмо Сары Мак-Грегор.

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Глава I СОВЕТ

Родольф и Клеманс мирно беседовали, пока д'Арвиль во второй раз перечитывал письмо Сары.

Лицо маркиза оставалось спокойным, лишь рука его заметно подрагивала, когда он, чуть помедлив, спрятал письмо в карман жилета.

– Я рискую еще раз показаться дикарем, – сказал он с улыбкой Родольфу, – но прошу у вас позволения, монсеньор, пойти ответить на это письмо, которое оказалось важнее, чем я думал.

– Я вас еще увижу сегодня?

– Боюсь, не смогу удостоиться этой чести, монсеньор. Надеюсь, ваше высочество извинит меня.

– Какой непредсказуемый человек! – весело сказал Родольф. – Может быть, вы, сударыня, сумеете его удержать?

– Я не осмелюсь и пытаться, если вы потерпели в этом неудачу, ваше высочество.

– Серьезно, дорогой Альбер, прошу вас, постарайтесь вернуться к нам, когда покончите с этим письмом... Если же не сумеете, обещайте уделить мне несколько минут утром... Мне так нужно вам многое рассказать.

– Для меня это большая честь, ваше высочество, – ответил маркиз с глубоким поклоном.

Он удалился, оставив Клеманс наедине с принцем.

– Ваш муж чем-то озабочен, – сказал Родольф маркизе. – Улыбка у него показалась мне вымученной.

– Когда ваше высочество приехали, д'Арвиль был глубоко взволнован и с трудом сумел это скрыть от вас.

– Может быть, я приехал некстати?

– Наоборот, монсеньор. Вы меня избавили от продолжения трудного разговора.

– Каким образом?

– Я сказала мужу о своем решении установить между нами иные отношения, обещая ему поддержку и утешение во всем остальном.

– Наверное, он был счастлив!

– Сначала так же счастлив, как я; ибо слезы его, его радость вызвали у меня такое чувство, какого я еще никогда не испытывала... В прошлом я думала, что мщу ему своими упреками, своей горькой иронией... Грустное отмщение! Моя печаль становилась потом еще горше. И вот сейчас... все переменялось! Я спросила мужа, собирается ли он сегодня выезжать. Он печально ответил, что останется дома, как это уже частенько бывало. Когда я предложила посидеть вместе с ним... если бы видели, как он изумился, монсеньор! Его лицо, всегда такое мрачное, вдруг озарилось! Ах, вы были тысячу раз правы, нет ничего прекраснее, чем дарить неожиданное счастье!

– Но каким образом эти доказательства доброты с вашей стороны привели к столь печальному окончанию вашего разговора?

– Увы, монсеньор, – ответила Клеманс краснея. – Я подала ему надежду на тихое счастье, которое могла подарить, однако мои слова пробудили в нем гораздо более пылкие надежды, о которых я даже не думала... потому что удовлетворить их я не в силах.

– Понимаю... Он вас так нежно любит...

– Вначале я была бесконечно тронута его признательностью, но затем была столь же испугана и ошеломлена его страстными речами... И наконец, когда в порыве чувств он припал губами к моей руке, смертельный холод охватил меня и я не сумела скрыть свой ужас... Я нанесла ему тяжкий удар, выразив таким образом, насколько невозможна для меня его любовь... Мне очень жаль... Однако маркиз, по крайней мере сейчас, убедился, что, несмотря на мое возвращение, может ожидать от меня только самой преданной дружбы, но не более...

– Мне жаль его, но я не могу вас порицать. Есть чувства слишком глубокие, священные. Бедный Альбер! Такой добрый, такой справедливый и при этом с таким храбрым сердцем и та-

кой пылкой душой! Если бы вы знали, как давно меня беспокоила его невыразимая печаль, хотя мне и не была известна ее причина... Что ж, подождем, время все рассудит. Постепенно он оценит по достоинству дружбу, которую вы ему предлагаете, и смирится, как мирился до сих пор со своим положением, не слыша от вас добрых слов утешения.

– Но теперь он будет слышать их все время, клянусь вам, монсеньор!

– А теперь подумаем о других несчастьях. Я пообещал вам благотворительное дело, похожее на захватывающий роман... Только что мне удалось выполнить мое обещание.

– Так скоро, монсеньор? О, я счастлива!

– Да, мне просто необычайно повезло, когда я снял ту бедную комнатку на улице Тампль, о которой я вам говорил... Вы не можете представить, сколько интересного и странного я нашел в этом доме!.. Прежде всего, ваши подопечные из мансарды пользуются всеми благами, которые обещало им ваше посещение, хотя им еще предстоят жестокие испытания... Но не буду вас огорчать... Когда-нибудь вы узнаете, какие ужасные беды могут разом обрушиться на одну семью...

– Как же они, должно быть, благодарят вас!

– Они благословляют ваше имя.

– Вы помогли им от моего имени, монсеньор?

– Чтобы добрая помощь показалась им слаще... Кроме того, я всего лишь исполнил ваши обещания.

– О, я пойду к ним и расскажу всю правду, чтобы они знали, кто их истинный благодетель.

– Не делайте этого! Вы знаете, у меня в этом доме комната, и нам следует опасаться новых трусливых козней ваших и моих врагов... К тому же Морели сейчас ни в чем не нуждаются... Подумаем лучше о нашем деле. Речь идет о бедной матери и ее дочери, которые жили раньше в полном достатке, а теперь, в результате подлых интриг, доведены до последней крайности.

– Несчастные женщины! Где они живут?

– Я этого не знаю.

– Но как же вы узнали об их беде?

– Вчера я побывал в Тампле... Вы знаете, что такое Тампль, маркиза?

– Нет, монсеньор.

– Это очень забавный с виду базар; я отправился туда купить кое-что с моей соседкой с пятого этажа...

– Вашей соседкой?

– Я же говорил, что снимаю комнату на улице Тампль.

– О, я забыла, монсеньор.

– Эта соседка, прелестная маленькая гризетка, зовут ее Хохотушка, и она в самом деле все время смеется, и у ней никогда не было любовника.

– У гризетки – и такая добродетель?

– Тут дело не только в добродетели; она ведет себя так скромно, потому что на любовные интрижки, как она сама говорит, у нее просто не хватает времени, потому что ей приходится шить по двенадцать – пятнадцать часов, чтобы заработать двадцать пять су, на которые она живет.

– Она может жить на такие гроши?

– И еще как! Она даже позволяет себе роскошь держать двух птичек, которые едят больше, чем она сама; у нее удивительно чистенькая комнатка, и сама одевается очень мило и кокетливо.

– Жить на двадцать пять су в день? Это какое-то чудо!

– Да, настоящее чудо порядка, экономности, трудолюбия и практической философии, можете мне поверить. Поэтому я вам ее рекомендую; она говорит, что очень неплохо шьет... Впрочем, вам совсем необязательно носить сшитые ею платья...

– Завтра отошлю ей заказ... Бедная девочка! Жить на такую ничтожную сумму, которую мы бы даже не заметили! Ведь при нашем богатстве на малейший каприз мы тратим в сто раз больше!

– Значит, вы не забудете мою маленькую подопечную? Прекрасно. Однако вернемся к нашему приключению. Итак, я отправился с мадемуазель Хохотушкой в Тампль кое-что купить для ваших бедняков с мансарды, и там, совершенно случайно, в ящике старого секретера, выставленного на продажу, я нашел черновик письма, в котором неизвестная женщина жаловалась третьему лицу, что ее с дочерью довел до полной нищеты обманувший ее доверенный нотариус. Я спросил у торговки, откуда этот секретер. Он был частью скромной мебели, которую продала молодая дама, очевидно оставшаяся без всяких средств... Эта женщина и ее дочь, по словам торговки, с виду были из хорошей семьи и гордо переносили свою нужду.

– И вы не знаете, где они живут, монсеньор?

– К сожалению, нет... Пока не знаю... Но я приказал барону Грауну отыскать их и, если нужно, обратиться в полицейскую префектуру. Вполне возможно, что мать с дочерью, лишенные всякого состояния, нашли себе прибежище в каких-нибудь жалких меблированных комнатах. Если это так, у нас есть надежда на успех, потому что хозяева таких домов записывают каждый вечер постояльцев, которые прибывают к ним днем.

– Какие странные стечения обстоятельств! – с удивлением сказала г-жа д'Арвиль. – Как это увлекательно!

– Но это еще не все... На углу черновика из старого секретера сохранилась такая строчка: «Написать герцогине де Люсене».

– Какое счастье! Может быть, мы что-то узнаем от герцогини! – живо воскликнула маркиза. Затем со вздохом добавила: – Но мы не знаем имени этой женщины... Как описать ее герцогине?

– Надо спросить ее, не знает ли она еще молодую вдову с благородным лицом, у которой есть дочь шестнадцати-семнадцати лет по имени Клэр... Я сейчас вспомнил это имя.

– Ее зовут так же, как мою дочь! Мне кажется, это еще одна причина заняться судьбой несчастных...

– Я забыл вам сказать, что брат этой вдовы покончил с собой несколько месяцев назад.

– Если герцогиня знает эту семью, – чуть подумав, продолжила г-жа д'Арвиль, – таких сведений будет вполне достаточно, чтобы пробудить ее память. К тому же трагическая смерть несчастного должна была поразить герцогиню. Господи! Мне не терпится поскорее ее увидеть! Я напишу ей вечером записку, чтобы наверняка повстречаться с ней завтра утром. Кто бы могли быть эти женщины? Судя по тому, что вы о них знаете, они должны принадлежать к высшему классу общества... И вдруг оказаться в такой нужде!.. Увы, для них подобная нищета должна быть ужасна вдвойне.

– И все это благодаря гнусному обману нотариуса, отвратительного вора и мошенника, за которым я знаю и другие преступления... некоего Жака Феррана!

– Но ведь это нотариус моего мужа! – воскликнула маркиза. – Он же – нотариус моей мачехи! Нет, вы ошибаетесь, монсеньор; его все считают честнейшим человеком на свете.

– У меня есть доказательства обратного. Однако прошу вас никому не говорить о моих подозрениях, вернее, о моей твердой убежденности относительно этого негодяя. Он столь же хитер, сколь преступен, и, чтобы сорвать с него маску, мне нужно, чтобы еще несколько дней он верил в свою безнаказанность. Да, это именно он разорил несчастных женщин, нагло отрицая, будто получил от них на сохранение значительную сумму, которую ему, по всей видимости, вручил брат этой вдовы.

– Значит, эта сумма...

– Была все, чем они располагали!

– Какое низкое преступление...

– Да, подобные преступления не могут оправдать ни нужда, ни страсть! – воскликнул Родольф. – Часто голод толкает человека на воровство, жажда мести – на убийство... Но этот нотариус, и без того достаточно богатый человек, завоевавший в обществе репутацию почти святого, обладающий характером, который вызывает, внушает доверие... этого человека толкает на преступление только холодная и неумолимая алчность. Убийца убивает только однажды и мгновенно своим ножом. А он убивает вас медленно, заставляя терпеть все муки отчаяния и нищеты, в

которые он вас постепенно погружает... Для такого, как этот Ферран, нет ничего святого: ни сиротское наследство, ни сбережения бедняка, собранные с таким трудом... Вы ему доверяете золото, а перед золотом он не может устоять, и он вас обворовывает. Из богатого и счастливого человека злая воля этого мерзавца превращает вас в несчастного бедняка... Ценой лишений и тяжкого труда вы обеспечили себе к старости кров и кусок хлеба... Злая воля этого человека лишает под старость вас и хлеба и крова. И это еще не все. Подумайте об ужасных последствиях его гнусного воровства и обмана!.. Если эта вдова, о которой мы говорим, умрет от горя и отчаяния, ее дочь, молодая и красивая, без всяких средств и поддержки, привыкшая с детства к достатку и совершенно не способная по своему воспитанию зарабатывать себе на жизнь, скоро окажется перед страшным выбором: бесчестие или голодная смерть! Стоит ей однажды оступиться, упасть, и она навсегда пропала, обесчещена, опозорена!.. Своей кражей Жак Ферран убил мать и сделал проституткой дочь. Он убил тело матери и душу дочери, и это, повторяю, не сразу, как обычный убийца, а постепенно, медленно и жестоко.

Клеманс никогда еще не слышала, чтобы Родольф говорил с такой горечью и возмущением; она слушала молча, пораженная его суровым красноречием, которое изобличало его неприимую ненависть ко злу.

– Извините меня, – продолжал Родольф, немного помолчав, – но я не мог сдержать негодования при одной только мысли о страшной участи, которая ожидала ваших будущих подопечных. Ах, поверьте, никогда нельзя представить, какие последствия влекут за собой разорение и нищета.

– О, наоборот, благодарю вас, монсеньор, ваши ужасные слова только усилили, если это возможно, мою жалость и сочувствие к несчастной матери. Увы, она, должно быть, больше всего страдает за свою дочь... О, как это страшно... Но мы их спасем, мы обеспечим их будущее, не правда ли, монсеньор? Слава богу, я достаточно богата; правда, не настолько, как я бы желала сейчас, когда увидела новое применение моим средствам, но, если понадобится, я могу обратиться к д'Арвилю; я постараюсь сделать его таким счастливым, что он не сможет отказать мне в моих новых капризах, а я предвижу, что подобных капризов у меня будет немало. Вы сказали, что наши подопечные горды; за это я их еще больше люблю. Гордость в несчастье свидетельствует о возвышенной душе... Я найду способ спасти их так, чтобы они подумали, будто обязаны своим спасением моему благодеянию... Это будет непросто, но тем лучше! О, у меня уже есть одна мысль... Вы увидите, монсеньор, увидите, что у меня достанет ловкости и тонкого такта.

– Я уже предвижу самые изощренные комбинации в духе Макиавелли, – с улыбкой сказал Родольф. – Но сначала надо их отыскать.

– Не знаю, как я дотерплю до завтра! Повидав герцогиню Люсене, я отправлюсь на их прежнюю квартиру, расспрошу всех соседей, увижу все своими глазами, соберу все сведения. Я готова даже назвать себя, если понадобится! Мне так хочется самой, без чужой помощи, добиться желанных результатов... И я их добьюсь... Это такое волнующее и трогательное приключение. Бедные женщины! Мне кажется, они мне становятся еще ближе, когда я думаю о своей дочери.

Взволнованный ее милосердным порывом, Родольф с грустью думал об этой двадцатилетней женщине, такой прекрасной, любящей, которая старается в благородных заботах о других позабыть о своем собственном горе и домашних невзгодах. Глаза Клеманс сверкали, щеки слегка порозовели, живость движений и слов придавали еще большую привлекательность всему ее очаровательному облику.

Глава II ЛОВУШКА

Маркиза д'Арвиль заметила, что Родольф в молчании пристально разглядывает ее. Она покраснела, опустила глаза, затем снова подняла их и сказала с прелестным смущением:

– Вы смеетесь над моими восторгам, монсеньор! А мне вот не терпится вкушать простые

радости, которые оживят мою жизнь, до сих пор такую печальную и бесполезную. Поистине я мечтала об иной судьбе. Есть одно чувство, высшее счастье, которого мне никогда не узнать. И хоть я еще молода, мне пришлось от него отказаться, – добавила Клеманс со сдержанным вздохом. Затем продолжала: – Но благодаря вам, мой спаситель, снова благодаря вам у меня появились другие интересы; благотворительность заменит мне любовь. Ваши советы уже помогли мне познать новые волнующие чувства! Ваши слова, монсеньор, утешают и ободряют меня!.. Чем больше я размышляю, чем больше проникаюсь вашими идеями, тем они мне кажутся вдвойне справедливыми, великими и плодотворными. И еще, когда я думаю, что вы не только сжалились над моими несчастьями, которые не должны были вас касаться, но также подавали мне самые мудрые, спасительные советы и шаг за шагом вели по этому новому пути, который вы открыли моему бедному измученному горем сердцу... о, монсеньор, какие же сокровища доброты скрываются в вашей душе? Откуда вы черпаете столько сочувствия и великодушия к людям?

– Я много страдал и сейчас страдаю, поэтому знаю тайну многих горестей!

– Вы, монсеньор? Вы несчастны?

– Да, ибо можно сказать, что судьба заставила меня пережить все несчастья, чтобы я мог их понимать и сострадать. Я дружил – и судьба поразила меня рукой друга; я любил со всем пылом и доверчивостью юности – и первая любовь обманула меня; я стал супругом – и судьба нанесла мне удар в лице моей жены; как сын я был поражен рукою отца; как отец я был убит смертью моего ребенка.

– Я думала, монсеньор, что у великой герцогини не было детей.

– Да, это так, но еще до брака у меня была дочь, которая умерла совсем маленькой... Вам это может показаться странным, однако утрата этого ребенка, которого я почти не видел, омрачила всю мою жизнь. И с возрастом боль становится все сильнее! Каждый год удваивает мою горечь, можно сказать, она возрастает по мере того, как росла бы моя дочь. Теперь ей было бы семнадцать лет!

– А где ее мать, монсеньор? Она жива? – минуту поколебавшись, спросила Клеманс.

– О, не говорите мне об этом! – воскликнул Родольф, и черты его омрачились при одном воспоминании о Саре. – Ее мать недостойное создание, душа, окаменевшая от эгоизма и честолюбия. Иногда мне кажется, что моей дочери лучше было умереть, чем остаться на руках у подобной матери.

Клеманс почувствовала некое удовлетворение от этих жестоких слов Родольфа.

– Да, теперь я понимаю, что вы вдвойне горюете о вашей дочери! – воскликнула Клеманс.

– Я бы ее так любил!.. И потом, мне кажется, что у нас, владетельных князей, в любви к сыну, к наследнику, всегда примешиваются соображения имени и рода, подспудный политический интерес. Но дочь! Дочь любят только ради нее самой. Именно потому, что мы часто видим человечество в самом неприглядном облике, для нас есть особая радость и отдохновение в созерцании невинной и чистой души. О, как сладостно вдыхать аромат непорочности, следить с беспокойством и нежностью за первыми, еще неловкими движениями дочки! Ни одна самозабвенно любящая мать, как бы она ни гордилась своей дочерью, не испытывает невыразимой сладости этих чувств; все это ей слишком близко и знакомо, поэтому она скорее оценит достоинства храброго и доблестного сына. И потом, вы не находите, что в любви матери к сыну и отца к дочери есть нечто трогательное? Сильный всегда покровительствует слабому, который нуждается в защите. Но сын защищает мать, а отец защищает дочь.

– Да, это так, монсеньор.

– Но, увы, к чему говорить об этих неизъяснимых радостях, если нам не дано их испытать? – с горечью закончил Родольф.

В голосе его прозвучала такая душераздирающая боль, что Клеманс не смогла сдержать предательскую слезу.

После недолгого молчания Родольф, чуть не краснея из-за того, что не сдержал своих чувств, с печальной улыбкой сказал г-же д'Арвиль:

– Простите, сударыня, мои сожаления и горькие воспоминания оказались сильнее меня. Еще раз прошу прощенья...

– Ах, монсеньор, поверьте, я разделяю ваше горе. Разве у меня нет на это права? Разве вы не разделяете мои страдания? К сожалению, я ничем не могу вас утешить...

– Что вы! Ваше доброе сочувствие так помогает мне. Иметь возможность высказаться – уже великое утешение, а я не стал бы говорить о своих страданиях, если бы не сердечность нашего разговора, которая пробудила во мне горькие воспоминания. С моей стороны это слабость, но, когда заходит речь о юной девушке, я невольно вспоминаю дочь, которую утратил...

– Но это же так естественно! Вот послушайте, с тех пор как я повидалась с вами, монсеньор, я несколько раз сопровождала одну знатную даму во время ее визита в тюрьму: она покровительствует молодым женщинам, заключенным в Сен-Лазаре. Там сидят далеко не невинные создания. Если бы я не была матерью, я судила бы их строже... а я ощущаю болезненную жалость при мысли, что, может быть, они не пали бы так низко, если бы не жили с детства в нищете и заброшенности. Не знаю почему, но после этого мне кажется, что я люблю свою дочь еще больше...

И маркиза залилась слезами.

– Я только надеюсь, что вы не откажете мне в поддержке и в советах, не правда ли, монсеньор?

– Где бы я ни был, далеко или близко, я всегда буду с живейшим интересом следить за вами... И насколько это от меня зависит, постараюсь сделать все, чтобы вернуть счастье вам... и человеку, которого издавна считаю верным и близким другом.

– О, спасибо, спасибо за это обещание, монсеньор! – воскликнула Клеманс, утирая слезы. – Без вашей великодушной поддержки я бы, наверное, не выдержала, но, поверьте мне, клянусь вам, теперь я найду силы мужественно выполнять мой долг.

При этих словах маленькая дверь, скрытая под обоями, внезапно распахнулась.

Клеманс вскрикнула, Родольф вздрогнул.

Появился маркиз д'Арвиль, бледный, взволнованный и глубоко тронутый: на глазах его блеснули слезы.

Когда прошел первый миг удивления, маркиз шагнул к Родольфу.

– Монсеньор, – сказал он, протягивая принцу письмо Сары. – Вот гнусное письмо, которое я только что получил у вас на глазах... Прошу вас сжечь его, но предварительно прочтите.

Клеманс ошеломленно смотрела на мужа.

– Боже, какая низость! – вскричал Родольф, пробежав глазами письмо.

– Да, монсеньор, но есть вещи еще более низкие, чем эта подлая клевета... Мое поведение!

– Что вы хотите этим сказать?

– Только что, вместо того чтобы смело и открыто показать вам это письмо, я сделал вид, что спокоен, но в сердце у меня бушевала ревность, ярость и отчаяние... И это не все. Знаете, что я сделал, монсеньор? Я постыдно спрятался за этой дверцей, чтобы вас подслушивать... Да, я пал достаточно низко, чтобы усомниться в вашем благородстве, в вашей чести... О, гнусный автор подобных писем знает, кому их адресовать. Он знает, как слаба моя голова... Так вот, монсеньор, скажите, после того, как я услышал все, что здесь говорилось, ибо я не пропустил ни единого слова, после того, как опустил до недоверия к вам и поверил этой ужасной клевете, заподозрив... скажите, могу ли я на коленях умолять вас о жалости и пощаде? И я умоляю вас, смотрите, смотрите, Клеманс, ибо я могу теперь надеяться только на ваше великодушие!

– Боже мой, дорогой Альбер, за что мне вас прощать? – сказал растроганный Родольф, сердечно протягивая маркизу руки. – Теперь вы знаете все наши секреты, я очень этому рад и могу вас только пожурить, что и сделаю с удовольствием. Невольно я проник в вашу тайну, так сказать, стал вашим наперсником, но что еще лучше, вы стали наперсником маркизы, то есть вы знаете теперь, чего вам ждать от ее благородного сердца.

– А вы, Клеманс, – печально обратился маркиз д'Арвиль к жене, – простите ли вы и этот мой грех?

– Да, при условии, что вы мне поможет вернуть вам счастье и радость.

Она протянула мужу руку, и он с волнением пожал ее.

– Поистине, дорогой маркиз, наши враги изрядно просчитались! – воскликнул Родольф. –

Благодаря их козням мы стали дружнее, чем прежде. Без них вы никогда бы не смогли по достоинству оценить госпожу д'Арвиль, а она – выказать до конца свою преданность вам. Признайтесь, мы хорошо отомстили всем этим завистникам и злодеям! Пока все хорошо, но лучшее – впереди. Потому что я догадываюсь, кем нанесен удар, и не в моих обычаях терпеть зло, причиняемое моим друзьям. Но это уже моя забота. Прощайте, маркиза, наш заговор раскрыт, но зато теперь у вас будет помощник в заботах о ваших подопечных. Можете быть спокойны, мы скоро придумаем еще какую-нибудь тайную интригу, и пусть маркиз сам попытается угадать наш секрет!

Проводив Родольфа до кареты, чтобы еще раз поблагодарить его, маркиз прошел прямо к себе, не заходя к Клеманс.

Глава III РАЗМЫШЛЕНИЯ

Трудно описать сумбурные и противоречивые чувства, которые обуревали маркиза д'Арвиля, когда он остался один.

Он радовался, что низкая клевета на Родольфа и Клеманс оказалась подлой ложью, но в то же время должен был отказаться от надежды, что Клеманс его когда-нибудь полюбит. Кроме того, в разговоре с Родольфом Клеманс решительно показала себя храброй, готовой на самопожертвование. Но из-за этого он еще более горько упрекал себя в преступном эгоизме, за то, что приковал к себе цепями супружества эту несчастную женщину...

Подслушанный им разговор совсем не утешил его, наоборот, он впал в мрачность, им овладела невыразимая тоска.

Богатство и праздность ужасны тем, что не могут отвлечь человека и делают его беззащитным перед жизненными невзгодами и страданиями. Праздному богачу не приходится думать о будущем, он не занят повседневным трудом и поэтому оказывается целиком во власти жестоких душевных мук.

Имея все, что можно купить за деньги, богач мечтает или горячо сожалеет о том, чего не купишь ценой золота.

Страдания маркиза д'Арвиля были беспредельны, потому что он в конечном счете желал только того, что было справедливо и законно: «Владеть своей женой, рассчитывать на ее любовь».

И теперь, встретив решительный отказ Клеманс, он спрашивал себя, не звучат ли жестокой насмешкой слова закона:

«Жена принадлежит мужу своему».

К какой власти, какому принуждению должен прибегнуть он, чтобы победить ее холодность, ее отвращение, которые превратили его жизнь в нескончаемую пытку, ибо он не должен был, не хотел и не мог любить никого, кроме своей жены?

Ему было ясно, что в его случае, как и во многих других семейных трагедиях, одна только воля мужа или жены была сильнее и непреложнее любых законов государства и церкви, и тут уже ничего нельзя изменить.

За приступами бессильного гнева обычно следовали периоды мрачного уныния.

Будущее страшило его, казалось непроглядно-темным и холодным.

Он предчувствовал, что эти боль и тоска несомненно сделают более частыми приступы его ужасной болезни.

– О, я сам виноват, во всем виноват! – восклицал он с отчаянием и нежностью. – Несчастная, бедная женщина! Я обманул ее, недостойно обманул! Она может... она должна меня ненавидеть... И все же только что она проявила ко мне такое трогательное сочувствие... А я, вместо того чтобы радоваться этому, поддался своей безумной страсти, воспылил, заговорил о любви, но, едва мои губы коснулись ее руки, она содрогнулась от ужаса. Если я до сих пор еще мог сомневаться, что внушаю ей непреодолимое отвращение, то, что она сказала принцу, не оставило мне никакой надежды. О, как это ужасно... ужасно!

Но по какому праву она доверила ему нашу страшную тайну? Это недостойная измена! По какому праву? Увы, наверное, по праву жертвы, которая жалуется на своего палача. Бедная девочка, такая юная, такая любящая, и все, что она смела сказать о страшной участи, которую я ей уготовил, это... что не о такой судьбе она мечтала и что была еще слишком молода, чтобы отказаться от любви! Я знаю Клеманс. Отныне и навсегда она будет держать слово, которое дала мне и принцу. Она будет мне самой нежной и доброй сестрой... Что ж, не достойно ли мое положение зависти? Вместо холодных и сдержанных отношений между нами придут нежность и тепло, хотя она могла бы по-прежнему смотреть на меня с леденящим презрением, и была бы права, а я виновен.

Ну что ж, утешимся тем, что она мне предлагает. Разве это не слишком большое счастье?.. Счастье? Как же я слаб, как труслив! Разве она не моя жена? Моя! Только моя! Закон признает мою власть над ней... Если жена противится, я имею право...

Он прервал свой монолог сардоническим хохотом.

– О да, насилие, не правда ли? Теперь уже насилие! Еще одна низость. Но что же мне делать? Ведь я люблю ее, люблю как безумный! И люблю только ее и не хочу другой... Я жажду ее любви, а не тепловатой сестринской нежности. О, когда-нибудь она должна надо мною сжалиться, ведь она так добра, она поймет, как я несчастен! И все же нет, никогда! Есть разделяющее нас чувство, которое женщина никогда не сможет превозмочь. Отвращение... Да, отвращение, ты слышишь? Отвращение... Надо понять и смириться. Твоя страшная болезнь будет всегда внушать ей ужас, всегда, ты понимаешь? – вскричал маркиз с отчаянием и болью.

После нескольких минут мрачного молчания он продолжал:

– Эта анонимная клевета, обвиняющая принца и мою жену, отправлена вражеской рукой. И только что, пока я их не услышал, я был способен его подозревать! Подозревать его в трусливой, подлой измене! И мою жену вместе с ним! О господи, ревность неизлечима. И все же я не должен обольщаться. Если принц, который любит меня как самого верного и великодушного друга, побуждает Клеманс отдать свое сердце и разум благотворительным делам, если он обещает ей свой совет и поддержку, значит, она нуждается в его совете и поддержке.

В самом деле, такая юная, такая красивая, окруженная воздыхателями, и без любви в сердце, которая ее бы защищала, почти освобожденная от всяких обязательств моим жестоким обманом, разве она не может когда-нибудь оступиться и пасть?

Какая пытка! Боже, как я страдаю! Когда я подумал, что она способна... Какая страшная агония! Нет, это все пустые страхи. Клеманс поклялась, что никогда не изменит своему долгу... Она сдержит свое обещание... но какой ценой, господи, какой ценой! Только что, когда она приближалась ко мне со словами сочувствия и нежной, печальной, отрешенной улыбкой, как же мне было больно! Сколько же ей стоило это возвращение к своему палачу! Бедная женщина! Как она была трогательна и прекрасна! Впервые в жизни ощутил я жгучие угрызения совести, ибо до сих пор мстил всем за себя холодным презрением. Какой я несчастный, господи, какой я несчастный!

После долгой бессонной ночи, проведенной в горьких размышлениях, маркиз д'Арвиль перед рассветом внезапно успокоился.

Он ждал наступления дня с нетерпением.

Глава IV ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Утром маркиз д'Арвиль позвонил в колокольчик, вызывая своего камердинера.

Старик Жозеф был предельно удивлен, когда услышал, войдя в спальную своего хозяина, что тот напевает охотничью песенку, – очень редкий, но зато верный признак, что маркиз д'Арвиль пребывает в отличном настроении.

– Ах, господин маркиз, – с умилением сказал верный слуга, – какой у вас чудный голос! Жалко, что вы так редко поете.

– В самом деле, Жозеф? – со смехом спросил д'Арвиль. – У меня хороший голос?

– Если бы господин маркиз мяукал, как мартовский кот, или трещал, как кузнецик, разве я посчитал бы его голос самым лучшим в мире?

– Молчи уж, старый лстец!

– Боже мой, господин маркиз, когда вы поете, это знак, что вы в хорошем настроении... и тогда ваш голос для меня – божественная музыка.

– В таком случае, старина Жозеф, открой пошире твои длинные уши.

– О чем вы говорите?

– Отныне ты сможешь каждый день наслаждаться этой музыкой, которая тебе так нравится.

– Значит, вы каждый день будете счастливы, господин маркиз? – воскликнул Жозеф, складывая руки, обрадованный и удивленный.

– Каждый день, старина Жозеф, я буду теперь все время счастлив. Да, ты прав, долой печали и грусть! Я могу тебе это сказать, тебе единственному, верному и скромному Свидетелю моих страданий... Я преисполнен счастья! Моя жена – ангел доброты. Она просила у меня прощения за свою недавнюю холодность, которая была вызвана... догадайся чем?... Ревностью!

– Ревностью?

– Да, нелепыми подозрениями, которые вызвали у нее анонимные письма.

– Какая подлость!

– Ты понимаешь, женщины так самолюбивы... Этих подозрений было бы достаточно, чтобы разлучить нас, но, к счастью, вчера вечером она откровенно объяснилась со мной. Я разуверил ее; не могу описать, как она была рада, потому что она меня любит, безмерно любит! Жестокая холодность, которую она мне выказывала, была ей так же невыносима, как и мне... Наконец-то наш мучительный разлад окончился, можешь сам судить, как я счастлив!

– Неужели это правда? – воскликнул Жозеф со слезами на глазах. – Неужели правда, господин маркиз? Вы теперь счастливы навсегда, потому что вам не хватало только любви госпожи маркизы... Или, вернее, только ее холодность была единственным вашим несчастьем, как вы мне говорите...

– А кому еще я мог это сказать, мой бедный Жозеф? Разве ты не знал уже о моей еще более печальной тайне? Однако не будем говорить о грустных вещах. День так хорош! Ты, наверное, заметил, что я плакал? Это потому, что счастье переполняет меня... Я уже почти не надеялся... Я так слаб, не правда ли?

– Полно, полно, господин маркиз, вы можете вволю поплакать от счастья, потому что немало плакали от боли. А я? Вы видите, я тоже плачу! Но это сладкие слезы. Я бы отдал за них десять лет жизни... И я боюсь только одного, что не удержусь и упаду на колени перед госпожой, как только ее увижу...

– Старый безумец! Ты столь же неразумен, как твой господин... Но я тоже кое-чего боюсь...

– Чего вы боитесь? О господи!..

– Боюсь, что это не продлится долго... Я слишком счастлив... Чего же мне не хватает?

– Ничего, господин маркиз, совершенно ничего!

– В том-то все и дело: я страшусь слишком совершенного, слишком полного счастья.

– О, дело стало только за этим... Но я не смею предложить...

– Я слушаю тебя!.. Но ты зря опасаясь. Это неожиданное счастье перевернуло мне душу, оно так сильно и глубоко, что я уверен, оно меня наверное спасет.

– Как это?

– Мой врач говорил мне тысячу раз, что сильное душевное потрясение зачастую способно усугубить или изменить эту роковую болезнь... Могу же я надеяться, что эта радость спасет меня?

– Если вы верите в это, господин маркиз, то так оно и будет. Так оно и есть, вы уже исцелились! Какой благословенный день! Ах, вы говорите, госпожа маркиза – ангел, сошедший с небес, но я тоже начинаю чего-то бояться, слишком много радости и счастья в один-то день... Вот

я подумал: чтобы не сглазить, вам надобно хотя бы маленькое огорчение, совсем маленькое, слава богу. И если вы согласны, такое у меня для вас есть.

– О чем ты говоришь?

– Один из ваших друзей получил к счастью и очень кстати, – видите, как получается? – совсем маленький укол шпагой, право, совсем незначительный! Но и этого довольно, чтобы ваш счастливый день хоть чуть-чуть омрачился, маленькое черное пятнышко, не больше! Правда, в этом смысле было бы лучше, чтобы удар шпагой был опаснее, однако следует довольствоваться тем, что имеем.

– Да перестанешь ты, наконец? О ком ты говоришь?

– О господине герцоге де Люсене.

– Он ранен?

– Всего лишь царапина на руке. Господин герцог вчера приезжал повидаться с вами и сказал, что вернется утром, если можно, на чашечку чаю.

– Бедняга Люсене! Почему ты мне не сказал?

– Вчера вечером я не мог вас увидеть, господин...

Подумав некоторое время, маркиз д'Арвиль заговорил снова:

– Ты прав, это небольшое огорчение должно отвратить ревнивую зависть судьбы... Но мне пришла мысль: я хочу сегодня утром устроить мальчишник, собрать всех друзей герцога, чтобы отпраздновать счастливый исход его дуэли. Он этого не ждет и будет наверняка очень доволен.

– В добрый час, господин маркиз! Да здравствует веселье и радость, догоним потерянное время!.. На сколько человек накрывать стол, чтобы я мог предупредить слуг?

– На шесть персон в маленькой зимней столовой.

– А приглашения?

– Я сейчас напишу. Скажи кому-нибудь тотчас оседлать коня и развезти приглашения. Сейчас еще рано, и посланец всех застанет дома. Позвони!

Жозеф позвонил..

Маркиз д'Арвиль вошел в свой маленький кабинет и написал одинаковые записки, в которых менялись только имена:

*«Мой дорогой***, это не просьба, а предписание: речь идет о сюрпризе. Люсене должен прибыть ко мне сегодня к завтраку; он рассчитывает на свидание наедине, но сделайте ему приятную неожиданность и присоединитесь к нам и еще к некоторым его друзьям, которых я также предупрежу. Жду в полдень, и без опозданий.*

А. д'Арвиль».

Вошел слуга.

– Пусть кто-нибудь сядет на коня и немедленно развезет эти приглашения, – приказал маркиз д'Арвиль; затем, обращаясь к Жозефу, добавил: – Напиши адреса: «Виконту де Сен-Реми», – «Люсене не может без него обойтись», – сказал про себя д'Арвиль; – «Г-ну де Монвиль» – это один из спутников Люсене в его странствиях; «Лорду Дугласу» – его верному партнеру в вист; «Барону Сезанну» – его другу детства... Ты написал?

– Да, господин маркиз.

– Отправьте эти записки, не теряя ни минуты! – приказал маркиз, – и вот еще что, Филипп, попросите ко мне Дубле, нам надо поговорить.

Филипп вышел.

– Что с тобой? – спросил д'Арвиль Жозефа, который смотрел на него с изумлением.

– Я не могу опомниться, господин: я никогда еще не видел вас таким оживленным, таким веселым. И обычно вы такой бледный, а сегодня румянец вернулся к вам и глаза блестят...

– От счастья, мой старый верный Жозеф, от счастья... Да, кстати, ты должен помочь мне в моем маленьком заговоре... Сходи узнай, где сейчас мадемуазель Жюльетта, одна из горничных маркизы, которая, по-моему, заботится о ее драгоценностях, о бриллиантах...

– Да, господин маркиз, это поручено мадемуазель Жюльетте; еще неделю назад я помогал ей отмывать их, приводить в порядок...

– Ступай и спроси у нее имя и адрес ювелира маркизы, но чтобы та ничего не знала!

– О, понимаю... Еще один сюрприз?

– Ступай быстрее! Вот и Дубле...

В самом деле, управляющий появился в тот же момент, когда Жозеф закрывал за собой дверь.

– Имею честь явиться по приказанию господина маркиза.

– Дорогой мой Дубле, сейчас я вас напугаю! – со смехом сказал д'Арвиль. – Вы сейчас закричите от ужаса и отчаяния!

– Я, господин маркиз?

– Да, вы.

– Я сделаю все возможное, чтобы угодить господину маркизу.

– Я хочу истратить много денег, Дубле, огромную сумму денег.

– Если дело только за этим, господин маркиз, это в наших возможностях, слава богу, это не страшно.

– Вот уже долгое время я вынашиваю один проект: я хочу пристроить к правому крылу особняка галерею через сад. До сих пор я колебался и не говорил вам об этом безумном капризе, но сегодня решил... Надо уведомить архитектора, чтобы он пришел обсудить со мною подробнее этот план. Почему же вы не стонете, Дубле, от подобных расходов?

– Я могу уверить господина маркиза, что не вижу причин...

– Эта галерея будет предназначена для балов и празднеств; я хочу, чтобы она возникла как в сказке, как по волшебству, а сказки и волшебство стоят довольно дорого. Понадобится продать пятнадцать – двадцать тысяч ливров ренты, чтобы возместить все расходы, ибо я хочу, чтобы работы начались как можно скорее.

– И это очень, разумно... Чем скорее порадуешься, тем лучше. Я всегда говорил себе: у господина маркиза есть все, не хватает лишь какого-нибудь увлечения... А здания хороши тем, что они остаются надолго... Что же касается денег, то пусть господин маркиз не беспокоится. Слава богу, он может себе позволить, если ему угодно, и не такой еще каприз, как эта галерея.

Вернулся Жозеф, протянул д'Арвилю записку.

– Вот, господин маркиз, имя и адрес ювелира. Его зовут Бодуэн.

– Дорогой Дубле, прошу вас, тотчас отправляйтесь к этому ювелиру и попросите доставить сюда через час бриллиантовое ожерелье примерно на две тысячи луидоров. Женщинам всегда не хватает драгоценностей, особенно теперь, когда ими обшивают платья. О цене договоритесь с ювелиром сами.

– Хорошо, господин маркиз... И опять же я не буду рыдать, потому что бриллианты, как и здания, долговечны. И к тому же этот сюрприз несомненно обрадует госпожу маркизу, не говоря уже об удовольствии, которое вы сами от этого получите. Ибо, как я уже имел честь недавно говорить, в мире нет более счастливого человека, чем господин маркиз.

– Ах этот дорогой Дубле! – с улыбкой проговорил д'Арвиль. – Его комплименты всегда приходятся удивительно кстати...

– Может быть, в этом их единственное достоинство, господин маркиз, и это достоинство они обретают потому, что я высказываю их от чистого сердца. Простите, я бегу к ювелиру, – сказал Дубле и вышел.

Оставшись один, маркиз д'Арвиль заходил по своему кабинету, скрестив руки на груди, с задумчивым, погруженным в себя взглядом.

Лицо его сразу изменилось; с него исчезло довольное, радостное выражение, обманувшее управляющего и старого слугу, уступив место холодной, спокойной и мрачной решимости.

Он расхаживал так некоторое время, затем тяжело упал в кресло, словно не выдержав груза страданий, оперся локтями о стол и спрятал лицо в ладонях.

Через мгновение он резко выпрямился, смахнул слезу с покрасневших глаз и проговорил с усилием:

– Полно... мужайся!.. Так надо...

После этого он написал различным лицам письма, в которых шла речь о всяких маловажных вещах, но в каждом назначал или переносил свидания с ними на много дней позже.

Маркиз уже заканчивал свои письма, когда вернулся Жозеф, который был так счастлив, что пел от радости, забыв все приличия.

– Господин Жозеф, у вас поистине прекрасный голос, – с улыбкой заметил ему д'Арвиль.

– Ну и что ж, тем хуже, господин маркиз, мне это не важно! Это моя душа поет, и пусть ее слышат!

– Отправь эти письма почтой.

– Хорошо, господин маркиз, но где вы примете сейчас всех этих господ?

– Здесь, в моем кабинете, – мы покурим после завтрака, а отсюда запах табака не дойдет до маркизы.

В этот момент во дворе особняка послышался шум кареты.

– Это выезжает госпожа, – она попросила запрячь лошадей пораньше, – сказал Жозеф.

– Тогда поспеши сказать ей, чтобы она зашла ко мне до отъезда.

– Хорошо, господин маркиз.

Едва старый слуга вышел, д'Арвиль приблизился к зеркалу и внимательно взгляделся в свое отражение.

– Неплохо, неплохо, – проговорил он глухим голосом. – Да, все так... щеки порозовели, и глаза блестят... От радости или от лихорадки – какое это имеет значение! Главное, чтобы это обмануло всех... А теперь попробуем улыбнемся. Сколько бывает разных улыбок! Но кто сумеет отличить истинную от притворной! Кто сумеет разгадать эту обманчивую маску и сказать: эта улыбка скрывает мрачное отчаяние, это шумное веселье – мысль о смерти? Кто может об этом догадаться? Никто... к счастью... никто. В самом деле, никто? О нет, любовь не обмануть, ее инстинкт подскажет правду! Но я слышу шаги жены, моей жены... Пора, играй свою роль, злоеущий комедиант.

Клеманс вошла в кабинет д'Арвиля.

– Здравствуй, Альбер, мой добрый брат, – сказала она с нежностью и сочувствием, протягивая ему руку. Затем увидела сияющее лицо мужа и с удивлением спросила: – Что с вами, друг мой? У вас такой счастливый вид...

– Потому что, когда вы вошли, я думал о вас, моя маленькая дорогая сестричка... И к тому же я так радовался, что нашел великолепное решение...

– Меня это не удивляет...

– Все, что произошло вчера, ваше несравненное великодушие, благородное поведение принца, все это заставило Меня задуматься и согласиться с вами. Однако при всем моем согласии я не сожалею о моих вчерашних подозрениях, которые вы, надеюсь, простите мне, хотя бы из кокетства, не правда ли, дорогая? – добавил он с улыбкой. – И вы не простили бы меня, я уверен, если бы я так легко отказался от вашей любви.

– Какие слова! Какая счастливая перемена! – воскликнула г-жа д'Арвиль. – Ах, я была уверена, что, обращаясь к вашему сердцу, к вашему разуму, я найду понимание. Теперь я не сомневаюсь в нашем будущем.

– И я тоже, Клеманс, уверяю вас. Да, после того решения, которое я принял этой ночью, это будущее, которое казалось мне смутным и мрачным, удивительным образом озарилось и стало простым и определенным.

– Это так понятно, мой друг; отныне мы пойдем к одной цели, но братски поддерживая друг друга. И в конце нашего пути мы обретем друг друга такими же, как сегодня. И это чувство пребудет неизменным. И наконец, я хочу, чтобы вы были счастливы, и вы будете счастливы, ибо это желание запало мне вот сюда, – добавила Клеманс, приставив палец к своему лбу. Но потом поправилась с очаровательной улыбкой, приложив руку к сердцу: – Нет, я ошиблась, это здесь останется навсегда, и никогда не затухнет доброе чувство к вам... к нам обоим... И вы увидите, дорогой мой брат, как много значит упорство преданного сердца!

– Клеманс, дорогая Клеманс! – ответил д'Арвиль, едва сдерживая волнение.

После короткого молчания он весело заговорил как ни в чем не бывало:

– Я просил вас соблаговолить прийти сюда до вашего отъезда, чтобы предупредить вас, что не смогу выйти к чаю с вами. У меня сегодня несколько гостей к завтраку, своего рода неожиданная пирушка по случаю удачного исхода дуэли этого бедняги Люсене, которого его противник, по счастью, лишь слегка оцарапал.

Маркиза покраснела при мысли о причине этой дуэли: насмешливые слова де Люсене, брошенные Шарлю Роберу в ее присутствии.

Это воспоминание жестоко ранило Клеманс; оно напомнило ей о ее ошибке, которой она стыдилась.

Чтобы избавиться от неприятных, тягостных мыслей, она сказала мужу:

– Видите, какое странное совпадение: господин де Люсене только что завтракал у Бленва-лей. Вы ведь не знаете всех моих тщеславных планов, а я стараюсь сейчас, чтобы меня допустили к милосердным делам, к юным узницам в тюрьме.

– Поистине ваша жажда к милосердию неутолима, – с улыбкой сказал маркиз д'Арвиль и добавил с горьким волнением, которое его выдавало помимо его воли: – Значит, я вас больше не увижу... сегодня? – поспешно добавил он.

– Вам не хочется, чтобы я выезжала сегодня утром? – живо спросила Клеманс, удивленная его тоном. – Если вы желаете, я отменю свой визит к герцогине.

Маркиз едва не выдал себя и постарался ответить как можно любезнее:

– Да, моя дорогая сестричка, я не хотел бы, чтобы вы уезжали, но буду с нетерпением ждать вашего возвращения. Вот противоречия и недостатки моего характера, от которых я никогда не смогу избавиться!

– И это прекрасно, мой друг, иначе я была бы огорчена.

Раздался звонок, извещающий, что кто-то пришел в особняк маркиза.

– Это, наверное, один из ваших гостей, – сказала маркиза д'Арвиль. – Я вас оставляю. Кстати, что вы будете делать сегодня вечером? Если вы еще не распорядились вашим временем, я желаю, чтобы вы сопровождали меня в Итальянскую оперу. Может быть, теперь их музыка понравится вам гораздо больше.

– К вашим услугам и с величайшим удовольствием.

– Вы скоро выезжаете, друг мой? Я вас увижу до обеда?

– Нет, я сегодня не выхожу... вы найдете меня здесь.

– В таком случае, до свидания. Я приеду, чтобы узнать, как вы позабавились на вашем мальчишнике.

– Прощайте, Клеманс!

– Прощайте, друг мой! До скорого свидания... Даю вам полную свободу! Веселитесь на здоровье, вам все дозволено!

И, сердечно пожав руку мужа, Клеманс вышла за мгновение до того, как в другую дверь вошел герцог де Люсене.

«Она сказала мне: вам все дозволено!.. Она сказала: веселитесь! В этом прощальном слове, в последнем прощании моей умирающей души, в этих словах окончательной и вечной разлуки... Неужели она не поняла?.. И сказала: до скорого свидания? И ушла, такая спокойная, с улыбкой на устах... Что ж, это делает честь моему актерству... Господа боже мой!.. Я и не думал, что могу быть таким ловким притворщиком... Но вот и Люсене...»

Глава V МАЛЬЧИШНИК

Де Люсене вошел в кабинет д'Арвиля.

Рана герцога была настолько незначительной, что он больше не носил свою руку на перевязи. Лицо его, как обычно, было насмешливым и высокомерным, он, как всегда, суетился, и, как всегда, болтовня его была непереносима. Однако, несмотря на все эти недостатки, на его шуточные дурного тона, на его длиннющий нос, который придавал лицу почти клоунский облик, герцог

де Люсене, как мы уже говорили, не был вульгарным типом и обладал природным достоинством и мужеством, которые не покидали его никогда.

– Вы, наверное, считаете, что я безразличен ко всему, что вас касается, дорогой мой Анри! – сказал д'Арвиль, протягивая руку де Люсене. – Но вы ошибаетесь. Только сегодня утром я узнал о вашем несчастном приключении.

– Несчастном?.. О чем речь, маркиз?.. Я получил то, чего заслуживал, за мои деньги, как говорится... Никогда в жизни я еще так не хохотал! Этот великолепный господин Робер имел такой торжественный вид и был полон решимости доказать, что никогда не харкает и не брызжет слюной... Вы разве не знали? Это и послужило причиной дуэли. Недавно вечером в посольстве господина*** я его спросил в присутствии вашей жены и графини Мак-Грегора, как он справляется с этим своим недостатком. В этом все дело, между нами, он и не имел такой слабости. Но все равно. Понимаете, если вас упрекают в этом при двух прекрасных дамах, это ведь нельзя перенести.

– Какое безумие! Узнаю вас. Но кто такой этот господин Робер?

– Ей-богу, понятия не имею! Какой-то господин, с которым я повстречался на курорте; он проходил по зимнему саду в посольстве, вот я и позвал его, чтобы так глупо подшутить, а он назначил мне на завтра встречу и очень галантно поцарапал мне руку шпагой – вот и все наши отношения. Да хватит говорить об этих глупостях! Я пришел к вам за чашкой чая.

С этими словами герцог де Люсене бросился на софу, улегся и начал концом своей тросточки раскачивать картину, висевшую над его головой, просунув трость между стеной и рамой.

– А я вас ждал, дорогой Анри, и приготовил сюрприз, – сказал маркиз д'Арвиль.

– О, в самом деле? Какой же? – воскликнул де Люсене, раскачивая картину еще азартнее.

– Кончится тем, что эта картина сорвется и упадет вам на голову.

– Черт побери, вы правы! У вас орлиный глаз... Но что за сюрприз, говорите!

– Я пригласил на чай некоторых наших друзей.

– Неужели? За это, маркиз, браво, брависсимо, архибрависсимо! – воскликнул де Люсене, с восторгом колотя своей тростью по подушкам софы. – И кто же у нас будет? Сен-Реми? Нет, он уже несколько дней в деревне... Кстати, какого черта ему делать в деревне зимой?

– Вы уверены, что он не в Париже?

– Абсолютно уверен. Я ему написал чтобы он был моим секундантом... Его не было дома, и мне пришлось пригласить лорда Дугласа и Сезанна...

– Какое чудесное совпадение, они будут завтракать с нами.

– Браво, браво, брависсимо! – снова закричал герцог де Люсене.

Он раскинулся на софе и на этот раз принялся подсакивать на ней, сопровождая свои безумные возгласы прыжками только что выловленного карпа, которые могли бы свести с ума любого рыбака.

Эти акробатические подскоки были прерваны появлением виконта де Сен-Реми.

– Мне не пришлось спрашивать, здесь ли герцог де Люсене! – весело заметил виконт. – Я его голос услышал еще снизу!

– Как, это вы, мой прекрасный любитель природы, мой очаровательный пейзажник? – с удивлением воскликнул герцог, внезапно поднявшись с софы. – А мы-то думали, что вы в своей любимой деревне!

– Я еще вчера вернулся, только что получил приглашение маркиза и поспешил сюда и очень рад видеть вас... Для меня это прекрасный сюрприз..

Де Сен-Реми пожал руку де Люсене, затем – д'Арвилю.

– И я благодарен, что вы поспешили ко мне, – сказал маркиз. – Ведь это так естественно, не правда ли? Друзья де Люсене должны вместе порадоваться счастливому исходу его дуэли, которая могла кончиться совсем иначе.

– Однако, – упрямо продолжал герцог, – не могу понять, чего вам понадобилось в деревне среди зимы, Сен-Реми? Меня это очень интересует.

– До чего же он любопытен! – воскликнул Сен-Реми, обращаясь к д'Арвилю, и только после этого ответил герцогу: – Я хочу постепенно отвыкнуть от Парижа... потому что вскоре дол-

жен его покинуть.

– Ах да, ваше пылкое воображение заставило вас согласиться на службу во французском посольстве в Герольштейне... Не морочьте нам голову вашими дипломатическими капризами! Вы никогда туда не поедете... так говорит моя жена и весь высший свет.

– Уверяю вас, что на сей раз госпожа де Люсене ошибается, как и все остальные.

– Она при мне сказала вам, что это безумие.

– Мало ли сколько безумств уже было в моей жизни!

– Когда безумства очаровательны и элегантны, совершайте их на здоровье, правда, говорят, вы в конце концов разоритесь, пытаясь сравняться по великолепию с царем Сарданапалом, я это допускаю, но похоронить себя в такой захудалой дыре, как Герольштейн! Хорошенькая выдумка! Это уже не безумство, а глупость, а у вас достаточно ума, чтобы не делать глупости.

– Поостерегитесь, дорогой Люсене, отзываясь так плохо об этом немецкой дворе, вы рискуете поссориться с д'Арвилем, близким другом царствующего принца, который, кстати, недавно очень любезно принял меня в посольстве, где меня ему представили.

– В самом деле, дорогой Анри, – поддержал его д'Арвиль. – Если бы вы знали великого герцога так же хорошо, как я, вы бы поняли, что Сен-Реми нисколько не пугает перспектива провести некоторое время в Герольштейне.

– Охотно верю вам, дорогой маркиз, хотя о вашем великом герцоге рассказывают, что он большой оригинал. Но это не меняет дела: такой красавец, как Сен-Реми, цвет нашей молодежи, должен жить только в Париже, ибо только в Париже его могут оценить по достоинству.

Вскоре съехались и другие приглашенные, но тут вошел Жозеф и шепнул несколько слов на ухо маркизу.

– Вы позволите, господа? – обратился тот к гостям. – Это ювелир моей жены принес показать бриллианты, я хочу сделать ей сюрприз. Вам это понятно, Люсене, мы ведь с вами мужа старой закалки...

– Еще бы не понять, черт побери! – воскликнул герцог. – Моя жена тоже преподнесла мне вчера сюрприз, да еще какой!!!

– Какой-нибудь великолепный подарок?

– Вот именно!.. Она попросила у меня сто тысяч франков.

– И поскольку вы щедры и великодушны, вы их ей...

– Одолжил!.. Под залог ее поместья в Арнувиле. Как говорится, добрые счета между добрыми друзьями... Но все равно, одолжить в течение двух часов сто тысяч франков человеку, которому они вдруг понадобились, это, конечно, очень мило, но бывает редко. Не правда ли, юный транжира? – со смехом обратился он к Сен-Реми, не подозревая, что попал прямо в цель. – Уж вы-то знаете, каково в наше время занимать такие суммы!

Несмотря на все свое нахальство, виконт слегка покраснел, но затем спокойно ответил:

– Да, сто тысяч франков – сумма действительно огромная. И зачем столько сразу женщине? Если бы мужчине, я бы еще понял...

– Ей-богу, не знаю, что она собирается делать с такими деньгами, моя дражайшая супруга. Но мне это безразлично, наверное, долги за туалеты, нетерпеливые, несговорчивые поставщики, но это уже ее дело. И к тому же, заметьте, мой дорогой Сен-Реми, одолжив ей мои деньги, не мог же я спрашивать, на что она собирается их употребить, это было бы дурным тоном...

– Однако займодавы всегда особенно интересуются, на что пойдут их денежки, – со смехом заметил виконт.

– Полно вам, Сен-Реми! – прервал его маркиз д'Арвиль. – Помогите мне лучше выбрать украшение для моей жены; вы всегда отличались хорошим вкусом, и ваше одобрение решит мой выбор, потому что ваши суждения о модах безупречны.

Вошел ювелир со множеством футляров в большой кожаной сумке.

– Смотрите-ка, да это Бодуэн! – удивился де Люсене.

– Всегда к вашим услугам, господин герцог.

– Я уверен, что это вы разоряете мою жену вашими дьявольскими и сверкающими соблазнами, не так ли? – спросил де Люсене.

– Госпожа герцогиня этой зимой приказала только заново оправить свои бриллианты, – с некоторым смущением ответил ювелир. – Я как раз собирался прямо отсюда отнести их госпоже герцогине.

Де Сен-Реми прекрасно знал, что г-жа де Люсене, чтобы выручить его, приказала заменить свои подлинные бриллианты на стразы, и был неприятно поражен этой встречей. Однако он храбро продолжал:

– Эти мужья всегда так любопытны! Не отвечайте ему, Бодуэн.

– Любопытен, я? Ей-богу, нисколько! – возразил герцог. – Жена сама за себя платит. Она может позволить себе любой каприз... Она богаче меня.

Во время этого разговора ювелир разложил на столе многочисленные, изумительные ожерелья из рубинов и бриллиантов.

– Какой блеск!.. И какая великолепная огранка камней! – восхитился лорд Дуглас.

– Увы, – ответил ювелир, – такие вещи я заказывал одному из лучших огранщиков Парижа, но бедняга, по-видимому, сошел с ума, и я больше никогда не найду подобного мастера. Моя посредница по драгоценным камням сказала, что, наверное, нищета довела этого несчастного до безумия.

– Нищета... И вы доверяете бриллианты подобным беднякам?

– Разумеется, – ответил ювелир. – Не было еще случая, чтобы огранщик что-либо утаил, как бы ни был он беден.

– Сколько стоит это ожерелье? – спросил д'Арвиль.

– Господин маркиз должен обратить внимание, что все камни в нем самой чистой воды и великолепной огранки и почти все одинаковой величины.

– Такое осторожное вступление весьма угрожает вашему кошельку! – заметил де Сен-Реми и рассмеялся. – Так что сейчас он вам назовет чудовищную цену!

– Послушайте, Бодуэн, назовите по совести цену, и покончим с этим, – сказал д'Арвиль.

– Я не хочу, чтобы господин маркиз торговался... Окончательная цена – сорок две тысячи франков.

– Господи! – воскликнул де Люсене. – Склонимся в молчании перед нашим другом д'Арвилем. Всем мужьям есть чему у него поучиться. Устроить своей жене сюрприз на сорок две тысячи франков!.. Черт побери! Однако никому ни слова, иначе мы все испортим.

– Смейтесь сколько хотите, господа, – весело ответил маркиз. – Я влюблен в мою жену и не скрываю этого. Более того, я этим горжусь!

– Оно и видно! – подхватил де Сен-Реми. – Такой подарок красноречивее всех уверений в любви.

– Хорошо, я беру это ожерелье, – сказал д'Арвиль. – Правда, если Сен-Реми одобрит оправу из черной эмали. Как она, на ваш вкус?

– Она еще лучше выделяет блеск алмазов, и рисунок чудесный!

– Итак, решено, я его беру, – сказал маркиз. – Бодуэн, вы можете произвести расчет с Дубле, моим управляющим.

– Он уже предупредил меня об этом, господин маркиз, – сказал ювелир и вышел, собрав в свою кожаную сумку даже не считая – настолько велико было его доверие – различные драгоценности, которые де Сен-Реми долго перебирал и пристально рассматривал на протяжении всего этого разговора.

Д'Арвиль передал ожерелье Жозефу, который ожидал его приказа, и тихо сказал:

– Пускай мадемуазель Жюльетта осторожно положит это ожерелье вместе с другими драгоценностями своей госпожи, чтобы та ничего не заметила, иначе не получится настоящего сюрприза.

В этот момент дворецкий объявил, что завтрак подан; гости прошли в столовую и сели за стол.

– Вы знаете, дорогой д'Арвиль, – сказал де Люсене, – ваш дом, наверное, самый элегантный и удобный во всем Париже.

– Да, он очень удобен, но не слишком просторен... Я задумал пристроить к нему садовую

галерею. Маркиза д'Арвиль намерена дать несколько больших балов, и наших салонов будет недостаточно. К тому же не люблю даже на время покидать покои, которые мы обычно занимаем, а гости нас обычно выживают.

– Я согласен с д'Арвилем, – поддержал его де Сен-Реми. – Нет ничего более мелкого и мещанского, чем эти вынужденные переселения ради балов или концертов... Чтобы устраивать эти прелестные празднества и не стеснять себя, надо иметь для них специальные помещения, и к тому же эти обширные сверкающие залы, предназначенные для блестящих балов, должны носить совсем иной характер, чем салоны; между ними должна быть такая же разница, как между монументальными фресками и обычными картинами.

– Он прав, – согласился д'Арвиль. – Какая жалость, господа, что у нашего Сен-Реми нет хотя бы полутора миллионов ренты! Какие чудеса он показал бы нам!

– Поскольку мы имеем счастье наслаждаться благами репрезентативного правительства, – заметил герцог де Люсене, – не должна ли наша страна проголосовать за то, чтобы Сен-Реми получал миллион в год, чтобы представлять в Париже французский вкус и элегантность, от которых зависит вкус и элегантность Европы... и всего мира?

– Принято! – хором воскликнули все.

– И этот миллион ежегодно следует взимать в виде налога с этих ужасных скупердяев-ростовщиков, которые обладают огромными состояниями, дабы сами они по закону, принуждению и убеждению жили, как подобает подобным крохоборам.

– И как таковые, – подхватил д'Арвиль, – были обязаны платить за великолепие, которого сами не могут явить.

– Не говоря уже о том, – продолжал де Люсене, – что, выполняя свои обязанности великого жреца, вернее – великого магистра элегантности, наш Сен-Реми станет примером для подражания и окажет чудодейственное влияние на вкусы всей нации.

– Все будут стараться походить на него.

– Это несомненно.

– И подражание ему сделает наши вкусы утонченнее и чище.

– Во времена Возрождения вкусы повсюду стали великолепными, потому что образцом для всех служили вкусы аристократии, а они были безупречными.

– По тому, какой серьезный оборот принимает наша беседа, – весело подметил д'Арвиль, – вижу, что нам остается только обратиться в обе палаты с петицией об установлении должности великого магистра французской элегантности.

– И поскольку все депутаты без исключения явно придерживаются самых широких, самых артистических и самых грандиозных воззрений, этот проект будет принят под овации.

– Но пока еще не принято решение, которое утвердит за нашим Сен-Реми титул высшего законодателя мод, каким он является на деле, – продолжал д'Арвиль, – я хочу с ним посоветоваться относительно галереи, которую собираюсь построить. Меня поразили его идеи о великолепии празднеств.

– Мои ничтожные знания всегда к вашим услугам, д'Арвиль.

– А когда мы увидим воплощение всех этих чудес, дорогой маркиз?

– Полагаю, на следующий год, потому что я начну работы немедленно.

– У вас столько замыслов!

– Это еще не все... Я замыслил полностью перестроить Валь-Ришэ.

– Ваше поместье в Бургундии?

– Да, там можно построить нечто восхитительное... лишь бы господь продлил мои дни...

– Боже, несчастный старец!

– Вы, кажется, недавно купили ферму неподалеку от Валь-Ришэ, чтобы округлить свои владения?

– Да, очень выгодное дело, его мне присоветовал мой нотариус.

– Кто же этот редкостный и бесценный нотариус, который советует такие выгодные дела?

– Некий Жак Ферран.

При этом имени де Сен-Реми на мгновение нахмурился.

– Он действительно такой честный человек, как о нем говорят? – небрежно спросил он у д'Арвиля, который тотчас вспомнил, что рассказывал Родольф его жене об этом нотариусе.

– Жак Ферран? Станный вопрос! – вмешался де Люсене. – Он человек безупречной порядочности.

– Почтенный и почитаемый всеми.

– Очень набожный, но это ему не вредит.

– Исключительно скупой... что является гарантией для его клиентов.

– И наконец, он один из немногих нотариусов старого толка, которые вас спрашивают, за кого вы их принимаете, если вам вздумается попросить у него расписку за деньги, врученные на хранение.

– Хотя бы за одно это я доверяю ему все мое состояние.

– Но какого черта, Сен-Реми, откуда у вас такие сомнения в этом достойном человеке, чья честность вошла в поговорку?

– До меня доходили кое-какие неясные слухи... А в остальном у меня нет никаких причин подозревать этого святого нотариуса... Однако вернемся к вашим проектам, д'Арвиль. Что вы хотите построить в Валь-Ришэ? Говорят, старый замок прекрасен...

– Я обращусь к вам за консультацией, дорогой Сен-Реми, можете не сомневаться, и даже скорее, чем вы думаете, потому что эти работы меня радуют и увлекают. По-моему, нет ничего интереснее воплощать один за другим свои планы, которые наполняют дни и годы... Сегодня один проект, завтра другой... Позднее – еще что-нибудь... Прибавьте к этому очаровательную жену, которую я обожаю и которая разделяет мои вкусы и интересы, – господи, какая прекрасная жизнь!

– Еще бы, черт побери! Настоящий рай на земле.

– А теперь, господа, – сказал д'Арвиль, когда завтрак был закончен, – если угодно покурить, пройдите в мой кабинет – у меня чудесные сигары.

Все поднялись от стола и прошли в кабинет маркиза; дверь из него в прилегающую спальную была открыта. Мы уже говорили, что единственным украшением этой комнаты были две стойки с коллекцией великолепного оружия.

Герцог де Люсене раскурил сигару и последовал за маркизом в его комнату.

– Как видите, я по-прежнему увлекаюсь оружием, – сказал ему д'Арвиль.

– В самом деле, какие превосходные ружья, английские и французские. Ей-богу, не знаю даже, каким отдать предпочтение... Дуглас! – крикнул де Люсене. – Идите сюда, посмотрите: эти ружья, наверное, могут посоперничать с вашими лучшими «ментонами».

Лорд Дуглас, де Сен-Реми и двое других гостей вошли в комнату маркиза, чтобы полюбоваться оружием.

Д'Арвиль взял боевой пистолет, взвел курок и сказал, смеясь:

– Вот, господа, универсальная панацея от всех бед: от сплина, от тоски...

И он шутя приблизил пистолет к губам.

– Честное слово, я бы предпочел другое лекарство, – сказал Сен-Реми. – Это годится только на самый крайний случай.

– Да, но оно действует мгновенно, – сказал маркиз. – Раз, и дело сделано! Оно быстрее мысли, быстрее любого пожелания... Поистине оно волшебное.

– Поосторожнее, д'Арвиль; такие шутки всегда опасны; не успеешь глазом моргнуть, как случится беда! – проговорил де Люсене, видя, что д'Арвиль снова приближает дуло пистолета к губам.

– Черт побери, дорогой, неужели вы думаете, я стал бы так шутить, если бы он был заряжен?

– Разумеется, нет, но все-таки это неосторожно.

– Смотрите, господа, вот как это делается. Вставляешь ствол в рот... и тогда...

– Господи, перестаньте валять дурака, д'Арвиль! Вы теряете всякую меру, – сказал де Люсене, пожимая плечами.

– ...тогда приближаешь палец к спусковому крючку, – продолжал д'Арвиль.

– Ну что за ребячество! Такая глупость в его-то возрасте?

– Легкий нажим на гашетку, – продолжал д'Арвиль, – и ты отправляешься напрямик на небеса...

При этих словах грянул выстрел. Маркиз д'Арвиль прострелил себе голову.

Мы отказываемся описывать ужас и потрясение гостей маркиза.

На следующий день в газете было написано:

«Вчера событие столь же непредвиденное, сколь трагическое, взволновало все предместье Сен-Жермен. Одна из тех неосторожностей, какие каждый год приводят к роковым последствиям, окончилась ужасным несчастьем. Вот факты, которые нам удалось установить и за достоверность которых мы ручаемся.

Господин маркиз д'Арвиль, обладатель огромного состояния, в возрасте неполных двадцати семи лет, известный своей щедростью и добротой, женатый всего несколько лет на женщине, которую он боготворил, пригласил на завтрак несколько своих друзей. Выйдя из-за стола, все отправились в спальную г-на д'Арвиля, где находилась коллекция ценного оружия. Показав своим гостям несколько ружей, г-н д'Арвиль взял пистолет и, полагая, что он не заряжен, приблизил дуло ко рту... Уверенный в своей безопасности, он нажал на гашетку... Раздался выстрел!.. Несчастный молодой человек упал замертво; голова его была раздроблена, лицо страшно изуродовано. Можете представить себе ужас друзей г-на д'Арвиля, с которыми всего несколько минут назад, полный энергии, жизни и счастья, он делился различными проектами на будущее! И наконец, словно все обстоятельства этого горестного события должны были сделать его еще более жестоким по ужасному контрасту, тем же утром г-н д'Арвиль, желая сделать жене сюрприз, купил для нее очень ценное ожерелье... И именно в тот момент, когда жизнь казалась ему особенно радостной и прекрасной, он пал жертвой рокового несчастного случая...

Перед подобным горем любые рассуждения излишни, остается лишь склониться перед неумолимыми и непредсказуемыми предначертаниями судьбы».

Мы цитируем газетную заметку, которая выразила и, так сказать, закрепила всеобщее убеждение, что смерть мужа Клеманс произошла в результате роковой и непростительной неосторожности.

Стоит ли говорить о том, что маркиз д'Арвиль унес с собою тайну своей добровольной смерти?..

Да, добровольной и точно рассчитанной, обдуманной с хладнокровием и великодушием по отношению к Клеманс, чтобы та не смогла даже заподозрить об истинной причине его самоубийства.

Так, все проекты, о которых д'Арвиль говорил со своим управляющим и своими друзьями, счастливые признания своему старому слуге, сюрприз, который он в то утро приготовил своей жене, – все это были только ловушки для доверчивых простаков.

Кто смог бы заподозрить, что человек, так увлеченный планами на будущее, так желающий угодить любимой жене, на самом деле думал о самоубийстве?

Поэтому его гибель объяснили фатальной неосторожностью, и не могли объяснить иначе.

Что же касается истинной причины его решения, то его продиктовало безнадежное отчаяние.

Когда Клеманс благородно вернулась к нему, когда ее прежняя холодность и высокомерие сменились сочувствием и нежностью, в душе маркиза пробудились жестокие угрызения.

Он видел, как самоотверженно и печально соглашается Клеманс на долгую жизнь без любви рядом с человеком, пораженным страшной и неизлечимой болезнью. И он понимал, вспоминая торжественные слова Клеманс, что она никогда не сможет преодолеть к нему ужаса и физической неприязни. И маркиз д'Арвиль проникся глубокой жалостью к своей жене и

глубочайшим отвращением к самому себе и к жизни.

В отчаянии от невыносимой муки он сказал себе:

«Я люблю и могу любить только одну женщину на свете, – это моя жена. Ее поведение, полное сердечности и благородства, только усилит мою безумную страсть, если ее можно еще более усилить.

И эта женщина, моя жена, никогда не будет мне принадлежать.

Она имеет право презирать меня и ненавидеть... Я овладел ею с помощью гнусного обмана, связал юную девушку со своей злосчастной судьбой...

Я раскаиваюсь в этом... Но что я могу теперь сделать для нее?

Освободить ее от ужасных уз, которыми приковал к себе из низменного эгоизма. Но только смерть может разорвать эти узлы... Значит, я должен покончить с собой».

Вот почему маркиз д'Арвиль принес эту величайшую, страшную жертву.

Но если бы у нас существовал развод, разве этот несчастный покончил бы с собой?

Нет!

Он мог бы частично искупить содеянное зло, вернуть своей жене свободу, чтобы она могла найти счастье в новом супружестве.

Так неумолимая окостенелость закона делает порой некоторые ошибки непоправимыми или, как в нашем случае, позволяет их исправить лишь ценой нового преступления.

Глава VI СЕН-ЛАЗАР

Полагаю, следует предупредить наших наиболее щепетильных читателей, что тюрьму Сен-Лазар, специально предназначенную для воровок и проституток, каждый день посещают многие женщины, чье милосердие, имя и положение в обществе заслуживают всеобщего уважения.

Эти женщины, воспитанные среди всех великолепий богатства, эти женщины, которых по праву считают украшением высшего света, приходят сюда каждую неделю и проводят долгие часы рядом с несчастными узниками Сен-Лазара, пытаясь уловить в их заблудших душах малейший порыв к добру, малейшее сожаление о преступном прошлом. Они поощряют их лучшие чувства, побуждают к раскаянию, и магией таких слов, как долг, честь, добродетель, им удается иногда спасти из преступного болота одну из этих несчастных, покинутых, опустившихся и презираемых.

Привыкшие к деликатности, к изысканному обращению в избранном обществе, эти храбрые женщины покидают свои родовые особняки, целуют в лобик своих дочерей, чистых, как ангелы небес, и идут в мрачные темницы, где их порой встречает грубое равнодушие или грязная брань воровок и проституток.

Верные своей благородной миссии, они бесстрашно погружаются в эту зловонную грязь, прислушиваются ко всем зараженным скверной порока сердцам, и, если малейшее биение совести и внушает им хотя бы слабую надежду на выздоровление, они вступают в борьбу и порой спасают от неминуемой гибели большую душу, в которой они не отчаялись.

Поэтому пусть чрезмерно щепетильные читатели, к которым мы обращаемся, отбросят свою брезгливость и подумают о том, что они увидят и услышат в конечном счете только то, что видят и слышат каждый день эти достойные женщины, о которых мы говорим.

Мы не пытаемся даже сравнивать их миссию с нашей скромной целью, но должны сказать, что в этом длинном, тяжелом и трудном рассказе нас поддерживает убеждение, что он сумеет пробудить симпатию к незаслуженным горестям честных, мужественных, но несчастных людей, к тем, кто искренне раскаивается, к наивному и простому достоинству бедняков; и в то же время – внушить презрение отвращение, ужас и спасительный страх ко всему грязному, бесчестному и преступному.

Мы не отступали перед самыми отвратительными и уродливыми сценами, полагая, что истина и мораль очищают все, как огонь. Наше слово не много стоит, наше мнение не имеет большого веса, потому что мы не пытаемся поучать или реформировать общество.

Наша единственная надежда – это привлечь внимание мыслителей и людей доброй воли к ужасным социальным бедствиям, весьма прискорбным, но, увы, вполне реальным.

И тем не менее кое-кто из счастливых мира сего, возмущенных суровой правдой нашего рассказа, кричит о его преувеличениях, неправдоподобности, невозможности стольких зол и бед, – лишь бы не сожалеть о них.

Мы их не оправдываем.

Это вполне понятно.

Эгоист, осыпанный золотом или объевшийся на пиру, заботится прежде всего о своем пищеварении. Облик бедняков, дрожащих от голода и холода, ему особенно неприятен; он предпочитает наслаждаться своими богатствами и своими яствами, лениво наблюдая с полузакрытыми глазами сладострастные сцены балета в опере.

И наоборот, большое число богачей и счастливых щедро помогали беднякам, о несчастьях которых ранее не знали, и некоторые из них даже благодарили нас за то, что мы открыли им новые пути для их благотворительности.

Подобная помощь оказала нам огромную поддержку и воодушевила нас.

И если наше повествование, которое мы без труда признаем довольно слабой книгой, с точки зрения искусства, но зато, очень нужной книгой, с точки зрения морали, если эта книга, повторяем, за короткий срок смогла привести хотя бы к одному благотворительному результату, о которых мы говорили, значит, мы можем ею по праву гордиться.

Какая награда может быть выше благословений и благодарности нескольких бедных семей, которые получили какую-то помощь благодаря пробужденному нами сочувствию!

Все это мы говорим потому, что пускаемся в новые странствия и поведем за собой читателя, надеясь, что смогли успокоить его совесть. Мы проведем его по тюрьме Сен-Лазар, огромному и мрачному сооружению и предместью Сен-Дени.

Еще ничего не зная о страшной трагедии, которая разыгралась в ее доме, г-жа д'Арвиль направилась в тюрьму, предварительно получив от г-жи де Люсене кое-какие сведения о двух несчастных женщинах, которых ненасытная алчность нотариуса Жака Феррана ввергла в отчаяние и нищету.

Госпожа Бленваль, одна из покровительниц юных преступниц, не могла в тот день сопровождать Клеманс, и та приехала в Сен-Лазар одна. Ее почтительно встретили директор тюрьмы и многочисленные дамы-попечительницы; их легко было узнать по черным платьям и синим бантам с серебряной бляхой на груди.

Одна из таких попечительниц, пожилая дама со строгим, но добрым лицом, осталась наедине с маркизой в маленькой приемной рядом с канцелярией.

Можно себе представить, сколько скрытой доброты, ума, сочувствия и прозорливости требовалось от этих достойных женщин, согласившихся на скромную и неблагодарную роль – надзирать над заключенными.

Что они могли им практически предложить? Приучать их к порядку, к работе, внушать понятие о долге в надежде, что все это им пригодится, когда они выйдут из тюрьмы.

Иногда снисходительные, иногда суровые, терпеливые или строгие, но всегда справедливые и беспристрастные, эти женщины за долгие годы близкого общения с заключенными приобретают такую способность читать по лицам этих несчастных, что с первого взгляда уверенно судят о них и классифицируют по степени их испорченности.

У госпожи Арман, попечительницы, которая осталась с д'Арвиль, почти пророческое чувство проникательности было особенно развито. В характере своих подопечных она разбиралась мгновенно и безошибочно, поэтому ее слова и суждения имели здесь большой вес.

Госпожа Арман сказала Клеманс:

– Поскольку госпожа маркиза поручила мне указать ей одну из наших заключенных, которая хорошим поведением или искренним раскаянием заслуживает симпатии, я думаю, что могу вам рекомендовать одну девушку, которая, по-моему, скорее несчастна, чем виновна, – ибо я вряд ли ошибаюсь: ее еще можно спасти, эту бедняжку, ведь ей самое большее шестнадцать-семнадцать лет!

– За что же она попала в тюрьму?

– Была признана виновной в том, что вечером была на Елисейских полях. Подобным ей под страхом очень строгого наказания запрещено появляться днем или ночью в некоторых общественных местах, в том числе на Елисейских полях, вот ее и арестовали.

– Вы заинтересовались ею?

– Я еще никогда не видела таких правильных и чистых черт лица. Представьте себе, госпожа маркиза, лицо святой девы. Но еще большую скромность придавала ее облику деревенская одежда, в которой ее сюда доставили. Она была одета как крестьянка из окрестностей Парижа.

– Значит, эта девушка – крестьянка?

– Нет, госпожа маркиза. Инспектора ее опознали; она раньше жила в ужасном доме в Сите, потом куда-то пропала на два-три месяца, но, поскольку она не просила вычеркнуть ее из полицейских списков, она оставалась под действием соответствующих правил, поэтому ее доставили сюда.

– Но, может быть, она покинула Париж, чтобы начать новую жизнь?

– Я тоже так думаю, как раз это меня в ней сразу и привлекло. Я пыталась расспрашивать ее о ее прошлом, спрашивала, из какой она деревни, советовала надеяться, если она действительно хочет вернуться на путь истинный, а я в это верила.

– Что же она ответила?

– Подняла на меня свои большие синие глаза, полные слез, и сказала мне печально с ангельской кротостью: «Благодарю вас за вашу доброту, но я ничего не могу рассказать о своем прошлом. Меня арестовали, я была виновна, и я не жалуюсь». – «Но откуда вы пришли? Где вы были после вашего исчезновения из Сите? Если вы отправились в деревню, чтобы начать достойную жизнь, так и скажите, докажите; мы напишем господину префекту и добьемся вашего освобождения; вас вычеркнут из полицейских списков, и мы поможем вам в ваших добрых устремлениях». – «Умоляю вас, не расспрашивайте меня ни о чем, я не смогу вам ответить», – сказала она. «Неужели вам хочется по выходе отсюда опять попасть в тот ужасный дом?» – «О, никогда!» – воскликнула она. «Что же вы будете делать?» – «Об этом знает один господь», – ответила она и уронила голову на грудь.

– Все это странно... А как она разговаривает?

– Вполне правильно, грамотно. Держится скромно, почтительно, однако без приниженности. Скажу больше: несмотря на ангельскую нежность в голосе и во взгляде, иногда в ней прорывается вдруг печальная гордость, которая сбивает меня с толку. Если бы она не принадлежала к падшим созданиям, я бы подумала, что эта гордость свидетельствует о врожденном благородстве души.

– Но это же целый роман! – вскричала Клеманс, до крайности заинтересованная; она подумала, что Родольф был прав, когда говорил ей, что порою нет ничего более увлекательного, чем творить добро. – А каковы ее отношения с остальными узниками? Если в ней есть то благородство души, которое вы предполагаете, она должна жестоко страдать среди этих несчастных созданий...

– Боже мой, госпожа маркиза, я привыкла наблюдать всякое по долгу службы, но в этой девушке все меня изумляет. Она здесь всего три дня, но уже приобрела влияние над другими узниками!

– За такое короткое время?

– Они испытывают к ней не только любопытство, но своего рода уважение.

– Как? Эти жалкие женщины?..

– У них своего рода инстинкт, благодаря которому они узнают, вернее догадываются о благородных качествах своих подруг по несчастью. Только обычно они ненавидят тех, чье превосходство им приходится признавать.

– И они ненавидят эту бедную девушку?

– Совсем наоборот; ни одна из них не знала ее, пока ее не привели сюда. Сначала их поразила ее красота: черты ее редкостной чистоты как бы затянуты дымкой трогательной и болезненной бледности; это печальное и нежное лицо вызвало у них скорее сочувствие, чем зависть. К

тому же она оказалась очень молчаливой, и это тоже удивило воровок и проституток, которые обычно стараются оглушить себя и других шумом, болтовней и беспорядочной суетой. И наконец, при всей ее сдержанности и достоинстве она выказала столько доброты и понимания, что все простили ей ее холодность. И это еще не все – вот уже месяц здесь содержат одну неукротимую особу по прозвищу Волчица, настолько у нее дикий, необузданный и хищный характер. Этой девице двадцать лет, она высокая, сильная, лицо у нее довольно красивое, но жестокое; нам часто приходится сажать ее в карцер за ее бесчинства. Как раз позавчера она вышла из одиночки, все еще разъяренная этим наказанием. Был час обеда, но несчастная девушка, о которой я говорю, ничего не ела. Она грустно спросила своих товарок: «Кто хочет взять мой хлеб?» «Я!» – первой сказала Волчица. «Я!» – закричала за ней уродливая до безобразия женщина по прозвищу Мон-Сен-Жан, над которой все смеются, а иногда и вымещают на ней злобу за нашей спиной, хотя она беременна на последних месяцах. Девушка отдала свой хлеб этой несчастной, несмотря на ярость Волчицы. «Но я же первая потребовала твою порцию!» злобно воскликнула та. – «Это правда, но бедная женщина беременна, и ей хлеб нужнее, чем вам», – ответила девушка. Тем не менее Волчица вырвала хлеб из рук Мон-Сен-Жан и принялась изрыгать проклятия, размахивая своим ножом. Все знали, как она опасна, и никто не посмел вступить за бедную Певунью, хотя все узники про себя сочувствовали ей.

– Как вы сказали ее зовут, сударыня?

– Певунья... Это имя или скорее прозвище, под которым была доставлена сюда моя подопечная, и надеюсь, скоро она будет вашей, госпожа маркиза... Здесь почти у всех только прозвища.

– Удивительно...

– На их уродливом жаргоне это означает: певица, потому что у нашей юной девушки, как говорят, очень красивый голос, и я охотно этому верю: она говорит так мелодично...

– Так как же она избавилась от этой гадкой Волчицы?

– Та разъярилась еще больше, видя хладнокровие Певунии, с проклятиями бросилась на нее и замахнулась ножом. Певунья бесстрашно взглянула в лицо этой необузданной фурии, улыбнулась ей с горечью и сказала своим ангельским голосом: «Убейте меня, убейте, я этого хочу... Только не заставляйте чересчур страдать!..» Эти слова, как передали мне, она произнесла с такой горечью и простотой, что почти у всех узниц брызнули слезы.

– Могу поверить, – сказала г-жа д'Арвиль с глубоким волнением.

– У самых дурных людей, – продолжала попечительница, – к счастью, сохраняются остатки добрых чувств. Услышав эти слова, проникнутые душераздирающей отрешенностью, Волчица была потрясена до глубины души, как сама позднее призналась; она швырнула нож на пол, оттолкнула его ногой и воскликнула: «Зря я тебе угрожала, Певунья, ведь я сильнее тебя; но ты не испугалась моего ножа, у тебя храброе сердце... А я люблю храбрецов! Поэтому теперь, если кто тронет тебя, будет иметь дело со мной!»

– Какой удивительный характер!

– Поступок Волчицы еще более усилил влияние Певунии, и сегодня, – случай, пожалуй, неслыханный! – почти никто из заключенных не обращается к ней на «ты»; большинство ее уважает, и многие стараются оказать разные мелкие услуги, которые возможны в тюрьме. Я порасспросила некоторых узниц из ее камеры, почему они относятся к Певунье с таким уважением. «Это сильнее нас, – отвечали они. – Сразу видно, что она не такая, как мы». – «Но кто вам это сказал?» – «Никто ничего не говорил. Это и так понятно». – «По каким же признакам?» – «По тысяче вещей. Вчера перед сном она встала на колени и помолилась. Если она молится, – сказала Волчица, – значит, имеет на это право».

– Какое странное замечание!

– Эти несчастные женщины лишены всякого религиозного чувства, но здесь они не позволяют себе святотатственных или оскверняющих слов. Вы увидите, сударыня, во всех наших залах своего рода алтари или статуи богородицы всегда окружены дарами или украшениями, которые делают сами узницы. Каждое воскресенье они ставят множество свечек с покаянными обещаниями. Те немногие, кто ходит в капеллу, ведут себя там вполне достойно, однако осталь-

ных вид святынь смущает или пугает. Что касается Певуньи, ее подруги по несчастью еще говорили мне: «Сразу видно, что она не похожа на других, – по ее нежному взгляду, по ее печали, по тому, как она говорит...» – «И еще, – подхватила вдруг Волчица, которая присутствовала при нашем разговоре, – она не может быть из наших, потому что сегодня утром... в камере, когда мы одевались при ней, нам почему-то стало стыдно...»

– Какая удивительная деликатность у этих падших созданий! – воскликнула маркиза.

– Да, сударыня, перед мужчинами или между собой они не знают стыда, но мучительно стесняются, если их застают полуголыми кто-нибудь из нас или благодетельниц, которые, как вы, посещают тюрьмы. Таким образом глубокий инстинкт целомудрия, заложенный в нас богом, проявляется у этих падших созданий перед лицом только тех, кто внушает им уважение.

– Одно утешение, что хоть какие-то добрые естественные чувства оказались в них сильнее всех бед и лишений.

– Несомненно, ибо эти женщины способны на преданность и верность, которые в иных, нормальных условиях сделали бы им честь... И еще, у них есть одно священное чувство, ради которого они не посчитаются ни с чем и не устроятся ничему, – это материнство; они гордятся им и радуются ему, лучших матерей не найти; они готовы заплатить любую цену, лишь бы оставить у себя своего ребенка, они готовы пойти на самые тяжкие жертвы, лишь бы самим его воспитать, ибо, как они говорят, это маленькое существо, может быть, единственное на свете, которое их не презирает.

– Неужели у них так глубоко чувство собственного падения?

– Никто не презирает их сильнее, чем они сами... Для тех, кто искренне раскаялся, пятно первородного позора остается несмываемым, даже когда они оказываются совсем в иных условиях и ведут чистую жизнь; а другие от мысли, что их грешная судьба неотвратима и неизменна, сходят с ума. Поэтому, сударыня, я не буду удивлена, если причиной глубокой скорби Певуньи окажутся угрызения совести подобного рода.

– Если это действительно так, какая же это мука для нее! Угрызения совести, которые ничто не может успокоить!

– К счастью, сударыня, и к чести рода человеческого, подобные угрызения посещают нас чаще, чем мы думаем; мстительная совесть никогда не засыпает до конца; или, вернее, как это ни странно, иногда мне кажется, что душа бодрствует, когда тело спит. В этом я снова убедилась этой ночью, наблюдая за моей подопечной.

– За Певуньей?

– Да, сударыня.

– Как же это было?

– Довольно часто, когда узницы уже спят, я обхожу камеры... Вы не можете представить, как меняются лица этих женщин, во сне! Многие из них, которые днем казались беззаботными, насмешливыми, наглыми, дерзкими, совершенно менялись, когда сон снимал с них маску деланного цинизма; ибо и порок, увы, имеет свою гордость! О сударыня, сколько печальных секретов открывали мне эти лица, унылые, мрачные и печальные! Сколько судорожных движений! Сколько стонов и вздохов невольно вырывали у них сновидения, несомненно связанные с неумолимой действительностью!.. Я вам только что рассказывала об этой неукротимой и неукрошенной Волчице. Две недели назад она грубо обругала меня перед всеми узницами; я пожалала плечами, и мое безразличие привело ее в ярость... И тогда, чтобы вернее ранить меня, она обрушила целый поток гнусной клеветы на мою мать... которая часто приходила ко мне...

– Боже, какой ужас!

– Признаюсь, как ни бессмысленна была эта брань, она причинила мне боль... Волчица, заметив это, восторжествовала. В тот же день около полуночи я совершала свой обход по камерам и остановилась около постели Волчицы, которую должны были отправить в карцер только утром. Я была поражена почти нежным выражением ее лица, обычно такого жестокого и дерзкого; сейчас оно казалось умоляющим, полным печали и раскаяния; губы ее были полуоткрыты, она тяжело дышала. И наконец, – я сама себе не поверила! – из-под век этой железной женщины скатились две крупные слезы! Я молча смотрела на нее несколько минут, когда вдруг услышала

ее голос: «Прости... Прости!.. Ее мать!..» Я прислушалась внимательнее, но среди невнятного бормотания спящей смогла разобрать только имя моей матери... госпожи Арман... которое она произнесла со вздохом.

– Она раскаивалась во сне в том, что оскорбила вашу мать...

– Я так и подумала, и это смягчило меня. Она, несомненно, хотела из глупого тщеславия показаться перед своими компаньонками еще более грубой и дерзкой, чем была на самом деле, и, может быть, добрый инстинкт заставил ее в этом раскаяться во сне.

– А наутро она высказала вам свое сожаление за вчерашнюю выходку?

– Ни малейшего. Она, как всегда, была груба, дика и вспыльчива. Но, уверяю вас, сударыня, ничто так не располагает к жалости, как эти ночные наблюдения, о которых я вам рассказываю. Я убеждаю себя, – может быть и напрасно? – что во сне эти несчастные становятся лучше, вернее, становятся самими собой, правда, со всеми их недостатками, но порою с добрыми побуждениями, которые днем они скрывают из порочной и глупой бравады. Все это заставляет меня думать, что эти создания в общем-то не такие уж злые и отвратительные, какими стараются казаться. Следуя этому убеждению, я не считаю этих женщин безвозвратно погибшими.

Маркиза д'Арвиль не могла скрыть своего изумления перед таким пониманием и глубокой проникательностью, соединенными с высокой человеческой добротой и разумной практичностью. И у кого? У какой-то скромной надзирательницы в тюрьме для воровок и проституток!

– Нужна немалая смелость и высокое благородство, – заговорила Клеманс после нескольких минут молчания, – чтобы не отступить перед таким неблагодарным делом, сулящим так мало надежды на успех.

– О нет, уверяю вас: другие делают то же самое, но только гораздо умнее и успешнее, чем я... – Взять хотя бы мою знакомую надзирательницу из другого корпуса Сен-Лазар для осужденных за различные преступления – она бы вас наверняка больше заинтересовала... Сегодня утром она рассказала мне об одной юной девушке, которую обвиняют в детоубийстве. Я еще никогда не слышала ничего печальнее и страшнее! Отец этой несчастной девушки, честный гранильщик-ювелир, сошел с ума, узнав о позоре своей дочери. Семья ее жила в ужасающей нищете в жалкой мансарде на улице Тампль.

– Улица Тампль!.. – с удивлением воскликнула маркиза. – Как зовут этого ремесленника?

– Имя его дочери Луиза Морель...

– Так оно и есть!

– Она была в услужении у почтенного человека, нотариуса Жака Феррана.

– Мне рекомендовали эту несчастную семью, – проговорила Клеманс, покраснев. – Но я даже не думала, что ее постигнет еще один страшный удар... Так что Луиза Морель?

– Она утверждает, что невиновна, говорит, что ее ребенок родился мертвым, и слова ее звучат правдиво. Поскольку вы интересуетесь этой семьей, госпожа маркиза, может, вы будете так добры и повидаетесь с этой несчастной, чтобы хоть немного её успокоить, потому что она в полном отчаянии.

– Конечно, я ее увижу; у меня будет здесь две подопечных вместо одной. Певунья и Луиза Морель, потому что все, что вы рассказали мне об этой бедной девушке, меня глубоко тронуло... Но что нужно сделать, чтобы добиться ее освобождения? Потом я нашла бы ей место и позаботилась о ее будущем...

– С вашими связями, госпожа маркиза, вы легко добьетесь, чтобы ее выпустили из тюрьмы не сегодня, так завтра: это зависит только от воли господина префекта полиции... Он не откажет в просьбе такой значительной особе, как вы. Но мы забыли про Певунью. Должна вам признаться, что меня не удивит, если окажется, что помимо раскаяния и стыда ее мучит еще одна боль, не менее жестокая...

– Что вы имеете в виду?

– Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, эта юная девушка, каким-то чудом спасенная из бездн порока, куда ее бросили, полюбила кого-то... и сейчас любит искренне и чисто, и это ее счастье и ее мучение...

– Почему вы так думаете?

– Вчера вечером во время обхода камер я приблизилась к кровати Певуньи; она спала глубоким сном. Некоторое время я смотрела с нежностью на ее ангельское личико, когда она вдруг тихо произнесла с почтением, печалью и любовью одно имя. Вам я могу доверить эту тайну, госпожа маркиза. Она произнесла: Родольф.

– Родольф! – воскликнула маркиза, сразу вспомнив о принце.

Потом она подумала, что его высочество великий герцог Герольштейна вряд ли имеет какое-нибудь отношение к «Ро-дольфу» бедняжки Певуньи, и сказала надзирательнице, явно удивленной ее восклицанием:

– Это имя удивило меня, потому что по странной случайности так зовут и одного из моих родственников. Но все, что вы рассказываете о Певунье, меня интересует все больше и больше... Могу я ее увидеть сегодня... сейчас?

– Да, госпожа маркиза, я схожу за ней, если вы того желаете. Я могу также узнать о Луизе Морель, хотя она в другом отделении тюрьмы.

– Буду вам очень признательна, сударыня, – ответила Клеманс и осталась одна.

Глава VII МОН-СЕН-ЖАН

Часы тюрьмы Сен-Лазар пробили два пополудни.

Несколько дней было очень холодно, но теперь потеплело, погода стала мягкой, почти весенней; лучи солнца отражались в воде бассейна – большой каменной чаши, расположенной в середине двора со старыми деревьями; двор был окружен высокими почерневшими стенами с многочисленными зарешеченными окнами. Тут и там стояли скамейки, вкопанные по сторонам этого мощеного двора, который служил местом прогулок для арестанток.

Звон колокола объявил о начале прогулки, тяжелая дверь с окошечками распахнулась, и арестантки высыпали гурьбой на двор.

Эти женщины носили одинаковую форму: черные чепчики и длинные холщовые балахоны синего цвета с поясами и железными пряжками. Их было сотни две, этих проституток, которые преступили изданные для них ограничения, а потому стали нарушительницами общественного порядка.

С первого взгляда в них не было ничего особенного, но, если приглядеться внимательно, почти на всех лицах был неизгладимый отпечаток порока и тупого равнодушия, которое приносят безграмотность и нищета.

При виде этого сборища потерянных созданий невольно возникала грустная мысль, что некоторые из них были когда-то чистыми и честными. Мы делаем эту оговорку потому, что большинство из них было опорочено, развращено и приучено к разврату не только с юности, но с самого раннего детства, как мы увидим позднее, даже с самого рождения, если так можно сказать...

Невольно вопрошаешь себя с горьким любопытством, какая же цепь роковых обстоятельств могла привести на тюремный двор этих несчастных, которые были когда-то скромными и целомудренными?

Сколько же разных наклонных стоков сбросило их в эту помойку!

Реже всего – стремление к разврату ради разврата, но гораздо чаще – безразличие ко всему, дурной пример, неправильное воспитание, а главное – голод, который обрекал этих несчастных на крайнее унижение, ибо только бедняки платят нашей цивилизации этот налог душой и телом.

Когда узницы с криками и воплями высыпали на свободу, сразу стало видно, что их обрдовала не только прогулка, не только возможность размяться после мастерских. Они вырвались на двор через единственную дверь, и тотчас эта шумная толпа расступилась и с насмешками окружила одно бесформенное несчастное существо.

Это была женщина лет тридцати пяти – сорока, низенькая, коренастая, кривобокая, с головой, вжатой в плечи. С нее сорвали чепчик, и ее белокурые, вернее тускло-желтые, с седыми

прядями волосы, растрепанные и спутанные, падали на ее тупое лицо с низким лобиком. Она была в таком же синем балахоне, как другие арестантки, и держала под мышкой правой руки маленький узелок, завернутый в грязную клетчатую тряпку. И старалась, как могла, защищаться левой рукой от сыпавшихся на ее побоев.

Трудно представить более смешное и горестное зрелище, чем эта бедолага; ее нелепое и уродливое землистого цвета лицо, похожее на крысиную мордочку с двумя дырочками ноздрей и двумя щелочками слезливых, покрасневших глаз, было сморщенным и грязным; она то вспыхивала от ярости, то умоляла, огрызалась и нападала, но над ее мольбами смеялись еще больше, чем над угрозами.

Эта женщина была игрушкой арестанток.

Ее могло бы защитить от нападков то, что она была беременна.

Однако ее уродство, ее тупость и привычка смотреть на нее как на жертву, отданную на забаву им всем, делали ее мучительниц безжалостными, несмотря на то, что она вскоре должна была стать матерью.

Среди самых жестоких мучительниц Мон-Сен-Жан – таково было прозвище этой несчастной, – особенно отличалась Волчица.

Это была высокая девушка лет двадцати, подвижная, гибкая и очень сильная, с довольно правильными чертами лица. В ее жестких черных волосах мелькали рыжие нити; горячая кровь окрашивала щеки румянцем, черный пушок оттенял чувственные губы; густые взъерошенные брови темно-каштанового цвета соединялись над большими желтовато-карими глазами. Что-то дикое, свирепое и звериное было во всем облике этой женщины; хищный оскал приподнимал ее верхнюю губу, когда она злилась, открывая белые редкие зубы и клыки, – за это ее и прозвали Волчицей.

И все же ее лицо выражало больше дерзости и храбрости, чем жестокости. Одним словом, эта женщина, хотя и падшая, вовсе не была такой порочной и сохранила в душе добрые чувства, как об этом сказала надзирательница г-же д'Арвиль.

– Боже мой! Боже мой! Что я вам сделала? – кричала Мон-Сен-Жан, отбиваясь от своих мучительниц. – Почему вы терзаете меня?

– Потому что это нас забавляет!

– Потому что ты на то и пригодна, чтобы тебя мучить!

– Твое дело такое...

– Посмотри на себя и поймешь, что тебе не на что жаловаться!

– Но вы же видите, я не жалуюсь... я страдаю, как могу...

– Ладно, оставим тебя в покое, если ты скажешь, почему тебя называют Мон-Сен-Жан.

– Да, да, расскажи-ка нам это!

– О господи, я говорила тысячу раз: так звали моего солдата, потому что его когда-то ранили в сражении под Мон-Сен-Жан... Я взяла его имя, вот и все... Теперь вы довольны? Зачем вы заставляете меня повторять одно и то же?

– Если он походил на тебя, он, наверное, был милашкой, твой солдатик?

– Наверное, он был инвалидом, ни на что не способным...

– Огрызком мужчины...

– Сколько у него было стеклянных глаз?

– А сколько носов из жести?

– У него, должно быть, было две ноги и две руки, но не было глаз и ушей, раз он польстился на такую, как ты!

– Да, я знаю, я совсем уродка, что поделаешь? Говорите мне любые глупости, насмехайтесь, как вам хочется, но только не бейте меня, об одном вас прошу...

– А что у тебя в этом драном узелке? – спросила Волчица.

– Да... да... что у тебя в узелке?

– Пусть покажет!

– Посмотрим... посмотрим!

– О нет, умоляю вас! – воскликнула несчастная, прижимая изо всех сил к груди маленький

узелок.

– Надо отнять его...

– Да, вырви его у нее, Волчица!

– Господи, какие вы злые... Делайте со мной что хотите, но оставьте это мне, прошу вас...
прошу...

– А что это такое?

– Я начала собирать приданое для моего ребенка... пеленочки... Я их делала из старых лоскутков, которые никому не нужны... а я их подбирала... Разве вам не все равно?

– О, приданое для новорожденного госпожи Мон-Сен-Жан! Должно быть, роскошное!

– Давайте посмотрим.

– Приданое... приданое!

– Она, наверное, примеряла его на собачку привратницы...

– Вот вам, держите это приданое! – закричала Волчица, вырывая маленький узелок из рук Мон-Сен-Жан.

Ветхий платок, в которое все это было завернуто, разорвался, и со всех сторон полетели разноцветные лоскутки и раскрытые кусочки холста; они разлетелись по двору, и арестантки с хохотом и криками принялись их топтать.

– Какое тряпье!

– словно из короба мусорщика!

– А вот еще, откуда эти лохмотья?

– Да, прямо лавочка старьевщика...

– И она еще это сшивала!

– Здесь больше ниток, чем материи...

– Настоящие кружева!

– На, держи свои тряпки, Мон-Сен-Жан!

– Какие вы злые! – кричала несчастная уродка, гоняясь по двору за своими лоскутками и стараясь подобрать их, несмотря на пинки и толчки, которые сыпались на нее со всех сторон. – Какие же вы злые! Я ведь никому не делала ничего плохого, – продолжала она, обливаясь слезами. – Я все исполняла вместо вас, только бы оставили меня в покое, отдавала половину пайка, хотя сама умирала с голоду... И теперь... За что это мне? Что мне делать, чтобы вы оставили меня? О господи, у них нет жалости к несчастной маленькой беременной женщине... Надо же быть такими жестокими, хуже диких зверей... Мне было так трудно собрать все эти лоскутки! А из, чего бы мне сшить приданое для моего ребенка, если я ничего не могу купить? Ну кому я помешала, если подбирала всякие тряпочки, которые никому не нужны?

Но тут она увидела Певунью и воскликнула с надеждой:

– О, вы пришли... значит, я спасена! Поговорите с ними, Певунья, они вас послушают, потому что любят вас также, как меня презирают.

Певунья одной из последних вышла на двор для прогулок.

На ней был такой же синий балахон и черный чепчик, как на всех арестантках, но эта грубая одежда только оттеняла ее очарование и красоту. Однако после ее похищения с фермы Букеваль, – о последствиях которого мы расскажем позднее, – черты ее резко изменились: лицо ее, изредка окрашенное легким румянцем, теперь стало белым, как алебастр, и выражение его изменилось: оно приобрело достоинство и глубокую печаль. Лилия-Мария чувствовала, что, если она храбро пройдет все мучительные испытания очищения, она, может быть, будет оправдана и прощена.

– Попросите их, чтобы они пожалели меня, Певунья! – обратилась к ней Мон-Сен-Жан. – Посмотрите, как они разбрасывают по двору все, что я собрала с таким трудом на приданое для моего ребенка... Чему они так радуются?

Лилия-Мария не ответила ни слова, но принялась быстро подбирать из-под ног арестанток лоскутки.

Одна из них нарочно наступила своим сабо на выгоревшую детскую кофточку из грубого полотна. Лилия-Мария, не поднимая головы, сказала ей своим тихим, нежным голосом:

– Прошу вас, позвольте мне взять это ради бедной женщины, она плачет...

Арестантка отдернула ногу.

Кофточка была спасена, как почти все другие лоскутки, которые Певунья подбирала один за другим.

Ей осталось взять маленький детский чепчик, который со смехом вырывали друг у друга две проститутки. Лилия-Мария сказала им:

– Прошу вас, будьте добры, отдайте ей этот чепчик!

– Ну да, конечно, для клоуна в тельняшке этот чепчик! Он же сшит из старого серого матраса с черно-зелеными полосками!

И это было правдой.

Такое описание чепчика вызвало взрыв хохота и восторженных воплей.

– Насмехайтесь как хотите, но отдайте его мне! – взмолилась Мон-Сен-Жан. – Только не бросайте его в сточную канаву, как все остальное... Спасибо, что вы запачкали для меня свои ручки, Певунья, – добавила она с благодарностью.

– А ну-ка дайте мне этот клоунский колпачок! – воскликнула Волчица, выхватив чепчик и с торжеством подбросив его в воздух.

– Молю вас, верните его мне, – попросила Певунья.

– Нет, я отдам его самой Мон-Сен-Жан!

– Что ж, прекрасно.

– О, ха-ха! Стоит ли этого такая тряпка?

– У Мон-Сен-Жан нет ничего, кроме этих тряпок, и у нее нет больше денег, чтобы одеть своего ребенка, и вы должны пожалеть ее, Волчица... – проговорила Лилия-Мария, протягивая руку к несчастному чепчику.

– Вы его не получите! – грубо ответила Волчица. – Что мы, обязаны всегда вам уступать, потому что вы слабее нас всех? Вы этим пользуетесь...

– Какая же честь мне уступать... если бы я была самой сильной, – ответила Певунья с горькой усмешкой и сожалением.

– Нет! Вы хотите снова околдовать нас вашим нежным голоском... Нет, больше этого не получится!

– Послушайте, Волчица, прошу вас...

– Оставьте меня в покое, вы мне надоели!

– Прошу вас...

– Довольно! Не выводите меня из терпения... Я сказала нет, значит, нет! – воскликнула Волчица вне себя от ярости.

– Но сжальтесь над нею... посмотрите, как она плачет!

– А что мне до этого! Тем хуже для нее. Она ведь наша, как это говорится, страдалница за всех!

– Да, в самом деле, правда не надо было отдавать ей ее лоскутки, – загудели арестантки, увлеченные примером Волчицы. – Чем хуже для этой Мон-Сен-Жан, тем лучше!

– Да, вы правы, тем хуже для нее! – ответила Лилия-Мария с горечью. – Она для вас – вроде игрушки... Она смирилась, ее страдания доставляют вам радость... Ее слезы вызывают у вас смех... Вам ведь больше нечем развлечься? Ее можно убить на месте, и она не пожалуется... Да, вы правы, Волчица, это справедливо!.. Несчастливая эта женщина никому не сделала зла, она не может защищаться, она одна против всех... Вы ее мучаете, терзаете, – как это достойно и храбро!

– Значит, мы трусихи! – вскричала Волчица в порыве гнева, а главное потому, что не терпела, чтобы ей противоречили. – Отвечай нам, значит, мы трусихи, да? Отвечай! – повторяла она, все более разъярясь.

Толпа гудела, слышались угрожающие выкрики.

Оскорбленные арестантки сдвинулись вокруг Певуньи с ненавистью, а может быть, с каким-то горьким сожалением, что эта юная девушка была среди них не своей, оказывала на них какое-то странное, благотворное влияние.

- Она обозвала нас трусливыми?
- Какое право имеет она судить нас?
- Разве она не такая, как мы все?
- Мы с ней нежничали, да слишком!
- А теперь она перед нами важничает!
- Ну и что? Если нам нравится помучить немножко эту Мон-Сен-Жан, ей-то какое дело?
- Если у тебя такая заступница, мы тебя еще больше излупим, слышишь, Мон-Сен-Жан?
- И вот тебе для начала! – воскликнула одна из арестанток, ударив несчастную кулаком.
- А если ты влезешь в это дело, которое тебя не касается, Певунья, получишь то же самое!
- Да, да! Получишь!

– И это еще не все! – закричала Волчица. – Она обозвала нас трусливыми! Пусть просит у нас прощения! Если мы ее так отпустим, она же нас заставит бегать за своим хвостом. Какие же мы дуры, что раньше этого не заметили!

- Да, пусть просит у нас прощения!
- На коленях!
- На двух коленях и кланаясь!..
- Иначе мы с тобой разделаемся как с твоей подопечной, этой Мон-Сен-Жан!
- Значит, мы трусихи?
- Повтори это еще раз!

Лилию-Марию не тронули злобные выкрики; она выждала, чтобы это вспышка утихомирилась; и когда ее голос мог быть услышан, ответила Волчице, которая все еще выкрикивала:

- Посмей еще раз сказать, что мы трусливые твари!

Лилия-Мария обвела арестанток своим грустным и спокойным взглядом и сказала:

– Вас обвинить в трусости? Я? Нет, я говорила об этой несчастной женщине, которую вы били, рвали на ней одежду, втоптывали ее в грязь, – это она оказалась трусливой... Разве вы не видите, как она плачет, как дрожит, глядя на вас? Еще раз говорю вам: она трусиха, потому что боится вас!

Инстинкт Лилии-Марии сослужил ей огромную службу. Если бы она возвала к справедливости и долгу, чтобы утихомирить грубое и глупое ожесточение арестанток, она бы не добилась цели. Но сейчас она тронула их, обращаясь к их природному великодушию, которое никогда не угасает до конца даже в самых ожесточенных сердцах.

Волчица и ее подружки поворчали немного, но в душе признавались, что вели себя недостойно, трусливо. Лилия-Мария, желая закрепить эту первую победу, продолжала:

– Ваша несчастная жертва не заслуживает жалости, говорите вы. Но, господа, ведь ее ребенок заслуживает жалости и сострадания! Господа, разве он не чувствует ударов, которые вы наносите его матери? Когда она умоляет вас пожалеть ее, это ведь это не для себя, а ради своего ребенка! Когда она просит у вас корочку хлеба, если у вас немного остается, – это потому, что она голоднее вас, это потому, что ей нужно еще немного для своего ребенка... Когда она умоляет вас со слезами на глазах вернуть ей эти лохмотья, которые она собирала с таким трудом – это не для нее, а для ее ребенка! Этот маленький чепчик из лоскутков и кусочков от старого матраса, этот жалкий чепчик, над которым вы так смеялись... Может быть, он и в самом деле смешной, но, когда я увидела его, признаюсь, мне захотелось плакать... Что ж, если хотите, посмейтесь надо мной и над Мон-Сен-Жан.

Но никто из арестанток не засмеялся.

Волчица с печалью смотрела на маленький детский чепчик, который остался у нее.

– Боже мой! – продолжала Лилия-Мария, утирая слезы тыльной стороной своей белой и тонкой руки. – Я же знаю, что вы добрые... Вы мучили Мон-Сен-Жан от скуки, а не потому, что вы жестокие... Но вы забыли, что их двое... она и ее ребенок. Скоро она возьмет его на руки и будет защищать от всех вас! И вы не только не ударите ее, боясь задеть невинного младенца, вы отдадите матери, все, чтобы она могла уберечь его от холода... Скажи, Волчица!

– Да, это правда... Младенец... Кто не пожалеет маленького?

– Ведь это так просто...

– Если бы он был голоден, вы бы отдали ему свой кусок хлеба, не правда ли, Волчица?

– Да, и с легким сердцем... Я же не хуже других.

– И мы тоже!..

– Невинный бедняжка!

– Да у кого рука поднимется, чтобы причинить ему зло?

– Это же злодейство!

– Бессердечие!

– Даже дикие звери...

– Я была права, – продолжала Лилия-Мария, – когда говорила, вам, что вы совсем не злые, вы добрые, просто вы не подумали, что Мон-Сен-Жан пока еще не носит своего ребенка на руках, чтобы вас разжалобить, но уже носит его в своем чреве... вот и все.

– Все? – с волнением воскликнула Волчица. – Нет, далеко не все! Вы были правы, Певунья! Мы и в самом деле трусливые девки, и у вас хватило смелости сказать это нам и не побояться ничего после того, как вы это сказали. Видите ли, сколько бы мы ни говорили и ни спорили, все равно приходится признавать, что вы не такая, как мы, не из наших. Обидно, но что поделаешь... Мы тут сейчас были неправы... Вы оказались храбрее нас всех...

– Да, в самом деле, этой блондиночке нужно было набраться смелости, чтобы сказать нам всю правду в лицо...

– Но ее голубые глазки, такие нежные, такие сладкие, когда в них посмотришь...

– Отважные, как два львенка!

– Бедняжка Мон-Сен-Жан, она теперь должна поставить ей такую свечу за свое спасение!..

– А правда ведь, когда мы колотили эту несчастную Мон-Сен-Жан, мы вроде как бы били ее ребенка...

– Я об этом не подумала.

– Я тоже.

– А Певунья подумала обо всем.

– Ударить ребенка... Как это страшно!

– Никто из нас на такое не пойдет.

Нет ничего более переменчивого, чем страсти толпы, ее внезапные обращения от зла к добру и от добра ко злу.

Несколько простых и трогательных слов Лилии-Марии вернули сочувствие к Мон-Сен-Жан, которая рыдала от умиления.

Все были искренне взволнованы, потому что, как мы уже говорили, все, что связано с материнством, пробуждало самые добрые и живые чувства даже в сердцах этих заблудших созданий.

И тогда Волчица, свирепая и озлобленная на весь белый свет, смяла маленький чепчик, который держала в руках так, чтобы он походил на кошелек, и бросила в него двадцать су.

– Я кладу двадцать су на приданое младенцу Мон-Сен-Жан! – закричала она, показывая чепчик своим компаньонкам. – Только на материю! Мы покроим и сошьем все сами, чтобы это ей ничего не стоило...

– Да! Да!

– Правильно!.. Давайте скинемся...

– Я тоже в доле!

– Она страшна как бог знает что, но все-таки она мать...

– Певунья права, сердце может разорваться, когда глядишь на эти лоскутки, из которых несчастная собиралась шить пеленочки...

– Я даю десять су.

– А я – тридцать.

– А я – двадцать.

– Я только четыре су... у меня больше нет.

– А у меня нет ничего, но я продаю свою завтрашнюю порцию в общий котел... Кто купит?

– Я покупаю, – ответила Волчица. – Кладу за тебя десять су, но твоя порция останется тебе,

а у Мон-Сен-Жан будет приданое, как у принцессы.

Невозможно выразить изумление и радость Мон-Сен-Жан; ее уродливое, клоунское лицо, залитое слезами, стало почти трогательным. Оно сияло от признательности и счастья.

Лилия-Мария тоже была бесконечно счастлива, но все же сказала Волчице, когда та протянула ей чепчик с монетами:

– У меня нет денег, но я буду работать сколько понадобится...

– Ах вы, мой ангелочек небесный! – воскликнула Мон-Сен-Жан, бросаясь перед ней на колени и пытаясь схватить ее руку, чтобы поцеловать. – Чем я заслужила, что вы так милосердны ко мне и все эти дамы тоже? Неужели это возможно, о господи, что мой ребенок получит приданое, настоящее приданое, все, что ему понадобится? Кто бы мог поверить! Я бы с ума сошла, это точно. Я только что была грязной тряпкой, об которую все вытирали ноги! И сразу, вдруг, потому что вы им сказали... всего несколько слов... своим тихим ангельским голосом... все они отворотились от зла к добру... все любят меня... И я тоже всех люблю. Они такие добрые! Я напрасно на них сердилась. Какая же я – глупая, несправедливая и неблагодарная! Ведь если они помыкали мной, так это в шутку, для смеха, они не хотели мне зла, это только для моего же блага, и вот доказательство! О, если теперь меня прикончат на месте, я даже не охну. Зря я вас всех подозревала.

– У нас восемьдесят восемь франков и четыре су, – объявила Волчица, подсчитав все собранные деньги, которые она сложила в маленький чепчик.

– Кто у нас будет кассиршей, пока мы не истратим эти деньги на приданое? Кто? – закричали арестантки.

– Если вы верите мне, – сказала Лилия-Мария, – я бы отдала эти деньги госпоже Арман и поручила ей купить все необходимое для детского приданого. А потом, кто знает, госпожа Арман, может быть, оценит ваш добрый поступок и попросит сбавить на несколько дней сроки заключения для тех, кто хорошо себя ведет... Так что же, Волчица, – добавила Лилия-Мария, беря под руку свою подругу, – разве теперь вам не лучше, чем тогда, когда вы раскидывали и топтали жалкие лоскутки этой Мон-Сен-Жан?

Сначала Волчица ничего не ответила.

Великодушный порыв, который на несколько мгновений одушевил ее лицо, уступил место звериной подозрительности.

Лилия-Мария смотрела на нее с удивлением, не понимая причины столь резкой перемены.

– Пойдемте, Певунья... мне надо с вами поговорить, – с мрачным видом сказала Волчица.

Выйдя из толпы арестанток, она резко потянула за собой Лилию-Марию и почти потащила к облицованному камнем бассейну, устроенному посреди прогулочного двора. За ним стояла скамья.

Волчица и Певунья сели на скамейку и оказались как бы отделенными от своих подруг.

Глава VIII ВОЛЧИЦА И ПЕВУНЬЯ

Мы свято верим, что существуют такие властные натуры, которые могут влиять на толпу, и они настолько могущественны, что способны подвигнуть ее на злое или на доброе дело.

Одни, бесстрашные, дерзкие и непокорные, возбуждают самые низкие страсти, – их вздымает на поверхность, как ураган поднимает пену над волнами; однако эти волны хоть и высоки, но быстро опадают. За взлетом ярости следует тихая боль, скрытая горечь, которые только усиливают печаль несчастной души. Похмелье после взрыва ярости всегда тяжело, пробуждение всегда мучительно.

Волчица, если хотите, была примером именно такого ужасного воздействия.

Другие натуры, гораздо более редкие, потому что у них инстинкты облагорожены разумом и разум сочетается с душевностью, другие, еще раз скажем, способны склонить к добру, так же как первые – ко злу. Благотворное влияние проникает в души, как солнечные лучи с их живительным теплом... как свежая ночная роса возрождает иссушенную жаждой землю.

Лилия-Мария, если хотите, была примером воздействия благотельного.

Добро не проникает в душу так быстро, как соблазны зла, но оно действует хоть и медленно, но верно. Оно, как благовонное умщение, постепенно ублажает, успокаивает и смягчает зачерствевшую душу и возвращает ей необъяснимое это счастье чистоты.

Но, к несчастью, очарование это длится недолго.

Мельком увидев небесное сияние, ожесточенные души снова погружаются во мрак своей обычной жизни: воспоминания о сладостных радостях, которые их посетили на минуту, быстро забываются. Но иногда они все же пытаются их вспомнить, хотя бы смутно, как мы вспоминаем невнятную колыбельную, которая укачивала нас в далеком счастливом детстве.

Благодаря доброму делу, которое подсказала Певунья, многие испытывали это чувство мимолетного счастья, но оно особенно затронуло Волчицу. Однако она, по причинам, о которых мы расскажем, была ранена гораздо более, чем все остальные арестантки, и восприняла гораздо глубже этот благородный урок.

Можно, конечно, удивляться, как это Лилия-Мария, еще недавно такая безвольная и плаксивая, вдруг стала храброй и решительной, но надо не забывать, какое благородное воспитание она получила на ферме Букеваль и как оно быстро развило редкие природные качества ее чудесного характера.

Лилия-Мария понимала, что нечего зря оплакивать прошлое и что, только делая добро или подвигая на него других, она может искупить свою вину.

Как мы уже сказали, Волчица села на деревянную скамью рядом с Певуньей.

Эта близость двух юных женщин являла разительный контраст.

Их освещали бледные лучи зимнего солнца; в чистом небе всплывали маленькие белые и курчавые облачка; птички, обрадованные недолгим теплом, щебетали среди черных ветвей старого каштана; самые храбрые и отчаянные воробышки купались и пили воду в ручейке, вытекавшем из переполненного бассейна; зеленый мох покрывал плиты по его краям; между этими камнями в широких щелях проросли пучки травы и водяных растений, еще не погубленных заморозками.

Описание этого маленького водоема на прогулочном дворе тюрьмы Сен-Лазар может показаться ребячеством, однако Лилия-Мария запоминала каждую подробность; она смотрела на эту зелень и прозрачную воду, в которой отражались бегущие облака и золотой отсвет солнца, и думала, вздыхая, о великолепии природы, которую так любила, которой так восхищалась всей страстью своей поэтической души и которой была лишена.

– Что вы хотели сказать мне? – спросила Певунья свою подругу, сидевшую рядом с ней в суровом молчании.

– Нам пора объясниться! – гневно воскликнула Волчица. – Это не может так продолжаться!

– Я вас не понимаю, Волчица.

– Только что там, на дворе, я сказала себе, из-за этой Мон-Сен-Жан: я больше не стану уступать тебе, Певунья, и все-таки я уступила...

– Но при чем же я?..

– А при том, что это не может так продолжаться!

– Что вы имеете против меня, Волчица?

– А то... что я сама не своя после того, как вы здесь появились. У меня ни сердца, ни злости, ни храбрости...

Она замолчала на миг, затем вдруг, засучив рукав, показала на своей белой, мускулистой, покрытой черным пушком руке неизгладимую татуировку – изображение кинжала, вонзенного наполовину в окровавленное сердце, а под ним – наколотые слова: «Смерть трусам! Марсиаль. Н. В. На всю жизнь».

– Вы видите это? – вскричала Волчица.

– Да, и это ужасно... и пугает меня, – ответила Певунья, отворачиваясь.

– Когда Марсиаль, мой любовник, выколол мне на руке раскаленной иглой эти слова: «Смерть трусам!» – он верил, что я никогда не струшу. Но если бы он знал, как я вела себя последние три дня, он бы вонзил кинжал в мою грудь, как этот кинжал в это сердце... и он был бы

прав, потому что написал: «Смерть трусам!» А я оказалась трусихой...

– В чем же вы трусили?

– Во всем...

– Вы жалеете о своем добром поступке?

– Да...

– Нет, я не верю вам...

– Да, я жалею об этом, потому что это еще одно доказательство, что вы что-то делаете со всеми нами. Разве вы не слышали, как эта Мон-Сен-Жан благодарила вас, стоя на коленях?

– Что же она говорила?

– Она сказала: «Одно ваше слово отвратило нас от зла и подвигло к добру». Я бы ее задушила... если бы, к моему стыду, это не было правдой. Да, в мгновение ока вы можете белое сделать черным, и наоборот, мы слушаем вас, доверяемся первому порыву... и остаемся в дураках... как вот сейчас...

– Я одурачила вас?.. Только потому, что хотела великодушно помочь этой несчастной женщине?

– Речь не об этом! – гневно вскричала Волчица. – До сих пор я ни перед кем не склоняла голову... Волчицей меня прозвали, и я заслужила это имя... Многие женщины носят отметки моих клыков... и мужчины тоже. И никто не скажет, чтобы такая девчонка, как вы, укротила меня!..

– Я? Но как же это?

– Откуда я знаю как!.. Вы тут появляетесь... Вы начинаете оскорблять меня...

– Вас оскорблять?..

– Да... Вы спрашиваете, кому нужна ваша пайка хлеба... Я первая отвечаю: мне!.. Мон-Сен-Жан попросила только после меня, но вы отдали хлеб ей... Я была в ярости, бросилась на вас с ножом...

– А я вам сказала: убейте меня, если хотите, но только не заставляйте мучиться, – припомнила Певунья. – Вот и все.

– Все? Да, в самом деле, все. Но из-за этих слов нож выпал у меня из рук! И я просила у вас прощения, у вас, что меня оскорбила!.. Что же будет дальше? Когда я прихожу в себя, прямо хоть плачь! А вечером, когда вас привели сюда, вы стали на колени помолиться, а я, вместо того чтобы посмеяться над вами, поднять на ноги всех подружек, почему я сказала: «Оставьте ее в покое... она имеет право молиться...»? И почему на завтра я и все другие застыдились одеваться перед вами?

– Я, право, не знаю, Волчица.

– В самом деле? – воскликнула со смехом эта необузданная женщина. – Вы этого не знаете? Может быть, потому, что вы другой породы, как мы это говорим в шутку? Может, вы сами в это верите?

– Я никогда не говорила, что верю в это.

– Да, не говорили... но про себя-то верили!

– Прошу вас, послушайте меня...

– Нет уж, я вас наслушалась, насмотрелась на вас, да что от этого толку? До сих пор я никому никогда не завидовала, а теперь... Надо же быть такой трусливой и глупой!.. Два-три раза я ловила себя на мысли... что завидую вашему лицу непорочной девы, вашему печальному и нежному личику... Да, я завидовала даже вашим белокурым волосам, вашим голубым глазам, и это я, которая всегда презирала блондинок, потому что я брюнетка... Мне хотелось походить на вас, мне, Волчице!.. Неделью назад я бы пометила моими клыками ту, кто посмел бы мне это сказать... И все же ваша участь мало кого может соблазнить: вы печальны, как Магдалина. Кому это нужно?

– Разве я виновата, что вы обо мне так думаете?

– О, вы прекрасно знаете, что делаете... с вашим видом невинной недотроги...

– В чем же вы меня подозреваете?

– Откуда мне знать? Вот потому, что я не понимаю, я остерегаюсь вас. И еще одно: до сих

пор я всегда была весела или зла... но никогда не задумывалась... А вы меня заставили задуматься. Да, вы говорили слова, которые тревожили мне душу и невольно заставляли вспоминать самое грустное.

– Мне жаль, что я, может быть, чем-то огорчила вас, но, поверьте, Волчица, если я и сказала что-то такое...

– О господи! – гневно воскликнула Волчица, нетерпеливо прерывая свою подругу. – Все, что вы говорите и делаете, порой выворачивает душу!.. Вы так ловко это умеете!..

– Не сердитесь, Волчица... Лучше объясните.

– Вчера в мастерской я вас хорошо разглядела. Вы сидели опустив голову и смотрели на свое шитье... и тогда из ваших опущенных глаз скатилась вам на руку крупная слеза; вы посмотрели на нее, поднесли руку к губам, словно чтобы поцеловать эту слезу, а не вытереть ее... Это правда?

– Да, правда, – ответила Певунья.

– Вроде бы ничего не случилось, но у вас был такой несчастный вид, такой несчастный, что у меня все перевернулось в душе... Ну скажите, разве это не смешно? Я всегда была каменной, никто не видел у меня на глазах ни слезинки, а тут... от одного взгляда на вашу заплаканную мордашку я почувствовала, как сердце мое слабеет, становится жалким и трусливым... Да, потому что все это трусость! И доказательство тому – что вот уже три дня не решаюсь писать Марсиалью, моему любовнику, потому что совесть моя не чиста... Да, да, наше с вами знакомство размягчило мне душу, и пора с этим кончать! С меня хватит, это плохо кончится... я за себя не отвечаю. Я хочу остаться, какая есть, и не позволю насмехаться над собой!..

– Зачем же над вами насмехаться?

– Черт возьми! Да потому что я стала добренькой дурочкой, это я, перед кем здесь все трепетали! Нет, не бывать этому! Мне всего двадцать лет, я так же красива, как и вы, только по-своему, я злая, меня все боятся, а мне этого только и надо... А на все остальное мне наплевать, и пусть подохнет тот, кто думает иначе!..

– Вы почему-то сердитесь на меня, Волчица?

– Да, вы для меня – скверное знакомство. Через две недели, если так будет продолжаться, меня начнут называть не Волчицей... а кроткой овечкой. Нет уж, спасибо, меня так никогда не перекрестят... Марсиаль убил бы меня. И наконец, я не хочу с вами больше знать: чтобы не видеть вас, я попрошусь в другую камеру, а если откажут, выкину какую-нибудь злую шутку, чтобы меня засадили в одиночку до окончания моего срока... Вот что я хотела сказать вам, Певунья.

Лилия-Мария поняла, что подруга, чье сердце еще не очерствело, боролась с самой собой, сопротивлялась лучшим своим побуждениям. Несомненно, эти лучшие побуждения проснулись в ней из сочувствия и любопытства, которые невольно возбуждала Лилия-Мария. К счастью для людей, – повторим еще раз, – редкие, но блистательные примеры убеждают нас, что существуют избранные души, обладающие такой притягательностью, что даже самые упрямые и закоренелые во зле существа поддаются их влиянию и стараются им подражать. Чудодейственные успехи многих миссионеров и проповедников можно объяснить только этим.

В том бесконечно суженном кругу именно такими стали отношения между Лилией-Марией и Волчицей; но последняя, из чувства противоречия или скорее по своему неукротимому и вздорному характеру, изо всех сил противилась благотворному влиянию, которое ощущала все сильнее... точно так же, как честные натуры сопротивляются греховным соблазнам.

Если вспомнить о том, что у порока тоже есть своя дьявольская гордость, то станет понятным, почему Волчица старалась любой ценой сохранить свою репутацию неукротимой и неустрашимой женщины, чтобы не превратиться из Волчицы... в овцу... как она сама сказала. В то же время ее колебания, ее вспышки гнева, ее злобные нападки вперемежку с великодушными порывами открывали в этой несчастной женщине такие глубоко скрытые добрые и значительные качества, мимо которых Лилия-Мария не могла пройти.

Да, она почувствовала, что Волчица не была совсем потерянна, и хотела ее спасти, как спасли ее самое.

«Лучший способ отблагодарить моего благодетеля, – думала Певунья, – это подать другим, кто еще может услышать, такие добрые советы, какие он дал мне».

Лилия-Мария застенчиво взяла за руку свою подругу и указала ей:

– Поверьте мне, Волчица, если вы сжалились надо мной, то вовсе не из трусости, а потому что вы великодушны. Только храбрые сердца умиляются несчастьям ближних.

– В этом нет ни великодушия, ни храбрости! – грубо ответила Волчица. – Одна только трусость!.. И я не хочу, чтобы вы говорили, будто я рассусолилась! Это все вранье!

– Я не скажу этого больше, Волчица, но вы посочувствовали мне, не правда ли? Могу я поблагодарить вас за это?

– А мне наплевать!.. Сегодня же я буду в другой камере или одна в карцере, а скоро и срок пройдет, слава богу!

– И куда вы пойдете, когда пройдет срок?

– Хм, то есть как это? К себе, конечно, на улицу Пьер-Леско, у меня там своя квартирка со всей обстановкой.

– А как же Марсиаль? – спросила Певунья, надеясь продолжить этот разговор, затронув большое для Волчицы место. – Как же Марсиаль? Он будет рад увидеть вас?

– О да, да, конечно! – ответила Волчица со страстью. – Когда меня схватили, он только что оправился после болезни... от лихорадки, потому что он все время на воде... Больше двух недель днем и ночью я не отходила от него ни на минуту, продала половину своих тряпок, чтобы заплатить врачу за лекарства и все прочее... Могу сказать об этом с гордостью и горжусь этим: если мой любовник жив и здоров, этим он обязан только мне... Я еще вчера поставила за него свечу. Глупость, конечно, но мне все равно, – говорят, это очень помогает, когда человек поправляется...

– А где он теперь? Что он делает?

– Как всегда, у моста Аньер, на берегу реки.

– На берегу?

– Он там устроился со своей семьей в одинокой хижине. По-прежнему воюет с рыбной охраной, и, когда он сидит в своей лодке с двустволкой в руках, лучше к нему не подходить! – с гордостью добавила Волчица.

– Чем же он живет?

– Рыбачит тайком, по ночам. И еще, он храбрый как лев, и если нужно подсобить какому-нибудь трусишке, который повздорил с таким же трусом, он это быстро улаживает... У его папаши были какие-то неприятности с полицейскими... А кроме того, там еще мамаша, две сестрицы и брат... Боже упаси от такого братца! Такого негодяя еще поискать! Когда-нибудь он попадет под гильотину... и его сестрицы тоже... Да мне что за дело, – пусть сами думают о своих шехах!

– Где же вы познакомились с Марсиалем?

– В Париже. Он хотел выучиться на кузнеца... Прекрасное ремесло, всегда раскаленное железо и огонь вокруг! Опасно, конечно, однако ему это нравилось. Но голова у него дурная, как у меня, и ничего у него не вышло с этими парижанами-горожанами. Вот он и вернулся к своим родичам и опять принялся разбойничать на реке. Ночью приезжает ко мне в Париж, а я днем, когда могу, к нему в Аньер; это ведь совсем близко, но, если бы было в тысячу раз дальше, я все равно приползла бы к нему на четвереньках.

– Вам бы очень понравилось в деревне, – со вздохом сказала Певунья. – Особенно если вы любите, как я, эти тропинки в полях.

– Я бы лучше погуляла со своим Марсиалем по тропинкам в густом лесу.

– В густом лесу? И вы бы не испугались?

– Испугалась? Чего мне бояться? Разве волчица боится леса? Чем гуще и безлюднее будет лее, тем лучше. Что нам нужно? Маленькая хижина, где мы смогли бы приютиться. Марсиаль постреливал бы тайком дичь, а если бы пришли егеря нас схватить, он бы стрельнул в них разок-другой, и мы бы удрали с ним в чащу! О господи, как было бы здорово!

– А вам уже приходилось жить в лесу?

– Никогда, – ответила Волчица.

– Откуда же у вас эти мечтания?

– От Марсиаля.

– Не понимаю.

– Он был браконьером в лесах Рамбулье. Год назад его обвинили, будто он стрелял в егеря, который точно стрелял в него... этот поганный егерь! Короче, на суде ничего не доказали, но Марсиалю пришлось уехать оттуда. Он пришел в Париж, чтобы выучиться на кузнеца и слесаря. Тут мы с ним и повстречались. Но я уже говорила: у него слишком дурная голова, и он не смог приспособиться к этим сытым горожанам и вернулся в Аньер к своим родичам вылавливать свою долю на реке – все-таки меньше хлопот и унижений! Но до сих пор жалеет о лесах; когда-нибудь он туда вернется. Он столько мне рассказывал о них, как он там охотился тайком, что все это запело мне в голову... и теперь мне кажется, что я рождена для этой жизни. Да ведь это всегда так: хочешь того, чего хочет твой муж... Если бы Марсиаль был вором, я бы стала воровкой... Когда у тебя есть любимый мужчина, надо быть такой же, как он.

– А ваши родители, Волчица, где они?

– Откуда мне знать!

– Вы давно их не видели?

– Я даже не знаю, живы ли они.

– Они так плохо с вами обходились?

– Нет, они не были ни добрыми, ни злыми. Мне было, наверное, лет одиннадцать, когда моя мамочка улизнула куда-то с каким-то солдатом. Мой папаша, – он был поденщиком, – сразу привел на наш чердак любовницу с ее двумя сынишками: одному было лет шесть, а другому – столько же, сколько мне. Она торговала яблоками, развозила их на тележке. Вначале все было не так уж плохо, но потом, пока она возила свою тележку, у нас начала появляться торговка устрицами, с которой папаша завел шашни, а та, первая, об этом узнала. С тех пор у нас в доме почти каждый день происходили такие свары и драки, что мы с двумя этими мальчишками помирали от страха. А спали мы вместе, потому что у нас была всего одна комната и одна кровать на троих... а рядом в этой же комнате забавлялся папаша со своей любовницей. Однажды, были как раз ее именины – праздник Святой Магдалины, так вот эта наша не святая Магдалина упрекнула отца, что он ее не поздравил! Слово за слово, и в конце концов папаша раскроил ей череп палкой от метлы. Я уже обрадовалась, думала, с ней все кончено. Она так и рухнула, как мешок с картошкой, наша Магдалина! Но жизнь ее закалила и голова у нее была крепкая.

После этого случая она устроила папаше красивую жизнь: один раз укусила его за руку так, что лоскут кожи остался у нее в зубах! Надо сказать, что такие побоища были вроде больших праздников в Версале, а по обычным дням все обходилось без особого шума, были синяки, но крови не было...

– Эта женщина плохо обходилась с вами?

– Мамаша Мадлен? Да что вы, наоборот! Она была просто вспыльчивая, а так – славная женщина. Но под конец отцу все это надоело; он оставил ей все свои нехитрые пожитки, ушел и больше не вернулся. Он был бургундцем и, наверное, отправился к себе на родину. Мне было тогда лет пятнадцать или шестнадцать.

– И вы остались с бывшей любовницей отца?

– Куда же мне было деваться? А тут еще она спуталась с кровельщиком, который поселился у нас. Из двух сыновей Мадлен старший утонул возле Лебяжьего острова, а младший ушел в подмастерья к столяру.

– А что вы делали у этой женщины?

– Помогала ей возить тележку, варила суп, относила еду ее кавалеру, а когда он возвращался пьяный, что с ним бывало чаще положенного, помогала матушке Мадлен лупить его, чтобы он утихомирился и оставил нас в покое, потому что мы по-прежнему жили в одной комнате. А он, когда хмель ударял ему в голову, становился хуже дикого осла, все бил и крушил! Один раз еле вырвали у него топорик: он хотел обеих нас зарубить; но матушке Мадлен все же досталось, он успел садануть ей по плечу... Ну и кровищи было – как на бойне!

– Как же вы стали такой... как мы все? – робко спросила Лилия-Мария.

– О, это просто! Сначала у меня был тот, мальчишка Шарль, ну, который утонул возле Лебязьего острова, – почти сразу же после того, как мамаша Мадлен переселилась к нам. Ведь мы были детьми и спали в одной постели, чего же еще?.. А потом этот кровельщик... Мне-то было все равно, только я боялась, как бы Мадлен нас не застучала, а то еще выгонит из дому... Так оно и случилось. Она, добрая женщина, сказала мне: «Раз уж такое дело, тебе шестнадцать, ты ни на что другое не пригодна и слишком глупа, чтобы устроиться служанкой или чему-нибудь выучиться, так что пойдем со мною в полицию, тебя там внесут в списки. Родителей твоих нет, значит, я за тебя отвечаю, и можешь потом не бояться, правительством это дозволено. Дело твое простое, веселись да забавляйся, а я буду за тебя спокойна, и ты мне будешь не в тягость. Как ты на это посмотришь, дочка?» – «Ей-богу, наверное, так и надо, – ответила я. – Сама я об этом не подумала». Мы отправились в полицию, в отдел нравов, и меня рекомендовали в один дом, где я до сих пор прописана. Последний раз я видела Мадлен с год назад; мы выпивали с моим ухажером, пригласили ее к столу. Она сказала, что кровельщика отправили на галеры. С тех пор я ее не встречала. Не помню уж, кто говорил мне, будто ее унесли в морг месяца три назад. Если это так, тем хуже, потому что она была славная женщина, эта мамаша Мадлен, такое открытое сердце, а злости в ней было не больше, чем в голубке.

Лилия-Мария сама попала с детства в подобную же, отравленную атмосферу, но последнее время она дышала таким чистым воздухом, что страшный рассказ Волчицы причинил ей мучительную боль.

Если мы и осмеливаемся с горечью привести этот рассказ, то лишь потому, чтобы все знали: при всем его ужасе он в тысячу раз невиннее того, что ежечасно происходит на самом деле.

Да, невежество и нищета слишком часто приводят дочерей бедняков к деградации и унижению человеческого достоинства.

Да, во множестве лачуг взрослые и дети, законные и незаконные дети, девочки и мальчики валяются на одной постели, как щенята на одной подстилке, и у них перед глазами возникают отвратительные сцены пьянства, избиений, разврата и даже зверских убийств.

Да, и слишком часто к этим ужасам примешивается ужас кровосмешения.

Богачи могут скрывать свои пороки, окружая их тайной, и хранить таким образом святость своего домашнего очага. Но даже самые честные ремесленники, которые живут в одной комнатухе со всей семьей, вынуждены укладывать на одну кровать всех своих детей – сестер и братьев, а рядом с ними, на полу, – мужей и жен.

Если эти ужасные обстоятельства заставляют нас содрогаться, когда мы говорим о бедных, но честных ремесленниках, то что же нам остается сказать, если речь идет о людях, сбившихся с пути, совращенных невежеством или пороком?

Какой ужасный пример они показывают своим заброшенным детям, которых с ранних лет возбуждают сцены животной грубости и похоти! Откуда у них возьмутся понятия о долге, чести и целомудрии? Как могут они воспринять законы общества, если эти законы для них так же чужды и непонятны, как для дикарей-людоедов?

Несчастные создания, развращенные с детства, они даже в тюрьмах, куда попадают всего лишь из-за бездомности и сиротства, сразу получают грубую и страшную кличку: «Каторжное семя!»

И в этой метафоре есть смысл.

Столь мрачное предсказание почти всегда сбывается: в зависимости от пола, одни идут на каторгу, другие – в дома терпимости, у каждого своя судьба.

Мы не хотим никого оправдывать.

Но давайте только сравним развратное поведение женщины из добропорядочной семьи, женщины, воспитанной на самых благородных примерах, с падением Волчицы, которая была, если можно так сказать, вскормлена пороком и для порока! И кто осмелится после этого утверждать, будто проституция – явление нормальное, обычная профессия?

Но так оно и считается.

Есть особое отделение полиции, где проституток регистрируют, отмечают и выдают удо-

стоверения.

Матери часто приводят туда дочерей, мужья – своих жен.

И это отделение называется «полицией нравов»!!

Должно быть, в нашем обществе укоренился глубокий и неизлечимый порок, если закон, защищающий мужчин и женщин, если сама власть, да, та самая власть, которая стала для большинства пустой абстракцией, вынуждена не только терпеть, но регламентировать, узаконивать и даже защищать, чтобы сделать ее менее опасной, эту отвратительную распродажу души и плоти, которая подстегивается необузданными аппетитами огромного города и с каждым днем возрастает неудержимо!

Глава IX ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ

Певунья преодолела волнение, вызванное печальной исповедью своей подруги, и робко сказала:

– Послушайте меня, только не сердитесь.

– Что ж, давайте, я уже довольно тут наболтала. Но мне все равно, потому что мы говорим в последний раз.

– Волчица, вы счастливы?

– Как это?

– Довольны жизнью, которую ведете?

– Здесь, в Сен-Лазаре?

– Нет, у себя, на свободе.

– Да, я счастлива.

– Всегда?

– Всегда.

– Вы не хотели бы сменить вашу участь на другую?

– На какую другую? У меня одна судьба.

– Скажите, Волчица, – продолжала Лилия-Мария, немного помолчав, – вы никогда не мечтали, не строили воздушные замки? Это так забавно, особенно в тюрьме!

– О чем еще мне мечтать?

– О Марсиале.

– Ей-богу, даже не пробовала.

– Позвольте тогда построить воздушный замок для вас и Марсиаля.

– Ха, к чему это все?

– Так, чтобы провести время.

– Ну что ж, давайте ваш воздушный замок!

– Представьте, например, что совершенно случайно, как это иногда бывает, вы повстречали человека, который вам говорит: вас покинули отец и мать, с детства вы видели перед собой такие дурные примеры, что вас следует скорее пожалеть, а не упрекать за то, чем вы стали...

– Чем это я стала?

– Тем, чем стали вы и я, – ответила Певунья нежным голосом и продолжала: – Представьте, что этот человек говорит вам: вы любите Марсиаля, он любит вас, кончайте эту дурную жизнь! Вместо того чтобы быть его любовницей, будьте его женой!

Волчица пожала плечами.

– Да разве он возьмет меня в жены?

– Но ведь, если не считать браконьерства, он ни в чем не провинился?

– Нет. Он браконьерствует теперь на реке, как раньше – в лесах, и он прав. Подумай, разве рыба, как дичь, не должны доставаться тому, кто их поймает? Где на них клеймо хозяина?

– Так вот, представьте, что он откажется от своего опасного ремесла речного браконьерства и захочет вести самую честную жизнь; и представьте, что его искренность и добрые намерения понравятся, внушат доверие некоему неизвестному благодетелю, и тот даст ему место,

скажем, егеря. Ему, бывшему браконьеру, это будет, надеюсь, по вкусу: занятие то же самое, только не во зло, а во имя добра.

– Ей-богу, это так! Он любит жить в лесу.

– Только это место ему дадут при одном условии: чтобы он женился на вас и взял вас с собой.

– Чтобы я отправилась вместе с Марсиалем?

– Да, ведь вы говорили, что были бы счастливы жить с ним в лесу! Но лучше вместо жалкой хижины браконьера, где вы оба прятались, как два преступника, честно жить в маленьком домике, где вы будете трудолюбивой и прилежной хозяйкой?

– Вы смеетесь надо мной! Разве это возможно?

– Кто знает? Все дело случая. К тому же ведь это только воздушные замки...

– А, ну да... Что же, тем лучше.

– Послушайте, Волчица, я уже вижу вас в вашем маленьком домике в глубине леса вместе с вашим мужем и двумя или тремя детьми. Дети! Какое это счастье, не правда ли?

– Дети от моего мужа? – воскликнула Волчица с дикой страстью. – О, как крепко я их буду любить!

– А они будут скрашивать вам одиночество. А когда не-много подрастут, будут вам помогать во всем: младшие – собирать хворост для очага, старший – пасти на лесных полянах одну или две коровы, которые ваш муж получит в награду за свою службу, потому что из бывших браконьеров получают лучшие егеря.

– Да, так оно и есть. Смотри-ка, воздушные замки – это и впрямь забавно... Говорите дальше, Певунья!

– Хозяин будет очень доволен вашим мужем... Он не поскупится: у вас будет птичник, сад, но, смотрите, Волчица, вам придется работать не покладая рук с утра до ночи!

– О, если бы только за этим стало! Рядом с мужем я с любой работой справлюсь, у меня сильные руки...

– А работа для них всегда найдется, уж это я вам обещаю!.. Столько дел надо переделать! Столько дел!.. Хлев почистить, еду приготовить, всю одежду перечистить; сегодня – стирка, завтра – хлеб надо печь или весь дом убрать сверху донизу, чтобы другие егеря говорили: «О, такую чистюлю, как жена Марсиаля, поискать! Смотрите, как все блестит и сверкает от чердака до погреба, просто чудо! И дети такие ухоженные... Да, прекрасная хозяйка эта госпожа Марсиаль!»

– В самом деле, Певунья, ведь меня тогда будут называть госпожа Марсиаль, – с гордостью сказала Волчица. – Госпожа Марсиаль!

– Это, пожалуй, лучше звучит, чем Волчица, не так ли?

– Конечно, имя мужа мне больше по нраву, чем имя зверя... Но о чем я?.. Ха-ха, волчицей я родилась, волчицей и подохну...

– Кто знает, кто знает? То, что вас не пугают трудности честной жизни, – добрый знак, он приносит счастье. Значит, работа вас не страшит?

– О чем речь? Я смогу позаботиться и о муже и о трех-четырех малышах, это мне не в тягость!

– Но такая жизнь – не только труды, в ней есть и минуты отдыха; зимой, в сумерках, когда дети уже спят, а муж покуривает трубку и чистит свои ружья или забавляется со своими собаками... вы сможете отдохнуть, развлечься.

– Ха-ха, развлечься! Чтобы я сидела сложа руки? Да никогда! Лучше я поштопаю постельное белье, сидя вечером в уголке у огня, это ведь тоже развлечение... Зимой дни такие короткие!

Слова Лилии-Марии заставили Волчицу все дальше и дальше уходить от действительности в страну грез, как было и с Певуньей, когда Родольф рассказывал ей о сельских радостях фермы Букеваль. Волчица не скрывала любви к дикой жизни в лесу, которую внушил ей ее любовник. Но Лилия-Мария помнила, какое глубокое спасительное чувство вызывали в ней радужные картины сельской жизни, которые рисовал перед ней Родольф. И она решила испытать тот же способ на Волчице, справедливо полагая, что, если ее подруга так искренне жаждет даже такой

трудной, бедной, одинокой, но честной жизни, значит, она заслуживает сочувствия и жалости.

Певунью бесконечно радовало, что Волчица слушает ее так внимательно, она с улыбкой продолжала:

– Видите ли, госпожа Марсиаль... можно, я буду называть вас так? Вам ведь все равно?

– Вовсе нет, наоборот, мне даже лестно... – Тут Волчица пожала плечами и рассмеялась. – Господи, какая глупость, разыгрывать из себя барыню? Что мы, дети?.. Ну да все равно... Давайте!.. Это в самом деле забавно... Так вы говорили?

– Я хотела сказать, госпожа Марсиаль, что зима в лесу – это самое худшее время года.

– Ну уж нет, вовсе не худшее! Слушать, как ветер качает по ночам деревья, а где-то далеко воют волки, далеко-далеко... Я бы не скучала, сидя у огня, только со мною был бы мой муж и мои крошки... Даже если бы я осталась одна, а мужу пришлось пойти с обходом... С ружьем я уже знакома. Если бы пришлось защищать моих малышей, я бы не испугалась... Э, да что там говорить! Волчица отстояла бы своих волчат!

– О, я вам верю! Вы храбрая... А я трусиха, я предпочитаю зиме весну. Ах, весна, госпожа Марсиаль, весна! Когда зеленеют листья, когда расцветают прекрасные лесные цветы, которые пахнут так нежно, так сладко, что, кажется, весь воздух пропитан их ароматом... Вот тогда ваши дети будут весело валяться на молодой травке, а затем листва на деревьях станет такой густой, что ваш дом почти скроется среди зелени. Мне кажется, я его так и вижу! Перед дверью шпалера виноградных лоз, которые посадил ваш муж; они отбрасывают Тень на лужайку, где он отдыхает в полуденный зной, а вы хлопчете по хозяйству, проходите мимо и говорите детям, чтобы они не будили отца... Я не знаю, вы заметили, что летом в лесу около полудня наступает такая тишина, как ночью... и не слышно ни шороха листьев, ни пения птиц?..

– Да, не слышно, – машинально повторила Волчица, все более и более отдаляясь от реальности. Она словно наяву видела радостные сцены, которые разворачивала перед ней поэтическая фантазия Лилии-Марии, инстинктивно влюбленной в красоту природы.

Обрадованная глубоким вниманием подруги, Певунья продолжала, почти столь же увлеченная своими грезами.

– Есть еще одна вещь, которую я люблю почти так же, как лесную тишину, – это шум дождя, когда крупные капли стучат по листьям... Вы тоже это любите?

– Да, да, очень... Летний дождь!

– Не правда ли, хорошо? Когда деревья, мох, трава – все промокло, какой свежий запах! А потом, когда солнце просвечивает сквозь деревья, как сверкает каждая капелька на листьях после дождя! Вы тоже заметили?

– Нет... но теперь вспоминаю, потому что вы мне об этом сказали... Право, чудно, вы рассказываете так хорошо, что вроде все вижу сама, когда вы об этом говорите... А потом еще, не знаю, как сказать, черт меня побери! Ну, когда вы рассказываете, я словно чувствую запах, такой сладкий, такой свежий... как после летнего дождя...

Так же как добро и красота, поэзия не менее заразна.

Волчица, даже при ее примитивном и диком характере, невольно подчинялась влиянию Лилии-Марии.

А та продолжала с улыбкой:

– Не следует думать, что одни мы с тобой любим летний дождь. А птицы? Смотри, как они радуются, отряхивая перышки, как весело они щебечут, но все же не так весело, как ваши ребята... ваши дети, свободные, веселые и легкие, как эти птицы. Смотрите, как малыши бегут по тропинке навстречу старшему брату, который гонит с пастбища двух коров. Они еще издали узнали звон их колокольчиков и бросились наперегонки!

– Пойдите-ка, Певунья, я словно вижу самого маленького и самого храброго: он упрямил старшего брата, и тот посадил его верхом на спину коровы...

– Да, и можно подумать, что кроткое животное понимает, какой драгоценный груз оно несет: видите, как осторожно ступает эта корова?.. Но вот и час ужина... Ваш старшенький по дороге на пастбище забавы ради набрал для вас полную корзинку сладкой земляники и принес ее совсем свежей под толстым слоем лесных фиалок.

– Земляника и фиалки... какой это, должно быть, аромат!.. Но, господи боже мой, откуда у вас все это?

– Из тех лесов, где зреет земляника и цветут фиалки... Стоит только отыскать их и собрать, госпожа Марсиаль... Но поговорим о хозяйстве. Уже темнеет, надо подоить коров, накрыть стол под сводом виноградника, потому что вы слышите издали собачий лай, а вскоре – голос их хозяйина, который весело распевает, несмотря на усталость... Ну как тут не запоешь, если тебя ждет добрая жена и веселые ребятишки? Не правда ли, госпожа Марсиаль?

– Правда, как не запеть, – мечтательно проговорила Волчица.

– Или не заплакать от умиления, – продолжала Лилия-Мария, чувствуя, что сама взволнована не меньше своей подруги. – Ибо эти слезы так же сладостны, как песня... А потом, когда придет ночь, какое счастье посидеть под ажурной аркой из виноградных лоз, вдыхая запахи леса, послушать, как лепечут дети, засыпая... поглядеть на звезды... Тогда сердце преисполняется счастья, доброты... и изливается в молитве... Как же не возблагодарить того, кто послал вечернюю свежесть, запахи леса, прозрачную чистоту звездного неба?.. А после этой благодарности, или молитвы, можно спокойно уснуть до утра и снова возблагодарить Создателя... ибо он дал тебе эту бедную, полную трудов и забот, но спокойную и честную жизнь навсегда...

– Навсегда! – повторила Волчица с тяжелым вздохом, опустив голову на грудь и пристально глядя перед собой. – Ибо это правда, господь бог милостив, когда дает нам такое счастье довольствоваться столь малым...

– А теперь скажите, – тихонько продолжала Лилия-Мария, – скажите, не должны ли мы благодарить, как господа бога, нашего благодетеля, который даст вам эту счастливую жизнь в трудах и заботах вместо постыдной жизни, которую вы ведете на грязных улицах Парижа?

Слово «Париж» внезапно вернуло Волчицу к действительности.

И в душе ее произошло странное превращение. Наивная картина суровой и скромной жизни, этот простой рассказ, освещенный ласковым огнем домашнего очага или веселыми, золотистыми лучами солнца, пропитанный запахами леса или ароматом диких цветов, этот рассказ произвел на Волчицу гораздо более глубокое и сильное впечатление, чем все высоконравственные увещевания и проповеди.

Да, слушая Лилию-Марию, Волчица от всей души желала стать неутомимой хозяйкой, верной супругой, добродетельной и преданной матерью.

Внушить хотя бы на мгновение этой вспыльчивой, опустившейся, порочной женщине любовь к семье, чувство долга, вкус к труду, признательность к Создателю – и все это, всего лишь обещая ей то, что бог дает всем: солнце в небе и лесную тень, и то, что человек получает за свои труды: хлеб и кров над головой, – разве это не было прекрасной победой Лилии-Марии?

Самый строгий моралист, самый яростный проповедник, смогли бы они достигнуть большего своими укорами и предсказаниями, угрожая самыми страшными наказаниями человеческими и карами небесными?

Гнев и боль пронзили Волчицу, когда она вдруг вернулась к действительности из страны грез и счастья, куда ее впервые увлекла Лилия-Мария. Но это чувство свидетельствовало, что Певунья добилась своей цели.

Чем безнадежнее смотрела Волчица после этих сладостных миражей на свою горькую участь, тем очевиднее была победа Певуньи. Несколько мгновений Волчица молча думала, затем вскинула голову, провела рукой по лбу и вскочила на ноги с угрожающим видом.

– Хватит! Довольно! Я была права, когда опасалась тебя и не хотела слушать... потому что это может плохо кончиться для меня! Зачем ты со мной так говорила? Чтобы посмеяться надо мной? Чтобы помучить меня? И только потому, что я сдуру сказала тебе, что хотела бы жить в лесу с моим парнем? Да кто ты такая? Зачем выворачиваешь мне душу? Ты сама не знаешь, что ты сделала, несчастная! Теперь я все время буду думать об этом доме в лесу, о детях, об этом счастье, которого мне не видать никогда! И если я не смогу забыть твоих слов, моя жизнь станет пыткой, адом... И во всем виновата ты... да, ты одна виновата!

– Тем лучше! – ответила Лилия-Мария. – Тем лучше.

– Ты сказала – тем лучше? – воскликнула Волчица, грозно сверкая глазами.

– Да, тем лучше, потому что, если ваша теперешняя жизнь покажется вам адом, вы предпочтете другую, ту, о которой я вам говорила.

– Как я могу ее предпочесть, если она не для меня? К чему жалеть, что я уличная девка, если мне суждено подохнуть уличной девкой? – воскликнула Волчица с яростью, схватив своей сильной рукой маленькую ручку Певуны. – Отвечай! Отвечай! Почему ты заставила меня мечтать о том, чего я никогда не получу?

– Стремиться к честной, трудовой жизни – значит быть достойной такой жизни, сказала я, – ответила Лилия-Мария, не пытаясь высвободить свою руку.

– Ах, так? Когда же я буду достойна этой жизни? К чему вся эта болтовня? Что мне она даст?

– Поможет увидеть, как ваши мечты станут действительностью, – ответила Лилия-Мария так серьезно и убежденно, что Волчица снова покорила и от удивления отпустила руку Певуны. – Послушайте меня, Волчица, – продолжала Лилия-Мария голосом, полным сочувствия. – Неужели вы думаете, что я настолько жестока, что могла бы пробуждать в вас эти надежды, если бы не была уверена, что, заставляя вас краснеть за вашу прошлую жизнь, не помогу вам выбраться из этой трясины?

– Вы?... Вы можете это?

– Я?... Нет... Но кто-то другой, кто велик и добр и всемогущ, как бог...

– Всемогущ, как бог?

– Послушайте еще, Волчица... Три месяца назад я была таким же падшим созданием, как вы, несчастная и всеми покинутая. Однажды тот, о ком я говорю со слезами признательности, – и Лилия-Мария отерла глаза, – пришел ко мне. Он не испугался моей грязи, но обратился ко мне со словами утешения... первыми за всю мою жизнь! Я рассказала ему о моих страданиях, нищете, позоре, я ничего от него не скрыла, так же как и вы сейчас, когда рассказывали о своей жизни. Он меня выслушал с добротой и не стал меня порицать – он меня пожалел. Он не упрекнул меня за мое падение, а стал расхваливать спокойную и чистую жизнь в деревне...

– Как вы мне сейчас?

– И чем прекраснее казалось мне будущее, которое он обещал, тем отвратительнее была мне моя тогдашняя подлая жизнь.

– Господи, точно так же со мной!

– Да, и, так же как вы, я говорила: «К чему все это? К чему показывать рай той, кто обречена умереть в аду?..» Но я напрасно отчаивалась... ибо тот, о ком я говорю, подобен богу в своей высшей доброте и справедливости и не способен поманить ложной надеждой несчастное создание, которое ни у кого не просило ни жалости, ни счастья, ни надежды.

– А для вас? Что он сделал для вас?

– Он относился ко мне как к больному ребенку. Я дышала, как вы, гнилыми испарениями, он отправил меня туда, где воздух живителен и свеж: я жила среди уродов и преступников – он поручил меня заботам людей, похожих на него, которые очистили мою душу, возвысили разум, потому что всем, кто его любит, он, подобно богу, передает искру своей небесной мудрости. Да, Волчица, если мои слова волнуют вас, если мои слезы заставили плакать и вас, это потому, что меня вдохновляет его дух и разум! Если я говорю о счастливом будущем, которого вы достигнете через раскаяние, это потому, что я могу обещать его вам от его имени, хотя он еще и не знает о моем обязательстве. И наконец, если я говорю вам: надейтесь! – это потому, что он всегда слышит голос тех, кто стремится к добру... Ибо господь послал его на землю, чтобы мы поверили в провидение...

Пока Лилия-Мария говорила, лицо ее сделалось сияющим и вдохновенным, бледные щеки окрасил легкий румянец, прекрасные глаза светились нежным светом, и красота ее была так лучезарна и благородна, что Волчица, и без того взволнованная этим разговором, смотрела на, свою подругу с почтительным изумлением.

– Господи, где я? – воскликнула она. – Может, я сплю? Ничего такого никогда не слышала, никогда не видела! Нет, этого не бывает! Да кто же вы, наконец? Я же говорила, что вы не такая, как мы все! Но как же это? Вы умеете так хорошо говорить... вы многое можете... вы знаете

больших людей... как же вы очутились здесь, в тюрьме, среди нас? Значит, значит... чтобы нас искушать? Значит, вы для добра такая же... как дьявол для греха и зла?

Лилия-Мария собиралась ответить, когда ее позвала госпожа Арман, чтобы отвести к маркизе д'Арвиль.

Волчица никак не могла прийти в себя. Надзирательница сказала ей:

– Мне приятно, что появление Певуны в тюрьме сделало счастливее вас и ваших подружек... Я знаю, что вы собрали деньги для этой несчастной Мон-Сен-Жан; это хорошо и мило-сердно, Волчица. И это вам зачтется... я была уверена, что вы гораздо лучше, чем хотите казаться. За ваше доброе дело я, наверное, смогу намного сократить вам срок заключения.

Госпожа Арман удалилась в сопровождении Лилии-Марии.

Не следует удивляться красноречию Лилии-Марии: ее удивительные способности быстро проявились и расцвели благодаря воспитанию и обучению, которые она получила на ферме Букеваль.

И к тому же юная девушка черпала силы в своем собственном прошлом, в своем опыте.

Чувства, которые она пробудила в сердце Волчицы, пробудил в ней Родольф примерно в таких же обстоятельствах.

Она поверила, что в ее подруге по несчастью сохранились добрые чувства, и постаралась обратить ее к честной жизни, доказав ей, как Родольф на примере фермы Букеваль, что это в ее интересах, представив это превращение в самых радужных и привлекательных красках...

Заметим по этому поводу, что нам кажутся неразумными и недейственными обычные способы, какими пытаются внушить безграмотным и нищим отвращение ко злу и любовь к добру.

Чтобы направить их на путь истинный, мы без конца угрожаем им карами земными и небесными, без конца гремим мрачными орудиями возмездия, – тюремными ключами, колодками, каторжными цепями. И в самом конце, в ужасающем сумраке, мы им показываем нож гильотины, сверкающий в отблесках неугасимого адского пламени.

Как видим, устрашение все время играет свою чудовищную и жуткую роль.

Тому, кто сотворил зло, грозят бесчестье, тюрьма и муки.

И это справедливо. Но тому, кто творит добро, воздает ли общество почетными наградами, славными отличиями?

Нет.

А где же благодетельные и необходимые поощрения, которые могли бы подвигнуть на самоотверженность, порядочность и честность огромную массу ремесленников, всегда обреченных на тяжелый труд, лишения и почти всегда на беспросветную нищету?

Их нет.

Глядя на эшафот, на который поднимается величайший злодей, спросим себя: а где пьедестал для величайшего человека, творящего добро?

Его нет.

Станный, фатальный символ! Мы представляем себе правосудие богиней с повязкой на глазах; в одной руке – карающий меч, в другой – весы, на которых взвешиваются доводы защиты и обвинения.

Но это не облик правосудия.

Это облик закона, вернее человека, который карает или милует по своему усмотрению.

Правосудие держало бы в одной руке шпагу, а в другой – корону, чтобы одной рукой поражать злодеев, а другой – увенчивать праведников.

Тогда бы народ увидел, что злодеев ждет страшная кара, а праведных – блистательный триумф. А сейчас он в простоте и наивности тщетно вопрошает: если одним – суды, тюрьмы, галеры и эшафот, то что же другим?

Народ видит, что карающее правосудие состоит из людей твердых, честных и просвещенных, которые отыскивают, разоблачают и наказывают преступников.

Но он не видит праведного правосудия, из людей твердых, честных и просвещенных, кото-

рые бы отыскивали и вознаграждали достойных людей.¹⁰⁸

Все говорит ему: трепещи!

И ничто не говорит ему: надейся!

Все ему угрожает...

И ничто его не утешает.

Государство тратит каждый год миллионы на бесполезные наказания за преступления. На эти огромные средства оно содержит узников и стражников, часовых и надсмотрщиков, эшафоты и палачей.

Может быть, это необходимо. Пусть будет так.

Но сколько тратит государство на вознаграждения добрых людей?

Ничего.

И это еще не все.

Как мы это покажем, когда наше повествование приведет нас в мужские тюрьмы, великое множество самых честных ремесленников были бы счастливы безмерно, если бы в материальном отношении оказались на месте заключенных, которым всегда обеспечена приличная еда, постель и надежный кров.

Неужели эти честные, скромные люди после всех жестоких и долгих испытаний, когда они подобно гранильщику Мо-релю жили по двадцать лет в бесконечных трудах и нищете, не поддаваясь искушению и соблазнам, неужели они не имеют права на те же блага, которыми пользуются преступники и негодяи?

Неужели они не заслуживают того, чтобы общество обратило на них внимание, могло бы если не вознаградить их во имя человечности, то хотя бы поддержать на их мучительно трудном пути, по которому они мужественно идут всю жизнь?

Разве великий благодетель, будь он трижды скромен, скрывается более тщательно, чем вор или убийца? Но ведь даже воров и убийц в конце концов находят.

Увы, все это утопия, но в ней есть кое-что утешительное.

Представьте себе общество, в котором помимо уголовных судов есть суды добродетели.

Следователь обнаруживает благородные поступки и представляет их для всеобщего признания и благодарности, как сегодня представляют суду преступления для неумолимого наказания.

Вот вам два примера, два правосудия. Скажите, какое более благотворно и поучительно, какое принесет самые положительные результаты? Человек убил человека, чтобы его ограбить.

Еще до рассвета в отдаленном квартале Парижа устанавливают гильотину и отсекают убийце голову перед кучей подонков, которые смеются над судьей, осужденным и палачом.

Это последний ответ нашего общества.

Это самое страшное преступление против нашего общества, потому что, видите ли, это высшая мера наказания... самый страшный и самый назидательный урок, который можно преподать народу...

Единственный... потому что нет альтернативы кровавой плахе.

Увы, общество не может предложить в противовес этому жуткому зрелищу утешительную картину добра и благодеяний.

¹⁰⁸ Через несколько дней после того, как были написаны эти строки, мы перечитывали «Мемуары с острова Св. Елены», бессмертную книгу, которая мне кажется образцом практической философии. И заметили один отрывок, который до сих пор ускользал от нашего внимания. «Я часто мечтал, — это говорит император, — что когда закончатся великие военные события и будут подведены все итоги, я смогу заняться внутренними делами и тогда спокойно и неторопливо отыщу и выберу хотя бы десяток истинных филантропов, этих славных людей, которые живут только ради добра и возможности его осуществлять. Я бы тайно разослал их во все концы империи, чтобы они видели все и отдавали отчет обо всем лично мне; они бы стали соглядатаями истины, они бы приходили прямо ко мне, были бы моими исповедниками, моими духовными наставниками, и мои решения, принятые вместе с ними, стали бы моими тайными благодеяниями. Моей главной обязанностью, после надлежащего отдыха, стало бы коренное улучшение условий жизни общества, осуществляемое с вершины моего полновластия, вплоть до заботы о благоденствии отдельных личностей».

(Мемуары, т V, с. 100, изд. 1824 г.)

Но продолжим наши утопические мечтания.

Может быть, все изменится, если народ каждый день будет видеть, как государство высоко оценивает и вознаграждает добродетель?

Если бы он видел повседневно, как высший суд, уважаемый и почитаемый, восхваляет перед многочисленной толпой достоинства какого-нибудь бедного, но честного ремесленника, рассказывая о его долгой и безупречной жизни, о его трудолюбии и бережливости, разве это не способствовало бы всеобщему стремлению к добру?

Этот высший суд мог бы сказать бедняге: «Двадцать лет вы трудились без отдыха, страдали, как никто другой, боролись с неудачами и все же смогли воспитать ваших детей по заветам прямоты и чести... Несомненные достоинства высоко отличают вас, поэтому мы вас прославляем и вознаграждаем. Бдительное, справедливое и всемогущее общество никогда не забывает ни зла, ни добра. Оно каждому воздает по заслугам... Государство выдает вам пенсию, чтобы вы не знали нужды. Окруженные вниманием и уважением, вы можете в покое и достатке окончить вашу жизнь, которая должна стать примером для остальных... Так мы вознаграждаем и будем вознаграждать всех, кто, подобно вам, на протяжении многих лет неуклонно стремился к добру и выказал свои высокие и редкие моральные достоинства. Вашему примеру последуют многие... надежда облегчит им годы тяжких испытаний, на которые обрекла их судьба. Вдохновленные спасительным порывом, они будут с удвоенным усердием бороться с трудностями, исполняя свой долг, чтобы когда-нибудь их отметили Среди всех и вознаградили, как вас...»

Мы спрашиваем: какое из этих двух зрелищ – кровавая казнь преступника или вознаграждение праведника – окажется более благотворным и более плодотворным?

Несомненно, многие святоши возмутятся от одной только мысли, что следует поощрять низменными материальными благами самое что ни на есть возвышенное в мире – добродетель!

Они найдут против этого множество возражений, более или менее философских, платонических, теологических, но главным образом экономических, вроде следующих:

«Добро само вознаграждается добром».

«Добродетель не имеет цены...»

«Чистая совесть – сама по себе наивысшая награда».

И наконец, последнее, победное, окончательное возражение:

«Вечное блаженство ждет праведников на том свете, и одно это должно подвигать их к добру».

На это мы можем ответить: устрояя и наказывая преступников, наше общество, по видимому, не очень-то рассчитывает на божественное отмщение, которое настигнет их на том свете.

Таким образом общество предвосхищает окончательное решение божьего суда.

Не дожидаясь неотвратимого судного часа, архангелов в сверкающих доспехах, с гремящими трубами и огненными мечами, общество скромно обходится... жандармами.

Повторим еще раз.

Чтобы устроить злодеев, мы как бы материализуем или низводим до человеческого понимания неотвратимо грядущие кары господни...

Но почему бы не воздать добрым людям на земле то, что им обещано на небесах?

Но забудем все эти утопии, безумные, абсурдные, глупые и неосуществимые, – как и полагается быть настоящим утопиям.

Жизнь, такая она есть, превосходна! Если не верите, порасспросите тех, кто с тупым взглядом и громким хохотом нетвердым шагом выбирается на улицу после веселой пирушки!

Глава X ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА

Певунья вслед за надзирательницей вошла в маленькую приемную, где ожидала Клеманс; юная узница была уже не так бледна, щеки ее слегка порозовели после разговора с Волчицей.

– Госпожа маркиза была тронута вашим прекрасным поведением, – сказала г-жа Арман,

обращаясь к Певунье. – Поэтому она пожелала вас видеть и, может быть, поможет вам выйти отсюда до истечения срока.

– Благодарю вас, – сказала Лилия-Мария и осталась наедине с Клеманс.

Та была поражена чистым выражением лица своей подопечной, ее скромностью и природным изяществом и невольно вспомнила, что Певунья во сне произнесла имя Родольфа, и надзирательница полагала, что несчастная узница страдает от глубокой и тайной любви.

Клеманс была совершенно уверена, что великий герцог Родольф был здесь ни при чем, но тем не менее не могла признать, что красота Певуньи достойна внимания даже принца.

При виде своей покровительницы, чье лицо, как мы уже говорили, выражало искренность и доброту, Лилия-Мария сразу прониклась к ней доверием и симпатией.

– Дитя мое, – сказала Клеманс, – госпожа Арман очень хвалила ваш добрый характер и примерное поведение, но жаловалась, что вы ей совсем не доверяете.

Лилия-Мария молча опустила голову.

– Одежда крестьянки, в которой вас задержали, ваше молчание о том, где вы были до того, как вас привели сюда, – все говорит, что вы скрываете от нас какие-то обстоятельства.

– Сударыня...

– Я не имею никаких прав на ваше доверие, бедная моя девочка, и не хочу задавать вам стеснительных вопросов. Меня уверили, что, если я попрошу выпустить вас из тюрьмы, мне не будет отказано в этой милости. Однако прежде чем просить за вас, я хотела бы знать, что вы собираетесь делать, на что рассчитываете в будущем. Чем бы хотели вы заняться... после освобождения? Если вы решились следовать по праведному пути, на который вы вернулись, в чем я не сомневаюсь, – доверьтесь мне. Я помогу вам достойно зарабатывать на жизнь...

Певунья была растрогана до слез участием маркизы.

Сначала она заколебалась, но потом сказала:

– Вы снизошли до меня, сударыня, вы проявили такую доброту, что я, наверное, должна прервать молчание, которое хранила до сих пор о моем прошлом, нарушить клятву, которая мне это запрещала.

– Клятву?

– Да, я поклялась не говорить судьям или тем, кто служит в этой тюрьме, как и почему я сюда попала. Но если вы дадите мне обещание...

– Какое обещание?

– Сохранить мою тайну. Благодаря вам я смогу, не нарушая при этом моей клятвы, успокоить достойных людей, которые несомненно очень тревожатся за меня.

– Можете рассчитывать на мою скромность: я не скажу ни слова больше, чем вы позволите.

– О, благодарю вас! Я так боялась, что мои благодетели могут принять мое молчание за неблагодарность!

Нежный голос Лилии-Марии, ее почти изысканные выражения снова удивили г-жу д'Арвиль.

– Не скрою от вас, – сказала она, – ваши манеры, ваша речь поразили меня до крайности. При таком тонком, на мой взгляд, воспитании, как могли вы...

– Пасть так низко? Вы это хотели сказать, сударыня? – с горечью проговорила Певунья. – Увы, это воспитание я получила совсем недавно. И обязана им моему великодушному благодетелю, который, как и вы, сударыня, не зная меня, даже не имея тех добрых сведений обо мне, которые сообщили вам, все-таки сжалился надо мной...

– Кто же он, ваш благодетель?

– Я этого не знаю, сударыня...

– Вы его не знаете?

– Говорят, что его узнают по неиссякаемой доброте. По счастью, я встретила его на его пути.

– И где же вы его встретили?

– Однажды ночью, в квартале Сите, – ответила Певунья, опуская глаза. – Один человек хо-

тел меня ударить; мой благодетель храбро защитил меня; так мы встретились первый раз.

– Он человек... из простых?

– Когда я его увидела впервые, мне так и показалось. Одежда, речь... Но потом...

– Что было потом?

– То, как он со мной говорил, глубокое почтение всех людей, которым он меня поручил, – все доказывало, что он нарочно принял облик одного из гуляк, посещающих квартал Сите.

– Но с какой целью?

– Я не знаю...

– Как же звали этого таинственного благодетеля, вы хоть это знаете?

– О да, – с восторгом ответила Певунья. – И слава богу, потому что я могу без конца благословлять это имя... Моего спасителя звали господин Родольф...

Клеманс покраснела до корней волос.

– У него не было другого имени? – живо спросила она у Лилии-Марии.

– Не знаю... На ферме, куда он меня отвез, все называли его господин Родольф.

– Сколько ему лет?

– Он еще молод, сударыня.

– И красив?

– О да, красив и благороден... как его душа.

Благодарное и страстное выражение Лилии-Марии, когда она произносила эти слова, почему-то глубоко задело г-жу д'Арвиль.

Непреодолимое и необъяснимое предчувствие подсказывало ей, что речь шла о принце.

«Надзирательница была права, – думала Клеманс, – Певунья влюбилась в Родольфа... Это его имя произносила она во сне».

По какой странной случайности встретились принц и эта несчастная девушка?

Почему Родольф отправился переодевшимся в Сите?

Маркиза не находила ответа на эти вопросы.

Однако она вспомнила, как Сара когда-то злобно и лживо рассказывала ей о так называемых чудачествах Родольфа и его любовных похождениях... В самом деле, как объяснить, почему он вытащил из трясины порока это создание удивительной красоты и редкой душевности?

Клеманс обладала благородными качествами, но она была женщина и глубоко любила Родольфа, хотя и решила навсегда похоронить в своем сердце эту тайну.

Не думая о том, что речь несомненно шла об одном из тех благодеяний, которые Родольф обычно совершал анонимно; не думая о том, что она, наверное, путает любовь с чувством искренней признательности; и наконец, не думая о том, что Родольф мог не заметить этого нежного чувства, маркиза, в первом порыве горечи и ревности, невольно отнеслась к Певунье как к сопернице.

Гордость ее возмутилась от того, что она краснела, что вопреки себе признавала соперницей такое жалкое и недостойное создание.

Поэтому она заговорила сухим тоном, который жестоко отличался от благожелательной доброты ее прежних слов:

– Как же случилось, мадемуазель, что ваш благодетель позволил отправить вас в тюрьму? И вообще, как вы здесь очутились?

– Боже мой, сударыня, – скромно сказала Лилия-Мария, пораженная внезапной переменой ее тона. – Я чем-нибудь вам не угодила?

– А чем вы могли мне не угодить? – высокомерно спросила маркиза.

– Мне показалось... что вы говорили со мной добрее.

– В самом деле, мадемуазель? Вы считаете, что я должна взвешивать каждое мое слово? Но поскольку я согласилась принять в вас участие... мне кажется, я имею право порасспросить вас кое о чем...

Но, едва произнеся эти жестокие слова, Клеманс тут же пожалела о них, и по многим причинам.

Прежде всего, по своему великодушию, а затем – потому что она подумала, что такая суро-

вость к сопернице только помешает ей вывести то, что ей так хотелось бы знать.

И в самом деле, только что открытое и доверчивое лицо Певуньи сразу стало испуганным и недоверчивым.

Как цветок-недотрога при первом грубом прикосновении сворачивает свои нежные лепестки и замыкается, сердце Лилии-Марии болезненно сжалось.

Стараясь не возбуждать ее подозрений слишком резкой переменной тона, Клеманс заговорила мягко и проникновенно:

– В самом деле я не понимаю, почему ваш благодетель, которого вы так хвалите, позволил заключить вас в тюрьму. Каким образом, после того как вы вернулись на путь истинный, вас арестовали ночью в том месте, где вам запрещено появляться? Все это, честно признаться, мне непонятно... Вы говорите о клятве, которая до сих пор запрещала вам говорить, но что эта за страшная клятва?..

– Я говорила правду.

– Я в этом уверена; достаточно увидеть вас, услышать ваш голос, чтобы понять, что вы не способны лгать. Однако в вашем случае есть нечто непонятное, таинственное, и это возбуждает и усиливает мое нетерпение и любопытство: только этим объясняется моя излишняя резкость... Ну полно, признаюсь, я виновата... у меня нет никаких прав на вашу откровенность, только искреннее желание помочь вам, но вы сами обещали рассказать мне о том, чего не говорили никому. Я очень тронута, бедное дитя мое, этим доверием, и поверьте, я его не обману. Обещаю вам свято хранить вашу тайну, если вы мне ее откроете, и обещаю сделать все возможное, чтобы вы смогли достичь вашей цели.

Благодаря этому довольно ловкому маневру, да простится нам эта банальность, г-жа д'Арвиль смогла вернуть доверие Певуньи, которую испугал ее резкий тон.

Лилия-Мария, в своей невинности, давно упрекнула себя, что неправильно поняла маркизу, чьи слова ее обидели.

– Простите меня, – сказала она Клеманс. – Я должна была сразу рассказать вам все, что вы хотели знать. Но вы спросили меня, как звали моего спасителя, и я не могла не рассказать о нем... Для меня это такое счастье!

– Тем лучше! Это только доказывает, что вы ему искренне признательны. Но по какой причине вы покинули добрых людей, у которых он вас несомненно устроил? Может быть, с этим связана ваша клятва молчания?

– Да, сударыня. Но благодаря вам я, думаю, могу теперь, не нарушая слова, успокоить моих благодетелей относительно моего исчезновения...

– Говорите, бедное дитя мое, я слушаю.

– Месяца три назад господин Родольф отвез меня на ферму в четырех или пяти лье от Парижа.

– Он сам вас туда отвез?

– Да, сам. Он поручил меня одной даме, столь же доброй, как и достойной, которую я скоро полюбила как родную мать... Она и деревенский кюре, по совету господина Родольфа, занялись моим образованием...

– А сам Родольф... он часто приезжал на ферму?

– Нет... всего три раза, пока я оставалась там.

Клеманс не смогла скрыть радостного вздоха.

– И когда он приезжал повидаться с вами, вы были... счастливы?

– О да! Для меня это было больше чем счастье... чувство признательности, преклонения, восхищения и робости.

– Вы робели?

– Да. Между ним и мною... между ним и всеми другими... было такое расстояние...

– Каков же был его титул?

– Я не знаю, был ли у него титул, сударыня.

– Но вы же говорили о расстоянии между ним и всеми остальными!

– Ах, сударыня, его возвышает над всеми его благородство, бесконечное милосердие ко

всем, кто страждет... надежда и вера, которые он внушает всем. Даже самые отъявленные злодеи содрогаются, когда слышат его имя... Они страшатся его, но в то же время почитают... Но простите меня, сударыня, что я опять говорю о нем... Я должна умолкнуть. Все равно я не смогу описать вам того, на кого можно только молиться в молчании. Это все равно, что пытаться описать словами величие господа бога...

– Однако такое сравнение...

– Может быть, оно святотатственно, сударыня... Но разве можно оскорбить творца, сравнивая его с тем, кто внушил мне понятие о добре, кто поднял меня из бездны и кто, наконец, дал мне новую жизнь?

– Я не порицаю вас, дитя мое, я понимаю ваши благородные преувеличения. Но как же вы покинули эту ферму, где вы должны были жить так счастливо?

– Увы, не по доброй воле, сударыня!

– Кто же вас заставил?

– Однажды вечером, несколько дней назад, – отвечала Лилия-Мария, все еще содрогаясь от этих воспоминаний, – я возвращалась из дома нашего деревенского кюре, когда на меня набросилась злая женщина, которая мучила меня все мои детские годы... и ее сообщник, затаившиеся за поворотом овражной дороги. Они схватили меня, заткнули рот и увезли в фиакре.

– С какой же целью?

– Не знаю, сударыня. Мои похитители, я полагаю, исполняли приказ какой-то могущественной особы.

– И что же последовало за вашим похищением?

– Едва фиакр тронулся, злая женщина по прозвищу Сычиха закричала: «У меня с собой флакончик серной кислоты, сейчас оболью личико этой Певуньи, чтобы никто ее не узнал!»

– Какой ужас!.. Несчастливая девочка!.. Кто же тебя спас?

– Сообщник этой женщины... слепец по прозвищу Грамотей.

– Он встал на твою защиту?

– Да, сударыня. В этот раз и еще потом. Тогда Грамотей силой заставил ее выбросить в окошко фиакра бутылочку с серной кислотой. Это было его первое доброе дело, хотя он и помогал похитить меня... Ночь была непроглядная... Часа через полтора карета остановилась, наверное, где-то на большой дороге, которая пересекает равнину Сен-Дени. Здесь нас ждал всадник. «Ну, что? – спросил он. – Она в наших руках наконец?» – «Да, в наших, – ответила Сычиха, все еще разъяренная, потому что ей помешали изуродовать меня. – Если хотите избавиться от этой крошки, есть хороший способ: я ее положу на дорогу, чтобы колеса нашей телеги проехали ей по голове... и все будет так, будто это несчастный случай!»

– Но это ужасно!

– Увы, Сычиха была вполне способна сделать то, о чем говорила. К счастью, этот человек на коне ответил, что не желает, чтобы мне причинили малейшее зло; надо только продержаться два месяца в таком месте, откуда я не смогу ни выйти, ни написать никому. Тогда Сычиха предложила отвезти меня к человеку по кличке Краснорукий, хозяину таверны на Елисейских полях: у него есть много комнат в подвале, и любая послужит мне надежной тюрьмой. Так говорила Сычиха. Человек на коне согласился с ее предложением. А потом пообещал мне, что через два месяца заключения у Краснорукого мне обеспечат такое будущее, что я не стану и жалеть о ферме Букеваль.

– Какая удивительная тайна!

– Этот человек дал Сычихе деньги, пообещал еще, когда меня увезут от Краснорукого, и ускакал галопом. Наш фиакр покатился дальше к Парижу. Когда мы уже подъезжали к городской заставе, Грамотей сказал Сычихе: «Ты хочешь запереть Певунью в одном из подвалов Краснорукого. Но ты знаешь, что они совсем рядом с рекой и зимою вода всегда затапливает подвалы... Значит, ты хочешь ее утопить?» – «Да», – ответила Сычиха.

– Господи боже мой, но что вы сделали этой страшной женщине?

– Ничего, сударыня, но с раннего детства она всегда ненавидела меня... Грамотей ответил ей: «Я не хочу, чтобы Певунью утопили; она не поедет к Краснорукому». Сычиха была так же

удивлена, как и я, услышав эти слова в мою защиту. Она пришла в ярость, клялась, что притащит меня к Краснорукому, что бы ни говорил Грамотей. «Попробуй! – ответил он. – Я держу Певунью за руку и не отпущу, а тебя задушу, если попробуешь подойти к ней». – «Но что же ты собираешься с ней делать? – закричала Сычиха. – Надо же, чтобы она исчезла на два месяца и чтобы никто об этом не знал!» – «Есть один выход, – ответил Грамотей. – Сейчас мы поедем на Елисейские поля. Остановим фиакр поблизости от полицейского участка. Ты пойдешь к Краснорукому. Сейчас около полуночи, он сидит в своем кабаке. Ты приведешь его. Он возьмет Певунью, отведет ее в участок и заявит, что эта девка из кварталов Сите шляется рядом с его заведением. Таким девчонкам дают по три месяца, когда их цапают на Елисейских полях. А поскольку Певунья все еще в списках полиции, ее арестуют и посадят в Сен-Лазар, а там ее будут сторожить не хуже, чем в погребке у Краснорукого». – «Но Певунья не даст себя арестовать, – возразила Сычиха. – В участке она сразу расскажет, что мы ее похитили, она нас выдаст! И даже если ее посадят в тюрьму, она напишет своим покровителям, и все откроется». – «Нет, она пойдет в тюрьму по доброй воле, – ответил Грамотей, – и она поклянется не выдавать нас никому, пока будет сидеть в Сен-Лазаре и после; мне она обязана – я не позволил тебе изуродовать ее, Сычиха, и не позволил утопить ее в подвале Краснорукого. Но если, дав клятву молчать, она ее нарушит, мы предадим всю ферму Букеваль огню и зальем ее кровью!» Затем Грамотей обратился ко мне: «Решай! Поклянись, как я тебе сказал, иды отделаешься двумя месяцами тюрьмы. Иначе я отдам тебя в руки Сычихе, и она отведет тебя в подвал Краснорукого, где тебя утопят. Так что решайся! Я знаю, если дашь клятву, ты ее сдержишь».

– И вы поклялись?

– Увы, сударыня, я так боялась, что Сычиха меня изуродует или утопит в этом подвале... Это было так страшно! Я предпочла бы другую, менее гадкую, смерть и не стала бы ее избегать.

– Какие мрачные мысли, в вашем-то возрасте! – сказала госпожа д'Арвиль, с удивлением глядя на Певунью. – Когда вы выйдете отсюда и вернетесь к вашим благодетелям, разве вас не ждет счастье? Разве ваше раскаяние не сотрет ваше прошлое?

– Можно ли стереть прошлое? Можно ли забыть прошлое? Может ли раскаяние убить память? – воскликнула Лилия-Мария с таким отчаянием, что Клеманс содрогнулась.

– Все грехи искупаются, бедное мое дитя!

– А воспоминания обо всей этой грязи? Они становятся все мучительнее и страшнее, по мере того как очищается душа, как возрождается надежда. Увы, чем выше ты поднимаешься, тем глубже кажется бездна, из которой ты вырвалась...

– Неужели вы отказываетесь от всякой надежды на искупление, на прощение?

– На прощение людей? Нет, сударыня. Ваша доброта доказывает, что люди могут снизить к тем, кого мучат угрызения совести.

– Значит, только вы относитесь без жалости к самой себе?

– Другие могут не знать, простить, забыть, кем я была, но я, сударыня, не смогу этого забыть никогда!

– И порой вам хочется умереть?

– Да, порой, – ответила Певунья с горькой улыбкой. Немного помолчав, она добавила: – Только порой, иногда...

– Однако вы боялись, что эта отвратительная женщина изуродует вас, значит, вы дорожите своей красотой, бедная девочка? Это значит, что жизнь вас еще привлекает. А потому не отчаивайтесь, будьте храброй!

– Может быть, это слабости с моей стороны, но, если бы я была красива, как вы говорите, я бы хотела умереть красивой, произнося имя моего благодетеля...

Глаза маркизы наполнились слезами.

Лилия-Мария произнесла последние слова так просто, ее ангельское лицо, бледное и удрученное, ее несмелая улыбка так соответствовали этим словам, что нельзя было усомниться в искренности ее печального пожелания.

Маркиза д'Арвиль обладала достаточной тонкостью, чтобы не почувствовать нечто неотвратимое и роковое в мыслях Певуньи:

«Я никогда не забуду, кем я была...»

Навязчивая идея, неизгладимые воспоминания беспрестанно угнетали и терзали Лилию-Марию.

Клеманс устыдилась, что могла хоть минуту сомневаться в бескорыстном великодушии принца и поддалась нелепой ревности к несчастной Певунье, которая так искренне и наивно выражала признательность своему благодетелю.

Странная вещь: нескрываемое восхищение этой бедной узницы Родольфом как бы усилило глубокую любовь Клеманс, которую она должна была всегда скрывать.

Чтобы избавиться от этих мыслей, она спросила:

– Надеюсь, в будущем вы не станете судить себя так строго? Но вернемся к вашей клятве: теперь я понимаю ваше молчание. Вы не хотели выдавать этих негодяев?

– Хотя Грамотей и помогал при моем похищении, он дважды защитил меня... Я не хотела быть неблагодарной.

– И вы согласились стать соучастницей этих чудовищ?

– Да, сударыня... Я так испугалась! Сычиха сходила за Красноруким, он отвел меня к полицейскому участку и сказал, что я прогуливалась перед его кабаком; я ничего не отрицала, меня арестовали и привели сюда.

– Но ведь ваши друзья на ферме, наверное, с ума сходят от беспокойства!

– Увы, сударыня, я сначала была так напугана, что не подумала о том, что эта клятва помешает мне их успокоить... Сейчас я об этом сожалею... Но сейчас, – не правда ли? – я могу, не нарушая слова, попросить вас написать госпоже Жорж на ферму Букеваль, чтобы она за меня не тревожилась, не говоря при этом, где я, ибо я обещала об этом молчать...

– Дитя мое, все эти предосторожности станут излишними, если по моей просьбе вас поминут и отпустят? Завтра вы вернетесь на ферму, не нарушив вашей клятвы. А позднее вы посоветуетесь с вашим благодетелем, обязаны ли вы выполнять обещание, вырванное у вас угрозами.

– Вы полагаете, что... благодаря вашей доброте я смогу скоро выйти отсюда?

– Вы этого заслуживаете, и я уверена, мне удастся вам помочь, и послезавтра вы сможете сами успокоить ваших благодетелей.

– Ах, сударыня, чем я заслужила столько милостей? Как вас благодарить?

– Продолжайте вести себя так же достойно, как сейчас... Мне только жаль, что я не смогу позаботиться о вашем будущем – это счастье принадлежит вашим друзьям...

Внезапно вошла г-жа Арман с огорченным лицом.

– Госпожа маркиза, – сказала она неуверенно, – мне очень жаль, но я обязана известить вас...

– Что вы хотите сказать?

– Вас ждет внизу герцог де Люсене... Он только что от вас.

– Господи, вы меня пугаете! Что случилось?

– Я не знаю, сударыня, но господин де Люсене должен сообщить вам, как он говорит, нечто печальное и неожиданное. Он узнал от госпожи герцогини, своей супруги, что вы находитесь здесь, и поспешил сюда...

– Печальное и неожиданное? – повторила про себя г-жа д'Арвиль. И вдруг закричала в отчаянии: – Моя дочь? Моя дочь... Не может быть! Скажите все, прошу вас!

– Я ничего не знаю, сударыня.

– О, сжальтесь, сжальтесь! Отведите меня скорее к герцогу! – воскликнула г-жа д'Арвиль, устремившись к дверям, и г-жа Арман последовала за ней.

– Несчастная мать! – прошептала Певунья, провожая ее взглядом. – О нет, это невозможно!.. Неужели ее постиг такой страшный удар, как раз когда она проявила ко мне столько доброты? Нет, и еще раз нет, – это невозможно!

Глава XI ДРУЖБА ПОНЕВОЛЕ

А теперь мы поведем читателя в дом на улице Тампль: происходит это в день самоубийства г-на д'Арвиля, в три часа пополудни.

Господин Пипле – один у себя в швейцарской: добросовестный и неумолимый труженик, он старательно чинит сапог, который, увы, не раз и не два уже падал на пол, и все это – из-за последней и самой наглой выходки Кабриона.

Физиономия у высоконравственного привратника крайне унылая и еще более печальная, нежели обычно.

Как солдат, который чувствует себя униженным из-за понесенного поражения и грустно проводит рукой по едва затянувшейся ране, г-н Пипле время от времени испускает тяжкий вздох, прекращает работу и проводит дрожащим пальцем вдоль поперечной вмятины: ее оставила на цилиндре – предмете гордости привратника – нахальная рука Кабриона.

И тогда все горести, все тревоги, все опасения Альфреда Пипле пробуждаются с новой силой, и он начинает размышлять о постоянных и просто немыслимых преследованиях, которым подвергает его этот бездарный художник, этот мазила.

Господин Пипле не обладал ни широким кругозором, ни глубоким умом, он не был одарен ни живым воображением, ни поэтическим складом души, но зато он обладал здравым смыслом и отличался весьма солидным и логическим, хотя и несколько прямолинейным рассудком.

На свою беду, в силу природной склонности к слишком уж прямолинейным суждениям, он не мог постичь эксцентрических и сумасбродных выходок, которые на языке живописцев именуются шаржами. Г-н Пипле силился обнаружить разумные, мыслимые причины невыносимого поведения Кабриона и потому задавал себе множество неразрешимых вопросов.

Порою он, как новый Паскаль, испытывал головокружение, пытаясь проникнуть умственным взором в ту бездонную пропасть, которую адский дух художника вырыл у него, Альфреда Пипле, под ногами.

Не один раз, уязвленный в своих лучших чувствах, злополучный привратник старался взять себя в руки – к этому его побуждал непоколебимый скепсис г-жи Пипле: она считалась с одними лишь фактами и с пренебрежением отвергала все его попытки углубиться в их скрытые причины; Анастаси грубо утверждала, будто необъяснимое поведение Кабриона по отношению к ее мужу – всего лишь глупая шутка!

Господин Пипле, человек рассудительный и серьезный, не мог принять подобное толкование, но только жалобно стонал, видя слепоту своей жены; его мужское достоинство восставало при одной мысли, что он мог стать игрушкой, жертвой столь пошлой затеи: фарса... Он был глубоко убежден, что неслыханное поведение Кабриона было связано с каким-то тайным и темным заговором, а наружное легкомыслие живописца служило лишь покровом для всех этих козней.

Мы уже сказали, что, стремясь разгадать сию зловещую тайну, человек, столь гордившийся своим цилиндром, вновь и вновь прибегал к присущей ему железной логике.

– Я готов дать голову на отсечение, – бормотал этот суровый муж, ставивший перед собою все новые и новые вопросы, – я готов дать голову на отсечение, но никогда не соглашусь с тем, будто Кабрион столь яростно и упорно преследует меня из одного только желания просто-напросто подшутить надо мною: ведь шутки шутят «на публику». А в последний раз этот зловредный субъект действовал без свидетелей, действовал в одиночку и, как всегда, под покровом тьмы; он тайком забрался в мою скромную обитель и запечатлел у меня на лбу свой отвратительный поцелуй. И вот я спрашиваю любого беспристрастного человека: «С какой целью он это сделал?» Нет, то была не просто бравада... ведь никто ничего не видел, не совершил он этого и ради удовольствия... законы природы тому противоречат; совершил он это и не из дружбы... ибо на всем свете у меня есть лишь один враг, а именно: он. Стало быть, нужно признать, что здесь таится какая-то тайна, и мой разум не в силах проникнуть в нее! Но тогда, к чему ведет его дьявольский план, который он уже давно взлелеял и проводит в жизнь с упорством, какое меня пугает! Так вот, всего этого я никак понять не могу, а невозможность сорвать покров тайны изнуряет и подтачивает меня изнутри!

Вот во власти каких тягостных раздумий пребывал г-н Пипле в ту минуту, когда мы представляем его читателю.

Достопочтенный привратник только бередил свои кровоточащие раны, печально проводя рукой по вмятине на своем цилиндре, когда чей-то пронзительный голос, доносившийся откуда-то с верхних этажей, произнес следующие слова, гулко прозвучавшие в лестничной клетке:

– Скорей! Скорей, господин Пипле! Поднимитесь вверх... И не мешкая!

– Голос этот мне незнаком, – проговорил Альфред Пипле после минутного размышления.

И он уронил на колени левую руку с надетым на нее сапогом, который тачал.

– Господин Пипле, да поторапливайтесь же! – настойчиво повторил все тот же голос.

– Нет, голос мне положительно незнаком. Он принадлежит мужчине, и человек этот зовет меня... я могу это точно утверждать. Однако это еще не резон для того, чтобы я покинул швейцарскую... Оставить ее без присмотра... бросить ее в отсутствие своей супруги... Никогда! – решительно воскликнул Альфред. – Никогда!!!

– Господин Пипле! – еще настойчивее прозвучал голос. – Да поднимитесь же быстрее... Госпоже Пипле дурно!

– Анастази!.. – завопил Альфред, вставая со стула.

Потом он вновь опустился на место и сказал самому себе: «Да, я просто малое дитя... ничего такого быть не может, моя жена вот уже час, как ушла из дома! Впрочем, она ведь могла и вернуться, а я того не заметил? Правда, это не в ее правилах, но я вынужден признать, что такое возможно».

– Господин Пипле, да поднимитесь же, наконец, я держу вашу супругу в объятиях!

– Как?! Моя жена в чьих-то объятиях! – воскликнул г-н Пипле, мигом вскочив с места.

– Один я не в силах распустить шнуровку на корсете госпожи Пипле! – продолжал незнакомый голос.

Слова эти произвели на Альфреда почти магическое действие, он побагровел – все его целомудрие возмутилось.

– Незнакомый и отвратительный голос утверждает, будто собирается распустить шнуровку на корсете моей Анастази! – завопил он. – Я протестую! Я запрещаю это делать!

И привратник опрометью кинулся вон из швейцарской; однако на пороге он остановился.

Господин Пипле находился теперь в одном из тех ужасных, прямо-таки критических и необычайно драматических положений, которые нещадно эксплуатируют поэты. С одной стороны, долг удерживал его в швейцарской, с другой стороны, целомудрие и супружеская привязанность властно призывали его подняться на верхние этажи дома.

Он все еще пребывал в ужасном замешательстве, когда снова послышался роковой голос:

– Стало быть, вы не идете, господин Пипле?! Тем хуже... Я разрезаю шнуровку, правда, закрыв при этом глаза...

Эта новая угроза заставила привратника решиться.

– Сударь! – крикнул он и, не помня себя, выбежал из швейцарской. – Заклинаю вас честью, суддаррь, не разрезайте шнуровку. Не прикасайтесь к моей супруге... Я уже поднимаюсь к вам...

И Альфред устремился вверх по темной лестнице, в смятении позабыв запереть дверь в швейцарскую.

Как только он покинул свое убежище, какой-то человек быстро вошел туда, схватил со стола сапожный молоток, вскочил на кровать и с помощью заранее приготовленных четырех кнопок прикрепил кусок картона, который был у него в руках, к стене – в глубине алькова, где стояло ложе г-на Пипле; после чего незнакомец скрылся.

Все это он проделал так ловко, что привратник, который почти тотчас же вспомнил, что оставил дверь в швейцарскую отпертой, быстро спустился по лестнице, запер дверь, положил ключ в карман и снова поднялся вверх, даже не заподозрив, что кто-то посторонний входил в его жилище. Приняв все эти меры предосторожности, Альфред вновь устремился на помощь Анастази, крича во всю мочь.

– Суддаррь, не разрезайте шнуровку... я уже поднимаюсь... я уже тут... и я поручаю мою супругу вашему чувству приличия!

Однако почтенному привратнику предстояло в тот день переходить от удивления к изум-

лению.

Едва он успел снова преодолеть первые ступеньки лестницы, как услышал голос жены, причем доносился ее голос не с верхнего этажа, а из крытого прохода.

Еще более визгливо, чем обычно, Анастаси кричала:

– Альфред! Зачем ты ушел из швейцарской! И где ты только шатаешься, старый волокита?

Как раз в эту минуту г-н Пипле собирался ступить правой ногой на площадку второго этажа; он просто окаменел, повернул голову и, глядя вниз вдоль лестницы, разинул рот, вытаращил глаза, а его нога так и застыла в воздухе.

– Альфред!!! – опять послышался голос г-жи Пипле.

– Анастаси стоит внизу... стало быть, она не была наверху и ей там не стало дурно!.. – пробормотал г-н Пипле, послушно следуя своей твердой и неумолимой логике. – Но тогда... кому же принадлежал этот не знакомый мне мужской голос? Кто угрожал распустить шнуровку на ее корсете? Значит, то был какой-то обманщик? Значит, он жестоко играл моею тревогой?.. Но какую он преследовал цель? Нет, тут происходят совершенно невероятные вещи... Не важно! «Исполняй свой долг, и будь что будет...» Сейчас я отвечу моей супруге, а потом поднимусь до самого верха, проникну в эту тайну и разберусь, чей же это был голос.

Не на шутку встревоженный, г-н Пипле спустился по лестнице и оказался лицом к лицу со своей женой.

– Так это ты?! – вырвалось у него.

– Конечно, я, а кто же еще?! Кто, по-твоему, это мог быть?

– Так это ты? Зрение меня не обманывает?

– Вот оно как?! Да что, собственно, тут происходит? Почему ты вытаращил на меня глаза? Глядишь с таким видом, будто хочешь меня проглотить!..

– Дело в том, что твое присутствие позволяет мне понять: здесь такое... такое творится...

– Что еще здесь творится? Послушай, дай-ка мне лучше ключ от швейцарской! И почему ты оставил ее без присмотра? Я возвращаюсь из конторы дилижансов, уходящих в Нормандию, а ездила я туда в фиакре – отвозила чемодан господина Брадаманти, он почему-то не хочет, чтобы знали о том, что он нынче вечером уезжает, а этому негоднику Хромуле он не верит... и правильно делает!

Произнеся эту фразу, г-жа Пипле взяла из рук мужа ключ, отперла швейцарскую и вошла туда; ее супруг плелся следом. Не успела достойная чета уйти с лестницы, как некий человек осторожно спустился вниз и быстро прошмыгнул незамеченным мимо швейцарской.

То был владелец мужского голоса, который вызвал столь сильное беспокойство у Альфреда Пипле.

Господин Пипле тяжело опустился на стул и с волнением проговорил:

– Анастаси... мне что-то не по себе; здесь такое... такое происходит...

– Ну вот, опять ты заладил свое; но ведь всегда и везде что-нибудь да происходит! Что это с тобой? Ну-ка, рассказывай... Смотри, да ты весь в поту, вымок до нитки... Ты что, камни таскал?.. Господи, ведь с него, с моего старичка, пот просто льет!

– Да, я вспотел, как в бане... и тому есть веская причина... – С этими словами г-н Пипле провел ладонью по вспотевшему лицу. – Потому как тут происходят такие вещи, что и свихнуться недолго...

– Ну что там еще? И никогда-то ты не можешь посидеть спокойно. Все время носишься как угорелый, а ведь тебе надо было только тихо-мирно сидеть на стуле да присматривать за швейцарской.

– Анастаси, вы просто несправедливы ко мне... когда говорите, что я мечусь как угорелый. Если я и мечусь... то ведь из-за вас.

– Из-за меня?!

– Вот именно... Я старался предотвратить оскорбление, после которого мы бы оба краснели и рыдали... Я покинул свой пост, который полагаю столь же священным, как будку часового...

– Мне хотели нанести оскорбление? Мне?

– Нет, не то чтобы вам... коль скоро оскорбление, которым вам угрожали, должно было совершиться где-то там, наверху, а вас, оказывается, и дома не было... но только...

– Шут меня побери, если я хоть что-нибудь понимаю из того, что ты мне тут поешь! Послушай, Альфред, да ты и впрямь голову потерял... Видишь ли... я начинаю думать, что на тебя помрачение нашло... словно тебя по голове чем-то огрели... и всему виною – этот негодяй Кабрион, разрази его господь!.. После его давешней шутки я тебя не узнаю, вид у тебя какой-то пришибленный... Неужели этот изверг всю жизнь будет для нас кошмаром?

Не успела Анастаси произнести эти слова, как произошло нечто невероятное.

Альфред по-прежнему сидел на стуле, повернув голову к алькову, где стояла его кровать.

Швейцарская была освещена тусклым светом зимнего дня и неярко горевшей лампой. И вот, в бликах этого неясного света, г-ну Пипле – в ту самую минуту, когда его супруга произнесла имя Кабриона, – показалось, что в полутемном алькове возникло неподвижное и насмешливое лицо живописца.

Да, то был Кабрион в своей остроконечной шляпе: длинные волосы обрамляли его худое лицо, на губах играла дьявольская улыбка, подбородок его украшала козлиная бородка, а взгляд, как всегда, завораживал...

И тут г-ну Пипле показалось, ему вдруг почудилось, что он бредит; Альфред провел рукою по глазам... он решил, что стал жертвой миража...

Но то был не мираж...

То, что ему представилось, было суровой действительностью.

Перед ним было ужасное видение! Туловище отсутствовало, виднелась лишь одна голова – ее живое воплощение возникло в полутемном алькове...

При виде этой головы г-н Пипле резко откинулся на стуле и замер, не произнеся ни слова; он только поднял правую руку и указывал испуганным жестом на жуткое видение, так что, когда г-жа Пипле повернулась к мужу, чтобы понять причину его испуга, она, несмотря на свою обычную выдержку, также испытала страх.

Отступив на два шага, Анастаси с силой стиснула руку Альфреда и воскликнула:

– Кабрион!!!

– Да!.. – пробормотал г-н Пипле хриплым, почти замогильным голосом и закрыл глаза.

Растерянность обоих супругов делала честь таланту художника, который великолепно воспроизвел на картоне черты Кабриона.

Когда первое удивление прошло, Анастаси, точно разъяренная львица, кинулась к кровати, взобралась на нее, и не без некоторой дрожи, сорвала картон со стены, к которой он был прикреплен.

Свой доблестный поступок эта новоявленная амазонка сопровождала, словно воинственным кличем, своим излюбленным восклицанием:

– Вот и вся недолга!

Альфред, все еще не открывая глаз, вытянул вперед руки, но по-прежнему сидел не шевелясь – так он всегда поступал в критические минуты своей жизни. Только судорожное покачивание его цилиндра говорило время от времени о все еще продолжавшемся сильном душевном волнении.

– Да открой же свои глазыньки, милый мой старичок, – проговорила, торжествуя победу, г-жа Пипле, – все это пустяки... всего лишь рисунок... портрет этого негодяя Кабриона!.. Гляди, как я его топчу! – И Анастаси, пылая негодованием, швырнула злополучный портрет на пол и принялась топтать его ногами, восклицая: – Вот точно так же я хотела бы расправиться с этим проходимцем, предстань он передо мною во плоти! – Затем, подняв портрет с пола, она прибавила: – Погляди-ка, сейчас на нем видны следы моих подошв... Да погляди же!

Альфред отрицательно замотал головой и не промолвил ни слова; он только жестом попросил жену убрать подальше ненавистный ему образ.

– Я в жизни не встречала такого наглеца! Ведь это еще не все... Внизу негодяй написал красными буквами: «Кабрион – своему доброму другу Пипле, другу на всю жизнь», – прочла привратница, поднося портрет к свету.

– «Своему доброму другу... другу на всю жизнь!...» – горестно прошептал Альфред.

И он воздел руки, словно призывая небо в свидетели новой и оскорбительной насмешки Кабриона.

– Но, кстати сказать, как все это произошло? – спросила Анастаси у мужа. – Ведь утром, когда я перестилала твою постель, никакого портрета тут наверняка не было... Уходя, ты унес ключ от швейцарской с собою, стало быть, никто не мог сюда войти, пока тебя не было. Каким же образом, еще раз спрашиваю я, мог этот портрет здесь оказаться?.. Ах, вот оно что: может, ты сам ненароком повесил его, любезный мой старичок?

При этом чудовищном предположении Альфред подскочил на стуле; он открыл глаза, и они угрожающе засверкали.

– Я... я... повесил у себя в алькове портрет этого изверга, человека, который уже не ограничивается тем, что весь день торчит поблизости и преследует меня? Человека, который преследует меня теперь и ночью во сне, как и наяву, негодая, повесившего тут свой мерзкий портрет? Вы, видно, хотите, Анастаси, превратить меня в буйнопомешанного?..

– Ну и что? Что из того? Разве не мог ты, добываясь спокойствия, помириться с Кабрионом, пока меня тут не было?.. Ничего дурного я в этом не вижу!

– Я мог помириться с Кабрионом?.. О господи, слышишь ли ты?!

– Но тогда... Ведь подарил же он тебе свой портрет в знак нежной дружбы... Ведь это так, не отпирайся...

– Анастаси!

– Ну, а коли подарил, то ты, надо признаться, капризен, как юная красотка.

– Жена моя!..

– Однако, в конце концов, кто же, как не ты, повесил на стену этот портрет?

– Я?! Боже! Великий боже!

– Но кто ж тогда это сделал?

– Вы, сударыня...

– Я?!

– Да, именно вы! – завопил г-н Пипле, не помня себя от гнева. – Я вынужден думать, что это сделали вы. Нынче утром я все время сидел спиной к кровати и мог ничего не заметить.

– Да послушай, миленький ты мой старичок...

– Говорю я вам, что, кроме вас, некому было это проделать... разве только тут замешался сам дьявол... потому как я не выходил из швейцарской, а когда стал подниматься вверх, подчиняясь зову незнакомого мне мужского голоса, в руках у меня был ключ. И я тщательно запер дверь за собою, вы ведь сами ее только что отперли... Попробуйте сказать, что «нет».

– Ей-богу, все так оно и было!

– Значит, вы признаете?..

– Я признаю только то, что ничего не понимаю... Это какая-то злая шутка, и, говоря по правде, ее ловко проделали.

– Какая еще шутка! – воскликнул г-н Пипле, охваченный яростным негодованием. – Ах! Опять вы за свое: это, мол, всего лишь шутка! А вот я, я вам говорю, что за всем этим кроются самые ужасные козни... Нет, нет, все это неспроста! Тут хорошо обдуманый план... вернее, заговор... Бездну искусно прикрывают ковром из цветов, мне хотят голову заморочить, чтобы я не мог различить пропасть, в которую меня собираются спихнуть... Остается только одно: прибегнуть к защите закона... По счастью, господь бог не лишил еще Францию своего покровительства.

И г-н Пипле направился к двери.

– Куда это ты собрался, милый мой, старичок?

– Я иду к комиссару полиции... подам ему жалобу, а портрет этот покажу в доказательство того, как меня преследуют и притесняют.

– Но на что, собственно, ты хочешь жаловаться?

– На что я собираюсь пожаловаться? То есть как это на что?! Мой враг, мой самый злобный враг идет на любые жульнические проделки... пытается вынудить меня смириться с тем, что над

моим супружеским ложем висит его портрет, а власти предержащие не возьмут меня под защиту?... Дай-ка мне этот гнусный портрет, Анастаси, дай мне его в руки... только прежде переверни его... а то мне смотреть на него противно! Этот мерзавец не посмеет отпереться... он ведь своей рукой намалевал: «Кабрион – своему доброму другу Пипле, другу на всю жизнь». Подумать только: на всю жизнь!.. Да, он именно так все и задумал... Он и преследует-то меня, с тем чтобы отравить мне жизнь... и в конце концов он своего добьется... Я вынужден жить в постоянной тревоге! Я буду думать, что он – это исчадье ада – всегда находится тут! Под полом, в толще стен, на потолке!.. Ночью он станет наблюдать, как я сплю в объятиях моей супруги, а днем станет стоять позади меня со своей дьявольской усмешкой... А кто может поручиться, что и сейчас, в эту самую минуту, он не притаился где-нибудь тут... не затаился, как ядовитое насекомое? А ну-ка поглядим! Где ты, изверг? Отвечай, где ты! – в ярости завопил г-н Пипле, судорожно вращая головой, словно пытаюсь обшарить взглядом все закоулки своего жилья.

– Я здесь, дружище! – послышался вкрадчивый голос, так хорошо знакомый Альфреду голос Кабриона.

Слова эти, казалось, доносились из глубины алькова; но объяснялось все тем, что художник владел искусством чревоушания, на самом деле адский живописец стоял снаружи, возле двери в швейцарскую, смакуя во всех подробностях описанную выше сцену. Произнеся эти слова, он осторожно удалился, но – как читатель вскоре узнает – оставил некий предмет, который сделался причиной удивления, гнева и тягостных раздумий его злосчастной жертвы.

Госпожа Пипле, как всегда, сохранила мужество и присутствие духа; она внимательно осмотрела пространство под кроватью, обошла все самые укромные уголки швейцарской, но нигде ничего не обнаружила; затем она столь же тщательно осмотрела крытый проход, но и там ее поиски не увенчались успехом; г-н Пипле, сраженный этим последним ударом, вновь тяжело опустился на стул, почти оцепенев от отчаяния.

– Нигде никого нет, Альфред, – объявила Анастаси, как обычно сохраняя здравый смысл и трезвость суждений, – этот негодяй просто прятался за дверью и, пока мы искали его в швейцарской, он преспокойно удрал. Но терпенье! Раньше или позже я его поймаю... и пусть он тогда поостережется, проходимец эдакий! Уж я его хорошенько угощу своей метлою!

В эту минуту дверь отворилась, и в швейцарскую вошла г-жа Серафен, экономка нотариуса Жака Феррана.

– Добрый день, госпожа Серафен, – сказала Анастаси. Желая скрыть от постороннего человека свои домашние огорчения, почтенная привратница с самым любезным и приветливым видом спросила: – Чем могу вам служить?

– Прежде всего, скажите мне, госпожа Пипле, что означает ваша новая вывеска?

– Наша новая вывеска?

– Ну да, эта дощечка с надписью.

– Какая еще дощечка с надписью?

– Ну, та, черная с красными буквами, она прибита перед дверью в ваш крытый проход.

– То есть где она прибита? Со стороны улицы?..

– Ну да, со стороны улицы, над самой вашей дверью.

– Любезная госпожа Серафен, я что-то вас не понимаю, я никак в толк не возьму, о чем вы толкуете. Скажи, милый мой старичок, а ты что-нибудь понимаешь?

Альфред по-прежнему хранил молчание.

– Кстати, вывеска касается именно господина Пипле, – объявила г-жа Серафен, – он-то, должно быть, все мне объяснит.

Привратник издал какой-то глухой, невнятный вздох и молча продолжал терзать свой злополучный цилиндр.

Эта немая сцена означала: г-н Пипле признался, что он не может ничего объяснить другим, ибо сам тщетно пытается ответить себе на множество вопросов, ни на один из которых он пока ответить не в силах.

– Не обращайтесь на него внимания, госпожа Серафен, – вмешалась Анастаси. – У бедного моего Альфреда спазмы желудка, потому-то он так и сидит неподвижно... Но что это за дощечка

с надписью, о которой вы толкуете?.. Быть может, ее повесил ликерщик, что живет по соседству?

– Да нет же, нет! Говорю вам, что эта небольшая дощечка прибита над самой вашей дверью.

– Послушайте, да вы что, смеетесь?

– И вовсе я не смеюсь, я только что видела ее собственными глазами, когда к вам входила. На ней написано крупными буквами: «Пипле и Кабрион оказывают дружеские и прочие услуги. Обращаться к привратнику».

– Ах ты господи!.. И все это написано над нашей дверью?! Ты слышишь, Альфред?

Господин Пипле посмотрел на г-жу Серафен с совершенно потерянным видом; он ничего не понимал, больше того – не хотел ничего понимать.

– И все это... написано на дощечке... прямо на улице? – опять спросила г-жа Пипле, пораженная новой наглостью художника.

– Конечно, ведь я сама только что прочла. И тогда я подумала: «Вот странная история! Ведь господин Пипле занимается сапожным ремеслом, должно быть, он вывесил такое объявление и извещает прохожих о том, что он вкупе с неким Кабрионом оказывает „дружеские услуги“... Что же все это означает?.. Тут кроется что-то непонятное... Но так как на дощечке написано: „Обращаться к привратнику“, господин Пипле, верно, мне все объяснит...» Глядите, глядите, – вдруг воскликнула г-жа Серафен, прерывая свою речь, – вашему мужу, кажется, дурно... осторожно, скорее! Он сейчас упадет навзничь!

Госпожа Пипле торопливо подхватила мужа, едва не потерявшего сознание.

Последний удар был слишком силен для него; человек в цилиндре чуть не лишился чувств и успел только пробормотать:

– Презренный! Он меня публично опозорил!!!

– Я же сказала вам, госпожа Серафен, что у Альфреда ужасные желудочные спазмы, а тут еще этот ужасный сорванец, который донимает и допекает его своими булавочными уколами... Мой бедный, мой милый старичок этого не выдержит! По счастью, у меня есть капелька абсента, быть может, это поставит его на ноги...

И действительно, благодаря этому проверенному лекарству г-жи Пипле Альфред мало-помалу пришел в себя; но, увы, едва вернувшись к жизни, он вновь подвергся жестокому испытанию.

Какой-то человек средних лет, прилично одетый, с лицом столь простосердечным, а вернее глупым, что в этом парижском ротозее невозможно было заподозрить способность к какой-либо задней мысли, а уж тем более к мысли коварной, отворил застекленную створку двери и с заинтересованным видом спросил:

– Я только что прочел вывеску, прибитую над ведущим к вам крытым проходом, на ней написано: «Пипле и Кабрион оказывают дружеские и прочие услуги». Будьте любезны и скажите на милость, что это значит? Ведь вы, если не ошибаюсь, здешний привратник?

– Что все это значит?! – завопил г-н Пипле громовым голосом, давая наконец выход негодованию, которое он так долго сдерживал. – Это значит, что господин Кабрион гнусный обманщик! Понимаете, суддаррь?!

При этой внезапной и яростной вспышке гнева посетитель невольно попятился.

Альфред, не помня себя от бешенства, побагровел, высунулся из швейцарской и судорожно вцепился обеими руками во внутреннюю филенку двери; позади него смутно вырисовывались фигуры г-жи Серафен и Анастаси: они были едва различимы в полутьме.

– Зарубите себе на носу, суддаррь, – кричал г-н Пипле, – что я не поддерживаю никаких отношений с эти проходимцем Кабрионом, а уж дружеских отношений – и подавно!

– Да вы, должно быть, уже давно не высывали носа из дому, старый сморчок, коль скоро являетесь сюда и задаете дурацкие вопросы! – язвительно прибавила г-жа Пипле, высывая из-за спины мужа свою обозленную физиономию.

– Сударыня, – с достоинством ответил посетитель, благоразумно отступая еще на шаг, – объявления вывешивают для того, чтобы их читали. Вы их вывешиваете, а я их читаю, так что я-то в своем праве, а вот у вас нет никакого права говорить мне грубости!

– Да вы сами – ходячая грубость... старый скаред! – резко ответила Анастаси, ослабившись.

– Это вы грубиянка!

– Альфред, дай-ка мне твой шпандырь, я хочу снять мерку с рожи этого господина... Я отучу его ходить сюда шутки шутить!.. Он, видно, забыл, сколько ему лет, старый невежа!

– Приходишь к вам, чтобы разобраться в вашем же объявлении, а в ответ слышишь брань! Это вам даром не пройдет, сударыня!

– Послушайте, суддарь... – простонал злополучный привратник.

– Послушайте, сударь, – подхватил посетитель, в свою очередь выходя из себя, – водите дружбу с кем хотите, хоть с вашим Кабрионом, но, черт побери, не афишируйте это огромными буквами, не мозольте ими глаза прохожим! А посему я почитаю своим долгом заявить вам, что вы неотесанный мужлан, и я принесу на вас жалобу полицейскому комиссару.

И, не помня себя от гнева, злополучный посетитель удалился.

– Анастаси, – пробормотал Пипле жалобным голосом, – я всего этого не переживу, я чувствую, что ранен насмерть... и нет у меня никакой надежды спастись от гибели. Ты сама видишь: отныне мое имя открыто связано с именем этого негодяя. Он осмелился публично объявить, будто нас связывают узы дружбы, и люди верят ему; я говорю... я утверждаю... я торжественно заявляю, что это чудовищно... этому нет названия... это какая-то дьявольская выдумка! И надо со всем этим покончить раз и навсегда... чаша моего терпения переполнилась... одному из нас – либо ему, либо мне – суждено пасть в этой борьбе!

И, преодолев свою обычную апатию, г-н Пипле принял героическое решение, схватил портрет и бросился к двери.

– Куда ты собрался, Альфред?

– К комиссару полиции! По дороге я сорву эту мерзкую дощечку с надписью; держа ее и портрет в руках, я крикну комиссару: «Защитите меня! Отомстите за меня! Избавьте меня от этого Кабриона!»

– Прекрасно сказано, милый мой старичок! Встряхнись, расшевелись хорошенько! Да, если ты сам не сумеешь снять дощечку, попроси ликерщика помочь тебе, пусть он возьмет свою приставную лестницу. Мерзавец Кабрион! О, попадись он мне, я, коли смогу, поджарю его на своей плите и с удовольствием полюбуюсь на его муки. Да, есть люди, которым отрубают голову гильотиной, хотя они заслуживают того меньше, чем он. Ах, негодяй, хотела бы я видеть, как его, этого прощельгу, повезут на Гревскую площадь!

Однако Альфред в столь крайних обстоятельствах все же выказал возвышенную кротость. Несмотря на все обиды, на весь тот вред, который причинил ему Кабрион, привратник проявил великодушие и жалость к коварному живописцу.

– Нет, нет, – заявил он, – если б я даже мог, я не стал бы требовать его головы!

– А вот я стала бы... стала бы... И тем хуже для него. И вся недолга! – воскликнула свирепая Анастаси.

– Нет, – снова повторил Альфред, – я не люблю крови. Но я вправе потребовать, чтобы его, злодея, приговорили к пожизненному заключению, это необходимо для моего покоя, это нужно для моего здоровья... И закон должен пойти мне навстречу... в противном случае я покину Францию... мою прекрасную Францию! Вот к чему все это приведет...

И Альфред Пипле, уйдя в свое горе, торжественно покинул швейцарскую: в эту минуту он походил на величавую жертву античного рока.

Глава XII СЕСИЛИ

Прежде чем предложить читателю присутствовать при разговоре г-жи Серафен и г-жи Пипле, мы хотим предупредить его, что Анастаси, ни в коей мере не сомневавшаяся в добродетелях богобоязненного нотариуса, все же решительно осуждала суровость, которую он выказал по отношению к Луизе Морель и Жермену. Естественно, что привратница распространяла свое

недоброжелательство и на г-жу Серафен; однако, будучи весьма тонким политиком, г-жа Пипле по причинам, о которых мы скажем позже, старательно скрывала свою неприязнь к домоправительнице Жака Феррана и потому встретила ее как нельзя более сердечно.

Громко осудив недостойное поведение Кабриона, г-жа Серафен воскликнула:

– Ах да! Что такое происходит с господином Брадаманти? Вчера вечером я написала ему – и никакого ответа; нынче утром приходила к нему сама – и не застала его дома... Надеюсь, сейчас мне больше повезет.

Госпожа Пипле изобразила на лице живейшую досаду.

– Ах! Вот беда-то, вот незадача! – воскликнула она.

– Вы о чем?

– Господин Брадаманти еще не возвращался.

– Да это ни в какие ворота не лезет!

– Надо прямо сказать, не везет вам, милая моя госпожа Серафен, да и только!

– Но мне просто необходимо с ним побеседовать!

– Все понимаю, но, как говорится, не судьба!

– А вдобавок ко всему, мне всякий раз нужно придумывать предлог для того, чтобы прийти сюда; потому что, если господин Ферран проводит, что я знакома с таким шарлатаном, он – вы ведь знаете, до чего благочестив... до чего шепетилен мой хозяин – сами понимаете... какой скандал он мне закатит!

– Ну совсем как мой Альфред: он так добродетелен, так добродетелен, что своей тени боится.

– А вы не знаете, когда вернется господин Брадаманти?

– Он сегодня кому-то встречу назначил – то ли на шесть, то ли на семь вечера; и велел сказать той особе, какую он ожидает, чтобы она еще раз пришла, если его дома не будет. Так что заходите вечером, и вы его наверняка застанете.

Мысленно Анастаси прибавила: «Как бы не так! Уже через час он будет на дороге в Нормандию».

– Стало быть, я вечером опять приду, – сказала г-жа Серафен, с трудом подавляя досаду. Затем она снова заговорила: – Я еще вот о чем хотела вам сказать, любезная госпожа Пипле. Вы, конечно, слышали о том, что произошло с этой распутницей Луизой, которую все мы считали порядочной девушкой.

– Не говорите, не говорите, – ответила г-жа Пипле с сокрушенным видом, возводя очи горе, – у меня просто волосы дыбом встали.

– Так вот, я хотела вам сказать, что мы пока остались без служанки, и, ежели вы вдруг услышите о какой-нибудь благоразумной девице, работающей, честной и порядочной, будьте так любезны и пришлите ее ко мне. Нынче ведь так трудно найти неиспорченную девушку, что приходится обращаться в двадцать мест, пока подыщешь такую.

– Уж будьте благонадежны, госпожа Серафен. Коли я услышу о подходящей девице, я тотчас же вам сообщу... Знаете, ведь и хорошие места так же редки, как и хорошие служанки.

Здесь Анастаси опять мысленно прибавила: «Как же, так я и пришлю тебе какую-нибудь бедную девушку, чтобы она жила впроголодь в вашем логове! Твой хозяин слишком скуп и слишком зол: подумать только, донес сразу на двоих – и на несчастную Луизу, и на бедного Жермена».

– Мне незачем вам говорить, – продолжала г-жа Серафен, – до чего у нас тихий и мирный дом; всякая юная девица только выиграет, если поступит к нам в услужение, ведь только потому, что эта Луиза оказалась от природы порочной, она так скверно кончила, несмотря на все благие намерения и отеческие советы господина Феррана.

– Само собой разумеется. Так что вы уж положитесь на меня: как только услышу где-нибудь о подходящей для вас девице, тут же и пришлю ее к вам.

– Да вот еще что, – продолжала г-жа Серафен, – господин Ферран очень хочет, чтобы у нашей служанки не было бы родных, ведь тогда, сами понимаете, у нее не будет повода уходить из дома и она станет меньше подвергаться опасности пойти по дурной дорожке; так что, ежели

найдется какая-нибудь сиротка, мой хозяин предпочтет ее другим... Во-первых, потому, что это будет благим делом, а затем потому, что, как я уже вам сказала, не имея родных и близких, она ни под каким благовидным предлогом не сможет отлучаться из дому. Да, эта негодница Луиза дала хороший урок господину нотариусу... сами понимаете, милая госпожа Пипле! Вот почему он теперь так осторожен при выборе служанки. Подумать только, эдакий скандал в столь чинном и благочестивом доме, как наш... Какой ужас! Итак, до вечера; я зайду тогда к господину Брадаманти, а потом загляну и к тетке Бюрет.

– До вечера, госпожа Серафен, думаю, что вы наверняка застанете господина Брадаманти.

Госпожа Серафен удалилась.

– До чего ей приспичило повидать Брадаманти! – проговорила г-жа Пипле. – И что ей от него нужно? А ведь он-то нипочем не хочет с нею встретиться до своего отъезда в Нормандию! Я ужасно боялась, что она так отсюда и не уберется, эта Серафенша, а между тем господин Брадаманти ждет к себе даму, которая уже приходила к нему вчера вечером. Мне так и не удалось ее толком рассмотреть; но на сей раз я уж расстараясь и хорошенько ее разгляжу, поступлю так, как поступила намеренно с любовницей нашего двухгрошового майора. Что-то он давно сюда носа не кажет! Чтоб как следует проучить его, я сожгу дрова... да, сожгу все дрова этого недоделанного заморыша! Подумаешь! Платит жалкие двенадцать франков, а наряжается в халат из блестящего шелка... Больно ему это помогает!.. Но кто она все-таки такая, дама, что приходила к господину Брадаманти?! Из господ она или из простых? Мне не терпится разведать, потому что я ведь любопытна, как сорока: ничего не поделаешь, такой уж у меня нрав... Постой-ка... Мне пришла в голову одна мысль... Просто замечательная мысль – уж теперь-то я узнаю имя этой дамочки! Надо будет непременно попробовать... Но кто это сюда идет? А, лучший из моих жильцов. Привет вам, господин Родольф! – воскликнула г-жа Пипле, вытягиваясь по стойке «смирно» и поднося левую ладонь к своему парикю.

И в самом деле то был Родольф; он еще не знал о смерти г-на д'Арвиля.

– Добрый день, госпожа Пипле, – сказал он, входя. – Что, Хохотушка дома? Мне нужно с нею поговорить.

– Она? Да эта милая кошечка всегда дома! Ведь у нее полно работы. Ни минуты без дела не сидит!..

– А как здоровье госпожи Морель? Она хоть немного приободрилась?

– Да, господин Родольф. Шут меня побери, благодаря вам или неведомому покровителю, чью волю вы исполняете, она и ее дети теперь просто счастливы! Они чувствуют себя точно рыба в воде: у них ведь есть и огонь в очаге, и чистый воздух, и мягкие постели, и хорошая пища, за ними сиделка ходит, не говоря уж о нашей Хохотушке: она хоть и трудится целый день, как прилежный бобер – и при этом сама нуждается, – а все равно с них глаз не спускает, уж вы мне поверьте!.. А потом тут от вас приходил лекарь, черный-пречерный, он осматривал госпожу Морель... Ха, ха, ха! Знаете, господин Родольф, я при виде его сама себе сказала: «Вот оно как! Верно, он лекарь угольщиков, этот черномазенький-то! Он может преспокойно щупать у них пульс, не боясь перепачкать руки!» Но это не важно, дело ведь не в цвете кожи, а врач он, что ни говори, видать, хороший: прописал какой-то отвар жене Мореля, и ей враз полегло.

– Бедная женщина! Она, должно быть, все грустит?

– О да, господин Родольф... Что ж вы хотите? Муж-то у нее тронулся... а к тому же и дочка в тюрьме. Понимаете, Луиза... Для матери это такое горе! Для любого порядочного семейства это просто ужасно... А как я подумаю, что только недавно мамаша Серафен, экономка нотариуса, приходила сюда и рассказывала мне всякие гадости о бедняжке Луизе! Не приготовь я горькую пилюлю для этой Серафенши, я бы так этого не оставила; но покамест я ее злоречие стерпела и даже виду не подавала. Подумать только: набралась нахальства и явилась сюда выведать, не знаю ли я какой-нибудь молодой девушки, чтобы определить ее на место Луизы к этому скареду Жаку Феррану! Ведь он же такой скаред и пройдоха! Представьте себе, они хотели бы взять в служанки какую-либо сиротку, коли им такая попадется. И знаете почему, господин Родольф? Они толкуют, что у сиротки, мол, нет родных и близких, а потому ей не надо будет отлучаться из дому, чтобы повидать их, и можно, дескать, быть спокойнее на ее счет. Но только дело вовсе не

в том, это просто отговорка. А истинная-то правда состоит в том, что они хотят прибрать к рукам бедную девушку, которая ничего-то и сказать не сможет потому, как ей и посоветоваться не с кем. Вот они и урежут ей жалованье, обернут бедняжку за милую душу. Ну разве я не права, господин Родольф?

– Да... да... – ответил тот с озабоченным видом.

Узнав, что г-жа Серафен ищет сиротку, чтобы определить ее взамен Луизы в служанки к нотариусу, Родольф увидел в таком стечении обстоятельств средство – и, пожалуй, самое надежное – для того, чтобы покарать Жака Феррана. Пока г-жа Пипле говорила, он мысленно мало-помалу изменял ту роль, какую прежде предназначал Сесили, ибо Родольф видел в ней важное орудие для справедливой кары, которой он собирался подвергнуть палача Луизы Морель.

– Я и не сомневалась, что вы будете одного мнения со мной, – продолжала г-жа Пипле. – Да, повторяю, они хотят заполучить к себе одинокую девушку, чтобы надуть ее с жалованьем; так что я уж лучше околею, но никого к ним не пошлю. Кстати, никого подходящего я и не знаю... но если бы даже знала какую-нибудь девицу, то помешала бы ей пойти в это жуткое логово. Не правда ли, господин Родольф, ведь я совершенно права?

– Госпожа Пипле, хотите ли вы оказать мне огромную услугу?

– Боже милостивый! Господин Родольф, что я должна сделать? Броситься в огонь, облить мой парик кипящим маслом? Либо вы предпочитаете, чтобы я кого-нибудь покусала? Говорите же... Я вся к вашим услугам... И сама я и мое сердце – мы ваши покорные рабы... если только речь не идет о том, чтобы наставить рога Альфреду...

– Успокойтесь, госпожа Пипле... Дело вот в чем состоит... Мне нужно пристроить на место одну сиротку... Она иностранка... никогда не бывала в Париже, и я бы хотел определить ее в служанки к господину Феррану...

– Господи, да у меня просто дух перехватило! Как? В этот вертеп, к этому старому скареду?

– И все-таки это место служанки... Если молодая девица, о которой я вам толкую, там не приживется, она позднее оттуда уйдет... Но, по крайней мере, сейчас она сразу же начнет зарабатывать себе на жизнь... и я буду спокоен на ее счет.

– Конечно, как знаете, господин Родольф, вам виднее, но только я вас предупредила... И ежели, несмотря ни на что, вы считаете, будто место это ей подходит... дело, как говорится, хозяйское. А потом мне надо быть справедливой к нотариусу: если тут многое говорит «против», то многое говорит и «за»... Он жаден как пес, упрям как осел, да и святоша, каких мало, все это так... Но зато он человек честный, таких не скоро найдешь... Жалованье он ей положит самое скудное, но платить будет все до гроша... Пища у них там прескверная... но кормят все же каждый день. В этом доме ей придется работать как ломовой лошади, но зато это такой дом, где от скуки мухидохнут... и нет опасности, что молодая девушка там что-нибудь эдакое выкинет... Случай с Луизой – дело особое.

– Госпожа Пипле, я хочу доверить вам одну тайну, и я полагаюсь на вашу порядочность.

– Честное слово Анастаси Пипле, урожденной Галлимар, так же верно, как то, что есть господь бог на небесах... как то, что мой Альфред всегда ходит в зеленом сюртуке... Я стану молчать как рыба.

– Вы ничего не должны говорить даже господину Пипле!..

– Клянусь вам головой милого моего старичка... если только дело тут чистое...

– Ах, госпожа Пипле!..

– Ну, коли так, то мы его вокруг пальца обведем, он у нас ничегошеньки не узнает; вы только поймите: ведь он у меня как полугодовалый младенец, до того он наивный да бесхитростный.

– Я вам верю, госпожа Пипле. Слушайте же.

– Все, что вы мне скажете, лучший из моих жильцов, останется между нами на всю жизнь, до гробовой доски... Так что выкладывайте смелее.

– Девица, о которой я с вами говорю, согрешила...

– Ну, это дело знакомое!.. Не выйди я в пятнадцать лет замуж за Альфреда, я бы, пожалуй,

раз пятьдесят, а может, и сотню раз согрешила! Ведь я такая, как есть, была точно порох... точно бесенок какой, клянусь вам, как порядочная женщина. Хорошо, что мой Пипле укротил меня своей добродетелью... А то бы я такого натворила... и все из-за мужчин! Я это к тому говорю, что, коли ваша девица всего один разок согрешила... это еще дело поправимое.

– Я и сам так думаю. Девица эта жила в служанках в Германии, в доме моих родных, сын моей родственницы соблазнил бедняжку и склонил ее ко греху. Понимаете?

– И вся недолга!.. Чего уж тут не понять... Мне все ясно, как будто это со мною самой случилось.

– Разъяренная мамаша выгнала служанку; но молодой человек оказался таким сумасбродом, что тоже покинул родительский дом и привез несчастную девушку в Париж.

– Чего ж вы хотите... Знамо дело, молодость!..

– После этого безрассудного поступка вскоре начались раздумья, раздумья тем более здравые, что те небольшие деньги, какие у него были, быстро растаяли. Мой юный родственник обратился ко мне за помощью; я согласился дать ему денег на дорогу домой, к матери, но при том условии, что он оставит свою девицу здесь, а уж я постараюсь ее как-нибудь пристроить.

– Я бы не сделала большего для родного сына... если б мой муженек соблаговолил подарить мне наследника...

– Я в восторге, что вы одобряете мое решение, госпожа Пипле; но трудность состоит в том, что эта девица не имеет поручителей, а к тому же она иностранка, вот почему устроить ее на хорошее место очень трудно... Если вы согласитесь сказать госпоже Серафен, что один ваш родственник, обосновавшийся в Германии, прислал к вам эту девушку и рекомендовал ее, возможно, нотариус и возьмет ее в услужение, а мне это доставит двойное удовольствие. Сесили ведь только случайно оступилась, и она наверняка исправится, попав в столь благонамеренный дом, как дом господина Феррана... Главным образом по этой-то причине я и хотел бы, чтобы она поступила служанкой к нотариусу. Незачем говорить, что рекомендованная вами... особой, столь уважаемой...

– Полно, господин Родольф!..

– Особой, столь уважаемой...

– Ах, полноте, лучший из моих жильцов...

– Что девица эта, рекомендованная вами, будет конечно же принята госпожой Серафен, в то время как, если ее порекомендую я...

– Все понятно... То же получится, если я порекомендую куда-нибудь славного молодого человека. Ладно, идет! Это дело по мне... Теперь уж Серафенша попалась!.. И вся недолга!.. Тем лучше, ведь у меня зуб против нее; ручаюсь вам за успешный исход этого дела, господин Родольф! Уж я вотру ей очки, скажу, что давным-давно моя двоюродная сестра, урожденная Галлимар, поселилась в Германии; и вот я вдруг получила известие, что она померла, ее муж тоже, а их дочка, ставшая сиротой, со дня на день свалится мне на голову.

– Превосходно... Вы сами и отведете Сесили к господину Феррану, а с госпожой Серафен больше об этом не разговаривайте. И так как вы уже лет двадцать не видались со своей кузиной, то ни за что не отвечаете, ведь после ее отъезда в Германию вы не имели о ней никаких известий.

– Все так, ну а как быть, коли эта девица никакого языка, кроме немецкого, не знает?

– Она прекрасно говорит по-французски. Вдобавок я научу ее, как вести себя; так что пусть вас ничто больше не заботит, вы только настоятельно порекомендуйте ее госпоже Серафен... Впрочем, я вот о чем подумал, пожалуй, нет... ничего ей не говорите, а то она, чего доброго, подумает, будто вы хотите навязать ей свою волю... Знаете, ведь как получается: когда о чем-нибудь очень просишь, как раз в этом-то тебе и отказывают...

– Кому вы это говорите?! Именно потому я всегда давала отпор своим ухажерам. А вот если бы они ничего не домогались... тогда уж не знаю...

– Да, так часто выходит... А потому ничего не предлагайте госпоже Серафен, дождитесь, пока она сама опять к вам обратится. А тогда вы ей скажете только то, что Сесили – сирота, иностранка, что она еще очень молода, очень красива, что она для вас была бы непосильным бременем.

нем, что вы к ней очень мало привязаны, потому что были в ссоре с ее матерью, вашей кузиной, и что вы отнюдь не в восторге от подарочка, который вам неожиданно преподнесли...

– Господи боже! До чего ж вы хитры!.. Но будьте спокойны, мы с вами составляем славную пару! Послушайте, господин Родольф, да мы ведь друг друга просто с полуслова понимаем... Мы оба... Как подумаю, будь вы моим сверстником в те годы, когда я сама была как порох... то, ей-богу, уж и не знаю... А вы?

– Тсс!.. Если господин Пипле...

– Ах да, конечно! Он у нас шуток совсем не понимает! Да, вы ведь еще не знаете... о новой гнусной каверзе Кабриона?.. Я вам позднее все расскажу... А что до вашей девицы, то будьте благонадежны... Готова биться об заклад, что заставлю Серафеншу саму попросить меня, чтоб я прислала к ним свою родственницу в услужение.

– Если у вас это получится, любезная госпожа Пипле, то у меня уже приготовлены сто франков, Я человек небогатый, но...

– Да вы что, смеетесь надо мной, господин Родольф? Неужто вы думаете, что я возьму у вас деньги?! Господи боже!.. Да ведь я вовсе не из корысти, а только из одной дружбы... Сто франков!!!

– Но посудите сами: если эта девушка долго пробудет на моем попечении, она будет мне стоить гораздо больше этой суммы... Знаете, сколько денег за несколько месяцев набегит?..

– Я возьму ваши сто франков лишь из уважения к вам, господин Родольф. Но как мне все-таки повезло, что вы поселились в нашем доме! Да я готова кричать на всех перекрестках, что вы – самый лучший из жильцов... Смотрите-ка, фиакр!.. Конечно, это дамочка господина Брадаман-ти... Она уже вчера приходила, да только я ее как следует не разглядела... Перед тем как пропустить, я повожу ее за нос, чтоб хорошенько разглядеть; к тому же я придумала, как узнать ее имя... Сейчас вы увидите меня в деле... Это вас позабавит.

– Нет, нет, госпожа Пипле, меня не занимает ни внешность, ни имя этой дамы, – возразил Родольф, отступая в глубь швейцарской.

– Сударыня! – крикнула Анастаси, бросаясь наперерез входившей женщине. – Куда это вы направляетесь, сударыня?

– Я иду к господину Брадаманти, – отвечала дама, явно раздосадованная тем, что ей помешали пройти.

– Его нет дома...

– Быть того не может, он сам назначил мне встречу.

– Его нет дома...

– Вы ошибаетесь...

– И вовсе я не ошибаюсь... – ответила привратница, искусно вертя головой, чтобы лучше разглядеть незнакомую даму. – Господин Брадаманти вышел из дому, вышел, говорю я вам, вышел – и все тут!.. Вернее сказать, он дома, да только для одной особы...

– Ну так вот! Эта особа – я... Не выводите меня из терпения... позвольте пройти.

– А как вас зовут, сударыня?.. Я проверю, такое ли у вас имя, как у той особы, какую господин Брадаманти позволил мне пропустить к нему. Ну, а коли имя у вас другое... то вы пройдете только через мой труп.

– Господин Брадаманти назвал вам мое имя? – воскликнула незнакомка, и в голосе ее прозвучали не только удивление, но и тревога.

– Да, сударыня...

– Какая неосторожность! – пробормотала молодая женщина.

Затем, после короткого замешательства, она, едва сдерживая нетерпение, негромко прибавила, как будто опасалась, что ее могут услышать:

– Извольте! Меня зовут госпожа д'Орбиньи.

При этом имени Родольф затрепетал.

Ведь именно так звали мачеху госпожи д'Арвиль.

Выступив из полумрака, он сделал шаг вперед и при свете дня и тускло горевшей лампы без труда узнал эту женщину, чью внешность Клеманс подробно ему описывала.

– Госпожа д’Орбиньи? – переспросила привратница. – Да, именно это имя назвал мне господин Брадаманти. Можете подняться к нему, сударыня.

Мачеха г-жи д’Арвиль быстро прошла мимо двери швейцарской.

– И вся недолга! – воскликнула г-жа Пипле с торжествующим видом. – Ловко я подловила дамочку!.. Теперь я знаю ее имя – ее зовут д’Орбиньи... Ну как? Недурен мой способ, а, господин Родольф? Да что это с вами? О чем это вы задумались?

– Эта дама уже приходила к господину Брадаманти? – спросил Родольф у привратницы.

– Да, вчера вечером, как только она ушла, господин Брадаманти и сам тотчас куда-то ушел, должно быть, отправился заказывать себе место в дилижансе, который нынче уходит; вчера же, вернувшись домой, он попросил меня отвезти сегодня утром его чемодан на почтовую станцию, потому как он не больно-то доверяет этому негоднику Хромуле.

– А вы часом не знаете, куда собрался господин Брадаманти?

– Он едет в Нормандию, по Алансонской дороге.

Родольф тут же вспомнил, что поместье Обье, принадлежащее г-ну д’Орбиньи, находится в Нормандии.

Сомнений больше не было: шарлатан направляется к отцу Клеманс и наверняка с самыми зловещими намерениями.

– То, что господин Брадаманти скоро уезжает, здорово разозлит Серафеншу, – проговорила г-жа Пипле. – Она просто из себя выходит, до того ей не терпится повидать господина Брадаманти, а вот он этого из всех сил избегает: он мне строго-настрого наказал не говорить ей, что он уедет нынче в шесть вечера; так что, когда она опять сюда явится, то, как говорится, поцелует пробой! Тогда-то я с ней и потолкую о вашей девице. Кстати, как ее звать-то... Сисе?

– Сесили...

– А, это все равно как Сесиль, только на конце «и». Пожалуй, лучше все-таки записать ее имя на клочке бумаги и вложить записку в мою табакерку, а то я могу и забыть это чертово имя... Сиси... Каси... Сесили... Ладно, теперь запомнила!

– А сейчас я поднимусь к Хохотушке, – сказал Родольф выходя из швейцарской.

– Как будете обратно идти, господин Родольф, надеюсь, зайдете поздороваться с бедным моим старичком?.. Этот изверг Кабрион опять принялся за свои дурацкие шутки...

– Будьте уверены, госпожа Пипле, я не останусь равнодушен к неприятностям вашего супруга.

И Родольф, необычайно обеспокоенный визитом г-жи д’Орбиньи к Полидори, поднялся по лестнице к Хохотушке.